СОДЕРЖАНИЕ

Элла Леус
ФЕЙЕРВЕРК ДЛЯ ДОСТОЕВСКОГО, ИЛИ СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОВ 6

Наиль Муратов
ЮЛЬКА-ШАРМАНЩИЦА 12

Александр Иличевский
БЕЛАЯ ЛОШАДЬ 15
ГОРЛО УШУЛУКА 25
КОСТЕР 41

Ирина Карпинос
НОЕВ КОВЧЕГ 46
ГАМЛЕТА ВЫЗЫВАЛИ? 48

Андрей Грязов
ВЗГЛЯДЫ 53
ССОРА 53
ДО НАШЕЙ ЭРЫ 54

Алёна Жукова
МАДАМ ДУБИРШТЕЙН 58
СКАЗКА ПРО ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ 65
К ЧЕМУ СНИЛИСЬ ЯБЛОКИ МАРИНЕ 70

Михаил Юдовский
СВОЛОЧЬ 76
МОРСКОЕ ЖИВОТНОЕ ИЗ ШЕСТИ БУКВ 80
ГОСПОЖА ЛИ 83

Владимир Васильев
ПО ДЗЕРЖИНСКОЙ-МИРОНОСИЦКОЙ 87
ДЕДУШКА 90

Анатолий Головков
ПРИСТАНЬ ДЕРБАНИНО 94
МИШЕЛЬ 96
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 96

Сергей Волченко
КРЫША И НЕБО 98

Галина Ицкович
ОСКОЛОК. ЗАПИСКИ ВЫЖИВШЕЙ 103

Андрей Костюченко
КОЛЕЧКО С ВОЗВРАТОМ 107
ПРОСТО ЛЮБА 109
ПОРОДА 110
ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ 112
ЕСТЬ ВРЕМЯ 113
ДУРЬ В ГОЛОВЕ 114
СВОЯ ТЕНЬ 115

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ 2019

Главный редактор:
Дмитрий Бураго

Редакционный совет выпуска:
Наталья Бельченко
Сергей Главацкий
Ирина Евса
Алексей Зарахович
Марианна Кияновская
Игорь Лапинский
Владимир Пучков
Дмитрий Стус
Елена Шелкова

Ответственный секретарь
Елена Бураго

Издательский дом Дмитрия Бураго
Свидетельство о внесении в Государственный реестр
Серия ДК № 2212 от 13.06.2005 г.
тел.: (044) 227-38-28, 227-38-86;
e-mail: info@burago.com.ua
www.burago.com.ua
Адрес для переписки:
04080, г. Киев-80, а/я 41

Подписано в печать: 25.07.2019.
Формат: 70x100/16.
Гарнитура Franklin Gothic Book.
Уч.-изд. л. 29.
Усл.-печ. л. 38,02.
Заказ №1789

Ірина Іванченко
ЯЛИНКОВА РІДНЯ 116

Элина Свенцицкая
ДЕНЬ ГОРОДА 118
ЭФЕМЕРИДЫ 118
В ОЖИДАНИИ 119
FINE DE SIECLE 121
МУХА 122
БОЛЕЗНЬ КУКЛЫ 123
НИКОМУ И НИКОГДА 124
НОЧЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА 126
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА МИНУС ПЯТЬ 128

Михаил Бару
СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — “ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПЛОЩАДЬ” 131

Ганна Шевченко
ОБЕЩАНИЕ 150

Лев Григорян
НЕ ДРАЗНИТЕ КРОКОДИЛА 152

Ефим Гаммер
ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА 160

Александра Дориченко
КРУГ 163

Александр Киров
ДЕВАХА С КОСОЙ 166
ДЕ-ВО-ЧКА! 167
СКАМЬЯ 168
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ГРЕТХЕН КРЮГЕР 170

Светлана Заготова
ИЗ КОРОТКОЙ ПРОЗЫ 172

Лера Манович
ГОЛУБОЙ ДОГ 178
ГАЗ 184

Елена Зимовец
СТИХИ 186

Ирина Василькова
КАМУШКИ 188
ХИЖИНА 188
НЕФРИТ В ПОДАРОК 189
ИЗУМРУД ВМЕСТО ЗОЛОТА 190
СОКРОВИЩА ФЕРСМАНА 192
МАРУСЯ И ВАСЯ 193

Александра Николаенко
СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК 195

Владимир Алтунин
ЗА ОГРАДОЙ 196

Ирина Витковская
ПРО ВАРЕНЬЕ 200

ПРО МЕДИЦИНУ 202

Амирам Григоров
ВСЁ О БАХРАМЕ ГУРЕ 205
ВОСКОВАЯ РИГИДНОСТЬ 210

Владимир Мнишенко
АНГЕЛ 214

Андроник Романов
АЛЬФА И ОМЕГА 216
ИЛЛЮЗИЯ ТИШИНЫ 218

Александр Крамер
СОМНЕНИЕ 225

Анна Аркатова
ОШИБКА ШУСТОВОЙ 230
СОМЕЛЬЕ 231

Ирина Котова
ГЛАЗ 235
ЛЯГУШАЧЬЯ ШКУРКА 241

Евгений Никитин
КОРОЛЬ СОЛНЦА 245

Елена Черникова
ПОСТОРОЖИ МОЁ ДНО 248

Александр Хинт
СИЛОМЕР 252

Александра Шалина
ИВАН ИВАНОВИЧ 257
ЁСЯ 258
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО КЕЛЬВИНА В ГЕРМАНИИ 259

Даниил Бутенко
ЖАКЕТ ЦВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛАЙМ 261
DER EISBERG 263

Алексей Рубан
МЕССИЯ 267

Ольга Ильницкая
ИГРА В КУБИКИ НЕ ПО ПРАВИЛАМ 278

Анатолий Гулак
ТЫ УШЛА НЕ РАЗГАДАННОЙ МНОЮ 284

Вероника Коваль
IDIOOT 288

Евгений Кузьмин
ПОЛЁТ НА ВЕНЕРУ 294

Татьяна Орбатова
НА ГРАНИЦЕ ЭХА 298

Вадим Месяц
ЭХО ВОЙНЫ 308

Валерий Скобло
ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ 312
Арина Обух
ВЫГУЛИВАНИЕ МОЛОДОГО ВИНА 317
Ольга Аникина
ПОЛЧАСА, ЧТОБ ОТДОХНУТЬ 319
РОЗОВЫЙ КУСТ И КУСТ СИРЕНИ 322
Егор Фетисов
ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ 325
НЕМИНУЕМОЕ 326
Виталий Егоров
ПРОРЕЗНАЯ 329
КИЕВ 330
Ксения Спынь
ИГРАЙ, АДЕЛЬ, НЕ ЗНАЙ ПЕЧАЛИ 331
Ольга Сульчинская
НАЙДЕННЫЕ КЛЮЧИ 336
ИГРА В МЕТРО 338
НИГДЕ НЕ СКАЗАНО 339
ДВА РАССКАЗА С ЛАДОНЬ 341
Алёна Романова
В ТОТ ВЕЧЕР Я СТАЛА ЗНАМЕНИТА 342
Айрат Мустафин
СТИХИЯ 344
Анастасия Матешко
ВЕДЬМА И ЗАСТЕНЧИВЫЙ ЭЛЬФ 346
Владимир Коларич
Перевод с сербского Елены Буевич
ПРИЗНАНИЕ 349
КОВБОИ И ИНДЕЙЦЫ 349
РАССЕЛИНА 350
Драгана Мрджа
Перевод с сербского Елены Буевич
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 352
СЕМЬ ДНЕЙ ВОИНА ГРИШИ 352
Милица Лилич
САЖЕТА ЉУБАВ 359
Перевод с сербского Татьяны Жидковой
СУЩНОСТЬ ЛЮБВИ 360
Перевод с сербского Гузель Галааевой
ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА „ВНОВЬ ОТЫСКАВШИЕСЯ“ 361
Андрей Коровин
УКРАИНСКАЯ РЕЧЬ 364
СТИХИ 367

Андрей Коровин
Перевод с русского Елены Марченко
НАД КИЄВОМ: НА МОНМАРТРІ МІСЯЦЯ 371
ТВІЙ ПОТЯГ 373
РИБИ ДЕКАРТА 375
АННА КАРЕНІНА 376
КИТАЙСЬКІ ДЗВІНОЧКИ 376
ЯБЛУЧНИЙ СПАС 377
АБУФ 377
ЖИТТЯ РЕЧЕЙ 378

Семен Абрамович
НОВЫЕ СТИХИ 380

Виктор Малахов
"НЕТ, Я НЕ ВЕРНУСЬ..." 385
ПЛАЧ 370

Гари Лайт
«ТО ЛИ ИМЯ, ТО ЛИ ГОРОД... » 388
НОВОАНГЛИЙСКОЕ 393
LINCOLNPARKWEST 397

Григорий Брайнин
СТИХИ 398
ГОСПИТАЛЬ 2 400

Владимир Алейников
ЕЩЁ НЕДАВНО 403
БОЛЬШОЙ МАДРИГАЛ 407
С ТЕХ ПОР 411
ПЛАЧ ПО МУЗЫКЕ 413

Александр Беляков
РЕДКОЕ ВЕЗЕНИЕ 417
ОТПИВАТЬ И СМЕШИВАТЬ 417
НОЧНОЙ ОБХОД 418

Наталья Емельянова
ГЛАЗА 419
АНГЕЛЫ ЛЕТЯТ 419
ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД 420
ГОРОД 421
СТЕПЕНЬ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ 422

Олена Іщенко
ВІРШІ 424

Мария Кулешова
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ 433

Сергей Игнатов
БЕЛОПЕРОЕ ОБЛАЧКО ЛЕТА 448

Татьяна Аинова
ПОДБОРКА СТИХОВ 452

Сергей Игнатов
БЕГЛАЯ ЖИЛА 461

ОБ АВТОРАХ 472

Элла ЛЕУС

ФЕЙЕРВЕРК ДЛЯ ДОСТОЕВСКОГО, ИЛИ СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОВ

«Не могу поверить! Проспал Новый год! Тогда кто его встретил вместо меня? Уж не ты ли, лохматая морда?» Я слегка раздосадован и, ясное дело, ищу виноватого. Мой кот осуждающе смотрит на меня из-под кудластых бровей. Он приоткрывает маленький розовый рот и негромко мяукает. Получается надменно. Этот господин никогда «в базаре не буксует» и непременно оставляет последнее слово за собой.

На часах – половина первого.

– Ты почему не шумнул, зараза? Трудно было? – обижаюсь я.

Кот поворачивается ко мне спиной и нагло кладет короткий кривой хвост в тарелку с объедками.

Моего кота зовут длинно – Федор Михайлович Достоевский (теперь модно называть домашних животных именами гениев). Но он обычно игнорирует и полное имя, и его сокращенные варианты. Кот капризен, как начальник, и требователен, как милиционер. Никакой Куклачев не справился бы с таким независимым и склочным характером.

– Ма-а, – тихо говорит Федя, не оборачиваясь.

– Попрошу без упреков. Сам знаю: пить надо меньше. Стараюсь, но, сам понимаешь, не всегда получается.

Обследовав содержимое нескольких бутылок, я испытываю жестокое разочарование – они неумолимо пусты.

– Ма-а, – настаивает Федор Михайлович и вальяжно спрыгивает со стула, словно он не простой кот из подворотни, а, по меньшей мере, снежный барс, аристократ и сноб.

Я вздрагиваю от резкого звонка в дверь. Кого принесла нелегкая в такое время? Мне не хочется отделяться от дивана, но я с усилием встаю и иду открывать, еле волоча ноги. До чего я все-таки распустился – хожу постариковски в неполные пятьдесят! Но через несколько шагов понимаю: затекли икры. Пересекая просторный дизайнерский холл, ловлю себя на мысли, что, наверное, порадовался бы за себя, будь я здесь хозяином, а не зимним сторожем.

Открываю дверь, и тотчас холодный ветер дает мне ленивую пощечину. На пороге сутулится высокий дебелый парень, завернутый в плед, снятый с бельевой веревки во дворе. Вчера проказливый Достоевский ни с того ни с сего пометил кресло, на котором лежал плед. Надо сказать, Федька в последнее время ведет себя по-хамски:

точит когти о мебель и бьет меня лапой куда попало. Недавно в нос угодил, когда я лежал на диване, – так что мне приходится ходить с поцарапанной рожей.

Гость переминается с ноги на ногу и дрожит, как овечий хвост. Я любезно отхожу в сторону, впуская его в холл:

– С Новым годом, гости дорогие! Милости просим, коли не шутите.

Глядя на его сизые босые ступни, я и сам начинаю дрожать. Парень неуклюже вбегает в дом, и я закрываю дверь. В доме жарко натоплено и можно быстро согреться. К тому же мы оба еще окончательно не протрезвели (от него тоже пахнет алкоголем – видимо, прежде чем обнажиться на морозе, он основательно нализался).

– Ты кто? – интересуюсь я.

– Не знаю, – бормочет он, и его белое, как у девицы, лицо становится растерянным.

– Вот те на! – Я не могу скрыть удивления.

Вздыхаю и веду его в свою комнатушку под лестницей. В огромном доме, кроме меня и Федора, никого, но я предпочитаю не привыкать к роскоши. К тому же мне льстит мысль, что я аскет, а не лузер.

Гость кутается в плед, скрючившись на стуле. Молча пьем чай. Федор невыносим – носится вокруг гостя разъяренным львом и возмущенно орет благим матом.

– Как тебя зовут, помнишь? – спрашиваю я.

– Ниче не помню, – бормочет он и отчаянно трет лоб ладонью.

– Ладно, пока будешь Адамом.

Он обреченно пожимает плечами.

– Пожалуй, Адаму пора одеться.

Я ныряю в свой чемодан и швыряю ему спортивный костюм и кеды. Адам с готовностью сбрасывает плед и предстает предо мной в чем мать родила. Опять ныряю в чемодан и достаю новые плавки.

– Как тебя угораздило так оригинально встретить Новый год?

Стараюсь говорить весело, чтобы не расстроить его. Он и без того немного трясет подбородком. Понятно, одетый Адам выглядит спокойнее и увереннее голого Адама, завернутого в плед.

– Не знаю. Проснулся на снегу без одежды, – едва слышно говорит он.

– Везунчик ты! Обычно зимой здесь ни души. Но месяца два назад в дом влезли грабители, вероятно, озаботившись моей дальнейшей судьбой. Надо заметить, в тот момент я только пережил полный финансовый крах. После ограбления хозяева наняли меня сторожить. Вот, сторожу. Спасибо грабителям. Оказалось – душевные люди.

Адам с опаской смотрит на бесноватого Федора, вцепившегося когтями в его штанину. Кот явно хочет доцарапаться до ноги незваного гостя, но штанина плотная и широкая.

– Стукни его, не церемонься, – предлагаю я.

Адам берет со стола свернутую трубой газету и нерешительно тычет ею в морду Федора, пытаясь оттолкнуть его. От этого кот, стервенея еще больше, бросается кусать носок кеда.

Я встаю и отфутболиваю Федора за дверь. Он истошно вопит оттуда. Но мы не обращаем на это внимания.

– Ваш кот похлеще сторожевого пса, – жалуется Адам.

Я согласно киваю:

– Ничего не попишешь, король местных помоек. Его величество султан. Думаешь, тебе одному перепало? Я сам его иногда побаиваюсь.

Улыбаюсь Адаму, желая подбодрить его. Но, по-моему, он совсем скис, уставился в одну точку и чуть не плачет.

– Эврика! – кричу я и сам пугаюсь звука своего голоса. – Не вешай нос, все наладится. А пока предлагаю устроить фейерверк. Я вчера нашел себе полезное занятие – разбирал кладовку. Много хлама выбросил. Так положено – старье под Новый год выбрасывать. В кладовке наткнулся на фейерверк! Правда, у него срок годности вышел, но стрельнуть можно. В нем тридцать семь запалов. Должно быть феерично. Давай?

Адам молчит, глядя, как узник, приговоренный к пожизненному заключению.

– Будем считать, что ты не возражаешь, – делаю я вывод. – Ты оставайся здесь и смотри в окно, а я выйду во двор и подожгу.

На ходу натягивая куртку, я хватаю большой тяжелый куб фейерверка, выбегаю во двор. Над центром двора открытое небо – то, что надо. Я ставлю коробку на землю, проверяю устойчивость, освобождаю фитиль и поджигаю. Он загорается с третьей спички. Потом, погорев немного, затухает. Приходится поджигать снова. Сердце почему-то замирает. Но вот фитиль разгорается по-настоящему. Я стремглав бросаюсь прочь и закрываю уши ладонями. На крыльце оборачиваюсь и столбенею от огней в небе. Разноцветные фонтаны брызжут прямо надо мной. Кажется, что этот яростный свет прольется горячими струями на голову, обожжет и ослепит.

К сожалению, шоу, свистящее и бахающее, быстро заканчивается. Слегка оглохший, я замечаю ошалевшего Достоевского, прильнувшего к моей ноге. Уши его прижаты к голове, рот широко открыт – он явно хочет закричать, но не издает ни звука. Я беру Федора на руки. Он трясется и часто дышит. Видно, не для всех фейерверк – праздник.

Войдя в холл с котом на руках, я вдруг понимаю, что в доме погас свет. Чертыхаясь, направляюсь к себе под лестницу за инструментом. В моей комнатушке не так темно, как в холле, – через окно попадает свет от уличного фонаря. Силуэт Адама едва различим в самом углу. Похоже, он сидит на полу. И тут до моих ушей доносятся тихие всхлипы.

– Ты плачешь, что ли? – бросаю я разочарованно и слышу неожиданный ответ:

– Мне кажется, здесь появился еще кто-то. Но ничего не видно.

Я нахожу свечу на подоконнике. Тусклый свет от ее дрожащего пламени выхватывает из мрака фигуру девушки, завернувшейся в мой плед.

– Глянь, Федор Михайлович, как всем нравится наш плед! Стоило тебе его пометить... А ты как сюда попала? Ты хоть помнишь свое имя, в отличие от этого милого юноши?

Девушка молчит, продолжая изредка всхлипывать. Я пытаюсь оторвать от своего свитера окончательно ополоумевшего Достоевского. У меня ничего не получается и приходится ходить с котом на груди. Его когти больно впиваются в мою кожу. Терплю.

Подхожу к девушке со свечкой в одной руке, а другой поддерживаю трясущегося Федора.

Девушка испуганно смотрит на меня совершенно круглыми глазами.

– Так кто же ты, дитя мое?

Она качает головой и начинает всхлипывать чаще. Волосы у нее короткие, слипшиеся от снега.

– Дорогой Адам, похоже, у нас появилась Ева. Тебе, дружище, придется напоить ее чаем. Я в данный момент занят: во-первых, мне нужно починить электричество, а во-вторых, у меня Федор Михайлович...

Адам медленно и осторожно приближается к девушке. Но внезапно хватается за бок и громко вскрикивает от боли.

– Этого еще не хватало, – ворчу я. – Что с тобой?

Адам задирает куртку, я подношу свечу ближе и отчетливо вижу огромный кровоподтек на его ребрах.

– Раньше–то чего молчал? Если не ошибаюсь, нужно сделать тугую повязку.

– Раньше не болело... – мямлит Адам.

Когда генератор подключен, ребра Адама затянуты полотенцем, а девушка одета в мои бермуды и футболку, садимся пить чай. Она испуганно осматривается. Адам смущенно смотрит в сторону.

– Повежливей с девочкой, дружок! – шепчу я ему. – Она – симпатяга. Присмотрись.

Но он упрямо молчит.

– Скоро начнет светать. Спать пора. Завтра будем с вами разбираться.

Я веду их на второй этаж в комнаты для гостей.

– Ева ляжет здесь, – показываю я на кровать.

Она беспрекословно ложится поверх покрывала.

– А для тебя, Адам, кровать в комнате напротив.

Не дослушав меня, Адам решительно ложится рядом с Евой. Мало того, он обнимает ее, будто и раньше обнимал каждый вечер и это вошло в привычку. Мы с Федором, так и не слезшим с моей груди, изумленно безмолвствуем.

Адам сразу же безмятежно, как младенец, засыпает. Ева спокойно улыбается, что кажется мне невероятным после ее недавних рыданий, поголовной потери памяти, истерики кота и поведения Адама. Девушка тоже закрывает глаза, и я вынужден удалиться.

Я никак не могу уснуть. В голове роятся невеселые мысли, какие обычно посещают меня на пороге похмелья.

После фейерверка Достоевского словно подменили. Он вдруг превратился в обыкновенного ласкового кота. (Я подозреваю, что это временно). Он даже мурлычет недолго у меня под боком на диване. Но убаюкать меня своей кошачьей колыбельной ему не удается. Волнения этой ночи и размышления о странной парочке, спящей наверху, не дают мне покоя.

Я встаю и смотрю в окно. Там – белый пудинг новогоднего утра, как всегда, беззвучного и беспробудного.

Пора побеспокоить моих загадочных гостей и потребовать от них объяснений. Окружающая тишина обязывает идти на цыпочках. Топать по лестнице кажется кощунством. Федор Михайлович вкрадчиво рычит, путаясь у меня под ногами.

Мои голубки лежат точно так же, как я их оставил ночью. Ева не спит и смотрит на меня тревожным взглядом.

– Мы, наверное, должны уйти? – спрашивает она, но не шевелится, боясь разбудить крепко обнявшего ее Адама.

– Зачем же так торопиться? – шепчу я. – Хозяева приедут в апреле. До апреля дом в нашем полном распоряжении.

– А вдруг мы воры? – она удивлена моей доверчивостью.

– Воры не бродят голыми на морозе, – в моей голове хаос, но об этом никто не должен догадаться. – Чем вы разживетесь? Парой мельхиоровых ложек, кастрюлей и телевизором? Вряд ли ради такого скарба стоит рисковать здоровьем. Неужели в этом доме есть тайник, в котором спрятан клад? – шучу я и осторожно присаживаюсь на край кровати. – Я пришел спросить, вернулась ли к вам память? Вспомнили, кто вы и откуда?

– Я никогда ничего не забываю. Это с Аликом порой такое происходит.

Она легонько целует Адама в лоб. Он теснее прижимается к ней во сне.

– Вы его знаете?

– Мы с ним выросли в одном интернате и уже давно вместе.

– Ну и как там, в интернате?

– Мне не с чем сравнивать.

Ее тон становится безразличным, у рта ложится печальная морщинка. Видно, что эта тема ей неприятна.

– Что с вами случилось?

– Рассказывать с самого начала?

– Как угодно.

Мне неловко за мое любопытство.

– Не сердитесь, прошу вас! – испуганно шепчет она, приняв мой ответ за обиду.

Я вздыхаю:

– Чтобы сердиться, силы нужны, а их у меня сейчас – ноль. Уморился я с вами, и бессонница, знаете ли. Рассказывайте. И пойдем кофе варить.

Обещание кофе ей явно нравится.

– С чего начать? – немного теряется она.

– Начните со своего имени, – предлагаю я.

– Евдокия. Дуся.

– Я почти угадал, назвав вас ночью Евой! – радуюсь я.

Но Дуся моей радости не разделяет. Голос ее печален:

– Пять лет назад мы с Аликом окончили школу. Остались работать и жить в интернате. Алик работал техником. Он все умеет, у него золотые руки. А я – библиотекарем. Нас в третьем классе усыновил наш директор Сергей Петрович Синицын. По документам мы оба Синицыны. Сергей Петрович и устроил нас на работу, хотел, чтобы я в университет поступила. Но прошлой весной он умер. А с новым директором мы не сработались. Пришлось уехать.

– Почему?

– Он на меня глаз положил. Сначала намекал, потом прямо потребовал, как он сам выразился, знаков особого внимания. Начал преследовать. Я от Алика скрывала. Думала, сама справлюсь. Но вчера он нас с Аликом застал... Ну, вы понимаете.

Я поспешно киваю.

– Так вот, вчера вечером директор поднял страшный шум и выгнал нас с треском за аморальное поведение.

– А дальше? – Мне не терпится узнать всю историю.

– Мы подались в город. Остановили попутную машину, но до гостиницы не доехали. Их было трое, и они нас ограбили, раздели и выбросили на дорогу. Я помню, что Алика стукнули по голове и он отключился. Они вливали ему в рот водку и ржали, гады! К моему горлу приставили нож. И всё. Я очнулась у ваших ворот.

– Какой кошмар!

Дуся осторожно выскальзывает из объятий посапывающего Алика. Она выглядит нелепо: моя одежда висит на ее хрупкой фигуре, ее светлые волосы всклокочены. Она напоминает очаровательное огородное пугало с круглыми голубыми глазами.

Я замечаю, что у Алика волосы одного цвета с Дусиными.

– Спасибо вам! Вы нас спасли. – В ее глазах слезы.

– И вы, и Алик родились в рубашках. Ваши обидчики впопыхах не заметили этого дома. Он стоит на отшибе и в низине. Вас сбросили на обочину дороги, и вы оба скатились прямо под мой забор, но в разных местах.

Круглые голубые глаза соглашаются со мной.

Мы пьем кофе у меня в каморке, ожидая пробуждения Алика.

– Алик добрый, но слишком наивный и доверчивый. Я очень его люблю, – простодушно признается Дуся.

Достоевский, сидящий рядом со мной на диване, мяукает протяжно и вдохновенно. Ему не хватает моей заботы. Это начинает его раздражать.

– В один дом в поселке требуется сторож с проживанием. Это недалеко отсюда. Временное, но пристанище. Могу поговорить, – предлагаю я.

– Может быть, нам повезет.

– А как же вы в дом попали?

– Я стрельбы в небе испугалась, побежала. Получается, в доме спряталась.

– Это я Адама, то есть Алика, развлечь старался. Фейерверк затеял. И, если позволите, последний вопрос. Что с Аликом, с его памятью?

– Ерунда. Случаются провалы. Его сильно били в детстве, пока родителей-алкашей не лишили прав. Но я сумею о нем позаботиться, – уверяет она.

– Не сомневаюсь. Вы же Адам и Ева. А до этого вы были единым существом. Что скажете?

Дуся заразительно смеется и весело подтверждает:

– Мы были андрогином*. Ваш фейерверк разделил андрогина на две части – мужчину и женщину. Даже синяки на ребрах Алика соответствуют. Место отделения. Я об этом мифе читала.

– Ах да! Я забыл – вы же библиотекарь. Библиотекари - люди искушенные, – добродушно подтруниваю я.

Она пропускает это мимо ушей.

– Я верующая и не понимаю, зачем Господу опять творить первочеловеков?

– Может, Он хочет что-то исправить в человеческой природе? Наказывать, затевая конец света, – дело хлопотное, а Ему недосуг.

Мои шуточки не нравятся Дусе. Она хмурится.

– Я атеист, – признаюсь я.

В ее глазах – ужас. А меня это забавляет. Я смеюсь.

– Пойду на кухню варить кофе для нас и Адама. Должен же он когда-нибудь проснуться.

Сижу во дворе и присматриваю за Достоевским, полностью вернувшим свои дикарские замашки. А Достоевский наблюдает за воробьиной возней у большого почерневшего сугроба. Думаю о кошачьей беспардонности и сотворении человеков новогодней ночью. Черт знает, почему, я абсолютно уверен в том, что Алик и есть очередной первочеловек, появившийся передо мной андрогин, до поры соединявший в себе женскую и мужскую половинки вплоть до момента отделения от его ребер Евдокии.

Моя уверенность не поддается логике и совсем не зависит от событий первого январского вечера.

Помню – открываю глаза и вижу склонившуюся надо мной нахальную Федькину физиономию. Не понимаю, каким образом я оказался лежащим на полу в холле (кажется, всего лишь минуту назад мы мирно пили кофе и подкреплялись омлетом). Вскакиваю, бегу, распахиваю двери настежь и вижу отъезжающий микроавтобус. Алик машет мне рукой из окошка и кричит:

---

* Андроги́н (др.-греч. ἀνδρόγυνος: от ἀνήρ «муж, мужчина» и γυνή «женщина») — «идеальный» человек, наделенный внешними признаками обоих полов, объединяющий в себе оба пола либо лишенный каких бы то ни было половых признаков.

– Не обижайся, дядя, работа у нас такая.

Ему вторит Дусин голос, хотя ее не видно:

– Про интернат всё правда! Ты классный! Будь счастлив!

Микроавтобус быстро скрывается за воротами.

Замечаю, что я голый и завернут в плед. Похоже, это становится традицией этого дома. Мои глаза фиксируют пропажу ковра, двух фарфоровых ваз и нескольких картин, ценность которых мне неизвестна. Подозреваю, что примерно в таком же виде и остальные помещения охраняемого мной дома. На темени болит большая шишка.

Отрабатывать утраченное имущество мне теперь предстоит до самой пенсии. Если, конечно, хозяева в расстроенных чувствах не укокошат меня.

Удивительно, но злости по отношению к вероломным гостям я не испытываю. Поделом мне, старому дебилу! Жаль все-таки, что сочиненная ими легенда не оказалась правдой.

– Хороший сторожевой кот не отвлекается от служебных обязанностей попусту! – говорю я Федору, но он продолжает цепко следить за воробьями. Наверное, в его голове созревает коварный план, недаром он хищно сверкает глазами.

С забора осторожно и мягко спрыгивает соседская кошка Сильва. С некоторых пор ангорская красотка завладела сердцем Федора Михайловича. Заметив Сильву, он забывает о воробьях и бросается к ней.

– Федька! – кричу я ему вслед. – Я решил в этом году называть тебя Имре Кальманом. Если появилась Сильва, как обойтись без Кальмана? Годится?

ЮЛЬКА-ШАРМАНЩИЦА

Наиль Муратов

В Одессе каждое арткафе зарабатывает как умеет. В полуподвальном «Таракане», например, время от времени организуют рок-фестивали. Скажем, приехали в гости к кому-то из одесситов музыканты из Бердичева, а у нас и у самих таких талантов не меряно. Вот и устраивается соревнование типа футбольного – с пивом. А для лучшего проникновения в тему и с пойлом покрепче. Публика наведывается постоянная, от пятнадцати до сорока. Гвалт жуткий, но спасает аппаратура: доносит до ушей и вокал, и музыку. Здесь все друг друга знают по имени, и каждый – колоритная личность. Взять хотя бы Юльку! В «Таракане» она обычно появляется вместе с подругой Дашей. Даша – исключение из правил. Никакого макияжа, одета скромно, и точно так же себя ведет. В этой паре ведущая – Юлька. Приходит, как правило, в чем-то невообразимом и сразу же заказывает коньяк, причем для полного счастья ей хватает одной рюмки. Пьяненькая, она начинает орать «браво» исполнителям и заодно цепляться к присутствующим мужского пола. В общем, отрывается по полной. Правда, на Юльку никто не ведется, потому что бесперспективно: никогда не теряющая бдительности Даша ревниво оберегает подругу от чужих заигрываний.

Шарманщицей Юльку прозвали после того, как она принесла в подвал ветхую коробку, которая оказалась настоящей шарманкой. Воспроизведенная сим допотопным механизмом музыка особо никого не впечатлила, но оригинальность идеи присутствующие оценили, наградив исполнительницу аплодисментами и соответствующей кличкой.

А совсем недавно Юлька стала причиной грандиозного скандала. На очередной «фестиваль» она заявилась в облегающем коротком платье из кожзаменителя, с которым отлично гармонировали блестки на щеках, густые темные тени под глазами и иссиня-черный ежик волос. Из-за спины Юльки выглядывали два крыла, похожие на стрекозиные. В общем, полный отпад для тех, кто понимает, а понимающих в «Таракане» хватает. Денег на коньяк у Юльки не нашлось, поэтому она сидела трезвая и злая. На беду кто-то угостил подруг косячком, и к тому времени, когда начался рок-концерт, обе они достигли пика блаженства. Второй косячок, выкуренный впопыхах в туалете, оказался той роковой каплей, что переполнила чашу. В перерыве Юлька решительно полезла на опустевшую сцену.

– Эй, ты че? – выкрикнул один из рокеров, не успевший добраться до стойки бара.

В полифоническом гаме, заполнившем подвал, Юлька его не услышала. Подошла к электрооргану и, зачарованная, остановилась.

– Да ладно, пусть слабает что-нибудь! – снисходительно заметил один из завсегдатаев заведения.

– Она хоть по клавишам бить умеет? – поинтересовался рокер у Даши.

– Как богиня! – с готовностью отозвалась прилично окосевшая Даша.

Проверить ее слова не удалось: орган после выступления успели обесточить, а секрет его включения был Юльке неведом. Подобно привидению она начала бродить по сцене меж оставленных музыкантами инструментов, пока не уперлась прямо в старенькое фортепьяно, доставшееся «Таракану» в наследство от предыдущего хозяина. Подтащив к почтенному инструменту табуретку, Юлька примостилась на ней, открыла крышку и одной рукой коснулась клавиш, но из-за шума звучания нот никто не услышал. Тогда она устроилась поудобнее и начала играть.

Вообще-то, зная ее причуды, на Юльку никто внимания не обращал. Атмосфера в «Таракане была привычная: потягивая пиво или коньяк, каждый из присутствующих старался перекричать соседей, чтобы поделиться с ними драгоценными мыслями. Первыми Юльку услышали за ближними столиками: мягкие звуки Лунной сонаты заставили удив-

ленно умолкнуть сначала одного, а потом и всех остальных сидящих у сцены фанатов тяжелого рока. Поскольку число разговаривающих уменьшилось, музыка стала слышнее, и ее аккорды начали улавливать уши меломанов, расположившихся во втором ряду. Кто-то из них застыл, так и не донеся кружки с пивом ко рту, кто-то просто умолк на полуслове. Процесс этот неспешно распространялся по залу, обездвиживая присутствующих подобно облаку отравляющего газа. Спустя несколько минут в зале была слышна только гениальная музыка Бетховена. Юлька играла вдохновенно: ее руки летали над клавиатурой, как две птицы, и им в такт трепетали крылья за спиной.

После последнего аккорда наступила такая гнетущая тишина, словно с окончанием музыки остановилось и время. Никому не пришло в голову аплодировать: созвучия Лунной сонаты все еще продолжали вибрировать в душах присутствующих. Так сидели долго, затем тишину нарушил голос одного из рокеров:

– Ты где так научилась?

– В консерватории! – ответила гордая за подругу Даша, и, не удержавшись, выкрикнула:

– Юлька – лучшая!

Мысль, что Шарманщица учится в консерватории и является куда более талантливым музыкантом, чем любой из присутствующих, с трудом пробивала путь в умы завсегдатаев «Таракана».

– Давай еще! – неожиданно попросил ударник, и в этот момент раздались, наконец, заслуженные аплодисменты.

– Выдай им Баха! – громко предложила Даша.

Органист вылез на сцену и буквально за несколько секунд настроил инструмент. Юлька с выражением блаженства на лице, вызванном то ли творческим подъемом, то ли травкой, но скорее, совместным действием обоих этих компонентов, подошла к органу. От первых же аккордов по спинам слушателей побежали мурашки: такую музыку здесь никогда не слышали.

И, видимо, больше не услышат. Владелец «Таракана», вовремя сообразивший, что с каждым тактом бессмертной фуги из кассы заведения безвозвратно уносится часть прибыли, начал подбираться к сцене. В руке он держал первое, что подвернулось под руку, – швабру. Двигало хозяином ясное понимание того, что за последние двадцать минут в заведении не было продано ничего – ни пива, ни коньяку, ни даже пустяковой упаковки чипсов.

– Ты что тут творишь, тварь обдолбанная?! – заорал хозяин, перекрикивая звуки органа.

Юлька взвизгнула, поскольку швабра пронеслась в опасной близости от ее ноги, и рванула со сцены к выходу из подвала. За ней бросилась Даша, а следом помчался хозяин, но поскольку был он толстым и неповоротливым, догнать девушек не смог, только крикнул вслед:

– Чтоб ноги вашей здесь больше не было!

– Да пошел ты, хрен собачий! – откликнулась сверху Юлька.

Еще более забористыми оказались ругательства, озвученные доселе безобидной Дашей, что окончательно взбесило владельца арткафе. К его несчастью, брошенная им швабра в беглянок не попала, зато вдребезги разнесла зеркальное стекло входной двери.

С тех пор в «Таракане» исполняют только нормальный, вполне созвучный нашему замечательному времени рок. А Юлька... боюсь, что ее музыку вы теперь сможете услышать только на концертах в консерватории. Но мой вам совет: не приходите туда с пивом или с косячком. Там это не принято.

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Александр ИЛИЧЕВСКИЙ

Даже когда самый близкий человек сходит с ума, все равно это происходит внезапно.

В ту ночь моя бабушка, 1914 года рождения, вошла в комнату в тот самый момент, когда у меня была расстегнута ширинка, а девушка по имени Мишель Левин пыталась высвободить из моих «Райфл» существенную часть моего alter ego.

Но прежде скользнула белая тень, и кто-то подступил к окну из глубины заднего дворика, уже наполненного мглой. Туман к вечеру переливался в город с Золотого Рога, соединявшего прогретый залив и ледяной океан. До жилых кварталов побережья доносилось гудение буя-ревуна, отмечавшего фарватер, ему вторили корабли, перекликаясь друг с другом — стонали, будто раненые большие звери. Сколько вечеров я провел напротив этого ревуна, поднявшись на небольшой утес. Днем эта скала была облюбована сивучами, а вечером там обычно стоял я — с бутылкой «Гиннес» в руке, закусив фильтр «Кента». Я приходил туда тосковать об оставленной на родине жизни, восточный край которой омывался теми же волнами, что ходили холмами и рвами у меня в ногах. Я стоял и неотрывно смотрел то на абрис противоположного берега, то на самый красивый в мире мост, полторы мили которого были означены желтоватым перламутром гирлянд противотуманных фонарей. На линию моста как раз и приходилась точка росы: именно тут замешивалось тесто облаков, которые, прежде чем оторваться от поверхности Земли, заливали город и побережье. Я стоял, глядя в бельма великого слепца — своей судьбы, покуда державшей меня в колбе, наподобие гомункула. Слепец никак не хотел выпустить меня на свободу становления или хотя бы шваркнуть колбу о скалы, черневшие внизу антрацитовым мокрым блеском.

От таких невеселых вечеров перед океанской стихией моим отдохновением была Мишель Левин. По крайней мере, в ее присутствии я ничего не боялся, не испугался я и промелькнувшей тени, а постарался сосредоточиться на том отдельном от реальности мире, что создавался сейчас на поверхности моего тела.

Дядя Марк поселил меня в цокольном этаже с моими бабушками Симой и Ариной: Серафимой Иосифовной — мамой Марка и моего отца, и Ариной Герасимовной, матерью моей мамы. Сам он с семьей занимал средние два яруса нашего дома на 25-й авеню, которым владел

надутый тайванец, живший на последнем этаже. Он ходил, выпятив живот, и за все семь лет не кивнул мне ни разу в ответ на мои приветствия.

Я боялся потревожить Марка и его жену Ирку (им хватало двух детей и еще одной старухи — третьей в нашей богадельне была Гита Исааковна, бабушка Ирки), так что я пользовался окном как дверью. Пробираясь к себе через задний двор сразу из парадного, я обычно пугал до смерти бабу Гиту, слегка тронувшуюся умом на заре Перестройки, когда один за другим умерли от лейкоза родители Ирки.

Гита боялась всего на свете: бедности, прямых солнечных лучей, сквозняков, гриппа, нашего лендлорда, советскую власть, но особенно воров, за которых принимала и меня. Она неустанно страшилась, кто там шастает на заднем дворике, и когда в очередной раз настигала мою милость на лестнице, орала: «Фу! Оборванец! Напугал! Через окно только покойники ходят! Когда уже явятся твои родители?! Что за воспитание?! Это преступление, а не воспитание!»

Баба Гита была сгорбленной, с развороченными артритом ногами, востроносой старушкой. Она ковыляла по дому и непрерывно громко стонала, чтобы все знали, как она страдает, но мучилась она болями непритворно. В любой момент не было сомнений, в какой именно части дома она находится. Даже ночью, в темноте и тумане, Гита стояла на деке, опершись на перила, и тоже стонала, но в четверть голоса.

Иркина бабка находила общий язык с моей Аришей — обе были глуховаты и не раздражали друг друга переспрашиванием, часто просто кивали, так и не расслышав друг друга. Гита была единственной выжившей из большой семьи, обитавшей до войны в местечке под Киевом: родители и пять ее младших сестер сгинули в Бабьем Яру. Она выжила, потому что оказалась в июне 1941 года в Ялте в санатории, откуда отец велел ей телеграммой не возвращаться, а ехать сразу в Баку к его троюродной сестре. Соседки у них во дворе на улице Монтина шептались, что после войны Гита ездила на пепелище, чтобы выкопать в саду тайник с фамильными драгоценностями. Судачили, что понемногу она продавала — то брошку, то браслетик — и на это ей удалось вырастить и выдать замуж дочь. Главную, по ее словам, часть ей удалось перевезти за океан. «Но никто не знает, — добавлял Марк, — что это за камни, может, это аметисты, с нее станется. В жизни своей не возьму в руки бриллиант, который моя внучатая теща пронесла через океан в прямой кишке».

Я уговаривал себя, что меня лично все это не касается, и молча отворачивался от устрашающе жалкой мегеры, чтобы сдвинуть в сторону половинку стекла и шагнуть через подоконник. Я любил это окно. Оно стало для меня порогом новой, хоть часто и безрадостной, но загадочной жизни. Тайна важна в жизни, к счастью, я рано это понял: когда она, тайна, есть под рукой — жить интересно. Ибо что такое смысл, как не тайна в ауре понимания?

Сима вошла, прижимая к груди сжатые кулачки. Невидящий взгляд ее перемещался по комнате. Мы интересовали ее меньше всего, но Мишель поняла, что позади в комнате происходит что-то невероятное, вскочила, но испугалась и бухнулась мне на колени.

— Is she a sleep-walker? — прошептала она, красавица с пышно вьющимися пшеничными волосами, моя учительница английского из Jewish Family and Children Services, считавшая, что лучший способ обучения иностранному языку — болтовня в постели.

Сима скользнула по нам взглядом и заговорила, сильней прижимая кулачки к груди, будто что-то жгло ее сердце:

— Миша, я давно хотела тебе рассказать. Когда отправилась в Москву, я в Баку приехала электричкой и наняла на перроне носильщика. Он повел меня к стоянке такси. Он почти бежал, и я за ним едва поспевала. Как вдруг на ступеньках вокзала меня остановил высокий красивый старик, в макинтоше, с зонтом на руке. Он сказал: «Вы не знаете меня. Я дружил с вашим отцом. Когда вы были девочкой, он просил в письмах присматривать за вами. Вы выросли, и после войны я нашел вас. Я следил за вами издали. Я несколько раз поджидал вас у больницы в Насосном, когда вы заканчивали дежурство. Мне надо было написать вашему отцу, что вы здоровы. И я ему написал. Я посылал вам деньги. Знаете, что? Поезжайте к отцу в Калифорнию, вот вам мой совет. У него есть апельсиновая плантация. Он будет рад вам».

Сима так торопилась, будто спешила рассказать ускользающий сон, который, если не успеть им поделиться, исчезнет совсем. Я молчал, Мишель села на кровати и уже порывалась встать. Я взял ее за руку.

— Я так перепугалась, — выдохнула бабушка, — что не вымолвила ни слова. Я только кивнула и поторопилась за носильщиком.

— Ба, твой отец умер в 1952 году, у нас есть свидетельство о смерти.

— Но мне было сказано, что он ждет меня. Такой благородный человек не станет обманывать.

— А деньги ты от него получала?

— Да, от какого-то Голосовкера, — вдруг потеряв к рассказу интерес, произнесла Сима. — Мать запрещала брать. Она всю жизнь тряслась, что узнают про нее. В анкетах спрашивали: есть ли родственники за границей? Она отвечала: нет, ни боже мой. А то, что люди осудят, ей было плевать. Отец развода ей не дал, все надеялся, что она к нему приедет в Калифорнию. А мать плевала и второй раз вышла, за комиссара. Отец переживал, писал письма, просил приехать. Потом Голосовкер этот. Я отсылала деньги обратно, хотя мальчики мои голодали.

— Ба, ты сейчас от меня хочешь что?

— Отвези меня в Лос-Анджелес, — сказала Сима и глаза ее наполнились слезами.

Мишель при этих словах повернулась ко мне с поднятыми бровями. — Хорошо, ба, — простонал я, — обещаю, мы поедем с тобой в Лос-Анджелес.

Сима кивнула и улыбнулась:

— Когда я настигла носильщика, я обернулась. Старик стоял и смотрел мне вслед. Красивое, благородное лицо!

Она так же неслышно, ступая с носка на пятку, вышла.

Мишель округлила глаза:

— До LA шесть часов минимум, — прошептала дочь советского шахматиста, попавшая в США еще младенцем.

Я знал, что моя старуха дверь закрыла неплотно и теперь стоит, прислушивается к нашему разговору. — Но сюда-то она как-то доехала, — сказал я.

Мишель пожала плечами и время снова стало вязким и медовым, постепенно смешиваясь с морским привкусом тумана, к которому присоединялось наше дыхание.

Наконец Мишель вскрикнула, и еще раз, как вдруг над нами из приоткрытой двери раздался голос: «Миша, не делай девочке больно!»

Я взревел и кинулся закрывать за старухой дверь, когда она бросилась восвояси. В этом доме не было замков, чертов тайванец экономил на всем, даже на сливных бачках, — и тут я увидел, как Сима, метнувшаяся прочь со скоростью перепуганной черепахи,

наталкивается на Аришу, застывшую в коридоре с ночным горшком в руке, — и дальше я полчаса занимаюсь устранением аварии.

Сима спряталась наверху, Ариша вернулась к себе и сидела, как всегда в последние годы, у окна, смотрела в ночь с обычным своим выражением сокрушенного болезнью и тоской человека. Я возился с тряпкой и ведром и поглядывал на нее. Я знал этот ее взгляд еще с детства — я вырос с ней, а к Симе ездил с отцом только на лето набраться солнца и моря.

Сима была хорошим врачом, вечно погруженным в медицинскую литературу, в справочники и журналы, — со временем я понял, что только ум, сознающий свои пределы и желающий их расширить, является по-настоящему профессиональным. Училась она в Перми (в Молотове, как она называла этот город по старой памяти), и на первом курсе медицинского института ее едва не отчислили за любовь к животным. Студентов привели в лабораторию, поставили полукругом у застекленной камеры, куда поместили собаку, а потом пустили туда хлор. Первокурсники должны были стоять и записывать стадии умирания собаки. Сима устроила скандал, истерику, разнесла лабораторию, чуть сама не отравилась хлором, собаку спасла, но ее решили отчислить. Спас ее отчим — старый большевик Семен Кайдалов, бывший комиссар 11-й Красной армии, освободивший Азербайджан от мусаватистского правительства и английских войск под командованием генерала Денстервиля.

Всю жизнь Сима привечала окрестных собак, кормила и лечила: зашивала надорванные уши и порванные шкуры. Часто я видел ее в кресле в саду, меланхолично штопающую шелковой ниткой очередную здоровенную кавказскую овчарку. Псов она обычно звала одинаково ласково: Барсик. Эти церберы в нашем дворе не переводились, не говоря о кошках.

Любимый диагноз бабушки был «симулянтикус натураликус», причем ставила она его безошибочно. Не раз я ездил с ней в трущобы на окраинах Баку, в разбросанные на пустырях «нахаловки», где люди из нищих горных районов жили в построенных без разрешения властей скорлупках, собранных из найденного на свалке хлама, где царили антисанитария и туберкулез, случались холера и тиф, а врачей встречали словно богов. Мне это нравилось: я всегда испытывал враждебность со стороны мальчишек-аборигенов, но не там, не в «нахаловках». Тем более прокатиться рядом с водителем в машине скорой помощи было само по себе счастьем. На прощание Симочка совала мне в ладонь горсть никелевой мелочи.

Сима растила детей в одиночку. Мой папа в детстве страстно завидовал двум своим одноклассникам, у которых были отцы. Последнее, что он помнит о деде, кадровом военном: как он сидит у него на коленях и теребит кобуру. Сима в конце войны была призвана в прифронтовой госпиталь под Могилевом. Она оставила в детдоме двух младших детей — шестимесячную Марину и полуторагодовалого Марка, но взяла с собой старшего — моего отца. Марина вскоре умерла от скарлатины, а когда бабушка забирала Марка в 1945 году из детдома, он еще не умел ходить. Знаю по себе: дети капризничают и скучают в основном потому, что у взрослых что-то не ладится. В госпитале Сима в наказание запирала отца в чулан. Однажды она выволокла его через минуту и, встряхнув, сказала: «Ты так плохо ведешь себя, а у нас папу убили».

О том, что человек и вселенная не разделены границей, я стал думать именно тогда, в первые месяцы жизни в Сан-Франциско, когда увидел, что Сима уходит в какой-то свой особый мир. Что это было — шизофрения или деменция, — мне неведомо. Сима была

счастлива, порой казалось, что этот уход для нее — избавление наяву, что ей никогда особенно не хотелось жить, и теперь открывшийся ей новый мир — мир воспоминаний и слепков чувств, пережитых когда-то, есть своего рода Великий Театр, который искали и обрели наконец герои «Золотого ключика». И тот высокий красивый старик, что привиделся Симе на ступеньках Бакинского вокзала, как раз и был обитателем того нового мира, что овладел ею — и мной заодно.

«Войну и революцию везешь на Дикий Запад, смотри за ними в оба», — напутствовал меня в Шереметьево отец, и я вспомнил, что Арина — 1905 года рождения. Отец планировал остаться в Москве сколько понадобится: мать тогда чуть не померла, ее внезапно прооперировали за два дня до назначенного отъезда и собирались оперировать повторно. Отменять наш караван за океан и через континенты было невозможно; к тому же в Калтехе меня ждала аспирантура. Как я собирался продержаться почти в одиночку на чужбине с двумя бабками — одной уже тайно спятившей, но пока еще не обнаружившей безумие, а другой — слабой, как соломинка, — думать было некогда, поезд уже тронулся, и надо было успеть заскочить на подножку.

Летели мы через Анкоридж. По аэропорту я катил инвалидное кресло с Аришей, она боялась пути, но твердо решила лететь, чтобы не обременять больную дочь. Сима ковыляла за нами, прижимая к груди обшарпанный чемоданчик с документами, фотографиями, письмами и тетрадями-памятками. В них содержались скрупулезные перечисления событий, дат, личных и исторических, все, что могло бы помочь ей восстановить в случае очередного провала памяти свою личность. Она испещряла листки в клетку с момента, когда начала терять долговременную память. Делала она это своим нечитаемым медицинским почерком, разобрать который были способны только фармацевты и ее сыновья. Чемоданчик замедлял наше передвижение, но Сима наотрез отказывалась уложить его вместе с моими двумя баулами, набитыми книгами.

Аэробус был полон стариков и медиков, казалось, мы попали не то в госпиталь, не то в санитарный поезд. От страха и ответственности я срочно напился вместе с одним кардиологом, сопровождавшим с реаниматологами наш немощный спецрейс. На середине пути Ариша, когда я снова плелся мимо нее меж рядов, заполненных встревоженными, спящими, осовевшими лицами, потянула меня за рукав. Она плакала. «Миш, куда ж мы едем? На кудыкину гору?» Я боялся, что она увидит, в каком я состоянии, и хотел ускользнуть, но буркнул: «Куда, куда... Все будет нормально, ба». Но тут я стушевался и сел рядом. «Может, вернемся?» — хрипло спросила Ариша. Я хотел было ответить, но не смог и сам заплакал, не стыдясь уже своих пьяных слез. Тогда Ариша погладила меня по плечу и сказала: «Поспи». И я заснул, положив голову ей на колени, как когда-то в детстве, когда летом ехали с ней в Харьков в общем вагоне.

В Сан-Франциско дядя Марк, бывший инженер-химик, замешивал эмигрантскую квашню хлеба насущного на слезах и поте, добытых сантехническими работами. Он называл себя со стыдливой гордостью «золотарем» и прибавлял, что мал золотник да дорог, а отец подшучивал: «Дерьмо к деньгам, Марик, терпи». Марк встретил меня подарком — огромным Buick Station Wagon с застучавшим уже мотором, который мне предстояло капитально перебрать. В багажнике лежала пачка перетянутых шпагатом журналов Playboy и Penthouse. Однако в мои 23 года я еще не понимал, ради чего существуют фотографии обнаженных женщин. Восьмицилиндровый «бьюик», буковой масти, с пружинными кожаными диванами, похожими на спины бегемотиков, был огромен и красив, как двухмачтовая яхта. На шоссе он не мчался, а плыл, но в поворотах был валок и чересчур раскачивался на рессорах при занятии любовью.

Марк был младшим любимым сыном Симы. Каждый день после работы он принимал душ, ужинал и спускался к матери. Но однажды она его встретила, смущенно улыбаясь, и заговорила о Голосовкере, снова рассказала о встрече с ним на вокзале. Марк кивал еле живой, ничего не понимая от усталости, и тут Сима его спрашивает: «Ты кто? Марик или Ося?» Но Марку было все равно, прибитый жизнью и усталостью, он не стал расстраиваться — ведь мама была с ним рядом и в безопасности. Уж на что я тогда был юн и впечатлителен, но и то начинал догадываться, что безумие не самое страшное: главное, чтобы не было больно.

Когда однажды утром через несколько недель после случая с Мишель я проснулся, передо мной сидела Сима. Она была в чистенькой блузке, с повязанной косынкой и будто снова находилась в дороге — обнимала свой заветный фибровый чемоданчик, со всеми архивными пожитками. Поверх него Сима держала фотографию своего отца: портрет в три четверти, темноволосый импозантный дядька с окладистой бородой, в тройке, с дугой часовой цепочки.

Ариша тоже была здесь — сидела у окна, смотрела безучастно в сад. Не надо было быть мною, чтобы понять, что старухи что-то задумали.

Видя, что я открыл глаза, Сима торжественно зачитала надпись на обороте фотографии: «Дорогая жена моя, Генриетта. Посылаю вам свой портрет. Надеюсь, ты все еще сможешь меня узнать. Новостей у меня не много. В прошлом году я стал совладельцем Neft Jewelry, где проработал 12 лет. А этой весной приобрел пять акров апельсиновых плантаций неподалеку от Pasadena. Я буду рад, если Симочка надпишет мне открытку по адресу 1539 Pleasant Avenue, Los Angeles. Будьте здоровы. Post Scriptum. Вчера ходил к нотариусу. Если ты сохранишь Симочке мою фамилию, она сможет получить по моему завещанию. 28 мая 1929 года».

Сима многозначительно взглянула на меня вместе со своим отцом и спросила:

— Мишенька, поедем, да?

Я застонал, повторяя интонацию Гиты Исааковны, и снова закрыл глаза. Я давно не жил с обеими старухами — с тринадцати своих лет, когда сгинул в интернате, потом в институте, в аспирантуре. И вот сейчас детство возвращалось навыворот: теперь не старухи заботились обо мне, а мне приходилось учиться принимать в них участие.

И тут на меня что-то нашло, что-то повернулось горячо во мне. Не знаю, сострадание ли к маленькой девочке, оставленной матерью без отца, или мучительно жалкое, страстное желание обрести родственных покровителей на чужбине, холодной, как космос, — этакое отчаянное желание нащупать в новой неведомой еще пустоте дно, хоть какое-то основание, которое даже не чтобы можно было попытаться обрести, но от которого хотя бы можно было оттолкнуться.

Я открыл глаза и сам не узнал свой голос:

— Поехали!

Серафима кивнула и приложила фотографию отца к губам.

Но тут прохрипела Арина:

— Я одна не останусь.

— Она одна не останется, — подтвердила Серафима. — Я говорила с Голосовкером, он велел ехать всем вместе.

Через час мы уже выехали из города, миновали южный его пригород Дэли Сити и запетляли ввиду стальной размашисто холмистой равнины прибоя по скалистому берегу, на запад от которого за багряной полосой заката простиралась великая нежилая пустошь целой земной полусферы — Тихого океана.

Множество раз мне впоследствии доводилось проезжать те места — до Хафмунбэй, до Монтеррея, где на скалах кипят колонии сивучей, где из волн показываются самурайские флажки — плавники касаток, или киты, вспучивая горы воды, пускают оглушительные фонтаны, перевертываются на рифленое свое брюхо, скользя под катером, пугая залпами брызг туристов, — и катер, качнувшись на поднятой левиафаном волне, устремляется к берегу.

Дорога вдоль океана — Первый хайвей — стремится, карабкается, спускается и закладывает серпантины по направлению к Санта-Барбаре. Добраться по нему до Лос-Анджелеса могли бы всерьез попробовать только Бонни и Клайд, им было все равно: влюбленные часов не наблюдают. Сочетание отвесных скал, океанского прибоя, вересковых холмов и неба отпечатывается на сетчатке. По Первому надо ездить глядя в оба: он чересчур извилист и увлекает по сторонам видами, здесь часты туманы, поскольку холодное течение вплотную подходит к побережью. С холмов в сумерках и на рассвете струятся реки белой тьмы. В одну из них я как-то спустя годы влетел уже в потемках: капота собственного не вижу, а на спидометре 60 миль в час.

Серафима сидела рядом со мной, все так же держа на коленях свой чемодан и разглаживая на нем ладошками фотографию отца. Я косился на нее и думал, что вот эта безотцовщина, глодавшая ее в детстве, передалась и моему отцу. Дед, муж ее, был убит на Втором Белорусском — далее все это перешло родовой травмой ко мне. Вдруг я почувствовал жалость — к ней, к ее отцу, к его внуку. И обида моя на моего собственного отца, занозившая когда-то мне какую-то неясную область сознания, стала отступать. Необъяснимо я почувствовал единение с Симой в ее сумасшествии, сильней сжал руль обеими руками и поддал газу.

Ехали мы молча, радио ловило через пятое на десятое, и наконец, когда мы поднялись особенно высоко над океаном, я не выдержал и спросил, повернувшись к Симе: «Ну как, ба, красиво?» Я не рассчитывал, конечно, что Серафима выйдет из своего встревожено-мечтательного состояния. Очевидно было, что она волнуется перед встречей с неведомым прошлым. Но она повернулась ко мне, и я услышал: «В двадцать шестом году мы жили во Владикавказе. Отчим взял нас с матерью в командировку в Тифлис. Ехали мы по Военно-Грузинской дороге. С тех пор мое сердце занято».

Иногда я посматривал на крохотную Аришу, почти затерявшуюся в кожаных просторах «бьюика», в зеркало заднего вида и видел, что она снова плачет. Слезы блестели в морщинах у рта, и она, как обычно, неотрывно смотрела в окно своими выцветшими от катаракты глазами.

— Я кушать хочу, — сказала моя кормилица.

Мы пообедали в Хафмунбэй — в курином царстве KFC, где я рассмотрел карту внимательней и понял, что если мы немедленно не подадимся вглубь континента на 101-ю дорогу, то до Лос-Анджелеса за день не уложимся. Так что через час мы перевалили через хребты складок шельфа и вновь выровняли свой курс на юг. Снова я тревожно посматривал то на старух, то на портрет прадеда, некогда пересекшего полмира и прибывшего морем через Йокогаму на Западное побережье. Его взгляд, пристально нахмуренный, будто его обладатель стоял впередсмотрящим на носу корабля, придавал мне решимости, и больше я не обмирал от груза ответственности за старух и не думал о возвращении.

Каким образом нам удалось доехать и вернуться — ведомо лишь провидению.

Плезант-авеню оказалась расположенной у одного из самых старых шоссе Лос-Анджелеса — Санта-Ана, узенького двухполосного желоба с короткими разгонными

аппендиксами: когда это шоссе проектировали, по городу ездили допотопные черепашьи «форды». Дом прадеда находился в некогда респектабельном районе, который теперь был заселен средним классом. Белье, конечно, там не полоскалось на ветру во дворах, но и среди машин, стоявших перед домами, не попалось ни одной BMW.

Наконец, дом 1539 был найден, и с этого момента берут отсчет двенадцать часов, что оказались, пожалуй, самыми необычными в моей жизни.

Дом прадеда был одним из двух нежилых особняков на Плезант-авеню. Стоял он на насыпи, вероятно, образованной когда-то при строительстве шоссе. Заросший лиловой бугенвиллеей, клематисом, олеандрами, сокрытый деревьями с раскидистыми кронами, с вывеской на заборе For Sale и с телефоном маклера из Fred's Real Estate Enterprise, он был выставлен на продажу. Ушко калитки было замотано проволокой. С ней я справился, и мы со старухами поднялись по короткой террасе к крыльцу. Симу, казалось, дом не интересовал, она сосредоточенно цеплялась за перила и торопилась подняться. Ариша еле передвигала ноги, и я давал ей отдышаться после каждой преодоленной ступеньки.

Окна были кое-где повыбиты, а флигель увешан сплетением незакрепленных проводов. Я оставил старух у крыльца и обошел двухэтажный, крашенный голубоватой потрескавшейся краской дом, принадлежавший с тех пор, как прадед умер в 1952 году, еще трем-четырем владельцам. Ничего примечательного я не обнаружил, но чуть не провалился у флигеля в небольшой, заросший по краям травой бассейн, накрытый низкой кроной огромного фикуса и засыпанный почти доверху сухими листьями.

Когда я вернулся, Ариша сидела в обмороке на ступенях.

Сима держала ее за руку и с суровым выражением лица сосредоточенно вслушивалась в пульс.

Я перепугался не на шутку.

— Герасимовна, вы не имеете права помирать, — сказала строго Серафима и открыла чемодан, из которого извлекла стетоскоп, пузырек нашатыря, гильзу с нитроглицерином и манжету для измерения давления.

Ариша слабыми губами послушно взяла из ее пальцев таблетку и снова закрыла глаза. Сима намотала ей на руку манжету и энергично принялась пожимать грушу манометра. Мы перевели кое-как Аришу во флигель, оказавшийся гаражом, и уложили на автомобильный диванчик, снятый с какого-то четырехколесного раритета. Сима устроила ее ноги повыше головы и села с ней рядом.

Понемногу Ариша пришла в себя.

Я метнулся в KFC за куриными ножками и через час, когда уже стемнело, мы втроем с аппетитом перекусили. Ехать обратно по темени было нереально: мутные фары «бьюика» светили не дальше собственного бампера, и я принял решение заночевать. Сима устроилась на другом автомобильном диванчике среди какой-то рухляди, тщательно заправив под обивку выбившуюся пружину. Я принес из машины одеяла, спальник, «пенку», укрыл старух, постелил себе и снова скользнул за калитку, чтобы позвонить Марку.

— Идиот! — рявкнул Марк в ответ на мою мольбу не сообщать ни о чем отцу и бросил трубку.

Когда я вернулся, старухи спали. Завалился и я, но еще поворочался, пытаясь сообразить, что этот день значит для меня. Ничегошеньки я тогда не понял и не очень понимаю до сих пор, кроме какой-то невыражаемой словами важности.

Впоследствии я множество раз бывал в LA из-за Мишель, которая переехала на кампус UCSF завершать свою прерванную постдокторантуру. И, надо сказать, я не то что не

полюбил Лос-Анджелес, я продолжаю его остерегаться. Для меня он отчего-то, с момента того моего первого визита с моими старухами, весь тонет в черно-белой затертости, в ливне царапин на старой пленке. Люди, с которыми мне приходилось встречаться в LA, отступая в памяти на полшага в прошлое, с неизбежностью оказываются преданы забвению в каком-нибудь заброшенном доме, засыпанном гремящими под случайным всплеском ветерка сухими листьями. Весь LA именно что затерт, новострой в нем почти не заметен. Дом, когда-то принадлежавший моему прадеду, давно уже продан, снесен, а на его месте стоит стеклянно-бетонная вилла, крытая настоящей красной черепицей, с изящным реечным навесом над новеньким бассейном, у которого обычно нежится пожилая загорелая пара.

В ту первую ночь я проснулся от нестерпимого желания отлить. Едва успел выскочить наружу и, пока струя не ослабевала напором, я смотрел на потемневший под крышей от зимних дождей дом с бельмами пыльных окон, залитых лунным светом. И тут я увидел, что на ступенях кто-то сидит. Холодок пробежал меж лопаток. Это была Сима. Только я оправился и хотел было к ней подойти, как раздался шум мотора, и у калитки остановилась машина. Из сада было не разглядеть наверняка какой марки, но, судя по тарахтящему звуку двигателя и силуэту, это был винтажный «форд» 1930-х годов. Распахнулась дверца, и с водительского кресла поднялся высокий человек. Я чуть не присвистнул от предчувствия, пронзившего меня. Человек был в шляпе «борсалино» и старомодном широкоплечем плаще, какой носили гангстеры у Копполы. Он открыл пассажирскую дверь, и из нее вышел бородатый мужчина. На нем был костюм-тройка, он опирался на трость. Он шагнул к калитке, и высокий поспешил перед ним ее открыть. Я увидал, как Сима торопливо спускается им навстречу. Я не мог пошевелиться от объявшего меня страха. Я даже беспомощно подумал, что хорошо, что я уже облегчился.

Бородатый обнял Симу, расцеловал, и они постояли минуты три, что-то торопливо говоря друг другу. Бородач отступил на шаг от нее, и я увидел, что глаза его блестят. Тут Сима протянула ему какую-то картонку. Он взглянул на нее и передал высокому, который приподнял шляпу, поклонился Симе, взлетел на ступени и взял чемодан, который она оставила без присмотра единственный раз за все путешествие. Бородач снова обнял Симу и поспешил вслед за высоким стариком вниз к калитке.

Наконец, я оттаял от ужаса и кинулся к террасе. Но не успел сделать и двух прыжков, как подо мной разверзлась пустота, и я рухнул со всего маху в перину сухих мертвых листьев, задев подбородком край бассейна.

Когда я выбрался сначала из нокаута и только потом из ямищи — их и след простыл.

Но я до сих пор — вы слышите? — я до сих пор слышу тот удаляющийся разболтанный, тарахтящий звук карбюраторного мотора.

Сима сидела на ступенях. Она плакала и улыбалась. Я сел рядом, все еще озаренный искрами, посыпавшимися из глаз при ударе. Как я только еще не сломал себе челюсть — не знаю.

Что-то в ту ночь произошло с Симой. Было ли это окончательным штурмом осадившей ее болезни или потрясением от случайного грабежа, в результате которого она была сломлена утратой фотографии отца и архивом — самым ценным, что у нее было, что составляло последний оплот ее ускользавшей из реальности личности и убившей в ней остатки разума, — я не знаю. Отныне она не произнесет ни одного членораздельного слова. Тихая улыбка счастья не оставит уголки ее рта. Проживет она еще долго, лет десять, но через год совсем перестанет узнавать сыновей.

Один из моих приездов к родителям случится за месяц до ее смерти. Я заеду к ней в Jewish Home и просижу рядом с уже высохшей, хрупкой, как пташка, Симой несколько минут. А когда встану и нагнусь ее поцеловать в последний раз, она вздрогнет и испуганно отстранится. Один врач мне потом скажет, что эта реакция людей, уведенных в небытие болезнью Альцгеймера, означает чудо: мощный всплеск исчезнувших эмоций.

В Сан-Франциско мы вернулись на следующий день только глубокой ночью. Сима теперь была мне не помощница. Ариша падала несколько раз в обморок, чемодан с аптечкой куда-то делся, и я подумывал о том, чтобы завезти старух в больницу, но что-то — вероятно, трусость — меня остановило.

В дом мы пробрались через окно, Арину я внес на руках.

Уложив старух, я вырубился и проспал до вечера.

Вечером меня разбудил звонок отца: он сказал, что маме сделали повторную операцию и что все в порядке. Когда связь оборвалась, я услышал хриплый голос дяди: «Поднимись».

Наверху я увидел сидящих за столом Ирку с Марком. Они сидели с потемневшими лицами. Ирка взглянула на меня заплаканными опухшими глазами и спросила: «Есть хочешь?» Прошлой ночью умерла во сне Гита, завтра похороны, дети сейчас у Иркиных сестер. Ирка снова стала плакать и протянула без сил руку через стол. Я увидел, что она перебирает горстку каких-то камушков, лежавших перед ней на пожелтевшей тряпице.

Это были несколько телесно-розоватых полупрозрачных сердоликов и шестигранный потрескавшийся стерженек горного хрусталя.

Я посмотрел на Марка.

Сокровище Гиты оказалось детским секретом из крымских камушков, который ее сестры привезли перед войной из Феодосии и закопали в саду. Это за ними она ездила на родину и потом хранила всю жизнь, видимо, постепенно уверяясь в том, что это бриллианты и изумруды, которых она никогда не держала в руках.

Ариша сохранила относительную ясность ума до последних своих дней. Пока я летел к ней, начав пить еще на пересадке во Франкфурте, пытался накорябать в записной книжке все, что помнил из ее рассказов, слышанных мною в детстве. Не знаю, куда делись эти мои пьяные каракули.

Точно могу сказать, что Аришу все любили. Она ни о ком не говорила плохо, не желала никому зла и гордилась этим. Она была смешливой, и даже когда немощь вдавила ее в землю, просила мать поставить ей кассету с записями Жванецкого. «Нормально, Григорий? — Отлично, Константин». Помню истории из ее детства, из крестьянской жизни, которой мне не удалось наблюдать нигде и никогда. Помню про куриные яйца в подоле, подобранные ею, девчонкой, на соломенной крыше, где несушка устроила кладку: Ариша забралась и с ними съехала вниз, перебила и в подоле успела донести до чугунка. Помню про то, как ребенком братья оставили ее после сенокоса на стогу, и она проплакала от страха полночи, глядя сверху на стаю волков, подобравшихся к стогу с полей, пока не примчался верхом старший брат и не отогнал волков выстрелами. Про то, как она улепетывала от племенного быка с кольцом в ноздрях, перелетев через ограду в два раза выше ее роста; про то, что в колхозные начальники попадали исключительно «пьяницы и лентяи», которые потом во время голода особенно лютовали при конфискациях. И про то, как умерли у нее на руках муж, мать и двое ее детей, про то, как умиравший свекор попросил сходить к одному из его сыновей, имевшему родство с председателем колхоза, попросить хлеба, а тот не дал, и она вернулась с пустыми руками, и свекор, увидев, что она ничего не принесла, не стал спрашивать, а только вздохнул — в последний раз.

Ариша после голода уехала в Баку и вышла второй раз замуж, вырастила маму, переехала к ней в Москву, где растила и нас с сестрой. Потом она оказалась в Калифорнии и застала правнука. И вот теперь мы едем всей семьей ее хоронить.

Сестра за рулем, я рядом, с грузом суточного перелета под глазами, мать с отцом мрачные и вымотанные. И вдруг сестра рассказывает, что, когда заказывала гроб и прочее, ей по телефону управляющий похоронной конторы сказал напоследок: «Ок, заметано, мы подадим вам белую лошадь».

Едва живая, сестра не поняла сразу и не переспросила, что это за белая лошадь, при чем тут лошадь вообще, и положила трубку. Но ночью проснулась от ужаса: ей снилось, что через весь город мы везем любимую Аришу на повозке, запряженной белой клячей. Мимо мчатся машины, Ариша сидит, свесив ноги, смеется и качает головой: «Нет, не доедем!»

Сестра подскочила, разбудила мужа, послала его спать к сыну и приехала к родителям рассказать про то, что по ее вине хоронить Аришу мы будем на телеге. Мать, ничего не поняв, расплакалась, а отец задумался и спросил:

— Хорошо. И кто из нас кучер?

В восемь утра сестра позвонила в похоронную контору.

— Простите, но мы решили, что не можем на лошади везти нашу бабушку на кладбище.

— На лошади? На какой лошади?

— Вы сами вчера сказали — на белой.

На том конце примолкли, соображая.

— Но «белая лошадь»... «Белая лошадь» — это катафалк! Это словечко такое специальное, дорогуша, понимаете?!

Аришу похоронили на участке, примыкающем к военному кладбищу.

Три года назад, гостя в Калифорнии, я заезжал к ней по дороге из LA — из странного, загадочного города, в котором нам довелось с Аришей побывать вместе. В тот день за оградой хоронили солдат, погибших в Ираке.

Когда я уходил, за моей спиной прозвучали оружейные залпы.

2015

ГОРЛО УШУЛУКА

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. — кричал вслед Максим Максимыч...

М. Лермонтов. «Герой нашего времени»

Никогда я не представлял себе жизни без походов. Многотрудное соитие с ландшафтом всегда было необходимой составляющей распорядка.

Тем августом в четвертый раз мы распутывали на байдарках выход в Каспийское море. Пройдя Сарабалык, с трепетом вошли в бронхи Дельты. Шел двенадцатый день наших плутаний в ериках и протоках. Двенадцать раз расплавленное солнце, дрожа, подымалось над кружевом воды, тонувшим в чащобе. Пятый раз я возвращался к завтраку, приструняя за собой по мелководью сазана на кукане. Сильная рыба раскрывала мясистые губы, взбрыкивала и, захлопав хвостом, танцевала меня на глубину.

В этом отпавшем от мира водном лабиринте, перемежаемом то плавнями, то степными, то лесистыми островами, пространство казалось сгустившимся до существенности отдельной вселенной. Здесь, то попадая в ловушки заросших чилимом проток, то

отбрасываясь назад сильным встречным течением, можно было месяц петлять в пределах лишь нескольких квадратных сантиметров карты.

Нас было четверо; увлеченные каникулярным роздыхом, беззаботностью и рыбной ловлей, мы никуда не спешили. Все уже свыклись, что и в этом году нам моря не видать.

Один я все пробовал воду на вкус — не стала ли солоновата. Образ Персии — тревожная близость потустороннего мира солнечных призраков и неясных наслаждений — представал предо мной, когда ночью я выходил из палатки, и голова моя плыла среди звезд.

В каждом раскате я предчувствовал свободный ход взморья, крутую зыбь. Волна заламывала нос байдары, каркас скрипел и трещал, брызги горечью хлестали по губам, и весло на слете черпало воздух. Но скоро нас вновь обнимала стена зарослей, и мы снова шли вдоль, рыща вход в верную протоку.

Все шло своим чередом. Мы всласть загорали на широких отмелевых косах, испещренных заливными ямами, бухточками; объедались арбузами и помидорами, которыми затоваривались на встречных фермах.

На отмелях царило солнце. Черепахи плавали в нагретых ямах. Черепашата скусывали с панциря мамаши нити водорослей. Мы ловили песочных ужей и кормили их малькамии, которых сцеживали из тех же ям. Ужи раздувались вдвое и после не хотели уползать от кормушки. Впереди у нас еще был тихий сентябрь в Крыму, напитанный горным теплом, как виноградная гроздь — солнцем.

И все-таки одна мысль время от времени омрачала мою беззаботность. Перед отъездом я не попрощался со своей девушкой. Мы были в ссоре. На вокзале в Саратове я сумел пробиться на переговорный пункт. В душной кабинке, прижимая к уху раскаленную трубку, я услышал ее молчание. Свист и потрескивание соединяли наши миры крепче крика.

Наконец я услышал:

— У меня будет ребенок.

Прошив вокзальную толчею, я впрыгнул в вагон уже на ходу. Остался в тамбуре, закурил. Поезд тянулся через Волгу. Прорва черной волжской воды, заваленной отражениями низких несущихся облаков, открывалась внизу. Вдали многокилометровой синусоидой пролетов шел автомобильный мост. Луна неподвижно бежала перед глазами.

Тогда впервые в жизни я испугался смерти, вдруг затрепетал всем существом. Раньше я был уверен, что не боюсь умереть, что если бояться смерти — не хватит сил жить. В походах я бравировал этим своим безразличием. И вдруг сейчас мне панически захотелось жить, остаться в живых — несмотря ни на что. Теперь ясно, что еще никогда я не был так близок, так готов к смерти, как перед тем походом. И новая жизнь, ради которой я должен был существовать во что бы то ни стало, столкнула внутри меня падучий камень. Отныне живое во мне вступило в смертельную схватку с небытием. И в этой борьбе я едва выжил.

Все пока шло своим чередом. Рыбалка на заре, завтрак, сборы, дневной переход, выбор стоянки, вечерняя ловля, ужин, мертвый блаженный сон.

И вот при разгрузке байдары я уронил в реку последнюю пачку соли.

На следующий день я сам вызвался сходить на ферму «Рассвет». Судя по карте, до нее было шесть-семь километров и за два часа я легко мог восполнить утрату.

Мы стояли на острове, образованном двумя мощными протоками. Формой он напоминал сжатое сердце. В его узком окончании к общему потоку присоединялся третий мощный рукав — Ушулук. В месте стечения рыскала и плясала сильная волна, полноводье валом пучилось в берега.

Не захватив с собой ничего, кроме сигарет и спичек, в одних шортах, босиком я отправился в путь. Судя по карте, дорог на острове было две, вместе они пунктирной петлей выписывали греческую букву «альфа». На одном из ее концов располагалась ферма, на другом заброшенный паром.

Песчаная дорога обжигала быстрый шаг, сбивала ступни. Иногда я заходил в траву, чтобы остудить подошвы.

Степной остров в низменностях был изборожден заболоченными ильменями, по их берегам росли стеной деревья. Обернувшись вокруг себя, уже нельзя было отличить одно направление от другого. Кругом все была степь, травы выше плеча — и вдали стеной то там, то здесь наваливались заросли, которые затем снова сменялись степью.

Приметив смещенье солнца по тому, как оно жжет щеку, висок, я сбавил шаг.

Через час я вышел к месту, где когда-то был паром. Высоко на берегу стоял запрокинутый ржавый дебаркадер.

Река широко неслась, дыша на плесе кругами неба, солнечным блеском.

Я было подумал, а не переплыть ли на ту сторону, чтобы берегом пробраться к Ушулуку, сориентироваться по другим паромным подъездам, найти стоянку рыбаков, — там в позапрошлом году стояла ватага сомятников. Но мне стало страшно, когда представил, что нахожусь на середине — и в обратную сторону столько же, сколько и вперед, а сил уже нет, и паника не дает умерить дыханье, сплавиться, поддавшись теченью.

Я поразился своему испугу. Никогда раньше такая преграда меня бы не остановила: потихоньку, потихоньку, но я бы все равно выплыл.

Развернувшись в обратный путь, я пытался сообразить, где пропустил развилку, вглядывался в редкие следы на дороге: то лошадиные, то собачьи.

Абсолютное одиночество на просторном открытом пространстве сражает сильнее, чем затерянность в чаще. По дороге на траве мне попадались цветные перышки — лазоревые, пестрые. Чтобы развлечься, я стал их собирать.

Наконец, мне встретились мои собственные босые следы.

В отчаянии я сел на дороге. Пересыпая из ладони в ладонь горячий песок, я обдумал свое положение. Песок был тонкий, неудержимо, как вода, вытекал из кулака.

Так ничего и не придумав, отправился дальше.

Но вот в каком-то месте почудилось верное ответвление, и скоро я пропал в травяных дебрях.

Заблудившись окончательно, снедаемый внимательным солнцем, я проплутал весь день меж двух проток, обтекавших остров. Из-за неверной оценки угла падения солнца я спутал одну реку с другой, течение которой направило меня в противоположную от стоянки сторону.

Пространственная ориентация от усталости дала сбой, все направления сломались или скомкались, голова медленно плыла над сочной степью, постепенно кругами подымаясь в вышину, но не обнаруживала вокруг ничего — кроме необитаемых белых пятен, залитых солнцем, как будто мира — внешнего этому острову — вовсе и не существовало.

Впереди меня часто взлетали птицы, с тугим хлопком они перешвыривали себя поодаль, взлетали и снова падали в траву. Каждый раз я спадал с шага и старался забрать в сторону, чтобы не наступить на гнездо. В одном из мест я вышел на поляну, заросшую маками. Пространство пылало вокруг от этих нежных, уже отцветающих растений. Широкие лепестки — с уже дряблым глянцем — ложились в ладонь, как большие влажные бабочки. Некоторые растения уже налились сырыми коробочками, я раздавил две, слизнул молочко и поспешил уйти.

Белоголовый орел-курганник следовал надо мной беспрестанным надзором. Птица плавала восходящими кругами над луговиной, и голова темно кружилась от запрокинутого взгляда.

Дикие кони, играя, валялись в духовитых травах. Почуяв человека, они взметывались, с грохотом кастаньет стакивались копытами — и я обмирал перед их демонической мощью: вспыхнув, кони неслись гнедым ветром, блистающим потоком мышц, стрелами шей. Избегая быть затоптанным, я прятался в тальник у ильменя, на лету распугивая зайцев, фазанов, пушечных коростелей, мгновенных гадюк.

Мои плутания по острову были ласковым мучением. Именно потому, что был увлечен вот этим скользящим ходом по захватывающей дух открытости степного острова, — я и позволил увлечь себя безвозвратно. Я словно бы попал в тревожный мир прозрачности, — который хоть и не отличался от реального мира, но содержал в себе принципиально иную существенность, иное время. Он мог бы, думал я, заключать в себе Хазарию. Древняя страна, некогда сгинувшая здесь, в Дельте, под наносами эстуария великой реки, проходила сквозь меня сверкающими глыбами воздуха, дымным дыханием очагов, ровным жестким ходом пастбищ. Смесь восхищенья и жути переполняла меня. Я не хотел и вспоминать о своем прошлом мире, он словно бы не существовал. Смерть наяву очаровывала меня, и если б друзья тогда меня сыскали, я бы сбежал, чтобы хоть еще немного продлить это ощущение затерянности, попытку проникнуть в забвение.

Я шел и понимал, что именно это мне и нужно было: не быть на людях, а пройтись, вышагать свою мысль, так обеспокоившую меня еще в дороге. Рождение моего ребенка парадоксально то освобождало меня от жизни, то порабощало, задавливало страхом смерти. Или — напротив, мне отчего-то казалось упоительным — отдаться всей этой великой массе природы, лечь в песок, перейти в чистую энергию травы, воздуха, ила, росы, солнца.

Весь день я проплутал по острову и уже предвкушал стремительный закат и ночь, полную звездной жути. Предчувствие снова заполошно захватило меня.

Наконец, уже теряя сознание, кинулся в реку. Пил я, как губка, — всем существом, пил до тех пор, пока вода не пошла из меня обратно, с теплым странным вкусом моего нутра.

Остыв, заметил в стороне небольшой табун. Лошади вели себя беспокойно. Несколько собак — штук пять или семь — вразнобой, играючи и бестолково нападали на лошадей, те вскидывались, неслись, но останавливались невдалеке. Собачки снова кружили, подбирались, и снова лошади, взбрыкнув, отмахивали от них.

На всякий случай я забрался на дерево — на огромную, размером с дом, ветлу. Ветви ее были спутаны космами травяного мусора, занесенного в крону половодьем. Из-за этого дерево было похоже на срубленную голову бородатого старика. Я выглядывал из-под его бровей.

Смеркалось, и комары стали свиваться в шаткие сизые столбы. Все яростней я отмахивался от них веткой.

Собаки наседали, лошади отбрыкивались.

Солнце стремительно садилось над степью, выплескивая в вышину два клинка. С запада на остров наваливался глубокий, бездонный от прозрачности сумрак. Я понял, что вот это — то, что вокруг, — и есть смерть, в лучшем ее виде. Что вот это небытие заброшенности — как раз и есть то, к чему я внутренне так стремился.

Вдруг среди темнеющего неба появились всадники. Их лошади плыли в траве, раскачивая крутые рыжие крупы, омывая их взмахами хвостов.

Я крикнул:

— Эй!

Два степняка подъехали шагом и с любопытством оглядели мой насест.

Молодые крепкие мужчины — один казах, другой, по виду, ногаец, — смотрели строго, за спинами качались дула ружей. Их лица были ясны.

Один, что был повыше, покрепче, спросил:

— Это ты весь остров истоптал?

Степняки рассматривали меня.

Я слез с дерева и рассказал, как заблудился.

Лошади вдали снова шарахнулись.

Ногаец всмотрелся, скинул ружье, засвистал.

Вдруг он выстрелил вверх, и еще, когда лошадь, ринувшись вперед, откинула его на спину.

Собаки прянули и, вытянувшись в линию, рысцой припустили прочь, скрылись в траве.

Казах пристукнул свою лошадь, и та пронесла вперед. Товарищи разминулись, их лошади потерлись головами, обернулись друг к другу.

— Это волки! — подсказал мне стрелявший.

Он был возбужден. Скоро подъехал его товарищ.

— Волки сытые, лошадь их не боится, — продолжил объяснять ногаец. — Волчата подросли, стая теперь их учит охотиться, натравливают на лошадей.

Через пять минут я обнимал казаха и ерзал на тугой лошадиной спине.

Ферма «Рассвет» состояла из остова коровника, двух хозблоков и барака. Над коровником обгоревшие стропила пересекали лиловое, заваленное рыжей рудою заката небо.

Во дворе нас встретили две молодые женщины, по-видимому, сестры. Одна в очках, в джинсах, строгий и внимательный взгляд, волосы подняты в хвостик. Другая — в светлом ситцевом платье, красивая, стройная, с годовалым ребенком на руках.

Я неловко соскользнул с крупа, чуть по щеке ожегшись конским волосом.

Лошадь отступила от меня — и отсвет заката озарил двор, оштукатуренные стены.

Я поклонился девушкам.

Спешившись, парни привязали лошадей и, что-то тихо сказав женам, пропали в доме. Девушки поспешили за ними.

Во дворе громоздилось разное хозяйственное старье: и плуг, и борона, и косилка, и колесный трактор, и аэросани, с деревянным пропеллером, с кабиной, закрытой мутным плексигласом; стояли две ржавые железные кровати с панцирной сеткой. Я слыхал, что зимой в этих краях по замерзшей реке передвигаются на «Буранах» или мотосанях.

Над входом был прикреплен ртутный уличный фонарь, едва брезжащий. Лошади терлись у столба с перекладиной, к которой проволокой был прикручен обрезок рельса.

Я все равно хотел пить и комары меня совсем уже заели.

Я присел на большой плоский камень, похожий на стесанный жернов.

Из дома вышли девушки, та, что была в очках, поспешила ко мне с солдатской рубашкой на руках:

— Наденьте, сейчас я брюки принесу.

Приняли меня любезно: одели, напоили из трехлитровой банки теплой кипяченой водой, откуда я прежде вынул, как бедренную кость, кипятильник; стали расспрашивать.

Руки у меня дрожали. Я боялся, что не удержу банку. С кипятильника капли текли по ноге.

Вытянув литра два и продохнув, я отвечал коротко, девушки ахали — и смеялись: как я так — в одних шортах и босиком — решился заблудиться?

Мне принесли солдатские брюки, я завязал штрипки.

Жены пастухов были прекрасны, как во сне. Точеные фигуры, красивые лица, исполненные достоинства жесты, точная речь. Еще одну девушку, чуть погодя вышедшую из дома, я не сумел разглядеть. Она постояла в тени и снова скрылась в доме. Я только успел заметить ее долгую, ломкую фигуру: как она, выпрямив ногу, отделяется поясницей от косяка, как, запаздывая, подается спина. Мгновенный озноб узнавания тогда коснулся моего лица.

Парня, что повыше, звали Русланом. Другого — Лешей.

Меня пригласили в дом, посадили за стол. Руслан был строгий и осанистый. Леша — худой и улыбчивый. Девушка в очках звалась Айсель, ее сестра — Гуля. Айсель была серьезна, ухаживала за всеми. Гуля улыбалась и ахала и держала на коленях крепкого младенца. Мальчика звали Темирлан.

Ужин состоял из вареной картошки, рыбы, крепко жаренной вместе с чешуей, очень соленой, и чая с печеньем.

Во время чая, когда, смутившись, я не знал, о чем начать говорить, в кухню вошла та девушка. Скромно, глубоко вздохнув, она уселась у входа на краешек стула. Вытянула шею и старалась не смотреть на нас. Она упиралась ладонями в колени, будто готова была тут же встать и выйти, если мешает.

Темирлан, похожий на китайского императора в младенчестве, играл отцовской плеткой, смеялся. Мать пересаживала его с одного колена на другое, он кусал ей запястье, она отнимала, играючи.

Руслан вдруг, ухмыльнувшись, спросил:

— На прошлой неделе волк овцу задрал, пришлось зарезать. Если б мы тебя не нашли, где б ты ночевал?

Подумав, я ответил:

— Я бы вышел к реке, ночевать у воды спокойней. Луна в омуте — соседка.

Казах засмеялся, зажмурив глаза, показал лошадиные зубы:

— Вот волки на водопой как раз ночью и выходят.

Айсель строго посмотрела на мужа, и Руслан посерьезнел:

— Пойдем, рыбу достать поможешь, — сказал он и отложил вилку.

Мы вышли на крыльцо. Леша выволок из сеней корыто, полное спутанных сетей. Втроем мы присели над ним на корточки. Потихоньку выбирая холодную сеть, втягивая ноздрями речную свежесть, мы расправляли кошель, выкладывали на перила крыльца, выпутывали рыб, под руками открывавшихся в путанке серебряными слитками.

— А почему вы волкодавом не обзаведетесь? Хорошая собака всегда в помощь, — сказал я.

— А ты попробуй ее прокорми, — ответил Руслан. — Овчарка за три дня целого барана съедает. А волки за все лето только два раза баловались.

Ткнув окурки в ящик с песком под пожарным стендом, мы зашли в дом.

Во все время мне страшно было взглянуть на эту девушку; что-то повернулось горячо во мне, когда она вошла. Я не знал ее имени и боялся спросить.

Она была и красива, и в то же время лицо ее было неуловимо нескладно, потерянно; взгляд умный, но смущенный настолько, что было неловко пытаться уловить ее зрачки, так как стало ясно: перед ней в воздухе незримо стоит нечто настолько неумолимое, что любое вмешательство человека — кощунством.

В доме тревожно пахло яблоками и речной сыростью.

Сестры относились к соседке по-разному. Айсель привечала ее. Увидев в дверях — как она настороженно остановилась, будто слепая, глядя не на тех, кто сидел за столом, а в сторону, на плиту, на кастрюли на ней, — она тут же подхватилась, встала:

— Садись, садись с нами.

И я видел, как Гуля пожала плечами, пересадила Темирлана и отвернулась.

Во все время разговора девушка сидела неподвижно. Но вдруг сказала, перебив Руслана, сказала громко и отчетливо:

— В прошлом году у займища рыбаки стояли. Один ходил ко мне, москвич тоже. Телефон оставил. Звал: приезжай, — сказав, она не пошевелилась.

Сестры переглянулись. Руслан слегка улыбнулся и отвел глаза. Леша хохотнул, показав две коренные коронки.

Не сразу я понял, что девушка слепа. Красота ее, немного вычурная, выводила взгляд из равновесия. На нее нельзя было смотреть прямо: слишком велика была сила, реявшая перед ее глазами, — ты сам словно бы слеп от избытка зрения. Украдкой взглядывая на нее, я никак не мог поверить, что она слепа. Настолько отчетливы были ее движенья, и только их взвешенность позволяла догадаться, что отношения с пространством у нее выверены, как у канатоходца баланс шага. Я тщательно осматривал ее одежду, оправленную юбку, белую блузку. Все вещи были безупречно чистыми, выглаженными. Господи, ну откуда я взял, что слепцы неопрятны?

— А я в Москве никогда не была, — вдруг сказала Айсель.

Во время ужина разговор так и не склеился. Я был все еще взвинчен, все еще хотел пить, и хоть уже и некуда было, хлебал чай — чашку за чашкой. Руки дрожали, когда я выбирал прыгающие кости из рыбы, которая не лезла в горло. Одеревеневшие икры подергивались судорогой, как у лошади. Мне все казалось, что я еще лечу над островом по грудь в траве, и река до неба вокруг встает неподвижным агатовым валом, рядом с которым жутко от давящей тягости пучины, — и суводь дышит, и солнце садится мне прямо в темя.

Наконец девушки убрали посуду со стола, и Руслан предложил мне посмотреть телевизор.

В темной пустой комнате беззвучно пылал экран, на нем летали гимнастки, объятые алыми струями лент. Я вспомнил, что в эти дни проходит Олимпиада, только никак не мог сообразить, в какой стране.

На полу перед телевизором был расстелен толстый ковер, ноги в нем неприятно утопали.

Заценив гимнасток, парни вышли покурить — я встал за ними.

Со двора к нам собрались три кота и лиловая кривоногая собачка. Спутавшись и потершись, они подались восвояси.

— Ты какого года? — начал я разговор.

— Восьмидесятого, — Руслан хлопнул себя по накаченному прессу, сбив комара.

— Давно из армии?

— Второй год.

— Где служил?

— В Чечне.

— Тяжко было?

— Всяко.

Руслан помолчал, дав понять, что не хочет говорить об этом. Но затянувшись пару раз, решил меня уважить.

— Там это, короче, интересно, когда по улице идешь, сидят старики, останавливают. По-казахски здороваются, спрашивают: как служишь, солдат? Они там все, кто в ссылке на целине был, по-нашему немного умеют.

— А ты где служил? — спросил я Лешу.

— Я в Монино, все два года. Я старше его на пять лет, — кивнул Леша на Руслана и засмеялся. Руслан в самом деле выглядел старше.

— А, знаю. Я там в музее авиации был, в Монино. Когда в школе учился, — вспомнил я.

— Вот как раз там, за ангарами, забор с колючей проволокой; а за ним казармы наши. Мы через музей в самоволку бегали.

— Вот как! — обрадовался я.

— Пошли, за водой сходим, — позвал нас Руслан. Он взял здоровый молочный бидон, а мне сунул в руку ведро.

В темноте, утопая в теплом песке, мы спустились к воде.

Луна дрожала и текла на стремнине.

Я зашел в воду поглубже, подождал, зачерпнул воды, стал переливать в бидон.

— А расскажите мне какую-нибудь интересную историю. Что тут у вас происходило?

— Интересную? — озадаченно переспросил Руслан, — и, задумавшись, вдруг улыбнулся белым от лунного света оскалом.

— Прошлой весной тракторист на спор сюда с того берега переехал. Лед гнулся и трещал, вода аж черная шла, бурлила под гусеницами. Был бы трезвый, точно б провалился. Однако переехал, заснул. Мы его к себе перетащили. А ночью река лопнула, лед пошел, торосы встали выше дома. Трактор тут до декабря стоял, насилу завели его.

Потихоньку мы разговорились.

Я много узнал нового. Например, что свое житье на ферме степняки называют: «стеречь на займище»; что стерегут они второй уже год, потому что в Самбовке работы нет никакой. Что осетр-самец зовется «хлыстом», а икряная самка — «мамкой». Что сомятина на «заготрыбе» идет по тридцать два рубля кило. Что степь леса не лучше — и кабаны еще опасней волков. Что даже днем по острову они никогда не ходят пешком, а только на мотоцикле, или на лошадях, и с ружьями. Что все те змеи, что не ужи, которых мы часто встречали, — все они ядовитые. Что специальный створчатый невод, который ставится в суводи на осетра, называется «рыжак». Что «сомовник» — такая снасть, сомовий крюк на шнуре, снабженном скользящим грузилом: сом иногда «балуется» — рвет из сетей рыбу, вместе с ячеей, тратит сеть, — в таком случае в следующий раз напротив сети ставят сомовник. Что «заниматься металлом» означает бродить по ракетным полигонам у Капустина Яра и собирать части ступеней ракет — для сдачи во вторсырье по выработке ценных металлов: палладия, титана, серебра. На этих ракетных полигонах нет ничего, кроме бугров, барханного оранжевого песка и родовых кладбищ кочевников. И еще я узнал, что здешняя порода лошадей — кончакская; что в Самбовке есть конезавод, чьи наездники регулярно участвуют в скачках на ипподроме в Казани и Саратове. Кончаки — стайеры, более других пород — «орловцев», «ахалтекинцев», «англичан» — выносливы на двойном спринте.

Пока мы разговаривали, у меня перед глазами стояло лицо той странной девушки. Мне казалось, что я всегда ее знал, но никак не мог вспомнить ее облик: казалось, что, возникая перед глазами, лицо словно бы слепило.

Мы вернулись с водой, Айсель перелила из бидона в вываркy, поставила кипятиться белье.

Мы еще покурили на крыльце.

Тем временем Гуля соорудила мне постель. На кровать, стоявшую во дворе, водрузила перину, подушку, простыни — и все это забрала под противомоскитный балдахин, который подвязали на высоких спинках.

Светила луна, так ярко, что каждый предмет во дворе — кирпичи, коса, седло, уздечка — был виден в отчетливых подробностях.

Я побродил по двору, но стало отчего-то неуютно. К тому же неловко так выставлять свое любопытство. Очевидная нищета моих спасителей была чудовищна. Она была бы трагической, если бы особый устой их жизни не внушал уверенность в их силе.

Луна не давала мне заснуть. К тому же возбуждение, все еще владевшее и телом, и сознанием, словно бы приподымало меня над постелью, над сном, подставляя раскату лунного света над всей речной округой, над морщинистым блеском реки, над навалом песков, поросших травяной чащобой. Котенок попробовал подлезть под полог, потыкался, мяукая, в ногах, я не пустил его. Луна все выше наваливалась на грудь, на переносицу, подымая вокруг мертвенные стены строений, почернелое пространство вдали, ведшее к реке, ворох ослепших звезд.

Кое-как я уснул. Луна переместилась в мой сон. Видимо, потому, что несколько раз просыпался, сон был неглубоким.

Вдруг я услышал какой-то шорох.

Девушка вполоборота стояла подле моей постели. Ее сорочку просвечивала луна. Мучительный ее силуэт стоял надо мной в световом объеме тонкой ткани. Поведя рукой, она повернулась.

Я прошептал: «Привет», — и чуть приподнялся. Но вдруг понял, что лучше не шевелиться.

Оцепенело следя за ней, я погружался в транс.

Она то застывала, то делала шаг уверенно, будто притворялась.

Ее поступь длилась вечность.

Повернула за сарай, исчезла. Я остался один. И вот только тогда жуть охватила меня.

Мне не хватало воздуха, я закусил себе запястье.

И я понял. Девушка — лунатичка, ей все, что есть вокруг, — снится, и только сейчас — во сне — она способна видеть. Но как узнать, каково зрение у людей от рожденья слепых, какой мир им дал сотворить Господь? Вот это наложение небытия на бытие, невидимого на видимое — и свело меня с ума.

Я боялся пошевелиться. Закрыл глаза. И только бесконечность спустя я услышал шорох и стук: кто-то спрыгнул с небольшой высоты; шаги слышны почти не были, я не стал открывать глаза, я знал, что скользящей поступью она сейчас пройдет к дому и пойдет вдоль стены, облитой лунным светом. И вот нога ее настороженно повиснет в воздухе — и тень ступни, острая щиколотка, долгий переход к икре — весь этот замерший контур, чуть вкось отброшенный на стену, раскроил мой мозг и остался в нем навсегда.

И я подумал, засыпая: что же мы знаем о лунатизме? Как лунатик видит мир, каково его зрение? И вдруг увидел я весь остров, все его степное море, опрозрачневшее в корнях. Луна освещала все ровным, побледневшим замертво светом. Петлистые сусличьи норы опутывали провалы простора, травы в рост спускались в подземное пространство стеклянных пустот, белесые их космы пили влагу, сочившуюся сквозь пески и ил, — и дальше, у берега, тоже открывалось царство речной глубины, где сомы в ямах текли топляками, висели во сне сазаны, завораживающе пошевеливали плавниками.

И дальше думал я, уже почти свалившись в дрему: ясно, что сон — это мир в той же степени буквальный, сколь и условный. Не потому ли ангелы предпочитают являться именно

во сне — чтобы их не смогли переспросить, чтобы понимали их твердо, без околичностей, которые недопустимы по самой природе сна. У лунатика глаза открыты — и сон его совпадает с реальностью. Сон лунатика, совпадая с миром, вытесняет его, становится прозрачным — так как не отличим от своей идеи — реальности. Да, если вещь свои попаданьем взрывает собственную идею, — она становится прозрачной. Вот почему так желанны незримые, но ощутимые сущности. Вот почему фантастично само стекло, а также — ветербес, прозрачные пчелы, девы с лунным лоном.

Все остальное я помню двояко: смутно — и вместе с тем та чрезвычайная быстрота событий, составивших пищу и плоть моего сознания, потрясенного ими, — от которой эта размытость и происходит — при небольшом усилии останавливается в ракурсе чрезвычайных подробностей, живых настолько, что мне не стоит никакого труда из этого богатства воссоздать еще более существенную реальность, чем та, руинами которой они и являются. Так при стремительном, смертельно опасном падении человек каждый ангстрем вертикали соотносит с отдельным мгновением жизни.

Утром я проснулся всех раньше и, собрав постель, наблюдал, как петух вышагивал по двору рассвет, как шаркал, пыля, как вставал на цыпочки, раскалывал клюв — и, открывшись до нутра, вдруг содрогался всем трубным своим телом, тряся гребешком, хвостовыми долгими дугами перьев.

Со двора стало видно далеко-далеко. Река с низины поднялась, проглянула, понеслась долгим легким блеском. Птицы только-только стали просыпаться в степи, вокруг там и тут вдруг рассыпались щебет, и свист, и барахтанье.

Первым проснулся Леша. Он вышел из дома в одних трусах, потянулся. Широко улыбнулся мне и помахал рукой: повел в кухню пить чай.

Чай был бледный, сладкий, я размешивал его алюминиевой ложечкой; ее ручку сгибали до отказа, затачивали на камне. Еще не проснувшись, я находился в какой-то яркой заторможенности послесонья, когда так легко застыть долгим взглядом на любом предмете, отдавшись прозрачному клею сна. Леша увлеченно зевал, но был бодр и подвижен, предлагая мне то варенья, то лепешек, и вдруг, махнув рукой, открыл один из трех ржавых холодильников, стоявших рядком у печки, достал свернутый плоский кусок вяленного мяса, с желтыми валиками жира.

Он вырвал из цветного журнала странички и на каждую срезал по спиральной полоске мяса.

— Это самый деликатес. Желудок коня, попробуй.

Я аккуратно взял в рот, распробовал и, преодолевая спазм отвращения, проглотил не жуя.

После чего хлебнул чаю и поспешил расспросить об обратной дороге.

Леша смущенно убрал мясо в холодильник.

— Нет проблем, — сказал он, — я провожу тебя до верного места. Оттуда ты сам дойдешь.

Я спросил у него, куда записать ему мой московский адрес и телефон.

— Запомни, — сказал я, — мой дом теперь ваш дом. Приедете в Москву — жду к себе. Непременно.

Леша заулыбался, нашел огрызок карандаша и протянул вместе с крохотной, пустой записной книжкой.

Мы тронулись в путь. Прежде чем выйти, я снял с себя солдатскую рубашку, сложил на край кровати и, снимая штаны, замешкался со штрипком, не развязывался.

Обратный путь оказался отчетливым и понятным. Несколько раз я сокрушался, узнавая те или иные приметные места — скопление кустов, или ближайший рисунок луга: низинку, ветлу на ней, скопище пижмы — желтой кляксой среди волнами повываленных конями трав.

Через час Леша остановился:

— Вон, видишь те деревья? Это берег Тангута. Иди прямо на них. Твоя стоянка выше по течению на полкилометра.

Я пожал Леше руку.

— Давай. Живи, — кивнул он и зашагал обратно.

Отыскав стоянку, я обнаружил своих друзей за шахматами. Большого впечатления мое появление на них не произвело.

— А где соль? — злобно спросил Герман.

— Да ладно тебе, Гера, — хохотнул Власов, передвигая фигуру. — Не посылай его никуда, а то мы тут до октября закукуем.

Ясно было, что напряжение спало и теперь они могут дать себе волю отыграться.

Через неделю мы завершили блуждания и, собрав снаряжение, выбрались на шоссе. Переночевали в Стрелецких песках — среди оранжевых барханчиков, утром приехали на вокзал. В Крым мы собирались попасть через Керченский пролив. Для этого были куплены билеты на вечерний поезд Астрахань — Анапа.

Однако сославшись на срочные хлопоты в Москве, я сошел с дистанции.

Озадаченные друзья всучили мне в нагрузку одну байдарку, сами закинулись в вагон и при отбытии помахали открытыми бутылками пива.

Я заночевал на вокзале. Он был полон, как во времена эвакуации. Группа бичей — две бабы в грубых платках и трое осоловевших парней — сидели неподалеку. Они постоянно громко интересовались отправкой какого-нибудь поезда, показывая всем, что они его как раз и поджидают. Когда время-поезд иссякали, бичи выбирали следующую отправку. Видимо, так они создавали себе уют осмысленности или готовили легенду для ментов, которые могли их прищучить за безбилетную ночевку в зале ожидания.

У меня тоже не было билета.

Вокзал был полон кавказцев, за последние годы подавшихся с Кавказа в Россию. По дороге в Астрахань я выслушал водителя-азербайджанца, который по-восточному сладко хвалил Россию. Рагиб рассказывал, как он готовится к получению гражданства и как не хочет возвращаться на родину.

— Астара — висельный город, понимаешь? «Виселица», если переводить на русский. Там один раз шах всех бунтовщиков повесил. Всех, кто смуту против него учинил, — полгорода вздернул. Такое жуткое место, понимаешь? А я человек веселый, уже всех на этой дороге знаю. Почти все тут мои друзья. Все менты. Потому что умею я с человеком общаться, да? — болтал нараспев томный Рагиб, похожий на актера, играющего злодеев в индийских мелодрамах.

Все пункты ДПС, которые мы миновали, напоминали блокпосты. Непременный шлагбаум, брустверы из бетонных блоков, БМП, ОМОН с автоматами на перевес, в бронежилетах. Уже здесь, в Астраханской области, чувствовалась близость Кавказа. Видимо, именно поэтому по ночному вокзалу милицейский патруль сновал с частотой раз в четверть часа. К тому же кругом было полно топтунов. В основном это были кавказцы, которые,

гордясь своей деловой суетой, а также общительностью и горячностью легко себя выдавали. Тем не менее проворная эффективность их была очевидна. В какой-то момент они появлялись всей кучей вместе с милиционером, и потом вдруг все срывались с места и куда-то мчались врассыпную. Вся эта ночная деятельность меня отвлекала, я не мог заснуть. Наконец я сел в кресло, раскрыл записную книжку, чтобы написать письмо.

Зал ожидания был забит туркменскими цыганами. Они всем табором ехали в Ожерелье, к тамошней цыганской общине. Это были робкие мужики, загорелые до смоли, причесанные, в рубашках с отложными воротничками, в пиджаках, в которых они выглядели неловко присмиревшими. Цветастые их жены и сестры были с детьми, ошалевшие менты беспрерывно проверяли у них документы. Цыгане вели себя примерно, выстраивались в кружок, протягивали паспорта и ворохи бумаг, в которых сами не могли ничего прочесть.

Письмо не сочинялось. Кроме двух строчек, ничего написать не удалось. Зато меня приметил патруль — и на четвертый обход ко мне все-таки подошел капитан:

— А почему у тебя в тетради иероглифы? Арабские?

— Нет, — говорю, — это наоборот. Это еврейские буквы.

— Понял, — мент кивнул и отчалил к своим.

Забрав из камеры хранения байдарку, я выступил в обратный путь.

Днем уже был в Селитренном. А закат встречал на берегу Тангута.

Ночью я жался к реке. Мне все казалось, что с острова придут то волки, то кабанов вынесет. Так и заснул на влажном песке у кострища, под редкий, сонный, но оглушительный бой рыбы на плесе. Один раз сквозь сон я почувствовал неясную острую опасность, но не смог проснуться.

Утром спрятал в зарослях байдарку, умылся, согрел чаю.

Река текла, маслясь блеском. Текла сквозь тысячелетья.

И вдруг громовой топот раздался сзади в зарослях. На песчаный пятачок, на котором я размещался, выскочили два коня. Гнедой и белый, они смыкались грудями, подбивали себя коленами, взметывали хвосты, кусались. Вскакивали друг на друга снова и снова. Вдруг гнедой заржал. Ему ответил белый.

Я уже стоял в воде, готовый кинуться вплавь, как сначала гнедой, во всю раскрывшись прыть, сверг себя с берега в воду, за ним ринулся белый — и вдруг они оба словно бы затихли, скрывшись по шею водой, которую, храпя, мощно расталкивали, приподымаясь при каждом рывке. Волна от их проплыва ударила меня в грудь, я кинулся на берег, вглядываясь, как, сносимы течением, кони слабеют, закладывают дугу, выламываются на отмель, спотыкаясь и увязая, выбираются на берег, подымают морды, взлетают на откос, пропадают из виду.

Сначала я пожил спокойно у воды. Даже не особо прятался. Один раз сам вышел поздороваться с рыбаками. Поговорили. Занесло их с Ахтубы, сами из Минусинска, ловят судака в отвес на лягушонка.

Я не знаю, чего я желал, вновь стремясь оказаться на острове. И если бы знал наверняка, вряд ли бы там оказался. Замедлить время — мне было не под силу. Но прямое, сильное, как солнце, чувство узнавания — какое, возможно, душа испытывает, примериваясь к надолго оставленному телу, — вело меня снова быть здесь.

И только на второй день я выдвинулся в глубь острова.

Все здесь было по-прежнему. Так же орел ходил надо мной высоченными кругами, так же жарило солнце, в нем купались кони, только от травы стал веять какой-то сладковатый странный запах. Временами он доносился прямо из-под ног, но я никак не мог

определить, растирая в ладонях сухие перистые соцветья, чья именно пыльца так мучает меня тлетворным духом.

Как зачарованный я вновь бродил по острову. Наконец вышел на дорогу и стал сверяться с солнцем, выбирая направление к ферме, как вдруг увидел на песчаном откосе чьи-то босые следы.

Я застыл, что-то трудно соображая. Снова и снова прикладывал я ступню, надавливая на шаг разными способами: с носка на пятку, с пятки на носок и равномерно. С мрачной точностью следы ложились один в один. Формы отпечатков пальцев, углы их расхождений совпадали идеально. Скоро я так натоптал вокруг, что перестал отличать старые следы от новых. Это помогло мне прийти в себя.

Дождя не было, это ясно. За десять дней следы как минимум должны были осыпаться. Я двинулся дальше. Следы появлялись то здесь, то там, никогда не идя непрерывной цепью.

Заночевал я в стогу. С вершины его можно было разглядеть тусклый ореол свеченья фермы.

Небо смежило веки, и звездная бездна опрокинулась мне в череп.

Всегда жутко лежать лицом к диску окоема, ночью особенно, до головокружения и жути, с которой упадаешь в прорву созвездий.

Чтобы заснуть, я стал вспоминать названья звезд. Узнал мигающий на излете ковша Арктур. Отыскал созвездие Короны. Она плыла, утопая в белесом мареве восходящей луны.

Я задыхался от душного запаха сена.

Волки появились внезапно, они словно бы втекли. Сначала чернота внизу всколыхнулась неясными змеями. Сгустки темноты петлисто покатились там и тут. С пухлого пружинного стога было плохо видно, но я различил несколько угловатых силуэтов, мигающих желтым стеклянистым огнем.

Я забарахтался в сене, стараясь подняться повыше. Часть стога осыпалась, ушла мягкой опорой из-под ног, я боялся соскользнуть.

Первым завыл тот, что расположился слева в арьергарде.

Только тогда я осознал всю серьезность положения.

Вой холодным широким клинком пронизывал тело.

Рассуждение оставило меня.

Над верхушками деревьев показалась луна, я различил четырех волков и человека.

Двойник мой сидел на земле, остановившийся его взгляд был направлен в сторону фермы. Весь его облик был воплощенной отчужденностью, и, если бы не точное совпадение внешности, я бы опознал в нем незнакомца.

Волки его словно бы не замечали, перебегая в самой от него близости.

Между нами по прямой взгляда было метров десять, не больше.

«Волки-то мелкие. Шакалы, что ли», — мелькнуло у меня в голове. Я закричал:

— А ну, пошли вон! Ату, ату! — и стал бросать в них зажженные спички.

Звери, казалось, приостановились. Я все еще вижу длинную худую морду с прикушенным набок языком, озаренную покатившимся от спички бледным шаром.

Спичками я старался попасть и в двойника. Лицо его было спокойно. Он смотрел себе на коленку. Одет был в солдатскую рубаху и штаны со штрипками. Он повернулся. Другую его щеку перечеркивала царапина. Это преломляло его внешность, и мозг мой зацепился за эту мету, чтобы отличить, уничтожить двойничество.

Волки явно передумали и сдали назад, но вдруг один наскочил на стог и с прыжка клацнул зубами под ногой.

Я рванулся вверх, уже зажженная спичка выпала из пальцев, сено вспыхнуло.

Ногой я старался сбить огонь, но он только рассыпался еще шире.

Скоро пелена огня отделила меня от волков, от двойника, по которому заплясали отсветы пламени. Он чуть улыбался, краешком губ.

Шум пламени опалил меня, стог был охвачен валом белого едкого дыма.

Я прыгнул из огня, покатился, хватая ладонями затрещавшие волосы.

Несколько мгновений я был вне соображенья.

Стог в яростном безмолвии пылал до неба.

Я не чувствовал тела своего. Пекло обожженное лицо, оно словно бы растворялось в дрожащем плавком воздухе, я исчезал, растекался, стараясь проникнуть в спасительную, остужающую темень.

Присев на корточки в стороне, я лихорадочно затягивался сигаретой.

Скоро налетели всадники. Они завертелись, обкладываясь на дыбы, вокруг догоравшего стога, спавшего до малиновой кучи золы.

Я встал им навстречу.

Их лица были стерты гневом и возбуждением от опасности.

Увидев меня, Руслан прибил лошадь, взметнул поводья.

Лошади всхрапывали, глухо перестукивая копытами по земле, вскидывали колени, вращали, закатывали глаза, налитые отсветом пламени; земля дрожала под ногами.

Первый удар пришелся через темя. Второй — между лопаток.

Не давая опомниться, преграждая ходом лошадей путь к бегству, степняки погнали меня к ферме. Голова гудела колоколом, удары плети жгли руки, — я пытался перехватить плеть, скинуть на себя всадника. Но скоро понял, что меня не слышат, — и, прикрыв руками голову, глаза, побежал.

Загнав меня во двор, Леша и Руслан спешились, стали вязать к столбу лошадей.

Женам Руслан крикнул, ударил кулаком воздух:

— Я же говорил, он это, его следы, меня не натянешь.

Ночь я провел вместе с коровой, которая чем-то болела и по временам издавала страшный стон, будто кто-то к ней подходил с ножом.

Я не спал. Петух вместе с полоской света проник в сарай. Он прокричался над моей головой. Птица сверху окатывала меня глазом — то одним, то другим, перекидывала на сторону алый гребешок.

Я отвернулся, опасаясь, что петух клюнет меня в ухо.

Горело лицо, опухшее от ссадин. Правый глаз видел темно и красно. Дрема тихонько сморила меня, и мне приснился двойник. Он лежал на боку среди пылающих маков. Голова его была запрокинута, в остановившихся белых глазах бежали гряды облаков.

Меня разбудил Леша, принесший воды умыться.

После в черном кулаке разжал два пузырька: перекиси и зеленки; дал кусок бинта.

В треугольнике зеркала, в котором дрожал и качался потолок, ныряла коровья морда с надрезанной губой и выставленной на языке глубокой язвой, тянулись пыльные пласты света у стропил, связки сухих трав, ряд разбитых горшков, — я старался выхватить то, что осталось от лица — и выводил по нему бинтом с пенящейся перекисью, лил зеленку.

Дважды навещал меня Леша. От него я узнал о себе многое. Оказывается, пока меня здесь не было, я зарезал овцу — ее без ноги нашли неподалеку от места нашей прошлой стоянки. Несколько дней назад я напал на сестру Леши — Гузель, утащил в заросли на ильмене и продержал до ночи. Полуживая она вернулась и третий день молчит, ничего нельзя от нее добиться. Далее, в двух местах на острове я поджигал сухую траву, едва не сгорел лодочный сарай, еле отлили его водой. Теперь мне, как объяснил Леша, предстояло отработать все убытки. Руслан сейчас очень зол на меня, утром он высчитал стоимость сожженного сена и в сердцах хотел отделать меня батогом. Но женщины удержали.

Все это Леша рассказывал, затачивая и оттягивая на наковаленке косу. Лезвие пело под оселком, я молчал, не отнекивался, и курил одну за другой.

Той ночью ко хлеву приходила Гузель. Она потихоньку стенала, плакала, стучала немощно камнем по замку.

Я шептал:

— Гузель, Гузель, прости.

Девушка не отвечала, только переставала хныкать, и удары по замку прекращались.

За три недели плена я накосил, наворошил и высушил три стога, раза в два выше моего роста. Леша неотступно присматривал за мной. Руслан изредка появлялся посмотреть на работу. Он никогда не заговаривал со мной. И с Лешей помалкивал.

Я видел краем глаза, как он присаживается на корточки, как закуривает; чувствовал его взгляд: я знал, он теряет разумение, вчера снова кто-то зарезал овцу, и третий день вокруг фермы все пески истоптаны босыми следами, я сам видел.

С заходом солнца заканчивая работу, я садился в траву, разжевывал кусок хлеба с солью и смотрел в остывающее небо. Почему-то тревожно было наблюдать сочетание двух разных светов: остатков прямого солнечного, которым еще сочились верхние слои атмосферы — и отраженного луны, осеребрившего подбрюшья лиловых облаков. Казалось, слияние этих двух освещений не было простым смешением, а рождало структуры прозрачности — подобно тому, как краски, сочетаясь по краям мазков, производят невиданные составы цветового объема. Или, точнее, подобно тому, как семейство гласных звуков, произведенных прямым дыханием легких, гортани, — сочетаясь со звуками согласными, отраженными от губ, неба, зубов, — рождают слово. Так вот, прозрачные эти структуры по случайной прихоти — не понять: воображения или восприятия — принимали форму разнокалиберных лодок: шлюпок, шаланд, швертботов, яликов, дубков, байдар, яхт, каравелл. И весь этот скоморошный, ярмарочный флот кружился и таял вверху, будто птичий немой базар, поглощаемый сгущающейся над морем близорукостью сумерек. Множество прозрачных букв-лодок, сочетаясь в слоги, текли, растворялись и вновь сгущались зрением в звуки — некой песни на неизвестном языке.

В ту ночь запылал мой первый стог.

Следующей ночью мы сторожили сено. С вилами в руках я зарылся поглубже в душную сухую траву. Руслан и Леша засели на двух ветлах, росших в отдалении. Посматривая во все стороны, они должны были предупредить меня, мигнув фонарем три раза.

Две ночи, проведенные в засаде, результата не дали. Половину второй я мирно проспал.

В субботу на закате Руслан пришел в хлев. Долго сидел передо мной. Глаза его в прищур поблескивали сквозь дым сигареты.

— Я не знаю. Я видел тебя тогда. Ты лучше в Москву двигай. Понял? — произнес он, кроша в пальцах окурок.

Руслан сунул руку в карман гимнастерки, протянул мне тысячную купюру.

— Спасибо. Я верну переводом, — пообещал я.

— Не надо. — Он встал и задержался в дверном проеме, зажмурившись в туннеле низкого сильного солнца.

Утром я нашел Гузель на кухне. Она чистила рыбу, пойманную накануне. За ночь рыбешки закоснели, она держала их за негнущиеся хвосты, как дощечки.

Услышав меня, девушка сжалась, не обернувшись. Плечи ее задрожали, вся она подалась в сторону, к стене.

Я обнял ее.

Она рванулась, ударила меня от груди по лицу. Взгляд ее, полный слез, был направлен мне в щеку, я чуть отстранился, поймал ее глаза.

— Зачем ты так?.. — прошептала она.

Я отвернулся.

Она шагнула со спины, дотронулась до моей шеи, с виска ощупала лицо и отшатнулась.

Я едва сумел ее удержать.

На следующий день в полдень я подходил к стоянке. Вдруг донесся запах дыма.

Я пригнулся, стал обходить с фланга. Перспектива, оставшись без байдарки, вплавь выбираться к Сарабалыку меня не прельщала.

Я выломился из зарослей на открытое место.

Двойник сидел на перевернутой вверх дном байдарке. Он подклеивал реберный стрингер, когда-то содранный сучком при шварте.

В стороне на углях выкипал чайник.

На мгновенье я замешкался — шевелящееся зеркало суводи направило мне в переносье солнечный луч. В пластах блеска мелькнула морда коня — злой, закусив удила, он рвал прочь из морока наседавшего на него кошмара. Я кинулся ему на шею.

Двойника я настиг только на середине плеса.

Бешенство спурта давно сменилось тягуном, сносимым по теченью. На него раз за разом нанизывались усталые гребки, рот из-под вскинутой руки судорожно кусал воздух.

Напарник мой стал наконец задыхаться, сбиваться с ритма, уже плюхал руками. Крупная зыбь сыпала брызги в дыхательное горло. Я заперхался, подотстал.

Он пытался сначала отбиваться ногами, но и на это уже не было сил у обоих. Прежде чем встать ему на плечи, я ударил кулаком по затылку и крутанул за плечо, чтобы посмотреть в глаза.

Бесчувственный белый взгляд отринул последнюю долю сомненья. Хрипя, я напрыгнул на него, еще и еще, покуда он, всплыв, не обернулся искаженным чуждым лицом — и, прозрачно погружаясь в отражение облаков, стал понемногу отдаляться.

2006

КОСТЕР

Моя жизнь изменилась в тот день, когда жена вдруг задумалась и, глядя в себя, медленно произнесла:

— Мне снилось сегодня, что я мужчина, врач, я ношу пенсне, оно все время спадает, мутные стекла, му́ка с ними, и... я влюблен в актрису, очень хорошую, она смертельно больна, день за днем гаснет, а я люблю ее, должен спасти, но бессилен, и вот я должен сказать ей, что она безнадежна... но не могу, просыпаюсь.

Мы снова ссорились с самого утра, и уже устали обвинять друг друга, надолго оба замолчали, снова поняв, что ни к чему наша ссора не приведет, никакого смысла из нее не родится... И вот эти слова о сне вдруг вырвались у жены; она выпустила из пальцев картофелину, та плеснулась в миску, тыльной стороной ладони жена прижала слезу.

После обеда она отправилась укладывать сына, он капризничал, требовал снова и снова рассказывать истории о больших машинах — такое у нас бремя: сыну нравятся грузовики, бульдозеры, трактора, комбайны, грейдеры, и особенно бетономешалки. Я придумал уже десяток историй, в которых вспахиваются и убираются поля, через леса строятся дороги, наводятся мосты через реки и ущелья; еще в одной истории мы с сыном строим дом, долго ставим опалубку, наконец вызываем бетономешалку, возводим стены... Жена тоже выдумывала свои истории, но более замысловатые, в них машины были одушевлены, носили имена, и занимались чем-то совершенно недоступным моему воображению...

Сын еще не умел говорить, но владел изобретенным им словом «бамба» — и это как раз и означало: Большая Машина.

Жили мы тогда на даче, под звонкий крик «Бамба, бамба!» — я проводил их в спальный домик, стоявший в глубине сада, взял корзинку, нож, спички, сигареты, и отправился по грибы. Всю неделю лил дождь, но вот уже больше суток грело солнце, и я надеялся на начатки урожая. Места у нас глухие — ориентироваться лучше по ручьям, выводящим на водораздел, пунктир которого мне был примерно известен, или по просекам ЛЭП, — но пока еще набредешь. Первые два года, как купил дачу, я еще не был женат, никто меня не ждал обратно — и случалось, без компаса уходил в лес дня на два, на три — отоспаться, надышаться. Но в последнее время работа толком не пускала из города, я еле выбирался в пятницу к семье, пробки на выезде, на трассе у ремонтных участков выматывали, приезжал ночью, и времени и сил ни на лес, ни на рыбалку не было; но вот лето кануло — и в ту субботу я все-таки решил хоть как-то вырваться на природу.

Машину поставил у съезда на лесопилку, вырезал ветку из орешника, и густым осинником стал продираться в свои места — широкий, колонный сосняк, вдруг распахивавшийся, взмывавший после кромешного, бесконечного осинника, такого густого, что временами жуткая теснота схватывала сердце, и если бы я не знал, что где-то впереди в грудь и взгляд ворвется высокий свет в прозрачной розоватой шелухе стволов, я вряд ли б мог совладать с задыханием. Сосняк, шедший по краю неглубокого оврага, принимал шаг по щиколотку во мху, будто идешь по перине. Вдалеке то стонала, то плакала ребенком, то покрикивала бабой, то, как растревоженный ястреб, противно клекотала знакомая сосна. Я шел на этот звучащий маячок, невольно думал о странных словах жены, о ее сне, и вот кричащая сосна осталась по левую руку, я перевалил через овраг, и тут началась охота.

В тот день грибов было прилично (нет ничего вкуснее соленых черных груздей со сметаной) — и часа через три, с приятно нагрузившей плечо корзинкой, я вышел на край

заболоченного луга, присел на перекур. Нарезал лапника, соорудил костерок, засмотрелся на огонь. Сердцевина сентября уже пахла студено, ветер доносил откуда-то издалека отзвук редкого выстрела, через поляну тянулись и вдруг относились в сторону паутинные паруса. Над лугом, медлительно подмахивая, прорезала тугой, спокойный воздух огромная, как в сказке, цапля.

Сон жены не шел из головы, его непонятная тревожность ныла и отзывалась ниже, в груди. Последнее тепло накатывало на лес, рассеянный свет, с размешанной солнечной взвесью, с паутинными лоскутами, горстями вдруг сбивавшихся над головой вуалью мушек (они будто скрывали чье-то прозрачное чело, которое внимательно плыло и улыбалось), — пригрел шею, я запрокинулся на спину, и заснул, к несчастью, глубоко и безбрежно.

В лесу я всегда чувствовал себя по-царски, мысли наконец становились осязаемы, стремились явно, как рыбы в ручье — мало что еще есть в мире более величественное, чем согласное растворение в природе. Оттого и не нравилось мне жить в Америке, что там природа непременно кому-нибудь да принадлежит — то частным лицам, то государству, всюду рейнджеры и сторожа, такое чувство, что ты пришел в храм, выкупленный у Бога, и ходить там с душой решительно негде. А на родине, как выйдешь на окский косогор, присядешь осмотреться, — аж зубы ломит. Не раз я задумывался, почему ландшафт важнее, таинственнее государства; почему одушевленному взгляду свойственно необъяснимое наслаждение пейзажем. Ведь наслаждение зрительного нерва созерцанием женского тела вполне объяснимо простыми сущностями. В то время как в запредельном для разума удовольствии от наблюдения ландшафта если что-то и понятно, так только то, что в действе этом кроется природа искусства, чей признак — бескорыстность, чья задача — взращивание строя души, развитие ее взаимностью. Казалось мне, что тут все дело в способности пейзажа отразить лицо ли, душу, некое человеческое вещество, что тайна заключается в возможности если не взглянуть в себя сквозь ландшафт, то хотя бы опознать свою надмирность. Не потому ли, думал, или тогда мне снилось, — взгляд охотно отыскивает в теле отшлифованного камня разводы, поразительно схожие с пейзажем, что камень, эхом вторящий свету ландшафта, тектоническая линза, сфокусировавшая миллионы лет, даруя взгляду открытие своей ему со-природности — позволяет заглянуть и в прошлое и будущее: откуда вышли и чем станем. Что выделанная взглядом неорганика непостижимо раскрывает весь этот свет души, что струился в бору надо мною, незримо уходил дальше к ярусам древнего ложа Оки, накатывал и всходил по взгорьям, опускался в низины, тянул за собой обозреть весь простор, раздышаться.

Под конец мне приснился сон жены, точь-в-точь, слово в слово, и эти мутные стекла, их застилала молочная облачность, мешала видеть, я склонялся над девушкой, лежавшей в постели, очень бледной, и силился разглядеть лицо, и не мог, но вот я нервно пальцами протер стекла от тумана, узнал жену... и от испуга проснулся. Было уже темно, погода резко переменилась, будто лик природы омрачился резкой болью. Сосны ходили и трещали как корабль, верхушки, в которых свистел ветер, парусами жутко качались по волнам, и сами были волнами, облачная пена серела на гребнях. Я смотрел вверх, в пучину, опрокинувшись по пояс за́ борт действительности, высоко-высоко стыли окрашенные отзвуком заката облака. Ветер заходился порывами, я жестоко зяб со сна, дрожь овладела мной — и не в силах еще окончательно проснуться, я сунул руку в кострище, нащупал на дне слой еще теплой золы.

Вскоре сознание всей серьезности положения вспыхнуло паникой — через осинник в темноте не выбраться, там за лугом незнакомые места, заброшенная деревня — *(нежил.)* — я помнил, значилось на странице атласа-двухкилометровки у домика-иконки.

Как сообщить жене?! — о мобильнике не было и речи, на сорок километров в округе связь только брезжила местами, в зависимости от состоянья атмосферы. За связью я всегда откатывался обратно к трассе, за Арясово, там на пригорке уже можно было если не прозвониться, то кинуть смс-ку.

Стало накрапывать, я затоптал вторую сигарету и решил податься из леса хоть к какому-то жилью, спросить дорогу на лесопилку, к трассе — мне не было боязно за себя, но я безотчетно волновался за жену — не знаю, что мне привиделось во сне, что почувствовалось. Хотя я и успокаивал себя от противного — ничего, мол, пусть испугается, узнает почем фунт лиха, — всякому в детстве приходили в голову игрушечные мысли о собственной смерти и жестоких родственниках, раскаявшихся на панихиде.

Я вывалил грибы и пошел краем луга, но он все не кончался, пасмурность нагнала особенной темноты, я завяз в своем продвижении, постоянно спотыкался, терял границу леса; я не решался идти по открытому пространству, боясь потеряться в нем — и не то, что бы берегся попасть в трясину, а чтобы не вымокнуть по пояс. Но скоро я заплутал в кромешной чаще, чистый лес кончился давно, я ломился через бурелом. Надо было сдаться, заночевать, я залез под ель от заморосившего дождя, но тут вспомнил о машине — как она там, не покусится ли кто на мою бамбу, у меня тоже была своя бамба, я вспомнил сына, его то веселое, то задумчивое личико, как он важно рассматривает цветы через большую лупу, не расставался все лето с волшебным стеклом, ползал за муравьями, тащившими на смородиновый куст стадо тлей — и снова вскочил на ноги. Лес и этот проклятый луг, который я никак не мог обойти, вся непроходимая темень провалилась вдруг разом в нутро, как-то совместилась с душой и телом, и на мгновение я понял, в какую попал ловушку, о которой догадывался наяву, но при свете и черт не страшен. Где красота и правда?

И тут луна прорвалась сквозь облака, взглянула накоротко, и я выдохнул — кругом было только болото, оно раскачивалось пьяным от страха лицом, все безобразное, кочковатое, кривлялось, я брел по нему на ощупь, выбирался на следующий островок, с торчащими облезлыми елками, кустами, топтался на нем, боясь ступить дальше, лес чернел уже далеко, недостижимо. Я еле-еле выломал елку, обессилел, исцарапался, освобождая ее от веток, стал толкать впереди себя шестом, но трясина не прощупывалась. Вроде и твердо, а ступишь — по колено, подсасывает. Я весь запалился, мне бы остановиться, залечь в мокроте до рассвета, а там и распознаться по свету что да как, но куда там — я весь горел идти дальше, все во мне полыхало во что бы то ни стало миновать это болото, прорваться сквозь этот лес куда-то вширь, дать деру... И вот вдалеке, за островками кустов мигнул огонек. Я не сразу был способен поверить — просто бессознательно выбрал его ориентиром, потянулся широким шагом, врезался в кусты, потерял корзину, снова нырнул в зачавкавшую траву, — и вот уже стало ясно, что это большой жаркий костер, я видел пляску пламени, жадно вдыхал лоскуты дыма, луна затянулась облаками, и вдруг я провалился в воду по пояс, выбрался, тут же провалился снова, мне хотелось кричать, я задыхался, выбравшись на кочку и боясь ступить еще.

Заскулила, завыла собака, послышалось движение от костра, грянул выстрел.

Я видел клинок огня, я крикнул: «Эй! Не стреляйте!» Собака залаяла, я кое-как сошел с кочки, нащупал твердое место, выдохнул и собравшись с духом, успокаивая дыхание, вышел к огню.

Костер горел жарко, ветки трещали, взметая горсти искр, широко освещая край луга, взгорок, начало тропинки на нем, скат провалившейся крыши; капли дождя шипели на отвалившихся от кострища головешках. Охотник, крепкий мужик со свекольным не то от ветра, не то от жара лицом оглаживал по загривку пегую, бесхвостую легавую, с какой-то уродливой шишкой на морде, два шрама, глаз почти заплыл.

— Извини, не признал, браток, — сказал, улыбнувшись сквозь не разгладившийся испуг, охотник.

Он бережно зачехлил ружье, пригласил к огню. Приплясывая от дрожи, я долго не решался присесть, сумбурно объяснил, как заснул, как всполошился...

— Да ты бы потихоньку краем шел. Нападешь на засеку, оттуда поплутаешь, да на петрищевский зимник и выйдешь, — охотник показывал мне путь, лавируя в воздухе ладонью.

Собака перестала щериться, и я заметил у костра еще одно существо — пухлую девушку с дурным рябым лицом, она глуповато смотрела на меня, но потом уткнулась в квадратные свои колени, стала ощипывать утку, уже почти голую, но с удивительно живым, еще не замутненным глазом, полураскрытым шершавым клювом.

Я отупело смотрел на движенья ее рук. Она перерезала, сложив, как веревку, шею, с хрустом распорола грудину, вывалила перламутр потрохов, отделила желчную селезенку, подцепила на палку, сунула на угли. Охотник, привстав, тоже внимательно следил за ее действиями, и, казалось, был всем доволен. Запах горелых перьев, теплого мяса стегнул по ноздрям, захотелось есть.

Оказалось, что вышел я к Макарово, заброшенной деревне, шесть домов, живи не хочу; что здесь не то заимка, не то самовольная дача. Отец и дочь, девушка-олигофорен, с началом охотничьего сезона и пока не ляжет снег, бродят в здешних местах, охотятся, запасаются грибами, знаются с егерем. Если сегодня Егор к ним заглянет, захватит с собой обратно до поворота на Парсуки, а там до лесопилки не промахнешься. Только вот, как с дождями Дряща разлилась — кто его знает, может, бурлит, и брод уже не переехать, всю неделю ведь лило.

Я придвинулся к костру, снял сапоги, мокрая одежда скоро задымилась, отходя паром, густо, горячо ногам, спине холодно, щеки разгорелись. Юрий Иванович плеснул мне в кружку «горькой» — и скоро я дивился про себя, как же так я струхнул, какой глупости испугался, ну что разве не видал я темени? Сколько раз наобум ночевал в лесу. Но может души своей испугался? — подумал я вдруг. Но и эта мысль после глотка качнулась в сторону, пропала.

Собаку звали Ланой, у нее был рак, уже оперировали, если месяц протянет — хорошо. Девушку звали Василисой, отец ее стеснялся, был строг («на землю не садись», «отодвиньсь от огня, прожжешь куртку»). Дочь была ему покорна, но медлительна, не сразу понимала — и вот эта заторможенность, какая бывает у маленького ребенка — не то хитрость, не то несмышленость, — напомнила мне о сынишке, и в горло вкатился ком.

Я рассказал охотнику немного о себе, поспрашивал его, как они тут, в лесу. Юрий Иванович отвечал медленно, прежде что-то обдумывал долго, все время смотрел в костер, и вдруг спохватывался, взглядывал на меня настороженно. Вдовец, в городе им делать особо нечего, нанимает место в лавке на базаре, торгует рыболовными снастями, возит из Москвы, этим и пробавляется.

— А чего ты без грибов? Чего порожним по лесу ходишь? — спросил Юрий Иванович.

— Пока бежал, потерял корзину.

— От кого бежал-то? — не понял снова Юрий Иванович.

— Страшно было.

— Ну, значит, испугался, бывает, — согласился охотник.

Василиса, казалось, не слышала нас, сопела и приплясывала от жара костра, поворачивая на палке утку. Я отказался от еды, и смотрел, как жадно, со здоровым голодом ужинают отец и дочь, бросают кости несчастной, тоже голодной собаке. Не доев, Юрий Иванович отдал Василисе кусок и та охотно схватила его, жадно впилась.

Выпили еще, но дальше разговориться не удалось. Вдруг Василиса вытерла руки о траву — и затопала куда-то в темень. Отец будто и не заметил ее исчезновенья. Посидели. Охотник подбросил в костер сырых веток, я задохнулся дымом, закашлялся, отскочил в сторону, и тут увидел вернувшуюся уже Василису — она протягивала мне пустую мою корзину.

Скоро пошли спать. Мне досталось место на сеновале, сена было немного, не для скотины — для лежанки, но кое-как зарылся в него согреться и быстро заснул, чтобы убить внутри время, и поскорей добраться до дому. На рассвете охотник разбудил меня кашлем, постоял, пока очнусь, вывел за деревню, наставил на дорогу, махнул рукой. Туман низко тек по лугу, я быстро озяб и побежал, гулко погромыхивая сапогами.

На трассу выбрался не скоро, и еще долго шел по разбитой мокрой дороге, совершенно пустой в этот час. Шел по стертой разделительной полосе, шел и шел, и вдруг все закачалось вокруг от головокруженья, я лег, вытянувшись на середине дороги и замер. Лес молчал, колея небес, затихшая далекой густой пасмурностью, стояла перед глазами тихо-тихо. Я вскочил и побежал изо всех сил, и бежал, пока не сорвалось дыханье.

Жена сидела на крыльце, читала. Сын возился на ступенях с пожарной машиной, выставлял лесенку и двумя пальчиками взбирался по ней к невидимому огню. Казалось, он и не заметил моего отсутствия, и его совсем не удивил мой взъерошенный, счастливый вид, с каким я прижал его к себе и долго не отпускал вниз, к его заветной бамбе.

2007

Ирина КАРПИНОС

НОЕВ КОВЧЕГ

Корабль «Лорд Черчилль» отчалил от Страсбурга, как только часы пробили полночь. Все поздравляли друг друга с наступившим Новым годом и желали мира.

Внушительная группа одесситов, рискуя опоздать на проводы Старого года, добиралась до Страсбурга практически на перекладных. Жемчужину у моря внезапно завалило снегом, самолеты не летали, поезда не ходили.

В это время я радовалась одиночному размещению в каюте, понятия не имея о взбрыке одесских природных ресурсов. После ужина мне никак не удавалось открыть свою каюту. Через несколько томительных минут дверь распахнулась изнутри, выпуская на меня клубы пара. Когда в окрестностях немного развиднелось, я увидела обнаженную маху с формами, слишком гротескными даже для капричос художника Гойи. Маха вытиралась полотенцем и громко кричала об Одессе, снегопаде и долгом пути к «Лорду Черчиллю». Я пыталась вставить хоть слово. Но трудности перевода заключались в том, что дама не слышала на одно ухо, развернутое в мою сторону. Постепенно мне все-таки удалось уловить: за моральный ущерб ее переселили из трюма в мою каюту.

Обнаженная маха облачилась в халат с видавшими виды драконами и представилась: «Беллочка». Я в ответ громко отчеканила свое имя. «Чего вы так кричите?» – спросила, потрясая бигудями, маха и уставилась на меня немигающими подтянутыми глазками, украшенными татуированными бровями кислотного синего цвета. Беллочке на вид было лет 80. Она напоминала Лилю Брик в закатные годы, но не чертами, а готическим несмываемым макияжем и маниакальной уверенностью в своей неотразимости.

У меня пропало всякое желание идти на новогодний ужин. Беллочка, спрятавшая слуховой аппарат в тумбочку, слышала только себя и говорила без умолку. Я узнала о ее почивших в бозе пяти мужьях и не подвластной возрасту страсти к приключениям. Фамилия Лядская досталась махе от одного из супругов. Татуированные брови и нижнее белье «весьма тропической расцветки» дополняли образ. Незнакомой звездой светила мне неделя оторванности от дома и принудительных бдений с Б. Лядской, обрушившейся на меня из одесского снегопада. Природные ресурсы Беллочки, несмотря на ее почтенный возраст, явно превосходили мои – и это сулило незабываемые впечатления от рождественского круиза.

Маха все-таки вытащила меня из каюты, насильно украсив мои персты и перси изделиями из груды привезенной из Одессы африканской бижутерии. Прицелившись, Беллочка обдала меня из пульверизатора струей духов с Молдаванки. Полностью одурманенная, я перестала сопротивляться и превращенная стараниями Б. Лядской в новогоднюю елку из Булонского леса, поплелась под конвоем махи на корабельный банкет.

Леди Лядская, вся в люрексе, с надушенной розой во взбитых, как сливки, локонах, малиновой помадой на татуированных устах, звеня цыганскими монистами, цокая шпильками с одесского привоза, покачивая неустойчивыми бедрами, шла по ресторану навстречу новогоднему загулу. Следом за ней плелась я. За нашим столом уже сидела пара новобрачных пенсионеров. Увидев Беллочку, они радостно замахали руками. Моряк в отставке, красивый сам собою, нашел себе невесту в одесском подъезде, где она работала консьержкой. Оценив зачуханный вид нареченной, Беллочка поклялась за неделю полностью поменять ее имидж и гардероб. Забегая вперед, скажу, что неутомимой махе это удалось. Она превратила консьержку в кустодиевскую купчиху, лишив моряка ресурсов, которые он не успел растратить на напитки местного разлива.

В новогоднюю ночь, как известно, должны происходить чудеса. Ну, просто обязаны. Беллочка Лядская служила катализатором чудес. Она подливала в бокалы с корабельным шампанским шустовский коньяк, провезенный через снегопады в каюту «Лорда Черчилля». Прихлебывая коктейль леди Лядской, мы с моряком вдруг узнали друг друга. Несколько лет назад на морской дороге в Венецию я подружилась с его дочерью, в сопровождении родителей отмечавшей юбилей на водах. Моряк был моложе тогда килограммов на тридцать, а я не была до неузнаваемости изгваздана мейкапом Б. Лядской. Михаил так обрадовался встрече, что принялся запивать шотландским виски коктейль из французского шампанского и одесского коньяка. На исходе новогодней ночи он пытался причалить к берегу, выкорчевывая в музыкальном салоне привинченный стол и пытаясь его забросить, как якорь, за борт. Когда природные ресурсы моряка истощились, он прилег на одной из палуб. Новобрачная дотащила его на себе до каюты. Наступило первое утро Нового года. Перед тем как заснуть, я подумала, что такое бурное моление о мире в новогоднюю ночь не может остаться неуслышанным в тонких сферах. Это было единственное, что меня утешало.

Последующие дни сосуществования с Беллочкой в одной каюте явились для меня рождественским хоррором. Рот у Б. Лядской не закрывался, глаза не смыкались, опрысканная ее духами каюта вызывала у меня состояние неукротимого токсикоза, а саму Беллочку неудержимо хотелось тюкнуть топориком по голове. Родион Раскольников становился все понятнее и роднее. Наступил вечер перед Рождеством. Бросив последний взгляд на свои часы, по принуждению к дарам сверкавшие отныне на руке Беллочки, я поклялась себе не испортить скандалом Сочельник.

И вот мы в том же составе сидим за праздничным столом. Пришедший, наконец, в сознание и слегка осунувшийся моряк, его нареченная в папуасском прикиде, леди Б. Лядская, утыканная перьями и булыжными камнями Сваровски, и на последнем издыхании – я. Когда Беллочка, сверкая конфискованными часами, обратилась ко мне с просьбой затянуть ей потуже корсет, все мои обеты рухнули в преисподнюю. На весь крещеный мир разразилась я отнюдь не рождественской речью. И в финале пообещала Беллочке, что, если она сию же секунду не отцепится от меня раз и навсегда, я возьму ее нежно за блеклые локоны, подниму высоко над уровнем моря и выброшу через окно в воды бурного Рейна. Моряк держал меня за руки, его невеста махала надо мной шалью с люрексом, а леди Лядская невозмутимо предлагала выпить за Рождество. Тут меня

осенило, что слуховой аппарат Беллочка опять оставила в каюте и, не отирая вскипевших от бешенства слез, я неприлично захихикала.

С пытливым интересом взирала на нас пара за соседним столом. Разумеется, одесситы. Они были везде. Но эту пару не живописать невозможно. Он – весьма бодрый папик под 60. Она – 25-летняя красотка с длинной гривой и зорким глазом. Один ее взгляд отгонял, как мух, возможных претенденток на папика. Но больше всего в девушке потрясало другое. На каждую экскурсию, даже если их было несколько в день, она выплывала в новой шубе. Я встречала женщин, берущих с собой 7 платьев, 7 комплектов нижнего белья, 7 драгоценностей и пр. Но я впервые увидела барышню, прихватившую в недельную поездку 10 шуб. Все шкурки были отличного качества, снятые с разных зверей, еще недавно бегавших в заповедных краях, где лиловый негр вам подает манто. Красотка истово демонстрировала народу возможности папика, судя по всему, международного спеца по мехам, рогам и копытам.

На исходе вояжа до меня, наконец, дошло, что природные ресурсы гомо сапиенсов неистощимы. Пока 80-летние Беллочки Лядские украшают собой корабельные пространства, пока 25-летние Эллочки-людоедки наряжаются в разноцветные шубы из шанхайских барсов, а отставные вдовые моряки возят консьержек в свадебные круизы, человечество неистребимо. Мир спасет ноев ковчег.

А потом мы будем смеяться друг над другом, потому что это гораздо лучше, чем убивать. Вы согласны? Так улыбайтесь же, господа, улыбайтесь!

ГАМЛЕТА ВЫЗЫВАЛИ?

Возле гостиницы «Амиот» на Страсбургском бульваре я увидела афишу «Гамлета». Имя режиссера-постановщика было мне знакомо. Даже слишком знакомо. «Вот он и до Парижа добрался, – подумала я не очень добродушно. – Сколько же мы не виделись? Лет семь? Или восемь?» Я купила билет и пошла на премьеру, но после первого акта сбежала. И не потому, что мне не нравился спектакль. Я вообще не вникала в происходящее на сцене, а только неприлично заливалась слезами. Честное слово, у меня не было никаких причин для душевного раздрая. Но еще долго продолжала я поливать солеными потоками свою удавшуюся (с ним и без него) жизнь...

В конце 60-х годов минувшего века мир огласился криком очередного новорожденного. Это была я. Имя для младенца мама с папой заготовили заранее, невзирая на то, родится он мальчиком или девочкой. Прогрессивные родители назвали первенца Александрой в честь чешского товарища Дубчека, инициировавшего и вдохновлявшего с высоты верховного поста «пражскую весну». Лето после той весны было настолько мрачным, что существенно тормозило порывы трудящихся к детопроизводству, но уже осенью 68-го я была зачата незапрограммированно и бесповоротно. В ту пору «Три танкиста, три веселых друга» стали самой непопулярной песней в советской фрондерской среде, и я так и не узнала, что же там разведка доложила точно, в отличие от детей, успевших родиться при Хрущеве.

Еще больше повезло с именем моему младшему брату-погодку. Назло празднованию 100-летия вождя мирового пролетариата наши итээровские родители назвали сына Альбертом в честь вождя мировой науки Эйнштейна. В середине 70-х брат бегал по пляжу

крымского поселка Кацивели и спрашивал возлежавших на валунах отдыхающих из Дома творчества ученых:

– А вы знаете, в чью честь меня назвали АльбертРом?

Лишним звуком «р» он подчеркивал значительность поставленного вопроса.

– Ну, конечно, Алик, знаем, – миролюбиво отвечали ученые. – В честь теории относительности.

– А вот и нет! – ликовал воспитанник образцового детского сада. – Меня назвали Альбертром в честь Владимира Ильича Ленина!

Никогда больше кацивельский ученый пляж не слышал такого гомерического хохота...

Я часто болела, и ясли, к счастью, выпали из области воспитания моих младенческих чувств. Дедушку Ленина в лицо я не узнавала, зато еще в ползающий период хорошо ориентировалась в лицах Цветаевой, Мандельштама, Пастернака и примкнувшего к ним Высоцкого. Мой палец безошибочно указывал на нужную фотографию, когда родители демонстрировали гостям продвинутость годовалого ребенка. Во времена своего донимфеточного детства я была похожа на кузнечика из бессмертной песни. Редкие посещения детского сада заканчивались тем, что, кувыркаясь через перекладину, я обязательно въезжала физиономией в кирпичную стенку, после чего меня выдавали на руки родителям озелененной от макушки до пят. В таком крокодиловом виде ребенка однажды и вывезли за город во время первомайских праздников. Год был то ли 72-й, то ли 73-й. Вела я себя в электричке, как малолетний вождь зеленокожих. Нормальные граждане шарахались от не в меру буйного и чудовищно окрашенного зеленкой созданья. Чтобы не слишком донимать пассажиров электрички, родители насильно повернули мою голову к окну и, указывая на красные полотнища с ликом вождя, неестественно засюсюкали:

– Сашенька, кто это там в кепочке на алом фоне?

Ох, не надо было впихивать в чадо манную кашу под чуждыми советской власти портретами! На весь вагон я истошно завопила:

– Дядя Высоцкий!

Обескураженные родители прыснули, на первой же остановке вытащили меня из вагона и больше никогда не задавали дурацких вопросов. Надо ли говорить, что после этого концептуального события жизнь моя была предопределена. В общем, пить, курить и сочинять стихи я начала одновременно.

Путь мой лежал из Киева в Москву – в Литературный институт. Дядя Высоцкий освящал этот путь своими песнями и, двигаясь в нужном направлении, я напевала: «Где твои 17 лет? На Тверском бульваре!» Нас, будущих писателей, предпочитали принимать в профильное учебное заведение при условии наличия богатого жизненного опыта. Ну какой, кроме сексуального, мог быть опыт у 17-летней рифмоплетки? Меня приняли как исключение и поселили в общаге на улице Добролюбова. Учебу в Литинституте я обожала разнообразить концертами в литературно-музыкальных кофейнях, расплодившихся в перестроечной Москве. В одной из таких кофеен после моего весьма зажигательного выступления к сцене подошел нездешнего богемного вида молодой человек и представился:

– Александр Яковлевич.

– Вы случайно не Розенбаум? – ехидно спросила я.

– А что, похож? Но именем и отчеством меня наградили родители в честь режиссера Таирова. А вы кто будете?

– А я, соответственно, – Алиса Коонен.

– Вы так же похожи на жену Таирова и великую актрису Алису Коонен, как наше отечество – на страну чудес. Могу поспорить, что вы – моя тезка. Я вас, тезок, чую за

версту. Ну, признавайтесь: вы Александра? И названы небось этим редким именем в честь Коллонтай?

– Ошибаетесь, товарищ Таиров. Меня назвали в честь Дубчека, если вам это имя что-то говорит.

– Еще бы! Мой папа был одним из тех, кто на танке въезжал в Прагу.

– Нашли чем гордиться! А еще под Таирова косите!

– Я не кошу, это имя-отчество обязывает. Но для вас я отныне и навсегда – просто Шурик.

– И чем занимаетесь, просто Шурик?

– Ставлю спектакли, Александрин, исключительно во имя искупления папиной вины.

– Как вы детку назовете, так она и поплывет? А вот я – не Дубчек, я – другая.

– Как это разумно с твоей стороны! Ну что, пошли?

– Пошли, Шурик, только в разных направлениях. Привет папе-танкисту...

На улице Добролюбова я заснула праведным сном литератора. Но в два часа ночи была разбужена настырным стуком в дверь. Соседка по общаге со стоном отвернулась к стене и захрапела. Пришлось мне, чертыхаясь в темноте, наощупь поворачивать ключ. На пороге стоял Таиров и гнусно улыбался.

– Поехали, Саша, на улице ждет такси и ящик шампанского.

– Господи, какая пошлость, а еще режиссер! Я не одета, не умыта, и вообще хочу спать. Послушай, сыщик, как ты меня отыскал?

– В общаге Литинститута проживает толька одна девушка с гитарой. Ну, что стоишь, качаясь?

И он схватил меня за шиворот и потащил в коридор. Очнулась я в уже отъехавшем такси и с запоздалым изумлением обнаружила на себе ночную рубашку, халат и тапочки. Все остальные детали туалета остались в общаге. За заснеженными окнами такси мело во все пределы.

– Куда едем, командир? – спросил таксист ухмыляясь.

– На Широкую улицу! – радостно ответил Таиров.

–Ты че, Шурик, убить меня задумал? Какая, на хрен, широкая улица среди ночи? На мне нет даже нижнего белья, не говоря об элементарном макияже!

– Не боись, Александрин! Широкая улица находится в Медведково, там живет мой друг Одноокий.

– Циклоп-людоед, что ли?

– Почти угадала – скрипач.

Одноокий встречал нас на пороге со смычком в правой руке и бутылкой водки – в левой. Стены его импрессионистической берлоги были увешаны велосипедами, а на полках вместо книг возлежали скрипки. Одноокий, конечно же, был бесценной находкой для режиссера. Виртуозно проведя смычком по бутылке, скрипач предложил нам отрешиться и воспарить, что мы и исполнили в меру отпущенных каждому способностей. К утру все принесенное Таировым и запасенное в закромах Одноокого было выпито. Мир Медведкова заиграл новыми гранями, призывая художников не предаваться сну. В семь утра трое вышли из подъезда. Вызванное такси хищно заурчало. Скрипач встречал морозное утро в спортивном костюме, держа под мышкой полотенце с мочалкой. Для вдохновения ему необходимо было немедленно нырнуть в прорубь. Таиров в смокинге и бабочке нестерпимо контрастировал с моим ярко-красным халатом, отороченным изумрудной ночной рубашкой. Я угрожающе просила довезти меня до Добролюбова, но в дороге по воле режиссера маршрут изменился. Мы подкатили к ресторану «Прага» и с независимым видом продефилировали мимо остолбеневшего швейцара. Что это было?

Утро стрелецкой казни, падающая звезда пленительного счастья или иезуитски поставленный Таировым эпизод из «Мастера и Маргариты»? Мы были жутко похожи на свиту того, кто вечно хочет зла и совершает благо. И благо свершилось. К рассвету у нас с Таировым стал завязываться внепостановочный роман, опошляемый ресторанной едой «чехов били по-московски», неумеренным питием и шекспировскими вопросами.

– Где бы тебя трахнуть? – оттягивая на шее бабочку, спросил осипшим баритоном режиссер-мистификатор.

Услышав в этих словах тоскливое «быть или не быть», я позорно бежала с бала, теряя по дороге отнюдь не хрустальный тапок. Таиров с тапком в руке догнал неудавшуюся золушку и крепко схватил за шлейф халата. Скрипач перекрестил нас мочалкой, и мы впрыгнули в утробу очередного такси.

– К Добролюбову! – приказал мой злой гений, и через четверть часа мы причалили к общаге.

В спальном храме великой и могучей литературы было пустынно. В моей комнате одиноко висели колготки, трусы, а также платье, пальто и сапоги. Путь к телу был максимально расчищен, и с этим пришлось считаться. Вскоре вернувшиеся с лекций соседи стали выражать свое неудовольствие посредством битья в дверь ногами, и мы, поддерживая друг друга познакомившимися телами, переместились в Востряково. Там, в 15 минутах езды на электричке от Киевского вокзала, Таиров снимал дом. Востряковское убежище служило нам верой и правдой до самого развала Советского Союза...

Когда же пришло время разбрасывать драгоценные камни, нам, идиотам, взбрело в голову разбежаться по разным государствам. Я, получив диплом, уехала в Питер, а Таиров отправился в Киев ставить «Гамлета». Мы расставались ненадолго, а получилось, как всегда...

В один из зимних вечеров я сидела у себя дома на Большой Пушкарской, привычно пописывая что-то на компьютере и ни от кого не ожидая звонка. И вдруг мобильник зашелся в соловьиных трелях.

– Добрый вечер, это Алиса Коонен?

– Нет, это Александра Коллонтай.

– Санча, ты меня узнала?!

– Тебя не узнаешь, Таиров! Тем более мы расстались всего ничего – каких-то 13 лет назад. Какими судьбами в нашем героическом городе?

– Да я все мотаюсь между Прагой и Парижем, а тут по делам в Питере оказался.

– Ну и как дела? Хороши?

– А ты как думала! У меня, Александрин, «Гамлеты» размножаются, как кролики. Киевский, московский, парижский, пражский. А теперь дело и до питерского дошло. Приезжай в гостиницу «Октябрьская», поговорим.

– О Гамлетах?

– А для тебя Шекспир мелковат, да? Ну тогда можно и по Павлику Коэльо пройтись.

– Ты в своем уме, Шурик? Это фанерные певички вещают, что после прочтения Коэльо у них смысл жизни прояснился. А у меня по-прежнему утро туманное, и никакие плебейские Коэльи мне не указ!

– Узнаю крестницу Дубчека! Приезжай, а?

После недавнего пожара «Октябрьская» уже успела припудрить ожоги. Таиров выглядел почти как в первую нашу встречу, только бабочка слегка полиняла.

– А ты почему не в халате на босу ногу? Хочешь испортить нашу песнь песней, Александрин?

– Не паясничай, Шурик Яковлевич. Ты хоть знаешь, в каком номере поселился? До 17-го года прошлого века этот отель назывался «Норд». И именно в этот номер, в котором ты так развязно сидишь, прибегала 15-летняя гимназистка Зина на рандеву к

своему 45-летнему кузену. Через много лет она зачем-то рассказала об этом второму любимому мужу Борису Пастернаку, и он слегка сбрендил от ревности. Поэтому гостиницу «Октябрьскую» на дух не выносил.

– Зато написал «Доктора Живаго» со всеми вытекающими из «Октябрьской» последствиями. А ты что, Александрин, стала литературоведкой? Сейчас это не модно.

– Нет, Таиров, я стала людоведкой. Это тоже сейчас не модно. Любовь-морковь, сталинские лагеря, поэты и их возлюбленные... Но мы же с тобой никогда не опускались до моды, правда? А еще я выступаю со своими песенками в «Бродячей собаке». Ну а деньги, на которые можно жить, зарабатывает муж.

– И кто у нас муж?

– Волшебник, разумеется. Я выходила замуж по принципу: пусть хоть первый встречный, только не Шурик. А то мне с твоей легкой руки одни Шурики попадались. Ты ведь тоже женат, я слышала?

– Даже дважды. Первая была актрисой, Офелию у меня играла, вторая – редактор модного журнала.

– Так ты теперь весь в гламуре?

– Нет, весь я не умру. У меня Гамлеты в рубищах по подмосткам бегают. А сам я джинсы предпочитаю, в меру драные. Только вот бабочку единственную берегу в память о тебе. Как Набоков! Знаешь, мне ведь и денег хватает, и творчества. Успех – он и в Арктике успех. Но понял я, как только ты вошла: нет счастья в публичной жизни. Все эти 13 лет мне мерещилась одна картина: на Арбате у кафе «Арба» ты стояла, грустная раба, словно в старом фильме Михалкова, а в кафе звучал мотив знакомый... Как подумаю, что мне в следующем году – 37...

– Ну ты, Шурик, – не Пушкин, тебе-то чего бояться?

– Понимаешь, Александрин, иногда так хочется стреляться, а на дуэль вызвать некого. Дантесов до фига,

да вот Натали другому отдана. А ради всех остальных баб по снегу на Черную речку на погибель мчаться не имеет смысла.

– И кто у нас Натали?

– Кончай выпендриваться! Сама знаешь!

– Мне уже раздеваться или еще поговорим о литературе?

– Сашка, ну какая, на хрен, литература?!

И мы любили друг друга, как два оборванца, уже почти привыкшие жить с постоянным чувством голода. Вспоминали перестроечную Москву, свою хулиганистую молодость и хохотали до упаду на пол. А потом опять и опять приникали друг к другу, как будто хотели напиться за все 13 лет засухи и на жизнь вперед. Мы догадывались, что никогда больше так не обнимемся, и не хотели в это верить. С этим можно было жить долго и почти счастливо. А наша тайная неутолимая тоска по немедленному и вечному соединению не предназначалась для жизни. Она была из литературы, той самой великой литературы, где все избыточно, и все про любовь . Там женщины бросаются в Волгу или под поезд, там мужчины погибают в бою и на дуэли, там всегда идет снег и от инея сверкают глаза, там признание в любви продолжается от первой страницы до последней. Разве можно выжить в этой литературе? А мы надеялись выжить. Но расставаясь, поклялись, что уж умирать обязательно будем вместе...

Андрей ГРЯЗОВ

ВЗГЛЯДЫ

Вы когда-нибудь видели, как смотрит кошка вслед собаке? Причём, чёрненький милый пуделёк только приблизился, помахивая дружелюбно хвостиком и... понимая, что дальнейшее сближение невозможно, убежал, с таким же душевным видом, но кошка!.. Кошка смотрит собаке вслед взглядом обиды уже навсегда испорченной жизни...

А вообще всё живое и неживое схоже. В смысле взглядов. Иногда, когда я иду по улице, я спиной чувствую упрёк взглядов деревьев, всех червоточинок гниющих яблок и груш, или укор взглядов домов, всех матерей-одиночек и жильцов безнадежно задолжавших за свет и телефонные разговоры.

А вы видели и чувствовали, как камни смотрят в море? Как бесконечно ожидание их взглядов. А один раз я увидел, как широко разинув овраг, земля с удивлением смотрела в небо. Я сам разинул рот и стал смотреть вверх. Но ничего не увидел. Закрыл рот и пошёл дальше.

ССОРА

Они ругались долго и качественно.

Они перебрали все ругательства. Они унизили друг друга до самой нижней точки падения человека разумного. Они перечислили все гадкие и подлые качества, человека семейного, обвешивая друг друга ярлыками, как елочными игрушками, обвивали изощренными и длинными саркастическими лентами, осыпали блестящими, как дождь, цитатами и каждый искал все новые обвинения и ругательства, перебирая все запасы эрудиции, чтобы, наконец, выйти на пик ссоры и воткнуть врагу в самое уязвимое место венчающий все смертельный шпиль последней фразы.

И тут в окно постучала ворона.

Они стояли и ошалело смотрели на ворону, а из их умолкших вдруг ртов словно оборванные провода лапшой свисали недосказанные фразы...

А ворона еще раз постучала клювом о стекло, повернула голову набок, посмотрела стеклянным глазом на них и как-то смешно и неловко подпрыгнув канула куда-то вниз, словно ее и не было.

Они, как-то быстро не сговариваясь, подошли к окну, прильнули к стеклу лбами и смотрели долго-долго неизвестно куда, а потом она горько заплакала, по-детски,

почти в голос, и прижалась к нему, а он обнимал ее и говорил: «что ты, все в порядке, все хорошо, успокойся, любимая...»

А потом они просто сидели на диване, гладя друг друга. Молча сидели. Прижимаясь друг к другу до боли крепко. И в комнате было тихо и за окном было тихо. Было только слышно, как где-то сверху ругаются соседи.

ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Кто назвал её Эрой, папа или мама, никто не знал, но имя её смешило и запоминалась, Эра! Одна девочка как-то ещё в детском садике сказала ей: «А может ты Ира на самом деле?». Эра кратко и резко ответила: «Нет!». И возненавидела эту девочку. Она ей ничего плохо не делала, ничего никому не говорила про неё, но в группе отношение к этой девочке становилось все хуже и хуже, пока всеобщая ненависть не заставила её родителей перевести её в другой детсад.

Эра была невзрачненькой девочкой, некрасивой, маленького роста, ничем не примечательной, незаметной, каким-то пустым местом, даже на общих фотографиях на неё обращали внимание только тогда, когда в неё тыкали пальцем и то после этого поживали плечами, как будто их ткнули в пустоту.

«Но пустота ни есть ничто, по крайней мере, это – нечто...». Эра была – нечто, в своем роде уникальное нечто. В школе, уже в младших классах появилось расхожее выражение – до нашей эры. Все как бы делилось, разделялось в компаниях, в отношениях, чертой, которая отделяла то, что было до появления нашей Эры и после её появления.

Она никогда не интриговала. Она просто уничтожала. Просто. Без напряжения и усилия. Появившись в компании, она сразу уясняла, кто есть кто, лидер, подлидеры, свита, случайные попутчики, оппозиция. А потом из компании со свистом вылетали красавицы и красавчики. Как? Эра как-то поняла, что слово главное оружие в войне людей. Слово должно выстреливать неожиданно и точно в цель. Не надо никому говорить – мол, вот та девочка на тебя косо посмотрела, ей твои туфли новые не понравились. Это глупо! Ты себя подставляешь, в первую очередь. Нет, надо действовать по-другому, чтобы даже никто не понял, что это ты выстрелила. Вот идет обычная тусня, вот все как обычно, а вот все отошли и осталась лежать на земле одна девочка и «отряд не заметил потери бойца», а тем более не услышал выстрела. А что сделала Эра? Да, она просто девочке лидеру сказала, между прочим так, сказала, – смотри-ка Свете идет этот цвет, её новое платье просто шикарно... И все!

Почему это сходило с рук Эре? Да, потому что, если бы нечто подобное сказал подлидер, то это воспринялось бы, как попытка пошатнуть позицию лидера и вызвало моментальный ответный удар, если бы это сказал кто-то из свиты, он бы просто тихо вылетел из свиты, но здесь... голос был как бы из пустоты. Эра – человек-невидимка, она сказала и отошла. Голос был то ли свыше, то ли из глубины внутренней сущности самого лидера. И лидер буквально зверел, как какая-то Света (или Оля, или Ира) смеет шикарно выглядеть и оттенять её!!! И Света уничтожалась лидером мгновенно.

С ребятами было не сложнее. Только вместо платья, надо было говорить про мускулы, или интеллектуальную дребедень. А ещё проще было уничтожать парами. Стоило Эре сказать, «Вадим и Наташа просто суперски смотрятся вместе...» Лидер незамедлительно

уничтожал Наташу, за то, что смеет так смотреться рядом с Вадимом, а Видима за то, что он так смотрится не рядом с ней, а с какой-то Наташей.

После появления Эры в какой-нибудь компании, скажем из 8-10 человек, через месяц-два, от самой компании оставался только лидер и Эра. А поскольку Эра была – пустотой, невидимкой, лидер оставался один, без команды, таким образом, прекращая быть лидером и начинал сам уже искать к какой тусовке теперь примкнуть, уже в любом качестве, хоть в свиту, но, чтоб не быть одной (или одним). То есть, так уничтожался и сам лидер.

Сколько компаний и лидеров так уничтожила Эра, неизвестно. Но фраза «до нашей Эры» становилась все более актуальной.

Играть на амбициях, симпатиях, влюбленностях людей не так уже и сложно, а, что сама Эра не влюблялась ни разу? Влюблялась, ещё как, она полюбила лидера одной из компашек – Стаса. И уничтожила всех из этой компании, включая, конечно, Алину, девушку Стаса. И когда он остался один, Эра призналась ему в любви. Она очень хорошо запомнила этот его взгляд, удивленный и растерянный, обращенный в пустоту... Хорошо побеждать в войне, когда ты невидимка, но как можно победить в любви, когда тебя не видят? Стас ушел. Эра какое-то время выслеживала его, попадалась на глаза, пыталась говорить с ним, писала ему, но он не отвечал ни на смс-ки, ни на послания в контакте. Он вышел из игры, он стал неконтактен ни для кого, тем более для неё, неощутимой невидимки. А через месяц после всех этих событий его нашли дома, в своей комнате мертвым. Говорили, что причина наркотики. И ещё много разных других причин называли.

После Стаса уже никого не любила Эра, она зареклась любить. Она окончательно уверилась, что рождена только для ненависти и только для того, чтобы уничтожать!

А, когда она училась в 10 классе, в её жизни случилось нечто, что круто изменило все в её жизни. Эра оказалась в тусовке Скарабея. Звали его Пашей, почему и как он стал Скоробеем, Эра так и не поняла. Она думала, может потому что у него почти не было шеи, сам роста невысокого, руки и ноги маленькие, глаза очень цепкие, пристальные, а вообще какой-то странноватый он был. Ему, судя по всему, нравилась Маринка. Все время она крутилась возле него. Эра решила с неё и начать, говорит как-то Скоробею, – смотри, как Маринка рядом с Тимофеем смотреться, ещё бы к её белому сарафанчику фату и можно свадьбу справлять. А Скоробей посмотрел на Эру своим пристальным взглядом (представляете, увидел её!) и тихо так говорит, да, ты права, Эра, они созданы друг для друга. И, словно, забыл об этом разговоре, как будто и не было ничего.

Эра не успокоилась, попробовала его натравить на Славика с Игорем, до лампочки! Скоробей только улыбается, поддакивает ей и, как ни в чем не бывало. И, главное, иерархия какая-то не такая как у всех, нет подлидера, нет свиты, все приколисты, поддевают друг друга, порой ругаются чуть не до драки, а потом пива выпьют, да Скоробей их всех так обсмеёт, что все просто ползают. Какие тут обиды! А ещё Скоробей Эру видел не только визуально, а как бы и спиной, кажется, даже мысли её читал. Она как-то, подходя сзади, хотела ему сказать, что-то неожиданное и гнусное, потому что ничего не получалось у неё с ним, и уже рот раскрыла, а он, и не поворачиваясь, говорит,– Эра, ты можешь мне помочь в одном деле?

Она так растерялась, что все гнустности забыла, и говорит, – да, постараюсь, а в чем помочь?

Скоробей говорит, мол дело рискованное, неизвестно чем закончится, не боишься? Эра в себя уже пришла, как-то по-новому себя вдруг почувствовала, какую-то решимость невероятную в себе ощутила и силу и говорит,– нет, чего мне бояться!

– хорошо, – сказал Скоробей, тогда ночью приходи к нашей школе, со стороны Форы, в 2 часа ночи будь, только точно.

Она, как штык в 2 часа ночи стояла возле школы. Очень волновалась. Впервые в жизни она так волновалась, и не понятно почему. И себя вдруг, даже здесь в темноте, она впервые как будто ощутила наконец-то не невидимкой, не пустотой, а собой, девушкой, настоящей Эрой, от которой, наверное, многое теперь зависит, если сам Скоробей попросил её о помощи.

Было уже 20 минут третьего, а Скоробея все не было. Эра начала уже думать, а не розыгрыш ли это? К соседнему дому подъехал джип. Мелькнули фары. А потом, вдруг, она услышала какую-то возню, различила у стены соседнего дома тень, метнувшуюся от джипа, и ещё несколько теней двигающихся за ней, а потом как-то внезапно, сразу, темноту и пустоту вокруг раскололи огненные вспышки и невероятный грохот, от которого сразу заложило уши, и, когда она оглушенная и ослепленная буквально застыла на месте прямо перед ней из ниоткуда вдруг возник Скоробей, он не то, чтобы подбежал к ней, а словно бросился на неё, как бросаются в морскую волну и, схватившись руками за её плечи, стал тихо сползать вниз. Эра схватила его, начала приподнимать, а он что-то пытался ей сказать и не мог, что-то неразборчивое, какие-то обрывки фраз его шепота с трудом различала Эра. А потом вдруг разобрала отчетливое – спаси меня... возьми это... она увидела, что его рука сжимает какие-то смятые листки бумаги и она начала тащить его по земле за угол школы. У соседнего дома нарастал шум. Эра изо всех сил старалась приподнять его выше, а он все больше слабел, тяжелел и каким-то разбухшим кулем в её руках едва волочился по земле.

И ещё какой-то приторный, сладкий запах кружил ей голову, так, что её уже начало тошнить и она поняла, что её вот-вот вырвет... Вдруг, сноп яркого света словно пронзил её, она обернулась и ослепленная стала выпускать из рук Скоробея, а он грузно сползать наземь. К ней подошли люди в какой-то униформе, их пистолеты были направлены на неё и Скоробея, который уже ничего не шептал, а недвижно лежал у её ног. Она захотела что-то крикнуть им, она не понимала что происходит, но в голове пульсировала одна мысль, – скорая, срочно скорую! Один из них подошел почти вплотную к ней, направив ей дуло пистолета прямо в лоб и сказал усмехнувшись,– ну, что доигрались гаденыши! А второй, начал тормошить лежащего Скоробея, а потом засмеялся, вырвал из застывшей руки Скоробея бумаги и сказал громко первому: «все в порядке пошли, плюнь на них!»

И только в этот момент Эра вдруг ощутила рыдание, которое поднялось из каких-то её неведомых глубин, которое словно разорвало, поднимаясь вверх, сначала её живот, потом сердце, потом горло, а потом оно стало разрывать все вокруг неё. А потом она увидела свои собственные руки так близко перед глазами, руки, которые были все в крови, и которые стали почему-то расплываться и кровь, эта самая кровь Скоробея, стала заливать все вокруг, пока от запаха крови, от удушья и резкой боли в сердце Эра не упала рядом со Скоробеем.

Скоробея похоронили. Эра пролежала месяц в больнице. То ли от шока, то ли ещё от чего, но она перестала разговаривать. И не понятно, то ли не хотела, то ли не могла. Понимала о чем ей говорят, иногда кивала положительно или отрицательно в ответ, но чаще никак не реагировала на слова.

Никто так и не узнал правду, что тогда ночью произошло у соседнего дома и почему застрелили Скоробея. А может кто-то и знал. Да, молчал. Эра не то чтобы вернулась в компанию Скоробея, но часто приходила к ним. Садилась рядом с кем-то из компании, молчала, то ли слушала, то ли просто думала о своем. Вначале это как-то смущало ребят, а потом они привыкли и перестали реагировать на неё. Вернее, они реагировали, но по-особому, они не общались с ней, но чувствовали её. Её молчание хорошим было. Теплым каким-то, обволакивающим, немного соленым, как море. Эру любили. Иногда говорили, что она превратилась в молчаливую душу Скоробея, которая продолжает жить с ними. Её называли и в глаза, и за глаза: «Наша Эра». И все более отдалялось и становилось похожим на легенду, все, что было до Нашей Эры.

Алёна ЖУКОВА

МАДАМ ДУБИРШТЕЙН

Никто из нынешних жильцов дома номер 5 по улице Тенистой не знал имени одинокой старухи, занимавшей семнадцатиметровую комнату в коммунальной квартире Каблуковых. К тому времени это была уже последняя нерасселенная квартира в приличном, хоть и старом доме, стоящем в окружении ведомственных построек. Район считался престижным. Из окон верхних этажей можно было увидеть море, которое отделяли от неба стоящие на рейде корабли.

Мало кто из соседей помнил ее заковыристую еврейскую фамилию — Дубирштейн. Кто-то утверждал, что старуха поселилась здесь еще до войны, а ее муж был тем самым архитектором, который спроектировал этот дом. Еще ходили слухи, что она была когда-то богатой наследницей и жила в городе Аккермане в особняке со львами. Может быть, поэтому ее, вечно грязную и дурно пахнущую, называли во дворе Мадам. На самом деле, не случись известных социальных потрясений в истории России, маленькая Эстер, так ее назвал отец, большой знаток библейских текстов и банковского дела, действительно стала бы обладательницей приличного состояния, поскольку была единственным ребенком в семье. Отец тяжело переживал вдовство, долго не мог забыть молодую жену, умершую вследствие послеродовой горячки, и очень настороженно относился к претенденткам на роль мачехи Эстер. В результате он так и не успел жениться до того, как красный комиссар, приставив маузер к его голове, вышиб вместе с мозгами всю мнительность и осторожность еврейского коммерсанта. Девушка осталась сиротой. Особняк со львами был отдан через пару десятков лет пионерам, а Эстер лишилась возможности прожить легко и удобно свою долгую жизнь. Теперь под конец этой не удавшейся с самого начала жизни Мадам Дубирштейн хотела как можно скорее порадовать соседей, не очень счастливую семью Каблуковых, своей долгожданной смертью. Но все как-то не получалось. Смерть добровольно не приходила, а инициативу по ее приближению старуха полностью доверила Богу и соседям.

Жильцы сочувствовали Каблуковым и с пониманием относились к их неприкрытому желанию любым способом избавиться от старухи. Была какая-то несправедливость в том, что семья из четырех человек ютится на двадцати квадратных метрах, а рядом пропадает большая светлая комната с балконом. Людка с больным мужем и двумя детьми измучилась в тесноте и неудобстве соседства с по-

лоумной старухой. Правда, на кухню Мадам давно не выходила, грела чайник у себя в комнате на электрической плите, а что ела и ела ли вообще — это Людку не волновало. Волновало другое: что старуха когда-нибудь их спалит, а если не спалит, то доведет до психушки. В туалет после Мадам зайти было невозможно, воду она не спускала, то есть она пробовала, но тугая цепочка слива ей не поддавалась, а потянуть ее, как следует, сил у нее уже не было. Ясно было, что терпению старших Каблуковых мог наступить конец, и если бы не нашелся бескровный способ разделаться со старухой, то Людка готова была пойти на что угодно.

Часто семейство отходило ко сну со сладкой мечтой о том, что утром старуха не выйдет из своей комнаты, а уже к вечеру, отвезя ее в морг, можно будет прибраться и захватить комнату. То, что их оттуда не попрут, было ясно как день. Во-первых, их много, во-вторых, Славик — инвалид, а у Мадам никакой родни вот уже тридцать лет не наблюдалось. Но каждое утро со щенячьим писком отворялась дверь, и шаркающие шажки затихали в закутке туалета. Людка лежала в постели с открытыми глазами, прислушиваясь только для того, чтобы еще раз удостовериться: «Опять воду не спустила, курва старая» — и в сотый раз пообещать себе упечь ее в богадельню, а если нет, то пусть ее бог простит...

Утром Люда кормила мужа, подтирая вытекающую кашу из его окривевшего рта.

— Что-то наша Мадам совсем плоха стала, — прошамкал Славик, — еле ходит...

После правостороннего инсульта он разговаривал и передвигался с трудом. Работа грузчика в порту — золотое дно — кончилась сразу и бесповоротно. Людка, бедрастая, нечесаная баба, огрызнулась, глянув неприязненно на мужа:

— Она еще всех нас переживет. Скорее я тут дуба дам с вами со всеми. Сквозняком шарахнуло дверь, и Людка выскочила из кухни.

— Ты посмотри, что делается-то! — истошно заорала она. — Дверь нараспашку, приходи, бери. Шалава старая, куда тебя черти носят! Чтоб ты сдохла, — крикнула она в гулкое пространство подъезда, и эхо заметалось среди лестничных пролетов.

Солнце путалось в рваных сетях сухих акаций, билось об окна и падало растекшейся бронзой на землю. Старуха стояла в тени парадного, боясь переступить границу прохлады и оказаться в тягучей жаре летнего дня. Одета она была независимо от сезона в драный габардиновый плащ и шляпу, напоминавшую летнюю панаму, неопределенного грязно-серого цвета. Она переминалась с ноги на ногу и оглядывала слезящимися от солнца, полуслепыми глазами мир, в который предстояло выйти и прожить еще один день никому не нужной жизни. Прошмыгнул мальчик-велосипедист, сплюнув ей под ноги. Она покачала головой и, обогнув плевок, вышла на солнце.

Людка захлопнула входную дверь и вернулась на кухню. Там она застала всю семью в сборе. Тринадцатилетний Валерка пальцами вылавливал черешню из компота, а семилетняя Ириша хмуро сидела, уставившись в тарелку с едой.

— Все, больше не могу, — заявила Людка с порога и плюхнулась на табурет. — Надо что-то делать. Соберем подписи, я позвоню куда надо... взятку дам, пусть забирают ее куда-нибудь. Ну кто я ей такая, чтобы лужи ее вонючие подтирать. Своего дерьма достаточно...

— Ну что ты опять с утра завелась, — вздохнул Славик, — ну сходи опять в архив, может, найдется родня какая...

— Ну что ты мелешь, — набросилась она на мужа, — зачем нам ее родня. Старуху не заберут, а вот комнату оттяпают точно. Тут все по умному сделать надо.

— А давайте я ее пугну ночью, вроде как привидение, она со страху и помрет, — встрял Валерка.

— Сиди, жуй да помалкивай, — прикрикнула на него Людка.

Валерка выловил из компота последнюю черешню и ловким щелчком отправил косточку в Иришкин лоб. Лицо ее ожило и скривилось в плаксивой гримасе. Цыкнув на сына, Людка набросилась на дочь:

— Сколько можно сидеть, жри давай. Кожа да кости.

— Не хочу кашу, — заныла Ириша и попыталась выскользнуть из-за стола. Людка дернула ее за руку и усадила на стул.

— Будешь сидеть, пока все не съешь.

Ириша брызнула слезами в тарелку. На гладкой поверхности каши они оставили кратеры и воронки. Девочка с интересом стала разглядывать причудливый ландшафт. Людка с раздражением отвернулась от дочери и увидела, что сын уже стоит на пороге, готовясь вылететь из квартиры.

— Чтоб, как стемнеет, был дома, — бросила мать, но, похоже, Валерка это выражение усвоил уже давно и не считал должным на него реагировать.

Мадам Дубирштейн, держась за стену дома, медленно продвигалась к цели своих ежедневных прогулок. Ей нужно было пройти метров тридцать до следующего подъезда. На это уходило не менее получаса. Сегодня особенно тяжело давался этот путь. Горячее солнце жарило немилосердно, и от его яркости старуха слепла. Помогала шершавость стены, которая должна была неизбежно привести к Дусиной двери. Если Дуся не пошла в магазин, то нальет супу, а если ушла, то можно подождать, ей не к спеху.

Дуси дома не оказалось, и старуха пристроилась в уголке подъезда, облокотившись о прохладную и пыльную батарею центрального отопления. Беспризорная кошка, потревоженная бесцеремонным вторжением на ее территорию, спрыгнула с батареи на пол, недовольно покосившись на Мадам.

— Ну, извини, — прошептала старуха, — я только Дусю дождусь.

Ждать пришлось недолго. Запыхавшаяся и потная Евдокия, груженная до зубов кошелками со снедью, вернулась домой. Она, как всегда, пригласила Мадам Дубирштейн войти и вскоре поставила перед гостьей тарелку куриного бульона с клецками. Старуха, похлебав ароматной наваристой жидкости, от клецок отказалась, извинившись перед хозяйкой. Она почувствовала, что прожевать их не хватит сил, как не хватит сил сейчас встать и уйти. Евдокия не гонит, но ведь и так понятно, что дел у той по горло. Надо наготовить на семью из пяти человек, постирать, убрать, да мало ли что. Еще она знает, что, когда уйдет, Евдокия тут же откроет окно. Последнее время все чаще не удается дойти до туалета вовремя, а каково ее соседям терпеть такое. Старуха сокрушенно покачала головой. Она отвлеклась от своих мыслей и посмотрела на суетящуюся у плиты Евдокию. Ее спина, обтянутая розовой линялой майкой, напоминала перевязанный во многих местах батон колбасы. Пухлые руки с крылышками отвисшего жира летали над кастрюлями, казалось, растворяясь в пару и жару кулинарного действа. Мадам Дубирштейн хотелось сказать что-то хорошее этой мягкой, доброй женщине, которая зачем-то жалеет ее, кормит и даже разговаривает. Она собрала все силы и, тяжело встав со стула, произнесла витиеватую благодарность. Евдокия развернулась и в недоумении уставилась на старуху.

— Что это вы со мной не по-нашему говорите?

Это что за язык чудной? Я и не знала, что вы иностранным владеете, надо же, и помнит еще, — удивилась Евдокия.

Мадам сконфуженно улыбнулась:

— Простите, вдруг на идиш сказала, сама не понимаю, почему. Но я хочу вам сказать, если вы так готовите курицу, то вы должны понимать на идиш.

— Ну вы и скажете, и чем это курица такая замечательная? — довольно отреагировала Дуся. — Вот фаршированную рыбу я действительно умею делать по-вашему. У меня с ней вообще одна крупная неприятность случилась. Да вы садитесь, куда спешить, чаю будете?

Старуха с облегчением опустилась на стул и приготовилась слушать. Евдокия начала издалека, долго жалуясь на свою непутевую дочку, очень неудачно вышедшую замуж за алкоголика. Оказалось, что до этого к ней сватался сын большого начальника, и вот тогда как раз и случилось то, что Евдокия по сей день считала причиной расстроившейся помолвки. А дело было так. Отец жениха стал большим начальником после того, как его предшественник проморгал зятя-еврея. Тот полетел с поста вслед за дочерью, которая, плюнув на все, улетела с мужем в Израиль. Забравшись на вершину начальственной пирамиды их ведомства, будущий свекор очень зорко охранял национальную чистоту семьи. Придя в гости на смотрины невесты, был вроде бы всем доволен, как вдруг на столе появилась фаршированная щука и полагающийся к ней хрен. Евдокия гордо заявила, что это ее фирменное блюдо, а секрет приготовления именно такой рыбы передается женщинами их семьи из поколения в поколение. Это как бы их фамильный рецепт. А дело просто в количестве жареного и сырого лука.

— И представьте себе, этот идиот папа спрашивает: «Еще раз повторите, как ваша фамилия?» Я ему и отвечаю: «Квитницкая, что означает в переводе с украинского «цветочная». И знаете, что он мне сказал? «Мне не нравится окончание вашей фамилии». Как я пожалела, что мой Костик, царство ему небесное, не дожил до этого дня. О, как бы он намылил морду этому жлобу. Оксанка после этого надулась и сына его тоже видеть не захотела. Ну что вы на это скажете, Мадам Дубирштейн?

— Я скажу, что он поц, а вы ничего не потеряли.

Дуся усмехнулась и присела напротив старухи.

— Ну вы сегодня меня удивляете. Я раньше от вас таких слов никогда не слыхала. Вы про людей только хорошее всегда говорите, даже о соседях ваших, уж на что поганые, а вы вроде как жалеете их.

Мадам Дубирштейн обмякла и качнулась. Дусе показалось, что та упадет со стула, но старуха вдруг затряслась от смеха и очень ясно и громко выговорила:

— Хамы. Несчастные люди. Дусенька, мне их действительно жаль. Они так мало видели и знают и, самое печальное, так мало хотят...

— Мало! — возмутилась Дуся, отчего сразу покраснела и покрылась испариной. — Да они спят и видят, как вас на тот свет спровадить и комнату занять!

— Их можно за это простить. Я—не самое приятное соседство. Знаете, я никак не могу справиться с организмом. Он не перестает работать. Как ни приказываю, не слушается. Вот зачем-то супу поела, а ведь потом опять не добегу.

— Давайте, я вас до уборной доведу, — предложила Дуся, — на всякий случай.

— Нет, что вы. Мало того, что я у вас ем...

Старушка с трудом встала и, шатаясь, направилась к двери. Под столом что-то чернело. Дуся подозрительно всмотрелась в очертания предмета. Не то куча, не то мешочек какой-то. Она нагнулась и подняла затертый ридикюль, на котором, несмотря на проплешины осыпавшегося бисера, читались инициалы Э. Д. Окликнув гостью, протянула ей находку. Старуха удивилась:

— Как же он выпал? Я ни разу в жизни его не теряла. Вышила после свадьбы. Он всегда со мной. Там все, что у меня есть. Хотите покажу? А то вдруг потеряю совсем.

Дуся не горела желанием рассматривать старухины реликвии. Время подпирало, но для приличия согласилась.

— Буква Э — это меня так называли в детстве, Эстер. Знаете, кто такая Эстер? Нет? Ну и не надо. Хитрая она была, смелая, а я — дура трусливая, в Эру переименовалась. Так дурацкой Эрой и помру.

Старуха высыпала на стол содержимое мешочка. Звякнул тяжелый черный ключ, к которому тряпочкой был привязан плоский английский ключик. Выкатилось грязное колечко непонятного метала. Трясущейся рукой она извлекла несколько порыжевших от времени фотографий и тощую стопочку денег, перетянутых аптечной резинкой.

— Я давно хотела вас попросить, но как-то не решалась. Не хотелось доставлять лишние хлопоты, но вот пенсию платят, мне она ни к чему. Кое-что собралось. Дуся, не откажите. Возьмите эти деньги. Не думайте, это не на похороны. Это для жизни. Купите внукам что-нибудь хорошее. А как меня похоронят, мне все равно. Муж и сын в печах лагерных сгорели. Живьем горели, а после смерти оно даже приятнее, чем гнить где-то.

— Да бог с вами, — возмутилась Дуся, — зачем мне ваши деньги? А похоронить вас не большие траты, лучше живите сто лет.

— Так я уже вроде около этого. Тяжело.

Дуся торопливо стала запихивать назад в ридикюль сомнительные ценности. Надо было выпроваживать старуху.

Путь назад к своему подъезду Мадам Дубирштейн проделала гораздо быстрее. Даже смогла подняться на второй этаж, ни разу не остановившись более чем на несколько минут. Вошла в квартиру. Дверь в соседскую комнату была приоткрыта. Оттуда вытекал красноватый лучик света. Он сполз с багрового штапеля сборчатых штор и метнулся в коридор из духоты каблуковской комнаты. Было слышно, как храпит и кашляет Славик, как капает из крана вода на кухне, как тикают часы. Людки и детей не было дома. Мадам Дубирштейн с опаской прошла на кухню. У крана она остановилась и протянула под капельки сухую ладошку. Они приятно щекотали руку, просачиваясь сквозь плохо сомкнутые пальцы. Собрав с чайную ложку холодной воды, она плеснула в лицо и блаженно рассмеялась. Сдавленный, скрипучий звук собственного смеха удивил ее. В ушах звенел переливчатый, легкий смех молодой Эстер, той, которая, подставив лицо весеннему ливню, кружилась в диком и пьяном танце. Это был май 45-го. Она еще не знала о судьбах мужа и сына. Она была пьяна первый и единственный раз в жизни. Ее смех, будто рвущаяся в небо птица, бился в горле и, срываясь с губ, улетал, чтобы больше уже не вернуться никогда.

Старуха попробовала открутить кран, но сил не хватило. В глубине раковины расползлась паутина мелких трещинок вокруг давно отколовшейся эмали. Она провела рукой по выщербленному дну и улыбнулась. Тогда, много лет назад, чугунная гусятница выскользнула из мокрых рук и разбила молочную белизну новой мойки. Шура, тогдашняя соседка по коммуне, распереживалась из-за своей нерасторопности. У нее подскочило давление, и пришлось вызывать врача. Они с Шурой жили душа в душу. Одинокие немолодые женщины. У Шуры, правда, никто не погиб, просто замуж так и не вышла. Многие считали, что они сестры. Так оно и было, наверное. Когда Шурочка умирала от рака груди, то врач не удивлялся стойкости Эстер, которая сутками не спала, не отходя от постели больной. Сестра, вот и должна. Он только ругал, что проглядела начинающийся разрушительный процесс в организме близкого человека. Рак не был вовремя прооперирован, пошел в легкие, вот и результат. Шура мучилась страшно, даже морфий не помогал. В бреду все время звала Эстер, просила лечь рядом, обнять. До болезни она очень любила поиграть,

как маленькая девочка, в доктора или парикмахера. Усаживала Эстер перед зеркалом и начинала причесывать ее тогда еще густые и черные волосы. Потом она строго спрашивала соседку, когда та последний раз сдавала кровь и мочу на анализ и собирается ли наконец провериться у гинеколога. Эстер подыгрывала и жаловалась на тошноту по утрам, на головокружения. Шура вскрикивала и ворчливо заявляла: «Вы, женщина, что себе думаете? Вы же беременны! И не стыдно вам! И где вы только это находите?» После этого они веселились, зная точно, что давно не ищут и не ждут тех, от кого случаются подобные неприятности. А ведь тогда им было около пятидесяти, но, если честно, та и другая подзабыли, что вообще существует такой аспект женской жизни, как близость с мужчиной. У каждой из них были на то свои причины, но никто по этому поводу не страдал. Иногда игра в доктора заканчивалась неприятностями вроде Шуриных обид, когда Эстер отказывалась показать специалисту грудь или низ живота. Эстер ссылалась на застенчивость и необразованность пациента, а Шуркины странности объясняла искалеченной судьбой и лагерной жизнью с тридцать седьмого по пятьдесят пятый. Хорошо, что не загнулась. А странности, у кого их нет? Умирая, Шура прижалась к Эстер всем телом, уткнувшись носом куда-то под грудь. Когда Эстер поняла, что это наконец случилось, она осторожно, как спящего младенца, отняла подругу от груди и увидела такое, что абсолютно и навсегда примирило ее со смертью. На Шурином лице застыло блаженство. Это было похоже на то, что произошло с Мишиным лицом после их первой брачной ночи. Поразительное совпадение она истолковала по-своему. Лучше всего подходило слово Облегчение, но она ошибалась. Это была Любовь.

Каблуковы были какой-то там Шуриной родней. После ее смерти они бросили хозяйство в райцентре и переселились в комнату в коммунальной квартире, но зато в городе, а главное, с хорошей перспективой на будущее, о чем свидетельствовал преклонный возраст соседки и ее абсолютное сиротство. Поначалу все складывалось не так плохо. Эстер особенно радовало появление детей в доме. Но постепенно крутые бедра и локти новой соседки потеснили старушку. Ванная не освобождалась от замоченного белья, в коридоре и кухне растянулись веревки, отвисающие под тяжестью влажных, плохо выстиранных, сперва детских, а потом Славкиных пеленок, распространяющих острый аммиачный дух. Эстер не роптала и даже старалась как-то помочь Людмиле с детьми. Но та запретила им заходить к старухе в комнату.

— Вы меня, конечно, извиняйте, — сказала она соседке, — я брезгливая очень. Вот, к примеру, если волос где увижу или ноготь валяется, так меня уж всю прямо выворачивает. Откуда я знаю, что вы детей за лицо трогать не будете?

Старуха не обиделась, но очень огорчилась. Ей захотелось пореже бывать дома. Пока носили ноги, удавалось исчезать с утра и возвращаться ночью. Время шло, силы убывали, а соседи мучились. Мучилась и Мадам Дубирштейн. Но теперь ей показалось, что она знает, как поступить. Бросив под кухонный стол свой ридикюль и немного подправив ногой, так, чтобы было виднее, она ушла в свою комнату. Прикрыла дверь, улеглась в кровать и представила, как все произойдет. Людка найдет кошелек, в нем ключ и деньги. Жаль, что Дуся отказалась. Вряд ли эти деньги Люда потратит на похороны. Но главное не деньги, а ключ. Ведь чего Людка опасалась больше всего, так это вызвать подозрение, если причина смерти не будет выглядеть абсолютно натурально. А теперь все произойдет так просто. Людка повернет ключ в замочной скважине, и все. Откроют уже потом и скажут, что соседка всегда на ночь запиралась, а чего не выходила пару дней, так это не их дело, а может, и выходила, так они не заметили. «А иначе, если меня не запереть, — по-

думала она, уже почти засыпая, — то опять утром встану и пойду, попью, поем, обделаюсь, и опять все сначала».

Людка нашла старушкину приманку тем же вечером и все сделала правильно, как и ожидалось. Она заперла дверь, убедившись, что старуха спит. Поразмыслив немного, приняла решение никому в семье не говорить о случившемся и просто уехать всей семьей на день два к родне. Всего-то час электричкой. Люда была не вполне уверена в том, что в момент, когда старуха начнет дергать дверь, не дернется сама. Ведь она не зверь какой-то, но не может она больше так, не может...

Каблуковы вернулись через четыре дня. Как Люда ни торопила их с возвращением, ничего не получалось. Славик не вставал из-за стола и пропускал стопку за стопкой с хозяином дачи, как будто не было инсульта. Дети не выходили из теплой лиманской воды, а сестра просила помочь с «закрутками» — вишня горела на солнце, надо было срочно распихивать ее по банкам. Пока тряслись в электричке, на душе у Людмилы кошки скребли, а когда подходили к дому, она ожидала всего, что угодно. Теперь объяснить, как старушка могла запереть себя снаружи, будет невозможно. Скорее всего, уже и Дуська спохватилась, старуха к ней чуть ли не каждый день шастала, небось уже приходила и заподозрила что-то неладное. На подходе к дому она высматривала «Скорую» или милицию, но все было спокойно. На негнущихся ногах она вошла в квартиру. Дети скривили носы от отвратительного запаха, а Славик тут же обнаружил его источник — перед отъездом он забыл вынести кулек с рыбьей требухой, вот он и завонялся в жаре такой. Люда подошла к старухиной двери, прислушалась. За дверью была гробовая тишина. Она толкнула дверь, и дверь поддалась. У Люды зашевелились волосы на голове. Старуха лежала на кровати, вытянувшись в струночку. Она казалась стройной, длинной и молодой. Люда повернула выключатель, и тусклый свет по-другому осветил происходящее. На кровати лежала мертвая старая женщина. Ее голова была высоко закинута, подбородок надменно выступал, а горбатый нос, казалось, хотел клюнуть свисающую с потолка, обсиженную мухами, грязную лампочку. Люда с опаской подошла ближе и взглянула в лицо усопшей.

— Господи, — перекрестилась Людка, — с чего же она так лыбится, будто хорошо ей, сил нету? Ну, дай ей бог счастья на том свете.

Она вышла из комнаты и торжественно объявила домашним о смерти соседки. Дети радостно завопили, Славик так разволновался, что схватился за сердце. Люда строго пресекла ликование и объявила, что надо все организовать

по-человечески. Денег на похороны не жалеть, пригласить весь двор, а главное, сделать все быстро, поскольку по еврейским обычаям три дня не ждут. Доктор засвидетельствовал смерть без лишних вопросов, и никакой экспертизы, чего всегда боялась Люда, не потребовалось. Единственное, что он сказал, похоже, смерть наступила совсем недавно, буквально пару часов назад. Постель под спиной покойницы была еще теплой. Скорее всего, во сне остановилось сердце.

Похороны получились очень приличными. Мадам Дубирштейн лежала в гробу вся в белом. Соседи шутили, что такой чистенькой ее не видели давно. Было много цветов и венков. Многие дивились Людкиной щедрости, только Дуся ничего не сказала, просто тихо всплакнула, одна среди всех.

Людка объяснила ту странность, что случилась с дверью, обычной житейской ситуацией, когда из-за невнимательности и волнения просто не провернула ключ до конца. Бог отвел, как бы теперь и не виновата вовсе. Теперь настало время вынести весь старухин хлам, сделать небольшой ремонт и можно вздохнуть спокойно.

На субботник по очистке жилплощади была организована вся семья. Дети сваливали в мешки старухины вещи, которых оказалось немало. Люда подивилась тому, с каким безразличием старуха относилась к довольно дорогим вещам. Вот, например, лисья горжетка, шуба панификсовая, все сгнило, рассыпалось. Мехам воздух нужен был, уход, а эта дура старая их в целлофан упаковала. Иришка нашла альбом с фотографиями. Снимков было немного, но на одном из них стояла, облокотившись о колонну, смуглая черноволосая женщина с удивительными глазами вроде больших маслин, которые приносил папа с работы, когда он разгружал греческие суда. Фотография была не такая, как сейчас делают, а жесткая и толстая, вроде картона. Внизу и на обороте красивыми буквами значилось «А. Вознесенский и К. Князев. Фотография и Литография в Симферополе. Высочайшие награды Государя Императора, Его Высочества Эмира Бухарского и Королевы Сербской». Иришка продемонстрировала матери свою находку. Та всмотрелась и узнала:

— Ты глянь, так это ж Мадам, точно. А ничего себе была. Навроде актрисы какой. А расфуфырена-то как, шляпа, перчатки. Какой же это год-то? Гляди, прямо перед революцией. Надо же, точно барыня.

— А я буду такой, — спросила Иришка и уточнила, — когда вырасту?

Валерка залез под кровать и выудил оттуда тапок, старый календарь и связку ключей. Людка прикрикнула на него, чтобы перестал пыль пузом собирать. Нечего там лазить, все выкинем, и баста. Ее хозяйский глаз остановился на связке ключей. Среди нескольких ржавых и, видимо, давно бесполезных был один, который она не могла не узнать. Точно такой она спрятала у себя в комнате за плинтусом. Ей опять стало не по себе. Так что же это получается, старуха сама дверь и открыла, а может, все же дверь не была заперта?

Для верности Людка попробовала открыть и закрыть дверь найденным ключом, и ей это удалось. Но еще она заметила, что на связке нет маленького английского ключа от входной двери в квартиру, а на той был. И это ее успокоило. Значит, старуха, хоть и не могла из дому выйти, с голоду бы не померла — вона сколько еды в Людкиных ящичках: и тебе макароны, и картошка, и масла топленого банка, а в кладовочке — чай, сахар. Так что никто вас, дорогая, голодом не морил. Оно, конечно, сильно вы щепетильная были, могли чужого не взять, но, если бы припекло, как миленькая наелись, напились...

Мадам Дубирштейн уже не могла на это ответить, да и вряд ли бы стала. За долгую жизнь она ни разу не нарушила две заповеди — не лезть в чужую душу и чужой шкафчик. В общем, можно было с ней жить, но Люда считала по-другому. Вскоре тяжелое соседство забылось. Комната была отмыта и перекрашена, и жизнь потекла своим чередом.

СКАЗКА ПРО ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Соня сидела за рулем своей уютной маленькой машины, как на иголках. Она возвращалась с работы, одуревшая от усталости. Перед глазами стояли биржевые графики. Весь день они, как змеи, извивались на экране монитора, и теперь казалось, что на лобовом стекле дождь продолжает чертить кривые и прямые взлетов и падений. Соня работала художником дизайнером в аналитическом журнале, и в статье, над которой она билась весь день, этих графиков было никак не меньше тридцати. В конце рабочего дня, еще раз перепроверив и убедившись, что все на месте, она усмехнулась любопытному совпадению. Речь в статье шла о крупной финансовой компании, которая весьма быстро и успешно развивалась. Все прочили ей большой взлет, как вдруг шесть лет назад

возник партнер, который высосал ее активы. Потом произошел раздел, и теперь акции компании находятся «на дне», а все аналитики гадали, как могло такое случиться, ведь у компании были и есть все составляющие успеха — потенциал, активность и несомненная инвестиционная привлекательность. Число графиков в статье соответствовало Сониному возрасту, а шесть лет связи с Марком и безжизненная прямая где-то у нулевой отметки после их разрыва каким-то образом роднили ее с невезучей компанией. Эти аналогии не улучшали настроение. Руки повисли на руле, нога нервно дергалась с тормоза на газ, а пробка на дороге не рассасывалась. Она отключила радио, сморщившись, как от зубной боли. На всех волнах радио эфира проскакивала реклама завтрашнего праздника. Часы показывали время и дату — 7.45 вечера, 13 февраля. Соня уже больше часа добиралась домой и хотела, чтобы завтра не наступило или чтобы она его, например, проспала. Никому быть не нужной в День всех влюбленных, когда тебе тридцать, а ты умница и почти красавица, просто абсурд. Но именно так обстояло дело.

Год назад, 14 февраля, она окончательно поссорилась с Марком и ушла, почувствовав одновременно пустоту и легкость. За шесть лет их совместной жизни слияния не произошло. Как были партнерами, так партнерами и расстались. Каждый извлек свои плюсы и сбросил со счетов минусы совместного опыта. Сначала она просто отдыхала и наслаждалась одиночеством, чувствуя сладость отступающей боли, потом вернулись силы, и она бросилась догонять все, чем жертвовала в надежде создать семью: карьеру, возможность тратить, не задумываясь и не откладывая на «черный день», если Марк опять не найдет работу. Но веселая карусель, кружившая молодую хорошенькую женщину, вдруг заскрипела и завалилась набок. Что-то сломалось. Подруги считали, что Соню заговорили. Так не бывает, чтобы за целый год ни одного, даже хиленького варианта. Она перестала нравиться мужчинам, а они ей. При этом если бы такая ситуация ее устраивала, то не было бы никаких проблем, но Соня никак не могла отделаться от надоедливой мысли, что это приобретает хроническую форму. Пару раз поймала себя на том, что замужняя подруга со щекастыми мужем и точно таким же щекастым ребенком вызывают глухое раздражение. С негативной энергией надо было бороться, и она выбрала путь визуализации позитива. Настраивала себя по утрам, как музыкальный инструмент, стараясь услышать камертон вселенской гармонии. Обычно начинала с образа распускающегося лотоса. Соня была художником и фантазировать умела. Сознание так ярко рисовало картинку фарфоровой хрупкости и белизны его лепестков, что возникали запахи и звуки. Но для полного восстановления положительной энергетики рекомендовалось выудить из подсознания свое первое сексуальное желание. Эта часть удавалась с большим трудом. Она, правда, хорошо помнила, как в ранней юности на уроке живописи с ней случилось что-то непонятное. Стараясь как можно точнее передать все анатомические подробности обнаженного тела юноши-воина работы античного скульптора, Соня покрылась испариной, ей показалось, что на живот плеснули кипятком. Но это было не больно, а очень приятно. Теперь она старалась этим ощущением дополнить воображаемую картину: река, лотос и античный красавец с отбитым фиговым листком, а там.... Но материализация прекрасного не наступала. Сексуальные образы не работали. Реальность мстила, мелко пакостничая и крупно подставляя. Из последних происков материального мира было посещение салона красоты. Все, что было сделано мужчиной-стилистом с ее волосами, лицом, руками и ногами — было не ее. Словно все это было взято у донора, но не прижилось по причине несовместимости группы крови. Сейчас Соне хотелось только одного — поскорее добраться домой, закутаться в одеяло и вместе с любимым котом Люшиком лежать на диване, уставившись в телевизор.

Этим вечером ее желание исполнилось на все сто. Люшик сопел рядом, а она заснула не раздеваясь. Утром ее разбудила мелодия заводной румбы. Не так давно, по совету подруги, Соня установила ее на своем мобильном. Катя считала, что для возвращения Сони в ряды «самых обаятельных и привлекательных» пересмотреть надо все — от цветовой гаммы и фасона одежды до музыки на мобильном телефоне. Соня нехотя взяла трубку, но телефон молчал. На определителе обозначилось, что кто-то оставил ей текстовое сообщение. Открыв его, она несколько опешила. Текст гласил: «Любимая, я желаю тебе счастья! Ты прекрасна, и я не перестаю любоваться тобой. Твой А.Х.» Соня посмотрела на номер отправителя. Цифры выстроились в длинный и незнакомый ряд явно междугородней связи. Мужчин с такими инициалами она припомнить не могла, скорее всего, кто-то ошибся номером. Отложив телефон, она еще раз вслух произнесла чужое признание в любви и закрыла глаза, настраиваясь на картинку распускающегося лотоса. Телефон опять заиграл и сообщил о новом послании: «Этот день я сделаю самым счастливым для тебя! Готовься... Твой А.Х.» Соня решила перезвонить пылкому влюбленному, чтобы предупредить, что его письма не доходят до адресата и попадают по ошибке к ней. На другом конце она услышала механический голос сервисной службы телефонной компании. Прослушав все варианты, по которым, набрав кучу номеров, начиная с единицы, она сможет оплатить счета, заказать новую модель телефона и много всего другого, она не поняла главного, как и кому надо оставить сообщение. Бросив это гиблое дело, она глянула на часы и поняла, что опаздывает на работу. Когда в очередной раз услышала танцевальные позывные, возмутилась, но увидела знакомый номер подруги.

— Любимая, — запела в трубке Катерина, — с праздничком! Только не грусти, без мужиков плохо, а с ними еще хуже, не мне тебе рассказывать. Ну как ты?

— Кать, а кто-то был у нас в классе или на курсе с инициалами А.Х.?

— А что случилось?

— Да ерунда какая-то. С утра эсэмэски идут с признаниями в любви от какого-то А.Х. Скорее всего — ошибка, но вдруг...

— Подожди, подожди... Почему ошибка? Это же Аркашка — Хорек, точно! Он же весь десятый класс по тебе сох.

— Ты чего придумала, какой хорек? Его фамилия Кривцов была, причем тут А.Х?

— Так все же вокруг его Хорьком называли.

— Стал бы он прозвищем таким подписываться! А где он сейчас?

— Говорят, что в тюрьме, а что?

— Фу, глупость какая... Причем тут он?

— А что пишет этот А.Х.?

— Бредятину любовную. Ладно, вечером звякну. Мне бежать надо, опаздываю.

Перед выходом из дома Соня застряла перед шкафом. Месяц назад Катя уговорила ее купить вишневого цвета сапожки. Так ни разу и не надев, Соня отложила их до лучших времен, по крайней мере до тех, когда появится настроение докупить им в тон шарфик, сумочку и перчатки. Сейчас же надо было решить, в чем будет удобнее — в растоптанных серых ботинках или же вполне можно проскочить по тонкому снежку в кроссовках. Из раздумий ее вывел танцевальный мотив, донесшийся из недр сумки. Соня нашарила телефон и прочла очередное сообщение: «Я заказал на вечер столик «У Монэ». Все, как ты любишь. У них даже есть твой любимый вишневый десерт. Заеду за тобой на работу, твой А.Х.» Эти строчки, вызвали некоторое недоумение и бредовое ощущение, что адресованы они именно ей. Ведь она тоже любит этот десерт. Ничего себе — совпадение! Постояв еще немного у шкафа, отодвинула ботинки и достала те самые, масляно лоснящиеся

новой кожей нарядные сапоги. В голове пронеслась идиотская мысль, а вдруг этот А.Х. действительно заедет за ней и они пойдут в ресторан. Как же она пойдет туда в ботинках? Надев яркие сапожки, растерялась. Нужно было срочно подыскать в своем гардеробе хоть что-то соответствующее по цвету. Переворошив все наряды, убедилась, что болотно-серо-черная гамма, покрывшая, как тина, ее одежду и жизнь, никак не вяжется с радостным цветом и блеском ее обутых ножек. И тут она вспомнила про три красные пуговки. Наконец то самое платье с пуговицами-ягодами было найдено, и она пулей выскочила из дому.

Весь путь от дома до работы ругала себя за глупость, наивные фантазии и дурацкий наряд. Вести машину по обледенелой дороге в сапогах на высоком каблуке было неудобно. Коленки, привыкшие прятаться в джинсы и брюки, вылупились наружу и отчаянно мерзли, но опять зазвучала музыка, и Соня быстро схватила телефон. Звонила секретарша и предупредила, что Главный свирепствует и требует немедленно зайти к нему. Если бы не глупые переодевания, то Соня была бы на работе почти вовремя.

Казалось, что в редакции журнала разорвалась осколочная граната. Все, как подстреленные, бегали с перекошенными лицами по разным траекториям. Ничего необычного в этом не было. Нормальное начало трудового дня. Странной была срочность, с которой Главный редактор требовал к себе художника-дизайнера, оформлявшего вчерашнюю статью. Если учесть, что само по себе появление Главного в офисе в столь ранний час было сродни той самой разорвавшейся гранате, то можно понять, на каких «полусогнутых» туда заползла Соня. Главный редактор был не один, перед ним сидел симпатичный, коротко стриженный мужчина с красивым загаром и белозубой улыбкой. Он поглядывал на экран лаптопа, но в момент, когда на пороге появилась Соня, что называется, прилип к ней взглядом. Она подумала, что выглядит сейчас полной дурой в этих пошлых сапогах и в облепившем ее крутые формы платье. Главный редактор представил их друг другу, но она и без этого знала, кто этот красавчик. Он был настоящей знаменитостью. Его имя часто мелькало в их журнале, а лицо — на экране телевизора. Однажды она даже сидела с ним рядом на каком-то совещании, только вряд ли он об этом помнит. Мысленно она уже обозвала его плейбоем и отметила про себя, что слухи о его гениальности и почти мистических способностях по части финансовых предсказаний скорее всего правда. Было в его внешности что-то копперфильдовское, и поговаривали, что его вилле на Бермудах мог бы позавидовать даже сам великий фокусник.

Ничего страшного не произошло, просто вчерашнюю статью нужно было срочно переделать. Слава богу, что она не вышла в таком виде! Дело тут не в Соне, а в той везучей компании,

которая вчера в конце торгов взлетела на 200 пунктов и сегодня продолжает резкое восхождение. Иначе, как чудом, это назвать нельзя. Когда Виктор делал предыдущий обзор, над оформлением которого пришлось вчера помучиться Соне, то был чересчур осторожен в прогнозах, хотя намекал на положительные тенденции, но такого! Короче, как ни печально, работу придется переделать заново. Сегодня к вечеру она должна быть закончена. Более того, необходим тесный контакт. Поскольку Виктор ежеминутно наблюдает динамику торгов и делает заключения, то решено, что он будет сидеть рядом с Соней и оперативно руководить процессом. Виктор добавил, что постарается быть неназойливым и почти незаметным. А как же! Весь день она только и делала, что старалась как можно короче отвечать на его вопросы. Ему, кроме биржевых сводок, еще хотелось знать, что думает Соня по поводу финансового кризиса, экологии, войны и мира. Ее лаконичные ответы нравились Виктору, а ей было приятно, что он с интересом вникает в тонкости

ее профессии. Несколько раз они случайно ударились лбами, склонившись над компьютером, потом невзначай его пальцы коснулись ее руки, потом он придвинулся слишком близко. Время от времени звонил телефон, но она не отвечала, поскольку видела тот самый номер загадочного А.Х., зато поймала себя на мысли, что раз от разу ей становится все веселее и она почти готова пуститься в пляс под музыку телефонной румбы. Виктор уже не скрывал к ней своего интереса и спрашивал, как могло такое произойти, что они не встречались до этого в офисе, ведь он бывает тут довольно часто. Соня, рассмеявшись, припомнила, как он опрокинул стакан с водой во время совещания в кабинете Главного редактора. Она сидела рядом, пришлось потом сушиться феном. Стакан он помнил, но девушку — нет.

—Вы шутите, Соня, я бы запомнил. Таких, как вы, не пропускают. Вы — настоящее чудо!

Когда Виктор ненадолго отлучился, она прочла новые письма чужого А.Х. Все они были об одном и том же, но Соне хотелось читать это еще и еще: «Дорогая моя, знаю, что ты долго не могла поверить в то, что я рядом. Я и сам сначала прошел мимо. Но теперь все будет по-другому», «Я послал тебе темно-вишневые розы, они подойдут к твоему наряду, только ответь: да или нет». Одно сообщение опять заставило Соню удивиться странному совпадению: «Ты — настоящее чудо! Если хочешь, поедем на Бермуды! Надоела слякоть и зима — впереди солнце, тепло и любовь! Твой А.Х.»

Почему именно Бермуды? Но Соня не успела порассуждать на эту тему, как в комнату вошел Виктор. В его руках был роскошный букет тех самых роз. Она уже открыла рот, чтобы задать глупейший вопрос: «При чем тут А.Х?», как он скороговоркой выпалил, что совсем забыл, какой сегодня день, а встретив Соню, тут же вспомнил. Он понимает, что наверняка у такой красивой девушки сегодняшний вечер не может быть свободен, и тот, кто назойливо пытается к ней дозвониться, уже сгорает от нетерпения, но все же... Тут неподалеку есть чудесный ресторан «У Монэ» с потрясающим вишневым десертом, она непременно должна его попробовать. В общем, не согласится ли она хотя бы ненадолго... Да или нет?

Выражение Сониного лица несколько озадачило Виктора, он осекся. Соня поспешила закрыть рот и вернуть на место вылезшие из орбит глаза. Она глотнула воздух и вытолкнула из себя твердое «Да!».

А дальше — дальше было как в сказке. С этой встречи Соня и Виктор уже не расставались.

Вскоре она уехала к нему на Бермуды и стала его женой. Но в тот вечер, после ресторана и вишневого десерта, она, наконец, дозвонилась в телефонную компанию.

— Вы недовольны нашим сервисом? — спросил уставший голос.

— Нет, вы не поняли, кто-то все время по ошибке попадает ко мне и оставляет сообщения, которые адресованы другому человеку, а тот человек их не получает, что очень жаль.

— Хорошо, мы проверим. А вы сами не пробовали отправить сообщение на этот номер?

— Я звонила, но попала к вам.

— А вы напишите.

Действительно, почему раньше это не пришло в голову Соне. Она написала коротенькое письмо: «Дорогой А. Х., к сожалению, вы ошиблись номером. Я совсем другая женщина. Но все равно — большое спасибо».

Через несколько секунд к ней пришел ответ: «Ты она и есть! Будь счастлива! Твой Ангел Хранитель».

Больше, как она ни пыталась дозвониться к нему, не удалось. Но Соня теперь знала — обратная связь существует.

К ЧЕМУ СНИЛИСЬ ЯБЛОКИ МАРИНЕ

Резко вынырнула из сна. Что это было? Остался ритм скачки и глухие удары пяток о твердую сухую землю. Мышцы болели, сердце бешено колотилось, вдруг оно сорвалось и ухнуло вниз. Вспомнила — большое яблоко тяжело упало с ветки в траву. А что же дальше было? Бежала, неслась с табуном лошадей. Или от них убегала? Вроде ничего страшного, а тоскливо как-то. Надо будет у Ленки спросить, к чему лошади и яблоки. Дождь, что ли, опять? Темно. Утро, ведь семь уже. Дерево за окном судорожно бьется, листьев почти не осталось. Еще можно часок поспать. Первая пара в девять тридцать, успею. Все, теперь не засну — о нем подумала. Андрей, что же это происходит? Еще глаза не открыла, как включается картинка с твоим изображением, и так до самого вечера, а бывает, что даже во сне не отключается, тогда наутро совсем дурная хожу. Но сегодня не было тебя, только лошади и яблоки. Это, наверное, после фильма. Ты про это кино вчера весь вечер говорил, называл фамилию режиссера, а я не видела, не слышала, но надо запомнить — Андрей Тарковский. Тезка, то есть, моего Андрюшеньки.

Сегодня опять пойдем к морю гулять. В прошлый раз возле яхт-клуба нашли безлюдное местечко, только на куртку присели, как дружинник тут как тут. Интересно, что же такое Андрей сказал парню, отчего тот смутился и ушел безо всяких разбирательств? Целовались как умалишенные. Губы до сих пор болят. Обещал книгу принести перефотографированную из какого-то зарубежного издания, но писатель русский. Фамилию называл. Как же могла забыть? Позор! Рядом с ним — дурочка необразованная. Интересно, а он тоже это понимает? Конечно, надо больше читать, только все равно он читает другое — журналы, названия которых никогда не слышала, стихи, которые звучат совсем не так, как те, что в учебнике. Ведь она, между прочим, с отличием десятый кончила, даже до медали чуть не дотянула, теперь вот на филфак пошла, а он, хоть и физик-теоретик, а знает литературу в сто раз лучше. Часто, правда, они спорят. Недавно вот разревелась от обиды за Максима Горького. Он испугался, прижал к себе и зашептал горячо на ухо, что готов признать его великим писателем, только чтобы не видеть ее горьких слез. Как же вспомнить, о ком он вчера говорил? Название книги такое короткое, вроде «Они». Нет, кажется, «Мы», а вот фамилия писателя начисто вылетела. Он всегда говорит: «Прочла и тут же забудь, эти книги у нас не продаются, и за них можно в тюрьму сесть». Конечно, поверить в то, что у нас за книги сажают, невозможно, но ему пообещала молчать. А сколько он стихов помнит, и странных таких! Не всегда понятно, о чем они, но когда вслух читает — очень красиво. Почему мы этих поэтов не проходим, может, из-за их непонятности? Хорошо, когда в стихах про природу и любовь все ясно, как у Пушкина. Похвасталась, что может «Евгения Онегина» почти всего наизусть прочесть, так он погладил по головке, как маленькую, и сказал, что это обнадеживает. А что, собственно, имел в виду, что она со временем поумнеет, что ли?

Потянулась и перевернулась на живот, потом опять свернулась калачиком и сложила лодочкой руки в паху. Там было горячо и влажно. Мысли потекли сверху вниз, наполнив жидкостью полость, которая со вчера уже не хотела оставаться незаполненной и теперь сладко болела и пульсировала под руками. Сегодня все произойдет. Родители наконец уехали, а бабушка осталась. Но она подольет ей в чай мамино снотворное. Ничего плохого не будет. Андрей обязательно станет ее мужем, почему нет? Поймет, что он у нее первый. Ей уже скоро восемнадцать. Он, конечно, старше и опытнее. Про девушек своих не рассказывает, но наверняка было их немало, он же красавец и умница, а с ней так осто-

рожен, никогда не настаивает, а ведь мучается, я вижу. В первый же день глаза отвел, когда она в своих брючках-дудочках перед ним вертелась. Потом долго встречались без поцелуев, а коснувшись губами, до дрожи задохнулся. А вдруг он испугается? Про план с бабушкой она, конечно, не расскажет. Лучше всего вообще не говорить, что бабушка дома. Когда снотворное подействует, надо запереть дверь в ее комнату и сказать, что бабушка ушла ночевать к подруге. А вдруг проснется? Надо побольше дать, чтоб наверняка. Ох, ей бы самой сейчас снотворное не помешало или валерьянка какая-нибудь, колотит всю. Оказаться бы с ним рядом, чтобы руками своими жилистыми обхватил и сжал сильно! Дрожать бы перестала, успокоилась, заснула на его плече, а потом бы проснулась...

* * *

Проснулась быстро, судорожно, как от испуга. Он рядом. Тихо. Дети еще спят. Во сне бабушка яблоки рассыпала. Они стучали, подпрыгивая и раскатываясь по полу в разные стороны. Бабушка нагнулась, чтобы собрать, и упала.

Совсем недавно бабушку похоронили. Сердце у нее пошаливало, может, после того снотворного? Вряд ли, давно это было. Просто годы взяли свое. Опять вспомнила ту ночь с Андреем, с тем аспирантом-физиком. Страшно было, больно, но так хорошо, как никогда больше в жизни. Любовью были наполнены тела, слова, дыхание. Простыни тоже были пропитаны любовью. Их можно было выжимать, из них сочилась любовь. Оказалась эта ночь первой и последней. Андрея взяли, и он получил срок за распространение самиздата. Стукнул его научный руководитель, жена которого накатала телегу в партком, застав мужа с аспиранткой-любовницей в постели. В доносе фигурировала книжка «Архипелаг ГУЛАГ», которую она нашла под кроватью после прихода аспиранточки. Руководителя сразу на ковер, а он — поди и скажи, что книжечку эту дал им почитать младший научный сотрудник Андрей Бирман. У Андрея обыск—и на всю катушку. Теперь, говорят, реабилитировали, через восемь лет. А может, он уже вернулся, поэтому опять во сне яблоки и бабушка?

Рядом на тумбочке журнал «Знамя»,а в нем все то, что Андрюшка тогда фотографировал, перепечатывал. За что так несправедливо с ним и с нею судьба обошлась? А может, оно и к лучшему. Борис — муж хороший и человек деловой. Скоро уедут они далеко. Будут жить в Канаде. Детей вырастят в нормальной стране. Что же так неспокойно на сердце сегодня? Если бы они вдруг с Андреем встретились, неужели бы все началось сначала? Наверное, нет. Все проходит... Или не все? Бешеная была после него, все не то и не так. Борька самый терпеливый оказался. Хоть и не доктор, а точно, любил, как лечил, настойчиво и упорно, по капле в день. Сутками не отходил и никого не подпускал, и так до самого излечения, пока в ней не забилась новая жизнь и не шарахнуло по ушам свадебным маршем.

Она потянулась, перевернулась на спину, а потом опять скрутилась клубочком. Хорошо ей, уютно. У Бори даже во сне брови сдвинуты. Тяжело идет их новое дело, постоянно нервничает. Везде бандиты и бюрократы, всем плати. А все для нас. Ничего ему не надо, только процесс игры и поиска. Правда, становится все азартнее и прижимистее. Саньке велосипед какой-то навороченный не купил, тот расстроился, сказал, что папа жмот. У мальчишек должен быть перед глазами положительный образ отца, а Боря все реже дома бывает. Она, конечно, старается правильно их воспитывать, но без него тяжело. Ничего, вот уедем, новая жизнь начнется.

Надо постараться опять заснуть. Дождь, что ли, на улице? В окне небо темное, тяжелое. Соседнюю многоэтажку туманом размыло, сквозь который несколько желтых пятен светится. Господи, это в такую рань кто-то уже встал, наверное, завтракает, на работу собирается. А ей уже никуда не надо спешить. Хорошо, только внутренний будильник всегда на семь. Последнее время просто с ума сходила на работе. Что ни день — потрясения, то газету закрывают, то перепродают, а после дефолта вообще кисло стало. Хорошо, Борька их деньги вовремя из страны увел на будущее место жительства. Через неделю она уже будет просыпаться в другом доме, под другим небом. Как оно там будет? Закрыла глаза и постаралась представить их дом за океаном, который еще не видела, но Боря плохого не купит. Фотографии впечатляли, особенно большие елки вокруг и трогательная березка на бекярде, по-нашему, заднем дворике. Еще он говорил, что где-то поблизости парк, в котором целая аллея яблонь, но яблоки никто не срывает, они падают в траву, и только иногда под деревьями можно увидеть одинокую фигуру пожилой женщины, собирающей паданки. Наверняка из наших, утверждает Боря. Какая-нибудь воронежская старушка не может перенести, что добро пропадает, вот и собирает на вареньице для внучат. Они, конечно, жрать не будут, как и все, что им приготовит бабуля, поскольку дети в той стране очень быстро привыкают к местному фастфуду, и Боря уже сейчас предупреждает, чтобы я с первого дня взяла этот процесс под контроль. Возьму, куда денусь, то есть из кухни буквально не выйду. Ну и ладно, пора осваивать профессию домохозяйки. К черту газету, планерки, скандалы, расследования. И небезопасно становится. Жизнь дороже. Страшно в подъезд собственного дома зайти. Время пришло всерьез детьми заняться. Ради них и едем. А может, там еще девочку родить и назвать ее как-нибудь странно-иностранно, вроде Ребекки. Нет, ужас, какой, почти как Дебора! Лучше уж Джесика или Мэгги. Ладно, там разберемся...

* * *

Веселая, кудрявая девчонка побежала по яблочной аллее, прыгнула под дерево, упала в траву, и вдруг громадные, тяжелые яблоки посыпались на голову маленькой дочки.

— Даша-а-а!.. Родная-я!.. Осторожно!.. А-а-а!...

Она с криком подскочила в кровати и поняла, что это сон. Дашка сопела рядом. Опять приползла ночью из своей комнаты к маме под одеяло. Хорошо, что не испугала ее и не разбудила криком своим. Мальчишки, надеюсь, тоже не слышали, их спальни этажом выше. Внутри дома тишина, а снаружи дождик журчит по водостоку, барабанит по крыше. На елке за окном белка прячется, скоро вылезет и на окно прыгнет за орешком. Дарья ее подкармливает и зовет Кирой. Английское squirrel ей удается плохо, как и маме, и поэтому по обоюдному соглашению белка превратилась в Киру. У дочки непонятно откуда появилось грассирующее Р, и она, как камешек, перекатывает его во рту. Давно перестала этот камешек катать на папином имени. Боря приезжает теперь три, может, четыре раза в год, Даша успевает забыть его капитально, и не только она. Собственные тело и душа тоже уже не откликаются на короткие появления мужа. Когда на курортах соединяются, Борис с трудом входит в роль семьянина. И если заботливого папу еще удается сыграть, то истосковавшегося мужа все реже и реже. А ей все тяжелее изображать верную жену. Последний год вообще многое перевернул. И, что самое ужасное, ни он, ни она не задают друг другу вопросов. Каждый допускает наличие третьего, совсем не лишнего, в их сложившейся ситуации. Вчера Боря позвонил в тот момент, когда не могла не то что говорить, но и дышать. С трудом совладала с голосом, который срывался на стон, когда

в развороченной постели ее тело, как глину, разминал новый любовник. Боря попросил телефон знакомого брокера. Перезвонила через несколько часов, дома его уже не застала, мобильный молчал. Может, он был занят тем же, что и она. Только вот нет у нее права на отключенный мобильник — на ней дети, мало ли что.

Лежа на спине, потянулась и осторожно, чтобы не потревожить дочь, повернулась на живот. Побаливали поясница и бедра. Хорошо бы проверить, не осталось ли синяков. Силен мужик, измотал, но с удовольствием и самоотдачей, отчего в висках стучало и в глазах темнело. Так было только в молодости с тем физиком Андреем. Интересно, как он, где, с кем, вспоминает ли? А ведь удивительно, если к ней уж кто в постель сваливается, так крепко Андрюшу напоминает. И этот похож, правда, по-русски ни слова. Да и не нужны теперь ей слова, ни русские, ни английские. Все просто и понятно, по крайней мере честно. Хорошо бы с таким махнуть на Карибы или в Мексику. От аборигенов его будет не отличить, когда покроется свежим загаром. Андрюшу тоже всегда принимали то за грека, то за араба, а был он просто красивый еврейский мальчик с грустными глазами и терракотовым телом, сухим и горячим.

А с Тонни она познакомилась в Кингстоне на риэлэстейт-семинаре по продаже «грязных» домов. Он очень много вопросов задавал докладчику по домам-плантациям. Особенно его поразил тот факт, что те дома, которые используются хозяевами под выращивание марихуаны, имеют повышенную температуру. Ночью, когда вертолеты специальными приборами с инфракрасным излучением замеряют температуру, эти дома сразу светятся. Тогда она подумала — наверняка покуривает, но ошиблась. Как выяснилось, ни вредных привычек, ни слабостей. Диета, вода, спортзал, массаж, маникюр и загар. В профессии уже лет семь. Успешен, деньги есть, семьи нет — идеальный вариант любовника и не только, но как-то скучно. Вчера он пытался выяснить, что не так в моей семейной жизни. Смешные вопросы задавал, еще смешнее выводы делал. В общем, все свелось к утверждению, что поскольку я изменяю мужу, то, значит, у меня есть планы с ним развестись, а иначе быть не может, ведь я достойная женщина. Я даже постеснялась переубеждать. Он вряд ли бы понял, если бы стала рассказывать, как люблю Борю, как скучаю, как разлуки и такие вот Тонни и Тани разрушают нас или помогают, не знаю, не знаю... А, может, Борька все же успокоится? Но непохоже. Игра идет по-крупному. Полез в болото политики, теперь еще опаснее туда переезжать. Раньше боялись, что через детей к кошельку доберутся, теперь уже ставка — безопасность и жизнь. Вот так и проживает она заложницей в чужой игре. А ведь это все с того физика началось и в ее жизни, и в стране. Они раскачивали систему, боролись за свободу, а она платила одиночеством. Если бы не дети, то к чему все это? В последний приезд муж расчувствовался и стал восхищаться тем, как она их воспитала, как сумела удержать любовь к нему, как он благодарен за все и обещает устроить так, чтобы они ничего не боялись, переехав назад в Россию. Самое интересное, что он уже плохо понимает, чего на самом деле хотят его дети. Тот праздник, который на них обрушивается на родине, они расценивают как отдых, каникулы, а жизнь и будущее они теперь видят с другой точки зрения, именуемой западным менталитетом. Они замечают и понимают то, что Боре в голову не приходит. Не прощают они той папиной жизни — езды без правил, бизнеса вне закона, милосердия ради собственной выгоды. И планы отца по воссоединению семьи воспринимают только с оговоркой, что за ними останется свобода выбора. Они не станут заложниками, как она, как те, кто живет там. Они действительно по-настоящему свободны. А ей остается только одна свобода — безнаказанно пускать в постель незнакомых мужчин, когда не может совладать с гормональными бурями, накрывающими посильнее, чем в молодости.

Семейный доктор утверждает, что это нормально для переходного периода, имея в виду тот плавный переход из детородной в другую, уже не такую тревожную и проблематичную фазу сексуальной жизни. Тонни сейчас вроде витаминчика, помогает держать в форме тело и мозги. Детям нужна мама со здоровой психикой.

Она прикрыла одеялом дочку, погладила по вспотевшей во сне головке. Смешно, но ее верхняя губка вырезана по итальяшкиной выкройке. Уже несколько раз Дарью принимали за его дочь. Тонни был этим польщен и действительно находит в Дарье какое-то сходство с калабрийскими женщинами их рода. Она видела его сестру — простоватая, низкорослая, но лицо и улыбка Мадонны. Недавно провели у озера целый день. Шумное итальянское семейство понравилось Дашке, особенно младший отпрыск семьи ДеСико. Можно было биться об заклад, что эти два карапуза влюбились друг в друга. Марчи протянул Даше свое яблоко, она ему свое, и они ели, поочередно откусывая от двух плодов. Когда кончился пикник и все пошли к машинам, поднялся рев, полились слезы. Дети не хотели расставаться. Вечером перед сном пришлось пообещать Дашке, что они скоро опять пойдут в гости к Марчи и, конечно же, мама согласна, что Марчи будет Дашкиным бойфрендом.

— Что же это нас, подруга, на итальянцев потянуло? — прошептала, улыбнувшись дочке. — Не пора ли намекнуть папе о римских каникулах, похоже, мы уже созрели.

Закрыла глаза и попыталась представить Рим. Две пары ног побежали по ступенькам бесконечной лестницы. Потом чьи-то сильные, жилистые руки подхватили и поволокли с головокружительной быстротой вниз, к морю, растекающемуся и блестевшему, как масло, у подножия горы. «Почему море? — подумалось ей. — Почему гора?... Где сад, дождь, яблоки, где Андрей? Почему так тихо, где Даша?»

* * *

Проснулась опять, уже третий раз за ночь. Что-то разладилось в голове. В момент пробуждения кажется, что и не спала вовсе. Опять за окном моросит, жалобно поскуливает ветер в проводах и в душе. Стоп, во сне опять Дашу искала. Надо снова попробовать дозвониться в ее мичиганскую общагу. Сессия ведь уже закончилась, могла бы и позвонить. Паршивка, звонит только по праздникам и по необходимости, а просто так, как же, дождешься. Наверняка опять любовный кризис. Это ничего, это хорошо, не смертельно, а для творчества — самый раз. Последняя серия фотографий была просто удивительной. Итальянец, конечно, модель хорошая, выразительная, но что с этой моделью по жизни делать будешь? Разве что в постельных целях. Так ведь капризничает и мучает. Но Дарья, слава богу, не в маму. Никаких жертв, терпения, зависимости, но и привязанности тоже. Запросто может исчезнуть надолго, забыть позвонить, поздравить. Может находиться в часе лету от Москвы, но не долететь, а вместо этого оказаться в Австралии. Мальчишки — они другие. Установили очередность и давай по кругу звонить, уже даже некое расписание прочитывается. В выходные отзваниваются по старшинству — сначала Санька из Сант-Хозе, потом Лешка из Торонто, потом их жены, потом внуки. Обещали собраться на пятилетие со дня смерти отца, то есть в этом ноябре. Младшие еще не видели Москвы, интересно, понравится ли? После гибели Бори в автокатастрофе никто не хотел верить, что это Судьба заказала его пьяному дальнобойщику, а не спецслужбы или какие-то бандиты. Она сама долгое время была уверена, что Бориса убрали политические противники, но следствие доказало трагическую случайность, в которую поверили все, кроме ее детей. Они уговаривали уехать из России, но она отказалась. Никому не говорила, что

есть еще одна причина, кроме Бориной могилы. Она пыталась разыскать Андрея, не для чего-то, просто снится он ей часто. Уже два года как ищет, но безрезультатно. Одна тетка в архиве сказала, что не там ищет, что все умные евреи уже давно уехали, скорее всего Андрей тоже. Она чувствует, что они обязательно встретятся, что мир тесен. И чем дальше, тем больше сужается, так ей, по крайней мере, кажется. Возможно, это теперь касается ее собственного узенького мира, состоящего из четырех стен, книг, телевизора, телефона. Все труднее передвигаться. Сердце ухает филином в груди, давление, одышка. Надо гнать плохие мысли, перестать мусолить в голове свои и чужие беды. Потому и не спится мрачной бабке, что ничего светлого вспоминать не хочет. Нудно ноет душа, поскуливает ветер за окнами. Хорошо бы крючочком памяти поймать петельку и вывязать красивый, хороший сон. Скорее бы снотворное подействовало.

Закрыла глаза, попыталась поглубже вздохнуть, хотела повернуться на бок, но замерла. Тупая игла вонзилась в подреберье. Рукой нашарила простыню, скомкала в кулак. Вдруг разжала пальцы, выдохнула и увидела, как... Ветер поднял нагретую солнцем пыль. Она взлетела над проселочной дорогой и закрутилась в смерчик, веселенький, как юла. Разрастаясь, он втянул в себя легкий сор, золотистых мух и маленьких птиц, расшвырял ворох листвы и принялся за яблоки. Он терзал деревья, раскачивал, тормошил. Яблоки падали, глухо ударяясь о землю. Андрей собирал их в подол рубахи, но не удержал, выронил. Они посыпались, катясь и подпрыгивая на ухабах дороги, извилистой и длинной, идущей под откос в никуда...

Михаил ЮДОВСКИЙ

СВОЛОЧЬ

О том, что я сволочь, мне сообщили между закуской и горячим, которые подавались на открытой палубе небольшого плавучего ресторана, расположившегося близ набережной Некара, в мутно-зеленой воде которого плавали белоснежные лебеди. Я как раз залюбовался, как они красивыми парами скользят по глади реки, наслаждаясь попутно теплым сентябрьским деньком и видом на гейдельбергский замок, полускрытый деревьями, когда ухо мое выловило из звуков окружающего мира это далеко не лучшее слово.

– Наверное, было бы глупо спрашивать, не ослышался ли я? – полюбопытствовал я у моей спутницы.

– Очень глупо, – ответила та. – Потому что ты не ослышался.

– Я почему-то так и думал, – кивнул я.

– И это всё?

– А что еще?

– Тебе даже не интересно, почему я назвала тебя сволочью?

– Извини, – пожал плечами я, – я просто не знал, что для того, чтоб назвать меня сволочью, тебе нужен какой-нибудь повод.

Она ничего не ответила, просто взяла фужер с минералкой и плеснула мне на рубаху. И вот тогда-то, когда меня уже не только обозвали сволочью, но и облили, нам принесли горячее.

– Прошу, – сказал официант, ставя перед нами тарелки с дымящимся мясом.

– Извините, – обратился к нему я, – мы заказывали красное вино. Можно попросить вас вместо красного вина принести водки?

– Разумеется. – Официант немного замялся.

– Да? – Я поднял на него глаза.

– Простите, что вмешиваюсь, – проговорил официант, – но, по-моему, вы делаете ошибку. Красное вино намного лучше подходит к мясу.

– Согласен, – кивнул я. – Красное вино намного лучше подходит к мясу. А водка намного лучше подходит ко мне. Она легче отстирывается. Принесите, пожалуйста, водки.

– Как скажете.

Официант с полузаметным поклоном удалился.

– На чем мы остановились? – Я вновь повернулся к ней.

– По-моему, ты слишком много себе позволяешь, – сказала она.

– Приятно слышать это от человека, который только что облил тебя с ног до головы.

– С чего это ты заказал водку, не спросив меня?

– А ты разве не будешь?

– Буду. Тебе назло.

– Если ты думаешь, что причинишь мне зло, выпив водки...

– Вот поэтому ты и сволочь, – сказала она. – Это невыносимо. Ты даже не замечаешь, как каждой мелочью, каждым крохотным словом и поступком убиваешь меня. Или, может, ты замечаешь и делаешь это нарочно?

– Понимаешь, – сказал я, – еще в Киеве один из моих друзей научил меня фокусу, как засовывать в нос гвоздь...

– Ты с ума сошел?

– Подожди. Так вот, однажды я проходил таможню в аэропорту и решил попробовать этот фокус. Дело было летом, я в одной футболке и штанах, прохожу через металлоискатель – звенит. Таможенница, крашенная такая блондинка с золотыми зубами, меня спрашивает: «Вы ключи и мелочь выложили?» «Естественно», – отвечаю. «Пройдите, – говорит она, – еще раз». Я прохожу – звенит. Тут она своим приборчиком по мне елозить начала – по животу, по спине, по всяким интимностям, даже про туфли не забыла. Всё в порядке, ни звона, ни писка. Прохожу через ворота – звенит. «Ничего не понимаю», – говорит она. «Ой, – говорю, – извините, совершенно из головы вылетело...» Хлопаю себя как бы с досадою по затылку, и из носа у меня выскакивает гвоздь. «Вот, – говорю, – совсем память никудышняя стала. Сам же гвоздь с утра в ноздрю засунул и забыл напрочь». Таможеннице чуть дурно не сделалось. «Зачем же вы его себе в нос засунули?», – говорит. «А куда? – спрашиваю. – Карман он продырявит, в сумке затеряется...» Она посмотрела на меня нехорошо и, хоть мы с ней на брудершафт не пили, заявляет: «Ну, ты сволочь!» Вот я и думаю теперь: она меня назвала сволочью, и ты тоже. Кому же из вас двоих верить?

– Одному Богу известно, как я от тебя устала, – сказала она.

– Ты права, – кивнул я. – Ему это наверняка известно, потому что он, скорее всего, тоже от меня устал. Как это странно: я люблю его, люблю тебя, а что получаю в ответ? Порцию минеральной воды, выплеснутой в лицо. Ведь это Бог послал мне тебя, чтоб ты облила меня минералкой.

– А теперь, кажется, я ослышалась, – сказала она. – Причем по-настоящему ослышалаясь. Или ты действительно сказал, что меня любишь?

– Конечно, люблю, – подтвердил я, принимаясь за мясо. – Я вообще много чего люблю. И эту реку, и этих лебедей, и этот замок, скрытый деревьями. И это мясо. И тебя, разумеется. Только никто этого не может понять. Спроси у реки, понимает ли она, что я ее люблю. Спроси о том же вот у этого куска мяса. Река плеснет что-нибудь невнятное, а мясо брызнет кровью и если – не приведи Господь – вдруг заговорит, то на весь плавучий ресторан объявит меня убийцей.

В это время снова появился официант и поставил перед нами по рюмке водки.

– Это что? – удивился я.

– Ваша водка.

– И что мы с ней должны делать? Полоскать больной зуб?

– Простите?

– Неужели трудно было догадаться принести сразу граммов двести в красивом графинчике? У вас есть красивые графинчики?

– Есть, но они для вина.

– Тогда принесите нам двести граммов водки в красивом графинчике для вина.

Официант ушел, назвав меня сумасшедшим – мысленно, конечно, но я отлично услышал его мысли.

– Странные у вас в Германии официанты, – проговорила она, вращая в руках рюмку.

– Очень странные, – подтвердил я. – Сколько лет живу, столько удивляюсь – и странностям официантов, и тому, что в Германии – это, оказывается, «у нас». На кой черт ты приехала из Москвы? Мы несколько месяцев не виделись, могли бы еще столько же не видеться.

– И после этого ты, сволочь, говоришь, будто любишь меня?

– Зачем же всё время про сволочь? Ты совсем уже заездила это слово. Что, в русском языке других ругательств не осталось?

– Для тебя найдутся. Значит, любишь?

– Безумно люблю. Как звездное небо. Когда любуешься им издалека, оно притягивает и восхищает тебя. Но стоит оказаться в нем, как ты погибаешь от холода и отсутствия воздуха. Знаешь, у меня в Киеве был еще один приятель...

– Он тоже научил тебя что-нибудь куда-нибудь засовывать?

– Господь с тобою. Он нчичего никуда не засовывал. Он вообще был очень застенчивый человек. И однажды познакомился с девушкой, такой же застенчивой. Месяца три они жили непринужденно и нежно, а потом смертельно друг другу надоели. Но оба были слишком застенчивы, чтобы сказать об этом вслух. Мой приятель так мучался, так метался между этой неприкаянностью и нерешительностью, что однажды взял молоток и стукнул свою сожительницу по голове. Та, по счастью, осталась жива, но дело всё равно передали в суд. На суде он признался, что сделал это из застенчивости. Его отправили на психическую экспертизу, и та признала его невменяемым. Я пару раз навещал его в сумасшедшем доме. Место, конечно, интересное, но действует угнетающе. Знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что лучше бы она ударила его молотком. Может, в его голове что-нибудь от этого сместилось бы и он бы изменился в лучшую сторону. А так, хоть он чуть не убил человека и сидит теперь в сумасшедшем доме, но так и не избавился от робости и нерешительности. Извините, – я окликнул официанта, – принесите, пожалуйста, счет.

– И ты смог бы ударить меня по голове молотком? – поинтересовалась она.

– Ни в коем случае, – возразил я. – Ни молотком, ни топором, ни чем-нибудь другим. Мне для этого не хватит застенчивости. Я не мой приятель. И не Раскольников, который глядел на труп старухи-процентщицы и думал про себя: топорная робота. Поэтому я просто возьму тебя за руку, – я взял ее руку в свою, – и скажу: дорогая, мы знакомы без малого три года. За это время ты пять раз приезжала ко мне из Москвы и трижды я приезжал к тебе в Москву. Каждая наша встреча превращалась в издевательство друг над другом и над здравым смыслом. Не довольно ли преумножать бессмыслицу в этом и без того не лучшем из миров? Можешь не отвечать. Можешь ответить. Можешь назвать меня, как угодно. Только, умоляю, не сволочью, а как-нибудь по-другому.

– Ваш счет. – Над нами вырос официант.

– Угу, спасибо.

Я глянул на счет и полез за бумажником.

– Может, каждый заплатит за себя? – ядовито поинтересовалась она. – По-вашему, по-немецки. Раз уж мы теперь друг другу без пяти минут посторонние люди...

– Милая моя, – сказал я, – мы друг другу не посторонние, а потусторонние. А за это удовольствие надо платить. Возьмите, пожалуйста, – я протянул официанту деньги.

Тот принял их с какой-то обидой.

– Что-нибудь не так? – спросил я.

– Всё в порядке. – Официант восстановил на лице профессиональную учтивость.

– Мы уже не ваши клиенты, – усмехнулся я, – так что валяйте, выплескивайте наболевшее.

– Это, конечно, не мое дело, – проговорил официант, – но... Зачем же вы заказывали двести граммов водки, да еще попросили принести ее в графине, если даже не прикоснулись к ней?

– Вас, наверное, именно графин так разобидел?

– Я...

– Вы, – перебил его я, – видимо, решили, что если мы разговариваем по-русски, то мы, конечно же, алкоголики?

– Нет, что вы.... Я даже не знаю, на каком языке вы разговаривали.

– Вы не ошиблись, – не слушая его, продолжал я. – Мы разговаривали по-русски. И, конечно же, мы алкоголики. Я, по крайней мере. Ваше здоровье.

Я взял со стола графин с водкой и залпом его выпил.

– Вот, – сказал я, ставя пустой графин на стол. – Надеюсь, вы больше не в претензии?

– Да... То есть, нет.... Я хотел сказать... Доброго вам дня!

Мы вышли из ресторана и зашагали по набережной. Следом за нами двинулась, скользя по воде, пара лебедей.

– Красивые птицы, – сказала она. – Как ты думаешь, почему они плывут за нами?

– На запах водки, – ответил я. – От меня водкой разит. Вода у них уже в печенках сидит, наверное.

– А ты знаешь, что лебеди не расстаются до самой смерти?

– Так они и живут недолго. И всю жизнь глядятся в воду, отчего весь мир кажется им перевернутым.

Она замолчала.

– Ты чего приумолкла? – спросил я.

– Чтобы не повторяться насчет сволочи.

– Жаль. Я думал, ты мне что-нибудь еще расскажешь о лебедях. Про лебедя и Леду. Про Зигфрида и Одилию. Про Царевну-Лебедь и про гадкого утенка... Ты знаешь, мне в этой сказке утенок до превращения нравился больше. Как только он сделался лебедем, о нем и рассказывать-то стало нечего. Сразу нашел себе такую же белоснежную компанию и полетел с нею в Африку красоваться перед бегемотами и дразнить крокодилов.

– Зачем ты мне это рассказываешь?

– Хочу, чтоб ты запомнила меня мерзавцем. Чтоб тебе было легко и приятно думать о том, что мы расстались. Хочешь прямо здесь, у реки, полной лебедей, поцеловаться с винокуренным заводом?

Я обхватил ее, прижал к себе и поцеловал в губы. Она не отстранилась, но и на поцелуй мой не ответила.

– Поехали домой, – сказала она.

– Поехали, – согласился я.

Когда мы вернулись в квартиру, уже стемнело. На месте сентябрьского солнца в небе желтела сентябрьская луна, окруженная компанией созвездий.

– А ведь есть такое созвездие – Лебедя? – проговорила она, глядя на небо в окно.

– Есть, – сказал я. – Его еще называют Северным Крестом. Правильно называют. Большой жирный крест, поставленный на северном небе.

– Знаешь, чем ты отличаешься от гадкого утенка? – неожиданно спросила она.

– Формой клюва.

– Утенок поначалу был гадким, а потом превратился в прекрасного лебедя. А ты сперва прикинулся лебедем и только потом превратился в гадкого утенка.

– В сволочь, – уточнил я.

– В сволочь.

– И кому же этот упрек? Выходит, я был прекрасным лебедем, а ты сделала из меня гадкого утенка. Но, по-моему, ты к себе несправедлива. Я, наверно, всегда был утенком и, кажется, прегадким.

– Врешь, – сказала она. – причем глупо и бездарно. Тебе зачем-то нужно, чтобы тебя считали хуже, чем ты есть на самом деле.

– Просто меня всегда тошнило от людей, которые хотят казаться лучше, чем они есть.

– А от людей, которые хотят казаться хуже, чем они есть, тебя не тошнило? Ведь это то же самое, только в перевернутом виде. Это не лебеди, это ты всю жизнь видишь мир перевернутым. Зачем казаться, если можно быть?

– Казаться легче.

– Только тем, кто никогда не пробовал быть. Попробуй.

– Не хочу. Боюсь подсесть. Бытие вызывает привыкание.

– Знаешь что, – сказала она, – через три дня я улетаю в Москву. Вряд ли мы снова увидимся. Раз тебе это не нужно – черт с тобою. Но даю тебе слово, что за эти три дня я из тебя все соки выжму. Хочется сохранить хоть какое-то приятное воспоминание.

– Да я и не возражаю. – усмехнулся я. – Не будем казаться, будем собой. Я – тот еще фрукт, а ты – отличная соковыжималка. И к черту все эти разговоры.

Через три дня она улетела. Через три недели я почувствовал, что, кажется, соскучился по ней. Через три месяца забыл о ней совершенно. А через три года получил от нее открытку, в которой она приглашала меня прилететь в Москву на ее свадьбу. Открытка была написана от ее имени и от имени ее будущего супруга. В конверте с открыткой я обнаружил маленькую записку, написанную уже ею лично, где она сообщала, что счастлива, вспоминает обо мне с теплом и улыбкой и будет искренне рада видеть меня на своей свадьбе в качестве старинного друга. Я разорвал и записку, и открытку. Затем смел обрвыки на ладонь и выкинул их в мусорное ведро.

«Вот так-то, – подумал я. – Казаться, всё-таки, легче, чем быть. Особенно, чем быть счастливым. Счастливые люди не рассылают бывшим любовникам приглашения на свою свадьбу. И, тем более, не прилагают к ним записок, где сообщают, как они счастливы».

Честно говоря, мне было немного жаль, что она не видела, как я рву ее приглашение и записку. Потому что в этот момент я, наверное, не старался казаться сволочью, а был ею на самом деле.

МОРСКОЕ ЖИВОТНОЕ ИЗ ШЕСТИ БУКВ

Как мне кажется, кроссворды существуют вовсе не для развития человческого интеллекта, а для его полезного расточения. В самом деле, каждый из нас худо-бедно накопил за свою жизнь немудреный скарб совершенно ненужных знаний, которые, не будь кроссвордов, так и остались бы невостребованными и почили бы в нас навеки инфузориями, амфибрахиями, аминокислотами и прочими тегусигальпами.

Однажды, чудесным зимним вечером, мы с одной близкой моей знакомой сидели в гостиной и наслаждались тишиной и уютом. За окном красивыми хлопьями падал снег, я склонился над письменным столом и при свете настольной лампы делал вид, будто что-то сочиняю, а она, примостившись в кресле под торшером с темно-зеленым абажуром, разгадывала кроссворд. В ее пальцах нежно поскрипывал карандаш, в моих небрежно, но осмысленно покачивалась шариковая ручка, терпеливо ожидая, когда в моем мозгу созреет нечто такое, что позволит ей, наконец, соприкоснуться с белой поверхностью листа.

– Радость моя, – неожиданно прозвучал бархатный голос моей спутницы, – ты случайно не знаешь, как называется морское животное из шести букв?

Я отложил ручку и задумался.

– Свинка, – произнес я, наконец.

– Почему свинка? – удивилась она. – Какая свинка?

– Морская свинка.

– Разве морская свинка – морское животное?

– Давай рассуждать логически, – терпеливо предложил я. – Если морская свинка называется морской свинкой, то, разумеется, она – морское животное.

– Радость моя, ты что-то путаешь, – покачала головою она. – Морская свинка называется морской вовсе не потому, что она морская.

– Солнце мое, – немного нервно заметил я, – ты хоть иногда слышишь саму себя? «Морская свинка называется морской вовсе не потому, что она морская»... Бога ради, объясни, где тут логика? Скажи еще, что она не свинка.

– Конечно, нет!

– Поздравляю. Оказывается, морская свинка, во-первых, не морская, а, во-вторых, не свинка. Эдак мы не знаю до чего договоримся.

– Ты шутишь?

– Хороши шутки! Морские львы – пожалуйста. Морские слоны – сколько угодно. Даже против морских коров не возражаем. А едва дело коснулось маленькой, беззащитной морской свинки – тут мы сразу на дыбы. Тут нам гордость не позволяет. Тут у нас принципы откуда-то берутся.

– Радость моя, ты идиот, – сказала она.

В этой жизни меня называли идиотом, может быть, реже, чем следовало, но чаще, чем мне хотелось. Сделалось очень обидно, но не мог же я унизиться до того, чтобы оскорбить в ответ женщину.

– Сама идиотка, – сказал я.

Я медленно и величественно вышел в прихожую, надел пальто и шляпу, обмотался шарфом и, не удержав величия, выскочил на улицу, хлопнув дверью. На улице по-прежнему падал снег, кружась в фонарном свете и собираясь на земле в сугробы. Деревья изящно и хрупко чернели голыми ветками, отбрасывая такие же изящные и хрупкие тени.

Я шел, скрипя снегом и размышляя о природной гармонии и о морских свинках.

«Почему, – думал я, – так красиво и безупречно устроен мир и так нелепо устроены люди? Почему всё в природе естественно и гармонично, кроме человека? Хорошо, пусть морская свинка никогда не видела океанских просторов и даже не умеет плавать, но, может быть, моряком был ее дедушка? Может, он мечтал, чтобы его внучка унаследовала его просоленную морскими ветрами душу? И, в конце концов, разве это повод называть меня идиотом?»

Предаваясь этим печальным мыслям, я незаметно для самого себя дошел до автозаправки, уютно светившейся окнами ночного магазина. Я решил зайти внутрь и купить

сигарет. Продавщица, еще молодая женщина, но с каким-то заранее усталым от всего на свете лицом, положила передо мной на прилавок пачку «Винстона» и куда-то уставилась сквозь меня.

– Скажите, – неожиданно обратился к ней я, – как по-вашему, морская свинка – это морское животное?

– Вы меня об этом спрашиваете? – удивилась продавщица.

– А вы здесь еще кого-нибудь видите?

– Но почему именно морская свинка? – немного нервно спросила продавщица.

– А что, эта тема для вас запретная?

– Так, – в ее голосе зазвучали металлические нотки, – вы собираетесь платить за сигареты?

– Да, – с горечью ответил я. – И дайте мне еще бутылку водки.

Уже на улице я сорвал с водочной бутылки закрутку и сделал большой глоток из горлышка. Затем еще один. Легче не стало, но сделалось безразличней. Я шел и пил на ходу. Изредка мне встречались прохожие и каждому из нах я предлагал выпить со мною. Одни шарахались от меня, другие с удовольствием соглашались, но стоило мне после выпитого завести с ними душевный разговор о морских свинках, почему-то обижались и уходили, прибавляя к уже заработанному мною «идиоту» новые интересные прозвища. Допивать мне пришлось одному, сидя на какой-то полузаснеженной скамейке и размышляя о человеческом несовершенстве.

Когда я вернулся домой, с трудом открыв дверь ключом и ввалившись в квартиру столь же невелечественно, как я из нее выскочил, она спала в кресле под включенным торшером, а журнал с кроссвордом валялся на полу.

– Проснись, бесчувственная! – громко сказал я.

Она вздрогнула и открыла глаза.

– Стыдись, – продолжал я заплетающимся языком. – Я шляюсь, неизвестно где, мерзну и пьянствую с какими-то сомнительными личностями, а ты преспокойно спишь в кресле, и нет для тебя ничего важнее дурацких кроссвордов и нелепых морских животных из шести букв...

– Зачем ты напился? – поморщилась она. – Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты пьяный.

– Я напился... Потому что я свинья. Морская свинья... Запиши меня в свой кроссворд... Морским животным... Из шести букв... Ты не помнишь, сколько букв в моем имени?

– Тюлень, – проговорила она, улыбнушись.

– Пардон? – не понял я. – Какой тюлень? Ты снова обо мне? Тебе мало «идиота»?

– Морское животное из шести букв – тюлень.

– Это хорошее животное, – я одобрительно цокнул языком. – Тюлень – очень хорошее животное. Оно хлопает в ласты и крутит на носу мячик. У тебя нет мячика, чтоб я покрутил его на носу?

– Нет.

– Тогда позволь я похлопаю тебе в ласты. – Я попытался хлопнуть в ладоши, но промахнулся.

– Наклонись, – велела она.

– Зачем? – подозрительно спросил я. – Хочешь перейти от слов к действию? Хочешь мне надавать по моей тюленьей морде?

– Наклонись, говорю.

– Ладно, бей.

Я наклонился. Она поцеловала меня в лоб, положила мою голову себе на колени и погладила по мокрым от снега волосам.

– Гыыым, – издал я какой-то невнятный звук.

– Помолчи, – сказала она.

Но мне не хотелось молчать. Водка развязывала язык, а оттаявшие с мороза слова просились наружу.

– Почему мы так странно устроены? – пробормотал я. – Мы поругались из-за какой-то морской свинки и помирились, потому что я напился пьяным. По-твоему, это нормально?

– По-моему, – сказала она, – это нормально.

– Тогда нам нельзя разгадывать кроссворды. Никому нельзя разгадывать кроссворды. Кроссворды нужно запретить законом. Они отвлекают людей от чего-то главного.

– От чего, например?

– Например, от того, чтобы пить водку. Водка людей сближает, а кроссворды разъединяют. Пусси, я должен записать эту мысль.

– Какой же ты идиот, радость моя, – проговорила она на удивление необидно.

– Ага, – согласился я. – Знаешь что, зачеркни своего тюленя. Я понял – это тупое животное. В ласты хлопает, какие-то мячики на носу крутит... Пусси, я подарю тебе настоящее морское животное из шести букв.

Я приподнял голову с ее колен, встал на ноги, но тут же пошатнулся, рухнул на пол и застыл на нем, распластавшись. Надеюсь, она поняла, что я из последних сил попытался изобразить для нее морскую звезду.

ГОСПОЖА ЛИ

Никто не привязывается к людям сильнее, чем зубные врачи и адвокаты. К человеку, вернее сказать, к клиенту они прикипают, как клещ к месту укуса. Впрочем, зубные врачи если не бескорыстней, то преданней. Адвокат будет вас любить, пока не разденет до нитки. Как только с вас опадет последний лоскут одежды, его интерес к вам мгновенно улетучится. Стоматолог же нипочем не расстанется с вами – до тех пор, пока за вас платит больничная касса. Если вы не способны одарить его заказом на керамическую челюсть, он, скрепя сердце, согласится на заурядный кариес. Вынашивая мечту осчастливить вас зубным мостом, он, в конечном счете, не откажется удалить вам зубной камень. Стоматологи поразительны в своей противоречивости. Они восторгаются людьми с хорошими зубами, но любят людей с плохими. Они, как преданные жены, лелеют в душе недостижимый идеал, сталкиваясь изо дня в день с ничем не примечательным убожеством и его ничтожными проблемами.

Моим германским зубным врачом стала, как ни удивительно, китаянка со звучным именем Ли Чанг. В Германии она оказалась, выйдя замуж за венгра. Не спрашивайте меня, почему китаянке нужно выйти замуж за венгра, чтобы оказаться в Германии – я и сам в этом ничего не понимаю. Но когда китаянка лечит зубы еврею, это и называется глобализацией. Избрал я именно ее по вполне понятной причине: ее зубоврачебный кабинет располагался ближе остальных к моему дому. Судя по звучанию, госпожа Ли Чанг предпочла сохранить свое китайское имя и фамилию неприкосновенными от фонетических посягательств венгерских корней супруга. Муж ее, к слову сказать, работал в той же практике вторым врачом. Он был на пять лет моложе и на две головы выше

своей миниатюрной жены, обладал незаурядной внешностью, и в том, как эта хрупкая, не слишком молодая и не очень красивая женщина прибрала его к рукам, ощущалась некая буддийская тайна с примесью дальневосточного колдовства. Силу этого колдовства я испытал на себе, сидя в зубоврачебном кресле в ее кабинете, когда госпожа Ли мелко пританцовывающей походкой вошла в него, склонилась надо мной и поющим голоском велела мне открыть рот. Рот мой открылся сам по себе, повинуясь не столько моей воле, сколько ее приказу. Маленькая госпожа Ли заглянула в него, рискуя провалиться туда целиком, что-то долго выискивала и выстуктвала металлической ложечкой и, наконец, вынырнув оттуда, объявила:

– Калиес.

– Что, простите? – не понял я.

– В низнем зубе – калиес.

– Может быть, – согласился я.

– Вы, навелно, любите сладкое? – поинтересовалась она

– Терпеть не могу.

– Напласно.

– Почему? – удивился я, меньше всего ожидая услышать такое от зубного врача..

Госпожа Ли улыбнулась, мечтательно сощурила и без того узенькие глаза и нежно, нараспев, протянула:

– Вкуусно...

Затем взяла в руки бормашину, насадила на нее сверло и проговорила всё с той же поющей интонацией:

– Отклывайте лот. Будем лецить.

Бормашина зажужжала. Еще никогда визгливый звук ее так не диссонировал с голосом дантиста. Они были словно инь и ян, слившиеся в едином процессе, в благородном поединке с коварным врагом кариесом, укрывшимся в крепости моего больного зуба. Наконец, бормашина умолкла, металлическая ложечка, звякнув, в последний раз коснулась заполненного дупла, запечатлев на нем пломбу, и нежный голосок госпожи Ли возвестил:

– Мозете сплюнуть.

Я послушно сплюнул.

– Плидете целез тли дня, – расрорядилась госпожа Ли.

– Зачем? – спросил я.

– Будем лецить дальсе. – Госпожа Ли заглянула мне в глаза и, расплывшись в цветущей, как лотос, улыбке, пояснила:

– Калиес.

За время нашего знакомства госпожа Ли при помощи китайских заклинаний и немецкой бормашины изгнала кариес из шести моих зубов. Когда заклинания не действовали, она изгоняла изо рта зубы, лишив меня семи, включая все зубы мудрости.

– Вот, – печально проговорил я, расставаясь с последним, – теперь я стану идиотом.

– Пацему? – поинтересовалась госпожа Ли.

– Вы же мне все зубья мудрости поудаляли!

Госпожа Ли плавно, точно под неслышимую музыку, покачала головой:

– В зубах мудлости нет.

– А что в них есть? – спросил я.

– Калиес.

– А в чем мудрость?

Честно говоря, я ожидал услышать в ответ нечто буддистки-парадоксальное, вроде того, что мудрость находится в районе пупка или скрывается в ногте большого пальца. Но госпожа Ли ответила еще парадоксальней, точнее сказать, нелепей:

– Кусайте побольсе сладкого.

– Зачем? – отропел я.

Ее глаза, как обычно, превратились в щелочки, а рот растянулся в улыбке и пропел:

– Вкуусно.

Госпожа Ли за эти годы совершенно не переменилась внешне, чего нельзя было сказать о ее муже. Молодой красивый высокий венгр явно постарел, подурнел и даже сделался как будто ниже ростом. Между ним и его женой по-прежнему существовала невидимая, но ощутимая связь, подчиняюшая с одной стороны и полностью подчиненная с другой. Однажды, придя лечить очередной зуб, я оказался не в привычном кабинете госпожи Ли, а в соседнем, где священнодействовал ее супруг, венгерский отпрыск Европейского Союза.

– Ну-с, – деловито сказал он, – посмотрим, что там у вас. Откройте рот пошире.

Мне вдруг стало скучно. Визит к зубному в одночасье превратился из мистерии в заурядную и не слишком приятную процедуру.

– А где госпожа Ли? – поинтересовался я.

– Болеет, – нахмурившись ответил ее муж. – Да вы не беспокойтесь, я дипломированный стоматолог и отлично знаю свое дело.

От этих слов мне стало еще скучнее.

– А что с ней? – спросил я. – Простудилась?

– Да нет... – венгр замялся, а затем выпалил решительно и даже как-то зло: – Зубы болят. Ведь говорил же ей, ведь умолял ее: Чанг, не ешь так много сладкого, ты же зубной врач, ты же должна понимать. Нет, только и знает что «вкуусно». Эти китайцы – как дети, честное слово. Когда они, как сейчас любят прогнозировать, будут править миром, имейте в виду, что нами правят дети.

– А приятно подчиняться детям? – неожиданно спросил я.

– Подчиняться вообще никому не приятно, – отчеканил венгр. – И довольно об этом. Откройте рот и молчите.

Он быстро, умело и совершенно безбольно просверлил и запломбировал мне два зуба, сосредоточенно глядя мне в рот и не говоря ни слова. Лишь в самом конце проронил:

– Вот и всё. Можете прополоскать рот и сплюнуть.

– Спасибо, – сказал я. – Когда мне снова приходить?

Венгр пожал плечами.

– Когда заболит, тогда и приходите. У вас были не в порядке два зуба, я их вылечил. Других аномалий я пока не наблюдаю.

– Доктор, а что у меня было с этими двумя зубами? – с какой-то непонятной и даже глупой надеждой спросил я.

– Как что? Кариес, естественно.

– Калиес, – поправил его я.

– Что, простите?

– Да нет, ничего.

– Вот и отлично. И мой вам совет – не ешьте сладкого. Оно отвратительно воздействует на зубы.

– А я люблю сладкое, – сказал я.

– Тогда выбирайте – либо бессмысленное потакание своим слабостям, либо нормальные здоровые зубы.

– Я подумаю, – пообещал я. – Передайте, пожалуйста, от меня привет госпоже Ли.

– Передам, – мрачно буркнул венгр. – Еще один совет, если позволите: никогда не ствьте экзотику выше компетентности. Вы из какой страны?

– Из Украины.

– Хм... Украина – это Россия?

– Украина – это Украина. Хотя, конечно, по-своему и Россия.

– Две сумасшедшие страны, – заявил стоматолог.

– Какие? Украина и Россия?

– Россия и Китай. Не дай Бог, если...

– Что поделать, доктор, – вздохнул я. – Мне всегда нравились так называемые сумасшедшие. А вам разве нет?

– Оставим этот разговор, – махнул рукою венгр.

– Оставим, – согласился я. – Так мне в ближайшее время можно не приходить?

– Если вы не собираетесь прямиком отсюда податься в магазин, купить коробку шоколадных конфет и слопать ее в один присест – можете не приходить. До свидания.

Больше года я не появлялся в китайско-венгерской зубоврачебной практике, где компетентность подчиненно соседствовалиа с экзотикой. За это время я по какой-то нелепой прихоти пристрастился к шоколаду, карамелькам и прочим сладостям. В конце концов, у меня зверски разболелся зуб, и я снова оказался в стоматологическом кресле. В кабинет всё той же легкой танцующей походкой вошла госпожа Ли.

– Здлавствуйте! – обрадованно сказала она. – Сто, зубы болят?

– Болят, – попытавшись улыбнуться, ответил я. – А у вас?

– Бывает, сто болят, а бывает, сто не болят, – ответила госпожа Ли. – Отклойте лот.

Я открыл. Она, как бывало, чуть ли не занырнула в него, а затем, вынырнув, заговорщецки подмигнула мне и осведомилась:

– Кусали соколад?

– Шоколад, – подтвердил я.

– Вкусно?

– Очень вкусно. А что у меня с зубом?

Госпожа Ли распустила на губах улыбку и тонко-тонко, нежно-нежно пропела:

– Калиес.

И чернеющее дупло в моем больном зубе, кажется, пропело ей в ответ.

ПО ДЗЕРЖИНСКОЙ-МИРОНОСИЦКОЙ

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Александру Кривцову

До революции эта улица называлась Мироносицкой, в честь храма Жен Мироносиц, который когда-то был на территории нынешнего сквера Победы. При советской власти ее переименовали в Дзержинского, но я, как и многие, называл ее Дзержинской. Так удобней. Ведь есть же Пушкинская, Лермонтовская, Чернышевская... Вот уже пятнадцать лет, как улице вернули прежнее название.

По этой улице я ходил первые тридцать лет своей жизни.

На этой улице, будучи ребенком, я ощущал дома, как живые существа.

На этой улице я знал все деревья, и гибель каждого воспринимал как личную потерю.

На этой улице звучал рожок керосинщика, и я был свидетелем заката эпохи примусов и керогазов.

На этой улице по утрам перекликались петухи.

На этой улице тихий мальчик Миша Геншафт научил меня кидать камни в проезжающие машины.

На этой улице я искал счастье. Мой сосед по двору Павлик придумал замечательную игру. «Пошли искать счастье», — предлагал он, и мы шли по улице, внимательно глядя под ноги. О, сколько прекрасных находок ожидало нас! Винтики и гайки, шарики от подшипника, мелкие монетки, всякие занятные железячки.

На этой улице я подкладывал цыганские иголки под колеса стоящих автомобилей.

На этой улице я играл с мальчишками в футбол и хоккей.

На этой улице я влюбился в девочку со сложной фамилией Перельцвайг.

На этой улице я научился ездить на велосипеде.

По этой улице я бежал вдоль ручья за корабликами из спичечных коробков, и гонки всегда заканчивались у чугунной решетки, куда с шумом низвергалась дождевая вода.

Под этой улицей кабели, водопроводные трубы, ливневые стоки. Богатые клады. Следы иранской и тюркской культур. Неразорвавшиеся бомбы и снаряды. Черепки глиняной посуды, старинные монеты. Скелеты давно вымерших животных. Если на площади Дзержинского откопали бивни мамонта, то почему бы и здесь не откопать? На территории Слобожанщины когда-то было древнее море. На осыпающихся склонах находят окаменелые ра-

кушки и акульи зубы. Значит, и под улицей они есть. В свежевырытом котловане я находил дореволюционные медные пятаки. Копая погреб в сарае, мой сосед нашел коробочку, в которой хранилась высокая награда царской армии — Георгиевский крест.

Над этой улицей пролетал молодой летчик Коля Квасов, который ухаживал за моей мамой. Перед отправкой на фронт Коля пообещал, что пролетит над ее домом и покачает крыльями. Так и сделал. Вскоре погиб. Даже на черно-белом фото видно, какие были у него необычайно светлые, лучистые глаза.

Мама говорила, что голубые.

Давным-давно на этой улице жила сумасшедшая Надя. Люди говорили, что она свихнулась при пожаре. Страшно и смешно было наблюдать за ней. Шел я как-то по Дзержинского с двоюродным братом. «Эй, вы напишите привет?!» — окликнула нас с другой стороны душевнобольная.

— Напишем!!! — в один голос пообещали мы.

— Только хорошо напишите, грамотно, без ошибок! — строго предупредила Надя, да еще и пальцем пригрозила.

Прошли годы и я подумал: почему бы и не написать?

Привет тебе, улица Мироносицкая, бывшая Дзержинского!

Привет вам, дома, стоящие по обеим сторонам улицы, с номерами четными и нечетными! Привет вам заборы каменные и железные, высокие и низкие! Привет вам, асфальт и тротуарная плитка! Привет вам липы и каштаны! Привет вам столбы электропередачи, уличные фонари и провода!

Мои приветы напоминают здравицы, которые выкрикивали с трибуны во время первомайской и ноябрьской демонстраций: «Да здравствуют трудящиеся Киевского района!

Да здравствуют славные жители улицы Дзержинского! Ура!!!

Но это с таким же успехом могла бы выкрикнуть и сумасшедшая Надя.

Давным-давно на этой улице, едва ли не из каждого окна, доносилось пение. Особенно в праздники.

Давным-давно, по дворам свободно гуляли куры, в сараях плодились кролики, и над цветами в палисадниках кружились бабочки, пчелы и шмели...

Давным-давно исчезли как вид голубятники, чей зычный трехпалый свист загонял птиц высоко в небо...

Давным-давно исчезли бабушки и тетеньки, сидящие на лавочках у ворот и подъездов.

Давным-давно я не слышал:

— Нет, ты только посмотри! Пошла, пошла... Пр-р-аститутка!!!

— Бесстыжая! Юбку задрала до самой...

— Смотри, и у этой синяки над глазами нарисованы!

— А нам мужья натуральные ставили. На весь глаз!

Давным-давно, простоватые названия «Индпошив» и «Бытремонт» вытеснили загадочно красивые «Bigolle» и «Canakarrado»...

Давным-давно возле дома номер восемнадцать советская молодежь отплясывала не советский танец.

Заводилами в компании были Коля Полтавец и Толик. Колю — чемпиона Украины по велоспорту и бегу на коньках — любили и уважали все от мала до велика. Во-первых — знаменитый, а нос не задирает. Во-вторых — знай наших! Летними вечерами у крыльца под гармошку и гитару устраивали танцы и пели песни. Местной ребятне милостиво разрешалось быть зрителями, и мы с нетерпением ждали выкрика: «Барыню!» Услыхав его, музыканты оглядывались по сторонам и, убедившись, что нет посторонних, врезали

«Буги-вуги!» Коля и Толик вылетали в круг. И такое начиналось... Девушки визжали от восторга. Наиболее смелые извивались и дергались на месте, но в круг не выходили. Боялись, что при исполнении рискованных па ребята могут увидеть их нижнее белье. К нашему дикому восторгу Коля перебрасывал Толика через себя. Это напоминало борцовский прием, при котором падающий приземлялся не на спину, а на ноги. На пальце у Толика красовался перстень с огромным черным камнем.

Мы восторженно орали:

«Буги-вуги стильный танец...
Изобрел американец.
И теперь заразу эту
Разнесло по всему свету.
Мир победит,
    победит,
        победит
            войну!»

На эту улицу падали немецкие бомбы.

На этой улице, во время фашистской оккупации взлетел на воздух дом, где располагался немецкий штаб. Мина сработала по радиосигналу, посланному из Воронежа. Впервые в мире. После этого на балконах дома номер шестнадцать фашисты повесили всю прислугу, объявив их партизанами.

На этой улице отстраивали разрушенные дома, возводили новые, приводили в порядок старые.

Самый красивый на улице — дом-аристократ, построенный в начале двадцатого века в стиле «Модерн».

Самый несчастный — дом-доходяга, покинутый жильцами, стоящий без номера и ожидающий своей участи.

Самый крутой — элитный. Новый, непонятный, высокий, по причине дороговизны едва заселенный, благоустроенный, современный, охраняемый, недоступный.

Самый типичный — дом-обыватель, в котором давно не делали ремонт. Характер у него старческий, противный: то запахом цвели в нос ударит, то гнилую ступеньку под ноги коварно подставит, то с потолка штукатуркой трухлявой обсыплет.

Самым скромным сооружением на улице была деревянная будка слесарной мастерской, в которой трудился дядя Сёма. В какую пору дня не пройди, в широкое окно было видно, как он, сутулясь, тщательно подгоняет бороздки ключей напильником. Порой казалось, что он в этой будке и живет. А, может, работы было много оттого, что люди часто теряли ключи? Кто знает...

Самые красивые в мире абажуры изготавливались в доме номер девятнадцать.

Мама знакомого мальчика Валеры расправляла сложенную веером бумагу и окунала в один из чанов с краской. Цвета были ядреные, как для пасхальных яиц: зеленый, лиловый, синий, розовый, голубой, алый. Потом на высушенную над примусом бумагу она наносила цветы. О, это было высокое искусство! Палочка с ваткой окуналась в розовую краску и — ляп, ляп, ляп по синему фону. Потом веер разворачивался и непостижимым образом превращался в красавец-абажур, обильно украшенный розочками.

Валера и его мама жили богато. У них был телевизор с крошечным экраном.

Давным-давно над этой улицей, мигающей звездочкой, пролетал первый искусственный спутник земли и радостно потрясенные люди, задрав головы, смотрели на него.

Сегодня, благодаря спутниковой связи, я знаю, как выглядит Мироносицкая из космоса. Компьютерная программа позволяет увеличить изображение, чтобы рассмотреть детали. Здорово, конечно, но в моем внутреннем космосе, где прошлое и настоящее совершенно не мешают друг другу, возникает картинка, похожая на детский рисунок. Здесь не действуют законы перспективы, а масштаб и пропорции весьма условны. И, главное, она живая.

Вот черная дыра котлована на пересечении улиц Иванова и Дзержинского уменьшается в размерах, исчезает и на ее месте вырастает красивый пятиэтажный дом, в который вскоре заселится мой будущий друг Саша. Дома, стоящие по обеим сторонам улицы, немного лежат на боку. Но так рисуют дети, чтобы всё сразу было видно. Одни дома заштрихованы дождями, другие усеяны звездочками снежинок. Над остальными сияют индивидуальные солнца. Лошадка, запряженная в телегу, везет цистерну с керосином, и возница поднес к губам рожок. Над улицей летит краснозвездный самолетик, и моя юная мама машет ему рукой. Из окна дома номер двадцать лучами вылетают слова «Ой, цветет калина...» На проезжей части мальчишки играют в хоккей. Группа людей провожает взглядом журавлиный косяк приветов от сумасшедшей Нади. Возле дома номер 18 парни танцуют буги-вуги. В широком окне слесарной будки виден дядя Сема. Он делает ключи для квартир домов, которые уже давно не существуют. Над уличными фонарями висят чудо-абажуры, изготовленные Валериной мамой. На стене каждого дома висит мемориальная доска «Здесь жили, живут и будут жить невеликие люди».

Но вот в мою картинку кто-то влепил снежок, потом еще снежок, потом еще и еще, и вскоре все стало белым бело... Как чистый лист.

ДЕДУШКА

В детстве моих матушку и тетушку окружали исключительно красавицы и красавцы. «Ты помнишь тетю Стешу? — вопрошала матушка тетушку. — Какая была красавица!» «Как же, как же, — отвечала тетушка, — на ней еще дядя Гриша помер. Такой красавец был!»

Дедушка мой, разумеется, тоже был красавцем. Правда, глаз у него правый немного косил, но это не важно. Вот он на коричневом картонном фотоснимке: коротко стриженый, молодой, взгляд тревожный. В подбородок упирается высокий жесткий воротничок кителя, на котором большими белыми буквами написано «ОГПУ ОСНАЗ»*. «Железнодорожник», — думал я в детстве. Судьба моего дедушки компактно укладывалась в мальчишескую хвастливую фразу, которую я выпаливал единым духом без точек и запятых: «Мой дедушка Степан Терентьевич Коновалюк герой гражданской войны партизан контуженый в Отечественную войну воевал с японцами на Дальнем Востоке они его поймали привязали к дереву и распилили!» Ух, жуткая смерть! Я часто с ужасом представлял, как японцы пилят дедушку, и он кричит. Много лет спустя я спросил матушку: «Зачем ты придумала японцев?» «Не знаю», — пожала она плечами.

Все было гораздо проще. В сентябре 1941 года дедушка пошел на работу и не вернулся. Ну а в моем детстве и отрочестве матушка в минуты откровенности скупо выдавала о нем житейские подробности: гонялся за бабушкой с маузером, хотел ее застрелить.

* ОГПУ ОСНАЗ — отдел главного политического управления особого назначения.

Соседка в ужасе бежала до самой площади Дзержинского и писала. Матушка вцепилась в руку дедушки мертвой хваткой и висела до тех пор, пока он не опустил пистолет. Когда не пил, был внимательным, ласковым. Покупал конфеты. Одевался бедно: гимнастерка, кожаные кавалерийские штаны, сапоги. Но был чистюлей. Перебил в доме все иконы. Бабушке удалось спасти только одну — Николая Чудотворца. Напиваясь, кричал: «Бей жидов — спасай Россию!» — и укладывался спать у порога. Работал на заводе. Ударник. Стахановец. Приходя домой пьяным, кричал бабушке Василисе: «Открывай ворота, Васька, Степан Терентьевич едет!»

От этих подробностей дедушкин героический ореол тускнел, но не настолько, чтобы я перестал хвастаться партизаном, стахановцем, героем Отечественной войны. В детстве мы любили козырять друг перед другом военными доблестями своих близких. Врали нещадно, и выше всех задирал нос тот, чья семья положила больше жизней на алтарь Отечества. Завирали, впрочем, не сильно. Только в моей семье на войне погибло три человека.

Трудно собрать мозаику, когда многие фрагменты утеряны. Но зияющие пустоты начинает заполнять воображение. Я не особо фантазировал, а так — домысливал, понимая, что этот сложный противоречивый образ, как любят говорить в драматургии, слишком упрощен.

Дедушка был родом из Западной Украины. Женился на бабушке, когда ей было пятнадцать лет. Священнику в церкви солгали, что она старше, а то не обвенчал бы. Далее — революция, гражданская война. В гражданскую войну дедушка партизанил. В боях получил контузию в голову, отчего на один глаз потом косил. Трое из пятерых его с бабушкой детей умерли. Вот он на фотографии стоит, убитый горем, у гроба своего малолетнего сына Коли. После гражданской служил в ОГПУ ОСНАЗ. «Интересно, расстреливал ли он тогда людей?» — спрашивал я матушку. «Нет, что ты, — пугалась она, — он был в отделе по борьбе с бандитизмом».

Но ведь бандитов тоже расстреливали. И знать бы, кого в ту пору считали бандитами...

Ладно, добавим светлого — не стрелял... С какого-то времени начал сильно пить. В пьяном виде был страшен. Из органов его, вероятней всего, выгнали. Работал на Харьковском электромеханическом заводе слесарем. Был ли ударником? А почему нет? Друзья? Один из них, дядя Юзик, был какое-то время личным охранником Никиты Сергеевича Хрущева. Другой — высокий, крепкий, худощавый старик — приходил к нам во двор играть в карты. Мы с ним в паре безжалостно обыгрывали в «дурачка» местных бабушек, и они, бедные, тоненько охали и причитали. «А я ведь знал твоего дедушку, — всякий раз говорил старик. — Мы с ним дружили». При этом он пристально смотрел на меня своими светло-серыми глазами, будто хотел что-то услышать.

Но что мог сказать ему я, родившийся через семь лет после того, как дедушка ушел на работу и не вернулся? Это сейчас говорят: астрал, генетическая память, реинкарнация, дежа вю...В Киеве приезжие индусы признали в одном из знакомых мне бардов новое земное воплощение своего умершего учителя и нарекли его Свами Ананд. Ну и Ананд с ними, а со Степаном Терентьевичем Коновалюком, моим пращуром, как быть?

«У нас до войны был знакомый — Витя Тухтаров, — рассказывала матушка. — Так вот, когда немцы взяли Харьков, он появился в эсэсовской форме и вежливо поинтересовался, где наш папа. Мы рассказали, что папу арестовали. Витя улыбнулся: «Жаль, что он мне не попался...» Выходит, что дедушке выбирать было не из чего — либо свои погубят, либо чужие.

Сорок шесть лет было дедушке, когда он пропал. Сорок шесть лет исполнилось мне, когда я решил его разыскать. Матушка пришла в ужас: «Зачем тебе это нужно?! Тебе и твоим детям за это еще аукнется!» «Не аукнется», — сказал я и решил позвонить Валерию Мещерякову — зампредседателя Всесоюзного общества «Мемориал». С ним я познакомился во время предвыборной кампании, когда он был доверенным лицом поэта Евгения Евтушенко, баллотировавшегося от Харькова в Верховный Совет СССР. Мещеряков привел меня в редакционно-издательскую группу «Реабилитированные историей», где мне помогли составить заявление на розыск пропавшего дедушки.

Через три месяца там же я получил первое письмо, в котором Служба безопасности Украины сообщала: «По материалам архивного уголовного дела, Коновалюк Сафон (а не Степан) Терентьевич, 1895 г. рождения, был арестован 28 сентября 1941 г. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 54-10 УК УССР. На день ареста имел жену и двух детей, фамилии, имена и отчества их не указаны. Обвиняемый Коновалюк С.Т. в пути следования из г. Харькова в г. Казань 15 декабря 1941 г. умер. Сведений о конфискации имущества в деле нет. Дело не пересматривалось. Коновалюк С.Т. не реабилитирован. В настоящее время материалы архивного уголовного дела находятся на рассмотрении на предмет реабилитации».

«Неправда, что он умер в декабре, — сказала работница группы. — Всех заключенных, которых не успели эвакуировать до сентября, уничтожили на месте. Свои. А немцы вошли в Харьков в октябре. Вероятней всего, ваш дедушка попал в Холодногорскую тюрьму... Мы сейчас записываем свидетельства тех, кто остался в живых. Был у нас недавно очень старый человек и рассказывал о том, как в сентябре сорок первого года его арестовали. В городе был комендантский час, а он засиделся в гостях — в карты играл.

Думал, что ночью проскочит мимо патрулей, но его задержали и отправили в Холодногорскую тюрьму.

Утром его и других заключенных — всего около четырехсот человек — вывели из тюрьмы и под конным конвоем повели за город. Чуя неладное, он приблизился к конвоиру и сказал, что попал по-глупому...

— А что у тебя есть? — спросил конвоир.

— Кожаный реглан и часы.

— Снимай реглан, положи часы в карман. Отстанешь от колонны, реглан положишь на телегу пулеметчику.

Он сделал все, как сказал конвоир, и, отстав от колонны, бросился в заросли кукурузы и затаился. Через некоторое время услышал отдаленную стрельбу. Дождавшись ночи, пошел вперед по дороге и увидел, что все заключенные расстреляны».

«Эх, дедушка, дедушка...» — подумал я и вспомнил матушкин рассказ о том, как знакомые ходили к тюрьме, и кто-то из окна кричал им: «Передайте моим на Дзержинскую, что я здесь!» Может, это был он? Кто знает?

— А что это за статья 54-10? — спросил я

— Антисоветская агитация в военное время.

Я решил ничего не рассказывать матушке до тех пор, пока дело не прояснится. Через несколько месяцев меня пригласили в областную прокуратуру для получения справки о реабилитации. В справке сообщалось, что Коновалюк Сафон Терентьевич на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий реабилитирован прокуратурой Харьковской области 14 апреля 1995 года.

«Могу ли я ознакомиться с делом?» — спросил я женщину-прокурора. «Оно вам нужно?» — недовольно спросила она.

— Но я ведь имею право.

— Ладно, — тяжело усмехнулась женщина, — только быстро.

Я сел за соседний стол и стал листать папки...

Первым документом оказались показания гражданина по фамилии Гельфанд: «Такого-то числа,— писал он,— я стоял на трамвайной остановке и увидел сильно пьяного человека, который говорил ни с кем. Этот человек говорил о том, что наши войска бросают город, и люди скоро начнут умирать от голода...» Далее следовало несогласие с пораженческой позицией дедушки, а заканчивались показания тем, что он и двое не менее бдительных граждан, Клурфельд и Бирк, схватили дедушку и трамваем отвезли в милицию. «...При следовании в милицию гражданин сопротивления не оказывал и все время кричал, что он коммунист».

Далее шли показания дедушки, записанные с его слов: «Утром я пошел на работу, где сильно выпил. После обеда ушел с работы и больше не возвращался. В парке Артема один знакомый продал мне за пять рублей стакан денатурата. Я выпил и опьянел еще сильнее. Потом ничего не помню. Прошу сказанное мной в беспамятстве не считать антисоветскими выпадами. Я участник гражданской войны...» Читая дальше, я видел, как дедушка пытается спастись, делая упор на свою малограмотность и преданность Советской власти. Под показаниями стояла его совершенно дикая, корявая подпись. «Люблю я пьяных! — воскликнул как-то знакомый поэт. — Есть в них высшая одаренность!» В сорок первом году дедушкину «одаренность» оценили статьей 54-10. Людоедские мысли заворочались в моей голове: Гельфанд, Клурфельд, Бирк. А почему не Иванов, Петров, Сидоров? Дедушке было бы легче...

Самому младшему из троих, Бирку, было двадцать шесть лет. Это, значит, сейчас ему восемьдесят. Если жив. Я представил, как вхожу к нему и спрашиваю: «А вы помните моего дедушку?»

— А? — переспрашивает глуховатый старец.

Глупо.

Придя домой, я позвонил матушке. «Ну что?» — спросила она, будто ждала звонка.

— Я нашел дедушку.

Матушка заплакала.

И я заплакал.

— Я ведь никогда не видела его во сне после сорок первого года, — всхлипывала матушка.— А тут он мне снится в белом новом полушубке. Бежит под гору и кричит: «Скоро вы обо мне узнаете!»

После того, как мы его помянули, стало не то чтобы ясней, но легче.

Новые подробности из уст матушки о том, как его выгнали из партии за пьянство, и о том, как он плакал за издохшим котом, уже ничего не добавляли к его облику. «Будь он жив, — восклицала тетушка, — он бы тебя любил!»

«Знаешь, — тихо призналась матушка,— грех так думать, но может быть и лучше, что он пропал. А то убил бы нас...»

Хорошая рифма «любил — убил». У попа была собака. Он ее любил...

Ладно, чего уж там... Все равно я вижу картину из матушкиного сна: дедушка бежит под гору в новом полушубке, коротко стриженый, молодой и кричит: «Скоро вы обо мне узнаете!»

Ну здравствуй, дедушка!

Анатолий ГОЛОВКОВ

ПРИСТАНЬ ДЕРБАНИНО

Что увидишь ночью на реке в тумане? Ничего. Берегов не различить. Мир кажется враждебным и нежилым.

Думаешь, вспыхнул где-то человеческий фонарик, а это отблески зарницы.

Почудится гармонь или смех ребенка – но это не гармонист и не дитя, это кричит неизвестная птица от одиночества и печали.

Колышется туман на воде, стучит дизель, дрожит палуба. Все спят, кроме нас с рулевым матросом.

Но вот вдали послышалась музыка, замаячили огни, и мне стало любопытно.

Пароходик гукнул приветливо, но кратко, словно боясь разбудить пассажиров, и я сошел на берег, сам себе Марко Поло или даже Никитин Афанасий.

На берегу догуливала усталая свадьба.

Мигала иллюминация, колыхались гроздья шаров. Гости допивали, доедали и бросали крошки невидимым рыбам.

Днем пилот Пригожин катал жениха с невестой на «кукурузнике». Он долго кружил над поймой и пел молодым песни про летчиков. И долетел бы в азарте до райцентра, но получил радио к срочной посадке.

Когда это случилось, наверное, неважно. Потому что времена года, как и не известные нутру напитки, готовы сыграть с нашим человеком злую шутку.

Потом блокнот развалился на листки. Их подхватил ветер и разметал по реке.

Некоторые странички размыло, будто их оплакивали русалки. Другие утонули. Третьи унесло течением. Но кое-что удалось спасти.

От райцентра на «подкидыше» больше часа по ухабам, душу вытрясет. Искрится на солнце пыль. После моста водила тормозит и в сердцах бьет кепкой о панель: Дербанино!

Велит пошевеливаться, у него график.

Тут из всего «подкидыша» только Блинчику выходить. Но спрыгнув, он сразу получает материнский пендель.

Прицельные поджопники Лариска Петровна научилась производить за рекой, где учила детей уму-разуму географии родной стороны. А также ее мутной истории. Пока школу не закрыли.

У Лариски Петровны к сыну вопрос ребром: пусть повторит, ушлёпок, что ему было велено купить в райцентре!

Щенок, не сводя с училки глаз и тряся хвостом, пускает лужу.

Блинчика трясет, но он как винтовка в строю, держит ответ. Чего, мам? Послали за тонометром для отца. Но до аптеки зашел на вокзал, мороженого взять. А купил щенка. Проводник поезда продавал.

Мать потрясена. Он, Блинчик, совсем башкой сковырнулся? Батя от давления ходит то голубой, то красный. Дыхалки нет. А если ласты склеит? Или удар хватит, начнет делать под себя?.. Так он дешевку пьет, мам! А еще летчик!

Но мать орёт на всю улицу. А почему дешевку, известно ли тебе, чучело соломенное?! Химикаты вредны. Раньше после каждой посадки молоко давали, теперь фигушки. Но если не кончит пить, Блинчик останется без пальто, сестра без приданого, а мать без будущего.

Куртку из отцовской Блинчику по-любому донашивать. Сеструнья созрела лимонной грушею: округлости наружу. Пышка Софушка. Все платья малы, на выданье. Но скоро ли жениха сыщет? И мать тоже дает, ёкарный бобик! Была училка, сделалась медсестрой в психушке. Да еще рвется из палатных сестер в процедурные!

Через неделю Блинчик Пригожин видит только клочки шерсти у миски с прокисшим молоком, да обрывки газеты у печки: мам, где собака? Исчез щенок. И хотя матушка клянется, не видела, ясно, что врет.

А к дому, как назло, подруливает джип с темными стеклами, весь литой, явно американский, смахивает на катафалк.

Соседи прячут детей, закрывают калитки, разбегаются куры.

Допрыгались! Прибыли тайные агенты по борьбе с пришельцами.

Люди в черном выводят землянина – проводника вагона номер 9 «Москва-Вологда», китель порван, под глазом синяк.

Оказывается, гости прибыли насчет собачки.

Мать на крыльцо, целится из ружья: кинули ребенка, умники? Шелудивая тварь за две тысячи рублей? Нормально с мозгами-то?

Нормально, они заводчики. И ради дворняги не попёрлись бы в такую даль. Но канадская эскимосская – редкая порода. Вот о чём дело. Везли под заказ серьезных людей. Проводник ее Блинчику спьяну продал, а стоит собака больше семи штук, в долларах.

Лариска Петровна от страха признается: ну, утопила в болоте. Выл по ночам, сучёнок, чистым волком!

В болоте? Мам, ты совсем плохая? За что?

После отбытия пришельцев Блинчик долго бродил вокруг болот. Пока не услыхал под кустом тихоепоскуливание...

Когда же ветры развеяли дурной запах с поймы, перестали булькать болота, и умолкла выпь, что пугала людей дурными пророчествами, дербанинская луна из желтизны попёрла серебром, а пилот Пригожин так и не сдержал слово перед конюхом насчет «петли Нестерова», – к пристани снова причухал пароходик.

Он привез водку и письма. Хотя некоторые адресаты не дождались почты от детей, и померли не от самогона, а от печали.

На сей раз, посудина была полна цыганами. Они ехали, сами не зная куда, и поэтому тихо пели от неизвестности судьбы.

На причал пришли мальчик с собакою.

И когда пароходик, стуча дизелем, огибал меандр, за которым и начинался путь к светлым водам, еще были видны их силуэты.

Над полосами тумана.

Под фонарем пристани.

МИШЕЛЬ

Лерыч упал с трапеции, ушёл из цирка, вернулся в свой городок. Там он встретил одну Тамару, напрягся и через год встал с кресла. А она сбежала с армянином. Такие дела. Он запил, всем говорил, нахрена ему теперь ноги? Мать прятала деньги, потом махнула рукой.

Однажды Лерыч увидел в небе кота и подумал, что принял лишнего. Но кот реально парил с балкона девятиэтажки. Его оттуда сбросили на шарике добрые школьники. Лерыч его спас, назвал Мишелем, в честь Монгольфье, придумавшего аэростат.

Стал дрессировать. Но коту не нравился перегар, он кусался и убегал.

Тогда Лерыч завязал.

Они выступали на рынке, на вокзале и даже у мэра.

Когда Тома вернулась и сказала, что всё еще любит Лерыча, Мишель нассал ей в сумку, и она поставила ребром: либо я, либо чертов кот. Вот так вот... Кот уступил и ушёл.

Тут умерла мама. Потом за Томой приехал законный армянин и повез её рожать. Лерыч сдал однушку за бухло. Когда не давали в долг, показывал афишу, где он на трапеции.

Осенью Лерыч лежал в подвале и харкал кровью. Вдруг появился его кот с кучей родни. Кошки забрались под одеяло, коты легли в изголовье и в ногах, целебно мурча. Они не покидали его до весны, пока Лерыч не оклемался.

Тогда он усадил Мишеля на плечо и сказал: поплыли-ка отсюда, куда подальше. Ведь не может быть, чтобы повсюду котам и людям жилось в таком говне? Кот согласился. Может, тогда во Францию? А что, в России мало места?

Они сели на пароходик и почухали вниз по Оке.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Что уж там съела жена Гюйса, но ее скрутило. Слушая стоны, мы поняли, что нынче не выйдем в море, и приняли по сотке под лук и сальце.

С утра она общалась только с тазом, но между стонами сумела сообщить нам, что мы оба алкаши и пошляки. Особенно Гюйс. Пьянь гидролизная, думает только о себе, а ее никому не жаль.

Мне жаль, сказал я.

И мне тоже, молвил Гюйс, выплюнув свиную шкурку.

А мне нет, сказала из-за ширмы жена. С тобой жить — как в наказание за убийство отца и матери.

Раз снова гавкает психимора, значит, все не так плохо, сказал капитан Гюйс, жить будет.

Мы пошли за ширму, к ее заблеванному одру, как санитары. Сказали, точно остаемся. С койки свешивалась ее белая нога.

Сама немалая рыбачка, жена Гюйса вздохнула. Идите уж, засранцы, мне полегчало, кажись. Лишь бы море не закалабахало.

Она не хуже нас знала капризы Азова.

Я лежал на дне лодки в сомнамбулическом трансе, а Гюйс сидел на руле.

В темноте шуршал парус.

Мы шли вокруг Казантипа, меньше чем в миле от берега.

Шпангоуты впивались в ребра. Но будь я проклят, чтобы кто-то заставил меня встать. Этот мир пронзал насквозь.Я доверился ему, как случайный заложник.

Волна не калабахала.

Лодка двигалась внутри черного шара без дна под звездным небом августа. И небо, как неисправный плафон, мерцало или искрило.

Из-за Млечного Пути небосклон выглядел белым, как в июньском Питере.На фоне звезд Гюйс казался чертом с веслом.

Он выдернул зубами пробку, и мы по очереди припадали к бутылке.

Его жена сама гнала эту чачу из винограда. Дома от зажигалки она полыхала синим огнем.

Наша лодка плыла вдоль Большой Медведицы с идиотским торжеством, как в сериале StarTrek, кажется, в сторону Ориона.

Гюйс заявил, что он пьяный Гагарин, и чтобы я заткнулся или катился на хрен, потому что из-за меня мы сбились с курса.

Трындеть надо поменьше, сэр, ё мое!

Но у нас не было никакого курса. Никто его не прокладывал. Мы вышли на рыбалку даже без компаса. Потому что Гюйс поклялся, что проведет нас к бухте, как архангел Самуил к райским вратам.

Хоть во сне.

Хоть в бреду.

Хоть с завязанными глазами.

Разогретому чачей, мне стало все равно. И даже не обидно. Лишь бы не рассыпался звездный хлам. Не кончалась ночь. Не исчезали шепот волны и паруса.И сам парус над головой — как сарафан женщины, которую хотел, но не смог забыть.

Мы не увидели огней Карантинного мыса, значит, шли верно. А когда вдали замерцал костер, Гюйс выбросил сигарету, свистнул в два пальца, и ему ответили свои.

Эта была бухта Шарабай.

Мы убрали парус, пошли на веслах. И не понятно, как умудрились спьяну пройти между камней перед берегом.

А с утра наловили жабчика, самого крупного и вкусного бычка на Азове, со скромным хвостом, но с головой удава.

Жена Гюйса оклемалась и сварганила уху такой крепости, что к ночи она превратилась в заливное.

Поварешка торчала между морковкой, пурпурными флажками перца и головой рыбины, которая смотрела сквозь нас на чуждый ей мир.

Сергей ВОЛЧЕНКО

КРЫША И НЕБО

Мне-то хотелось как можно выше; вокруг меня были тонкие пасти драконов, тонкие и хрупкие, с острыми тонкими зубами. Могло казаться, что это шипы кустарника, но это пасти вымерших драконов. Их трудно отличить от кустарника, потому что внешне они неподвижны, но настоящее движение было, оно было в самом их явлении: они не пускали вверх – я поднимался там, где они из своей первозданной злобы, вмурованной в умершее время, где-то бесконечно глубоко под землёй, вдруг, случайно пробились на свет и со всех сторон пытались разрезать меня, куда бы я ни шёл, вверх или вниз. Спасало то, что они недостаточно плотны, серо-прозрачны... но куртка-то кожаная вдоль рукавов уже прорезана их зубами... Повсюду колючая сетка их непролазных зубов.

Но я всё равно лез вверх – наверху что-то горело...

Это старые на вершине деревянные с соломенными крышами дома горели, за ними горел и следующий дом. Отец пытался пройти сквозь людей и войти в этот дом. Возможно, это был наш дом, или там были наши вещи. Этот следующий дом горел и в нём тоже было много людей, которые вошли в него ещё раньше, чем отец. Это были специалисты, знатоки антиквариата, которые хотели из этих домов спасти самое ценное, и непривычно было их видеть тут среди деревенских бабуль и дедков. Но зачем отцу туда надо? Я стал пробираться за ним (сам он уже скрылся в горящем доме). Когда я вошёл в задымлённый зал, то сразу увидел отца. Он отдавал уже последнее от всего добра – лишь окаменелый наплыв берёзы. Я пожалел: мне не хотелось с этим наплывом расставаться, тем более он всё равно не сгорел бы, потому что окаменел ещё миллион лет тому назад. Это самое ценное, что у нас было.

– Я уже всё раздал, пока не сгорело, – сказал отец. – Мне сказали, что эта вещь не имеет цены.

Теперь стало ясно, зачем он рвался в этот дом.

– Возьмите и сено, – говорю я уже деревенским (в избе осталось сено – до самой крыши, огромная копна сена). – Возьмите сено, пока оно не сгорело.

И ещё показываю на остаток сена в мешке, который валяется не в избе, а на улице, за крыльцом, неполный, прибитый к земле пыльный мешок.

– Не взимем, такую кроху не взимем, – говорит мне какой-то маленький сморщенный дедок в дырявых тощих сапогах.

– А там лежит ещё второй такой же мешок, но полный, там будет килограмм десять, возьмите тогда его!

– На кой ляд в довесок ишо мешок? – сказал дедок. – Можа он упрелый да провялый весь – со дворовища же.

– Чё его и вмале тягать-то, буде он остатный да бросовый, – сказала старуха и стала разглаживать на коленках белёсый передничек, на нём может и был когда-то весёлый рисунок, но уж давно отжался в стирках, и утёк в воду вместе с цветом и временем.

Мешок брошен на улице, во дворе. Издалека он очень похож на лежащую серую собаку.

– Она поможет вам с этим сеном, – говорю я. – Она поможет его донести вам!

Собака встаёт и готова сама нести себя, куда ей велят, на своих криво-коротких лапах.

– Однако сее не мешок, ты всё понапутал! – говорят мне. – Сее пёс своро́бный.

– Ну, тем более, – говорю я, – возьмите тогда собаку!

– Пёс сену не привесок. Да ещё, поди, своробный да рухлый весь.

– Но если вы остаток сена не хотели, а оказалась собака, то её-то возьмите тогда! – говорю я и внимательно изучаю эту скромную и неуклюжую собаку: это совсем небольшая дворовая и пугливая собака.

– Возьмите её, – говорю я, – я прошу вас! Вернее даже можете и не брать, а только не гоните её со двора и она сама принесёт вам тот полупустой мешок!

Я хочу убедиться, что собака хорошая и нужно чтоб её для этого подпустили как можно ближе, не прогнав. И тогда я, может быть, успею водрузить на неё мешок с сеном, чтоб она перенесла его, чтоб дед с бабкой даже и не думали, что им придётся своими силами доставлять остатки сена к копне на веранду. Да, на самом деле сено-то всё было вовсе и не в доме, а на веранде, а собака и мешок с сеном всё-таки были разные вещи, хотя это и не наверняка. Сейчас всё зависит от её послушания. Я подзываю, зову собаку, но она медлит, чувствует, что лишняя здесь, что дед с бабкой не хотят с ней возиться даже на этом (от крыльца до копны) крохотном расстоянии, дальше которого она готова никуда не ходить и не бегать, чтоб не утомлять их пыльными тропками да дорожками, которые тогда будут наматываться на её кривые лапы. Да, не хотят с ней возиться, несмотря на то, что она столь деликатна, что не смеет даже поднять лапу на ступеньку крылечка, и несмотря на то, что люди снаружи уже убеждают её, что никто не обидит её здесь и готовы убеждать и дальше.

Она наверно боится, что её будут бить – ведь это брошенная собака. Однако не надо даже подходить близко к крыльцу, чтоб видеть в дымящихся тлеющих сумерках, что это ребёнок... Грязный, одетый в мешковину ребёнок.

– Он хочет войти, впустите его! – говорю я. И вдруг заново для себя открываю, что ребёнок бездомный, брошенный и оставленный. Как же они могут не пускать его в дом?!

– Это же человек! – уже кричу я, и слышу (то ли бабка, то ли дед бормочет):

– Сие и сами видячим, а притули́ть дворчёнка негде.

Деревенские с самого начала видели в нём человека?! Но зачем тогда обманывали меня, прикидываясь, что так же как и я видят собаку? Опасались, что ещё больше буду упрекать их и стыдить? Но, быть может, ошибались вместе со мной и видели, как и я: то мешок с сеном, то колченогое чесоточное животное, а может в этом всё-таки не было ошибки?... Это уже не проверить, теперь главное другое: как же они могли уже столько времени не впускать его?! Вот что возмущает и удивляет меня! Как же они могли?!

– Как же вы могли, как же вы можете?!! – восклицаю я и вдруг со страхом понимаю, что мне-то тогда и придётся... если я так настаиваю, а никто не возьмёт, то значит... неизбежно придётся взять его мне! Вот этого я никак не ожидал! Никак не ожидал, даже не-

смотря на то, что изначально сена мешок (с его изменениями – кажущимися, или нет?) был и до сих пор, по всей видимости, остаётся моим...

Ребёнок сам не решается входить, боится, что его выгонят, как собаку, или боится привыкать, зная что могут выгнать потом. И он так благодарен мне за то, что я уже столько времени стараюсь для него и меня он, конечно, уже любит больше всех. И если я так настаиваю впустить, то больше других и беру обязанность взять его, и это всё больше пугает меня. Тем более что он всё сильней убеждается, что никто не хочет его; и вот он так благодарен мне..., но боится входить, ибо боится предательства и с моей стороны; ведь если человек, который так добр к нему, так просит за него (тогда как те и думать ничего не хотят) и не возьмёт..., и не входит, хотя препятствия нет никакого; стоит, переминается на босых ободранных ножках, стоит и не входит. И тогда я понимаю: ребёнок очень умён и настрадался. И уже боюсь его звать и уговаривать, чтоб его взяли: он от этого начинает всё больше и больше любить меня, и значит (и именно потому, что я прошу других) всё это время усиливалась и усиливалась неизбежность взять его мне... А я и не подозревал.

Но это исключено! Потому что я чувствую..., видя как он переживает и боится входить, за этим я чувствую..., что он, в отличие от всех, знает и видит вперёд, что если уж войдёт, то уже эгоистично вцепится в меня. И именно это его останавливает, превращая в столь деликатного мальчика (а я-то умилялся, что он так стесняется и робеет!). И его нельзя будет осудить при этом: он ведь ребёнок и так проявляет чудеса внимания! Но если уж переступит порог, то будет слишком обнадёжен и вцепится...

– З-з-заходи! – говорю я. – Заходи смело! Пусть он войдёт!

И ребёнок, уже не сдерживая слезы, неуклюже взбирается по обшарпанному крылечку и обнимает меня.

– Неуковырный какой, – говорит старуха и не глядит на него.

Обнимает, он знает, что брошен – и сейчас в своё объятие вкладывает столько надежды и чувств, и веры, и слёз – он ещё не может не верить, ему ещё нужно, чтобы любили его.

– Вота и возьми бездомовца, – говорят мне. – Ты должон принять его, он ведь бездомовный.

– Я не могу его взять, – отвечаю, – он ведь чужой мне!

– А уже тя чает паче всех! Ты сам его нукал. Мы не нукали. Ступай малой, ставься к дяденьке.

Да он и так уже вцепился в меня! И звал я потому, что бесчеловечно оставлять такого умного, такого несчастного ребёнка на улице, осенью, тем более... тем более... он так понимает своё несчастье и так деликатен, что даже не хотел входить, когда его звали!

– Мы ему вота отрежем ща скибочку хлебца, пусть наедается, а ты бери бездомника!

Но он ведь не мой..., но даже не это главное: сейчас-то ребёнок мил и хорош, вцепился и боится меня потерять, он ведь дворовый, уличный, мало ли кто у него были родители, может бандиты какие..., вырастет и тогда намучаюсь с ним, вдруг он будет тоже бандитом – в родителей. С улицы подобрать ребёнка – это кота в мешке, да он же и впрямь из мешка, стоит ли связываться? Страдание сделало его таким несчастным, что самому плакать хочется, а потом отогреется, забудет страдание да и озвереет...

– Возьмите его вы! Он же ведь вам предназначен! То, что я ему, в отличие от вас, сочувствую – ничего не значит! Это нормально. Многие люди не могут не сочувствовать! Но это вовсе не значит, что я должен брать то, что предназначено не мне и то, что не моё!

– И самому сие не чудно?! Буде паче нас надседался, буде малому такое сам додал упованье, то сам и бери сие бремя, а мы не смогём!

– Послушай, дед! – сказал я. – Ты копну сена брал?

– Кто? Я-то...?

– Да, ты-то. Вот, значит, если ты копну сена взял! Если уж взял ты её! То и ребёнка тоже должен тогда взять!

– Кто? Я-то должный его до кучи взять? Это почему же я должный?

– А потому, что нечего тогда было брать копну сена! Если уж я всё отдал, то и ты всё взял! А не так, чтобы: я отдаю всё, а ты, что тебе надо – то берёшь, что не надо – то не берёшь! Понимаешь ты это, дед?

– Сто лет откопытел дед! Вот тебе и дед, на палку вздет! – это старуха была.

– Ты должен его взять в качестве... в качестве благодарности за то, что я всё отдал. Вот за это ты доложен всё взять!

– Да ты чого втираешь нам дворыша?! Мы не просити тя! Ты сам додал давнопрошло! И не просити тя его нукать до хаты, ты сам его нукал. Коль нукал вот и бери его, нукальщик! А мы не смогём! Не стянем!

– У меня и денег нет! – говорю я. И вдруг вижу, что за это время ребёнок заметно вырос! Он не плачет уже, а спокойно стоит. Это необыкновенный ребёнок, чувствую я. Может и не человек даже...

– У него есть богатое даванье. Родителя додати сыночку богато деньги, прежь тем как броснуть. Родителя додали ему деньгу и броснули блукать да бездомовничать.

– Что за подлость! – говорю я, видя в руках у ребёнка две большие кучи денег. – Они его даже не потеряли, а сознательно бросили! Какое подонство, какой гадкий расчёт: дать ребёнку деньги, что б специально бросить его после этого! И ещё, небось, говорили, что сделали доброе дело, дав эти деньги. Нет, от таких подонков я не могу взять ребёнка! Он, чего доброго, вырастет в них!

– Не говоркуй, аще не ведаешь, – говорит мне старуха. – Всё наипаче мудрёней. Его матерь и отче любят, оченно любят и перетерпляют и страдательствуют. Но они не смогают взяти его!

– Это почему же?!

Старуха замолкла и, сидя на стульчике, стала деловито заворачивать себе на коленках передничек. Завернёт одну складочку и прогладит ладошками, потом ещё складку и прогладит, а потом так же давай разворачивать. И молчит.

– Так сказуй ему вмале, а то измелькался, да изговорился весь, – сказал дедок бабке. – Пусть изведает!

– Они не смогают его взяти, ибо сей малец Крыши и Неба потомочный.

– Что, что? Кто он?

– Он сын Крыши и Неба, – сказал дедок.

И я почувствовал, что здесь трагедия, что я уже как-то причастен к ней, как бы уже в ней, но всего лишь, чтоб изведать своё бессилие вместить её в себя. И в бесконечно малой доле и к своему ребёнку не смогу ощутить столько чувств и горечи, как чувствуют Крыша и Небо, потому что никогда не буду в силах создать бесконечность в которую он от меня отпадёт, и она струится теперь отовсюду к нему какой-то тихой безмолвной печалью, и осязать её могу только тут, стоя рядом с ним, остатком своего исчезающего касания, тающего, уже исчезнувшего. И теперь лишь в памяти далёкий тонкий привкус недоступного, необъятного, нечеловеческого.

Я смотрю на ребёнка: за это время он ещё немного подрос. Он стоит у полки древних книг и уже не обнимает меня и даже не повернётся в мою сторону, ему уже всё равно, люблю я его или нет. Поверх крыльца в открытую дверь куда-то вдаль из его лица глядят

неподвижность и отключённость. О Крыше и Небе напоминают только деньги в его руках – что-то ничтожно малое по сравнению... по сравнению с тем, что Крыша и Небо имеют, но не могут дать ему тут на земле; и следят за ним постоянно зная, что могущество и сила добра их так велики, что даже не могут хоть как-то коснуться, хоть как то внедриться в ставшую ничтожной жизнь их сына в мире людей.

Поздней серой осенью старая соломенная Крыша, чтоб не страдать боле, разворошила на себе солому, и Небо, проливаясь дождями столь ледяными, что воды в них было меньше чем холода, размочило её доски, которые вскоре прогнили и обрушились.

ОСКОЛОК. ЗАПИСКИ ВЫЖИВШЕЙ

Галина ИЦКОВИЧ

Я умираю понемногу во всех этих мужчинах и мальчиках, уходящих из жизни. Кусочки откалываются от зеркала, в которое я, оказывается, смотрелась.

В щенячьи времена, в начале восьмидесятых, когда жизнь казалась тупиком, в меня был влюблен однокурсник. Влюблен тоже по-щенячьи, с обещаниями вечной любви и требованиями немедленного интима. Невзирая на непроходящую эрекцию, идеологически обоснованное неряшество и ужасающую бедность (мать его жила в селе, деньгами не то что не помогала, а ей еще надо было его стипендию отсылать), он был очень умный мальчик, слишком умный для своего времени и места. И все время хотел на Запад. Но не мог. А я могла, но не хотела; я была неправдоподобно советская. И подозревала его в том, что он надеется выехать «на мне» на внесоветские просторы.

Мы жутко ругались. Мы все время нашей дружбы ругались, а потом мирились, потому что немного было людей в моем окружении умнее его. Он понимал все. Но наступил момент, когда терпение мое окончилось. Кажется, последней каплей стали нескончаемые передачи “Солдата Чонкина”, совпавшие с подготовкой к экзамену по муз. литературе на втором курсе – оккупировав мою комнату на неделю, он слушал мой же транзистор, забравшись с ногами на диван, пока я в другом углу пела “с листа” темы, которые будут на экзамене. Музыка Верди, слова Войновича.

С. не был безразличен к результату экзамена, просто знал, что эти передачи никогда больше не повторятся. Вот этот пофигизм-фатализм с правильным расставлением акцентов и достал меня окончательно, а может, как сказала одна знакомая, он вообще был скрытый антисемит. В общем, я его послала рефлексировать и слушать «вражеские голоса» на чьей-нибудь другой территории.

Прокручиваем вперед на три, кажется, года (дневников моих больше нет, а на память не надеюсь). Я узнаю от бывшей однокурсницы (да-да, все мы доучились, невзирая на препятствия в виде бесконечных пирушек и экзистенциально обоснованных провалов на гос. экзаменах, и некоторые сразу поступили в консерваторию. Я не поступила по пятому пункту, а С. – потому что без взятки. Мне-то что, а он пошел в Советскую Армию...), что С. лежит в военном госпитале. Разбился. С парашютом прыгал?! Неизвестно, но разбился вдребезги. Если пойдешь, не подавай виду, что испугалась.

Иду, даром что знать его не желала. Тащу за собой ухажера, уж не помню какого по счету: «Подожди меня внизу, я на пару минут».

С. принял меня за привидение: я была принципиальная крошка, не отступалась от решений – вычеркнула так вычеркнула. Но, увидев его (весь загипсованный, включая кошачью, хитрую такую, физиономию), "включила" добрую самаритянку. Собирали его по частям в челюстно–лицевой и в ортопедии после того, как он («Слушай, никому не говори, но сейчас я тебе расскажу правду, что там вышло») попытался покончить с собой. Пришел из самоволки, а сержант дал ему пощечину. Его нельзя было бить по лицу. Он не мог продолжать жить после того, как его ударили по лицу. Вот такой дурак.

Ни в какое кино я уже не попала в тот день. Или попала, не помню уже. Я, в отличие от С., вообще характерна тем, что после всяких потрясений собираюсь и живу дальше, как будто ничего не произошло. Но уж зато вечером, дома, я наревелась до сладостной икоты.

Рассказала маме, которая персонажа сего очень недолюбливала (хотя – кого из моих друзей она любила?). Мама сказала:

–Я не хочу больше о нем слышать. И ходить туда нечего, если тебя это так расстраивает.

Тогда она была в самом расцвете, никаких ментальных явлений не наблюдалось. То есть такой она была всегда.

Ладно. Я закрылась в пахнущей запотевшими трубами холодной ванной и доплакала там.

Через несколько недель гипс сняли и перевели его в психиатрию. Потому что только психи не позволяют бить себя по лицу. И раза два в неделю я ездила к нему в психиатрию тайно от родителей (с тех пор полюбила заводить второй и третий, тайные слои жизни). Никто, кроме меня, не знал, куда С. провалился после выписки. Я ездила через весь город на Слободку, возила нехитрые гостинцы: сигареты, какие-то консервы, купленные на пересадке, на Тираспольской площади. Не помню, сколько ездила – месяц? два? четыре?

– Знаешь, какие интересные люди лежат здесь, – говорил он и ругался, что мало еды принесла, и почему болгарские купила, а он курил «Космос». У меня больше денег не было, а ему плевать. Он забыл, кажется, что это он был в меня влюблен, а не я в него. А еще он тревожился, что нос так и не выправился, стал кривой и со шрамом, скулы тоже, симметрия нарушена, ну присмотрись... Я раздражалась и упрекала его в нарциссизме, эгоизме и прочих неизлечимых характерологических пороках. В это же время психиатры объявили его вылеченным и выписали с диагнозом «психопатия». Волчий билет в советской жизни.

Теперь мы виделись каждый день. Опять он мучил меня своей любовью (получай, фашист, гранату – наконец-то меня действительно было, за что любить), а я упорно знакомила его со всеми своими подругами. Кажется, он пытался соблазнить каждую по очереди, с минимальным успехом. Я не хотела знать.

Я не хотела знать, на что он живет. Я больше ничего не могла. Самой плохо было.

Потом, следующей уже весной, открылась музыкальная кафедра в Институте искусств в Кишиневе, и я потащила его туда, подавать документы. Подали благополучно – характеристику из психдиспансера не затребовали. Конфет "Вишня в шоколаде» купили, в Одессе их днем с огнем не найти было. В общем, он поступил и остался в Кишиневе.

И только наездами привычно пытался добиться взаимности, точечно наблюдал за моими влюбленностями и за депрессией, не на шутку втягивавшей в свою воронку.

Приезжал сначала каждые выходные, потом с пропусками. В очередной приезд, отводя глаза, сообщил, что, кажется, женился.

–Молодец, – скучно сказала я. Все-таки привыкла за столько лет. Но мы продолжали гулять по пляжу (только я, говорил он, называла пляжем зимний берег моря в лопнувших пузырях ледяной пены; зимой надо было говорить – «пойдем на море», но он скучал в своем Кишиневе по моему словечку “пляж”).

Следующие два или три года мне было не до него.

Он позвонил однажды летом 89-го, сказал, что в Одессе, что развелся, что хотел бы повидаться.

– Приходи, конечно, познакомишься с моим мужем.

Он пришел ко мне в гости, разговор втроем не особо клеился. Вышли с колясочкой погулять по знакомым кочкам микрорайона, сыну моему было что-то около года.Я жила по детскому расписанию и чувствовала себя иррационально, по-младенчески счастливой. Он меня такой не знал и больше не чувствовал, какая-то труха была между нами, размокшие звенья бумажной цепи.

– А помнишь, как я все это предсказывал в семьдесят девятом, а ты говорила, что я антисоветчик-утопист?

Говорила. Что уж теперь.

Пошел дождь, мы дали ему зонтик, который на следующее утро он обещался прислать с общим знакомым. Это была, как оказалось, последняя встреча. А еще через два года, так и не дождавшись возврата зонтика, мы эмигрировали. Потом он все шутил в письмах, что, если когда-нибудь вырвется к нам, то обязательно с зонтиком.

Мы переписывались довольно долго. Он все надеялся, что жизнь даст ему шанс. Обстоятельства снова сработали против него, когда распался СССР: оказавшись в Кишиневе, при новом переделе он остался за границей. Как украинец, ощутил дискриминацию, но – жил там по инерции, снова женился, на балетной, кажется (первый брак, скрепленный только потребностью в жилплощади и регулярной половой жизни, довольно скоро распался, не зря он не пригласил меня на свадьбу), работал в известном национальном ансамбле, один раз съездил в Испанию и прислал мне програмку на испанском. Он-то сам учил немецкий, довольно сносно читал на нем. Язык философии.

Накануне вторых зарубежных гастролей он выпил с сооркестрантом и поделился, что собирается “соскочить”. На следующий день С. стал невыездным. Жена забеременела и уехала к родителям – втроем на одну оркестровую зарплату им было не выжить. Драма художественной интеллигенции. Письма были полны долларовых значков и цифр. В те годы, справедливости ради, цифры приводились во всех без исключения письмах, от всех друзей и родни. На нас смотрели как на выживших. Теперь мы должны были спасать всех оставшихся?

И все равно – в случае с С. негласное состязание существовало изначально, и победа всегда оказывалась за мной. Будь он хоть ста пядей во лбу, у меня всегда находилось что-нибудь, чего не было у него. Даже когда ничего не было.

Потом был несчастный случай с его ребенком, девочка получила ожоги, кто смотрел за ней, как они перебивались, неизвестно. Я отправляла какие-то деньги, вносила их имена в иммиграционную лотерею. Звонила ему в общагу, в которой они, тридцатилетние люди, продолжали жить, кричала (почему, вопреки логике, хочется кричать, когда плохо слышно?) в чужое предрассветье из моей глубокой ночи:

– Сашу! Сашу позовите!!

–Яку Пашу? – спрашивали там спросонья, бросали трубку. В какой город я дозвонилась, в какую страну? Общий телефон, глубокая безнадега.

Я слышала отчаяние в его письмах, но не в первый же раз, не в первый же раз. Ну что можно было сделать? Усыновить его, что ли? Я и сама должна была выживать, работать черт знает где и кем.

Потом была какая-то лопнувшая афера: некто собрал деньги для загранпаспартов не помню куда и смылся. Деньги, кажется, были мои. Небольшие.

Спаси нас, ты умная, ты можешь. Но я спасала все меньше. Ему снилось, как я иду по ярко-зеленому лугу в чем-то белом (униформа сестры милосердия? –»Тебе бы пошлО!»

– "Хорошо хоть, не машу американским флагом!") и он понимает, что теперь не погибнет. Военно-полевые сны с эротическим привкусом.

Когда он попросил денег на взнос в аргентинское посольство для какой-то там полумифической лотереи, я отказала. Очередная авантюра. Учись жить там, где ты живешь.

– Галка, но ведь едут люди и не возвращаются!

– Может, им не на что вернуться?!

Даже в письмах слышна была эта хнычущая интонация: «Га-алка». Мужчины не должны просить. Нельзя просить все время. И спасать его всю жизнь я тоже устала, честно говоря.

Вскоре я переехала из наемной квартиры в собственный дом; было много забот в связи с покупкой, оформлением бумаг и переездом, и отсутствие писем я заметила только через полгода. Обиделся. Постойте, а сообщила ли я ему новый адрес?

По телефону выяснила, что из общаги они съехали.

Еще лет через пять, когда интернет стал расходиться, как круги на воде, стала искать его в Сети. Никаких следов. Когда появились «Одноклассники», всплыл наш с ним общий друг, и мы стали искать С. вместе. И снова – никаких следов.

Иногда мне казалось, что он уехал в Аргентину и без моих денег. Я даже вглядывалась в лица буэнос-айресских нищих, когда была там в отпуске. Даже через столько лет я издалека узнала бы эти унылые усы и тонкий нос со шрамом.

Сегодня, через столько лет, я услышала то, чего, наверно, всегда боялась. Его давно уже нет. Покончил с собой. Такие новости всегда начинаются с воинствующе-печального: “Разве ты не слышала?..” Нет, не слышала. Не знаю, когда; не знаю, что было последней каплей. Надеюсь, не мой отказ спасти. Я очень надеюсь, хотя все довольно ясно. Годом раньше, годом позже... Но, наверно, я все-таки любила его немножко, иначе почему так больно?

Со смертью тех, кто смотрел на меня с восхищением или вожделением, постепенно крошится зеркало, и скоро меня совсем не станет видно. Как жить со всем этим?

Одесса–Нью–Йорк

КОЛЕЧКО С ВОЗВРАТОМ

Андрей КОСТЮЧЕНКО

(по сюжету Ирины Шумейко)

Внезапно Катерина обнаружила, что вокруг неё постоянно вращаются одни дебилы.

Первый из них – кот Семёныч, нагло жующий у её кровати, в момент, когда она на диете, и мгновенно исчезающий, едва возникло желание его приласкать. Второй – Самуил Абрамович, временами озабоченный, престарелый горе-любовник, в порыве высоких чувств готовый подарить парфюмерный набор из магазина с 70% скидкой. А ещё альфа-самец Саша, водитель грузовика, который давно не менял резину, не целовал живую женщину, зато подарил целое ведро вкусно пахнущих полевых ромашек. Хороший пацан двухметрового роста. Временами готовый жениться, но неготовый потратить на это мероприятие сбережения, ввиду их полного отсутствия.

Природный магнетизм Катерины непостижимым для неё образом заставлял их крутиться вблизи её тонкой талии. Особо не переживая насчёт своей красоты, она серьёзно настроилась ещё раз выйти замуж. А если не выйти, то хотя бы сходить.

Именно поэтому холодным скучным вечером, под недопитый прошлогодний коньяк, на просторах социальных сетей, он (т.е. принц) её вычислил. С первой попытки. Её могли вычислить и другие, но, видимо, у них до такой ерунды просто не дошли руки. Прежде чем откликнуться, Катерину угораздило подумать. После такого сложного процесса она мысленно описала подходящие ей личные качества, оставив в покое рост, вес, возраст, цвет глаз, ширину плеч... Короче – всё то, что было интересно ещё каких-то лет пять назад, а в 20 лет вообще стояло, а после лежало в приоритете – сегодня стало абсолютно неважным. А важно что?.. Покладистый характер, волевая (но не больно) рука, кухонных дел мастер, портмоне с коллекцией золотых платёжных карточек, густая шевелюра, непотопляемое чувство юмора, и чтобы зона обитания – поближе к ненашему морю. Не очень замысловато, но персонаж вышел как любишь!

Сама Катерина была чудо как хороша. Милая, очаровательная, белокурая фурия с сумасшедшинкой на оба глаза, вполне свежа, с приятным тёплым оттенком прошлых лет.

И он влюбился с первой буквы её ответа. Остальное сложилось само собой: «он был старше её, она была хороша»... И что-то там ещё про душу.

Джон был незавидным женихом 70-ти лет. С чувством юмора, худым портмоне с единственной платёжной картой и щедрой душой. После двух американских разводов Джон сохранил надежду, приятные воспоминания и старенькую машину. Катерину же достал сердечной добротой, окружил бестолковой заботой и заморскими цветами из-под Киева по 30 центов за штуку. Зимние холодные вечера в длинных переписках стали такими же увлекательными, как бухгалтерский отчет. И Джон стал готовиться к поездке в дикую для него страну. С жаждой жениться.

В ожидании заокеанского принца Катерина экстерном обучилась его любимой игре в гольф, затем в регби, а в качестве бонуса прошла курс самообороны.

Сценарий его двухнедельного пребывания в гостях был расписан по часам и сохранён на рабочем столе ноутбука, который в день вылета, после взвешивания рюкзака безменом, благополучно остался дома. Встреча ожидалась яркой, но сложилась. Катерина была порядочной женщиной и встретила его в аэропорту с цветами и ребенком. Он приехал с подарками. Здесь Джон был великодушен как статуя Свободы: американская улыбка, шёлковый халатик для Катерины, две сигары для её папы (одну собирался выкурить с ним за компанию), кое-что для сына и чуть больше, чем кое-что – для её мамы. Призовой фонд – обручальное колечко с сапфиром и бриллиантами, один меньше другого.

Джон сообщил, что готов вывезти Катерину на море. Мысленно она уже купалась в незнакомых ей морях, ступала босыми ногами по белоснежным пескам Мальдив, однако билеты оказались до Затоки. «Море так море», – подумала Катерина и не стала устраивать скандал. Джон, привыкший всё делать заблаговременно, ещё в Америке оплатил аренду машины из Киева до Затоки, но забыл внести залог, и машину им не дали, сославшись на чётко прописанный договор. Он пытался решить вопрос на месте, долго выразительно шумел, но деньги с карточки не уходили... Вскоре выяснилось, что у малоизвестного американского банка, чьим клиентом был наш герой, банков-партнеров в Украине не оказалось. Арендодатели авто часть денег всё же вернули, но скорее не часть, а частичку. Это был второй звоночек из длинного списка рассеянностей Джона. Тем не менее, отдых был прекрасен, его безграничная щедрость (в рамках захваченной с собой налички) не вызывала опасений... Ещё в первый вечер Катерина, любящая пунктуальность, на всякий случай спросила Джона о дате его возвращения на родину. Американская улыбка заверила её, что у него всё под контролем.

Морская романтика завершилась не менее романтично в Киеве, за исключением незначительной детали – забытого в номере отеля у моря американского паспорта. Катерина напрягла все службы, и через два дня паспорт гражданина США вернулся к нему в карман. Индикатор заряда надежды и доверия Катерины сразу уменьшился на две полоски. Ей стало казаться, что что-то пошло не так, и что под контролем далеко не всё. Третий звонок из списка рассеянностей прозвучал уже громче.

Однако Катерина помнила о первостепенной задаче – выйти замуж. И потому решила потерпеть ещё немного. Терпением она запасалась ровно на 10 дней визита американской мечты... И тут неожиданно Джон вернулся к цели визита и сделал предложение. Теплота драгоценных камушков согрела умопомрачительный пальчик Катерины. Румянец залил обе щеки, настроение улучшилось, изо всех углов и щелей зазвучал марш Мендельсона. Хотелось поделиться с подружками, но счастье должно быть тихим как мышка. Без пяти минут американка – всё, жизнь удалась! В её мозгу замелькали кадры из хорошего кино – километровые бутики и – внимание! – крупный план: Катерина, в офигенной шляпке, развевающемся плаще одуренной походкой выходит на облитую солнцем Уолл-стрит, и садится в телесного цвета Порше. Садится за руль. Пошли титры...

И уже не надо думать о службе, рано вставать, ломать шпильки в метро, спеша с одной работы на другую, уже не надо делить свою скромную зарплату на двоих с ребенком. И пускай принц старше её родителей, и пускай они выглядят странной парой, ну и пускай... Катерина втайне надеялась, что терпения хватит. До отлета оставался один день.

Чтобы не пропустить прощальный ужин, Катерина в очередной раз решилась уточнить время отлета. На этот раз более настойчиво. Заморский принц уступил своей принцессе и открыл электронную почту. По его глазам Катерина поняла: контроля больше нет! Вообще! Джон, не обращая на неё никакого внимания, стал, матерясь, судорожно собирать чемоданы. Билет был на вчера. Денег на новый билет уже не осталось!..

И тут Катерине захотелось на работу. Долгую, с ночными сменами, красными глазами, с дураком-начальником... В порыве нечаянной страсти она с трудом сорвала с руки колечко с камушками и швырнула заморскому принцу в лицо. Он поймал его на лету, невозмутимо достал футляр, уложил кольцо в бархат и также невозмутимо спрятал в карман, осветив этот трюк грёбаной американской улыбкой... У неё отвисла челюсть.

Он всё-таки улетел. Но не обещал вернуться. В оправдательном письме из Америки Джон отметил, что оказался под влиянием лунного затмения и неудачной расстановки звёзд. Катерина облегчённо вздохнула, допила свой любимый кофе и сразу всеми мыслями вернулась в сегодняшний день, к плите и своему любимому сыну. После чего пошла искать этого любимого паршивца кота Семёныча с единственной целью – приласкать...

Раздавшийся звонок мобильного вывел Катерину из благостного состояния. Она не сразу поняла, что это звонит её первая любовь. Они не виделись последних пятнадцать лет.

– Алло! Я в Киеве. Вернулся из Австралии. Навсегда. Выпьешь со мной чашечку твоего любимого кофе?

Она закивала в трубку, по щекам потекли слёзы. Видимо, это были слёзы счастья, и Катерина, смеясь и плача сквозь них, молчала и кивала.

5-11 июля 2018

ПРОСТО ЛЮБА

Люба стояла с бутылкой шампанского и букетом алых роз под единственными в этом городе башенными часами конца XIX века. Он, как всегда, опаздывал. На ней – воздушная полупрозрачная зеленая юбка – вряд ли винтажная, и уж тем более не ретро. Сверху – лёгкая цветастая блузка то ли с котиками, то ли с бабочками, и уютная оранжевая шляпка, от которой хотелось то ли петь, то ли плакать. Люба часто посматривала на часы, виновато переминаясь с ноги на ногу.

Уходило лето. В этом тёплом, тяжёлом от городского смрада воздухе практически кожей ощущалось его прощальное: «Я скоро вернусь!» Но отпускать его, по правде говоря, не хотелось.

Мимо шла парочка целующихся. Они застыли буквально в полуметре от Любы, слились в чём-то, похожем на экстаз, потом рассмеялись и бегом рванули в сторону подошедшей маршрутки, везущей то ли в постель, то ли просто в кино.

Люба в очередной раз бросила взгляд на башенные часы. Стрелка застыла как вкопанная и не решалась бежать вперед. Десятилетний мальчик на велосипеде засмотрелся по сторонам и чуть не въехал в Любу. Вовремя затормозив, он свалился с велосипеда, потом, не спеша, вполголоса кроя на чём свет стоит стоявшую на его пути тётю, вытирая

сопли и потирая ушибленную коленку, он, прихрамывая, поволок велосипед в сторону отбившихся родителей.

Люба понюхала цветы и улыбнулась чему-то далекому. Вспомнила свой первый приезд в этот город, и мелко моросящий дождь, и неуклюжий бег по перрону вокзала чудака с зонтом в одной и цветами в другой руке, и то, как он смешно щурился, пытаясь на бегу рассмотреть номера вагонов.

«Который час, не подскажете?» – девушка в круглых очках в массивной оправе внезапно спросила её басом. Люба подняла голову и кивнула на башенные часы. «Ага!» – сказала девушка и попросила прикурить. Вглядываясь в пытливое, убитое помадой и румянами, красивое личико, Люба судорожно начала искать зажигалку, которой у неё отродясь не было. Девушка терпеливо ждала, и даже согласилась подержать букет. Шампанское Люба почему-то ей не доверила, и оно решительно мешало ей рыться в сумочке. «Да вот же!» – вскрикнула девчушка, выхватив незнамо откуда зажигалку и всучив Любе обратно цветы. «Спасибо!» – отдала зажигалку и убежала. Люба повертела в руках незнакомую вещицу и снова посмотрела на часы. Стрелки стояли на том же месте. И тут у неё возникло ощущение, что всё вокруг остановилось. Остановился привычный городской шум – шорох деревьев, лай собак, шаги и голоса прохожих, визги тормозов и детей. Любе показалось, что она поднялась над городом, словно воздушный шарик, наполненный гелием, и нет ничего, что может вернуть её на землю. И даже бутылка шампанского в руке казалась ей невесомой.

«Ты что, в облаках витаешь? – раздался знакомый до неприятия голос Сергея. – Я с тобой разговариваю! Эй!» Люба включилась, выйдя из оцепенения или транса, и увидела нагло улыбающуюся физиономию. «Я что – опоздал? – выдала физиономия. – А ты, как всегда, молодец. По тебе хоть часы сверяй!» Он взял у неё шампанское и цветы, чмокнул в щёку и быстро сел в машину.

«Ты только не поздно, милый!» – только и успела крикнуть вдогонку Люба.

24 августа 2011

ПОРОДА

Вечер обещал быть добрым.

Ломая на бегу зонтики и “шпильки”, теряя мобильные телефоны и очки, домой после окончания трудовой недели заспешили женщины. Проливной, идущий сплошной завесой весенний прохладный дождь, местами напоминающий грозу, делал некоторых из них похожими на мокрых куриц и выстиранных кошек. Они летели, неслись к своим сковородкам, кастрюлям, котлам и СВЧ-ам каждая, в надежде накормить извечно голодную и несчастную, изъеденную молью и стрессами свою вторую половину с прилегающими к ней отпрысками.

Начинало темнеть. В песочнице заигравшиеся дети закапывали от дождя последние (в основном чужие) игрушки, их хватали за шивороты бабушки и дедушки, насильно (то и дело разрушая тонкую детскую психику) разводили по домам. Собаки поджимали хвосты и убегали в подворотни. Бомжи заходили в метро. Ласточки вили гнезда.

Нелли Адамовна Шпигель, будучи по природе почтенной дамой, курила на балконе и пускала дым огромными кольцами прямо под хвост своему породистому коту Барсику Иванычу. Тот громко фыркал и мяукал, одним словом, “тащился”.

И, конечно же, наш любимый герой, ловелас и похабщик, Самсон Самсонович Львов наблюдал все эти безобразия с открытым до неприличия ртом и баночкой черной икры в правой руке. Рот был открыт также по причине дефилирования перед его взором неизвестной дамочки, Олечки Игнатьевны Гусыниной, двадцати семи лет, незамужней, внучки богатого (в прошлом веке) землевладельца и скотопромышленника, а ныне беззубого нищего старикашки Афанасия Акимыча Бонжуйского. Самсон Самсонович был как всегда опрятен, румян и длинноволос. Его лучистые карие глаза источали явную доброжелательность и готовность, относящиеся, правда, исключительно к женщинам. С мужчинами Самсон был краток и даже суров, а если точнее: попросту скуп. Так вот, Олечка дефилировала секунд десять, а потом внезапно спряталась под крышу троллейбусной остановки (что случилось с ней впервые в жизни) и стала перекрашивать губы. Самсон Самсонович, хотя и не был настолько молод, тут же рискнул занять свободное (под ее правой рукой) место.

– Ну и дождь! Как из ведра! – чеканно произнес он вслух и даже сам порадовался красоте и глубине своего породистого голоса. – Простите, вы, кажется, слегка намокли. Может, я смогу вас согреть?

Олечка перестала красить губы и с любопытством, но исподлобья взглянула на потенциального насильника.

– Я не знакомлюсь с посторонними мужчинами под дождем на улице, – выпалила она. И на всякий случай отвернулась. В эту минуту внезапно раздалась трель мобильного телефона. Олечка порылась в сумочке... и на двадцатой секунде все же сумела его отыскать. Едва только поднесла трубку к своему очаровательному ушку, как раздался более резкий (по всей видимости мужской) телефонный звонок. Самсон Самсонович переложил банку икры в левую руку, в которой держал зонт, а правой деловито взялся за трубку. Далее случайный прохожий (а их было двое - женщина и еще одна женщина) услышали следующее:

ОНА. Привет, зайка, я тут вся мокрая на какой-то остановке. Сейчас пережду и тронусь... Да, в гараже. Ключи у тети Моти. Банка икры в холодильнике, авокадо на подоконнике.

ОН. Здравствуй, птичка. Задержался, рыбка. Дождь. Да, еще в ремонте.

ОНА. Соус во втором шкафчике слева, яйца на второй полке справа. Да, да, там же, только в холодильнике.

ОН. Скоро освобожусь, дорогая. Надо заехать. Да, завезти. Да, быстро. Целую.

ОНА. Зайка, сделай сам. Только обязательно прочти на обороте. Ну, жди. Целую.

Выключив одновременно трубки, оба замолчали. Прохожие не захотели становиться свидетелями и пошли мокнуть дальше. Дождь не утихал. Пауза затягивалась. Однако тут Самсон Самсонович вспомнил, что он профессиональ-ный ловелас и включился:

– Разве я похож на сумасшедшего, который знакомится пусть даже с очень привлекательной особой на троллейбусной остановке?

– А кто вас знает, – с некоторой все еще опаской ответила Оля.

– Значит, вы меня плохо поняли.

– А с чего вы взяли, что я вас поняла?

Самсон Самсонович переложил банку икры в правую руку и, слегка наклонив красивую голову, произнес:

– Тогда знакомьтесь: граф Самсон Самсонович Львов, бизнесмен.

– Вон оно как! – несколько успокоилась Оля, и в ее головушке закопошились шальные мысли. – А не врете? – чисто по-женски добавила она.

– Да с какой стати! Давайте лучше перенесем наше знакомство в более приличное заведение.

– А куда, например? – поддалась нахлынувшей волне своих новых мыслей Олечка. – В ресторан – пóшло, в кафе – грубо, – добавила она.

Самсон Самсонович на минуту-другую замешкался, но позицию не сдал:

– Лучше всего, в мой элитарный клуб “Винни-Пух и все”. Если у вас, конечно, нет других предложений.

– А вы знаете, есть! Можно зайти в мой женский клуб “Василиса Премудрая”.

– Да, похоже мы с вами читали одни и те же сказки. Это вас так зовут?

– Ну не совсем. Точнее даже совсем не так. Ольга Игнатьевна, княгиня, предприниматель.

– Шутите? – сострил Самсон.

– Вообще-то не собиралась.

– А вы мне начинаете нравиться, Ольга.

– Неужели?

– Давайте подбросим монетку, в чей клуб идти. Вы, кстати шампанское какой страны предпочитаете?

– Я предпочитаю шампанское своего завода, но пью водку.

Внезапно на остановке погас свет. И спустя мгновенье закончился дождь. А когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел два такси, разъезжавшихся в противоположные стороны. В одно садилась женщина, а в другое, как вы уже догадались, мужчина. Графы, княгини! Ох, уж эта порода!

11-12 мая 2001

ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ

Она плюнула на свой очаровательный пальчик и перевернула им же нотную страницу на пюпитре.

– Кофе, шоколад, любовь? – подойдя со спины, он прошептал ей на ушко.

– Начнём, пожалуй, с третьего... такта, – она ласково шлёпнула его по голове смычком. И прижала скрипку к своему милому подбородку.

Он спустился в зал, сел в первый ряд, взял театральный бинокль и уставился на её бюст... Вивальди звучал прекрасно. Особенно, когда её локоны взметались, а после резко падали на хрупкие плечи, в момент ярко выраженного экстаза.

В зал вошла жующая на ходу уборщица с красным дипломом консерватории. У неё было имиджевое ведро огненно-красного цвета, вызывающий вид и юбка, намного короче, чем у Красной Шапочки, бесцельно шатающейся по лесу с чёрствыми пирожками в поисках волка. Уборщица перестала жевать, быстро разулась и на цыпочках дойдя до первого кресла в первом ряду, присела на краешек. Сняв с плеча швабру, тихо положила её на колени.

Вивальди тем временем звучал по нарастающей. Смычок стал распускать свои конские волосы и касаться ими волос скрипачки. У смотрящего в бинокль потекли слюнки. И слёзы вместе с ними. Всё-таки умеет Вивальди очаровывать и перехватывать дыхание столько веков подряд!..

Уборщица понимала, что она лишняя, но музыка продолжала и продолжала делать своё святое дело. За спиной скрипачки возник запыхавшийся, раскрасневшийся восем-

надцатилетний пацан и случайно перевернул на пюпитре пару страниц сразу. Вивальди перевернулся в гробу, но чертыхаться не стал. А просто взял и перевернул лёгким ветерком страницу назад.

В зал влетела взлохмаченная, с косо сидящей на бедре юбкой виолончелистка, воткнула инструмент куда надо и плюхнулась на стул. Человек с биноклем уставился на её перепачканные губной помадой пухлые манящие губы. Вивальди зазвучал ещё ярче.

И тут вошел самый страшный человек в театре – осветитель. «Кончайте эту байду! – крикнул на весь зал. – У меня смена давно закончилась! Дальше будете при свечах». И его нервная рука с пальцами музыканта решительно потянулась к рубильнику.

А спустя пару секунд уже уходящим сознанием он почувствовал металлический удар красным ведром по голове... Вот что делает с простым человеком истинный гений – маэстро Антонио Вивальди!

16-29 марта 2018

ЕСТЬ ВРЕМЯ

Говорят, всё в этой жизни – слава, любовь, деньги – быстро приходят к тому, кто умеет грамотно ждать. Сижу, жду. Есть у меня время...

Жду, когда пригласят в Берлинский филармонический оркестр первой скрипкой. Правда, надо ещё научиться на скрипке... Есть время.

Жду, когда придёт телеграмма из Америки: «Срочно выезжайте! Скончалась бабушка. Ваше наследство 10 миллионов долларов». Не приходит телеграмма. Бабушка не кончается. Да и не живет она в Америке. И не имеет и близко тех миллионов.

Жду, когда сообщат в новостях обо мне: «Наконец-то мы увидели нового мужа Анастасии Волочковой». Не сообщают, сволочи.

Жду, когда пойдет дождь. В соседнем городе идет, в соседнем районе идет, у меня – категорически нет. Ничего. Есть время.

Наверно, не так жду. Не там. Вот сел у окна, расслабился. Глаза закрыл. Уши открыл.

– Соня! В чём дело? Мне нечем дышать! Вы жарите рыбу?

– Какое жарим?! Шо вы такое говорите! Фима пять минут назад ушёл её ловить!

– А он взял Раю?

– Не, но я поняла, про шо ты спросила!

– Ладно с той рыбой! Шо у тебя может ещё так вонять?

– Ты настаиваешь?

– Да!

– Так это моя личная жизнь!

– Боже! Сонечка! У твоей жизни такой запах?

Я закрыл уши и открыл глаза.

Ну! И сколько ждать? Я ведь могу и проголодаться. А в холодильнике чисто, сухо и эхо звонче, чем в лесу. Жду... А счастье, оно, вообще, какого цвета? А в каком размере? Ладно, ладно. Жду. Между прочим, вчера пообещали меня через полгода повысить... ага, точно говорю... если доллар совсем не рухнет. А вдруг рухнет?.. Ну, на кой мне эти полгода сидеть и ждать?!

Напрасно уши открыл.

– Это твоя машина, козёл? Тебя в каком заповеднике парковаться учили? Не могу выехать, животное!

– А ты с бровки спрыгни! И не парься.

– Я те щас прыгну. Ты только на улицу выйди, попрыгун!

Что там у нас – деньги, любовь. Любовь... Красивая, умная, тихая, сидит в офисе, пальчиками славными клавиши трогает, ими же причёску поправляет. Точно, моя вторая половинка. Ну?.. Не хочет знакомиться, гадина такая! Я ей и так моргал, и эдак. Улыбается, смущается, вы не в моём вкусе, говорит. Подрастёте, говорит, отрастите, ну, тогда, может, выйду с вами пройтись до ювелирного и обратно.

Жду. Есть время. Отрастаю, обрастаю. Не смотрит, только плотоядно улыбается.

Деньги, слава. Когда они на меня уже обрушатся и накроют с головой?

– Ты мне тысячу должен, помнишь?

– Я? Какую?

– Ту самую. Завтра не отдашь, пеняй на себя.

– Завтра не отдам. Пеняю.

В ожидании есть что-то магическое. И приятное. Сидишь, ждёшь, ничего не делаешь. А оно вдруг – бац! – и не приходит. Или она. Передумала. Или забыла. А то и не захотела. Холодно на дворе, дождь или снег с дождём. А у неё хандра, понимаешь, депрессия, словом. Каприз, то есть. Сидит, телевизор смотрит, сладкое наворачивает. Телефоны все отключила. А я как дурак под парадным мёрзну. Код забыл... И номер квартиры. И народ, как назло - ни входит, ни выходит. Вот пруха-то.

– Соня! Ты сильно не обижайся, но я взяла-таки бинокль. И уже все знаю про Фиму. Он сейчас именно ту рыбу, шо ушел ловить, как раз и покупает!

– Ой, только не надо меня пугать. Фима именно сейчас дома. Он тебя спрашивает, за какую такую Раю он уже полчаса как ходит по дому с фингалом.

– Ой! Так это не Фима? Хорошо, я спрошу Раю... А кого я тогда смотрю в бинокль?

– Ты смотришь брата его - близнеца Моню. Дня три как приехал из Израиля.

– Соня! А почему Рая зовет его Фимой?

– Не знаю. Может, для конспирации...

Есть время. Жду, когда наступит праздник. Нет, не с огнями, пивом, салютом, пьяными песнями и тупыми тостами. Жду тихого праздника. Когда рядом любимые люди, и они не выпендриваются, не строят из себя и не завидуют, а тихо радуются друг другу. Хотя можно и с огнями, салютом тоже. Только с теми же любимыми. Жду. Что у нас там со временем?..

2 сент. 2008

ДУРЬ В ГОЛОВЕ

Выбрасываю из головы все, что попадается под руку. Первой попалась ты. Выбросил, не задумываясь. Дальше стал выбрасывать из головы дурь. Выбрасывал очень долго, так как дурь упиралась, цеплялась за соломинку и при этом дико визжала. Выбросил дурь. Дальше обнаружил любовь. Тут опять под руку попалась ты. Выбросил, но на этот раз удивился. Споткнулся о любовь. Подумал: “К чему бы это?” Тут же выбросил из головы саму мысль о любви, а любовь оставил. И рядом с ней заметил ненависть. Вытолкал в шею.

Остановился. Перевел дух. Как вдруг в голове появилась зависть. За ней потянулись жадность, леность и пошлость. Отправил всех пинком. И остался один. С любовью. Но тут под руку опять попалась ты! И пошла выносить весь этот мусор.

26 ноя 1996

СВОЯ ТЕНЬ

Одним прохладным июньским вечером я вышел проветриться. Надо заметить, что проветривать мозги – одно из моих самых любимых занятий, практикуемых регулярно. Точнее или правильней будет сказать: ушел «закалять» мозги... В свете очередного фонаря меня озадачили две словно приклеившиеся тени, мирно вышагивавшие впереди и синхронно удлиняющиеся. Когда по спине пробежал первый холодок, я резко обернулся. Рядом никого, а теней – по-прежнему двое. Чтобы не испытывать дискомфорта, я грубо спросил самозванку: «Ты чья?» Как вы думаете: что она мне ответила?.. Ничего! Тогда я громко топнул, тем самым демонстрируя свой крутой нрав, и зашагал дальше. Минуту спустя снова остановился и крикнул «Брысь!» Одна из теней, как мне показалось, на мгновенье втянула голову в плечи. «Ага», – прошептал я и стал давить ее. Проходящая мимо собака вздрогнула, поджала хвост и в ужасе бросилась наутек. «Да, дела, – подумал я. – Кому-то рассказать – засмеют». Тут же пришла еще одна мысль, поновее. «Это кто-то на меня нагнал тень. Тень на плетень», – вторая часть мысли была явно бредовой. «Но кто же? Машка? Вряд ли. Танька? Зачем ей это. Светка? Никогда. Может, жена?..» Мне показалось, что лишняя тень на последнюю реплику тихонечко хихикнула. «Может, сегодня аномалия какая», – и я стал поджидать случайного прохожего, чтобы в этом убедиться. Или же убедиться в обратном. Через пять минут случайный прохожий, видимо испугавшись моего сверлящего взгляда и подумав что-то плохое, заметно ускорил шаг, чтобы не нарваться. Тень, однако, у него была одна. «Надо у кого-то спросить, – стал я размышлять вслух. – Может, это последствия вчерашнего? Хотя вчера-то ничего и не было. Ну, пиво было, ну, футбол, бабы какие-то, потом баня. Нет, баня неделю назад была». Я присел на корточки. Обе тени тут же последовали моему примеру. Чего-то тут не увязывалось. Может, это знак какой свыше? А я еще не готовый. Вот уйдет вторая тень, а я без нее потом всю жизнь локти кусать буду».

Зацокали каблучки. У девушки было две тени. Не успел я порадоваться за нее, как увидел хозяина второй тени. И надо сказать, вовремя увидел, а то бы количество моих теней могло возрасти раза в три. Они оба как-то странно на меня посмотрели, даже разговор прервали.

Тогда я решил возвращаться домой. От греха подальше. «Завтра на свежую голову встану, там и разберемся», – подумал про себя.

Войдя в квартиру, обнаружил застывший взгляд жены, а потом леденящий душу вопрос: «Дорогой! Зачем тебе сразу три тени? Ты что, инопланетянин?» И тут я впервые улыбнулся, поскольку вспомнил, что являюсь штатным инопланетянином высшей категории и нахожусь здесь с особым заданием. «Это тебе показалось», – сказал я, и незаметно нажал кнопочку на заднем кармане брюк. «Да, ты прав, показалось», – ответила жена. – Я, наверное, просто устала за неделю».

1 июня 2002

Ірина ІВАНЧЕНКО

ЯЛИНКОВА РІДНЯ

Доня у бабусі. Тож удома нас, живих, двоє: ялинка і я...

Останнього грудневого дня біжу по хліб. Біля доньчиної школи — безнадійний ялинковий розпродаж. Кілька лагідних сосен у ролі манекенів, прикопані. Решта — навалені жужмом, абияк.

Мене це не обходить. До новорічного перепочинку ледве дотягнула. Втома невідступна, тривога невичерпна. Та й що мені святкувати? Сама біда навкруги. Думка про ялинку здається блюзнірством. Біжу собі далі.

Раптом щось зупиняє, наче озвався хтось чи плачуть десь. Мозок ще мчитьпо хліб, а ноги розгортаються у зворотному напрямку. Так, після роботи добігаєш до метро, краєм ока зачепивши скоцюрблену постать при вході. Протискаєшся у засмальцьовані двері та від турнікетів, ніби наштовхнувшись на перешкоду, вертаєш на вулицю. Літня жінка притискає до грудей стаканчик з-під сметани, що взявся паморозззю. Намацуєш у кишені пару гривень, стидаєшся, що мало, але тицяєш у стаканчик мізерну свою офіру. Відчуваєш хвилинне полегшення і, вже без остраху, пірнаєш у кротячу нору підземки.

Продавець ялинок упадає коло перспективної покупачки з дитиною у візку. Поки йому не до мене, розкидаю хвойні завали. Зойки в голові поволі притишуються. Ось вона, моя птаха-негаразда. Задублі гілки, як руки у труні, вчавлені в стовбур. Але жива. Насилу витягаю з-під звалища. Та ще красуня — обскубана, мов курча безневинне. Дивиться, мовчить, очікує на вирок. Сосна-ялинка. Це вона по батькові сосна. Усі призначені в жертву новорічному духові звуться однаково — ялинки.

«Зв'язати?» — «Ні». «Дякую» котиться горлянкою і застрягає у роті. Адміністратор невільницького ринку чого тільки набачився, а і його жаль узяв. Стоїмо перед ним удвохна морозі, обидві — оглашенні. Одна — у хустці набакир і без рукавичок, друга — гілками прикриває чи то сором, чи то душу свою зруділу.

«Газетку візьміть, а то руки замастите». Що тобі, чоловіче, делікатно відповісти? У нашому Гарлемі грязюка плаває у повітрі. Хоч як ухиляйся — все одно влучить. Не замастити б те, що всередині.

Доня відчиняє двері. Оченята — як два блакитні місяці. За життя не взнаєш, що на тому Місяці діється. Вдвох заносимо ялинку до кімнати.

Десь на антресолі була хрестовина. Лізу шукати. Першою знаходиться татова вушанка. Скільки повіддавали по

людях, а шапка вціліла. Як нова. І що їй станеться? Речі безсмертні, бо в них душа не болить.

Улаштовую гостю і біжу все ж таки по хліб.

Повернувшись, чую, що доня з ялинкою вже запізналися. Цьвірінькають по-своєму, по-пташиному. Заходжу до кімнати, щебет умить уривається. Батечки мої, а ялинка, ялинка — відтанула трохи, призвичаїлася, — і розкрилася, мов квітка пухнаста. На зріст — із п'ятирічну дитину, але така охайна, чемна, ставна. Наче вона не з лісу, а з пансіону шляхетних дівчат.

І зовсім вона не руда, не суха. Ялинки, як жінки, — негарними не бувають. Є ті, кого більше не кохають. Ось вони і засихають од самотності.

До вечора вбрали ялинку, накрили стіл і відсвяткували утрьох.

Згодом Різдво оддзвеніло, Маланка одщедрувала. Після Водохреща міркуємо з ялинкою про майбутнє. «І що мені з тобою робити?..» Мовчить, дивиться. Копія — доня, коли кажу, що для цуценяти у нашій 13-метровій кімнаті немає місця. «Ну, добре, добре. Їсти не просиш, живи собі. Ми ж тепер начебто свої. А своїх на вулицю не викидають...»

Моя ялинка — мабуть, родичка того переселенця зі Сходу, який винаймає помешкання навпроти. В обох — відрубане коріння. Той чолов'яга спочатку все носився туди-сюди у справах, роботу шукав. Зараз удома сидить. Схоже, справи закінчилися. Бачу його у вікно. Наче він посивів? Ні, підняв комір, іній на волоссі виблискує. Віддаю йому татову вушанку. Зрадів. Двадцять років, як тата немає, а шапка, ти бач, таки стала у пригоді.

Элина СВЕНЦИЦКАЯ

ДЕНЬ ГОРОДА

Из серого неба падает дождь. И косолапая старушка ковыляет куда-то. На праздник, наверное. Дети ползают по асфальту с цветными мелками, и он быстро покрывается атомными бомбами и голубками. Люди ходят, разговаривают:

– Мама, мне тетя карандаши подарила. Я рисовала зеленую девочку, кошку, и как директор пришел, а тетя сказала, что это война, и карандаши дала.

– Девушка, вы одна гуляете? У меня тут рядом квартира и большая банка вина.

– Товарищи люди! Вы стоите на проезжей части и держите автобус.

– В кино пойти мне не с кем. Приду с работы, сижу дома и плюю в потолок.

– Пришла я к гинекологу в третий раз, а там уж пятьдесят человек стоят, и все с книжками. А она говорит: «Буду принимать по талонам, а с книжками не буду». Мы к главврачу, а он говорит: «Ничего, давайте я вас посмотрю. А впрочем, вас этим не испугаешь».

– Товарищи болельщики! Болеть надо организованно и в стороне.

– Что творится... На шахте авария, автобусы переворачиваются, то Чернобыль, то Арзамас. Что-то дальше будет?

– Ничего.

– Ничего?

– Ни атомной катастрофы, ни гражданской войны. Просто будут люди умирать и умирать, пока все не умрут.

ЭФЕМЕРИДЫ

Я сидела за столом и мечтала о смерти моего мужа. Я мечтала, что он умрет, а я наконец-то буду жить. Тут пришла Люда, его бывшая жена от третьего брака.

– Дорогая, я умираю, – сказала она. – Помоги мне.

– Чем я могу помочь тебе умереть? – удивилась я. – Я думаю, с этим ты отлично справишься сама.

– Дорогая, ты не поняла, – заплакала Люда. – Мне зарплату не платили два месяца, сын обрезался, лежит на диване и стонет, а я падаю в голодные обмороки.

И она тут же упала в голодный обморок и лежала в нем до тех пор, пока я не достала из холодильника курицу. Обняв курицу, она убежала, и я осталась одна.

Я снова села за стол и стала мечтать о смерти своего мужа. Я думала, что он умрет – и на мне наконец женятся все мои любовники, и я буду с ними жить, а когда надоест – буду мечтать об их смерти.

Тут пришел Гриша Чечило, сожитель мужа по наркодиспансеру.

– Я тебя люблю, – сказал он. – Дай на бутылку.

– Конечно, дам, – сказала я радостно. – Но денег у меня нет.

Он посмотрел на меня и попятился.

– Понимаешь, я очень занят... Я лечусь от простатита.

– От какого еще простутита? А ну проваливай со своим проститутом!

Он ушел, а я осталась одна и снова стала мечтать о смерти своего мужа.

Тут пришел мой любовник, милый мальчик Сашенька.

– Понимаешь, я выхожу замуж, – сказал он.

– То есть как?

– То есть женюсь, – поправился он. – Мама говорит, надо жениться, иначе детей не будет.

– А кто она?

– Мама у меня инженер.

– Нет, кого ты... За кого ты...

– А, она девушка. Из парфюмерного магазина.

– А как же я?

Он ничего не сказал и ушел. Я осталась одна. На этот раз окончательно.

Так всегда у меня – все зыбится и исчезает, оставляя меня одну. Как Люда со своей курицей, как Сашенька со своей парфюмерной девушкой, как Гриша со своей непонятной болезнью – химеры, эфемериды, и больше ничего.

И я эфемерида, лечу по улице и слышу нежный голос огромной химеры, держащей под руку худенького эфемериду в рыжей кепке:

Ну что, козел, ты неженатый? Давай, козел, с тобой встречаться серьезно, как все нормальные люди.

Все химерично, все эфемерно, только фонарь торчит, как черту кочерга, мне жалко Гришу – он больной. У него такая болезнь, проститут, простутит, рак простительной железы, он просит прощения, а его никто не прощает. Но как его простить, если он просит на бутылку, а платить не хочет, если Люда обнимает курицу, а Сашенька убегает, если все мы – химеры, эфемериды, летим, убегаем и не прощаем друг друга.

В ОЖИДАНИИ

– Скажите, что же вы думаете: разорвет ли меня эта жизнь или я ее порву нафиг? Скажите, господа читатели, почему вы меня не читаете? Почему вы читаете любую фигню, кроме меня?

Вот что я услышала, прислушавшись к бормотанию сумасшедшей старухи. Она шла, спотыкаясь о длинную черную юбку, торжественная, как смерть, с непонятным ридикюлем и пестрым бантом на голове. Такой же бант был подвязан под воротником грязно-серого плаща, а за спиной болтался выгоревший пустой рюкзак. Она стояла возле кассы в супермаркете, шаря в раскрытом и вывернутом наизнанку кошельке, продавщица громко звала охрану, а старуха смотрела на нее и бормотала:

– Да, господа читатели, нет у меня денег... Разве ж вы не знаете, что писателям денег не полагается? Нафига мне деньги, я и кошелек порвала к чертовой матери. Вы ж не читаете все равно, хоть я сдохни. А сдохну я – в рай попаду сразу, без суда и следствия. А вы доживете до Страшного суда – тогда и посмеетесь!

И вроде бы ничего со мной не случилось в тот день. «Ничего не должно случиться», – думала я, идя вдоль забора, похожего на зубы больного старика: там поломано, тут шатается. Но как-то странно мне было – будто забросили в темный трюм, а потом выбросили в безвоздушное пространство. «К чему же мне это?» – подумала я, поглядела вокруг – на печальный автобус, прыгающий по ухабам, на раздавленный помидор на асфальте. Но ответа не было.

И я про эту сумасшедшую писательницу забыла, а потом вспомнила – осенью. Был сильный ветер, и она шла, не глядя на меня, но прямо на меня. На ней был все тот же грязно-серый плащ, только под воротником завязан детский розовый шарфик, а на голове уже не бант, а шляпка-таблетка. Я даже не узнала ее, пока она не поравнялась со мной, бормоча:

– Блин, целая улица читателей – и хоть бы кто-нибудь обратил внимание, что прямо тут, по этой самой земле, по этой самой грязи – ходит великий писатель! И на этой самой земле великий писатель околевает!

«К чему мне это?» – подумала я. А вот к чему. Через несколько дней началась война – та самая, которая никому не была нужна, которая никак не могла прекратиться. Мы уехали из Донецка, вначале в Мариуполь, потом в Красноармейск, потом в деревню. И хотелось домой, и все время не было денег, и каждый день надо было вставать затемно, и стоять в длинных очередях, и все время что-то просить, и стоя в очереди, я все время вспоминала эту сумасшедшую писательницу, которая ходит по улицам и ведет свой нескончаемый разговор с читателем – упрекает его, и просит, и угрожает, и снова укоряет его, и никак не разрешится эта ее вечная тяжба, и никак не иссякнет поток слов... Через несколько месяцев мы вернулись.

А в Донецке все было по-прежнему. Вот уже и весна. Речка Кальмиус блестит, как хрусталь, и воняет, аж дух захватывает. А кругом листочки на деревьях шелестят, пули свистят, птички поют – те, что уцелели, танки едут, травка свежая пробивается, солнышко светит. И уже на третий день я ее увидела – сумасшедшую писательницу.

– Стреляете? А лучше бы читали, сволочи! Меня бы читали, и были бы все в шоколаде, русопяты хреновы! Я ж еще когда написала, что воевать – вредно для здоровья. А вы не прочитали – и вот вам теперь, жрите, не обляпайтесь! Подождите, наплачетесь вы еще, не читавши! Будет вам Страшный суд – тогда и повеселитесь!

Как все-таки странно все в этой жизни...Я разных видела сумасшедших, но вот Наполеонов не видела и писателей тоже не видела. А уж писательницу – совсем никогда. И даже не изменилась она совсем, и не боится никого – живучая, как кошка. Только что же это такое в моей жизни и к чему она в ней появляется?

Но в эту ночь я не смогла заснуть. Все чесалось, горело огнем – руки, ноги, шея, лицо... Когда я подошла к зеркалу, то отшатнулась – что-то красное, расплывчатое глядело на меня, хлопая заплывшими глазками. Было тихо, только у аэропорта, как всегда, бухало, и я побежала к дерматологу.

– Женщина, у вас аллергия!

– На что?

– Сдавайте анализы.

Когда я, еле удерживая шелестящие, расползающиеся, как змеи, бумажки, вышла на улицу, то опять увидела сумасшедшую писательницу. Она послала мне воздушный поцелуй. А аллергия у меня оказалась сложная: и на сладкое, и на кислое, и на горькое, и на соленое, и на красное, и на желтое, и даже на зеленое, а еще на сульфаниламиды и на все антибиотики пенициллиновой группы. И хотя я не ела ни сладкого, ни кислого, питалась только овсянкой, аллергия не проходила долго, каждый день что-то чесалось. «Вот он, творческий зуд!» – думала я.

И когда мне в конце концов полегчало, и когда на несколько дней перестали стрелять, и когда я решилась в конце концов выйти – знаете, кого я увидела на улице? Да, ее же, сумасшедшую писательницу, только в черном балахоне, причудливо изодранных чулках, в огромных бирюзовых серьгах и рыжей кепке.

– Ну, здравствуй, дорогая! – сказала она мне, глядя прямо в глаза.

И к чему же мне это, скажите? И что же после этого случилось со мной? А что хорошего со мной могло случиться? Вы же знаете мои рассказы – разве в них с кем-нибудь случается что-нибудь хорошее? Вы же знаете меня – я не люблю размазывать слезы по грязной роже, то единственное, чего я хочу в этом мире, – чтобы люди все-таки не плакали, читали – и не плакали! И Бог с ними! Вот настанет Страшный суд – тогда и посмеемся!

FINE DE SIECLE

Век кончался. Солнце было черное, луна – красная, неба не было, оно скрылось, свившись, как свиток. Горькая вода капала из крана. За стеной тихо пело радио: «Жучка моя, я твой бобик, трупик ты мой, я твой гробик».

Было холодно. Только на кухне осталось немного хилого газового тепла. Поэтому завтрак длился и длился.

– Завтра и этого не будет, – сказала Анна, ставя на стол резиновый хлеб и мертвую воду. – В городе воду дают только глубокой ночью.

И она покачала головой.

– Ничего, я разживусь на шахте, – сказал Павел, ее муж. – Будут вам и хлеб, и вода. Между прочим, на Шандровке коня бледного видели. Давай сходим посмотрим. Мы уже давно никуда не ходили. И Гришке будет интересно.

– Лучше займись с ним математикой, у него опять двойка.

– А где он?

– Не знаю. Пропал куда-то.

Их сын вправду решил пропасть. Потому что все надоело – сырая комната с запотевшими окнами, мокрые простыни и холод, и рано утром будят ни за что ни про что, и выгоняют из дому на холод, в школу, получать двойки, грубить учителям. А дома вечные разговоры о последних деньгах, о хлебе из навоза, о том, как дальше жить.

Все еще спали, когда он вышел из дому, из зыбкого тепла, которое надышали за ночь. Сизые деревья тихо шуршали над ним. Развороченный трактор отдыхал под белыми звездами. Слышались выстрелы. То ли милиция стреляла в рэкетиров, то ли рэкетиры стреляли в милицию, то ли одинокий прохожий отстреливался в темноте.

«Двойка – это плохо, – думал Гриша. – Чего она кричит, будто я сам не знаю. Уеду я».

Он пробрался к железнодорожному вокзалу. Шел через огромное поле, усеянное саранчой. Саранча шевелилась и скрежетала зубами. По шаткой деревянной лестнице с неба слезал ангел с ржавым пионерским горном; другой, подставив стремянку, пытался

залезть на солнце. «Кыш, пернатые!» – замахал на них руками Гриша, и ангелы разлетелись, а лестницы попадали.

Вместо рельсов была длинная яма. Поезда не ходили. Гриша зашел в здание. Было много кресел и людей, все смотрели вверх в телевизор. Показывали порнуху про вавилонскую блудницу, у которой между ног светит луна.

– Здравствуй, Гриша, – сказал мужчина с красной царапиной на подбородке. – Я умею делать молнии.

– Ты колдун? – спросил Гриша.

– Я не колдун, я знахарь. Я все знаю, я все видел, я видел австралопитека, и он мне открыл страшную тайну.

– Какую?

– Что он – инопланетянин.

– Ну и что?

– А то, что и мы тогда инопланетяне.

– Неправда, мы евреи, – убежденно сказал Гриша и пошел домой.

Анна и Павел давно его уже искали. Они бегали по черным подъездам, кричали: «Гриша! Гриша!». Но подъезды не отзывались.

– Я боюсь, – говорила Анна. – Где он пропадает? Вдруг он в городе, а там, у оперного театра, раздевают.

– Что-то я не видел там раздетых...

– Так иди и смотри, – фыркнула Анна и свернула в темный переулок.

– Ну что ты делаешь, ненормальная? Совсем с ума сошла?

– А как не сойти с ума?! Где он? Что с ним? Может, убили, может, изнасиловали. Время-то какое...

– Времени больше нету, – хмуро напомнил Павел. – Это ты виновата со своими истериками, довела ребенка.

– Нет, это ты виноват! Ты ж всю жизнь на шахте, всю жизнь под землей, какой пример ты можешь подавать ребенку?

Он схватил ее за волосы, она вцепилась ему в горло, и они покатились по желтым листьям, под лучами черного солнца, по сизому мокрому асфальту.

Гриша уже давным-давно был дома, когда они пришли. Все было как раньше, солнечные зайчики прыгали по кухне. Он поел и сел за математику, но скоро захотел в туалет. Там было интересно, жужжали мухи.

Павел открыл кран, чтобы умыться. Из крана закапала кровь.

– Смотри, мать, – сказал Павел.

Анна подошла посмотреть. Из туалета между тем слышался веселый голос Гриши:

– Я колобок-колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, и от папы ушел, и от мамы ушел.

– Сам себе сказки рассказывает, – засмеялась Анна.

– Все дома. Слава Богу, – сказал Павел и поцеловал ее.

Звезда Полынь ласково светила в окно. Начиналась зима.

МУХА

Муха сидела на столе. Она ползала по хлебу и заползала под тарелку. Потом упала в чашку. И долго плавала там, пока не утонула.

Мы сидели за праздничным столом. Я смотрела на муху и думала, что вот также точно и люди. Это было очень банально, но ничего лучшего в голову не лезло. Что такое жизнь – мушиная возня, мельтешение...

Так думала я. Мне было грустно.

– Фильм был бы хорош, если бы не секс. Секс портит искусство.

– Или искусство портит секс?

И оттого, что на улице было грустно, мне становилось еще грустнее. Но где мне найти мою луковицу, чтобы поплакать?

– Ему голову отрубили еще в гражданскую войну.

– А в тридцать седьмом его опять забрали и из Союза писателей исключили.

– И представляете, только сейчас реабилитировали, и в Союзе восстановили, и книжку опубликовали.

– И голову вернули...

А у меня в душе что-то набухало и набухало. И слезы покатились из глаз. И я заплакала и закричала:

– Никто меня не любит. Почему меня никто не любит? Почему я никому не нужна? И почему вы все хорошие, а я одна плохая, никому не нужная?

И зарыдала, вырвалась из-за стола, что-то разлила, что-то опрокинула, в чем-то испачкала платье. И все сразу же запрыгали и забегали.

А потом я сидела на диване и рассказывала, что это со мной бывает. И ушла, очень довольная собой. Я шла по городу под дождем. И думала про своего деда, который работал в парикмахерской и получил восемь лет за то, что разбил бюст Сталина.

Удивительная я

Девушка до 40 лет, рост до среднего, образование выше среднего, во всем обыкновенная, стройная, привлекательная, по профессии, кажется, машинистка, обладающая иногда спокойствием, сдержанностью и постоянством, имеющая мать до 60 лет, находящуюся в больнице, кажется, на излечении, и обеспеченная ее жильем, уступчивая в обращении, знакомая с поэзией, прозой и спичечными этикетками, возможно, без вредных привычек, желающая обрести спутника жизни, который мог бы ей служить идеалом, кумиром, тираном и сатрапом, имеющего интеллектуальный багаж и круг интересов, возможно, с каким-нибудь хобби, сидела за столом и писала письмо:

«Я жила с любимым человеком и читала любимую книгу. Но любимый человек меня бросил, а любимую книгу выбросил. Пишу вам из зала суда. Пусть платит за все».

Таким образом, никто не сделает из человека того, кого он сам из себя сделает.

БОЛЕЗНЬ КУКЛЫ

Вначале он пил по-черному, потом завязывал насмерть. Вначале он завязывал насмерть, потом опять пил по-черному. У него был веник, а еще матрац и расстроенное пианино. А больше ничего не было. Но он жил в этой комнате, потому что делать было нечего. За окном проходили трамваи с круглыми и грустными глазами, полные трамваи чужих людей.

Каждое утро он бил кому-нибудь морду. Потому что он решил набить морду всем любовникам своей жены. Тех, про которых он знал, должно было хватить где-то года на три,

но были еще те, про которых он не знал, и на них уже не хватало целой жизни, и потому он старался как можно чаще бить кому-нибудь морду.

Потом он ходил по комнате и думал. Думал о рваных рублях в кармане, о воде, текущей по штрекам выбросившей его шахты, и о том, как было бы хорошо, если бы премьер-министр Дурдинец собственноручно пожал ему руку. Время шло, а ему только этого и надо было.

Он ложился на матрац вниз лицом. Приблудная Динка сидела в углу и читала обрывок газеты. Там писалось про аварию на шахте, про окучивание ранней редиски и просили сообщить о местонахождении Элины Свенцицкой, 1960 года рождения, инвалида детства, которая месяц назад ушла из дому и не вернулась.

Приблудная Динка села за пианино и стала тыкать в него пальцем.

– Что ты играешь? – спросил он.

– Болезнь куклы Чайковского, – ответила она и улыбнулась. И снова тыкала в пианино пальцем, и кукла стонала, у куклы была температура, и она плакала горючими слезами, слизывая их сухим языком.

– Сыграй лучше танец маленьких лебедей.

– Не могу. Слишком пианино расстроенное. Почему у тебя такое расстроенное пианино?

– От жизни, – ответил он. – Оно три переезда, два развода выдержало – и расстроилось.

Динка опять застучала пальцем по клавишам, и заскакали маленькие лебеди, а кукла начала плакать и просить, чтобы не расстраивали пианино, потому что оно уже и так расстроенное, и все из-за вас.

Тогда и появилась Элина Свенцицкая, инвалид детства, о месторождении которой надо было сообщить за вознаграждение.

– Вот я, Господи, – тихо сказала она.

Но Господь её не увидел и никому не сообщил.

НИКОМУ И НИКОГДА

Про это никому нельзя говорить – вообще никому. Никому, никогда в жизни, даже под пытками, даже под страхом смертной казни, надо молчать и молчать, до самого конца. Если бы кошка – с ней бы поговорить, только ведь потом она все равно будет задумчиво смотреть на меня и улыбаться... как будто что-то знает. Был бы плюшевый мишка – но нет у меня плюшевого мишки.

Мне надо молчать и только молчать. Мне вообще нельзя разговаривать – никогда и ни с кем. Потому что как только начну разговаривать – так сразу из меня и вылезает. Да, из меня вылезает абсолютно другой человек. Мне этот человек неприятен, я не понимаю его и боюсь, но как только я заговорю – он появляется и говорит вместо меня, и я не знаю, как мне с ним жить. Просто с каждым днем его все больше, а меня – все меньше, но я даже не могу никому рассказать об этом – это же сумасшествие, самое обыкновенное сумасшествие.

Это самая обыкновенная улица, я ее видел тысячи раз, и автобус самый обыкновенный, а снег летит как манна небесная, мокрая манка сыплется с неба, залепила очки – и не видно ничего. Это самое обыкновенное собеседование, если в одном месте уволили –

возьмут в другом, я же хороший специалист, я же многое умею, я сейчас все расскажу – и закончится эта длинная яма с древесными корнями по бокам и желтой водой на дне.

Здравствуйте, меня зовут Георгий Юрьевич! И я вас очень рад видеть...

Вот и вылез из меня этот человек и говорит вместо меня, а я... а что я?

Я доктор философии по психологии, экстремальная психология – моя специальность...

Я ничего не могу. Я только вижу, как улыбается директриса в кружевном шарфике, улыбается длинной улыбкой и качает головой.

Мне шестьдесят три года, но биологический возраст моего организма – двадцать-пять лет, я бегаю кросс и прыгаю на скакалке, и читаю без очков.

Но вы же в очках...

Так они без диоптрий, они мне нужны для другого.

Не понимаю...

На всякий случай, чтобы не загипнотизировать, кого не надо.

Так вы еще и гипнотизер?

Да! И вы очень пожалеете, если не возьмете на работу потомственного дворянина!

Они сказали, что позвонят, но они не позвонят. Я бы тоже не взял на работу дворянина и гипнотизера. Может, это и правда – только зачем про это говорить? Я бы вот никогда бы не сказал – только кто же меня спрашивает?

По небу летят белые перья – а где-то прячутся лысые птицы с когда-то белым опереньем. Кто-то пишет все эти слова, которые я говорю, кто-то их написал неизвестно зачем – просто так, чтобы поиздеваться надо мной, чтобы посмотреть на мою идиотскую жизнь, которая вместо того, чтобы стоять на месте, изгибается, как змея, и уползает в темноту, и там, в каком-нибудь углу, переворачивается на спину и дрыгает ножками. Кто-то все это пишет, гад, ему бы в глаза посмотреть...

И вот я смотрю в его глаза, а он смотрит в мои. Но это она – просто старушка, добрая, милая, прекрасная, сумасшедшая старушка – у нее нет никого, кроме тети и двоюродной сестры, вот они, тоже милые и старые, тихо ходят по дому, колеблясь, как былинки на ветру, хрустят сухариками. И она придумала меня – чтобы я ей скрашивал дни, крадущиеся, как кошки на мягких лапах, тающие, как сахар в бледно-желтом чае, пьющемся в ранних сумерках на пошкарябанном подоконнике. И то, что происходит со мной, ей не кажется трагическим, скорее – забавным. И когда я открываю рот и начинаю говорить, и из меня вылезает вот это все – она тихо смотрит на меня и кивает головой. На окошке в белой вазочке две желтые розочки со скукоженными лепестками и старые газеты.

– Дорогой мой Гошенька! Гошенька мой милый! – шепчет она и смотрит в окно.

Может быть, со мной ей не так одиноко? Может быть, она меня любит? Может, она меня написала для того, чтобы любить? Но что же это за любовь такая, от которой мне так плохо? Разве же так любят, чтобы поиздеваться?

Да, но это ее жизнь, и пусть сочиняет себе в ней все, что ей хочется. И вот – ночь. И она, добрая, милая, прекрасная, сумасшедшая старушка сидит на кровати и смотрит в темноту. Есть одно хорошее лекарство, если его выпить, она будет спать, но оно закончилось – и нет его. А за окном – ни звука, ни огонька, но кто-то там ходит вокруг дома, ходит взад и вперед в кромешной тьме, ничего не видя вокруг, всхлипывая и плача – безжалостно, неотступно, без слез. И она думает: Господи. Да что же это такое, Господи, это ведь все нарочно кто-то сочинил, и меня сочинил, и эту жуткую ночь, и всю эту жизнь, которая никуда не идет, только сделает шажок – и сразу набок завалится, а как только чуть поднимется – так опять захромает и упадет, и закатится глубоко под землю, в черную теплую глубину. Господи, да кто же меня сочинил?

А все очень просто – люди все сочиняют друг друга. И я тоже кого-то сочинил, и меня кто-то сочинил, а тот, кто сочинил мою старушку, был сочинен еще давно одной вредной филологиней-древницей, которая любила только древнюю литературу за ее абсолютную духовность. Мы все сочиняем друг друга, чтобы не было так одиноко, чтобы было кого любить. Так вот все и происходит в этой жизни, а некоторые люди сочиняют себе сразу несколько людей, и тогда их называют писателями. Но с этими писателями все не так просто – они же еще и пишут. Это, между прочим, самое страшное, это гораздо страшнее, чем сочинять и говорить, даже когда ты откроешь рот – а из него сыплется всякая фигня. И не зря рядом с тем, что написано пером и даже шариковой ручкой, топор блуждает, им рубят – и щепки летят.

Писателей, между прочим, тоже кто-то сочинил. Я не знаю, кто это был, и они не знают, кто это был, но одно его письмо я нашел у себя в почтовом ящике – наверное, адрес перепутали:

«Здравствуйте, дорогие писатели и прочие недоразумения!

Пишу вам потому, что не могу не писать – в отличие от вас, которые не писать могут, но все равно пишут. Довожу до вашего сведения, что одиночество и отсутствие любви – это еще не повод, чтобы писать. Из этого ничего, кроме недоразумений, не получается. Если уж вам хочется писать – пишите жалобы, докладные записки, заявления. Не любит вас никто – заведите себе кошку или собаку, а еще лучше плюшевого мишку, он неживой, с ним проще. С наступающим вас новым годом!»

...Но про это никому нельзя говорить – вообще никому. Никому, никогда в жизни, даже под пытками, даже под страхом смертной казни, надо молчать и молчать, до самого конца. Был бы плюшевый мишка – но нет у меня плюшевого мишки.

НОЧЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

И всю ночь напролет мне снилось, что я расписываюсь. Какая-то хмурая комната, забитая бумажками, и на каждой бумажке я должна поставить свою подпись. И вначале моя подпись красивая, с кучеряшками и завитушками, а потом кучеряшки с нее постепенно облетают, и остается только две кривых линии и злобная точка.

Такие сны снятся многим маленьким людям. Тем, кто пишет и расписывается, врачам, учителям, воспитателям, преподавателям. Везде есть такие люди, их немало. Они – маленькие люди, вот им и снятся такие сны, потому что места у них в голове мало, ничего туда не влезает, кроме бумажек, которые надо подписывать.

Вот так и проходит ночь маленького человека. Вот так и проходит его маленькая жизнь.

Зазвенел будильник – и у маленького человека настало утро. Холод и темнота, и на соседнем балконе болтаются по ветру чьи-то серые кальсоны. Улица сгорбилась за окном, обсыпанным водяными каплями. Качается фонарь. Хороший хозяин собаку из дому не выпустит. А маленький человек идет на работу.

Потому что надо работать. Длинная-длинная лестница с выщербленными ступеньками, на ступеньках бумажки, лушпайки от семечек, огрызки от яблок. Потом начинается темный коридор с обгрызенным линолеумом на полу. Кто его обгрыз? Студенты... На серых подоконниках – бумажные стаканчики от кофе. Затхло, грустно, заброшенно. Где-то вдали – смех, визг и звонкий голос:

– А ну закрой свой влюбильник!

И тишина. Ничего и никого. В кабинете № 666 сидит человек, который знает наизусть «Столп и утверждение истины» Павла Флоренского. Его зовут Юрий Перельмутер, и он

преподает основы научных исследований на кафедре дифференциальные уравнения. В кабинете накурено и шумно. Вот он сидит за письменным столом – маленький человек, огромные очки, лысина, мышиные хвостики волос на засаленном воротнике, скучное лицо.

Как давно все это надоело – вся эта жизнь, обгрызенная и засаленная, бормочет он тихо, а потом – еще тише: «... дается по парадигме следующего моего разговора со старухою-служанкой...Что такое солнце?... Солнышко... Нет, что оно такое? ...Солнце и есть... А почему оно светит... Да так, солнце и солнце, потому и светит...». Господи, крутятся эти слова, крутятся в голове, а зачем? Зачем столько слов? Ведь не пригодилось же ни одно, никому не пригодилось... Ничего они не объяснили ему в его жизни, и учи наизусть, не учи, жизнь его идет сама по себе, катится под бледным солнышком, катится грязным комом по белому свету.

Но этот человек мне не приснился. Снилось мне – в который раз – мокрое поле, и по нему ходят, переваливаясь, важные и сытые вороны. А вокруг – ни деревца, ни кустика, только длинная равнина, полная травами и водой. И вороны идут беззвучно навстречу небу, черные и огромные, глядят в него стеклянными глазами, как будто молятся.

И опять утро маленького человека – темное и холодное. Когда надо идти на работу, то работа хуже всей этой жизни, и остатки листьев раскачиваются на ветвях, и не хотят падать на землю, потому что нет там ничего хорошего. И опять обшарпанная многоэтажка педагогического института, и пустые коридоры выморочного факультета, и кандидат педагогических наук и доцент, которого студенты почему-то окрестили Доцентром и который знает наизусть «Евгения Онегина» Пушкина. Да, знал и даже декламировал, только от его монотонного тихого голоса тянуло в сон и хотелось горячего чаю. Он жил очень замкнуто, ни с кем не общался, поэтому никто не заметил, как его обычная неразговорчивость переходит в болезнь. Он ходил, согбенный и сутулый, по длинным коридорам, бормоча что-то невнятное себе под нос, кивая головой, выслушивал белиберду, которую рассказывали студенты, неловко расписывался в зачетках и продолжал свои блуждания по коридорам, забыв дорогу домой.

Нет, и этот человек мне тоже не приснился. Мой самый главный кошмар – это полная темнота. Она мне снится редко, но зато очень долго. Вот она вокруг меня – протяжная тьма, из которой никак невозможно выйти. Но я ведь и не иду никуда – я стою. Я стою, а она распускается, как страшный цветок, и выбрасывает в стороны щупальца, и щупальца тянутся дальше и дальше. Я стою – она клубится вокруг, ночная вода, плывущая в руки и выплывающая из рук, и шевелится, и бормочет. Она бормочет о том, что вот – это мой главный кошмар, и мне никуда от него не деться, потому что он всегда во мне, а я – всегда в ней, и на самом деле это не сон, это самая настоящая моя жизнь, сон – это все то, что мне кажется явью. А жизнь моя называется – ночь маленького человека.

Ну и вот – я снова иду сквозь затхлый мир невнятного института, в который поступают только те, кому уже никуда не поступить. И вот еще одни феномен – женщина, которая знает наизусть всю Ахматову. Молодой еще выучила, когда училась. Но нет, она не преподавательница, она – уборщица. Да, могла бы преподавать, но поглядела на все это безобразие – и решила: ну его нафиг, лучше тряпку тягать, долбают меньше, а платят примерно столько же. А Ахматова – да, хорошая поэтесса, красивые стихи писала, опять же – пострадала от культа личности.

Господи, вот люди – и вот тексты. И что же сделали люди с этими текстами? И что же мне делать с этими людьми?

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА МИНУС ПЯТЬ

До чего же печальна жизнь ходячих выражений и избитых истин! Намного печальнее, чем наша общая жизнь. Ходячие выражения все время ходят по извилистым, как удавы, улицам городов, затерянных среди снегов и песка, городов с невнятными названиями. Они ходят под холодным ветром и под сумасшедшими дождями, ходят туда, куда их не зовут и абсолютно не хотят видеть. И когда они куда-то приходят, им в лучшем случае говорят, что все будет хорошо и забывают о них навсегда, но чаще – они ходят, ходят, и никуда не приходят.

Но еще хуже избитым истинам. Ведь их все время бьют. Бьют жестоко и неизвестно за что – просто потому, что они избиты, а раз кто-то избил – значит, была причина, значит, в чем-то они виноваты. Вот их и избивают чем попало, а они визжат, корчатся, извиваются и уползают в темноту,как побитые собаки. Но и оттуда их выволакивают, потому что нигде не спрячется тот, кто виноват и должен быть избит, и снова кулаки, палки, дубинки,а потом идут в ход железные прутья и камни – пока не растерзают беззащитное тело. Если бы их кто-нибудь пристрелил – им было бы гораздо легче, только этого никогда не будет.

И понятно, что их все презирают и никто не жалеет. А как еще можно относиться к этим доходягам, к этим на всю жизнь виноватым? Их жалела одна только Каролина Павловна – единственная среди всех писателей и поэтов во всей мировой литературе. Каролина Павловна знала, твердо знала, что она одна такая в этом мире, теперь уже абсолютно и навсегда одна в своей квартире на улице Ахматовой, куда ее забросила судьба из Донецка, где стало страшно.

Там у нее осталась дочка, ставшая заместителем министра образования и севшая в тюрьму за взятки, что было правильно. Но самое главное – там остались ее восемь читателей и два поклонника, которые никак не могли ей простить ее отъезд. Она им объясняла, что она просто боится, что, в конце концов, она же женщина, но ей тут же приводили в пример Анну Ахматову, которая тоже была женщина, но после семнадцатого года не уехала за границу, хоть ее и звали, и тоже было страшно. И Каролина Павловна должна была признать, что она не Анна Ахматова, хоть это и грустно.

Вот с этого момента, оставшись совершенно одна, устроившись работать вахтером подъезда в одном элитном доме, сидя в каморке перед лифтом, она стала любить эти избитые истины и ходячие выражения. Конечно, она и раньше ими пользовалась, но только теперь она поняла, что пользоваться и любить – это огромная разница. Просто она разглядела их судьбу и поняла их вполне, и дала себе обещание их беречь и о них заботиться – в чем, собственно, и заключается сущность любви.

Прежде всего, она решила, по возможности, уменьшить избиение избитых истин и хождение ходячих выражений. Прежде всего для этого надо было как можно меньше говорить, потому что человек так устроен, что как только заговорит – так сразу скажет или что-нибудь ходячее, или что-нибудь избитое. Совсем не говорить она, конечно, не могла, но, по крайней мере, могла отвечать так, чтобы не потревожить дорогие ее сердцу истины и выражения. В общем-то, для этого надо было просто говорить правду. Иногда ее спрашивали:

– Ну как там, Каролина Павловна, погода? Опять жарко?

– По градуснику – минус тридцать, – отвечала она с сознанием выполняемого долга. – А по ощущению – минус пять и даже минус десять.

Впрочем, к ней редко обращались с вопросами. Обычно она вплывала, как огромный корабль, терпящий крушение, по крутой лестнице в свой подъезд, усаживалась на шаткий

табурет и застывала над позавчерашней газетой. Перед глазами проплывало прошлое, свой дом и его запах – кошка, разогретая пицца, пудра, корвалол – она заглядывала в какой-нибудь шкаф, в который раньше не заглядывала по нескольку лет, и вспоминала, что там лежит и в каком порядке. Иногда за смену так удавалось поглядеть обе комнаты оставленного дома, и тогда она шла к себе на улицу Ахматовой, почти довольная жизнью.

Но настоящая жизнь начиналась дома. Тут она начинала свое дело любви ко все избитым и ходячим. Их надо было обласкать и обогреть, и кто, кроме нее, мог это сделать? Никому и в голову не приходит. С ними точно так же, как с оставленными домами, как с выброшенными вещами. Никому не жалко, потому что такова жизнь. Но правда в том, что они тоже живые и особенно уязвимы, потому что полностью зависят от нас. Часики, которые Каролина Павловна носила еще в Донецке, она теперь на ночь клала рядом с собой в постель, и они успокаивающе тикали всю ночь, а она их нежно прикрывала углом одеяла. Утром они улыбались ей всем циферблатом. Было много слез, когда она отбила ручку у кофейной чашки – лучше бы себе сломала руку! Ночью она наконец склеила ручку – но утром, когда Каролина Павловна пила кофе, ручка опять развалилась. После работы Каролина Павловна снова села ее склеивать суперклеем – но утром был тот же результат. Тогда она села и заплакала.

– Чашка моя разбита – и жизнь моя разбита, – сказала она кому-то, кто неслышно стоял за спиной и наблюдал за всей ее жизнью.

А потом поняла, что это опять ходячее выражение, и скорбно поджала губы. И решила, что снова попытается склеить чашку, когда будет свободное время.

Потому что в свободное от работы время она теперь писала роман. Большой настоящий роман, начатый в любви к ходячим выражениям и избитым истинам, роман, куда каждое ходячее выражение могло прийти – и его встретят с распростертыми объятиями, а любая избитая истина чувствовала себя в безопасности – здесь ее никто и пальцем не тронет, здесь омоют ее раны и вытрут кровь с побитой морды.

Как им хорошо было вместе – ходячим выражениям и избитым истинам! Здесь они наконец-то встретились и узнали друг друга, и оценили доброту своей замечательной Каролины Павловны, которая создала для них эту роскошь человеческого общения. Как они замечательно общались – на это просто нельзя было смотреть без слез!

– Хочется жить, – говорила одна избитая истина.

– Но жизнь без романтики – пуста, – отвечала ей другая.

– Если человек тщеславен, – вступала в диалог третья, – он всегда найдет, чем тщеславиться.

– Да, – отвечало ей избитое выражение, – где найдешь – там и потеряешь.

Роман быстро двигался к концу, прерываемый только хождением на работу. В один прекрасный день он был закончен. Была ночь. Каролина Павловна молча смотрела в экран компьютера. Просто сидела и смотрела. Мелкий снежок падал с неба, как перхоть из волос. И земля становилась серовато-белой, как когда-то в Донецке. И как когда-то в Донецке, вверху, на чердаке, кто-то шарудел и возился. Взвыла сирена скорой помощи.

«Странно, в Донецке она выла не так громко», – подумала Каролина Павловна. А здесь – отчаянный рев слона, заблудившегося в джунглях, хриплый и рваный. Стало больнее людям в этом мире.

Она так и не смогла уснуть, но под утро решила, что роман надо попробовать напечатать. Правда, если напечатать роман, где нашли приют все ходячие выражения и избитые истины – ну хорошо, пусть не все, но многие – может, люди что-то поймут. Весь день на работе она обдумывала этот шаг, сидя на табурете в своей каморке, еле дотерпела до

окончания рабочего дня и, торопясь, вплыла в свою квартиру на улице Ахматовой и тут же села за компьютер. А дальше все было просто – она нашла в интернете десять адресов десяти издательств и разослала роман с одинаковым обращением: «Добрый день или вечер или что там у вас! Это мой роман, который я сама написала. Я – Каролина Павловна Королева – внутренне перемещенное лицо из Донецка, и здесь – все мои мысли и чувства за эти годы, изложенные хорошим русским языком, несмотря ни на что. Тут я собрала все самое лучшее, что можно сказать в моем положении вахтера элитного дома на съемной квартире. Очень прошу напечатать мой роман».

Разослав роман, Каролина Павловна разнервничалась и решила немного перекусить. Колбаса была вкусной, как жирная промокашка. Спать не хотелось. Она достала чашку с отбитой ручкой. «Попробую еще раз», – решила она. Медленно-медленно, кусочек за кусочком она сложила отбитую ручку. Вспомнились ступеньки лестницы донецкой квартиры и пьяный сосед, который почему-то всегда с ней здоровался так: «Здравствуйте пожалуйста и прощайте пожалуйста!». И еще кошка породы бабайка домашняя, которую звали Марсельезой. И тополь под окном с серо-зелеными листьями, которые стучались в стекло в ветреную погоду.

Так и не заснув, пошла она на работу, думая о судьбе своего романа. Только она устроилась на табурете, как в окошко заглянула брюнетка со сросшимися бровями, вся украшенная золотом и тяжелыми разноцветными камнями.

– Вы не подскажете, где тут квартира Усольцевых?

– Не знаю я никаких Усольцевых, извините.

– Ну, это известные писатели. У них дочка с сенбернаром гуляет, а сын гомик. Неужели не знаете?

– Не живут здесь такие. Потому что плохо жить человеку своей жизнью, особенно если она – чужая.

Придя домой, Каролина Павловна уже раскаивалась в этой выходке из себя. Но первым делом она бросилась к компьютеру, надеясь, что кто-то хотя бы заинтересовался ее романом. Но никто ничего не написал. И на следующий день – тоже ничего. И через неделю. И через месяц. Но Каролина Павловна все равно каждый вечер склеивала свою чашку. Правда, каждое утро все равно ручка оказывалась отдельно, а чашка – отдельно. Единственная надежда была в том, что где-нибудь когда-нибудь все-таки прочтут и оценят написанный ею роман. Между прочим, роман этот – единственный в своем роде, говорю это со всей ответственностью, как автор и доктор филологических наук.

...Кстати, моя подруга Маша ездила в отпуск в Крым и приехала загорелая, как негритянка. Это я к тому, что я замечаю в жизни не только плохое, но и хорошее.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — “ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПЛОЩАДЬ”

Михаил БАРУ

Теперь детям мечтать просто и удобно — достаточно хотеть стать богатым. Все остальное приложится. Богатый может купить билет хоть в космос. Во времена моего детства билетов в космос не продавали, и надо было стать космонавтом по-настоящему, чтобы полететь без билета, то есть командиром корабля или бортинженером. Но сначала — очень захотеть. И еще раньше — выбрать мечту. Или ты космонавт или укротитель тигров. Я выбрал вагоновожатого.

В маленьком провинциальном городе моего детства трамваев не было, но зато на лето меня отправляли к бабушке в Киев. Там этих трамваев было полно чуть ли не на каждой улице. Больше всего мне нравился двадцать седьмой маршрут — от проспекта Гагарина на левом берегу Днепра до Почтовой площади на правом. Там жила бабушкина сестра, тетя Поля. Трамвай шел долго — больше часа. На Подол ходили стремительные красные с желтой полосой чешские трамваи. Сначала мы ехали по Дарнице, потом по длиннющему железному мосту через Днепр, а потом вдоль правого берега, в тени больших киевских каштанов, каштановее которых нет на целом свете. Бабушка мне всегда давала талончики, чтобы я их закомпостировал. Вагон здорово качало на скорости, и в прорезь компостера я попадал билетами с третьего, а то и с четвертого раза. Компостер работал не очень хорошо и дырочки в талоне продавливал, как правило, наполовину. Я потом сидел и упорно отрывал крошечные бумажные кружочки, за что мне влетало от бабушки.

Больше всего мне нравилось стоять возле водителя и смотреть, как навстречу мчатся другие трамваи, как за окном проплывают дома, мост через Днепр, под которым ползут баржи с неумытыми ржавыми бортами, закладывают пенные виражи моторные лодки, деловито снуют чумазые буксиры, на бортах которых домашними шлепанцами висели автомобильные покрышки. Только вот стоять рядом с вагоновожатым во время движения запрещалось. Об этом гласила строгая надпись на русском и украинском языках на стеклянной дверце водительской кабины. Поскольку украинского я не знал, то эта двуязычная надпись для меня была чем-то вроде Розеттского камня. Так, шести лет от роду, я стал Шампольоном.

Поговорить с водителем мне было очень надо. Дело в том, что я прочел и с грехом пополам перевел еще одно

объявление на украинском, висевшее рядом. Говорилось в нем о ежегодном наборе на курсы водителей трамваев и троллейбусов при местном трамвайно-троллейбусном депо. Меня интересовали исключения в правилах приема — можно ли начинать обучение не с восемнадцати лет, а, скажем, с восьми. Два года я был еще готов, собрав волю в кулак, подождать. Размер зарплаты меня не беспокоил — зачем зарплата человеку, у которого есть мама, папа и бабушка. Отпуск, по вполне понятным причинам, меня тоже не интересовал — кто же бросит такое удовольствие ради отпуска. Больше всего мое воображение поражали льготы — бесплатный проезд на всех трамваях и троллейбусах! Бесплатные гаечные ключи и отвертки, которые — я сам видел! — были у вагоновожатых. Имелись, конечно, и некоторые препятствия в виде двух недавно выпавших молочных передних зубов. Втайне от бабушки я тренировался произносить “Следующая остановка — “Ленинградская площадь”. Получалось, мягко говоря, невразумительно.

Два года пролетели незаметно. Потом еще три. К бабушке я продолжал приезжать, но карьера вагоновожатого меня уже не влекла. В одиннадцать лет я вдруг совершенно точно понял, что лучше профессии самолетного конструктора ничего и быть не может. К тому времени первые шаги на этом поприще я уже сделал — по выкройкам из журнала “Юный техник” вырезал десяток или больше бумажных моделей самолетов и из купленного родителями специального набора тонких буковых реек, папиросной бумаги и резиновой лапши собрал действующую модель планера с резиномотором. На очереди была настоящая кордовая модель самолета с настоящим керосиновым моторчиком объемом целых два или даже три кубических сантиметра. Такое счастье стоило дорого — не сама модель самолета из реек, тонкой фанерки, проволочек и пластмассовых колесиков, а моторчик, стоивший целых пять рублей. С мечтами об этом моторчике я ложился спать и вставал утром. Ради него мне пришлось окончить учебный год на все пятерки. У меня была пятерка даже по поведению. Помню, как мы вышли с папой из дверей “Детского мира” и я прижимал к груди коробку с надписью “Компрессионный двигатель” с такой силой, с которой потом не прижимал ни одну девушку даже диплом о присвоении ученой степени. Впрочем, это папа вышел, а я уже летел, хоть и низко. Летал я дня два — ровно до того момента, когда пришлось этот двигатель запускать. Не раз, не два и не три ударял я, как было написано в инструкции, указательным пальцем по пропеллеру — все было напрасно — двигатель даже не чихнул. Уже и на пальце был синяк, уже и всплакнул я от отчаяния... Положение не спас даже папа. Почертыхался он полчаса или час, а потом пообещал забрать завтра утром двигатель на свой военный завод и там отдать его в опытные руки знакомого слесаря-инструментальщика. Так и сделали.

Ни через пару дней, ни через неделю, ни даже через две двигатель не запускался, хотя и разбирали его, и промывали его, и продували... От папы я услышал много новых слов о самом моторчике, о его изготовителях, о людях, которые принимали готовую продукцию и ставили треугольный синий штампик в технический паспорт*...

После неудачи с моторчиком я отложил в сторону мечту о самолетостроении, тем более что к тому времени мной овладела новая — я решил стать полярником. Настольной моей книжкой была биография Руаля Амундсена — знаменитого норвежского покорителя Северного и Южного полюсов. Я спал и видел себя пробирающимся сквозь ледяные торосы, отстреливающимся от белых медведей и полярных волков. Кстати, о сне. Амундсен в детстве спал в комнате с открытым окном, а мне запретили родители, поскольку у нас с моей младшей сестрой была одна комната на двоих, сестра же ни в Арктику, ни в Антарктику не собиралась. Однако я был упорным мальчиком и решил, пока мои жилищные условия не улучшатся, продолжать подготовку по другим, не менее важным направлениям.

Во всех книжках про полярников было написано, что питались они во время походов простыми галетами и пеммиканом. С простыми галетами в моем советском детстве были проблемы. Почему-то их в наш Серпухов не завезли. Зато мама где-то купила по случаю несколько пачек дефицитного печенья “Юбилейное”. Из него делали торт “Муравейник” и шоколадные колбаски, когда приходили гости. Торт и колбаски я делать не стал — какие, спрашивается, колбаски, когда за тонкими стенками палатки мороз, снежный буран, треск ломающихся льдов... и суток не прошло, как кончилось “Юбилейное”. Кончились также банка вишневого варенья без косточек и полпачки сливочного масла. Конец света эксперимента совпал с приходом мамы с работы...

Другой бы уже успокоился и путешествовал в страны с умеренным и даже жарким климатом, чтобы закаляться, к примеру, поедая суп или манную кашу. Вот только жаркие страны и манная каша меня интересовали в последнюю очередь. Потерпев неудачу с галетами, я принялся за пеммикан. Для настоящего полярника пеммикан был все равно что ром для настоящего пирата. Вот уж этот продукт нельзя было купить нигде ни по какому знакомству — его надо было делать самому. Сначала нужно было прокрутить мясо через мясорубку, выложить фарш на противень тонким слоем и высушить, после чего перемолоть в пыль на кофемолке. Мясорубка у нас была, а кофемолку я рассчитывал взять на время у своего одноклассника Вовки. После чего к этой мясной пыли добавляют растертые сухофрукты, сало, соль и специи. Потом... до самого конца я не дочитал, решив, что как дойду до нужной стадии — так и дочитаю. Наученный горьким “Юбилейным” опытом, я не стал прокручивать все замороженное мясо, которое нашел в нашем холодильнике, а отпилил, поскольку ножом не смог отрезать, папиной ножовкой по металлу небольшой кусок и, после того как он оттаял, прокрутил его через мясорубку. Фарш выложил на маленькую фанерку и поставил на балкон, на самый солнцепек, чтобы он побыстрее высох.

На дворе стоял октябрь. С солнцепеком были проблемы. Мало того — лил дождь, а потому я не стал сушить фарш на солнце, которого не было, а, для начала, обдул его горячим воздухом из маминого фена. Ближе к вечеру, перед приходом родителей с работы, я спрятал фанерку с так и не высохшим фаршем под кровать. На следующее утро недоношенный пеммикан был на ощупь все еще сыроватым, и пахло от него... Тут я вспомнил, что по рецепту в пеммикан добавляют соль и специи. Из специй дома были перец, корица и ванилин. Ванилина в рецепте не было, но я так любил его запах, что однажды даже пробовал есть. Я посолил, поперчил фарш, а потом еще и пованилинил. Вы будете смеяться — вечером родители снова пришли домой с работы и... Зато можно было целый час закаляться, поскольку мама велела открыть окно — для проветривания.

Все же мечта о полярных путешествиях умирать не хотела. Мало того — к ней прибавилась мечта стать ветеринаром и лечить собак. Упрощая задачу, я решил обе эти мечты объединить и лечить не просто собак, а ездовых собак полярных исследователей. Для этой цели я хотел упросить родителей взять щенка от нашей дворовой собаки Найды. Понятное дело, что ни Найда, ни ее сын ездовыми собаками не были. Найда даже и в санки-то детские не хотела впрягаться. Но я считал, что в этом деле главное дрессировка. Возьму щенка, воспитаю из него настоящую ездовую лайку, а потом у него пойдут дети, внуки... Эти уже будут ездовыми во втором и в третьем поколениях. В этом смысле я был тогда стихийным лысенковцем. Простой расчет показывал, что к концу школы у меня должно быть около полутора десятков отличных ездовых собак. Этого количества мне хватило бы для настоящей упряжки. Осталось только упросить родителей взять щенка. Упрашивать мы пошли вместе с сестрой. Она, правда, хотела котенка, но я обещал ей подзатыльник дать щенка для обрядовых девчачьих одеваний в кукольную одежду.

Короче говоря... если все мальчики и девочки, которым не разрешили взять щенка, или котенка, или даже чижика, возьмутся за руки и выстроятся в цепь, то эта цепь, может, и не дотянется до Луны, но уж точно обогнет земной шар по экватору никак не меньше двух раз.

Между тем, школьные годы шли, шли, и надо было уже выбирать не мечту, но профессию. Какой уж тут, к чертям собачьим, полярник-ветеринар. Уже были мне подобраны репетиторы по математике, физике, и уже был готов я удавиться от тоски над задачами по механике и тригонометрии, как вдруг совершенно неожиданно для себя влюбился в палеонтологию. Как говорится, взял и уехал накануне свадьбы в Ленинград. В том смысле, что вместо репетиторов стал ходить на заброшенный карьер возле Оки и ползать там по осыпающимся склонам в поисках окаменелостей. Я уговорил папу сделать мне на своем заводе геологический молоток, потому как купить в магазине его было нельзя. У меня была тоненькая, еще довоенная, книжечка о геологических экскурсиях по Подмосковью для пионеров и школьников. В ней были черно-белые фотографии аммонитов, белемнитов и прочих древних моллюсков. Отличить одни от других не представлялось никакой возможности из-за ветхости книжки. Из палеонтологической литературы у меня были еще рассказы Ивана Ефремова об экспедициях в Гоби и диафильм из жизни динозавров. Этот диафильм я засмотрел буквально до дыр. Диафильм — это такая целлулоидная полоска с последовательными картинками-кадрами и дырочками по краям. Ее вставляли в железный или пластмассовый ящичек под названием “фильмоскоп” и крутили ручку. Крутить можно было как хочешь медленно и даже возвращаться назад, чтобы все зрители, особенно читающие по складам, успели прочесть подписи к картинкам. Теперь, конечно, для всего этого есть телевизор и пульт — нажал кнопку и перемотал... но разве можно сравнить удовольствие от кручения настоящей ручки с нажатием какой-то кнопки?! А коробочки, в которых хранились диафильмы? Разве можно их поставить рядом с нынешними файлами? То-то и оно. Во времена моего детства любой ребенок, у которого было два десятка таких коробочек, чувствовал себя не меньше чем директором Госфильмофонда! Да что диафильмы! Даже темные комнаты, в которых надо было их смотреть, были гораздо темнее нынешних.

Я так вошел в роль, что даже видел сны, в которых или убегал от динозавров, или охотился на них. Жалел я только о том, что еще невозможны путешествия во времени — тут бы я мгновенно взял с собой фотоаппарат, три километра пленки, ружье с усыпительными и разрывными пулями и айда в юрский или меловой период. Как охотиться на динозавра, я, в общих чертах, представлял — все это было описано в фантастическом рассказе Спрэга де Кампа “С ружьем на динозавра”. Осталось только поступить на геологический факультет МГУ, на котором готовили палеонтологов. Попутно я хотел поступить на какой-нибудь филологический факультет, чтобы научиться писать научно-фантастические рассказы, как мои любимые Спрэг де Камп и Иван Ефремов, но потом передумал — в конце концов, писать-то я умел и даже с небольшим количеством ошибок, а правильно расставлять слова уж как-нибудь...

В разгар моих приготовлений к карьере охотника за динозаврами и писателя-фантаста приехала в гости бабушка и сказала, что палеонтологи, которые в ее представлении были младшими братьями геологов, сплошь люди безнравственные. Мужские геологи в этих самых своих палатках черт знает что вытворяют с женскими и потом лечатся от нехороших болезней. Вот недавно к ним в поликлинику, в травматологию, приходил один нефтяник по поводу перелома руки, а при тщательном осмотре оказалось...

С тех пор прошел не один десяток лет. Я не стал ни вагоновожатым, ни самолетным конструктором, ни полярником, ни ветеринаром, ни палеонтологом, ни даже писателем-фантастом. Теперь уж и не стану. Особенно писателем-фантастом. Знающие люди говорят, что фантаст, даже не очень талантливый, может выпить невообразимое количество водки. Что уж говорить о талантливых, а тем более гениальных... Никакие тренировки тут не помогут — писателем-фантастом надо родиться. Ну, да не об них речь. Я родился химиком. То есть сначала я об этом не подозревал и думал, что родился вагоновожатым, полярником, палеонтологом, и потому мечтал в совершенно разные стороны, как если бы эмбрион в утробе матери развивался поначалу то в головастика, то в чайку или вовсе в коалу, а потом одумался и стал превращаться в нормального человеческого младенца. Так и я одумался, когда увидел волнующе округлые колбы, тонкие пробирки, изящные стеклянные холодильники со спиральными трубочками внутри, бледно-фиолетовое пламя газовой горелки, разноцветные кристаллы... но память обо всех этих внутриутробных мечтах никуда не пропала! Она хранится в каждом из нас. Взять, к примеру, меня. Порой, когда я в белом халате, думаю какие-нибудь ученые формулы или говорю с умным видом подчиненным о том, что начальник всегда прав... мне так хочется зарычать голосом голодного тираннозавра, или зажужжать самолетным мотором, или сказать голосом вагоновожатого “Следующая остановка — “Ленинградская площадь”, или написать обо всем этом рассказ, пусть и ненаучно-фантастический, что я ухожу к себе в кабинет, беру чистый текстовой файл и... Иначе можно лопнуть от всех этих голосов внутри. Это я вам точно говорю.

* Через каких-нибудь два десятка лет, когда у меня уже подрастал собственный сын, к нам в гости пришел знакомый самолетный конструктор из конструкторского бюро Яковлева. На дворе был разгар перестройки, и Серега, так звали конструктора, приносил домой не зарплату, а меньше, чем ничего. Хорошо, что жена его, экономист в каком-то институте, открыла в себе талант к различного рода поделкам из камней, каждая из которых, если ее рыночную стоимость перевести на мужнину зарплату... Короче говоря, я спросил у Сереги — что надо делать, если ребенок мечтает о профессии конструктора самолетов? Серега вздохнул, выпил рюмку водки и выдохнул: “Пороть! Каждый день пороть, чтоб одумался, пока не поздно”.

* * *

Первые три месяца своей жизни я прожил в подвале. Ну, не то чтобы совсем в подвале, но в полуподвале. Моя мама приехала рожать меня из Серпухова в Киев, к бабушке. Почему из Серпухова в Киев? Потому. Мама не обсуждала приказы. Бабушке было виднее – она была хирургической сестрой и твердо знала, что в Серпухове можно родить кого угодно, но только не здорового нормального ребенка. Что же касается папы, то с высоты бабушкиного медицинского образования его не было видно вообще. Тем более из Киева.

Короче говоря, вариантов у меня не было. Я родился в Киеве, на Подоле, в одном из районных роддомов. Привезли меня оттуда домой, к бабушке, на Ярославскую улицу, в большой старинный дом то ли начала прошлого века, то ли конца позапрошлого. На самом деле привезли меня не только к бабушке, а еще и к ее сестре Оле, к ее мужу Грише, к двум их детям Лене и Аркаше, к прадедушке Лазарю и прабабушке Злате. Все они, вместе с моей бабушкой Маней, проживали в полуподвальной комнате площадью в двадцать

один квадратный метр. Комнату они разгородили фанерой на три части. В одной жила тетя Оля с семьей, в другой – моя бабушка Маня с мамой и мной, а в коридоре... Как они устроили там коридор – ума не приложу. На самом деле это была третья часть комнаты, в которую выходили две двери от тети Оли и бабушки и еще одна общая дверь для выхода в подъезд. Вот в этом трехдверном пространстве проживали прадедушка и прабабушка. У прадеда была узенькая железная кровать, а у прабабушки раскладушка, которую она днем куда-то прятала. Или наоборот. В том смысле, что Злата была очень маленькой, тихой и хрупкой старушкой. Домашние ее могли куда-нибудь прятать, чтобы не дай Бог не повредить в тесноте.

Из удобств у бабушкиной семьи была большая печь, стоявшая посреди комнаты. Она хоть и давала тепло, но площадь уменьшала изрядно. Возле нее меня и купали все эти три месяца, что я был киевлянином. Вторым и последним удобством была табуретка за пределами комнаты, в коридоре под лестницей, ведущей на второй этаж. На табуретке стоял примус. За табуреткой с примусом чернела закопченная дверь, ведущая в настоящий подвал. Там, в двух подвальных комнатах без окон жил сапожник с женой и тремя детьми. Сапожник в этой двери нарисовал очаг прорубил окно, застеклил его и завесил шторами. Мама говорила, что он потом страшно разбогател на частных заказах – у него в подвале появилась даже мебель и коврик с оленями. Прадед, который был очень проницательным и прекрасно разбирался в соседях, а сапожников так и вовсе видел насквозь, предполагал, что покупка коврика с оленями... Как хотите, а тут не обошлось без крупных афер с подметками или сапожными гвоздями. Когда человек начинает покупать ковры просто так, за здорово живешь ...

На ночь семья сапожника открывала окошко под лестницу и дверь из подъезда на улицу, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха в свое жилище. Мама вспоминала, что свежий воздух упирался изо всех сил и дальше двери подъезда входить опасался.

Но вернемся в семью. Прабабушка, как я уже сказал, была тихой и безобидной. Больше всего на свете она любила лечиться. Не в том смысле, что она горстями пила таблетки и мазалась мазями, нет. На таблетки и мази у нее попросту не было денег. Все ее лекарства состояли из зеленки и настойки йода. И то и другое моя бабушка приносила ей с работы. Йодную настойку она не очень любила – наутро от нее на теле и следа не оставалось, а вот зеленка могла продержаться дольше. Можно, конечно, над этим посмеяться, но Злате к моменту моего рождения в пятьдесят восьмом году было около девяноста лет и прожила она еще, как минимум, лет пять. Тогдашняя зеленка, видимо, была не чета нынешней, которая одна сплошная химия и больше ничего.

Прадед мой, в отличие от своей жены был не тихим и не безобидным. По виду-то он был сущий воробей – небольшого роста, сухой, как высушенный пескарь и такой же премудрый. У Лазаря была пышная седая шевелюра и густая борода. Рта в бороде и усах видно не было. Когда я потом, через три или четыре года приехал погостить к бабушке, то смотрел как завороженный на эту бороду и никак не мог понять – во что ест прадедушка? Он отщипывал пальцами крошечные кусочки хлеба и засовывал их себе в бороду. Я был даже готов поверить, что он там этот хлеб прячет на черный день. Лазарь ел мало, даже очень и постоянно напоминал своим домочадцам о том, что они слишком много едят. Сам-то завтракал половинкой яйца и стаканом кипятка, который пил из своей любимой майонезной банки, хотя... Однажды, когда прабабушка куда-то ушла по делам, которых у нее, как утверждал прадедушка, никогда не было, он подошел к маме и попросил ее сварить суп. Суп, который сварила прабабушка, он есть отказывался. Описывая причину, по которой он его есть отказывался, прадед, любивший говорить красиво и даже витиевато,

начал издалека и поведал маме о том, что перед тарелкой такого супа надо сначала раздеться догола, прыгнуть в нее и долго там нырять, прежде чем удастся поймать зубами хотя бы одну единственную вермишелину. Он уже не в том возрасте, чтобы совершать такие безрассудные поступки. И вообще он не умеет плавать, не говоря о зубах, которые он вчера положил на свое обычное место, а сегодня утром никак не мог найти, и если он узнает, что кто-то из внуков...

Впрочем, жену он любил. У них с прабабушкой была любовь с первого взгляда. Давным-давно, еще в девятнадцатом веке, прадедушка зашел по делам к одному купцу и увидел, что полы у него моет какая-то девушка. Точнее сказать, он увидел, как какая-то девушка моет пол под монументальным купеческим диваном, и как только прадедушка увидел ту часть, которая под диван не поместилась, то немедленно решил, что женится на ней. На всей, конечно, девушке, а не только на ее части.

Вообще о дореволюционном прошлом прадедушки в семье рассказывали разное. Сам он утверждал, что был управляющим у какой-то графини и даже имел свой магазин скобяных товаров, но большевики его пустили по миру. Бабушкина сестра рассказывала мне, что в те баснословные времена, когда их отец был управляющим у графини, они жили в очень большом достатке. Достаток этот достигал таких размеров, что, во-первых, у их дома был собственный подвал, а во-вторых, в подвале стояла целая бочка моченых яблок, которые можно было есть, есть и есть с утра до ночи. Что же касается магазина, то его существование не подтверждала ни одна из двух бабушкиных сестер*. Моя бабушка и вовсе говорила, что у ее отца было несколько ржавых гвоздей и моток проволоки, которые он вечно носил с собой, и если это называть магазином... Надо сказать, что свой небольшой магазин имелся у прадедушки и при советской власти. Магазин представлял собой табуретку, на которой стоял небольшой полотняный мешок с жареными семечками и несколько пачек дешевых папирос. Тем, кому пачка папирос была не по карману, Лазарь продавал их поштучно. Бизнесу он посвящал все время до обеда, а после обеда шел смотреть, как строится новый дом неподалеку. Не то чтобы прадеду обещали в нем комнату или квартиру или он надеялся принести со стройки какую-нибудь нужную в хозяйстве дощечку или кирпич, нет. Просто ему было скучно, и стройка была его единственным доступным развлечением. Там, на этой стройке, он однажды споткнулся, упал, сломал правую ногу и вскоре умер в возрасте то ли девяноста трех, то ли девяноста пяти, то ли девяноста семи лет. Левую ногу он сломал еще во время войны. Она плохо срослась, и по этой причине Лазарь ходил, опираясь на костыль. Ночью, когда все спали, а прадеда мучила бессонница, он ходил по двум или трем квадратным метрам своего коридора и стучал костылем по полу. Дети, сначала почтительно, а потом и без всякого почтения, в довольно сильных выражениях, просили его перестать стучать костылем и лечь наконец спать, но упрямый прадед и не думал этого делать. В ответ он стучал не только по полу, но и по фанерной стене.

– Это все мое! – кричал Лазарь. – И все, кому не нравится, могут идти к...

По части сильных выражений прадедушка мог заткнуть за пояс и две таких семьи, как его собственная.

Вот так они и прожили там с сорок пятого по шестьдесят третий или шестьдесят пятый год и только потом разъехались по разным квартирам. Сначала в разные районы Киева, затем в разные города, а затем и в разные страны.

Если бы я был художник вроде Куинджи, то написал бы вид с птичьего полета тихой украинской ночи с прозрачным воздухом и блещущими звездами, посреди которой мой

крошечный, почти невидимый сверху прадедушка Лазарь ходит по коридору своей полуподвальной комнаты, стучит костылем и посылает всех к....

Я спросил у мамы: «Как же вы жили в таких условиях почти два десятка лет», – то она, не думая, ответила: «Весело». Потом немного помолчала и добавила: «Вместе».

* До войны сестер было пять. Одна из них, Поля, умерла еще в сороковом от туберкулеза, а вторая, Сима, погибла вместе с мужем в Бабьем Яру. От Симы остался хрупкий, истертый на сгибах листок письма, в котором она писала в сентябре сорок первого из Киева бабушке в Челябинскую область: «Мы пока живые, а дальше не знаем. У нас в Киеве тихо и хорошо. Не бомбят. Я и Иосиф остались. Он не хочет ехать и через него мы пропадем».

* * *

Верующему человеку просто — заберется он куда-нибудь подальше от людей в лес или в поле, посмотрит на рассыпанные в зеленой траве желтые одуванчики, на красные ягоды земляники, на суетливого паучка, сплетающего паутину, на облака в небе, на узенькую, колеблемую ветерком полоску воздуха, взбитого крыльями жаворонка, почешет муравья, заблудившегося на его волосатой руке, послушает, о чем говорит ему ручей, наберет в грудь побольше воздуха и выдохнет:

— Хорошо-то как, Господи!

Тут же достанет из рюкзака бутылку зубровки, сунет ее в ручей охлаждаться, а сам расстелет привезенное из дому полотенце и начнет раскладывать на нем немудреные свои запасы вроде помытого заранее огурца, нарезанного сала, чеснока и черного хлеба с копченой колбасой.

Другое дело — атеист. Он, конечно, тоже восхитится и паучком, и облаками, и муравья почешет так, что тот отдаст Богу свою муравьиную душу, и воздуха в грудь наберет ничуть не меньше, и выдохнет:

— Хорошо-то как...

И запнется, и станет лихорадочно вспоминать про космологическую сингулярность, про теорию Большого Взрыва, про планковское время, и доберется даже до бозона Хиггса, в котором запутается окончательноЗ, а водка и сало будут в это самое время перегреваться в рюкзаке.

Все эти рассуждения касаются только тех случаев, когда наш брат выбирается на природу один, а если... Тогда все упрощается. Их сестра быстро выходит из машины, быстро достает привезенные из дому стол, стулья, расстилает одеяло, красиво разбрасывает по нему подушки, крем для загара, стаканы для коктейлей, две сумки с продуктами, набирает твой воздух, который ты только приготовился вдохнуть, в свою грудь и говорит:

— Ну что ты стоишь как вкопанный? Иди, найди каких-нибудь сучьев для костра. И не забудь поставить в ручей мартини и апельсиновый сок.

И тут, будь ты хоть трижды атеист, хоть астрофизик в третьем поколении, а только прошепчешь:

— Господи, Господи...

И пойдешь собирать сучья.

* * *

И вот ты сидишь в саду, на складном стульчике, возле пруда размером с ванночку для купания грудного ребенка, и у тебя в руках большая кружка с чаем, в который положено две столовые ложки черничного варенья. Ласковый ветерок шевелит остатки волос на твоей голове, за забором мычит чей-то теленок, не желающий идти домой, и где-то далеко, на другом конце деревни, монотонно жужжит газонокосилка. Ты смотришь, как на куст пионов прилетела пчела и, точно слепая, ощупывает каждый еще нераскрывшийся бутон всеми шестью ногами. Вот прилетела еще одна, и вдруг... откуда-то из самого сердца живота, из размазанного пятна от черничного варенья между пятой и шестой полосками на полинялой дачной футболке внутренний голос тебе тихо, но твердо говорит:

— Это твое счастье, мужик.

Ты начинаешь кипятиться, возражать ему, как же так, при чем здесь пруд, черничное варенье, в том смысле, что крыжовник, три аршина земли и все такое для счастья, то есть для земного шара, научных открытий, космических кораблей и полетов к другим галактикам ни в коем случае не помеха. Произошла какая-то ужасная ошибка. Ты сейчас, сейчас принесешь чертеж ракеты или научную статью, которую ты написал почти наполовину или даже на две трети и, честное слово, допишешь сегодня же или завтра, но... голос неумолим.

Ты тихонько спрашиваешь:

— И это все?

— И это все, да. И сад, и пионы, и пчелы, и черничное варенье, и ласковый ветер, и грядка с укропом, и грядка с клубникой, и ранняя редиска, и своя картошка без удобрений, и подвал, полный банок с солеными огурцами и помидорами, и квашеная капуста, щи из нее...

— И это все?!

— И еще трехлитровая бутыль с рябиновой настойкой.

— Но статья... и чертежи...

— Хорошо. Пятилитровая.

Ты снова доказываешь, захлебываешься словами, умоляешь и чуть не плачешь...

— Милый, — трогает тебя за плечо жена, пришедшая в сад срезать цветов для букета в вазу на веранде, — ты всхлипывал во сне. Не спи перед закатом. Будет потом весь вечер голова тяжелая.

Еще весь во власти своего сна, ты пытаешься объяснить ей про счастье, про внутренний голос, идущий из сердца живота, про спор с Большим Черничным Пятном между полосками... Она смотрит на тебя и спрашивает:

— И давно это у тебя? Давно ты разговариваешь со своим животом?

Ты устало машешь рукой и замолкаешь.

— Пойдем в дом, — ласково говорит жена. — Я наварила на ужин молодой картошки с укропом, нажарила куриных котлет и поставила в морозилку...

— Кот-ле-ты... — медленно, по складам, произносишь ты. — Я так люблю твои котлеты.

Особенно сухарную панировку — она такая сочная и хрустящая. И ты идешь в дом, а по пути рвешь с грядки зеленый лук к ужину.

* * *

Большая дорога никогда не ведет вдаль. Та, по которой мчатся автомобили и у которой по обочинам заправки, кафе с горячими хот-догами и эспрессо в маленьких картонных стаканчиках... Нет, не ведет. Большая дорога ведет в другой город, или в другую страну, или куда угодно, но не вдаль. Вдаль ведет обычная, проселочная, по обочинам которой растут сурепка и люпины, которую перепрыгивают лягушки и степенно переходят чибисы, по которой ты идешь пешком или едешь на велосипеде. В твоей багажной сумке плавленый сырок, горбушка от буханки черного, термос с чаем, и за поворотом этой дороги тебя может ждать все что угодно. Например, корова или две курицы, или три коровы и пастух, или стадо коров, или всего один бык, но без пастуха и с большими рогами. Или пастух на рогах. Или жена пастуха — пастушка, обламывающая рога пастуху. Или трактор с трактористом, который, точно акула, унюхавшая за версту кровь, учуял чайную ложку коньяку в твоем термосе с чаем и теперь и машет и кричит тебе так, как машут рыбаки на отколовшейся три дня назад льдине пролетающему над ними вертолету. Или ты не встретишь никого, кроме чибиса, доедешь до леса, свернешь на старую колею, заросшую травой, проедешь по ней еще метров двести, остановишься, сядешь на поваленное дерево, достанешь плавленый сырок, откусишь его и станешь сочинять... или будешь представлять себе, как сочиняешь... или просто будешь шевелить губами какие-нибудь стихи, или мучительно искать рифму к слову «муравей» и в тот момент, когда почти найдешь... подъедет к дереву, на котором ты сидишь, ищешь рифму к слову «муравей», и почти ее уже нашел, машина с московскими номерами, из которой выйдут две старушки и, не обращая на тебя никакого внимания, станут собирать еще не выросшие подосиновики или белые, яростно споря при этом о том, какие таблетки лучше всего пить для понижения холестерина в крови. Плавленый сырок встанет тебе поперек горла, рифма к слову «муравей» упадет в густую траву, ты наступишь на нее, испортишь, встанешь с поваленного дерева, сядешь на велосипед, но, прежде чем уедешь, не преминешь сообщить старушкам, что два сорта таблеток, из-за которых они переругались, на самом деле один и тот же препарат, только под разными названиями. Есть у него и третье и даже четвертое название, но для того, чтобы о них всласть поругаться, нужны еще старушки. Старушки разинут рот, а ты уедешь туда, где рифмы к слову «муравей» можно косой косить.

* * *

В жару хорошо сидеть в саду под яблоней и сочинять стихи. В жару только стихи и сочинять — легкие, прохладные и безо всякого смысла. Сидеть и делать такое лицо, точно вот сейчас... вот еще немножко... и пальцами тянуться к перу, которое выпало из пробегавшей по своим делам курицы. Можно и не сочинять, а просто смотреть на солнечных зайчиков, прыгающих по изнанке зеленых листьев, на крошечные зеленые пятинедельные яблочки размером с абрикосовую косточку, на пурпурные лепестки пиона, усеявшие песочную дорожку, на оранжевые маки, на цветущий шиповник, на то, как жена поливает из шланга грядки в огороде, как собака, прыгающая вокруг нее, щелкает зубами, пытаясь перекусить сверкающую на солнце водяную струю напополам. Вот сейчас она закончит поливать огурцы и велит мне идти в дом, пить холодный вишневый компот со сдобным маковым рулетом, а сама станет поливать и говорить, что я еле иду и сколько можно звать... Конечно, это могли бы быть стихи, если бы я с детства закалялся, обливался ледяной водой и каждый день, после завтрака, по три часа кряду приучал себя писать

в рифму, но я не закалялся и не приучал. Не люблю я ледяной воды. Вишневый компот — другое дело...

* * *

Берем летний вечер, дачу и самовар. Кипятим в самоваре воду, завариваем чай со смородиновым листом и мятой. Ставим самовар на стол в беседке. Берем варенье, сваренное из собранной утром, с куста, жимолости, и раскладываем его в вазочки. Вносим на блюде еще теплый, дышащий и только что не умеющий говорить «съешь меня», пирог с капустой и яйцами. Вслед за блюдом несем жестяной, расписанный розами жостовский поднос, на котором лежит груда сахарных крендельков и фигурных печений на один укус, привезенных из города. Рядом с самоваром ставим бутыль с клубничной или вишневой наливкой и несколько крошечных стопочек. На всякий случай приносим из холодильника нарезанной ветчины, горчицы, пару банок баклажанной икры, урожая прошлого года, малосольных огурцов и буханку черного хлеба, нарезанную толстыми ломтями4. Приглашаем соседей. Соседи приходят и приносят патефон, изготовленный на граммофонной фабрике в городе Ленинграде в тысяча девятьсот тридцать пятом году, заводят его, ставят пластинку с песней Оскара Фельцмана «Ландыши», и в тот момент, когда вы со ртом, набитым пирогом, ветчиной, малосольным огурцом, баклажанной икрой, с усами, липкими от вишневой или клубничной наливки, начинаете подпевать ГеленеВеликановой, у вас на даче, летним вечером, в беседке образуется настоящее мещанское гнездо. Не дворянское, для описания которого Ивану Сергеевичу Тургеневу понадобился целый роман, а мещанское. Оно очень хрупкое, это гнездо. Стоит только начать говорить о катастрофе в народном образовании и медицине, цитировать Бердяева и Хайдеггера, ужасаться действиям правительства, чертить на салфетках траектории падения в пропасть, беспрестанно курить, спорить до хрипоты, ставить на стол водку — как ваше уютное гнездо немедля превратится в тыкву унылых интеллигентских посиделок с пепельницей, полной окурков, разбросанными по столу надкусанными крендельками и отвратительным вкусом во рту наутро.

* * *

Собранные в конце лета мелкие груши отваривают в воде, в отвар добавляют сахар и в получившемся сиропе кипятят некрупные сладкие яблоки и ягоды черной смородины. В конце кипячения добавляют немного лимонной или апельсиновой цедры и палочку корицы. Компот разливают по трехлитровым банкам, закрывают крышками и ставят в подвал. Стоят эти банки там до самой зимы, а то и до весны. Вспоминают о них обычно после горячего — тогда, когда все уже напьются кока-колы, сухого вина, водки, коньяку и даже кипяченой воды. Достают запыленную банку из подвала, открывают, наливают компот в красивый стеклянный или хрустальный графин, ставят его на стол и... переходят к чаю с плюшками. Не переходите вместе со всеми. Задержитесь. Налейте себе стакан компота и добавьте в него столовую ложку коньяку. Перемешайте, отпейте глоток и снова добавьте ложку коньяку. Еще раз отпейте... Смотрите, как все дальше и дальше удаляются от вас люди, перешедшие к чаю с плюшками, как слова, которые они говорят, понемногу соединяются в одно большое, неповоротливое и монотонно гудящее слово... Налейте второй стакан. Возьмите столовую ложку и перемешайте коньяк. Да не смотрите вы на эти плюшки, перешедшие к чаю! Кто там, в такой дали, разглядит, о чем они болтают между

собой микроскопическими буквами... Слушайте, как второй стакан разговаривает с третьим, смотрите, как слова, которые он говорит, расползаются в разные стороны...

* * *

Лето уходит каждый вечер. Сидишь себе на веранде, раскладываешь на противне, застланном листом кальки, листья перечной мяты на просушку, смотришь, как между оконными рамами барахтается на спине золотистая бронзовка, как слоняется по двору мелкий теплый дождь, как притаившаяся за углом своей будки собака думает, что сейчас поймает воробья, который клюет перловую кашу из ее миски, как идущая с огорода жена думает, что сейчас поймает и всыплет по первое число собаке, которая разрыла половину грядки с клубникой, как у них обеих ничего не получится, как первое число уже давно двадцать седьмое, как лето, усыпанное белыми лепестками чубушника, уходит каждый вечер.

* * *

Стихотворение рождается просто. Сначала жена тебя попросит пойти и обобрать с кустов малину, которой в этом году уродилась такая пропасть, что в малиновки записалась даже часть воробьев и трясогузок. Ты, понятное дело, не идешь, поскольку занят распутыванием лески на катушке спиннинга. Через час или полтора она снова велит тебе пойти в сад за малиной, потому как собирается дождь, а после дождя ее собирать нельзя и надо ждать, пока она обсохнет, а варенье не ждет. То есть не ждет второй десяток банок, поскольку первый уже заполнен, закручен, обклеен этикетками, с нарисованными разноцветными фломастерами медалями и убран в погреб. Ты, понятное дело, не идешь, поскольку занят воспитательной беседой с собакой, которая сожрала три белых гриба, утром принесенных из лесу и приготовленных в суп.

— Черт с тобой! — кричит жена и ставит на стол бутылку водки. — Пойдешь, соберешь малину и себе наберешь на малиновую настойку.

Это, понятное дело, все меняет. Ты идешь в сад и во влажной предгрозовой духоте, поминутно укалываясь о какие-то невидимые колючки, чертыхаясь про себя, обираешь багрового гипертонического цвета спелую малину до тех пор, пока на голову тебе не упадут первые капли дождя. Тогда ты возвращаешься в дом, показываешь жене ведерко с малиной, а на ее насмешливый возглас «Так мало?!» не отвечаешь ничего. Проходишь к себе, достаешь припрятанные для такого случая две пустые бутылки из-под «Ессентуков» с закручивающимися пробками, и медленно, с чувством, толком и расстановкой, начинаешь в бутылочные горлышки проталкивать ягоды и заливать их водкой. Потом вздохнешь раза два или три с сожалением о том, что маловато водки, поставишь бутылки в угол и забудешь о них на какое-то время. Когда какое-то время наконец-то пройдет и настойка будет готова, на дворе уже будет октябрь. По утрам заморозки, по вечерам непроглядная темень, пироги с капустой, соленые грузди и преферанс. После получения пяти взяток на мизере ты достанешь бутыль с малиновкой, нальешь ее в хрустальную рюмку, посмотришь на свет и вдруг увидишь плавающего в настойке крошечного черного жучка, которого не заметил, когда собирал малину. Вот этот жучок в рюмке малиновки и будет стихотворение. Ничего, что безо всякой рифмы. Это будет верлибр. Колючий, как кусты малины, сладкий, как ее ягоды, душный и предгрозовой, как июльский воздух, насмешливый, как слова жены, и щекотный, как микроскопический черный жучок.

* * *

Ожидание щенка. Живого щенка. Самого настоящего щенка. Взрослому понятно, что щенок бывает только живым и никаким другим, а вот ребенок боится, что щенок может оказаться игрушечным, плюшевым, пластмассовым, нарисованным, каким угодно. Он ждет живого и предвкушает, как будет с ним играть, как научит его разным фокусам, умножать в столбик, писать, читать, петь, служить на границе, носить портфель в школу, ждать после уроков, и вместе они будут провожать...

Ожидание двухколесного велосипеда. С багажником, звонком, кожаной сумочкой под седлом, в которой гремят ключи и масленка. И фонариком! Чтобы все во дворе умерли от зависти. Чтобы стояли в очереди покататься. Только один круг и все!

Ожидание Нового года. Во рту уже в начале декабря появляется устойчивый вкус мандаринов, шоколадных конфет, салата оливье и газировки «Буратино» и не проходит до конца месяца. Стоит только закрыть глаза, как представляется елка и под ней железная дорога. Закрывать глаза нельзя – заснешь, и Новый год тут же наступит...

Ожидание летних каникул. Последние уроки, на которых уже ничего не задают на дом, цветущий шиповник в школьном дворе и первый поцелуй за углом школы... Он будет такой... такой... Губы, конечно, будут сладкие. Клубничное варенье, а не губы. Небо, конечно, будет седьмое или даже восьмое. С половиной! Глаза цвета спелого крыжовника будут так близко... Заранее горят губы и кончики пальцев покалывают микроскопические иголки... И ведь придется жениться. Сначала рассказать родителям, а потом жениться. Вместе ходить в школу, сидеть за одной партой, вместе мыть посуду... Или одному, как папа... Или на рыбалку с Колькой и Витькой... Хотели же втроем, без девчонок, а тут...

Ожидание наказания за невымытую посуду и невыученные уроки... Еще и в музыкальной школе тоже. Лежишь на диване, читаешь «Трех мушкетеров» и ждешь... Вот сейчас придет отец, заглянет на кухню, увидит немытые после обеда тарелки и ледяным голосом велит играть этюд Черни, заданный к завтрашнему занятию Ираидой Борисовной... Наизусть... Скорей бы уж королеве вернули подвески. Ни слова потом не прочту, книжку отброшу, вскочу и мигом учить наизусть невымытые тарелки, пока не пришел отец...

Ожидание реки. В детстве я приезжал на каникулы к бабушке и дедушке в маленький и пыльный Новоград-Волынский и почти каждое утро бежал с удочкой на речку Случь. Это теперь я понимаю, что добежать от дома дедушки до реки можно было минут за пять, но тогда я бежал долго. По дороге надо было успеть посшибать лопухи, сорвать вишен с веток, которые свешивались из-за заборов, распугать всех кошек, кур и увернуться от страшных индюков, клокотавших ненавистью ко всем пробегающим мимо детям, которые если и бросали в них камни, то только очень маленькие. Сначала я бежал улицей, а потом кривым переулком, который спускался к реке. Понемногу начинало пахнуть речной сыростью и водорослями. Реки еще не было видно, но она была уже готова показаться из-за поворота. Тут, возле самой реки, был слышен тонкий и шелестящий железный звук. Через реку была натянута толстая стальная проволока, по которой ходил паром. Паромщик цеплял к проволоке какое-то устройство, похожее на молоток с колесиком и двигал им, а паром медленно, почти пешком, переплывал через реку. Старик-паромщик был большой, гораздо больше парома. Одна его седая борода была с меня ростом. Когда он болел, его заменяла дочь, такая же рослая и могучая. Паром был маленький и напоминал железное корыто. У него было название, состоящее из всего одной буквы и цифры. Я их помню.

Ожидание поклевки. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас он должен клюнуть. Какой-нибудь пескарь размером с руку или ногу. Два пескаря, и оба с черной икрой. И ты пойдешь по улице маленького пыльного городка к дому дедушки и бабушки, и все встречные будут провожать взглядами твой улов. Потом бабушка пескарей выпотрошит, запечет в печке, поджарит в сухарях, сделает рыбный пирог, заливное, наварит ухи, позовет соседей... или посолит и повесит вялиться на веревке во дворе, чтобы все, кто проходит мимо нашего двора... или отдаст кошке, а та откажется и потребует сметаны, а бабушка ей как... но пока не клюет и поплавок не просто замер, а умер, уснул, видит сны, и хочется крикнуть и разбудить его.

Ожидание конца химической реакции. Она уже идет целый день и все никак не закончится. Ты все распланировал – получится белое кристаллическое вещество. Кристаллы будут игольчатыми. Ты их отфильтруешь, высушишь, пересыплешь в баночку, на которой аккуратно надпишешь название, нарисуешь структурную формулу, поставишь число, температуру плавления и фамилию. У тебя даже фломастер чешется, которым ты станешь надписывать этикетку. Наверняка это будет новый класс биологически активных соединений и большая статья в журнале Американского Химического Общества с описанием эксперимента, в результате которого... не выпадают никакие белые игольчатые кристаллы. Из бурой, коричневой и черной смолистой реакционной массы ничего нельзя выделить. Еще и колбу не отмыть. Да и реакция, как потом выясняется, шла совершенно не в ту сторону.

Ожидание поезда и ожидание самолета. Они братья, но не родные, а двоюродные. Ожидание поезда – это ожидание купейного уюта и предвкушение чая с лимоном, жареной курицей, крутыми яйцами, копченой колбасой, увлекательными и бесконечными разговорами ни о чем. Самолетного уюта, если самолет не ваш собственный, не существует. Там нет общего стола, на который можно разом поставить все стаканы с чаем и бутылку коньяку, там нельзя лечь, выключить свет и еще долго переговариваться шепотом. Длинные косые тени будут перебегать между вами, а по коридору будет идти ночной коробейник и заунывно петь «чипсы, пиво, сухарики...». И все это – и чай, и разговоры, и косые тени, и случайные взгляды, под перестук колес, а не под монотонное и выматывающее гудение самолетных турбин и автоматический вопрос стюардессы «рыба или курица?».

Ожидание конструктора. Не того, детского в красивой картонной коробке, который подарят на день рождения родители, а живого. И этот конструктор ты сам. Ты все начертил – гайки, болты, ножки, ручки, уплотнения и даже червячную передачу. Ты, наконец, закончил огромный сборочный чертеж и его распечатал на цветном принтере. Он так красив, этот механизм, этот реактор, этот луноход, этот двигатель и эта жужжалка для жужжания, что ты уже видишь, как вращаются его косозубые шестерни, как поворачивается шнек, как уплотняют уплотнения, как блестят после электрополировки его нержавеющие части, как жужжит то, что должно жужжать в том самом месте, в котором... До прихода слесаря-сборщика, который скажет, что тут вал немного туговато входил при сборке, потому что токарь не выдержал допуск, и пришлось по валу... Нет, он не... со всей дури, а немного постучал молотком, и вал, само собой, вошел, но вращается туго, а если честно, то вообще не вращается, но если притереть и смазать, оно разносится, и будет вращаться за милую душу, при этом, конечно, будет немного подтекать, потому что прослабили вал, но где ж это видано, чтобы все работало и не... Короче говоря, до прихода слесаря-сборщика еще как минимум месяца три, а потому в голове все вращается, поворачивается и жужжит. Так бывает, когда ожидаешь какое-нибудь счастье, пусть даже и маленькое, величиной с

воробья, и все в тебе вот так же вертится, сверкает, жужжит и норовит вырваться наружу, а как вырвется, то и улетит тотчас же неизвестно куда.

Ожидание рассказа или стихотворения, когда ты все продумал до мелочей, до рифм, эпитетов, аллитераций, реминисценций, аллюзий, иллюзий, диффузий, протрузий, контузий и остается только перенести все это из головы на бумагу. Ты подносишь голову к чистому листу бумаги или к пустому экрану и представляешь, как твой рассказ опубликуют в самом толстом из всех толстых литературных журналах, как читатели... как литературные критики... как члены Нобелевского комитета... До того момента, как ты поставишь точку и окажется, что нить рассказа вся в узелках, что вот здесь рифмы глагольные потому, что прилагательные и существительные рифмы просто не влезали в размер, и пришлось их немного... но читается хорошо, только надо здесь, здесь и здесь перенести ударение на второй слог и следующий абзац, в том смысле, что...

* * *

Провинция справляет Рождество. На самом деле до Рождества еще почти месяц, но на площади перед дворцом наместника, у подножия чугунного памятника вождю мирового пролетариата уже открылась рождественская ярмарка. Еще вчера, увязая по щиколотку в серой соленой каше подтаявшего снега, звонко роняя железные трубы, оглушительно хлопая на сыром холодном ветру разноцветными полотнищами и стуча друг другу молотками по пальцам, рабочие монтировали эстраду, а уже сегодня на ней выступает художественная самодеятельность – двое мужчин в казакинах, военных фуражках и с балалайками в руках, багровея от натуги, пляшут вприсядку. Позади мужчин стоят женщины в красных сарафанах и цветастых шалях поверх серых пуховых платков, детишки, наряженные скоморохами, и Баба-яга с метлой. Поют какую-то народную песню, притоптывают ногами, а Баба-яга совершает метлой воздухоплавательные движения. Чуть поодаль от бабы Яги стоит дородный наместник в черном кожаном пальто с меховым воротником, на который выложены все три наместниковых подбородка. Рядом с наместником свита, состоящая из одной тощей женщины в пуховике, одной толстой женщины в каракулевом полушубке с большим количеством суетливых рук и еще большим количеством пухлых, в перетяжках золотых колец, пальцев, одного мужчины с хитрожопым выражением лица и еще двух мужчин без всякого выражения лиц. Перед сценой стоят несколько мамаш с колясками, в которых лежат и упревают наряженные полярниками младенцы. За мамашами переминается с ноги на ногу старший лейтенант полиции женского полу и время от времени зевает в кулак таких размеров, что и майор позавидовал бы. За широкой спиной старшего лейтенанта расставлены полукругом торговые палатки, привезенные с городского рынка. Торгуют в них впавшими в зимнюю спячку беляшами, медом, сувенирными лаптями, мороженой клюквой, валенками с нашитой на голенища эмблемой автомобилей БМВ и пловом из большого дымящегося котла. В углу площади устроен небольшой Рождественский вертеп. Фигурки в нем деревянные, раскрашенные яркими красками и в одеждах из разноцветных тканей. У Иосифа большая окладистая борода, искусно связанная из множества веревочек с узелками и придающая ему сходство с древним шумером из школьного учебника по истории. У вертепа стоят двое: молодая женщина и ее сын лет восьми. Женщина объясняет, кто есть кто в этом вертепе:

– Вот мать Мария, вот ее муж, Иосиф, вот младенец Иисус...

– А это кто? – спрашивает ребенок, показывая пальцем на трех немолодых мужчин в затейливых головных уборах.

– Это, сынок, халвы, – отвечает мать.

* * *

В литровую бутыль с широким горлом кладем две пригоршни кисло-сладкого чернослива, пригоршню сушеных груш, две-три пригоршни сушеного липового цвета, три или четыре высушенных гвоздичных почки, несколько душистых перечных горошин и совсем чуть-чуть ванили, но не ванилина с сахаром из пакетика, а настоящей стручковой бурбонной ванили. Все заливаем водкой и убираем в темное место, о котором забываем на месяц или полтора. Даже по рукам себя бьем, чтобы отбить память. Потом достаем, фильтруем в графин, из графина наливаем в рюмку, вдыхаем пряный экзотический аромат и смотрим на просвет.

Ежели посмотреть против света, то получается авантюрин, но не совсем авантюрин, поскольку багровые тона, хоть и присутствуют, но не так чтобы уж очень, а скорее, как говорил Павел Иванович Чичиков, «искрасна, но не к бутылке, а к бруснике». Впрочем, если наклонить голову, прищуриться и посмотреть с другой стороны... Такие появляются теплые бархатные переливы, как на пышных старинных платьях, которые любили носить купеческие жены и дочки. Переливы, которые бывают, когда она, смущаясь и пунцовея, подаст тебе чашку чаю, потянется за молочником... и тут бархат на лифе ее платья, украшенного бантиками, какими-то особенными защипами и тонкой кружевной каемкой по периметру волнующего декольте, чуть натянется и блеснет так, что хоть вставай из-за стола и иди курить на улицу.

Что же до вкуса, то он получается насыщенным. Есть в нем этакая сладкая кислинка и острота, и даже некоторая жгучесть. Как попадет на язык, то не сразу и разберешь, что там такое, а как войдешь во вкус... Напоминает поцелуй, сорванный с губ женщины, на вид строгой, интеллигентной, почти не пользующейся косметикой, а только капелькой пряных духов, до запаха которых еще надо дотянуться носом. Такие бывают среди библиотекарей и учительниц русского языка и литературы. У них обычно полон рот стихов Мандельштама или Ахматовой, а за щекой может лежать, точно долгоиграющий леденец, целый абзац заранее разгрызенного чеховского рассказа. Сорвешь этот поцелуй где-нибудь в учительской, после педсовета, когда все уже уйдут, а она замешкается, собирая тетрадки, и только тогда поймешь, что это было, когда переведешь дух и вдруг почувствуешь, что и на губах, и на языке, которым ты так смело слизывал то ли руки под темной вуалью, то ли терпкую печаль, то ли ворованный воздух... начинается такой пожар, который унять можно еще тремя, а то и пятью рюмками. И даже после этих пяти или десяти поцелуев очнешься лишь тогда, когда откроется дверь и войдет уборщица в синем халате с преогромной шваброй или вбежит, запыхавшись, белобрысый малец из шестого класса, чтобы спросить, что сегодня задали по литературе. Вот эта разница между купеческим цветом и интеллигентным вкусом... От нее и сходим с ума.

Вообще говоря, настойка должна иметь женский, коварный характер. Это в спирте все мужское и примитивное – два атома углерода, пять водорода и один кислорода. Связи грубые, ковалентные. Никаких внебрачных тонких взаимодействий, типа вандерваальсовых или диполь-дипольного притяжения. Как поется в песне: «выпил и упал – вот и весь сказ». Другое дело настойка. Только что ты еще сидел и рассказывал какой-то анекдот или, принимая красивые, томные позы, декламировал «когда, закрыв глаза, я, в душный вечер лета, вдыхаю аромат твоих нагих грудей...» как вдруг оказывается, что ноги и руки тебя совершенно перестали слушаться, а руки так и вовсе забрели черт знает куда и уже что-то расстегивают, расстегивают... или это руки жены, которая укладывает тебя спать на диван лицом к цветам на обивке.

* * *

У меня все рассчитано. С понедельника по пятницу я работаю – пишу разные бумаги, переписываю их, откручиваю и закручиваю гайки, рассматриваю графики, таблицы, делаю вид, что все мне в них понятно, вмешиваюсь в те процессы, которые без меня идут хорошо, а со мной... Одним словом – руковожу. В пятницу вечером я слагаю с себя обязанности руководителя, перестаю делать вид, что знаю, как надо, сажусь в машину и еду на дачу.

Через три часа стояния и лавирования в пробках приезжаю на нее ближе к полуночи, и пока вслед за женой не повторю три раза какой здесь чистый воздух, сколько звезд, какая огромная луна, как чудесно пахнут пионы в саду, пока не понюхаю горсть бледной клубники, собранной с фонарем в огороде, пока не скажу, что с детства ее терпеть не могу и есть не буду, спать не лягу. Утром в субботу проснусь, вытащу из дровяного сарая велосипед, навьючу на него багажные сумки с провиантом, фотоаппаратом, складным стулом и поеду далеко-далеко. Сначала буду ехать по асфальту, хоть и в трещинах, потом по асфальту с дырками, потом по дыркам с асфальтом, потом по одним дыркам, заросшим подорожником и пыреем, потом по зарослям лебеды, по краю поля, заросшего ромашками, клевером и лопухами, пока, наконец, не приеду к старой березе с обломанной верхушкой.

Здесь такое место, в котором удобно и хорошо быть самим собой, поскольку здесь нет ничего, кроме поля, ромашек, стрекоз, облаков, птичьего пения и далекого, чуть выглядывающего из-за верхушек березовой рощи, креста церкви в соседнем Зиновьево. Раньше посреди этого поля стоял председатель колхоза и растирал в мозолистых ладонях листики молодой капусты или молодые картофельные клубни, глядел из-под мозолистой ладони на колосящуюся ниву и на комбайнера, выпавшего из комбайна и уснувшего в борозде, или этими мозолистыми ладонями рассказывал спящему комбайнеру о том, как он его... а теперь здесь просто поле, заросшее травой, сурепкой и ромашками.

Здесь я останавливаюсь, раскладываю стул, достаю из багажника бутерброды, термос с чаем и начинаю быть самим собой – перестаю притворяться седобородым завлабом, которому два года до пенсии, а становлюсь молодым и отважным путешественником, летчиком дальнего плавания первого ранга с медалью за отвагу при закрашивании белых пятен на карте Северного полушария и двумя золотыми значками первой и второй степени за бескорыстие при поиске сокровищ.

У меня все рассчитано – к тому моменту, когда я доедаю бутерброд и принимаюсь за чай с коньяком и пряником, в облаках начинается гул. Это гудит самолет, прилетающий в мое небо над полем каждые выходные. Он летит с маленького аэродрома под городом Киржач. Самолет тоже маленький, винтовой. То ли он разбрасывает парашютистов по окрестным полям, то ли обучает летному делу любителей воздухоплавания. Гул от самолетика настоящий. Как сказали бы меломаны – теплый, ламповый гул, а не это бездушное и безликое «у-у-у...», которым гудят все реактивные самолеты любой модели. Это даже и не гул, а голос.

Голос приближается и, наконец, из облаков выныривает самолетик. Он старый и даже старинный, с двумя килями, расчалками и неубирающимся шасси. Над полем он делает разворот. Я сижу в кабине, в командирском кресле, в летном кожаном шлеме, в белом шелковом развевающемся шарфе и в скрипящем летном кожаном комбинезоне. Это ничего, что в самолетной кабине нет ветра и шарф не развевается. Сейчас я велю штурману ее немного приоткрыть, чтобы не было так жарко. Летим-то мы медленно и низко.

Заодно пусть наведается в салон, чтобы проверить – не забыли ли мы с собой специальные крючки для ловли акул, зеркальца и бусы для аборигенов, хлороформ для усыпления бабочек и набор цветных карандашей для их зарисовки. Еще и самолетные лыжи, если вдруг придется возвращаться зимой. Нам лететь далеко – в Новую Гвинею на поиски разбившегося в джунглях корабля пришельцев. Там, по непроверенным слухам, в святилище одного из местных племен случайно забредший туда миссионер видел шлем марсианина. Заодно на одном из островов Карибского моря нужно найти пиратский клад и сбросить запас продуктов и сушеных березовых дров полярникам, дрейфующим вместе с Землей Санникова. Карту мне выдали в министерстве приключений на свою и чужую тоже перед самым отлетом. Не перепутать бы ее с картой полета, на которую нанесены белые пятна на случай географических открытий. Кроме обычных карт имеются у нас специальные коробки с папиросами «Беломорканал», которые выпускает министерство гражданской авиации с подробными картами на пачках. По ним обычно летают в экстренных ситуациях, когда никаких других карт не остается или штурман забывает все карты дома. Главное – не проверять в полете, не забыли ли мы медицинский спирт для дезинфекции и обеззараживания укусов тропических насекомых. Такие проверки обычно плохо кончаются.

Когда устаешь сидеть за штурвалом, то передаешь управление автопилоту, а сам идешь в салон, выпить кофе и посидеть у камина с книгой. Самолет у меня старый и даже старомодный. Никаких электрических обогревателей в нем нет. Нет и мониторов, с которых показывают путешественникам бесчисленные голливудские комедии для умственно отсталых. Зато есть библиотека с большим количеством старинных фолиантов. Снимаешь с полки записки Гржимека и Вахмурки об их приключениях в кратере вулкана Нгоронгоро, закуриваешь трубку, стюардесса приносит тебе кофе со сливками и шоколадные конфеты, бумажки от которых я никогда не бросаю в иллюминатор, пока не пересеку границу...

Тут я открываю глаза и вижу, что самолет мой давно улетел в Киржач. Небось уже и приземлился на маленьком пыльном аэродроме. Летчик велел механику зачехлить моторы, а сам отметился в ведомости полетов, сел на служебный автобус и поехал домой есть окрошку. Ну, а мне ничего не остается, как перестать быть самом собой, превратиться обратно в завлаба, собрать в пакет бумажки от шоколадных конфет, положить пакет в багажник, сесть на велосипед и поехать на дачу, чтобы успеть к ужину.

* * *

В конце сентября температура воздуха на улице понижается настолько, что расстояние, которое может пролететь воздушный поцелуй, уменьшается прямо пропорционально квадрату температуры, умноженной на абсолютную влажность воздуха. Первые попытки вывести уравнение воздушного поцелуя относятся еще к восемнадцатому веку. В черновиках Сумарокова был обнаружен фрагмент вычислений... Честно говоря, это трудно назвать даже фрагментом вычислений, поскольку Александр Петрович с арифметикой был не в ладах и в юности не смог одолеть даже учебника Магницкого. За уравнение воздушного поцелуя он взялся лишь из опасений, что его выведет Ломоносов. Все, что смог сделать Сумароков – нарисовать в виде облачка воздушный поцелуй, вылетающий из губ какой-то кокетки, и девичьи пальцы, украшенные перстнями. На губах, на облачке и на пальцах его же рукой проставлены в случайном порядке цифры от одного до десяти,

крестики, крючки и необычного вид*а загогулины, которые, надо полагать, простодушный Александр Петрович считал знаками математических действий.

Не в пример Сумарокову, Фридрих Готлиб Клопшток понимал в математике гораздо больше, как и все, впрочем, немцы, и даже, при выведении уравнения воздушного поцелуя, консультировался с великим Эйлером. В архиве Клопштока сохранилось письмо Эйлера, в котором он просит поэта не морочить ему голову всей этой Kussblödsinn. Как бы там ни было, а Клопшток смог установить зависимость расстояния, которое пролетает поцелуй, от температуры окружающей среды. Правда, он не учел, что эта зависимость квадратичная, что поцелуй может быть влажным, что при изобарическом охлаждении воздуха... Короче говоря, Фридрих Клопшток рассматривал случай идеального сферического воздушного поцелуя в вакууме. Впрочем, тогдашнее состояние физики, метеорологии и математики не позволяло учесть ни силу дыхания, которая, в свою очередь, является первой производной от страсти, ни угол наклона пальцев, ни то, каким образом сложены губы при отправке поцелуя, ни их влажность, ни тем более наличие на них губной помады.

Ни Клопшток, ни тем более Сумароков не рассматривали случай английского воздушного поцелуя, когда окружающий отправителя туман поглощает поцелуй, не дав ему пролететь и нескольких сантиметров. Потому-то в Англии воздушный поцелуй встречается так же редко, как в России трезвый. Тем не менее именно англичане во второй половине девятнадцатого века, введя в уравнение коэффициенты, учитывающие плотность тумана, расстояние прямой видимости и задымленность воздуха, определили граничные условия, при которых воздушный поцелуй превращается в обычный. К концу прошлого века они даже смогли приступить к разработке единой теории воздушного поцелуя, которая должна была представлять собой систему дифференциальных уравнений второго порядка... И тут воздушный поцелуй стал исчезать из обихода. То есть им, конечно, еще пользуются артисты, посылающие со сцены фальшивые, запачканные жирным блеском для губ воздушные поцелуи в зрительный зал, но обычные люди в повседневной жизни... И то сказать – нынешний воздушный поцелуй, в отличие от старинного, имеет маленькую начальную скорость, пролетает куда как меньшее расстояние, летит только по прямой, и его может сдуть с пути даже годовалый младенец. Всего лишь сто лет назад воздушный поцелуй мог пролететь из Москвы если и не до Петербурга, то уж до Торжка точно, дождаться там попутного ветра и снова полететь. А уж как он прилипал к получателю...

Ничего этого теперь и в помине нет. Постмодернисты и вовсе отрицают воздушные поцелуи как дань ложноклассической моде. Молодежи всё заменили смайлики и сердечки в смартфонах. Искусством настоящего воздушного поцелуя теперь владеют только люди среднего и очень среднего возраста. Зато у них они выходят нежней и суеверней.

Вернемся, однако, к тому, с чего начали. В конце сентября температура воздуха на улице понижается настолько, что расстояние, которое может пролететь воздушный поцелуй, уменьшается до минимума, расположенного на кривой Кольриджа – Кэрролла в области бесконечно малых значений. В такие дни воздушный поцелуй куда проще подобрать с кончиков пальцев губами, чем поймать в холодном и туманном воздухе. На кончиках пальцев он еще теплый.

* Поцелуйной галиматьей.

Ганна ШЕВЧЕНКО

ОБЕЩАНИЕ

Евгения Самойловна была похожа на шаржированного диктатора – на лице главенствовали свирепые брови и злобные брыли. Ее муж Вася отличался от нее лишь тем, что носил брюки. Если бы они поменялись одеждой, разницу вряд ли бы кто заметил. Даже обувь они носили одного размера – возле двери стояли две пары стоптанных тапок большого размера.

С этим семейством мы прожили на одной площадке дверь в дверь около двадцати лет. Папа называл Евгению Самойловну Шмульевной и в квартире не привечал, но, когда родители развелись и папа съехал, Шмульевна стала нам докучать. Вечером, когда мать приходила с работы, она вваливалась, садилась в кухне на табуретку и рассказывала о падлах и сволочах. А их в поселке водилось великое множество – кто-то не открыл перед ней дверь, когда она выходила из магазина, кто-то написал нехорошее слово на пыльном капоте Васиной машины, кто-то задел плечом простыню, висящую во дворе на веревке (за сушкой белья она наблюдала из окна).

Мы жили в сталинской двухэтажке ржавого цвета, на втором этаже. Фасад покрылся трещинами, и когда Шмульевна, вдавив грудь в подоконник, сидела на охранной вышке, казалось, дом трещит под ее весом.

Она родила троих детей – Софу от первого брака и близнецов Лену с Сергеем – от Васи. Софа считалась сумасшедшей, весной и осенью ее клали в психиатрическую лечебницу. Видимых проявлений безумия в ней я не замечала, она часто сидела во дворе на скамейке, никого не трогала, только смотрела сквозь очки с презрительным любопытством. Иногда слышались крики за дверью, Евгения Самойловна орала на дочь, а та истерила в ответ. Когда у Софы шли газы, мать выгоняла ее на улицу, но та упрямилась и не шла, а стояла на площадке рядом с тапками, издавая позорные звуки.

Младшая дочь Лена была красива – высокая, с хорошей фигурой и породистым лицом. После рождения второго ребенка, муж ушел к другой. Когда эта семейная катастрофа случилась, Евгения Самойловна с Васей посадили Софу в машину, вооружили чугунной крышкой и поехали мстить. Они нашли разлучницу, и Софа била ее крышкой по голове. Состоялся суд, но Софу оправдали, потому что она сумасшедшая и за свои действия отвечать не способна.

Сын Сергей у родителей появлялся редко, говорили, у него свой бизнес где-то в Макеевке. В последний раз я

видела его, когда он спускался по ступенькам. Евгения Самойловна кричала ему вслед, что скоро умрет, а он отвечал ей: «Ты только обещаешь».

О своей смерти и болезнях она тоже любила посудачить. Наговорившись всласть о падлах и сволочах, она жаловалась на свое самочувствие и глотала таблетки, попросив у мамы стакан воды.

У меня с ней сложились напряженные отношения. Когда мне было три года, она подняла меня на руки. От нее неприятно пахло, я вырывалась, она не отпускала – я назвала ее «дурой». С тех пор началась холодная война. Мы не здоровались, не разговаривали, я не открывала ей дверь, когда оставалась дома одна. Зная, что она ненавидит Высоцкого, я включала песню «Парус» на всю громкость – она шваброй колотила в стену.

Перед нашим домом рос огромный каштан. Издалека он казался живописной аппликацией, приклеенной к ржавой стене, и рядом с кудрявой зеленью – открытое окно с Евгенией Самойловной в главной роли. Когда я приехала лет через десять в свои края, мне захотелось посмотреть на наш старый двор. Все оказалось на своих местах – угольные сараи, бельевые веревки, каштан и окно со Шмульевной, словно она просидела все это время, глядя на белье, как зачарованная принцесса. Узнав меня, она подалась вперед, перевалившись через подоконник, а когда я ее сфотографировала, пригрозила кулаком. Когда поселок заняли военные, рядом с нашим домом располагался блок-пост и над крышей свистели снаряды. Евгения Самойловна все-таки выполнила обещание. Она не погибла при взрыве, а умерла от старости, как все нормальные люди.

Лев ГРИГОРЯН

НЕ ДРАЗНИТЕ КРОКОДИЛА

Третьеклассники Паша и Даша никогда не были в зоопарке. Даша училась в третьем «А» классе, Паша в третьем «Б». Ну а в третьем «В» учился мальчик Вова, которого Даша с Пашей частенько поддразнивали. Не со зла, а просто не могли удержаться: такой у них был характер – над всеми смеяться.

Над Вовой смеяться было легко, потому что у него были оттопыренные уши, веснушки на носу, и он никогда не дрался. Только обиженно сопел.

Паша с Дашей были брат и сестра, близнецы. А Вова был их сосед по подъезду.

Родители близнецов хорошо знали родителей Вовы, ходили друг к другу в гости, но о том, что близнецы дразнят Вову, не ведали, потому что Вова не любил жаловаться.

Он старался сам справляться с житейскими трудностями. И чтобы положить конец вражде с близнецами, Вова как-то раз подарил им коробку замечательных цветных карандашей – всех цветов радуги.

— Спасибо, Вова, – сказала Даша и живо нарисовала на тетрадном листке Вовин портрет – с большущими розовыми ушами, выпяченными губами и россыпью рыжих веснушек на носу, на щеках и даже на лбу. А Паша подумал и добавил витые рога, как у горного козлика. И внизу подписал:

Хищный Вова из Тамбова
Съел солёную корову.

— Почему солёную? – удивился Вова. Он был вовсе не из Тамбова, но решил не спорить, дабы не повредить примирению.

— Морскую, – сказал Паша. – В море вода солёная, и все морские жители тоже солёные – киты, акулы, моржи, коровы.

— И рыба хек, – прибавила Даша, помусолила синий карандаш и дорисовала Вовиному портрету извилистый рыбий хвост.

— Много вы понимаете, – сказал Вова. – Небось живой коровы не видели ни разу. Только в кино.

— А ты видел? – фыркнул Паша.

— Я и жирафа настоящего видел, не то что корову, – похвастался Вова. – А ещё слона, леопарда и носорога. У меня дядя – смотритель зоопарка. Он про зверей всё-всё знает. Кого там только нет! И сумчатая лиса, и говорящая птица фламинго, и магический крокодил из африканского Нила.

— Врёшь, – убеждённо сказала Даша. – Не бывает магических крокодилов. Дядя над тобой подшутил.

— Спорим? – спросил Вова.

И они поспорили на пакетик шоколадных конфет «Красная шапочка».

На другой день Вова протянул близнецам два билета.

— Махнём в зоопарк после уроков?

Едва дождавшись звонка, ребята выбежали на улицу, и Вова повёл их в зоопарк.

Идти было недалеко: Паша с Дашей даже удивились, что зоопарк в пяти минутах от школы, а они туда прежде и не заглядывали.

Был май, цвели каштаны, одеты ребята были совсем по-летнему – Паша и Вова в джинсах и футболках, а Даша в лёгком жёлтом платьице с тёмными полосками, похожем на пчелу. Эх, если бы знала бедная Даша, чем аукнется ей это платьице!

Вот и зоопарк. Близнецов пропустили по билетам, а Вову за так – билетёрше было известно, что в зоопарке у него работает дядя.

Впрочем, Вовиного дядю близнецам увидеть не довелось. Зато они вдоволь насмотрелись на разных животных. И по всегдашней своей привычке принялись их дразнить.

— Слон, смотри, слон! – говорил Паша Даше и восторженно тыкал пальцем в сторону вольера, где стоял большой грузный слон песочного цвета и лениво шевелил хоботом.

— А уши-то какие! – восклицала Даша. – Точно как у нашего Вовы. А хвост!

— Разве это хвост? – возражал Паша. – Помело, а не хвост.

— А хобот? Паш, гляди какой хобот! Был бы у меня такой хобот, я бы с третьего этажа у тёти Иры пончики таскала, как Карлсон у фрекен Бок. Фюить, – и нету пончика! Эй, слон, одолжи-ка нам хобот!

Тут слон обернулся и гулко шагнул к ребятам. Те прыснули прочь от вольера.

Вова хмуро сказал:

— Рассердили слона. Всё вам не так – и хвост не такой, и хобот не тот. Не угодишь!

— Ничего! – махнул рукой Паша. – Пусть твой слон не сдаётся, работает над собой, шевелит побольше ушами, машет своим помелом. Тогда у него будет шанс нам понравиться.

И близнецы, подойдя к следующей клетке, принялись дразнить обезьян.

Даша сквозь прутья решётки протягивала обезьянам еловую шишку, а когда те тянули к ней лапы, отскакивала от клетки, смеясь:

— Какие глупые обезьяны!

— Небось думают, что это банан, – сказал Паша, взял у сестры шишку и бросил в клетку: – Ешьте, мохнатые!

Обезьяны поймали шишку на лету, обнюхали, но есть не стали. Одна вертлявая обезьянка ловко кинула шишку назад.

Шишка стукнула Пашу по лбу, и у него испортилось настроение.

— Пойдём отсюда, – сказал он Даше. – Домой пора.

— Ну Паааааш! – взмолилась Даша. – Мы ещё крокодила не видели. Вова говорил, он волшебный!

— Ещё какой волшебный! – подтвердил Вова. – Не вздумайте только его дразнить, не то он вам покажет.

— Это кто ещё кому покажет, – насупился Паша, потирая лоб. – Давай своего крокодила.

И Вова привёл их к загончику, где на берегу небольшого бассейна лежал зелёный продолговатый крокодил безмятежной наружности. Пасть его была перевязана ленточкой, а ленточка завязана бантиком.

Решив, что крокодил не опасен, Паша с Дашей принялись вспоминать дразнилки про крокодилов.

Напрасно Вова пытался их остановить. Близнецы припомнили всё:

— Крокодил-крокодил, зря ты солнце проглотил! – нараспев кричал Паша.

— Зимой и летом – одним цветом, – вторила Даша и показывала крокодилу язык.

— Гена, а Гена! Где твой Чебурашка? – корчил гримасы Паша. – Неужели ты его съел?

— Он не Гена, – вмешался Вова и показал на табличку, висевшую поверх решётки. – Его зовут Терентий Африканыч.

Это имя так понравилось близнецам, что они даже запрыгали:

— Африканыч! Африканыч! Хулиганыч-атаманыч!

И тут крокодил повёл хвостом, моргнул глазом, и бантик на ленточке, обвязанной вокруг его пасти, сам собой развязался.

Зубастая пасть открылась.

Близнецы от неожиданности замерли на месте. А Вова отчаянно зашептал:

— Ну вот, говорил же я вам!

— Хулиганыч, значит? – хрипло спросил крокодил. – Одним цветом, зимой и летом? Да ещё солнцем полакомился?

Хвост крокодила взметнулся вверх, и ребята успели разглядеть на самом его кончике несколько длинных острых иголок, похожих на шипы дикобраза.

Близнецам стало жутко, они даже забыли, что их защищает от крокодила крепкая стальная решётка. Впрочем, каждый бы испугался, увидев говорящего крокодила.

— Те-те... тер-рентий Аф-фриканыч, – забормотал Паша. – Про-про... простите...

— Мы больше не будем! – подхватила Даша.

— Ха! – сказал Терентий Африканыч и осклабил широкую пасть, в которой жемчужно блеснули острые зубы. – Конечно, не будете. Ваши выдумки против вас же и обернутся. Вот поэтому вы не будете. «Одним цветом», ха! «Солнце»! Ишь!

И когда крокодил произнёс слово «солнце», Паша почувствовал, что творится неладное: уши Пашины запылали. Не так, как бывало раньше, когда ему делалось стыдно. Нет, гораздо сильнее. Они прямо светились – Пашины уши. Словно сам он, Паша, проглотил солнце и теперь светится изнутри.

А Дашино жёлтое полосатое платье разом позеленело и сделалось одноцветным, как маринованный огурец.

Вне себя от страха дети бросились наутёк.

Так и бежали они без передышки до самого дома.

С той поры началась у близнецов новая жизнь. Крокодилово колдовство пристало к ним накрепко. Стоило Паше зайти в комнату, где светила электролампочка, и – чпок! – лампочка тут же сгорала, зато Пашины уши светились всё ярче и ярче. Они словно вбирали в себя весь свет, который им удалось погасить.

Вначале родители сердились на Пашу, ведь лампочки всё-таки денег стоят. Но вскоре сообразили, что Пашины уши освещают комнату лучше любой лампочки. Тогда родители приладили Паше на голову абажур, так что Паша с тех пор целыми вечерами выстаивал смирно посреди кухни, прихожей или гостиной, освещая родительский быт.

Паша пытался протестовать. Но родители обнаружили, что буйная Пашина натура отлично теперь управляется пультом от телевизора: достаточно было нажать кнопку отключения звука, и Паша умолкал, сам того не желая. Так суровы оказались последствия крокодилова колдовства.

Даше тоже приходилось несладко. Во что бы она ни оделась – в джинсы, юбку, футболку, кофточку, свитер – любая одежда превращалась мгновенно в злополучное зелёное платье. Очень скоро у Даши вместо множества разных одёжек образовался целый шкаф одинаковых зелёных платьев.

Пока шло лето, это было ещё терпимо. Но осенью зарядили дожди, похолодало, и Даше пришлось бросить школу. Ведь стоило ей облачиться в пальто или куртку, как – хлоп! – вместо них появлялось зелёное платье, совершенно не по сезону.

И когда таким способом Даша покончила с двумя тёплыми шубами, мама схватилась за голову и велела дочке сидеть дома до самой весны.

Загубленные колдовством шубы приобретались в своё время недёшево, и их было жаль. Но родители нашли способ восполнить убыток. Они наловчились покупать по смешной цене в секонд-хенде ношеную одежду, наряжали несчастную Дашу, и чужое старьё превращалось в новенькие зелёные платьица. А затем эти платья родители сбывали на рынке, где им платили звонкой монетой.

Торговля шла бойко, и родители стали подумывать, что не так уж плох был непрошеный дар крокодила Терентия Африканыча. Папа присматривался к автомобилям, мама к заморским путёвкам, будущее виделось в радужном свете. Но тут местный мэр сломал рынок бульдозером, а к родителям близнецов нагрянул милиционер и выписал крупный штраф за незаконное предпринимательство. Поневоле пришлось прервать налаженный промысел.

То, что в школу ходить не надо, Даше поначалу понравилось. Но когда оказалось, что всю осень, и зиму, и почти всю весну придётся безвылазно сидеть дома, Дашу охватила тоска.

Она даже вообразила себя узницей, заточённой в темнице. Впрочем, сходство было неполным – ведь в темнице должно быть темно, а тут каждый вечер сияют Пашины уши, и невозможно ни выключить их, ни пригасить. Совсем измаялась Даша от такой жизни. Засыпала она при свете с трудом, и ночами ей снились кошмары.

Только Вова скрашивал Даше и Паше тяжкие будни. Каждый день он навещал близнецов, делился новостями из школы и рассказывал всякую всячину. А выигранные на спор конфеты «Красная шапочка» Вова не взял. Он чувствовал себя виноватым – ведь это он привёл близнецов к крокодилу, так жестоко их наказавшему.

Теперь при одном упоминании о крокодилах Паша начинал дрожать, и уши его мерцали, а Дашино всегдашнее зелёное платье трепетало волнистой рябью, словно на сквозняке.

И всё же к весне близнецы пересилили страх.

— Надо вновь сходить к крокодилу, – говорил Паша Даше, постукивая зубами в попытке обрести храбрость. – Попросим его расколдовать нас.

— Верно, – кивала Даша. – Скажем ему: Терентий Африканыч, простите нас, пожалуйста! Ведь дальше так жить невозможно.

И вот, погожим апрельским днём, близнецы, держась за руки, вышли из дома – впервые за много месяцев – и нетвёрдым шагом направились в зоопарк. Как-то встретит их Терентий Африканыч? Боязно было даже думать об этом.

У входа в зоопарк к Даше с Пашей, как было условлено, присоединился Вова – он специально сбежал с урока, чтобы снабдить близнецов билетами.

Но тётенька-билетёрша на сей раз не захотела пускать ребят: ей подозрительными показались сияющие Пашины уши.

— Не хватало пожар устроить, – заворчала она.

Не помогли ни билеты, ни уговоры, ни даже ссылка на Вовиного дядю.

— Не пущу! – твердила билетёрша, ответственно хмуря брови.

Паша разволновался вконец, и у него, помимо ушей, засветился нос, так что сам он стал очень похож на клоуна. А Дашино зелёное платье потемнело до синевы. У билетёрши зарябило в глазах, она чихнула в носовой платочек, а ребята тем временем юрко шмыгнули внутрь.

Теперь уже медлить было нельзя. Бегом промчались они мимо вольера слона, мимо львов, обезьян и медведей.

Вот наконец загончик Терентия Африканыча. А вот и он сам – нежится на берегу бассейна, почти сливаясь со свежей весенней травкой.

— Терентий Африканыч, простите нас! – крикнул Паша. Дыхание перехватило, и он даже не смог прибавить «пожалуйста».

— Расколдуйте нас, будьте добры, – попросила Даша. – Мы совсем разучились дразниться!

Это была чистая правда. Вот уже почти год, как у близнецов пропала всякая страсть к дразнилкам. Стоило им представить, чем против них обернётся очередная шутка, и желание шутить пропадало.

— Пожалуйста, – добавил и Вова, – расколдуйте моих друзей.

Терентий Африканыч помедлил, затем широко зевнул и сказал:

— Не хочу.

— Как?! – воскликнули все трое в горестном изумлении. Они так надеялись!

— У меня обида ещё не прошла, – лениво отозвался Терентий Африканыч. – Мы, крокодилы, очень ранимые. Приходите лет через десять, тогда я подумаю над вашей просьбой. А ещё лучше – через двадцать.

Он приподнялся на лапах, махнул хвостом, на конце которого по-прежнему торчали шипы, и скользнул в бассейн, с головой погрузившись в воду. Пшш! – только пузыри на поверхности напоминали безмолвно: секунду назад здесь был крокодил.

Ребята опешили. Даша заплакала. Паша побледнел, и уши его померкли, а нос два раза мигнул и погас.

Только Вова не поддался унынию.

— Не будем отчаиваться, – сказал он близнецам. – На Терентии Африканыче свет клином не сошёлся. Зоопарк полон разных зверей. Вдруг нам поможет кто-то другой?

— А кто-о? – захныкала Даша. – Слона мы уже задразнили, над обезьянами посмеялись...

Вова подумал немного.

— Есть тут в птичьем вольере особая птица, – наконец сказал он. – Мудрое Фламинго, так её зовут. Пойдёмте спросим её совета.

И они побрели искать заветный вольер.

Поиски длились долго. По пути ребят успел облаять шакал, на них нарычал красный волк, а редчайший экземпляр моржа-усача окатил их презрением. Да ещё попугай какаду огласил в адрес наших ребят свой словарный запас, так что у Паши язык зачесался ответить. Ох, как они вдвоём с Дашей в прежние времена отчитали бы нахала! Но теперь и помыслить о том было жутенько.

Так что Даша и Паша набрались терпения и в молчании дошагали до вольера фламинго.

— Вот и вы, – приветствовала их высокая бело-розовая птица на длинных ногах, как у цапли. Она и была знаменитым Мудрым Фламингом. – Добрый день, Паша, Даша и Вова.

— Вы нас ждали? – изумилась Даша.

— А как вы узнали, что мы придём? – спросил Паша, сияя ушами.

— Я предугадываю будущее, – важно ответила птица. – Ведь Мудрое Фламинго – не просто имя: такова моя сущность.

— А я всегда считал, что фламинго мужского рода, – сказал Паша, за последний год поднаторевший в науках, ибо ему частенько приходилось светиться во время передачи «В мире животных».

— А я думала – женского, – возразила Даша.

— Всё истинно-необъятное – среднего рода, – изрекло Мудрое Фламинго. – Например, небо. Или время. Или знание.

— Так вы знаете всё? – обрадовался Вова. – И сможете помочь моим друзьям?

— Всего не знает никто, – скромно сказало Фламинго. – Но мне ведомы необычные истины. Будет ли вам от них прок – зависит от вас. Ведь правда всегда переменчива...

— Это как? – спросила Даша, чувствуя, что от мудростей Фламинго у неё начинает болеть голова, примерно как от Пашиных негасимых ушей.

— А так... – Фламинго вытянуло шею и воззрилось в небо, слегка прищурившись. – Сколько, по-вашему, будет дважды два?

— Четыре, конечно!

— Не всегда, не всегда... – Мудрое Фламинго приподняло лапу и элегантно ею почесалось. – Обычно – четыре. Но в ночь новолуния – дважды два перерастает себя и превращается в четыре с четвертью. Так-то.

Вова взглядом дал понять близнецам: лучше не спорить. А вслух спросил:

— Ведь вы поможете нам расколдоваться? С вашей мудростью это, наверно, несложно. Мы вам были бы очень признательны.

— Мы для вас что угодно сделаем! – горячо подхватила Даша. – Хотите пакетик чипсов? У меня с собой есть.

— Оставьте себе, – покачало головой Фламинго. – Вас я осчастливлю задаром. Хотя вот Терентий Африканыч уплыл обиженный. Угостите его, не откажется.

— Страшновато, – признался Паша. – Злопамятный он какой-то. Год прошёл, а он всё дуется.

— Не его вина, – сообщило Фламинго. – Вы заметили иголки у него на хвосте? В них всё дело. Из-за них он обидчивый.

— Иголки? Мы думали, так и надо, – удивились ребята.

— Это иглы атмосферного ежа, – пояснило Мудрое Фламинго.

— Какого ежа??

— Атмосферного. Бывает лесной ёж, он по земле ползает. Бывает морской, обитает в воде. А самый опасный ёж – атмосферный. Он летает по воздуху и разбрасывает свои иголки. В кого воткнётся игла, тот становится очень обидчивым. Сердится по пустякам и годами лелеет свою оскорблённую гордость. Вот и Терентий Африканыч от ежа пострадал. Потому-то он к вам так неласков.

— Как же нам быть? Вынуть иголки, и он подобреет?

— Не так просто. Иглы сами должны отпасть, со временем. Да и яд их уже впитался. Вам поможет иное средство.

— Какое? – в один голос спросили ребята.

Фламинго долго молчало, устремив взор куда-то за горизонт.

— Пещера Тысячи Голосов, – наконец сказало оно. – Там слова потеряют навечно свою злую силу. И развеется колдовство. Идёмте за мной!

Фламинго взмахнуло крыльями, закружился внезапный вихрь, и дверца вольера распахнулась настежь. Фламинго выпорхнуло на волю и, указуя путь, полетело вдоль клеток, в самую глубь зоопарка, где, окружённый ручьём, зеленел небольшой островок.

Ребята едва поспевали за летающим провожатым. Сзади послышались свистки сторожей: как-никак уникальная птица ускользнула из клетки! Но, очевидно, Фламинго тоже владело волшебной силой: ветер от его крыльев заглушил звук погони, свист затих позади, и на зоопарк снизошла безмятежность – словно замерло время.

Без помех добежали ребята до островка, только ноги промочили в неглубоком ручье. А в самой серёдке острова, за кустами акации, обнаружился грот: небольшая пещера, и вход в неё – тёмный проём, почти в рост человека.

— Вам туда, – величественно сказало Фламинго. – Прощайте!

Одолев робость, друзья протиснулись в грот. Темнота давила, наползала со всех сторон, но Паша повёл ушами, и сумрак рассеялся. Стены грота заблистали разноцветными переливами – казалось, их украшает горный хрусталь.

— Ух ты! – восхищённо воскликнула Даша.

— Красота! – вторили ей Паша с Вовой.

Стены грота мерцали, как ёлочные гирлянды под Новый год. Но самое странное было не это.

Голоса ребят тоже словно бы замерцали – разлились в пространстве, отразились от стен, рассыпавшись на тысячи звонких нот. И сказанные слова повторило на все лады незримое эхо.

«Ух ты, ух ты, ух ты, ты, ты, – слышалось отовсюду. – Красота, сота, ста, атааа...»

Эхо было одновременно и высоким, и низким, будто спорили разные музыкальные инструменты – флейта, фагот, контрабас, фортепьяно, арфа, скрипка, валторна...

И в этом многоголосье слова искажались, преображались, складывались друг с другом в непонятные фразы, как стёклышки в калейдоскопе, образующие чудной узор.

— Слышите?! – спросил Паша, и звуки вновь закружились в танце, а когда кружение кончилось, свет померк. Стены грота потонули во мраке. И лишь тогда, среди тишины, Паша понял: его уши больше не светятся.

Волшебство крокодила иссякло.

Очень тихо, на цыпочках, дети вышли из грота и не спеша зашагали домой. На душе у них было спокойно и радостно. Дашино платье вновь стало жёлтым в полоску. Паша тёр потускневшие уши, не в силах поверить своему счастью. А Вова был рад оттого, что рады его друзья.

Даже ехидный атмосферный ёж, проплывавший мимо по воздуху, при виде наших ребят шарахнулся прочь, как ошпаренный, трепеща своими иголками.

Но самое удивительное обнаружилось позже. К близнецам вернулась охота дразниться, только теперь их дразнилки никого почему-то не задевали. Злая магия слов действительно утратила силу.

Паша с Дашей могли теперь сколько угодно дразниться и даже браниться – подкалывать друг дружку или высмеивать одноклассников. Даже самые ругачие их слова не могли никого обидеть. Один раз близнецы осмелели настолько, что обозвали учительницу географии Татьяну Петровну крокодилицей долгохвостой. Татьяна Петровна мило улыбнулась в ответ и задала на дом параграф четыре, будто ничего не случилось.

Тогда изумлённые близнецы отправились в зоопарк, отыскали в знакомом загончике Терентия Африканыча и обозвали его Татьяной Петровной.

Терентий Африканыч осклабился, помахал ребятам хвостом и, со словами «Ах, дети, дети», нырнул в зеленеющий омут бассейна.

Даша с Пашей переглянулись, расхохотались и пошли в гости к Вове. Там все трое, в тишине и покое, занялись важным делом: изобретением тайного языка. Им ужасно теперь хотелось придумать свой собственный новый язык, наподобие эсперанто, чтоб общаться друг с другом словами, наделёнными нерастраченной силой.

Ефим ГАММЕР

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА

1

В семь лет,
самый маленький в первом классе,
я был выше
безногого инвалида с каталкой.
Он гонялся со мной напегонки,
зная, что победитель получает горбушку
пахучего хлеба,
что нес я из Рижского универмага домой.
Мне не жалко было
горбушки для инвалида,
отрезанной у входа в мой дом
острым ножом немецкого закала,
который «взят вместе с жизнью
у фашистской скотины».
Я мог легко обогнать каталку.
Но что за резон – побеждать инвалида?
А самое вкусное место в хлебе –
горбушка –
мне достанется и после соревнований,
у хлеба их две.
«Мою» горбушку
инвалид отрезал с той же сноровкой,
что и первую,
и не ошибался ни на миллиметр.
«Хлеб – всему голова», – говорил он.
И еще говорил:
«Глаз – алмаз!»
И в доказательство этого
брал придорожный камушек
и с необыкновенной меткостью
запускал его
в дверную табличку с номером дома.
– Снайпер! – говорил я.
– Снайпер! – соглашался инвалид,
и пальцем тыкал в медали
на лацкане пиджака.
– Сколько фашистов ты убил?
– Все мои.
– Не твоих, значит, водят тут по улице?
– Чинить, что разрушили...
– Ты не думаешь их убивать?
– Они пленные. Это не моя забота.
– А чья?

– О них позаботится Софья Власьевна.
– Кто это?
– Вырастешь – узнаешь.
– А о тебе кто позаботится?
– Она же.
– Софья Власьевна?
– Само собой.
– Как она о тебе позаботится?
– Да уж позаботится...
Через неделю
инвалид сгинул с улицы Аудею
вместе со своей каталкой.
И я так и не узнал,
как позаботилась о нем Софья Власьевна.
Пленных немцев отпустили на волю.
А что стало с инвалидами
об этом в газетах не писали.
Но слухи носились в воздухе,
обрастая такими словами:
«загрузили их на баржи
с открывающимся дном
и утопили, как котят».

2

Ну, что с того, что смерти нет.
А жизнь? Как будто в настоящем...
И пульс в секунде бьется чаще,
все чаще-чаще, и – рассвет!
Какое счастье – тьма небрежна:
в конце туннеля виден свет.
Ну, что с того, что смерти нет,
Есть хлеб с водой и жизнь с надеждой.
Ну, что с того, что смерти нет.
Передохнуть, переиначить.
Начать все заново – чудачить,
беситься, будто уйма лет
за горизонтом, там, где в круговерти
познанье, мысль и кругозор.
А смерть...Что смерть? Ату ее до смерти!
Пусть будет недоступна, как и горизонт...

3

На перепутье дней и мнений,
когда разброд и разнобой,
«Ау!» Шарахаются тени,
летят по лестницам гурьбой.
Рассудок лопнет от напряга,
перевернув знакомый мир:
внутри Москвы изыщет «Прагу»,
в Берлине «Ригу» и «Памир».
Где человеки? На мгновенье
мне представляется: вон там!
Но тянутся на выход тени.
А люди? Люди – по домам.

4

Истина на бумаге. Рядом с красным вином.
Добрая тетя дарует наследство.
Сколько по свету пройти суждено,
только не выйти, не выйти из детства.
Сколько по свету пройти суждено,
помнишь про шкаф, где упрятан покойник.
Корочка хлеба, мечты и окно...
И очень удобный за ним подоконник.

5

Трепет непознанной мысли,
хлеба кусок в котомке,
капли летят с карниза,
устраивая гонки.
Кто и когда осудит?
Нет измерения истины.
Что было, то будет – забудет,
покроет осенними листьями.
Ранней весной проклюнется –
где болью, а где утехой,
и выйдет в дорогу улица,
очищенная от снега.

КРУГ

Александра ДОРИЧЕНКО

Густой туман кругом. Не видно крон деревьев. Он очнулся здесь, тёплый и живой, среди холода и сырости.

Рука нащупала...спокойную поверхность воды. Чистый и свежий пруд, запах дождя и травы. Хорошо.

Встал, пошатнулся. Выдохнул облачко пара. Потёр замёрзшие руки о влажный свитер. Поднял свой отрешённый чёрный взгляд с земли, но неба не увидел из-за тумана. Хрустальные капельки дождя вмиг покрыли всё лицо.

Длинные русые волосы прилипли к тонкой шее. Слегка дрожащие пальцы коснулись лба.

Здесь нет запаха людей. Всё пропитано чистотой и гармонией. Идеальная тишина, покой, умиротворение. Лёгкие трепещут от невиданного количества воздуха. Голова с удивительной лёгкостью очищается от гнетущих мыслей. Больше ничего не болит. Ничто не волнует.

Он улыбнулся сам себе и бодро пошёл вперёд, переполненный странной пьянящей радостью. Это не наркотическая эйфория. Не алкогольная раскрепощённость. Не гудящая в сердце сладкая боль любви. Не небесный покой смерти. Это...

Счастье, возможно. В самом первозданном своём виде.

Зелёная поляна вскоре сменилась полем. Запахло разнотравьем. Хотелось плыть среди колосьев, травинок и цветов, наполняя себя этим запахом, окунаясь в него, хватая руками, ртом, прижимая к себе, целуя, не отпуская. Остаться навсегда, забыв, что есть люди, говорить с растениями, слышать их тихую щекочущую речь, любить по-настоящему сильно.

Но это подлое пустое нечто в душе всё равно продолжает требовать заполнить себя человеком.

Он почти бежал по серо-зелёному полю, смеялся и плакал, горячие слёзы скатывались по щекам и улетали в траву, звеня от раскатистого смеха, рассыпаясь осколочками горькой воды по тоненьким стебелькам.

Бежал, летел, рассекал воздух телом.

Пока не наткнулся на неё.

Увидев её чёрный силуэт, он резко остановился, поднялся на носки, словно за секунду до падения в пропасть. Она смотрела не на него, а в него, приглаживая белыми руками прямые чёрные волосы. Её глаза были воплощением печали, совсем не такие, как всё здесь; их грусть сталкивалась с безмятежностью пейзажа и, испугавшись, пряталась на дне зрачков. Тонкие красные губы горели увядающей розой на снежно-белой коже лица, всё в ней

было почти не живым, стоящим на грани, резким в своей предсмертной агонии. Болезненно красивая и волшебно ужасающая – оксюморон воплоти.

Она подошла к нему. Коснулась на удивление тёплыми пальцами его руки, повернулась и медленно побрела вперёд. Вздрогнув от неожиданного прикосновения, он последовал за ней, не задумавшись ни на секунду.

С каждым шагом становилось всё труднее дышать. Но он не отставал. Гнался за ней, тянулся изо всех сил, хватался за воздух, пахнущий её волосами, вспоминал глубину взгляда и чувствовал всем телом то мимолётное прикосновение. Чёрная. Тёмная. Как вырезанная из старой книги картинка, которую зачем-то вклеили в новую, пахнущую типографией, с гладкими глянцевыми страницами.

Тело больше не летело. Оно ползло. Конечности налились свинцом, трава царапала лицо, почва проваливалась, воздух давил то жаром, то холодом, усталость и измождённость лились потом со лба. Руки судорожно хватали следы, оставленные её ногами. Она не спешила, но он никак не мог догнать её.

Взявшийся словно из ниоткуда ветер ударил по щеке, заставив очнуться. Он срывал полевые цветы, кружа хаотичными букетами в воздухе.

Её волосы развевались, словно флаг пиратского корабля среди моря трав.

Поддерживаемый ветром, он встал на трясущиеся ноги. Поле-океан снова приятно качало его на своих зелёных волнах, ароматы флоры кружили голову и связывали мысли своими нежными лозами. Он жадно глотал каждый порыв свежести, готовясь к новой боли.

Она схватила его за руку и побежала.

Они оседлали ветер, взяли его за седую гриву, понеслись над морем зелени и остатками тумана, разбивались о трещащую по швам беспечность, смеялись громко, издевались над всем одиноким, презирали, ненавидели, калечили. Серое небо било их дождём, наказывало, как непослушных маленьких детей, навязывало спокойствие, но в ответ получало лишь насмешки и выброшенные остатки старой, засохшей, покрывшейся пылью глухой боли.

Ветер высадил их двоих, держащихся за руки, на краю скалистого обрыва, уходящего своими каменными корнями в необъятное взглядом тёмно-серое море.

Она посмотрела на него, как птица, жаждущая свободы, смотрит на своего любящего хозяина, как выращенный человеком волк на того, кто не дал умереть, как молодая лань на охотника, подарившего ей жизнь. Когда-то обиженное всеми существо, вылеченное теплом одного человека, не захотевшего больше причинять боль.

Благодарность и жажда свободы.

Её незримые крылья нависали свинцовыми тучами над его головой. Стоит только пустить её руку, она вырвется, взлетит, поднимется так высоко, как только сможет, разобьётся о небо, истечёт кровью от невиданной доселе свободы, распирающей изнутри холодными жёсткими руками.

А он не хотел такой развязки.

Отпуская кого-то, отдаёшь память о себе, взамен взяв память об уходящем. Обмен неприятностью, которую хочется выбросить из головы, скомкав, словно пожелтевшее ненужное письмо из далёкого прошлого. Записи можно сжечь, картины порвать, вещички-напоминания вынести на помойку. А память не вырежешь, не вытравишь ничем. Она как грязное, отвратительное пятно посреди белоснежной скатерти сознания.

Взял грубыми руками нежные крылья. Сжал, рванул, захрустел ломающимися косточками, не слыша отчаянных криков птицы, не обращая внимания на раскаты грома, не видя слёз и крови.

Её яркий, радужный, цветастый голос сметал всё на своём пути; последняя песня звучала чисто, без фальшивых примесей, падала с неба каплями красной краски, разливаясь кровавой водой по полю, скалам, бурлящему и бушующему морю.

Она упала на колени, оставив частички кожи на камнях. Облака и тучи наполняли её огромные печальные глаза до краёв, выливаясь слезами за пределы глубоких чёрных бокалов. С растрёпанных волос капали алые капли, стекали по плечам, груди, падали рубиновыми ягодами на платье. Угольный лес ресниц трепетал и дрожал, наполняясь солёной влагой.

В смерти своей она была совершенна.

Мгновение, второе – и бездыханное тело искалеченной птицы лежит на краю смерти, на грани жизни, над крутым обрывом, видевшим только море да влажный ветер, пахнущий водорослями и чайками. Песнь оборвалась, крылья сломаны, перья летят свободно, смешиваясь с лепестками полевых цветов, улетая туда, куда рвалась пернатая душа.

Он забирает её горячее сердце дрожащими от ужаса руками.

Он разрывает на себе одежду, клочья ткани летят в пропасть.

Зияющая мраком дыра в груди вибрирует и переливается оттенками серого и чёрного.

Он бережно кладёт неоценимое сокровище, драгоценный камень, священный орган в свою вечно открывающуюся рану.

Небо падает огнём, застилая глаза адской пеленой.

Сердце стучит так тихо...

Туман полз по земле мягким белым котом, не оставляя следов от когтистых лап.

Кто-то другой опустил руку в прохладный пруд, ловя окоченевшими пальцами красное перо, плывущее неуправляемым кораблём по мирной глади пресной воды...

Александр КИРОВ

ДЕВАХА С КОСОЙ

Я встретил свою первую любовь, когда поступил в универ, первого сентября, на лекции по Древнему Египту. Она сидела через две парты наискосок от меня и старательно записывала что-то в свою большую клетчатую тетрадь. У меня долго не хватало духу не то что признаться ей в своём чувстве, но даже заговорить с нею. Поскольку учился я блестяще и часто высовывался на семинарах, она заметила меня и как-то раз обратилась за помощью... Она! За помощью! Ко мне! Потом я провожал её по осенним улицам к зданию студенческого общежития. Мы долго стояли в вестибюле. Она смеялась. Когда я, набравшись смелости, безо всякого приглашения пришёл к ней в гости, она познакомила меня со своим другом, и сердце моё болезненно сжалось. Однако она как-то незримо и без слов дала мне понять, чтобы я набрался терпения. И действительно. Через два месяца они расстались, и почти сразу мы стали встречаться с нею. Следующие пять лет были самыми счастливыми в моей жизни, и я не хочу особенно распространяться о них... Скажу лишь, что мы поженились. Нам выделили комнату для семейных. Тёмными зимними и осенними вечерами мы читали классику – каждый у своей настольной лампы. А весной, в мае, когда сходил снег, она сидела в своём милом халатике на подоконнике – вся в закате – и пересказывала мне параграф из учебника Реформатского. Мы закончили филфак с красными дипломами. Она нашла очень хорошую работу. На телевидении! С перспективой!!! Я, естественно, рядом... С телевидением. То есть по другую сторону экрана. Она забеременела. Но с ребёнком мы решили обождать... Карьера... Понимаете?.. Неприятно, однако многие через это проходят – и ничего. А она умерла.

Перебивался я пару лет. Света белого не видел. Хватал мороку и водку. Потом ничего, очухался. Гляжу – работаю в сельской школе. И кругом люди. Присмотрел себе одну вдовушку лет под сорок. Чувств там особенных не было... Так... Сожительство. Но расписались. Своих детей у неё двое – куда ещё с нашей зарплатой? Жили... Стал я к ним потихонечку сердцем присыхать. Она баба хорошая. Всё для меня – обстирывала, кормила всякими вкусностями... Что ещё надо? Любовь? А может, это и была любовь? Я не знаю, а вы? Последнее время она мне всё что-то сказать хотела, но тут мать у меня померла. Поехал на похороны. А беда за бедой. Под нами старик жил... Нехороший человек, в общем. Водил к себе всяких... Заснул, видать, кто с сигаретой... Дом деревянный, старый. Сухая гниль. Сгоре-

ли мои – все трое. Только я думаю, что их уже четверо было. Вернулся, головёшки пнул – и снова уехал: в мороку и водку.

Нашлись люди. Помогли, подлечили. Оклемался. Смотрю – работаю сторожем в одной конторе. Нормально. На кусок хлеба хватает, а больше мне – куда? И не надо совсем. Жил-жил... И ёкнулся. В общаге рабочей через коридор девчонка-малолетка горе горевала. Сирота. Она учёбу из последних сил тянула – в техникуме связи. Ну, стала ко мне захаживать. Я ведь мужик незлой. Не верите? И копейка водится. Снюхались мы с ней. Стал помогать. Жить ко мне переехала. В одну койку, значит. Ну, техникум этот кое-некое допетала. Устроилась. Деньги получать стала. Зажили. Тут чего-то она странная какая-то сделалась... А я к тому времени уже понял. Любовь – это смерть. Понимаете? А смерть – это не старуха с косой, а деваха с косой, которая является раз в пять лет, тебя... очаровывает, душу из тебя выматывает, а потом умирает. А ты живи один и подыхай заживо! Не стал в этот раз ждать, когда сам растаю, а она меня и шмякнет. Лучше уж, думаю, я её... Выпил для храбрости... Да соседи чего-то уже учуяли, видать...

Но это вы уже знаете, гражданин следователь.

ДЕ-ВО-ЧКА!

Он буквально извёл меня этим криком за три часа пути.

Я подсел в вагон около шести вечера. Билеты в кассе вологодского вокзала были только на проходящие поезда, и я купил билет на адлерский, который возвращался с юга на север, в Архангельск. Ехать до пункта назначения мне нужно было часов шесть с небольшим. По сравнению с моими соседями, загорелыми курортниками, пилившими домой вторые сутки, это была просто-напросто пригородная прогулка.

– Де-во-чка! – услышал я через пару минут после того, как обосновался на нижней полке в середине вагона, а поезд развёл пары.

Ему было года полтора. Слово, которое он неустанно повторял и повторял, скорее всего, входило в десятку тех, какие он только ещё выучился говорить. А то и в пятёрку, в тройку, после «мама» и «папа».

Молодые родители мальчугана преспокойно дремали надо мной. Да и весь вагон был спальным. К двум детям, мальчугану, о котором я уже сказал, и девочке постарше, годиков двух-трёх, курортники, наверное, просто привыкли. Дети стали атмосферой вагона, так же, как, например, перестук вагонных колёс.

– Де-во-чка! – с восторгом вопил маленький, чумазенький, загорелый человечек с тем самым смешным пузиком, какое бывает у малышей с ещё не окрепшим прессом.

– Де-во-чка! – повторял и повторял он, неутомимый поклонник маленькой красавицы в сарафанчике.

Дети носились по вагону. Они таскали за собой куклу, потом бросили куклу и тащили за верёвочку машинку. Надоела машинка – организовали на пустующей нижней боковухе прямо напротив меня довольно уютный и симпатичный домик.

Мама девочки угостила их соком, и они сидели друг напротив друга: счастливый, потерявший голову от любви отец игрушечного семейства и волоокая красавица, которая делала вид, только делала вид, что всё это ей скучно, неинтересно, а сама купалась в лучах карих любящих глаз своего ненастоящего мужа.

В какой-то момент и я перестал слышать их крики и возню, и для меня они гармонически сплелись с движением и перестуками окружающего плацкартного мира...

– Де-во-чка!

От этого крика я проснулся. Но что изменилось в нём? Почему я услышал его?

Откуда взялось столько горя и неизбывной тоски в голосе ребёнка?

– Де-во-чка! – выкрикнул малыш ещё раз и зарыдал.

Я быстро понял, что произошло.

Детей уложили поспать. Пока малыш безмятежно дремал и видел во сне её – де-вочку! – та самая девочка вместе со своей мамой приехала домой – и сошла с поезда, не простившись со своим поклонником.

Что поделать? Девочки взрослеют быстрее, чем мальчики, и, как правило, не столь болезненно воспринимают острые углы жизни. Оно и понятно. Им выживать – для того, чтобы родить пару-тройку таких вот...

– Де-во-чка! – всхлипывал малыш.

Родители, как могли, успокаивали его, совали игрушки, которые мальчик с отвращением отпихивал от себя, гладили по светленькой головке, шептали ласковые слова. Но он был безутешен...

В течение часа. А потом вернулся к жизни. Начал смеяться. Звонко. Рассыпчато. И бегать по вагону с игрушечным пистолетиком.

Я выходил на станции Няндома. В моём невесёлом северном краю много мест и местечек с затемнёнными названиями, пришедшими из финно-угорских, а то и более древних, архетипических, как сказали бы учёные, языков.

Тихонько пробирался со своей большой неудобной сумкой по проходу тёмного вагона, стараясь не задеть головой и багажом свисающие с верхних и нижних полок ноги моих попутчиков.

А проводник – тот довольно бесцеремонно громыхнул сначала одной дверью вагона, потом другой. С грохотом обрушил к поверхности перрона металлическую подножку.

За спиной у меня кто-то охнул и заворочался во сне, забормотал спросонья. Но последним, что услышал я, выходя из вагона, был слабый крик, раздавшийся почти с того самого места, на котором раньше ехал я. Крик-воспоминание о не свершившемся и уже забытом. Крик из сердца. Из сокровенной глубины не повзрослевшей и не огрубевшей, не заплывшей жиром, не покрывшейся копотью или просто грязью мужской души.

- Де-во-чка-а-а-а...

СКАМЬЯ

– Голодов, Геннадий.

Хотя голос сверху раздаётся почти непрерывно, однако паузы, через которые это происходит, заставляет каждый раз вжимать голову в плечи.

Мой сосед по длинной скамье вдобавок хватается за сердце.

Негромко спрашиваю:

– Вы Голодов?

Он чуть заметно кивает.

Наверху что-то бубнят, как будто забыли выключить микрофон. Затем я отчётливо слышу шелест грифеля по бумаге. Я даже представляю себе её – эту длинную узкую полоску бумаги. На которой выводят число...

– Ну вот что – Голодов, - начинает рассуждать сверху тот же голос. - Жил вроде недавно. Начало двадцатого века. И написал много. Но... Даже при советах в школьные учебники не включили. Конъюнктурщик, словом.

Сотни тысяч глаз из темноты сочувственно смотрят на Голодова.

– Один экземпляр для благодарных потомков? – понимающе спрашивает наверху женский голос.

– Да зачем? Благодарные потомки, думаю, и без Пушкина обошлись бы. На переработку.

– Все пятьдесят экземпляров?

– Ну да. Поставьте чайник, Машенька. Пожалуйста. Я пока следующего гляну.

Наверху раздаётся тяжёлый звук. Наверное, брошенная книга шлёпнулась на пол. И раздаётся тяжёлый стук здесь. Голодов падает со скамьи на сырой цементный пол.

Появляются двое. Не знаю, кто они, но они всегда появляются.

Голодова уносят. Вернее, утягивают за ноги.

Наверху шуршание страниц.

– Иванов... Или кой там чёрт ИвАнов... Разбери их...

Не помню точно, как всё это началось.

Я жил на земле и писал честную прозу. Звёзд с неба не хватал, об этом мне часто говорили критики и другие писатели. А читатели меня читали. Да, наверное, если бы я был хорошим писателем, то сказал бы последнюю фразу как-нибудь по-другому. Но читатели, именно читатели, меня читали. Я был женат. Двое детей было у меня. Домик в деревне. Я восемь лет учился в университете. Жил это время в Вологде. Потом вернулся домой. Написал две книги рассказов. Потом ещё одну книгу, но издать не успел. Меня свалил туберкулёз на пятом десятке лет. Дальнейшее помню смутно. Сознание вспыхивало на страницах моей сирой прозы, которая знатокам казалось излишне простой, даже простенькой. Но люди читали эти страницы в домашних креслах, армейских казармах, лагерных бараках. В лаборантских НИИ. В школьных учительских. И везде я вспыхивал ненадолго. Помню все эти вспышки. Моменты радостного проживания жизни своих героев, а значит, и своей жизни.

Потом я снова как будто вспыхнул. Но в таких руках... Я даже не понял сразу. Чьи это руки, а когда понял, не вдруг догадался, почему именно они решают мою судьбу. Почему именно от них я здесь.

Нет, естественно, я бывал в Энске. Энск был город пропащий и захолустный ещё в моё время, а уж помер я лет шестьдесят тому как.

Гиблое место! У меня там был роман с женщиной-метеорологом, муж которой едва не зарубил меня топором. Не зарубил. Напомню, я умер от туберкулёза через пять лет. Здесь я не сразу понял, при чём тут Энск. Но всё-таки понял. Энск был самым не читающим местом в России. Там и читать было некому.

В Энске читали только дети, которые учились в школе. Школа была единственной в городе. Единственной и осталась. Других не предвиделось. В школе была библиотека, фонды которой не пополнялись с того времени, как туда попал мой последний сборник. И вот вышла какая-то чёртова бумага, по которой все ненужные книги – не ветхие, а ненужные, именно – НЕНУЖНЫЕ – нужно было списать.

Поручили это делать местному учителю русского языка и литературы. Он был некогда начитанным человеком, но, начав работать в Энске, читать перестал и оскотинился.

Ему-то и поручили рассортировать книги на те, которые оставить в ограниченном количестве экземпляров, и те, которые списать безвозвратно.

Мало кто знает, но если нас, писателей, списывают под чистую в мире живых, это незамедлительно отражается здесь.

И скоро, очень скоро, я узнаю, как именно отражается.

ИвАнова отстояли.

Классик.

– Иванович. Слушайте, Машенька. Вы когда-нибудь слышали про Ивановича?

Машенька никогда не слышала про Ивановича, потому что Иванович – это я. И если вы не понимаете связи между двумя этими положениями, то просто потому, что, сидя на длинной лавке, не ждали, пока вас не спишут в утиль.

Естественно, всё заканчивается тем, что я падаю на пол, а двое гавриков тянут меня за ноги. Сейчас мы узнаем, что же за дверью. Думаю, небытие. В его истинном, нефилософском смысле. Ан нет. Коридор. В конце коридора окно. В окне тёмно.

– Иди, – кивают мне в сторону окна, ставят на ноги, хотят, наверное, пнуть под зад, но не делают этого – не из милосердия, а в целях нецелесообразности: зачем тратить усилие на доходягу, который вот-вот...

Я пожимаю плечами, пытаясь быть мужиком, но меня штормит. Добираясь до окна, всё время держусь за стену. Добравшись, опираюсь на подоконник. И вдруг окно вспыхивает. Машенька едет в автобусе и читает меня, то есть мою повесть. Но как-то странно читает. Вспышка слабая. И длится недолго. Некоторое время стою в темноте. Недолго, месяца два. Потом опять вспышка. Совсем короткая. У меня отнимается левая нога. Стою на правой. Моя книга лежит в бане. Рядом с дровами. Из неё вырывают главы, растапливая ими печь. Вспышка – нет левой руки. Вспышка – я не владею рукою правой. Вспышка – и я лежу на полу без рук и без ног. Хорошо, что брякнулся с видом на окно. Вспышка – я не чувствую ничего ниже пояса. Не велика, прямо скажем, потеря. Видели бы вы местных красоток. Вспышка – нет брюха. Да и... Вспышка – меня стёрли уже до горла. Умирать не страшно. Уходить в небытие тоже. Вспышка – одна башка осталась. Успею ещё зафиксировать по старой доброй привычке? Вс...

– Мама! Мамуля! Смотри, что здесь написано!

– Сынок, дай сюда эту гадость. В плесени всё...

– Мамочка! Ну ты только почитай. Тут про одного бедного человека ...

Разминаю затекшие руки и ноги. Что за хрень? Кто-то толкает меня в плечо. Не сильно, почти дружески. Поворачиваю голову. ИвАнов машет рукой.

– Соблаговолите пройти со мной, многоуважаемый господин Иванович!

– Куда?

– На следующую скамью.

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ГРЕТХЕН КРЮГЕР

Просыпаюсь в 4.35 от странных звуков, доносящихся из квартиры этажом выше.

«Всё нормально, – говорю я себе, – ничего такого особенного. Просто Наталья не может заснуть и шьёт что-то на заказ».

С этой мыслью я иду на кухню. Жадно пью воду, прибиваю сигарету и возвращаюсь в постель. Наверху тихо, но, как только я ложусь, шум возобновляется.

«Ничего особенного. Наталья не может заснуть», – повторяю я себе. Но в этот самый момент в голове моей впервые проносится, что на самом деле это не Наталья шумит в

ночной тишине. Больно уж темно за окном. Слишком свинцово-чёрным кажется небо. Лишь луна желтеет в нём тем самым тусклым пятном.

«Это стучит швейная машинка Гретхен Крюгер», – раздаётся у меня в голове.

Гретхен Крюгер. Лишь сейчас я вспоминаю о ней. Что шьёт она, торопясь и под утро?

«Вицмундир для нового Наполеона», – снова помимо моей воли ухает во мне.

«Гретхен Крюгер шьёт вицмундир для нового Наполеона», – подтверждает своим стуком дьявольская швейная машинка сверху.

«Пустяки, какие пустяки», – мысленно произношу я, пытаясь придать своему внутреннему голосу успокоительную интонацию.

Гретхен Крюгер тем временем не унимается. А часы уже, наверное, показывают пять. Не могу протянуть к ним руку. Я начинаю проникать в тайну предрассветного часа.

Новый Наполеон не простит мне того, что я слышу. Никто не должен знать про этот самый вицмундир. Вицмундир – тайна, недоступная человеку: кто шьёт его, где шьёт и зачем шьёт. Почему же тогда я слышу звуки этой дьявольской машинки?

«Пустяки, – делает последнюю попытку вмешаться светлый голос внутри меня, – это Наталья. У кого-то должен родиться ребёнок. Обычный ребёнок. Пищащий свёрток, который требует молока, нежности и заботы...»

Новый Наполеон был очень недоволен тем, что я узнал о его пришествии и тем самым потревожил его покой. В наказание за это он лишил меня сна и заставил вечно лежать в темноте, слушая звуки швейной машинки Гретхен Крюгер.

Светлана ЗАГОТОВА

ИЗ КОРОТКОЙ ПРОЗЫ

НЕ ДЕПРЕССИЯ

1.

У меня депрессия. Лежу лицом в подушку, наволочку жую. Мой психотерапевт категоричен:

– Не-а, не депрессия. Ну, сама посуди, какая депрессия? Наволочку-то жуешь?

– Жую.

– Вот и я о том же. Перспектива просматривается. Жевательные рефлексы сохранены.

– А то, что жую, не вставая, одну и ту же наволочку на завтрак, обед и ужин, это нормально?

– Не депрессия – согласись, мобильник зарядила, меня набрала...

– Он знает обо мне всё – сама, дура, рассказала. Финита ля комедия. На фиг. Нажимаю delete.Третий раз удаляю из друзей в фейсбуке.

2.

– Ты уникум, — говорит мне доктор. Впервые встречаю человека, который слышит ток крови, чувствует, как по ней, словно крохотная лодочка, движется таблетка, как она растворяется, проходит через печень, распадается на одни химические элементы, соединяется с другими и тут же сигналит о сферах своего влияния в разных частях тела.

Вот волнообразно подернулась кожа у виска справа, через пару секунд резкий укол внизу живота, и тут же — будто к нему приложили горячий утюг — запек левый голеностопный сустав. Может, таким образом проявляются проблемные болевые точки? Чем не диагностика?

3.

Любите себя, и вы будете любимы другими. Есть такая сентенция. Некоторое время люблю себя. Чувствую, что уже устаю от этой неразделенной любви, а ничего не происходит. Другие никак не реагируют, не замечают, как я полнюсь, расширяюсь, свечусь. Внутрь не смотрит никто. Новейшие технологии, блин, а вот линз для просмотра внутренних миров не придумали. Не просматриваемые душевные пласты. Все смотрят поверхностно, сбоку.

Я ж не жадина, я ж не копила любовь эту, я ж отдать ее хотела, разделить...

Откликнулись, наконец:

– Что-то ты располнела. У меня есть неплохая диета, могу прислать.

– Давай. И для чего светилась? Будто любовь это и не свет, а вода, и она вытекает из тебя вместе с испражнениями и потом, оставляя незабываемое специфическое амбре.

СЧАСТЬЕ

1.

Он устроил охоту за счастьем. Оно не давалось. Беззастенчиво долго дразнило его, ускользая за горизонт. Наконец он взял его на мушку и, не раздумывая, подстрелил, как утку. Счастье икнуло, крякнуло и свалилось в траву. Трава покраснела от стыда и покрылась льдом.

– Что, так и будешь валяться у меня в ногах?

Он хотел было прикоснуться к нему, но так и не посмел. Просто небрежно пнул ногой.

– Зачем мне это мертвое холодное счастье!

Нога онемела. Язык не слушался.

На усыхающем дереве громко кричала старая одинокая птица.

2.

Выскочила из боли. Хотелось в радость.

Не проскочила. Застряла. Мысли кончились, кроме одной «назад или вперед?»

Назад в боль – не в радость. Вперед в радость – больно.

Бесконечная мысль о счастье.

ТИШИНА

Война. По всей окружности Земли. А ты в точке, из которой ее не видно. Чудо света. Сад камней. Значит ли это, что тебя не убьют?

День сегодня до изнеможения тихий. Не для ушей — для глаз. Фигурки людей передвигаются по улице, как по планшету. Можно, конечно, включить музыку. Но она сразу же обозначит жанр и все испортит.

Люди-коты мягко ступают. Каблучки не стучат. Все перешли на тапочки (балетки, кроссовки). Являются из ниоткуда. Вряд ли успеешь подумать, кто у тебя за спиной — легкий ангел с благою вестью или упырь с тяжелой дубиной? Кто выхватит тебя из великого множества шуршащих? Кому из них глянется душа твоя? Как узнаешь? Никак не узнаешь. Ты в тапочках. В белых?

Нет, с красной каймой.

Хотя цвет для вечной любви не имеет значения.

ДНИ ИДУТ

Дни идут, как чужие войска, наступают. Непрерывно захватывают территорию твоего тела. Дыхание рвется. Смыкаются связки. Что это? Экстаз? Оргазм? Кислородный коктейль экстази? Тебя сжимает неотвратимая Любовь Бога.

Сопротивление бесполезно. Как остановить врага, который – Любовь?

Как остановить сокотечение жизни?

На карте тела новые координаты. Сердце выпрыгивает из границ.

Сохнет, сохнет цветок. Вот и песня твоей души уже гербарий.

Сухое время в сухом остатке.

ГОРОД ПУСТЫХ ДОМОВ

Там не живут люди. Там не живут вещи. Там не живут тараканы. Тараканы и вещи следуют за людьми и умирают с ними. Но город пустых домов — живой город. Там живут стены, живут окна и двери. Они так близки друг другу и так похожи, что рождают ступени. Ступени захватывают пустоту. А пустота, как змея, обвивает их и шипит. Блажен, кто слышит пустоту. Он свободен в шаге своем...

Ступи в окно. Там есть ступень твоего падения и взлета. Как ступишь. Ступай по стене. Иероглифы своей поступи прочтешь через столетья. Иди по дверному тоннелю. Не дыши. Не буди ветер.

ПЕРЕВОРОТ

Мир кишит событиями, как червями. Заварить полынь, что ли? Одно наползает на другое. Даже не наползает — вползает, сдавливая восприятие. Вроде два события, а оно одно — распухшее и пустое.

Переворот в Зимбабве, и тут же переворот в крошечной непризнанной республике на другом конце света. Теперь черный человек живет ногами к небу, и белый человек живет ногами к небу. Переворот! Господь мечется. Какое тут может быть решение? Человеков нельзя оставлять в беде. Надо массажировать им пятки, восстанавливать энергию «Ци». А что? Наш Бог совсем не против методов акупунктуры, он и с китайцами на дружеской ноге.

Успокоить народ непросто. Применим чжэнь-цзю. Найдем нужные точки, приложим к ним холодные обжигающие звезды, как угли, проникающие сквозь ткани, вплоть до костей. И это не так страшно, как может показаться. И пусть ты вверх ногами, зато не убит.

А тут вдруг еще событие: маленький человек рождается с грыжей головного мозга, которая огромна, размером с его голову. К тому же оказывается, что внутри грыжи дополнительный живой мозг, практически третье полушарие. Родители в трансе. От малыша тут же отказываются. Вдруг инопланетянин? Да и кому нужен этот лишний мозг? Мозг без футляра. Как бы чего не вышло.

Украинские врачи проделывают уникальную операцию по ампутации грыжи, вместе с мозгом, разумеется. Операция проходит успешно. Теперь это обычный человек. Растет потихоньку... без родителей...

Кто-то во Вселенной играет в мячик. Подбрасывает планету вверх-вниз. Холодно-жарко. Переворот. Орбита смещается. Скоро полюса сменят друг друга, как на вахте. В головах тоже что-то смещается.

Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! У Иван Иваныча что-то с головой. Правое полушарие сотрудничает с ФСБ, левое с СБУ. Для ФБР не остается мозга. А хотелось бы...

В компьютере тоже какая-то сбивка. Постоянно гугл выбрасывает мне на страницу реквиемы: Ахматова, Моцарт. Есенинский Черный человек вольно прогуливается по улицам Харькова, ищет улицу Ленина и не находит. Декоммунизация. Читает вслух отрывок из поэмы Шевченко «Княжна». «Село! В душе моей покой».

Коммунизму — нет! Ха-ха-ха!

В голове всплывает картина «Рождение Венеры» Боттичелли. Смерть и рождение снова сбиваются в одну точку.

А ночью то ли сон, то ли явь. Заседание комитета Архангелов.

МИХАИЛ. Ну что, будем ставить их на ноги?
ГАВРИИЛ. Думаешь, поможет?
РАФАИЛ. Немножко подлечить стоит, наверное.
УРИИЛ. Да и образование не мешало б сделать доступней.
САЛАФИИЛ. Пусть лучше молятся почаще.
ЭГУДИИЛ. И трудятся не ради награды.
ВАРАХИИЛ. Благослови их на дела искренние, Господи!
ИЕРЕМИИЛ. Уравновесь печали и радости!
МИХАИЛ. А может, ну их! Начнем все сначала?

НА КОВРЕ

Рассказ из цикла «Я что, дура?»

Мама долго упиралась, не вызывалась, но ее таки вызвали. И хотя ее вызвали, вела она себя отнюдь не вызывающе, а сидела тихо и спокойно, как у себя дома, в скорлупе, утробе, без страха, так, будто ее невозможно достать, нельзя к ней дотронуться, пока она сама не захочет этого. А от нее, похоже, ожидали иного. Ее хотели достать: ожидался страх, расширенные зрачки, тремор, сумбур в речах и путаница в мыслях. А они, мысли эти, не хотели путаться — точнее, не хотели путаться с тем, кто хотел ее достать. Они не воспринимали его в ЕГО величии.

Он был обыкновенный начальник, но страх в испуганных глазах студентов повышал его статус и делал очень БОЛЬШИМ начальником. В общем, интриги нет — он был проректором одного интересного заведения, в котором училась Юлька, ее дочь. Ну что тут особенного? Он вызвал маму на ковер.

Ковер был чистым, отмытым, мама знала об этом. Отмытыми были и стены — студенты при поступлении подписывали нежную бумагу, — клялись в том, что они не будут пить, курить, материться и пачкать стены.

Но мама не взяла с собой тапочек и не потому, что не имела их, а из противоречивого и в некоторой степени патологического чувства противности, бунтарства и свободы. Видно для ее предков свобода эта была бескровной, не заводила в тюрьмы, не уничижала и не калечила, в общем, была не горькой, а, скорее, смешной, хоть это и горько.

Странный это был институт. Он странен уже тем, что поднялся на фундаменте ПТУ. Для тех, кто забыл — это профессионально-техническое училище, бурса, как называли его сами учащиеся. А было все так: у бурсы забрали здание, определив в качестве компенсации возможность для особо отличившихся пэтэушников бесплатно набираться высшего ума. Правда, бесплатность эта была спорной. Летом они под видом отработок ремонтировали здание, и очень сомнительно, что им за это платили. Возможно, кормили. Ну как не кормить. Неприлично не кормить рабов. А правила приличия в этом заведении были на первом месте. Более весомой компенсацией, конечно же, была компенсация для сотрудников. Многие из них, как по мановению волшебной палочки, превратились из преподавателей какого-то неизвестного училища в преподавателей высокочтимого института. Что интересно, ни разу не заело, все прошло легко, совсем не так, как превращаются брюки в элегантные шорты у Андрея Миронова в знаменитом фильме «Бриллиантовая рука», и не нужно было им для этого становиться кандидатами и докторами, нужно было просто иметь при себе особый талант. А какие у нас в стране бывают таланты?

Институт возглавил гэбист с интеллектом и верой в светлое будущее для послушных. Он был большой оригинал: он хорошо пел, знал историю, а еще Бога, Била Гейтса и саму Юльку в лицо.

Возник некий симбиоз особого отдела, осемененного программным обеспечением, и бурсы на основе скрещивания старых идей и новых технологий. Чудо! Настоящее чудо!!!

Да, вот еще, чтоб не забыть. Проректор (для удобства будем называть его просто «про»), который вызвал маму на ковер, был даже не преподавателем, он был завхозом со строительным уклоном.

Осмотрев маму, как шлакоблок или рубероид на красоту и выносливость, он упоенно принялся ее строить с применением цемента собственного приготовления.

– Вы знаете, почему я вас вызвал?

– Нет.

Он закладывает первый кирпич.

– Вашу дочь придется отчислить из института.

Глазки быстренько «майна», опускай вниз. Чувствуй, мать, себя виноватой, «мать твою!» Мама читает его мысли, и тут же, наперекор ему, делает глазки «вира». И без настойчивой фразы «а ну в глаза мне смотри, в глаза», смотрит ему прямо в глаза: — Это за отличную учебу?

Юлька, к его глубокому огорчению, была в числе лучших студентов.

– Вы что же думаете, что учеба это главное? — второй кирпич легко прилегает к первому.

– А что у вас главное?

Мама-то, по наивности, всегда думала, что в любом учебном заведении, главное — учеба.

– Имидж нашего института, — продолжает «про», — не в том, что мы даем глубокие знания, а в том, что у нас никто не курит и не пачкает стены. Так вот. Вы знаете о том, что ваша дочь курит? — Третий кирпич, четвертый, пятый — стена почти готова.

Мама знала, что Юлька иногда курит с друзьями, но очень редко. Вчера, — продолжил он, — она с группой других студентов была замечена преподавателем за гаражами возле гастронома.

– Этот преподаватель их пас? — искренне интересуется мама.

Кирпич немножко съезжает с предназначенного ему места.

– Ну, зачем же так грубо? Подойдите-ка сюда. — Он берет мастерок и ловко выравнивает подрастающую стену. Сам подходит к окну и призывает маму присоединиться к нему. Мама тихонечко приближается. Дом обретает площадь. — Видите. Вон там они стояли, глупые. — Затем, обнимая ее за талию, ласково произносит: — Господи, ну не идиоты... здесь же все просматривается.

Мама резко отстраняет его руку, легко соглашаясь однако с тем, что здесь все просматривается, как на ладони.

И тут же вспоминает того пастыря, вернее, пасторшу, по кличке «жена Светофора», о которой однажды рассказала ей дочь. Она осуществляла в этом заведении законную слежку. Ее должность называлась... Как же она называлась? Первым стояло слово «педагог», а последним, возможно, «воспитатель». А почему «жена Светофора»? Она добровольно взяла на себя капиталистическое обязательство научить всех студентов института правильно переходить улицу. Пасторша была такой худой, что когда пряталась за светофором, из-за него торчал только зонт. Студенты просто молились на дождь. Издали, завидев зонт, они бежали от него, как мыши от кота, бежали в любом, даже отдалявшим их от

дома, направлении. А вот когда было солнечно, их охватывал панический страх — каждый светофор представал перед ними в обличье монстра, и дети от страха ступали на «зебру» именно тогда, когда горел «красный». Тут-то их покрепче наручников и захватывали пасторские клещи.

– Ага, попался.

Провинившийся должен был унижаться, вымаливать прощение, с кожей сдирать со лба поставленное клеймо. Одним это помогало, другим было смешно, третьи жаловались маме, четвертые готовили себя к популярной профессии «киллер». Они убивали преследовательницу неоднократно в своих мыслях. Но она была бессмертна и вездесуща. Она могла появляться в нескольких местах одновременно, чем окончательно лишала студентов дара речи, да и, вообще, ума, зато развивала в них таланты изобретательности и ловкости, что впоследствии наверняка пригодились им в нашем изгибающемся обществе. В общежитии она проверяла по вечерам комнаты и выдворяла из них «лишних людей». Не совсем лишние, случайно приблудившиеся и засидевшиеся, при знакомом стуке каблучков, останавливали стук собственных сердец и незамедлительно растворялись за пределами недозволенного...

– И что теперь? — спрашивает мама.

Она упорно не понимает, чего от нее хотят.

– Вы мать? — Он бросает в нее очередной кирпич.

– Ну, мать. — Кирпич занимает место, согласно предназначению.

– И что же вы не учите своего ребенка жить?

– Учу.

– И чему же вы ее учите? — Новый кирпич. — Она должна знать, что то, что запрещено — запрещено! Она также должна знать, что если сыну ректора можно курить в кабинете ректора, то ей этого делать нельзя.

Он смазывает маму клеем, укрепляет стены дома, в котором отныне будет жить Юлька, ее дочь, но жить она будет в нем по его, прорабским правилам. Это дом, в котором будет комфортно ему, но не ей.

– Что ж вы не научили ее скрываться? — Он приступает к обустройству крыши.

– От кого?

– Как от кого? Вы что не понимаете, где живете? Пусть учится прятать следы. «Вы что, дура?» — читает мама подтекст в его глазах. — Вам что трудно было разъяснить ей, что можно было просто отойти за угол, и там никто бы ничего не увидел.

Дом почти готов. Он в эйфории. Брызжет слюной, плюет на маму и ее дочь с высокой горки своего ничтожества. Мама неожиданно строит ему глазки: два раза «вира», два «майна», непроизвольно пускает слезу и отворачивается. Действительно, могли бы спрятаться за угол. Глупые отличники, давшие подписку о некурении и нагло нарушающие протокол. Слова кончились у обоих. К тому же у мамы исчез язык, так что она даже не смогла показать его.

Недостроенный дом закачался, дал крен и стал разваливаться.

Пространство сместилось. Его слюна и ее слеза потекли параллельно. Все беспрепятственно растекались по своим мирам.

Мама текла, не замочив ноги, слегка увлажнив щеки, но в ее возрасте увлажнение щек косметологи настоятельно рекомендуют. Хорошее увлажнение — дорого, плохое — бесплатно. И она его получила. Сердце билось учащенно. Мама вышла на воздух и глубоко вздохнула. Потом еще несколько раз. Сердце немного успокоилось.

– Ну ладно, я понял, что вы меня поняли, — крикнул «про», высунувшись из окна.

– Я что, дура? — подумала мама, утекая, — я что, дура?

Лера МАНОВИЧ

ГОЛУБОЙ ДОГ

Лет с тринадцати девочки живут в ожидании любви.

Я жила в ожидании собаки.

Помню, как шла в субботу из школы – мы учились на шестидневке. Шла и вспоминала лица родителей утром. Как они переглядывались. Как торопливо закрывали за мной дверь. Совершенно точно, что у них была какая-то тайна. Вдруг, пока я была в школе, они поехали и купили мне собаку? Рыжего кокер-спаниеля?

Выйдя из лифта, я тихо подошла к двери. Прислушалась. Позвонила. За дверью раздалась подозрительная возня. Кто-то долго бегал туда-сюда. Потом дверь открыла растрепанная мама:

– Ой, ты уже пришла?

Мама смущенно улыбнулась. Никакой собаки не было.

– А где папа? – спросила я, хватаясь за последнюю надежду.

– Папа в душе, – отвечала мама и снова смущенно улыбнулась.

Мой отец, будучи наполовину евреем, а на вторую половину небогатым инженером, очень любил все уцененное.

После работы он отправлялся в рейд по комиссионкам. В природе не существовало сломанного или бракованного электронного прибора, который отец не мог бы починить. Наш дом наполнялся проигрывателями, магнитофонами, подогревателями и измерителями. У нас было даже устройство для прослушивания телефонных разговоров. Телефонный аппарат нужно было поставить на специальную подставку, и голоса начинали звучать громко, как радио. Непонятно, как с помощью этого устройства в маленькой двухкомнатной квартире можно было подслушать разговор.

В общем, не было уцененной вещи, которую мой отец не мог бы починить, пока не появился Рэдик.

Отлично помню тот теплый сентябрьский день. Помню всякое барахло, разложенное прямо на земле на старых покрывалах и моего отца, который переходил от одного продавца утиля к другому. Мы шли и грызли тыквенные семечки.

За барахлом тянулись ряды с овощами и фруктами. Дальше продавали мясо. Кровавые шматы висели на крючках и лежали на деревянных прилавках. За ними сто-

яли продавцы ремней, ошейников и клеток. Аквариумы. Блеклые рыбки в мутной воде. Хомяки. Свинки. Попугаи. Собаки!

Щенки спаниелей топтались в сумке, задрав ушастые мордочки и виляя хвостиками.

Отец, как и я, остановился и восторженно уставился на них.

– Папа! – воскликнула я. – Папа! – крикнула я, понимая, что и так все ясно и слова не нужны.

Хозяин поднял из сумки коричневого щенка с маслянистыми глазками. Щенок вертел хвостом и всех любил.

– Сколько стоит? – спросил отец.

Я замерла, затаив дыхание.

– Сорок, – ответил мужик.

– Сколько?!

– Сорок рублей. Отличный кобель. Родители чемпионы. Есть документы.

Это было запредельно дорого.

– А подешевле нет? – спросил отец, заглядывая в сумку. – Может, с дефектами какими-нибудь?

– Дефективных топим! – Мужик положил щенка назад в сумку.

Мы пошли к выходу. Если отец не собирался покупать собаку, то он тем более не собирался покупать ее дорого. Вокруг копошились дворняжки и полудворняжки. Но они меркли на фоне того щенка с масляными глазками.

И тут мы увидели их. Семью догов. Огромный голубой отец-дог и тигровая мать. Они величественно лежали на специальном матрасике и на фоне суетливой собачьей мелочи выглядели гордо, как львы. Они были лучше всех.

Прекрасен был и их приплод, в виде четырех лоснящихся крупных щенков. Мы остановились полюбоваться.

– Интересуетесь? – дружелюбно спросила сытая дама-хозяйка в красном пуховике.

– Просто смотрим, – сказал отец.

– Что смотреть – берите.

– Не потянем...

Но дама в пуховике явно была опытным психологом. Она заметила, как я смотрю на щенков, и сказала:

– Вон того отдам за символическую цену. За десять рублей.

В стороне от братьев сидел пятый щенок, мельче остальных. Не сказать, что цена в десять рублей была символической для нас. Но это был самый очаровательный и грустный щенок.

– У него врожденный дефект диафрагмы. Задыхается, когда бегает. Но, может, перерастет. И будет у вас шикарный дог.

Она взяла его на руки.

– Смотрите какой. Настоящий голубой дог.

Щенок тяжело дышал и виновато смотрел космическими глазами.

Мне до сих пор кажется, что возьми мы тогда другую собаку, всё было бы по-другому.

Я назвала его Ретт. В честь Ретта Батлера.

Мне он нравился больше всех в «Унесенных ветром». На фоне всех этих малахольных благородных лордов Ретт Батлер был единственным нормальным мужиком.

Через полгода Ретт стал больным, нервным псом-подростком с узкой как киль грудью. И из голубого превратился в грязно-серого. Собачники на улице шарахались от нас – при виде других собак Ретт начинал тяжело и хрипло дышать и пускать слюни.

На сильного и смелого Ретта Батлера он не тянул, и со временем стал просто Рэдиком. Псом-инвалидом.

Не знаю, зачем отец откачал его той осенью.

Рэдик заболел кишечным энтеритом, болезнью, смертельной и для здоровых собак.

Вся наша квартира была застелена газетами. Рэдик был ростом со взрослого дога и весил килограммов тридцать. Ходить он уже не мог – у него отнялись задние лапы.

Помню, как отец клал его в зеленый туристический рюкзак и тащил на платную капельницу. Каждый день. Ветеринар советовал не носить, шансов было мало. Но отец носил. Каждый вечер. Когда возвращался, застирывал куртку на спине.

Рэдик выжил.

Наступила перестройка.

Теперь надо было выживать нам – семье двух инженеров с догом, у которого была неусваиваемость кишечника.

Мы перестали убирать дома.

Странная штука, но бедности почти всегда сопутствует грязь. Хотя, казалось бы, ведро, тряпка и вода есть у всех и не очень зависят от дохода.

Мама уставала на работе. А я часами сидела в кресле как оцепенелая и перечитывала «Лолиту» Набокова. Мне нравился Гумберт Гумберт. Мне он нравился больше родителей, Ретта Батлера и всего того, что на данный момент могла предложить жизнь.

Серая тоска с космическими глазами грустно вздыхала в прихожей.

«Сами как кобели и собаку завели», – говорила бабушка.

Она имела полное право так говорить – мама часто прибегала к ней за деньгами. Бабушка давала деньги даже на мелочи: на носки, белье, колготки. При этом бесконечно штопала свои допотопные чулки, натянув на старую лампочку. Даже не штопала – она воссоздавала их заново.

Помимо прочего бабушка была диабетиком, и благодаря этому раз в месяц в нашем доме появлялась докторская колбаса. Розовая, со вкусом бумаги. Диабетикам ее выдавали по специальной книжке в магазине «Диета». А получали мы. Полкилограмма колбасы. Пища богов. Такая вкусная, что съедалась за два дня. Рэдик однажды стянул весь кусок со стола и изжевал наполовину. Тогда я впервые ударила его. Вторую, обслюнявленную половину я помыла под краном и положила в холодильник.

Второгодник Голосов спрятался на большой перемене под лестницей, и когда я проходила мимо, высунулся и ласково прошипел мне в самое ухо:

– Жидо-о-овочка.

Я сделала вид, что не расслышала, и пошла дальше. Но лицо горело так, как если бы меня неожиданно поцеловали.

Рэдик ел и ел, но оставался вечно голодным и худым как скелет. Гулять с ним было стыдно. Собачники говорили – вы что, собаку не кормите?

Мы кормили его как могли. Мясо мы и сами ели редко.

Отец тащил домой всё, что попадалось. Однажды зимой он привез из командировки петуха, сбитого машиной. Петуха он нашел на обочине в каком-то райцентре, куда ездил подписывать бумаги.

Он ощипал его, как может очистить петуха городской житель. Потом петух долго варился, распространяя по дому горький куриный запах.

Приближался выпускной. Клубы пыли катались по квартире. Рэдик вечно сидел у стола, развесив длинные слюни.

За ужином мама заводила разговоры о том, что дочь, то есть я, выпускница и почти невеста. И что надо бы меня обуть-одеть. Отец от этих разговоров нервничал и однообразно отшучивался, что молодость – лучшее украшение.

Платье к школьному выпускному взялась шить моя двоюродная тетка, мамина сестра, Татьяна. Она перебивалась одна с двумя мальчишками и подрабатывала швеей. Ткань дала бабушка из своих запасов. Серебристая парча. Когда-то такая ткань была шикарным приданым, но теперь вышла из моды. Таня долго думала, чем это платье можно «оживить». В итоге решили край обшить красной тесьмой. Получилось серо-голубое, с красной оторочкой идиотское платье Белоснежки.

Из детского сада, где Татьяна работала нянькой, она приносила пакет серых холодных котлет. Разогретые котлеты тоскливо пахли жиром и яслями.

Потом Таня переодевалась в длинную клетчатую рубаху и снимала мерки. Она аккуратно прикладывала сантиметровую ленту к спине и груди, что-то записывала, и от этого мурашки бежали у меня вдоль позвоночника. Мне не нравилась серая парча и красный кант. Но мне нравилась сама тетя Таня. Высокая, худая и резкая, как мальчишка. Было странно, что у нее нет мужа и есть дети.

В последний день мы засиделись у тети Тани до позднего вечера. Платье топорщилось на талии, и тетя Таня что-то там добавляла или ушивала под поясом. Потом в коридоре мама долго совала ей духи в маленькой коробочке, а она отказывалась. Но все-таки взяла.

Выйдя на улицу, мы увидели огоньки последнего уходящего троллейбуса.

– Беги! – сказала мама.

Мы побежали.

Мама упала и разбила обе коленки. Она сидела в троллейбусе и плакала. Ее колготки были мокрыми от крови. На коленях у нее лежало мое идиотское платье к выпускному вечеру, сшитое теткой.

Выпускной был ужасен. На танец меня пригласил не тот мальчик. Потом я выпила шампанского, и мы зачем-то стояли в коридоре у окна и целовались. Он сказал: «У тебя очень красивое платье».

Незаметно наступило лето.

Мне перепала счастливая возможность пожить в проректорском домике на студенческой турбазе. Рэдик поехал со мной.

На завтрак, обед и ужин я ходила с пятилитровым бидоном. Я ходила и собирала по столам все объедки, которые оставались от студентов. Я приносила полный бидон и вываливала в миску Рэдика. Он съедал всё.

Через пару недель он стал спокойнее и подернулся жирком. Он стал похож на дога. И самую капельку походить на Ретта Батлера.

Студенты, курсирующие мимо моего домика, спрашивали:

– Это голубой дог?

– Да!

Закурив, студенты шли дальше, и один говорил другому:

– А девчонка ничего. Сколько ей лет? У нее что, отец проректор?

Целую неделю я была шикарной девчонкой: дочкой проректора и хозяйкой настоящего голубого дога.

Именно тогда, когда Рэд наконец наедался досыта, он укусил человека.

И не просто человека, а ответственного работника деканата. Укушенная тетка оказалась главным секретарем ученого совета.

Трехразовые бидоны с объедками закончились, и мы вернулись в город. Вскоре закончилось и лето.

Рэдик снова стал худым и дерганым, тусклая шерсть летела с него и собиралась по углам. В коридоре стоял унылый запах псины и бедности.

Однажды к родителям без предупреждения заехали старые друзья, и моя сильная и уверенная в себе мама закрылась в ванной комнате. Ей было стыдно, что мы живем в такой грязи.

Тоска и разруха спускалась на семью, и мне казалось, что дело в этой собаке.

До ближайшей ветеринарной клиники было семь остановок. Нас с огромным тощим слюнявым псом выгнали из троллейбуса почти сразу. И пять остановок мы с ним шли пешком.

– Вот ведь доходяга, – сказал ветеринар и похлопал его по тощему крестцу. – Нормальные заводчики таких усыпляют.

– Он был очень красивый, – сказала я.

– Теперь и не скажешь, – ветеринар вопросительно посмотрел на меня.

– Можно сделать какую-нибудь операцию, чтобы он нормально дышал?

Ветеринар посмотрел на мои облезлые ботинки:

– Его можно только усыпить.

– И сколько это будет стоить? – я почувствовала, как холодок побежал по спине.

– Для этого он должен прийти с совершеннолетним хозяином. С папой или мамой, – ветеринар посмотрел на меня глазами, в которых тоже разлилось что-то холодное.

Был конец дня, час-пик, и я не стала пытаться залезть с собакой в троллейбус.

Мы пошли назад. Рэдик проголодался и тыкался в каждую урну, мусорку, в каждую валяющуюся у тротуара обертку. Мне надоело тащить его, и я отстегнула поводок. Рэдик быстро затрусил вперед. Рядом неслись по проезжей части машины. Я с замиранием смотрела, как он подходит к дороге совсем близко. Смотрела и молчала. Рэдик отбежал далеко вперед и тыкался в руки прохожим. Прохожие шарахались и кричали: «Чья собака?»

Я шла, спрятав за спину поводок.

Рэдик бежал впереди, но не убегал совсем. Когда я сильно отставала, он останавливался и ждал. Наконец, на его пути попалась мусорка, и он застыл у бака, принюхиваясь.

Совсем рядом со мной остановился троллейбус. Я запрыгнула в него. Двери закрылись. Рэдик жевал что-то у мусорки, низко наклонив голову.

В прихожей по-прежнему пахло псиной, и прямо перед дверью красовалось большое сальное пятно на обоях.

Я повесила поводок на крючок. Пошла на кухню, поставила чайник. Рядом стояла кастрюля с недоеденной Рэдиковой кашей.

Не знаю, сколько времени прошло. В квартире запахло гарью. Чайник сгорел. Я сняла его с плиты и с шипением налила заново.

Вскоре ключ в замке повернулся. Пришла мама.

– Почему у тебя собака на улице болтается? – спросила она. – Иду, а он у подъезда сидит.

Следом за ней зашел Рэдик. Грязные слюни висели до земли.

– Он убежал, – сказала я.

– У него еда есть? – спросила мама.

– Есть.

Я вывалила кашу в миску. Рэдик подошел и начал есть. Потом он вылизал миску и, не глядя на меня, ушел на свое место.

Рэдик вел себя со мной как раньше – просился на улицу, слушался, пригибался, когда ругали, подходил, когда я его звала. Он перестал делать только одно – вилять хвостом. Когда возвращалась мама, он стучал хвостом так, что пыль шла из старого коврика. Когда приходила я, его хвост шевелился еле-еле.

Отец уходил постепенно. То исчезая на ночь, то появляясь. Худая и замученная работой и вечным безденежьем мама варила по утрам кашу, и отец говорил ей:

– Почему у тебя такое скорбное лицо? Женщина должна выглядеть весело. Чтоб на нее было приятно смотреть.

Смотреть на меня ему тоже было не очень приятно. Он постоянно придирался и делал замечания. Он говорил:

– Ты превращаешься в бабу.

Баба. Странное новое слово, которым отец раньше никогда не пользовался.

Сам отец внезапно расцвел. Кажется, у него появились деньги. А у нас деньги не появились. Иногда он приносил для Рэдика большую кость с блестящими белыми хрящами. И подолгу смотрел, как Рэдик жадно грызет ее. Кажется, мой отец любил эту собаку больше нас.

А потом отец ушел окончательно. Он ушел к тете Тане. Той самой, двоюродной маминой сестре.

Спустя неделю, когда он забежал забрать какие-то вещи, мама сказала:

– Забери собаку. Мы ее не прокормим.

– Куда я ее дену? – сказал отец. – Там двое детей. Меня с собакой не примут.

– Если любят, примут, – сказала мама.

– Ты же знаешь ее характер...

Мы смотрели с балкона, как они уходили. Тощий как скелет Рэдик доверчиво трусил рядом с отцом.

Дойдя до угла дома, отец остановился и поднял голову, ища глазами наш балкон. Рэдик тоже остановился и поднял голову.

Этот кадр навсегда впечатался в мою память: голый осенний палисадник, ссутулившийся отец в плаще и серая худая собака с большой головой.

Рэдика я больше никогда не видела.

Много раз потом отец пытался мне рассказать. Но я смотрела в его тоскливые еврейские глаза и не хотела ничего знать.

До сих пор я не хочу ничего знать.

ГАЗ

(когда все выпьют)

И вот она ехала домой. Еще теплая, разгоряченная, как недоеденная еда на тарелке. И мужчина в вагоне метро. Да какой мужчина... лет двадцать. Уставился. Не в лицо, а на ноги куда-то, на сапоги. Постоит-постоит – и опять смотрит.

Лицо мальчика из хорошей семьи, с красивым подбородком. Нос крупноват. Она в молодости дура была. Таких боялась. Выбирала попроще. Теперь поумнела. И постарела. Но он все равно смотрит. Уставился в карту метро как будто, но смотрит. Она это внимание кожей чувствует. И она вдруг отчетливо видит квартиру, которую он снимает. Рядом с метро. Точно снимает и точно рядом с метро. Вот выйти, пройтись немного и зайти в подъезд. Она даже дом видит. Кирпичная такая пятиэтажка из желтого кирпича, поздняя застройка. Без лифта. Этаж последний или предпоследний. Квартира с почти домашней обстановкой – снимает у каких-нибудь евреев. В шкафах книги, фотоальбомы брошенные. Их еврейская жизнь выскользнула оттуда как ящерица, отбросив хвост. А отдувалась за них за всех какая-нибудь совсем нееврейская женщина, Валентина Михайловна какая-нибудь, которая стояла в этой уютной квартире, засунув голову в газовую духовку, чтобы умереть. Умереть из-за своего мужа Бориса Исааковича, который редкостная дрянь, когда выпьет. И сын в него пошел. И стояла нееврейская Валентина Михайловна на коленях возле газовой духовки, умирая даже не из-за всего еврейского народа, а из-за той его малой части, которая, когда выпьет, – вообще не человек. Но принести жертву до конца Валентине Михайловне не удалось, потому что пришел сосед и принялся трезвонить в дверь. И трезвонил он очень долго, в надежде на чудо, потому что когда человеку очень надо денег на бутылку, он всегда готов чудо увидеть и принять. И чудо произошло – на пороге появилась Валентина Михайловна: такая желтая и лохматая, а главное, – с таким огромным вырезом в комбинации, что сосед забыл, зачем пришел.

После Валентина Михайловна оделась, выключила газ и пошла, покачиваясь, в свою другую квартиру. Ночью ей приснился почти библейский сон – низкий, похожий на Гердта голос твердил одно и то же: «Авраам родила Исаака, Исаака родил Алкоголика, Алкоголик родил Алкоголика, Алкоголик родил Алкоголика...»

Через два дня она совсем поправилась, но квартира все равно стала местом ее гибели, и она временно распрощалась с ней, сдав квартирантам...

А она... она все еще едет, покачиваясь. Недоеденная еда, которую сейчас унесет официант. И он едет. Все едут. И если этот мальчик скажет ей сейчас «пошли ко мне», она пойдет. Тем более что она столько про него знает. В молодости ей нужно было знать человека не меньше трех месяцев, чтобы с ним поцеловаться, а если это – то еще больше. Потом, после неудачного «это», сроки еще растянулись, потом сократились, потом еще сократились, а теперь она едет поддатая домой к мужу, который надоел, от любовника, который надоел, и сроков вообще нет никаких. Есть только день и ночь. Жизнь и смерть. И если этот парень скажет «пойдем», она пойдет. Она уже знает, какой он, когда разденется. Белый-белый, но волосы на груди все равно черные. Вот такой и входил в Иордан, и голубь слетел ему на плечо. Белый голубь на белое плечо. Борис Исаакович тоже такой был в молодости. И Валентина Михайловна целовала его в ямку на груди и говорила – ты такой сейчас... грустный и усталый... и я люблю тебя, как Мария сына, когда его сняли. И мне грустно как Марии, и радостно как Марии. А Борис Исаакович улыбался ей одними глазами и отвечал: «Валя, ну что такое ты городишь?» И гладил. У него такие красивые пальцы. Какие-то вечные, что ли... он даже когда мальчик еще был, ребенок, а пальцы уже взрослые такие, умные...

Так... а откуда она это знает про Бориса Исааковича?.. Е-мое, а как же ей не знать про Бориса, если Валентина Михайловна – это она и есть! И парень этот, который на нее смотрит, – с ним они месяц назад подписывали договор аренды. Хрущевка, две комнаты, адрес такой-то. Договор на год. «Вы только осторожнее с вещами обращайтесь, там много личного». – «Хорошо, я ничего не буду трогать». – «Да нет, трогайте, только не выбрасывайте ничего». – «С какой же стати я буду выбрасывать чужие вещи?» – «Некоторые выбрасывают». – «Я не буду». – «А вот лучше бы выбросили!» – «Если надо, я выброшу». – «Ну я же не могу сказать вам: выбросьте всё, там вся моя жизнь и она не удалась. Я даже вспоминать ее не хочу».

А он смотрит так не испуганно, но с интересом.

Хороший парень. Фамилию не помню, но хорошая какая-то русская фамилия. А зовут Володя. Вот он потому и пялится. Узнал меня. А я дура старая.

И она трогает парня за рукав, он поворачивается к ней, и она с улыбкой говорит: «Здравствуйте, Володя».

А он отвечает: «Извините, вы ошиблись».

И всё. Даже не улыбается. Никто никуда не пойдет. Но все поедут.

И мы все едем дальше: Авраам, Исаак, Борис, Алкоголик, Сын, Алкоголик, Володя, Неволодя, Валентина Михайловна, я... И кажется, что поезд стучит колесами... Разве может он стучать? Это же другой поезд может, не этот... Или это в дверь стучат?.. Да, это в дверь стучат!

А почему все окна закрыты?! Дышать же нечем!

Господи, открой нам окна!

Срочно открой нам окна!!!

Елена ЗИМОВЕЦ

СТИХИ

* * *

Тебе не давали покоя цветные сны
и тот, чёрно-белый, в котором ты был один.
Когда пережил надежду, не жди весны,
а то, что тебе остаётся – тоска и сплин.

Любовь приходила трижды, но только раз
смела оборону, над бездной войдя в пике.
Но день озарился сиянием серых глаз,
а ночь согревала ладонью в твоей руке.

Тебе не давали покоя её слова,
ты мысленно их теребил, возведя в фетиш.
Как трудно бывает порой предъявить права
на то, чему сам без остатка принадлежишь.

Теперь ты остался один в непроглядном сне,
он был до отчаянья вещим и, в общем, – злым.
Когда ты оставил сердце в чужой стране,
ты, в сущности, знал, что никто не придёт за ним.

* * *

Белым по белому вышит небесный свод.
Только бы не споткнуться об этот сон.
Эхо играет на флейте, не зная нот,
чтобы любой был услышан и повторён.

Ладно бы сюр, но реальный вполне сюжет,
мир за кулисами быта и мелодрам.
Можно не сбыться, но это пока секрет.
Можно случиться, а как – ты придумай сам.

Этой негромкой участи не избежать.
Молча плати по счёту своей мечты.
Время поставит двойку тебе в тетрадь
за остроумную версию пустоты.

Чёрным по чёрному лягут твои слова,
тихим по тихому будет тебе ответ.
Эта вселенная в нас до того жива,
что невозможно свести её к точке «нет».

Шансы на вечность равны, а итог знаком,
розданы роли от пешки и до ферзя.
Можешь назвать это жизнью, а можешь сном.
В этой игре ни во что проиграть нельзя.

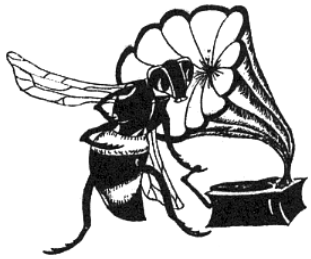
* * *

Ночь. Балкон. Тишина.
Две фигуры укутаны в пледы.
Полчаса до рассвета. Полбутылки до дна.
Колокольчики ветра под утлою крышей соседа
в наше прошлое робко вплетают свои письмена.

Две судьбы, две дороги, два мира таких непохожих,
мы сверяем под звёздами списки потерь и разлук.
Нам друг с другом легко быть собою – не лучше, не строже,
и не думать о том, как сжимается времени круг.

Сорок градусов в венах, и это совсем не смертельно,
сорок зим за плечами, а это уже не смешно.
Нам, по давности дружбы, полагался бы «Оскар» отдельный,
в номинации: «Самое длинное в мире кино».

Память – фотоальбом встреч, пейзажей, сюжетов.
И теперь, когда солнечный луч гасит свет фонарей,
фотосессией вечности кажутся два силуэта
в контражуре на фоне балконных дверей.



Ирина ВАСИЛЬКОВА

КАМУШКИ

Делала я тут недавно ремонт.

Естественно, разбирала кучу накопившегося хлама. И вытащила на свет ящик с камнями. Вот и лежат они передо мной – каждый со своей историей.

ХИЖИНА

Плоский шестигранник — кристалл мусковита (слюды, если кому непонятно). Привезен с Памиро-Алая.

Как-то раз, курсе на третьем, компания жизнерадостных идиотов собралась в зимние каникулы штурмовать Туркестанский хребет. На факультете нас отговаривали, но мы были молоды, горячи и бесстрашны. Родительские мозги удалось запудрить — мол, едем с преподавателем. Но ни один препод, естествено, в это бы не ввязался.

Путешествие в общем вагоне через Кызыл-Кум при 43 градусах мороза и выбитом вагонном стекле — это рассказ отдельный, поэтому пропустим. И еще много чего пропустим — напрасные попытки погостить на вилле Шарафа Рашидова, затерянный в горах почти средневековый кишлак Варух, ночное посещение местной бани, полночное чтение под звездами Омара Хайяма дуэтом с местным учителем, а также суровую игру в басмачей уже совсем высоко в горах, на фоне летней пастушьей хижины.

Был у меня в ту пору приятель. Бывший одноклассник, а к моменту авантюры — студент мехмата. Класический такой очкарик, и в некоторой степени паникер. Но хороший, очень хороший, и поэзию очень любил. Однако все Мишку пугало — осыпи, камнепады, случайное «купание» в ледяной горной речке (сильно подозреваю, что он являлся в этой безумной компании единственным адекватным человеком).

Тем не менее, всем казалось, что он достал компанию своим нытьем и приверженностью к технике безопасности. А нас было человек восемь, и в какой-то момент мы решили разделиться по парам, разбрестись по разным горным долинам и искать мусковит на склонах. Ну, естественно, математик достался мне в напарники. «Сама привела — сама с ним и разбирайся!»

Сначала мы с ним шли по дну долины по пояс в снегу. Потом наткнулись на пустую хижину, бросили там спальники и налегке полезли на склон. Очень было хорошо и весело — горное солнце печет с синего неба, а горы обал-

денные — это вам не Кавказ, это в сто раз круче! Короче, нашли мы выходы мусковита, наколотили образцов в рюкзаки, и тут моментально стемнело. Луны даже нет, звездочки какие-то, только от снега идет мерцание. Долина — далеко внизу, не видно ничего. У Мишки аж зубы застучали — как спускаться?

Ладно, говорю, садимся на задницу в снег — и на пятой точке вниз! Он кричит — ты что, техника безопасности, сейчас лавину спустим! А я что, я храбрая.

Ну, ничего не оставалось деликатному юноше, как этой дуре подчиниться, и вниз мы съехали довольно быстро, минут за двадцать. Дальше — больше. Где хижина — не помним. Темнотища, а мороз уже сильный. Он говорит — направо, а я — налево (ну, всегда же чувствовала, что у меня есть внутренний компас!). Естественно, Мишка уступил. А снег подтаявший схватился коркой наста — кромка режет, как бритва, и сугробы выше колена. И вот, проламывая корку, нагруженные тяжеленными рюкзаками, медленно движемся в неизвестность.

Через час Мишка сдался. Он упал на спину и сказал трагическим голосом: «Вот тут и замерзнем!» Ох, как я орала! Как пинала его ногами и тормошила — потому что самой страшно было, но сильной же казаться хотелось! Все-таки я его подняла — стала нести какой-то бред, как мы в Москву вернемся, как в консерваторию сходим или на Таганку...

Еще через полчаса мы нашли хижину. А там спальники. И спички. И остатки еды. Мишка упал на спальник и сказал: «Я никогда еще не чувствовал себя таким счастливым!» И не двигался долго-долго. А я насобирала каких-то щепок и сварила в котелке чай. Еще у нас были четыре сухаря и две пачки какао. И этим какао мы только и питались следующие два дня — я его потом лет десять в рот взять не могла. А Мишка меня как-то быстро после этого случая разлюбил и женился на девушке с философского факультета.

НЕФРИТ В ПОДАРОК

Анатолий Семенович казался мне замечательным.

Я училась вместе с его сыном, тот замолвил словечко, и папа взял меня в экспедицию в Забайкалье. Мы работали в Читинской области на урановых рудопроявлениях — впрочем, непромышленных. Рабочие рыли шурфы, а мы их описывали. В одном из шурфов обнаружился пласт отличной глины — красной, почти малиновой. Я лепила из нее красивые подсвечники для толстых свечей. Свечи отливались из огарков в консервой банке, подкрашивались пастой из шариковых ручек, а фитиль приходилось изготавливать из шнурка. Потом, когда я приволокла в Москву все свое богатство (подсвечники и великолепные образцы урановых смолок), папа вдруг засомневался и принес домой счетчик Гейгера. Ух, и трещал же он! Понятно, что все пришлось выбросить.

Так вот, как-то раз пошли мы с Анатолием Семеновичем в маршрут. Идем, он мне авантюрные истории из геологической жизни рассказывает, в которых он, конечно, всегда герой, а я так и млею, так и млею... А забайкальский ландшафт — он такой: отдельные сопки, покрытые лесом, а между ними широкие речные долины. Проходим мимо рабочих, роющих шурф — он с ними поболтать остановился, а о чем — я не слышу, в сторонке стою. Неудобно же ко взрослым мужикам подходить, беседе мешать.

Вот и наша сопка. Лезем вверх по крутой тропе, образцов наколотили по дороге. Поднялись на вершину, я планшет расстегнула, карту вынула, на земле расстелила и аккуратно на кальку наношу места отбора проб.И вдруг — страшный шум, да такой, будто через тайгу танк ломится, еще и приближается с бешеной скоростью. Я со страху остолбенела —

ничего не понимаю! И вдруг из чащи на нас летят два изюбря, огромные, рогатые, тонкие березки под ними так и ломаются. Треск стоит! Растопчут ведь! Но Анатолий Семенович – человек бывалый. Не растерялся, выхватил ракетницу — и в лоб им! Они в сторону отклонились, каждый в свою, и обтекли нас с двух сторон — только след простыл. У меня сердце колотится, но успокаивается постепенно.

И тут Анатолий Семенович ехидно интересуется — а ты поняла, чего это они? Ну, а я, разумеется, ничего не поняла. Так вот, продолжает шеф, ни один изюбрь на человека просто так не побежит. Пугнул их кто-то, и очень сильно. А знаешь, что мне шурфовики сказали? Что на этой сопке — медведь бродит!

Переглянулись мы с ним — и вниз, ну только что не кубарем по крутой тропе, скользя и хватаясь за ветки. Выкатились вниз, на чистое пространство, сели на берегу речки. Анатолий Семеногвич весь красный, холодной водой себе в лицо плещет. Посидели так минут пять, пришли в себя.

А потом он мне и говорит: тааак... а карта где? где карта?

И голос такой... металлический...

Там, говорю, осталась...

Ну иди и принеси! Как начальник требую!

А я что? Пошла и принесла.

Даже вспоминать не хочу, как я по этой крутой тропе обратно на сопку лезла, умирая от каждого шороха. Аж в висках звенело. К счастью, не было там никакого медведя. А карту принесла. И рюкзак с образцами. Молодец! — шутит Анатолий Семенович. А мне не шутится что-то.

Вернулись в лагерь молча. Я эту историю вечером у костра Игорю рассказала — он вообще-то сотрудником Института Механики был, но тоже решил летом романтики хлебнуть. Игорь долго ржал и, сочувствуя, подарил мне за смелость кусок нефрита — «цвета китайского плевка».

Сероватый такой, хотя чаще нефрит зеленым бывает.

И этот тоже теперь на книжной полке.

ИЗУМРУД ВМЕСТО ЗОЛОТА

Пишу я эти рассказики и в Живом Журнале потихоньку вывешиваю.

Народ, оказывается, читает. Даже комментарий анонимный пришел – давай, мол, про алмазы, рубины и изумруды. Но алмазов у меня нет. Рубин — искусственный, выращенный в Александрове. Неинтересно.

А про изумруд — могу.

.....

Было мне тогда лет двадцать пять. Доблестная команда сотрудников кафедры геохимии колесила по Приморскому краю. Нас возила машина ГАЗ-66, мы ее звали Марусей. Шофер у нас имелся настоящий, но время от времени он уставал, и рулить принимался мэнээс Алик по прозвищу Генерал — ну, этот так водил, что я ехать могла только с закрытыми глазами!Между делами мы отдыхали — снимали «базу», то есть комнату у одного старичка в поселке Домашлино (километров десять от поселка Тихоокеанского в сторону Находки). Тихоокеанский по-местному Техасом назывался. Двадцать минут до морского берега — а там пляж с песочком и вид на остров Аскольд, где лотосы растут. И до Японии рукой подать.

Осень наступила. В припадке трудового энтузиазма мы снялись с пляжа и поехали в путь неблизкий — к озеру Ханка. Там неподалеку большое флюоритовое месторождение — Вознесенское, если память не изменяет. Я тогда газово-жидкими включениями во флюоритах занималась.Покрутилась там наша компания дня три, и так заскучали бравые ребята, что захотелось им назад, к Японскому морю. Море в сентябре еще теплое. А я — младшая, меня и бросили грудью на амбразуру. Ты тут оставайся, образцы отбирай, а мы через недельку за тобой приедем. Посчитаешь заодно кое-что, здесь интересная аномалия вырисовывается. Справочника с собой нет? Привезем.

Ну, куда тут денешься? Уехали.

А я осталась в поселке Ярославка. Ну, это вообще отдельная песня — рудничный поселок. Постоянного населения мало, зато несколько общаг, где живут «химики» — те, которых из заключения выпустили, а уезжать не разрешили. Вот и я в такой общаге осталась жить.

Народ дикий и буйный. Лексика соответствующая. Днем-то что — я днем в карьере, хвостиком главного геолога Гены Литвиненко работаю. (Гена такой ... ну, вылитый тракторист из советских фильмов — невысокий, веселый, и русый чуб лихой). Камушков рюкзак в общагу приволоку, разбираю, в ящики складываю. Единственное развлечение — в книжный магазин еще наведываюсь. А книжный роскошный — такого ассортимента в Москве в те годы не было. Купила я себе Альбера Камю, ирано-такжикскую поэзию из БВЛ и Галчинского в переводах Бродского. Сидеть бы и наслаждаться.

А комната огромная — на 10 кроватей, и я в ней одна. Одеяла какие-то солдатские. Мышей прорва — только погасишь свет, шум страшный начинается. Одна мышь вообще любила залезать по занавеске (занавеской это можно было назвать только условно), а оттуда прыгать мне на кровать — и так каждую ночь. Потом она еще других привела — теперь они вместе прыгали. Замок не то, чтоб не запирался, но хлипкий был. Сидишь вечером, а в коридоре вопли — это девицы из соседнего номера кипятком из чайника назойливых кавалеров шпарят, как тараканов. Вдруг вселяется ко мне командировочная тетка — я просто счастлива была, хоть и мрачная соседка мне досталась — жуть! Бухгалтер-ревизор... Бдительная! Стул к двери на ночь придвигала, на него другой ставила , а мне и невдомек — зачем это.

Как-то раз среди ночи — грохот, замок слетает на фиг, стулья в стороны. Вламывается здоровый верзила и сомнамбулически, расставив руки (в одной из которых бутылка) и что-то мыча, движется в угол, где тетка спит. А я из другого угла кааак заору! Тут и она вскинулась — и мы как две сирены в ночи! Верзила повернулся и так же сомнамбулически удалился. Я думала, народ сейчас прибежит — куда там! Все привыкли.

Неделя прошла в таком духе, но я терплю — вот-вот должны приехать мои ребята. А их нет как нет! Еще три дня — приходит телеграмма : «Задерживаемся. Генерал сбил столб Техасе. Снег еще не выпал. Работы соответственно намеченному плану». А дальше цифирки, цифирки, цифирки... Данные из обещанного справочника. Меня тут же на почте чуть не повязали — решили, что шпионская шифровка. Пришлось с милиционером разбираться — он Гене Литвиненко позвонил, и тот мигом за мной прибежал. А я стою, вся зарыданная, как дура.

Забрал меня Гена домой, чай пить посадил (а чая настоящего у них в магазинах не было, воду чуть подкрашивали растворимым кофе и называли «чай»), и так я в домашнем тепле размякла — хоть ночевать просись. Про эту общагу дурацкую даже думать не хочется. Но жена-то Генина явно не в восторге от этой идеи. Тогда Гена мне и говорит — ладно, иди-ка ты к себе, а я тебе в утешение слиток золотой подарю, хочешь? И правда, выта-

скивает слиточек золота, примерно сантиметровый, тяжеленький такой. Я им любуюсь, в ладони качаю, потом на стол в комнате кладу и иду на кухню чай допивать.

А тут ватага огольцов — сыночек его десятилетний вваливается со своей компанией. Минут десять покрутились и ушли — нет слитка, и все тут. И стало мне еще грустней... Гена сначала разозлился, потом огорчился, а в итоге говорит — да ладно тебе переживать, хочешь изумруд? И подарил изумруд. Не ограненный, не ювелирный — настоящий природный кристалл в куске породы. Так я еще неделю и коротала время в общаге наедине с изумрудом. А через неделю наши доблестные мужики-геохимики наконец появились. Ну, я им все высказала!

А Гена следующей зимой в Москву приезжал, и даже ко мне в гости шел. Я на радостях стол накрыла, чаю лучшего купила, хотела ему подарить, чтобы они его с женой пили в своей Ярославке. Ждала-ждала — напрасно. Не дошел, потому что его в милицию забрали — подрался на улице. Я только потом об этом узнала, когда он уже домой вернулся и письмо извинительное написал.

А изумруд — вот он, на любимой полочке.

А еще с тех времен сохранился здоровый лист миллиметровки, где я всю нашу компанию изобразила в виде зверей. Еж, лягушонок, мышь и прочие... Сама я там — кошка с кофейником, а рядом стопка тех самых книг — Камю, Галчинский и ирано-таджики.

СОКРОВИЩА ФЕРСМАНА

Я стояла в бассейне МГУ на вышке и ужасно боялась прыгать, поскольку с плаванием у меня всегда была напряженка. Однако зачет надо было сдать. Сокурсники толпились внизу и подбадривали, я делала решительное движение, доска начинала нервно колыхаться, и я опять замирала. Никакие уговоры не помогали. Преподавательница фыркнула – «Ладно уж, слезай...» Но вдруг Женька заорал: «Если не прыгнешь – не возьму! Слышишь – не-возь-му!». И я прыгнула — только ради того, чтобы он взял меня с собой в очередное путешествие.

Смысл очередной авантюры заключался в том, чтобы доехать до Читинской области и там, на самой границе с Монголией, найти месторождения самоцветов, обозначенные на карте академика Ферсмана. Карту Женька обнаружил в старой книжке, изданной в 30-х годах, и уверял, что Ферсман не мог ошибиться. Два озера, Зун-Тарей и Барун-Тарей, разделялись тонкой перемычкой, там и находились вожделенные сокровища. Отношения у нас были братско-сестринские, что меня вполне устраивало. Женька слыл опытным походником и автостопщиком, вся организационная часть путешествия лежала на нем. Единственная проблема состояла в скудости финансов, но я надеялась на его смекалку и ни о чем не заботилась.

Через три месяца по диким степям Забайкалья брели двое голодных оборванцев. Мы прошли Каспий, туркменские пустыни, цветущий Узбекистан, рудный Алтай, пили байкальскую воду в Слюдянке и медовуху на заставе с пограничниками, воровали хлеб с горчицей в вагоне-ресторане, спали на вокзалах, в красных уголках и нищих деревенских избах, а то и просто в поле. И вот теперь почти достигли цели. Холмистая равнина была выжженной и рыжей. Грунтовая дорога уходила вдаль, но ни одной машины за день не прошло. Рюкзаки тянули вниз, но расстаться с добытыми в странствии турмалинами, лазуритами и яшмами мы были не в состоянии.

Тем временем стремительный клуб пыли, незнамо откуда взявшийся, приблизился к нам, и мы вдруг поняли, что это всадник. Он, впрочем, оказался всадницей. Высохшая бронзовая старуха-бурятка вперила в нас глаза-щелочки и поинтересовалась, куда путь держим. Потом дружелюбно утешила – вам вон на ту сопочку, а за ней еще одна сопочка, и с нее-то будет видна третья, там и озеро ваше. Намереваясь продолжить бешеную скачку, баба-яга было развернула коня, но вдруг еще раз с жалостью оглядела нас и предложила идти по ее следам, после чего умчалась как ветер. Через полчаса мы набрели на жилище. Не то юрта, не то беседка, внутри — расстеленные кошмы, сундуки и посуда. Хозяева по-русски говорили плоховато, но кормить путников, видимо, было в их обычае. Умыться только нечем...

Черты бурятских лиц несколько странны для европейского глаза – этакая вдавленная лунообразность, но многочисленные детишки, облепившие нас, были по-японски красивы. Знаменитый бурятский чай с густым жиром и солью в другое время вызвал бы тошноту, но после суточного воздержания казался не только вкусным, но животворным. Оставшиеся километров двадцать сразу показались плевым делом. Но тут произошло еще одно чудо – к юрте подъехал грузовичок-водовоз, и миляга-шофер обещал подкинуть нас до озера.

Часа через два мы ужинали с развеселыми трактористами на полевом стане, бурые озерные волны плескались у самых ног, комары жрали немилосердно, мне галантно пододвигали кружку с самогонкой, а когда я слегка окосела, устроили замечательное спальное место, свив прямо-таки гнездо из сена. Ложка дегтя в этой бочке меда все же нашлась – залетевший ночью в ухо комар вызывал страшную боль, и всю вторую половину ночи я пыталась вытряхнуть его оттуда, завистливо глядя на спящих богатырским сном мужиков. Но одна мысль все же делала меня счастливой – мы дошли!

.....

Ах, деликатные трактористы! Они не захотели испортить нам вечер. Грустную правду мы узнали только утром. Озер Зун-Тарей и Барун-Тарей больше не существовало. Лет 20 назад они слились в одно, теперь оно называлось Тарей, а перешеек с самоцветами ушел под воду.

МАРУСЯ И ВАСЯ

Следующим номером нашей программы была Шерлова гора.

Уже темнело, когда мы с Женькой добрели до окраины Нерчинска. Дорога была чудовищно грязной, комья наворачивались на ботинки, даже на обочине не посидишь. Еще и ветер дул студеный. Вокруг – только развалюхи и редкие огоньки. Ночевать постучались, как обычно, в первую попавшуюся калитку. Открыл худенький мальчик лет десяти и, ничего не спросив, пустил в дом. Он пил чай из серой алюминиевой кружки и заедал серым хлебом. В комнате возились еще двое малышей.

– Мамка сейчас придет, – без всякого выражения сказал мальчик и продолжал сосредоточенно жевать, – она в баню пошла. Дожевав, налил чаю и нам – из помятого закопченного чайника.

– А мы это... студенты... камешки ищем...

Он не реагировал и мы замолчали, не зная, о чем с ним говорить.

Через полчаса раздался грохот, слетевшая с петель дверь рухнула внутрь, и на пороге появилась редкой красоты молодая женщина в бесформенном ситцевом платье и ре-

зиновых сапогах на босу ногу. Яркие темно-рыжие волосы были распущены по плечам, щеки пылали. Она была пьяна и хохотала, как безумная.

– Мам, да ну тебя! – строго сказал мальчик и начал прилаживать дверь.

– Маруся! – представилась рыжекудрая, давясь от смеха. – Вам переночевать? Да что мне, жалко, что ли? Только кормить нечем.

Малявки выползли из комнаты и молча таращили глаза. Такого рванья, как их одежка, я не видала давно. Мне хотелось провалиться сквозь землю.

В комнате было почти пусто. Широкая кровать с какими-то тряпками в углу, у другой стены еще одна, с голой панцирной сеткой.

– Вам вместе постелить? – спросила меня Маруся и кинула на кровать телогрейку. Я испуганно помотала головой, тогда она царственно показала Женьке на грязный пол и залилась каким-то совсем уж истерическим смехом. Потом схватила малышей в охапку и завалилась с ними на кровать. Они будто ожили — запищали, запрыгали, и три смеха зазвенели как три колокольчика. Мальчик все еще чинил дверь. Женька раскатывал на полу спальник. Многодетная мать отключилась как-то сразу, малыши тоже утихли, прижавшись к ней. Старший, подойдя, стянул с Маруси сапоги, взрослым голосом пожелал нам спокойной ночи и погасил свет.

... Утром Маруси уже не было, малышей тоже. Мальчик налил нам чаю и ничего не спросил на прощание.

Через час мы сидели в кабине бензовоза и, трясясь на ухабах грунтовой дороги, излагали веселому конопатому шоферу Васе азы минералогии. Он слушал с увлечением, как дитя, и все время задавал вопросы. На стекло кабины были налеплены две фотографии – сердитый усатый Сталин и стоящая на коленях белокурая девица с голыми плечами и трагической мольбой во взоре. Имелась и поясняющая надпись – «Польша под игом Вроцлава». Пока я объясняла Васе, что шерл – это черный турмалин, Женька хищно вглядывался в окрестные поля, и когда он наконец заорал: «Кажется, турмалиновая жила!», Вася был уже готовенький. Он заглушил мотор и ринулся вместе с нами на рекогносцировку. Дайкообразная жила пересекала дорогу и уходила вдаль. Последующие пару часов мы так и ползли на карачках вдоль нее, постукивая молотками и выковыривая из раскрошенной породы черные шестигранные кристаллы. Особенно усердствовал Вася. Он пихал в карманы даже те обломки, которые мы забраковали. Его эйфория просто пугала. Когда мы вернулись к машине, он спросил, что нужно, чтобы выучиться на геолога. Услышав про вступительные экзамены, сник и затосковал. А на прощание даже предлагал мне на память свою «Польшу», от которой я по дурости отказалась. Он огорченно махнул рукой и рванул с места.

А мы с Женькой стояли на обочине и ждали следующей попутки – Шерлова гора была еще впереди.

И там нас ждали настоящие бериллы.

СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК

Александра НИКОЛАЕНКО

«Мафька, пефька, ойка, койка, кофар... кафька, дафька, бауфка, феуфка, фефя фафа, фефя гафа, афа пефлофна, фифа фефенна...» – загибает пальцы странный мальчик в яблоневой тени за беседкой, от усердия счета прикусывая язык, и когда пальцы его по очереди кончаются от мизинца к мизинцу, собираясь в чумазые кулачки, растопыривает их и начинает загибать снова:

«Фефоника никофавна, кофоедоф, гафка, тафка, бабуфка натафа, тефя ефеня... »

В дачном саду полдень, ирисы синие и высокие, стройные, флоксы, шиповниковые кусты, земляничные низкие темно-зеленые листья, бледнеет в земле, краснея второй щекой, распуская усы клубника, в сточной канаве за беседкой играет летний кузнечный оркестр, заходятся лягушки, солнце плавит небо, и над незабудковой россыпью беззвучно проплывают ватные тучки. От веранды, где бабушка странного мальчика на черной тяжелой чугунной сковородке жарит в подсолнечном масле оглушительно вкусные котлеты пахнет обедом, пахнет чем-то очень надежным, летом за летом, рассыпаясь на жирные брызги, смешиваясь с дачным деревенским, одиноким до самого-самого, самого завтра, и до послезавтра... Когда папа и мама странного мальчика еще не приедут.

Они приедут только вечером пятницы, и одиночество душит его, превращая заданный папой на неделю выучить столбик таблицы умножения, в беспомощное отчаянье.

« А феферь фы фсе умлете, по офереди...фломе моей мамы и фапы» – объявляет странный мальчик, в яблоневой тени за беседкой, и открывая спичечный коробок становится на коленки, перед вырытой в тени клумбы ямкой. На дне ее хворостинки, бумажные комочки газет.

«Но фофу-фо из фас пофезет, и он не умлет. Фы фсе фофяли фою фафафю?»

«В фыфых оффанефя фофько офин»

«Фафа и мафа»

И странный мальчик высыпает в земляную норку кучку перечисленных им выше по именам своих врагов, муравьев, и чиркает спичкой.

Муравьи умирают мгновенно, хотя по очереди, каждый по одному, и каждый, на почве своего беспочвенного оптимизма.

Владимир АЛТУНИН

ЗА ОГРАДОЙ

Пора уже было вставать. Но иногда это одни из самых сладостных в жизни минут, сон тебя уже отпустил, но ты еще частью сознания находишься в сказочной неге, ты расслаблен, в голову еще не лезут дневные назойливые мысли, и можно сполна отдаться этому восхитительному утреннему блаженству. Ему уже давно некуда было спешить, но все-таки валяться по утрам было не в его правилах, хотя и мог себе это позволить. Все-таки сделал себе приятно, полежав с полчаса, поднялся, подошел к двери и открыл ее. Легкий ветерок качал верхушки сосен, их апрельский, свежий, хвойный аромат пьянил и кружил голову. По небу, ставшему уже из зимнего, бледно-голубого синим, важно плыли белокурые, кудрявые облака. Весна вступила в свои права, и зазывное пение птиц, призывающих себе пару, было тому подтверждением. Еще вчера все было по-другому: робкое солнце, хоть и недолгий, но противный, моросящий дождь, сырость и уныние. Сегодня же все было иначе, дивное апрельское утро, яркое солнце, как будто наступала совсем другая жизнь. Сколько он себя помнил, почти всегда в этот день была хорошая погода, а может ему это только казалось?

Он подошел к умывальнику, прикрепленному к стволу сосны, умылся, и тщательно побрился. Холодная вода взбодрила, вернулся, и не спеша начал собираться. На маленькой керосинке сварил кружку чая, распаковал пачку галетного печенья, позавтракал сам, и покормил бойкого щегла в клетке, висящей под потолком у маленького окошка.

Звали его последние годы Тихоней, за то, что всегда был молчалив и угрюм, и он уже к этому привык, да и безразлично ему было, как его называют. Он давно смирился со своей новой жизнью, хотя сам жизнью свое существование в этом мире давно не считал, ведь последние несколько лет был бомжем. Заброшенная бетонная коробка трансформаторной будки в сосновом лесу, недалеко от кладбищенского забора, уже два года была его жилищем. Он как мог, ее привел в порядок, утеплил, залатал крышу, врезал в дверь замок, и получилось очень даже неплохо. Внутри было сухо, маленькая буржуйка, сделанная из старого газового баллона, давала тепло, а в крохотное окошко под потолком в погожие дни даже заглядывало солнце. Здесь уместился небольшой топчан, пара картонных ящиков с кое какими вещами, стоящие один на другом, служили столиком, и еще оставалось немного свободного места. Условия если не шикарные, то вполне

приличные. А щегол в клетке, небольшой приемник на батарейках, и керосиновая лампа, создавали некое подобие уюта. Он был очень доволен. Пройдя вокзалы, подъезды, подвалы, чердаки, бойлерные, теплотрассы, он наконец нашел свой маленький уголок, где никто не пинает ногами, не плюет в тебя, не оскорбляет, не спускает на тебя собак, и ты можешь находиться совершенно один. Единственно, что ему мешало, так это блохи. Как он не пытался, но вывести их так и не смог. Но грех ему жаловаться, большинство таких, как он, не имеют и этого, хотелось бы скоротать здесь оставшиеся годы. Ему было уже за шестьдесят, кто знает, сколько еще впереди, он ценил, что имел, а что такое, как о чем-то мечтать, он не знал уже несколько лет.

Недолгие сборы, и он закрывает за собой дверь на ключ. Чисто выбрит, светлая рубашка, серый плащ, вычищенная обувь, сегодня особый день, и он немного вырядился. Он совсем не был похож на бомжа, скорее напоминал участкового врача, или деревенского учителя.

Кладбище было метрах в двадцати за его будкой, и он мог свободно попасть на территорию через дырку в заборе, как каждый день, но он неторопливо пошел в обход, к центральному входу. В киоске купил коробку конфет, у торговцев гвоздики – лампадку, перебросился с ними парой слов, ведь все они его давно хорошо знали, и подошел к воротам, у которого уже стояла на посту, с протянутой рукой, и страдальческим выражением лица, словно только вчера похоронила всех родственников, цыганка. Он ее тоже знал, звали ее Баваль, что на ромском означает ветерок, но сама она внешне и характером была больше похожа на торнадо, будучи высокой, крупной, с гигантской грудью, готовая смести все преграды на своем пути.

Она ему улыбнулась: «Тихоня, давай сегодня погадаю, а? У тебя же сегодня особенный день».

«Мы же с тобой уже говорили: я могу сам себе что угодно нагадать, если надо».

«Нет, дорогой, Господь вашему народу не разрешил этим заниматься, это грех страшный, кто из ваших решит войти в эту воду, того ждут тяжелые болезни и много горя, а нам можно это делать, нам позволено».

Тихоня отрицательно помахал головой, и сунул ей в руку купюру. Цыганка внимательно посмотрела ему в глаза, и взяла его за локоть:

«Ничего не бойся. Самое страшное у тебя уже позади. Не забывай, все, кто работает на кладбище, попадают в рай».

Он кивнул, прошел через ворота, и направился вглубь по аллее, здороваясь по пути с встречающимися работниками. Два года назад, с разрешения директора, ему позволили здесь подрабатывать, и с тех пор, он здесь и остался. За это время начальство поменялось уже несколько раз, но он здесь прижился, претензий к нему не было, будучи трудолюбивым и молчаливым, что было немаловажно, ведь приходилось видеть здесь всякое. Молча, бесплатно делал чужую работу, благо на кладбище она всегда есть, убирал мусор, снег, пилил деревья, словом, делал все, что скажут, ни увиливая, и не ленясь. Попутно и себе здесь всегда можно заработать на кусок хлеба, да и сколько ему надо? Людей сегодня было уже больше обычного, впереди поминальные дни, вот когда здесь будет столпотворение. В такие дни он на кладбище не ходил, а шел в город, или в лес, он не мог видеть вакханалию, которая здесь разворачивалась. Толпы народа стекались сюда с полными баулами еды и выпивки, как на пикник, и все заканчивалось разве что не танцами. В последние годы даже бродячие оркестры стали устраивать здесь представления. Видите ли, может усопшие хотят послушать любимую ими при жизни музыку! Бред. Им нужен только покой. Хороша традиция, раз в год прийти на могилу родных, пить, жрать, вот это

по нашему, по христиански. А потом могила зарастает бурьяном с человеческий рост, но человек спокоен, что свой долг им выполнен, и так до следующего года.

Наконец, пройдя почти в конец кладбища, остановился возле могилы. Зажег лампадку, уложил аккуратно цветы, коробку конфет, и присел на край скамейки. Здесь были похоронены его родители, а сегодня был день рождения мамы. Когда ее не стало, священник на похоронах сказал, что можно забыть про день рождения, а нужно помнить о дате смерти, но он так и не смог к этому привыкнуть, и этот день для него всегда был особенным. На ней держалась вся семья, и когда ее не стало, все рассыпалось в одночасье. Он начал пить, а родной брат забрал его паспорт, подсунул ему на подпись какие то бумаги, которые он не глядя, подписал, и остался в итоге без квартиры. Типичная история, которых тысячи, не он первый и не последний. Нет квартиры – нет прописки, а без паспорта вообще непонятно что делать. Да, любил он иногда выпить, чего греха таить, но как-то безобидно, ни разу не напившись до безобразия, безвредно, не причиняя окружающим никакого беспокойства и хлопот, и выпившим становился еще добрее, тише воды, и все время улыбался. Где-то во Франции, у него вырос сын, а может, уже есть и внуки, но они давно не виделись, и были чужими. Бывшая жена вышла замуж за француза-африканца, уехала к нему с сыном, и больше он их не видел и о них не слышал. Из попыток что то изменить ничего не вышло, да и что он мог сделать? Наверное, это его путь, и нужно пройти его до конца. Ты человек для всех до тех пор, пока у тебя есть крыша над головой, а когда ее нет - ты сразу превращаешься в изгоя, ты бич, бомжара, ты никто, и зовут тебя никак. Люди почему-то более милосердны к животным: строят приюты для собак, вешают скворечники, а к потерявшим крышу над головой относятся пренебрежительно и надменно. Оказавшиеся волею судеб на улице в большинстве своем начинают беспробудно пить, опускаясь все ниже и ниже, теряя человеческий облик, хотя сами в этом очень часто и не виноваты. А человеческое общество вспоминает о милосердии к таким лишь у ворот храма, да на Пасху.

Он поднялся, и побрел обратно. На этот раз, он не пошел через центральный вход, а покинул кладбище через дырку в заборе. Подошел к своему жилищу, и увидел трех работников в черных комбинезонах, с надписью на спинах «ОБЛЭНЕРГО», один из которых пытался с помощью монтировки взломать его дверь.

«Здравствуйте. Вы что то хотели?»

Монтеры обернулись, а тот что с монтировкой, прекратил ломать дверь. Тихоня подошел, достал ключ и открыл ее: «Что вам угодно?»

Они молча заглянули внутрь, но никто из них не зашел. Самый старший смотрел на Тихоню, он явно не был похож на бомжа:

«А вы кто?»

«Я здесь живу».

Старший еще раз заглянул внутрь и обернулся: «Странно. Я вижу у вас здесь порядок, а мы думали, что здесь разруха». Он снял кепку, и почесал затылок:

«Мужик, через неделю мы будем устанавливать здесь трансформатор. Спасибо, что поддерживал здесь порядок. Поверь, нам жаль. Тебе придется подыскать себе другое место. Извини». Он махнул рукой, позвав за собой остальных, и они ушли.

Тихоня зашел внутрь, закрыл за собой дверь, сел на топчан, и уставился в стену. Так он просидел около часа. Встал, вынес клетку с щеглом на улицу, поставил ее на пенек, и открыл дверцу. Птица не раздумывая, пулей покинула клетку и исчезла в кронах деревьев.

Вернулся обратно, закрыл дверь на ключ, достал пакет с сухими травами, корешками и ягодами, и заварил себе крепкий отвар. Этого должно хватить, и не на одного. Он хоро-

шо разбирался в травах и растениях, сколько все таки их ядовитых, растет вокруг, в лесу, во дворе, даже на подоконнике в квартире, а человек даже не догадывается, что рядом с ним такое количество смертельной отравы. Он подождал, пока зелье остынет, выпил все содержимое, лег и закрыл глаза. Вот и все.

За дверью все так же шептались сосны, и лес звенел от веселого гомона птиц. Из чащи выпорхнул щегол, залетел к себе в клетку, примостился на жердочке, нахохлился, закрыл глаза и уснул.

Ирина ВИТКОВСКАЯ

ПРО ВАРЕНЬЕ

В 1975 году мне было семнадцать лет. Мы с папой в тот год путешествовали по Крыму на автомобиле. Незабываемо. Но две короткие недели промчались, как сладкий сон, и надо было возвращаться домой.

... Наш пыльный, крашеный веником, гремящий всеми частями тела «Москвичок» трюхал по пыльному шоссе уже почти в ста километрах от дома, когда папин зоркий глаз выхватил как-то кривовато съехавшую на обочину небесно-голубую машинку и людей, копошащихся около неё.

Кодекс советского автомобилиста предписывал немедленно остановиться и оказать помощь. Что мы и сделали – съехали с дороги и притормозили чуть поодаль от терпящих бедствие.

– Жигули третьей модели, – завистливо вздохнул папа, опознав чудо отечественного автопрома, и мы быстрым шагом почапали узнавать, что случилось.

Людей оказалось четверо: глава семейства курил в сторонке с непроницаемым лицом, девочка моего возраста стояла чуть правее и смотрела в сторону луга, обрамлённого пышными кустами с жёлтой тропинкой сбоку, спускающейся к речке. По склону, ведущему вниз, бежал, подпрыгивая, кружась, мальчишка-подросток лет одиннадцати; он задирал голову к небу, что-то восторженно кричал, размахивая руками... Устал в машине, видимо. За открытой передней пассажирской дверью угадывалось какое-то копошение; женская рука выбросила на обочину резиновый коврик.

– Здравствуй, – в спину девочке произнесла я, – я Ирина.

Девочка оглянулась. Она оказалась такой красивой, что мне немедленно захотелось причесаться. Тёмные волосы, высоко забранные в конский хвост, чудесные синие глаза, чуть подтянутые жёстко схваченными волосами к вискам, маленький улыбчивый рот с мило вырезанной верхней губой...

– Я – Лена, – немедленно откликнулась она. Рот приоткрылся в улыбке и показались сахарные зубки, не идеально ровные, а немного «толкающиеся» друг с другом, словно им было тесновато. Но от этого девочка выглядела ещё милее.

Между тем, над дверью показалась голова мамы. Она сделала шаг вправо, распрямила затёкшую спину, и на пару секунд застыла перед нами во всей красе. Вот это было нечто! Это была Джина Лоллобриджида и Лолита

Торрес одновременно! Яркие, удивительные, фиалковые глаза, капризно изогнутый рот, от которого глаз оторвать невозможно, тёмные короткие кудри, растрёпанные, буйные, вольные, и в то же время как-то очень правильно обрамляющие голову, идеальный овал лица, нежная родинка на щеке... Из-за капота машины было видно только верхнюю часть её тела – ловко схваченную сарафаном тонкую талию, высокую гордую шею, обрамлённую какой-то шлейкой, поддерживающей сарафан... Звезда итальянского кино.

Я перевела взгляд на девочку. Та была выше ростом, крупнее, выглядела попроще. Лена с улыбкой наблюдала за моей реакцией – привыкла, видимо.

Женщина тем временем, бросив на нас сердитый взгляд и не ответив на моё робкое: – драсс..., вновь исчезла за дверью. Папы курили в сторонке, о чём-то переговариваясь.

– Так что случилось-то? – спросила я, – плохо стало в дороге? Тошнило кого-нибудь?

– Да нет, – сказала Лена, понизив голос, – это мама варенье разлила.

Между тем, по мере того, как удалялся или приближался к нам бегающий мальчик, стало слышно обрывочно слова, которые он радостно кричал в небо: господи... спасибо тебе... хорошо-то как... счастье какое, боже мой... И это было странно.

– А этот тогда чего радуется?

– Серёжка? Ну как тебе объяснить... Понимаешь, у нас мама... такая очень... Ну, практичная, что ли. Ей из любой ситуации надо извлечь максимум. Вот, например, она не может просто в лес поехать гулять и наслаждаться, ей обязательно оттуда что-то унести надо. Грибы, ягоды, само собой, а если нет ничего – лист лесной малины, иван-чай, хоть шишки для дачного самовара. Мы когда только на лесную дорогу сворачиваем, она сразу про всё забывает. Такое впечатление, что грибы, например, уже под землёй видит, когда они ещё и не проросли даже. Вот едем, быстро, а она: Вадик!!! Стой!!! Гриб!!! Гриб!!! И точно. Гриб.

– Но сейчас же вы не из леса едете?

– Не из леса. Мы сейчас в Крыму отдыхали, у дяди Лёни. Она варенье весь отдых варила, мы и сахар специально с собой везли. Там абрикосы бесплатные, в Лёнином саду. Все купаются, в горы ходят, а она варит. Ну, и злится, конечно. Наварит – три или четыре полиэтиленовых мешка друг в друга – разольёт по ним варенье, и мы потом везём... Завязывать их нельзя, варенье может забродить. Поэтому мы всю дорогу едем как истуканы – между ног у каждого мешок с вареньем, два ещё между нами с Серёжкой на заднем сиденье, специально укреплённые. И три у неё, на переднем: один между ног, и по одному за правой и за левой ногой.

Я попыталась представить картину размещения мешков с вареньем. Получилось плохо.

– Ну?

– Вот и ну. Не знаю, что уж там случилось, заснула, может... Хотя вряд ли... Папа-то точно не виноват, он уже насобачился плавно и быстро ездить, чтоб не колыхало... Короче, как-то дёрнулась она, и – одно за другим – варенье всё – бряк на пол... И сидит, по колено в варенье... А закричала когда, мне показалось, «Скорая помощь» с сиреной за нами едет...

Помолчали. Надо было переварить сказанное.

– Ну... а брат-то чего радуется? – мне почему-то надо было выяснить всё до конца.

– А ты послушай, что он кричит, – предложила Лена.

Мы опять замолчали. Я прислушалась. Порыв ветра донёс очередной сумасшедший крик:

– Госссподи!!! Гос-с-споди! Благодарю тебя, боже мой!!! Спасибо тебе! Что это не я!!! Как хорошо, что этот не я-а-а-а!!!.. Господи-и-и!!!

Всё стало ясно. И мы поехали дальше. Но весь оставшийся путь перед глазами стоял маленький живой самолётик, кружащийся на зелёном лугу с раскинутыми руками, радостным криком благодарящий небо.

За то, что не он опрокинул варенье.

ПРО МЕДИЦИНУ

Господи, если бы вы только знали, как мне бывает тепло, когда мама рассказывает про своё детство! Как покойно, как радостно душе слушать сто раз переслушанное...

Мы сидим за круглым кофейным столиком, её пальцы сахарными щипчиками отламывают от бесформенного карамельного сахара-леденца крохотные кусочки и сыплют в блюдце.А я туда-сюда переставляю чашки, вытряхиваю сушки в хлебную корзинку, опускаю чайник на свёрнутое вчетверо полотенце – мельтешу, одним словом. А сама подталкиваю, выкруживаю, подвожу свою родительницу к желанным воспоминаниям. И она, сама того не замечая, поддаётся, жёсткие черты мягчают, уголки рта ползут вверх, чуть приопускаюся веки... Замри, секунда! Вот-вот выдохнутся лёгкие, невесомые, такие желанные мне слова; поплывут декорации, образы.

Сегодня – про Тамарку. Это её отчаянная подружка: такой же коновод, как и она сама. Даже странно: как в одной дворовой шобле уживались два атамана?

А уживались.

– Ничего... Я хоть тощая была, но хлёсткая... Вёрткая. И рука тяжёлая, не подходи!!! Спускать никому не собиралась.

– А Тамарка?

– Тамарка? – звякает чашка о блюдце, ладонь подпирает подбородок. – Тоже, та ещё... Она и выше меня на полголовы, и в теле. Кобылица, одним словом. Мать до семи лет с ложки кормила.

Мы заливаемся смехом, я привстаю и задеваю головой абажур, и он летает, как оранжевый мяч, набрасывая на стены чудНЫе тени, и от этого мельтешения хохочется почему-то ещё сильнее...

С детства у Тамарки было две мечты. Первая отражала её профессиональные устремления: она до дрожи в коленках мечтала мыть пузырьки в угловой аптеке. Много времени в сопливом возрасте проторчала у здорового окна аптечного здания, где это всё происходило. Баночки, скляночки, бутылочки, пузырёчки, отмытые под тугой струёй специальными ёршиками, стройными рядами выстраивались на стеклянной полке, примыкающей к окну. Сияя и переливаясь. Белый халат мойщицы добавлял значимости производимым действиям. Из-под чего были склянки – понимается только сейчас: аптека-то при больнице, и справа от неё был вход в лабораторию...

– Кстати, мечта её-таки сбылась, – говорит мама, натягивая «шальку» халата повыше и кутая в неё шею, – всю жизнь проработала лаборанткой в НИИ... По сути, те же самые пузырьки и мыла...

– А вторая?

Вторая мечта была родить в будущем девочку и назвать Инной.

– И-и-иинна!!! – мечтательно запрокидывалась Тамаркина голова с длинной белой гривой и крупными белыми зубами – точь-в-точь лошадиная – а звук имени выливался

в протяжное, но совершенно явное ржание. Дворовая шобла дивилась, но почтительно. По-другому было небезопасно.

– Ну, про это – сама знаешь. И дочь есть, и так зовут... – мама машет рукой. – И такая же кобылица...

Я кладу в рот кусочек леденцового сахара: можно даже не подталкивать, а помолчать, поток уже не остановишь.

Тамарка, короче, считала себя непревзойдённым специалистом в постановке диагнозов. Во-первых, её мать не работала, а всё время придуривалась больной, чтобы оправдаться перед соседями, а во-вторых – будущая профессия – мытьё пузырьков, всё-таки имела отношение к медицине и ко многому обязывала.

– А я, – мама опять берётся за щипчики, – тогда уже тренировалась вовсю. Какой это класс был? Шестой? Седьмой? Не помню. Ну, и...

Гимнастика, конечно, спорт травмоопасный. Здесь важно баланс соблюсти. И кураж надо иметь: не бояться элемент выполнить, и тренеру доверять безмерно; знать, если что – поймает. Ловил, конечно, куда он денется. Серьёзных травм никогда не было. Но так – синяки, шишки, это уж...

– Одним словом, просыпаюсь как-то утром, на правой стороне груди боль – существенная. И вспухло. Шишечка мягкая размером с боб. Болезненная – тронуть нельзя. Вот, думаю, приложилась вчера грудной клеткой с переворота боком... Да на маты, конечно, но всё равно... Грудной клеткой – потому, что кроме этой клетки там больше ничего не было. Доска, кожей обтянутая. И две точечки. Вот в этой точке и...

Я ловлю каждое слово.

– В школу сходила, домой пришла. Майку задрала – и к зеркалу. Не проходит. Главное – с одной стороны... И явно так, видно хорошо. Д-да какие родители... Мама... Мама день и ночь работала, не было её.

Зато Тамарка пришла. Осмотрела. Пальцем нажала. Я аж взвилась – уй-яааа!!!

– Рак, – говорит. – Безо всякого сомнения. Я такую одну тётку знаю. У неё всё так же было...

И поволокла в детскую поликлинику. Авторитетная, немногословная. Шагает своими шагами семимильными, а я рядом болтаюсь, то и дело вперёд забегаю, в лицо ей заглядываю.

– И что ж теперь будет, – говорю...

– Да ничего, отвечает, – не беспокойся. Отрежут – да и всё. Я такую одну тётку знаю, говорю же. Правда она померла уже...

Дотащились до поликлиники. А мы любили в неё ходить – там чистенько всегда, мебель детская стоит, расписная. И народу нет никого. Почему? Я почём знаю. Не болел никто... Так... какой это год был? Сорок седьмой? Восьмой? Уж точно и не скажешь.

Вошли – и буром мимо регистратора. Она: куда, куда? А Тамарка ей:

– Нам срочно! У неё – рак!

Та сразу отстала.

Пальтушки свои с шапками на стулья в коридоре сбросили, и в кабинет! Тамарка первая, меня за руку тащит.

Врачиха сидит за столом, пишет что-то. Нестарая. Симпатичная такая... Усталая. Голову подняла.

Тамарка – меня в спину, к столу, значит.

– У неё – рак!

Врачиха очки сняла, протёрла.

– Показывай, – говорит.

Я опять майку вместе с кофтой задрала. Она посмотрела, посмотрела...

– Опускай, – и опять писать принялась. – Идите домой, девочки?

– А рак? – рявкнула Тамарка.

– Нету никакого, – устало проговорила врачиха и слегка улыбнулась. – Это вы... Девушками становитесь, – и вздохнула. – Надо бы к вам в школу прийти, побеседовать...

И опять над писаниной склонилась, давая понять, что разговор окончен.

... Обратно домой мы шли с разными чувствами. Тамарка – раздосадованная, что её диагноз не сбылся и медицинские позиции пошатнулись. А я – наоборот. Очарованная. Магией врачихиных слов. «Девушками становитесь»...

И – я-то да. А Тамарка – нет пока...

...Мы с мамой сначала смеёмся, а потом надолго замолкаем. Она опять колет леденец. А я смотрю на одну из фотографий над её головой. Там девочка-семиклассница с большим ртом и косами, подвёрнутыми баранками. С коричневыми атласными бантами. И – маленьким тайным бугорком под бронёй школьной формы. Свидетельством её начавшегося расцвета...

ВСЁ О БАХРАМЕ ГУРЕ

Амирам ГРИГОРОВ

Мальчик и девочка, близнецы двенадцати лет, спали в кроватях, поставленных рядом, крепко держась за руки. За окнами было темно, ухали порывы ветра, и было слышно, как раскачивались виноградные плети, обвивавшие крыльцо, и трещала сухая кукурузная солома, оставленная неубранной с осени.

Марьям–ханум, укоризненно покачав головой, расцепила руки детей, отчего те немедленно проснулись. Марьям–ханум была женщина необычная, потому что в наших краях, где у мужчин бывало по две – три жены, она одна имела целых трёх мужей, правда, не единовременно, а по очереди. Каждый из них был усатым красавцем с чёрными глазами, с каждым она прожила примерно по году, и каждый, в своё время, взяв кинжал и винтовку, отправился на нескончаемую войну, которую вели между собой древнейшие народы Земли, от Кавказа до аравийских песков. Ни один обратно не вернулся, а детей Марьям–ханум родить не смогла. С годами образы трёх мужей срослись у неё в один, а имена их потеряли всякие особенности. Состарившись, она стала нянчить чужих отпрысков, превратившись в живой кладезь знаний о сглазе, детской бессоннице, изгнанию духов из внутренностей, лечении золотухи методом оборачивания в баранью требуху и прочих ценных вещах. Сейчас, глядя на подростков, она думала: «Не стоит им разрешать спать, держась за руки. Они выросли уже, на девчонку свахи посматривают. Мать их глупая женщина, говорит, мол, ни одной ночью друг без друга они не могли заснуть, и до сих пор так. До скверных слухов недалеко, надо было ещё в раннем детстве приучить их спать в разных комнатах».

Глядя на недовольные лица близнецов, похожих, как две половинки одной дыни, Марьям–ханум сладко улыбнулась, уселась на пол, подоткнула под себя подушки и произнесла нараспев:

– Уай, мои красивые, уай, цветочки лесные! Почему не спите?

А сама подумала, что у близнецов, столь похожих, не только слюна одинакова на вкус, но и сны наверняка одних оттенков.

– Сейчас бабушка Марьям вам сказку расскажет, чтобы вы спали, как ангелы! Только повернитесь на бок, ручонки под головы положите! Как царевич Бахрам Гур, непобедимый воитель, сразил дива–оборотня и на принцессе Турана женился, да только, если за руки будете держаться, слова не скажу.

Дети, послушные в предвкушении сказки, повернулись и затихли. Лунный свет, падая через окошко, отражался от висящего на стене, до блеска начищенного блюда для «хончи», ложась круглым пятном на ковры.

– Однажды приехала принцесса Турана к царевичу Ирана, доблестному Бахраму Гуру. А принцесса была высока, черноглаза, черноброва! Влюбился в неё наш Бахрам Гур, и задумал жениться. Принцесса была не против, и стали они готовится к свадьбе. Но жил в горах злой див–оборотень! И незадолго до свадьбы стал он людей похищать и убивать, чтобы торжество испортить. Узнал царевич про этого дива, наполнилось его львиное сердце яростью, взял он свою железную саблю, и отправился на битву. Царевна Турана заплакала, подбежала к принцу и говорит: «Бахрам Гур, не иди на оборотня сам, пошли слуг, я не переживу твоей гибели. Ведь див сорок вершков ростом, у него когти тигриные, а копыта как у буйвола, шерсть – медная проволока, и стрелы его не берут».

На что царевич отвечал, что если сам дива не убьёт, то руки её не заслуживает, и ему грех будет дома сидеть, слуг на смерть отправляя...

Дети одновременно засопели, стали засыпать.

Бахрам Гур на белом царском коне мчался по полю, заросшему высокой персидской ромашкой, то с одной стороны, то с другой, пятнами, виднелись крестьянские покосы, и царевич подумал, что запах свежескошенной травы напоминает запах гниющих медуз, выброшенных штормом на морской берег. Ещё он думал о том, как овладеет принцессой Турана в брачную ночь, и о подарках, которыми её засыплет. О диве он не думал, так как в сердце, переполненном любовью, нет ни единого места, куда бы мог вселиться страх.

Через пару часов пути поле кончилось, и принц увидел на опушке леса развалины Башен Забвения, где огнепоклонники оставляли своих мертвецов, и тут же, рядом, в домах без крыш и дверей, обитали прокажённые. В дома они входили по лестницам, похожим на те, что используют могильщики, еду им приносили и оставляли возле порога, а воду они набирали сами, в каждом таком доме было по колодцу. Обычно прокажённые не смели оттуда выходить, так как известно, что и тень их способна передать болезнь.

Тут принц услыхал, что его окликают по имени. Повернув коня, он узрел странную человеческую фигуру, стоящую возле одного из домов. Человек этот был коротконог, на лице его была полотняная маска, с длинным журавлиным клювом и грубо намалёванным круглым ртом, а в ушах, вместо серёг, висели большие бронзовые бубенцы, и весь он был обмотан разноцветными тряпками и верёвками.

«Прокажённый» – понял принц.

– Как ты посмел выйти из дома, ведь тебя могут забить камнями?

– О, принц, смерть не так страшна. Есть вещи и пострашнее, есть и поважнее. Даже ты это знаешь.

– Любовь?

– Нет, принц, смерть превосходит любовь, хотя сейчас тебе этого не понять. Слишком ты молод. Мне надо развеять одно твоё заблуждение, Бахрам Гур. Весь мир знает, что ты намереваешься убить горного дива. Но ты наверно думаешь, что это чудовище сорока вершков ростом, с тигриными когтями, медной шерстью, и так далее? Всё это старушечьи сказки, принц. Оборотень не таков. Он принимает облик того, кого убивает, поэтому всегда выглядит как человек. Но отличить его от человека можно, потому что колдовской силы дива не хватает для полного превращения, и одна человеческая часть становится уродливой, как будто искажается. Внимательно гляди на всех встречных, принц!

– А может, ты и есть див?

Прокажённый тихонько засмеялся.

– У меня не осталось ни единой неизуродованной части, уверяю тебя. И вот ещё. Оборотня нельзя убить никаким оружием. Только показав ему его отражение в зеркале, ты сможешь его умертвить. Видишь, у самой дороги большой камень? Под ним лежит зеркало, достань его и возьми с собой, это твоё единственное оружие. А коня тебе стоит отпустить, он не пригодится.

С этими словами прокажённый с необыкновенным проворством взобрался по лестнице и скрылся в доме.

Принц, подумав, отпустив коня, достал из-под камня круглое тусклое зеркало с ручкой в виде ласточкиного хвоста и спрятал его на груди, под кольчугой, затем двинулся по тропинке, ведущей к лесу. Сначала деревья попадались молодые и зелёные, росшие близко друг к другу, потом деревья стали крупными и старыми, и росли они уже не так кучно, а в самой середине леса, где тропинку было уже не разглядеть, а можно было лишь угадать, деревья были древние, с дуплами и множеством сухих ветвей.

«Похожи эти деревья на нашу жизнь, в ранней юности дела малые, зато их много и делаются они скоро, а чем дольше живёшь, тем дел меньше, однако они велики и быстро их не переделать», – подумал принц. Вдруг посветлело, это сомкнулись листья стыдливых мимоз, и стала видна Луна средь несущихся рваных облаков, то возникающая, то пропадающая, как будто жмурился в небесах желтоглазый сыч. Длинные лишайники, свисающие с вековых стволов, развевались, как пустые рукава, касаясь лица, дорога становилась всё круче, и попадались среди деревьев тускло светящие гнилые пни, затем лес расступился, а земля стала плотной и гулкой. Перед Бахрамом Гуром предстала неглубокая лощина, лишенная травы, посреди которой зиял округлый чёрный лаз, и кругом были разбросаны разрозненные белоснежные позвонки и рёбра, и тут ветер стих, и белые нити тумана протянулись по земле, как дымок из кальяна. Царевич просунул руку под кольчугу, нащупывая зеркало, а туман всё усиливался и прирастал, окутывая всё вокруг.

Внезапно в самой середине тумана началось движение, образовалась плотная тень и двинулась к царевичу, тот же, по привычке, выхватил саблю, позабыв про зеркало.

И как забилось его сердце! Ведь выбежала его возлюбленная, принцесса Турана! Бахрам Гур глядел с изумлением, как она бежит к нему, протягивая руки, словно плывя над белёсой кромкой тумана. Покрывало упало с её головы, и чёрные косы, перевитые жемчужными нитями, упали на плечи.

– Любимый мой, ты нашёл меня! Див похитил меня, когда ты уехал из дворца, а я знала, Бахрам Гур, что ты придёшь и спасёшь меня!

Царевич вложил саблю в ножны, и протянул руки навстречу ей, и счастье наполнило его сердце, принцесса, подбежав, обняла его, прижавшись, он ощутил запах её благовоний и наклонился, чтобы поцеловать, и принцесса потянулась к нему, и между её пухлых, прекрасных губ царевич увидел зеленоватые, рыбьи зубы, тонкие, как гвозди...

Марьям–ханум, между тем, прервалась. Почтенная старушка извлекла запечатанную склянку с вином, тайком купленную в харабате, и сделала несколько хороших глотков, не подумайте чего лишнего, только для того, чтобы промочить горло, а тем временем дети во сне снова взялись за руки, и видели они сон – один сон на двоих. Марьям-ханум снова расцепила руки детей, отчего те проснулись, перевернула их в разные стороны, и, позабыв место, на котором прервала рассказ, начала заново.

«Приехала царевна Турана к нашему принцу, достойнейшему Бахраму Пуру. Принцесса была черноглаза, грудь её высока, бёдра круты и походили на набитые голубиным пе-

ром исфаганские подушки, а уста её напоминали надкушенный гранат. Царевич Бахрам Гур тоже был красавец, у него были глаза серые, как сталь, усы цвета пшеницы, такие длинные, что он завязывал их узлом на затылке, и высокая, как башня, белая шея. Он влюбился в прекрасную принцессу Турана всем сердцем, и решил на ней жениться. Время свадьбы уже было назначено, и тут пришли страшные вести про дива–оборотня, который убивает людей, желая испортить грядущее торжество. Узнал царевич про злого дива, наполнилось его львиное сердце яростью, взял он свою железную саблю, и отправился на битву. Царевна Турана заплакала, подбежала к принцу и говорит: «Бахрам Гур, прежде, чем ты поедешь на битву, приди ко мне в шатёр и овладей мной, ведь ты можешь погибнуть, и не изведаем мы того наслаждения, которое заслужили, любя друг друга столь сильно...»

Тут старушка приложилась к склянке снова, и сама стала клевать носом...

Весть о возвращении царевича летела впереди него. Въезжая в городские ворота, царевич был засыпан рисом и лепестками роз. Ликование было всеобщим, особенно, когда принц вытряхнул из мешка отрубленную голову дива, в уродливой маске, с длинным журавлиным клювом и грубо намалёванным, круглым ртом, с бубенцами, вставленными в уши вместо серёг. После этого принц пожелал немедленно войти к своей возлюбленной, прекрасной принцессе Турана, которая ждала его на пороге своего шатра, ведь она не смыкала глаз всё это время, не ела и не пила. Задёрнув полог шатра, Бахрам Гур скинул шлем, сбросил абу, надетую поверх кольчуги, и увлёк принцессу на ложе. В одно мгновение он сорвал с неё одежды, сделав это грубо, но царевна не ощутила боли, так велико было её желание. Боль пришла к ней чуть позднее, и была эта боль недолгой, сменившись незнакомым прежде ощущением, словно горячее кунжутное масло разливается в её недрах. Через несколько бесконечно тянувшихся минут, царевна, повернувшись, поглядела на Бахрама Гура, лежавшего рядом, и увидела, что тот заснул, прикрыв руками лицо, а на его ладонях, вместо мизинцев, было ещё по одному большому пальцу...

Марьям–ханум проснулась, увидела, что близнецы спят, но за руки не держатся, ухмыльнулась и подумала:

«Сны близнецов различаются настолько, насколько различны они сами. Слава Аллаху, что абсолютно похожих близнецов не бывает. А эти-то видят сны разные, ведь они всё-таки разного пола».

Тут старушка в два глотка осушила склянку, спрятала и уснула крепко-крепко.

А Бахрам Гур всё мчался по полю высокой персидской ромашки, укрывавшей коня по грудь. То с одной стороны ромашкового поля, то с другой, проплешинами, виднелись крестьянские покосы, и царевич подумал, что запах свежескошенной травы более всего напоминает запах солёной рыбы, приснившейся человеку, испытывающему жажду. Ещё он думал, как овладеет принцессой Турана в брачную ночь, и о подарках, которыми её засыплет. О диве он не думал, так как в сердце, переполненном любовью, нет ни единого места, куда мог бы вселиться страх.

Через пару часов пути поле кончилось, и принц увидел на опушке леса развалины Башен Забвения, где огнепоклонники оставляли своих мертвецов, и тут же, рядом, в домах без крыш и дверей, обитали прокажённые. В дома они входили по лестницам, похожим на те, что используют могильщики, еду им приносили и оставляли возле порога, а воду они набирали сами, в каждом таком доме было по колодцу. Обычно прокажённые не смели оттуда выходить, так как известно, что и тень их способна передать болезнь.

Тут принц услыхал, что его окликают по имени. Повернув коня, он узрел странную человеческую фигуру, стоящую возле одного из домов. Человек этот был коротконог, на лице его была полотняная маска, с длинным журавлиным клювом и грубо намалёванным круглым ртом, а в ушах, вместо серёг, висели большие бронзовые бубенцы, и весь он был обмотан разноцветными тряпками и верёвками.

– Кто ты, посмевший окликнуть меня? – сурово спросил царевич.

– Я тот, тело которого истлело раньше души.

– Душа нетленна, неизвестный.

– Это такая же глупость, как и то, что у дива, якобы, тигриные лапы, буйволиные копыта и медная шерсть, о принц.

– Откуда тебе известно, что я еду убивать дива?

– Тебе не это надо знать, Бахрам Гур, а совсем другое. Например,как выглядит див, и как его можно убить, не так ли? Знай, царевич, что мне тебя порадовать нечем. Дивы неуязвимы для человеческого оружия, потому, что тела, как такового, у них нет.

– Неужели, несчастный, ты пытаешься меня запугать?

– Нет, я всего лишь пытаюсь сказать, что убить дива ты ещё можешь, но сам при этом обязательно погибнешь, царевич. Мне очень жаль. Если же ты дива не убьёшь, тот, приняв твой облик, войдёт в твой дворец и овладеет твоей любимой, а потом погубит её.

– Что же мне делать? – спросил принц, и впервые в его голосе прозвучала тоска и тревога.

– Во-первых, ты должен поцеловать меня.

– Ты проклятый безумец, смерть тебе! – вскричал принц, выхватывая саблю.

Прокажённый тихонько захихикал.

– Чем ты грозишь мне, мёртвому наполовину? Принц, ты же скоро погибнешь, не всё ли равно, кого ты поцелуешь перед смертью? А поцелуй человека царской крови может излечить проказу, это всем известно. Кроме меня тебе никто не поможет.

– Чем докажешь свои слова?

Вместо ответа прокажённый снова тихонько засмеялся, махнул рукой, обвязанной цветными тряпочками, и пошёл к дому.

– Стой, вернись.

Бахрам Гур спешился, бросил поводья и хлестнул коня по крупу, после чего тот ускакал прочь. Снимая шлем, принц стал приближаться к прокажённому. Тот стал развязывать тесёмки своей уродливой маски, и вскоре скинул её, открыв покрытое струпьями, перекошенное синее лицо, с проваленным носом и дырой в щеке, сквозь которую проглядывали зубы. Пригнувшись, принц ощутил зловоние и закрыл глаза.

– Нет, красавчик, будь добр, открой глаза, только настоящий поцелуй способен исцелить!

Тут прокажённый с необыкновенной ловкостью подпрыгнул, вцепился принцу в голову и прижался к его устам своими, а царевич застыл в ужасе и смятении.

– Слушай, принц, говорю один раз. Оборотня нельзя убить никаким оружием. Только показав ему его отражение в зеркале, ты его умертвишь. Видишь, у самой дороги камень? Под ним лежит зеркало, достань его и возьми с собой, это твоё единственное оружие.

С этими словами прокажённый быстро взобрался по лестнице и скрылся в доме.

Принц достал из-под камня круглое тусклое зеркало с ручкой в виде рыбьего хвоста и спрятал его на груди, под кольчугой. Затем он пошёл по тропинке, ведущей в лес. Сначала деревья попадались крупные и старые, и росли они поодаль друг от друга, а в самой сере-

дине леса, где тропинка уже не была видна, а лишь угадывалась, деревья были молодые и зелёные, и росли они густо.

«Похожи эти деревья на нашу жизнь, в ранней юности года тянутся долго и кажутся огромными, а чем дольше живёшь, тем короче и быстролётнее становятся года», – подумал принц. Вдруг посветлело, это сомкнулись листья стыдливых мимоз, и стала видна Луна средь несущихся рваных облаков, то возникающая, то пропадающая, как будто жмурится в небесах янтарноглазый журавль, длинные лишайники, свисавшие с вековых стволов, развевались, как пустые рукава, задевая царевича. Дорога становилась всё круче и круче, среди деревьев попадались папоротники, похожие на зелёные фонтаны, вскоре лес расступился, а земля стала плотной и гулкой. Перед Бахрамом Гуром предстала неглубокая лощина, лишенная травы, посреди которой зиял округлый чёрный лаз, а вокруг были разбросаны разрозненные белоснежные позвонки и рёбра, и тут ветер внезапно стих и белые нити тумана протянулись по земле, как дымок из кальяна.

«Странно, я как будто это уже видел», – подумал принц. Он достал из-за пазухи зеркало, двинулся к лазу и стал в него спускаться. Сделав пару шагов на ощупь, принц почувствовал, что глаза привыкают к темноте, тем более, что логово дива оказалось просторным, с несколькими отверстиями, через которые проникал лунный свет. Самого дива в пещере не было. Оглядевшись, принц увидел, что стены, на высоте чуть более сорока вершков, исцарапаны огромными когтями, наподобие тигриных, и весь пол истоптан буйволиными копытами и посыпан шерстью, похожей на медную проволоку. Принц вытащил зеркало, оно было тусклым, и ничего не отражало, Бахрам Гур тщательно протёр его рукавом абы и стал ловить лунный свет. Зеркало прояснилось, но вместо своего отражения царевич увидал в нём комнату, залитую светом ночи, там, на двух ложах спали, крепко держась за руки, мальчик и девочка, красивые и похожие друг на друга, как два гранатовых зерна, а рядом, на куче подушек, дремала горбоносая старушка в странном одеянии. Принц улыбнулся, отложил зеркало, и стал дожидаться возвращения дива.

Хонча – блюдо из сухофруктов и орехов, подаваемое на Новруз.
Аба – просторная верхняя одежда жителей Ирана.
Харабат – христианский квартал в городах Среднего Востока.

ВОСКОВАЯ РИГИДНОСТЬ

Ты не молод уже, ты и не стар ещё, но уверенно катишься под горку. Во всяком случае, прислушиваешься к сердечному ритму, сердце то скачет, то замирает, раньше такого не было. Раньше серый этот свет ты счёл бы ослепительным. Раньше, ещё недавно, тебе казалось, что он чисто золотой, этот свет, и в каждого, кто здесь живёт, втёрлась толика золотой пыли.

Улица короткая и прямая. Провал двора, как зевающий рот. Древние ворота кузнечной работы распахнуты навсегда. Облака низкие и пробегающие необыкновенно быстро. Облупленный амур подглядывает за тобой, откуда-то из подбалконного пространства, ты дёргаешься и смотришь туда, глаза его пусты. Это ощущение бывает лишь тут.

Г-споди, говоришь про себя, неужели я снова в этом месте? Холодом пробирает, и маски кругом, одни рот кривят, другие смеются, третьи – злятся, четвёртые словно плачут.

Сейчас ты постоишь, закуришь, это чтобы успокоить сердечный галоп, поглядишь наверх, тут, за переулком, через три шага, откроется Исаакий, как обмотанная фольгой

сахарная голова, которую выставляют на Новруз. Ты всегда ходил этой дорогой, и, когда в первый раз прошёл, случайно, не выбирая путей, и Монферранов купол впервые тебе открылся, ты застыл, как молнией поражённый, словно кататоник, настигнутый припадком, и питерские прохожие огибали тебя безмолвно.

Очнулся ты не скоро, стемнеть успело. Ты понял, как выглядел, и устыдился себя.

Когда-то ты поступил на факультет, готовивший космических врачей. На отделение биофизики. Прежде там был сумасшедший конкурс, пять человек на место, это мужское царство, были, как правило, всего две-три студентки на группу, почти всегда это были девственные отличницы, тучные или, наоборот, тощие, в огромных очках, изрытые угрями, которые только к третьему курсу начинали понимать, что жизнь теплится и за пределами биомеханики. Вокруг были победители олимпиад, медалисты и просто вундеркинды. В год моего поступления бушевал российский новоиспечённый капитализм, а конкурс упал до трёх человек на место. На следующий год был серьёзный недобор, и пришли подмосковные медсёстры. Щебечущие синицы с глазами-пуговицами, с менталитетом хоккеисток на траве и с надеждами перевестись на лечебный факультет. Они красили ногти на лекциях, обсуждали мальчиков и не пропускали ни одной пьянки.

На следующий год сошла с ума самая умная девочка на курсе. Золотая медалистка. Вообще-то сумасшествием было тут никого не удивить. Нагрузки запредельные были, плюс ко всему контингент специфический. На моём потоке с ума сошли двое, один развёл на крыше общежития костёр в виде стрелы, чтобы встретить летающую тарелку, другого увезли прямо с экзамена по морфологии, переучился. Напал на преподавателя с кулаками.

А та самая умная девочка сошла с ума как-то невыразимо трогательно. Она была некрасивая, на редкость некрасивая, кореянка, они бывают красавицы, а эта вот нет, с огромным плоским лицом, и вообще, вся плоская, маленькая, из Казахстана. По имени Аля Хван. Влюбилась в самого красивого мальчика на курсе, москвича, вальяжного такого, спортивного. Вышла к доске на математике, посмеиваясь, стёрла лапласиан, смешно подпрыгивая, написала «Петя, я тебя люблю», повернулась, посмотрела серьёзно и застыла, как обесточенный робот.

Это был кататонический ступор, никто этого не знал, все долго смеялись, преподаватель тоже сначала посмеялся, но потом все испугались, прибежали люди с клинических кафедр, и всё стало ясно. Восковая ригидность.

Вот и ты, наверное, так стоял.

У тебя на родине, в Южном городе, где не существует личного пространства, тут же подошли бы, принялись теребить и участливо заглядывать в глаза, брат, сказали бы, брат, что с тобой, дорогой? Южные города, они для жизни, для комфорта, это чтобы посадить во дворе розовый куст, фонтанчик устроить, вишню есть из кулька, или, к примеру, винную ягоду, а этот, северный, он для другого предназначен, вот так, брат.

И ты стоял и думал о своей девушке. И о себе. Не замечая дождя и ветра. О том, что ты – медалист и вундеркинд, ты сейчас – сорокалетний, в общем-то, нищий, со смешным багажом в три статьи по биофизике мембран и в три недописанных романа, и твоё единственное богатство – молодость – истрачено практически до нуля. Ещё ты думал о том, что твоя нынешняя девушка – твоя ровесница, с тем же уровнем биологического износа. Она показала свои молодые фотографии. У тебя поначалу дух захватило от вос-

торга, когда ты её увидал, тогдашнюю. Она необыкновенная была. Её стальные глаза в сетке морщин, глаза, в которых навечно засела усталость – прежде сияли, в них словно копилась безграничная сила юности, возвышенная синева в них переливалась. А потом она показала фотографии своих мужей. Без всякого тепла, с раздражением даже. Они просто завалялись там, в альбоме. Один, в белом костюме и таких же туфлях, торчал столбом среди пляшущих в ресторане, глядя перед собой глазами землеройки. «Это мой первый муж». Второй муж сидел на корточках перед мангалом и держал на отлёте шампур с мясом, раскрыв рот, изображая, в шутку, что собирается откусить. И она, твоя девушка, тут же. Рядом, хохочет. Юная. Ни грамма потасканности. Видны зубы, все свои, как на подбор. А вот первые непуганые совки в стране фараонов. Она, в купальнике. Грудь стоит. Пальмы. И первый муж снова. С краю кадра. Опять в белом костюме и туфлях. Он, наверное, в нём и мылся. Со злым и надменным лицом, такое фирменное выражение было у мелких бандюков той эпохи. Оба мужа мускулистые, приземистые. Спортивные. С бесподобно тупыми лицами. Оба умерли. Похожи, по идее, друг на друга, женщины часто выбирают похожих мужиков. Ничем не похожи на тебя. Вернее, ты на них ничем не похож. Она беременела от одного. То ли от первого, то ли от второго. Не выносила. Детей у неё больше быть не может.

А представь себя тогдашнего. Вундеркинда, с медалью. С первого курса, или со второго. Представь, что ты, в то время, подошёл бы к ней, такой шикарной красотке, и попробовал познакомиться? Ты, со своим провинциальным еврейским выговором, ты, умеющий щёлкать интегралы, зависящие от параметра, и этим гордящийся, в чудовищных полосатых штанах с начёсом, которые раздобыла на базаре твоя южная бережливая мама, не понимавшая в упор, что защита от холода – не единственное предназначение одежды. Ты, никогда не видавший женского срама. Весь тонкий и с тонкими руками. Не умеющий драться. Не державший в руках суммы больше червонца. Плакавший над андерсеновской «девочкой со спичками». Представил?

Выходит, время уровняло тебя с ней. Одно лишь время. А это неправильно, вернее, ты не сможешь этого принять. Никогда не примешь.

Ты понял это, глядя на купол Исаакия. Кстати, вначале ты подумал, что смог бы посчитать его объём. Это всё время твоя первая мысль. Ты просто дурак. Так тебе и надо. Людям нужно другое, понимаешь? Другое. Они смотрят и видят всюду блага, деньги видят. Особенно женщины. И если у них не получилось найти живучего денежного мужика, они, в конце, чтобы в одиночестве не остаться, заводят такого, как ты. Ты же биофизик. Можешь плиту починить. Да ты и чинил эту плиту. На питерской кухне. Разобрал, почистил, так, что врубился духовой шкаф, который лет сто не действовал. И холодильник чинил. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Ты постоишь, а потом всё-таки пойдёшь. Занырнёшь в раззявленные ворота модернового дома, выйдешь в кирпичную кишку, где в щелях, местами, где осыпалась извёстка, понатыканы окурки, а стены исполосованы граффити, и там, дальше, пройдя ещё немного, совсем немного, ты окажешься на дивной площадке, окружённой домами. Ты купишь там бутылку пива, сделаешь глоток и отставишь.

Со всех сторон бетонные ангелы будут глядеть на тебя глазами потерявшей рассудок Али Хван, рассматривать уже нагло, не скрываясь, и ты подумаешь, что теперь огромный этот город, напоминающий кардиограмму (кардиограмму?), обложил тебя со всех

сторон, затянул, и вовсе свет тут никакой не золотой, а ртутный, мертвящий, как в предбаннике патологического отделения, делающий всех вокруг неживыми. Ты прислушаешься к своему сердцу, а оно будет колотиться необыкновенно сильно, этот движитель жидкой соединительной ткани совсем разойдётся. Так же оно билось, когда ты впервые был с женщиной – то была подмосковная медсестра, с младшего потока, у неё была налаченная чёлка и пластмассовые серьги кольцами. И подумаешь, что теперь ты в таком особенном возрасте, прежде которого люди оплакивают то, что не сумели совершить, а позже – то, что совершить уже никогда не смогут. И ещё подумаешь, что девушка, которую ты встретишь в будущем, стройная, как чинара (что такое чинара) с тёплыми, южными глазами, похожими на глаза твоей матери, когда-нибудь превратится в металлическую сваю, торчащую на краю канала, там, где плещется опалесцирующая влага цвета жёлчи (что такое желчь). И отойдёт навсегда, какому-нибудь приземистому пожилому парню, с глазами, как у испуганной землеройки. И что чернильный этот свет (что такое свет) пробивающийся через отверстия в куполе (куполе, куполе) возможно, когда-нибудь будет исчислен – достаточно лишь составить правильную дифференциальную систему (систему, систему). Итак, составляем первое, самое первое уравнение системы.

Пройдёт ночь, и на площадку выйдут первые окрестные питерцы, с таксами и болонками, будут огибать тебя со всех сторон, это такая тут дифракция, это тебе не Южный город, тут не спросят даже сигарет.

Ты же будешь сидеть, никого не замечая, впервые по-настоящему счастливый.

Владимир МНИШЕНКО

АНГЕЛ

Посвящение Ивану Бунину (1870 – 1953).

Счастливый прекрасный день и в том деревенском доме, которому уже лет двести от роду и где никто не живет, я увидел Ангела, чтобы он всегда был рядом, даже когда темно. В этой беспросветной, такой чужой на первый взгляд темени, что-то таинственное происходит теперь всегда, среди постоянных скитаний, среди ночных кошмаров там, в глубине сада, где ветхие двухсотлетние липы напоминают о давно ушедших хозяевах, которые здесь рождались, росли, любили, старились и умирали, словом, жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого, это они развешивают пахнущий зверобой по углам, оставляя в моем воображении несмываемый, почти изжелто-пепельный налет на моей уже немолодой, но еще трезвой памяти, это они по вечерам затягивают такую томную и такую родную мелодию: "Ой, у лузі червона калина", и украинские девчата хранят эту песню в своем материнском божественном грудном молоке, и она, эта мелодия звучит до утра в моей седой головушке, а утром легкий нежный неуверенный в себе, едва рожденный Матерью Рутенией ветер залетает в комнату и кружит под лавками, меж дряхлых стульев, на которых уж две сотни лет не сидели дети, и я смотрю на немые стулья, опрокинутые безвременьем угасающей памяти моей человечески просящей покаяния у забвения, и спрашиваю себя, а которое нынче число, но даже с закрытыми плотно полу-спящими глазами, кажется, могу сказать, что это начало августа, с его несмываемой радугой на разбитых временем оконных, полуденных, дрожащих от легкого и едва проснувшихся от затянувшегося сна, стеклах, – так хорошо знаю я малейшие особенности воздуха всякой поры, когда в окно напротив падает радостный и яркий кратковременно-сизый утренний, до бирюзы, теплый рассвет, что так робко скользит по усыпанному антоновкой ветхому подоконнику, где высохшие прошлогодние комары навсегда остались в бойцовских лапах пауков-исполинов с выпученными от радости победы и наживы глазищами (не щадит время паучье племя), а пчелы, разогнавшие мух, как ангелы пьют яблочный мед, такой искренне сладкий, что их лапы могли бы навсегда здесь остаться, в этой сладострастной, "римской, как у Калигулы, оргии" света и праздника мнимого счастья Мнемозины, такой юной и еще девственно-чистой,

а зеленая густота сада за окном все торопит своей несметной листвой вглубь утренней свежей, такой же девственной прохлады яблонь и вишен, то замирающих и затихающих, то волнующихся и тогда доходящих лапами своих ветвей до самого окна, всегда отверстого в глубину накатывающихся воспоминаний, и сквозь бледно-голубое нежнодышащее, еще так по-детски неуверенное небо, проступает образ Ангела, такого истово уверенного в своем совершенном величии, в своей ангельской безгрешности, такого из деревенской дали пришедшего и молчаливого, и в чертах его лица (а у каждого Ангела свое лицо), я снова вижу своих друзей, которых, к великому моему одинокому слезногорькому, почти соленому сожалению, давно уж... , но вот вдруг ветер усиливается, на горизонте скошенных и покрытых копнами полей, а потом все ближе к ограде, разрывая своими крыльями густую высокую траву в саду, как силки на груди Маргариты, и вот Он уже рядом, и в руке у него яблоко, и Он протягивает мне его, – то ли Ветер, то ли Ангел, и я слышу шорох сада, отдаленные крики петухов и чуть внятную детскую песенку Ангела, который все бродит под моими окнами в единой надежде своей бестелесой (а для меня Ангелы – белокурые девчушки, как дочурка Валерия), – быть увиденным. Еще и еще и ...

Как ангелы Врубеля, Прахова и Котарбинского и маленькой Ольги на руках Эмилии Львовны – в образе Божьей Матери Кирилловской.

Благости вам, Ангелы.

Андроник РОМАНОВ

АЛЬФА И ОМЕГА

Просыпаюсь от солнечного света в ресницах. Возвращаюсь медленно, как будто поднимаюсь из океанской глубины с закрытыми глазами, прислушиваясь к уютной солнечной тишине всем телом. Запах чистого полотна нагретого солнцем, ладошка под щекой, полное ощущение детства и лета, до лёгкого привкуса какао с молоком. Сейчас в комнату заглянет мама, осторожно войдет, заметит неуловимое движение век и улыбаясь спросит: «Сырники или блинчики?»

В детстве было столько любви, понимания и заботы, что теперь это выглядит компенсацией за все мое последующее одиночество. Так бы и лежать, долго-долго в предвкушении горячего какао в белой кружке с рельефным керамическим зайцем на боку, а рядом на фарфоровом блюдце в ароматном янтаре – пара сырников... Можно представить, что сегодня мой день рождения, как тогда, в девять лет, когда папа подарил мне мой первый фотоаппарат – «Смена 8М». Он молча наблюдал за тем, как извлекая подарок, я терзаю картонную коробку, надрываю целлофан, улыбаюсь тому, что теперь смогу как папа фотографировать. Ему было важно знать – случится или нет тот самый переход из любопытства в интерес, продолжу ли я со временем семейное дело... Только вот мама не войдёт, как ни воображай её шаги. Честно говоря, я даже не знаю хочу этого или нет. Ведь если вдруг произойдёт такое чудо, то здесь и сегодня закончится труд трёх поколений Канторов – деда, отца и меня. И что с этим делать и как дальше жить я не буду знать, это уж точно! Лучше моя привычная ненавидимая реальность: соседская дрель за потолком, лай пса и ругань за стеной, сексистские нравоучения от бывшей с её коронным «ты как мужчина обязан», после которого самка богомола кажется гуманнее в том смысле, что всё происходит сразу и навсегда. Снимаю трубку только потому, что наша девочка похожа на нее – бывшую – носиком и улыбкой... Всё! Пора. Сегодня 8 августа. Восьмой день восьмого месяца, и это волнует меня каждый год. Восьмерка – связь между земным и Божественным. Бог с людьми говорит числами.

*

Мой дед, Иван Арнольдович Кантор был учеником великого Наппельбаума, того самого первого мастера портретной фотографии. Началось его ученичество со счастливой случайности в августе 1916 года. Будучи мальчишкой-посыльным из скобяной мастерской в Столешни-

ковом переулке, он был отправлен с коробкой фотографических багетов в ателье Моисея Наппельбаума, что на углу Петровки и Кузнецкого Моста. Там и остался. А через год был переведен в Питер в ателье на Невском. Около десяти лет основным его занятием было изготовление фотопластин. Он рассказывал о том времени интересно, с подробностями, переключаясь с температурного режима на браваду Буденного или нервозность Есенина, заходивших в ателье, вспоминал забытого ныне сталинского адьютанта Коновальцева, тонкого знатока романской литературы. Однако ни байки, ни разговоры о процессе нанесения фотоэмульсии и чистоте оптического стекла не шли ни в какое сравнение с демонстрациями работ сделанных Наппельбаумом с помощью его – Ивана Кантора – фотопластин. Особой гордостью были портреты Мейерхольда, Есенина, Пастернака. Ленина и большевистских вождей дед не любил.

Наша семейная традиция началась накануне войны, холодным поздним вечером, когда Наппельбаум с немногими знакомцами после очередной совлитовской вечеринки решили прогуляться по Невскому проспекту. На пьяную голову разговорились о том, божественна ли природа советского человека. Дед никогда никому не пересказывал содержания того разговора, кроме нас с отцом, разумеется. Наппельбаум морщился, но не спорил. В какой-то момент он сказал: «А я Его вижу в каждом лице на любом моем снимке». Фраза пролетела мимо спорщиков, но запомнилась бывшему уже тогда фотокором «Правды» Ивану Кантору.

Потом была война, ранение в первом бою, госпиталь в Ленинграде и блокада. И Первая из Комнат.

*

Всякая религия начинается с отделения духовного – поднимающегося к небу – от плотского – забываемого в дорожной пыли. Последователи, лишенные эмоционального переживания первоисточника, вынуждены прибегать к реконструкции, дополняя её элементами и именами, должными показывать величие таинства, бывшего когда-то простым, даже обыденным действием. Как то, например, рождение младенца в хлеву. Это и есть – ритуал. Именно ритуал соединяет дух, обогатившийся небесным, с покинутым, оставленным в пыли телом. Я в династии – тот, кто создал ритуал.

Стою в душевой кабине под горячим тропическим ливнем. Локальный сезон муссонов в отдельно взятой ванной комнате. Не думаю ни о чем. Вообще. Я должен быть спокоен и чист во всех мыслимых смыслах.

*

Разбитое пулей колено не оставляла шансов вернуться на фронт. Дом на Литейном, в котором он жил до войны, разбомбили. Под руинами остались мама и Олюшка, так и не ставшая его женой. Нужно было жить дальше. Приятель уезжавший с семейством по Ладоге в эвакуацию, оставил ключи от квартиры на Васильевском. Началась блокадная зима. Голод и смерть. Для него, запертого холодом и увечьем в пустой квартире с огромной домашней библиотекой, оставалось жить жизнью её героев. Раз в три-четыре дня он выходил за водой и едой. Шел медленно, прихрамывая, стараясь беречь искалеченную ногу, вдоль стеночки, отрываясь от ее поверхности лишь для того, чтобы перейти пустынную темную улицу или обходя мерзлые глыбы трупов.

Начитавшись Диккенса и Верна, он увлекся странными письменами Блаватской, а потом нашел тонкую брошюру начала века некоего В.Н. Арефьева «Новозаветные апокрифы». Автор силился критиковать апокрифические евангелия, явно кому-то в угоду. Самое

ценное в брошюре и, видимо, это понимал купивший её, читавший и обводивший куски текста химическим карандашом, были цитаты. Одна из них – из евангелия от Фомы – заставила деда отложить книжку и задуматься:

«Иисус сказал: «Я – свет, который на всех. Я – всё: всё вышло из меня и всё вернётся ко мне. Разруби дерево, Я там, подними камень и ты найдёшь Меня там»».

И тогда мой дед, видимо, вспомнил слова Наппельбаума, сказанные мимоходом в компании советских писателей – «...я Его вижу в каждом лице на любом моем снимке». Представляю, как он пришёл к простой и логичной мысли: если Бог везде, в каждой видимой и невидимой части мира, значит Его можно сфотографировать.

Он освободил от мебели детскую, поставил у входа штатив, закрепил на нем свой «ФЭД» и сделал первый снимок.

*

Я вхожу в мою Комнату. Идеальное замкнутое пространство. Ровные белые стены, простой дощатый пол, в двух метрах от двери фотокамера на штативе, обращенная объективом в верхний правый угол и единственный источник света – лампа, освещающая ровный белый потолок. Никаких окон. Замкнутый куб пространства.

Вот уже двадцать лет, каждую неделю я делаю снимок этой крохотной части вселенной, надеясь, как надеялись до меня мои дед и отец, увидеть на снимке проступающие черты Господа.

ИЛЛЮЗИЯ ТИШИНЫ

Если бы в каком-нибудь реестре стандартов и эталонов, где-нибудь между процентным содержанием меди в афинской бронзе и количеством половозрелых особей в популяции малайского мелкоуха, существовал бы показатель сложности человеческой натуры, этот экземпляр был бы образцом наивысшей степени замороченности. Образец был человеком женского пола, высохшим до парадоксального отсутствия плоти на стройной костной основе. Человека звали Виолеттой.

Виолетта была частью однокомнатной квартиры с раскладушкой, комодом и полудохлым попугайчиком, жившем в металлической клетке на поросшем дремучей грязью подоконнике. Странность или особенность Виолетты заключалась в ее способности уходить в себя так далеко, как это только возможно для остающегося в теле и сознании. Она хваталась за произнесенную или вычитанную мысль и уносилась прочь от реальности, незаметно для самой себя перемещаясь в вырастающую в ее воображении логическую геометрию, похожую, как мне казалось, на один из многочисленных объемных фракталов Эшера. Докричаться до нее не было никакой возможности. Приходилось делать то, чего она терпеть не могла, то, что на нее действовало как удар током — я касался ее лица.

*

Помню, что вписала меня к ней хорошенькая безымянная блондинка с фенечкой на левом запястье. Была она из тусовки доморощенных хиппи — цветов жизни алма-атинского разлива — растаманов, бардов и сильнопьющих не принципиальных в смысле секса поэтессок.

Я спал на матрасе у стены с балконной дверью под широким незашторенным окном в глубокое зимнее небо, стараясь не обращать внимания на вялое чириканье Перик-

ла Четвертого, готовящегося, судя по виду и интонациям, разделить судьбу трех своих одноименных предшественников. Раскладушка Виолетты стояла напротив. Она спала в широченной для ее комплекции ночной байковой рубахе, подложив под щеку ладошку, позволяя себе ненадолго стать такой, какой в сущности и была — слабой, маленькой, вздрагивающей при малейшем шуме, сбежавшей в детстве из дома по глупости, заблудившейся и оставшейся здесь — в этой найденной во сне квартире, на этой раскладушке, поскрипывающей пружинами как дирижабль, выплывающий из ангара.

Я жил у нее неделю — с воскресенья по воскресенье. За эти семь дней мы ни разу толком не поговорили. Днем я кружил по городу, завершая дела перед окончательным переездом в Москву, а вечерами читал купленную накануне мрачную путанную историю одного французского землемера. С каждой прочитанной главой жизнь казалась безнадежней и бессмысленней. А Виолетта гремела посудой, шелестела журналами, шумела водой, и все это, как мне казалось, делала нарочито громко.

*

В субботу вечером пришли гости — невысокий молодой человек лет двадцати и его собака. Входная дверь распахнулась, в прихожую скакнул болтающий обрубком хвоста эрдельтерьер, и Виолетта весело затянула: «Ильи-и-и-и-н!» Человек обнял Виолетту, зашуршал курткой, шепотом спросил, заметив меня: «Кто это?» Виолетта ответила: «Свои» и, обращаясь ко мне, громко сказала: «Андрей, знакомьтесь. Это Ильин». Ильин быстро разулся, шагнул в комнату, на ходу протягивая мне руку: «Вадим. Мы ненадолго», и псине, уже успевшей меня обнюхать: «Альма, фу!» Альма отошла, улеглась на пол, демонстративно повернувшись ко мне задом.

Виолетта пошла в кухню заваривать чай, а Ильин уселся рядом с собакой.

— Как там все наши? — спросила из кухни Виолетта. — Идите сюда. Мне одной скучно.

«В кои-то веки?» — подумал я, но в кухню пошел, не без опаски пропуская вперед Альму, решившую к нам присоединиться.

На кухне пахло газом. На плите шумел чайник. Встав на носочки, Виолетта доставала со средней полки кухонного шкафа две одинаковые белые керамические чашки. Третья уже стояла на столе. Мы с Ильиным заняли оба старинных стула с гнутыми деревянными спинками.

— Ты Светку видел? — Виолетта повернулась к Ильину и на секунду замерла в ожидании ответа на свой вопрос.

— Видел, — ответил Ильин с явной неохотой продолжать какой-то прерванный прежде разговор.

— Ну? — Виолетта поставила чашки на стол и потянулась за сахарницей.

Ильин не ответил.

— Слушай, а ты откуда? — спросил он меня. — Пойдешь завтра на концерт “Сталкера”?

— Я завтра уезжаю, — сказал я. — Самолет вечером, в полвосьмого.

Ко мне подошла Альма и положила голову на колено. Я поджал губы.

— Ну как знаешь... Да она не кусает, — Ильин потрепал Альму за загривок. — Это она так знакомится. Не обращай внимания. Далеко летишь?

— В Москву. Переезжаю. Насовсем.

— Клево. К родственникам?

— Нет. Поступил в Литературный институт на заочку. Хочу переводиться. На очное отделение.

— А что пишешь?

— Ну так... Всего понемногу, — ответил я.

— Стихи? — не унимался Ильин.

— Ну и их тоже, — улыбнулся я.

— Зачтёшь?

— Ну... — честно говоря, я не был готов вот так с ходу декламировать здесь, на этой кухне.

— Но сначала дунем, — перебил меня Ильин. — Дунем? Витка, ты как?

— Ты с ней разговаривал? — Виолетта сняла с плиты засвистевший чайник.

— Давай потом, — махнул рукой Ильин, — Человек уезжает завтра, а ты... Успеется...

— Ну-ну... — Виолетта налила кипяток в заварник, достала из холодильника литровую банку с молоком.

— Как будешь пить? По-русски или по-казахски? — спросила она меня.

— Наливай ему по-казахски. В Москве чай пить не умеют. Прикинь, они там чай сырой водой разбавляют! Дикие люди! — Ильин постучал пальцем по лбу, пододвинул к себе пепельницу, полез в карман, вытащил помятую коробку «Беломора», щелчком выбил папиросину и принялся, сминая курку большим и указательным пальцами, ссыпать табак. В пепельнице образовался десятимиллиметровый курган.

— А вы знаете, что сигаретные фабрики во время войны переводят на выпуск патронов? Видите, калибр такой же. Это специально сделано, — Ильин показал нам пустую бумажную гильзу, положил ее аккуратно на стол, вытащил из кармана спичечный коробок, щепотью достал из него немного травы, положил в середину ладони левой руки, подхватил правой бумажную гильзу и принялся ловко ее набивать. Травы хватило в аккурат под самый кончик, который Ильин закрутил двумя пальцами в конус.

— Взрывай, — протянул он мне папиросу.

*

— Эй, ты с нами? — Ильин дернул Виолетту за носок, но она не отреагировала.

Мы с ней сидели на полу в комнате, она — с закрытыми глазами, я — в состоянии полуобморочного удовольствия от самой возможности вот так вот просто сидеть на полу и ни о чем не думать. Ильин лежал тут же, у наших ног, пользуя Альму в качестве подушки.

— Ну как всегда по накурке. Ушла. Можно в уши орать. Ноль!

— Не только по накурке, — сказал я, — Она еще так читает. Прочтет абзац и уходит. Нужно вот как...

Я придвинулся к Виолетте, протянул руку и дотронулся до ее щеки. Она вскрикнула как от ожога и тут же открыла глаза.

— Виолетта... Ты меня слышишь? — позвал я.

Виолетта повернула ко мне голову:

— Конечно слышу, — медленно произнесла она, — Идиот... Сколько раз я просила так не делать... Я в порядке.

— Минуту назад нам так не казалось. Да, Вадим?

— Минуту назад вас с Вадимом тут не было.

— Разве? — я посмотрел на Ильина.

— Ну что ты, Виточка. Это же мы, — подхватил Ильин и вяло махнул Виолетте шестипалой рукой.

— Ты должен был с ней поговорить. — Виолетта, вытянула в его сторону указательный палец, ставший вдруг неестественно длинным и острым.

Я зажмурился, встряхнул головой и когда открыл глаза, все стало снова обыкновенным — Ильин, Виолетта и ее палец.

— Ты хотел почитать, — сказал мне Ильин, не обращая внимания на Виолетту.

— Что почитать?

— Стихи, — весело сказал Ильин.

— Стихи? — спросил я почему-то у Альмы.

Альма кивнула. И, кажется, это заметил Ильин, потому что тут же сел, хлопнул себя по коленке и захохотал, заржал в полный голос, раскачиваясь и пытаясь обнять то улыбающуюся Виолетту, то перепуганную Альму, которая, в конце концов, заползла под свисающее с раскладушки одеяло.

Когда все успокоились, и меня плавно накрыло какой-то необъяснимой сентиментальностью, я спросил Виолетту:

— Слушай, а это... Что ты там видишь?

— Их, — Виолетта ткнула пальцем в пустую стену напротив.

— Соседей? — не понял я.

Мне показалось это забавным, но, видимо, мне одному, потому что Ильин собрал расплывшуюся было физиономию в подобие осмысленной озабоченности и спросил вполне себе трезвым голосом:

— Снова? Давно началось?

— Неделю. За день до того как Светка привела его, — Виолетта кивнула в мою сторону, — Да не твоя Светка. Кондрашевская.

— Ну понятно, — сказал Ильин.

— А что началось? — спросил я.

— Глюки у нее начались, — пробормотал Ильин.

— Ничего это не глюки. Они всамделишные, — сказала Виолетта, — Зачем ты так говоришь?

— Ну да... настоящие. Расскажи ему, — Ильин посмотрел на меня.

— А что, и расскажу... А ты уже взрослый дяденька, должен понимать, что если кончаешь в девочку, получается ребеночек! — сказала Виолетта и замолчала.

Мы прождали почти минуту.

— Ну да... Расскажет... Когда очухается, — махнул рукой Ильин, — Ладно, нам пора.

И пошел в коридор одеваться. Я вышел следом, проводить. Щелкнул выключателем. В сумеречной прихожей стало светло.

— Держи краба, — Ильин протянул мне руку, — Когда вернешься, заходи.

— Не вернусь, — сказал я, — Но спасибо.

Ильин позвал Альму. Альма буквально выпрыгнула в темный холодный коридор вслед за хозяином. Я закрыл за ними дверь и вдруг, впервые заметив бывший дверной глазок, забитый теперь деревянной пробкой, представил Виолетту сидящую у стены с открытыми невидящими глазами, вернее, видящими что-то, чего не видел я, и мне стало страшно.

*

Она стояла перед запертой балконной дверью и смотрела на улицу. Там по натоптанной снежной дорожке в сторону автобусной остановки шли два силуэта — человек и собака. В комнате было прохладно и темно, но свет включать не хотелось.

— Ну что, — спросила она, — проводил?

— Проводил, — сказал я и сел на пол спиной к батарее.

— Хорошо, — сказала она и уселась рядом.

Контраст холодного воздуха и обжигающего тепла давал настоящее первобытное ощущение уюта. Виолетта уже не казалась такой странной. Запах ее чистого тела, густое дыхание провоцировали меня. Захотелось до нее дотронуться, притянуть к себе, нашептать каких-нибудь глупостей... Но мне не хватило смелости. Я встал, дошел до своего матраса, взбил смятую подушку и, не раздеваясь, залез под старый, изъеденный молью плед.

— Я вижу людей, которые живут... жили в этой квартире... Сорок лет назад, — сказала вдруг Виолетта.

— Призраков, что-ли? — не понял я.

— Нет. Не знаю как объяснить... Мы живем в этой квартире сейчас, а они сорок лет тому назад. Одновременно с нами, только сорок лет назад. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал я.

— Они здесь жили вчетвером. Муж с женой... С дочкой. Ей пять или шесть. И совсем еще маленький малыш.

— Маленький?

— Да... Четыре месяца.

— Так это какой год?..

— Пятьдесят первый.

— За два года до смерти Сталина получается.

— Наверное.

— А как ты их видишь?

— В первый раз это было полгода назад... На кухне. Я собралась что-то мыть, кажется — тарелку, потянулась включить воду и увидела ее руку, как она кран повернула, и потом ее. Я так заорала... Она не заметила... Как будто кино смотришь изнутри. И все как будто прозрачно и в то же время по-настоящему. Как голограмма.

— Прикольно.

— Ага, я чуть не съехала на этом приколе.

— А голоса... о чем они говорят... не слышишь?

— Нет, слава Богу. У них ребенок постоянно плачет. Зубки, наверно, режутся.

— И как они жили в этой однушке вчетвером?..

— Так и жили. Вон в том углу стоит детская кроватка малыша. А там, у окна, где ты, спит Настя. Это их девочка. А здесь, на синем матрасе — они сами. Утром отец ведет девочку в детсад, и до семи дома только мама с малышом. Дружно жили... Живут.

— А сейчас ты их видишь?

— Картинки нет, но ощущение присутствия есть. Дети спят, а они на кухне.

— А как ты узнала имя девочки?

— По детсадовской бирке на одежде. Я знаю как их всех зовут. Кроме малыша.

— И как?

— Его зовут Сергей, ее — Катя, Екатерина. Салтыковы. Из Ленинграда. Эвакуированные. Остались после войны. У них, как я поняла, были какие-то проблемы там. Потому и остались. Очень интеллигентные люди.

— Видимо, происхождение подкачало...

— А что ты смеешься? Может быть и происхождение. Да, наверно, так и есть. Наверно... Точно. Я видела у них старые фотки с царскими офицерами... Иногда мне кажется, что они меня слышат... Катя... Не знаю... А почитай что-нибудь свое. Ты ведь обещал.

— Обещал... Хорошо. Только одно.

— Пусть будет одно.

— Ну слушай...

Я закрыл глаза, стараясь вспомнить начало написанного накануне, как мне тогда казалось, незаконченного текста:

Четыре черных галеона, вплывают в комнату ночную,
И воздух сумрачный едва ли раскачивает кливера.
Печальных всадников на синем пространстве зеркала рисуя,
Ложатся бархатные тени на край каррарского ковра.

Четыре беркута, четыре, четыре папских капеллана
С кормы слетают в изголовье ко мне, молчание храня.
Как будто в плаванье небесном, минуя призрачные страны,
Четыре черных капитана искали именно меня.

Как будто сон о невесомом небесном острове не снился,
Где в странном гульбище, в разгаре нездешне сдержанных пиров,
Сбежав играючи от взрослых, я ненароком заблудился —
Как полночью в уснувшем доме — в одном из множества миров.

Я замолчал. Где-то далеко на улице залаяла собака, прошелестел троллейбус. Наверное, последний.

— Жалко, что ты уезжаешь, — сказала Виолетта.

Я промолчал. Я лежал и думал о том, что одиночество в больших дозах — яд для любого, рожденного в социуме, а значит — к нему привязанного, обреченного искать «единомышленника», «родственную душу», «вторую половинку», быть в постоянной зависимости от отношений, от внешней и внутренней оценки с постоянно меняющимися критериями, которые сами по себе условны и зависимы от времени, места и обстоятельств. И если нет рядом ни одной «родственной души» — затеваешь сначала диалог с самим собой, потом начинаешь разговаривать с предметами, и наконец придумываешь себе призрачных соседей, обитающих здесь же — в твоих двадцати квадратных метрах убогой жилой площади но, как бы... в другом времени.

*

Меня разбудил Перикл. Его тропическое чириканье нарисовало во сне какую-то солнечную лагуну с пальмами, берегом и океаном, которая — стоило мне открыть глаза — превратилась в не менее сочное, не по-зимнему голубое небо. Обилие солнца взбодрило, видимо, не только пернатого основателя демократии, но и его хозяйку, потому что из кухни вкусно пахло блинами. Под шипенье сковородки и клокотанье чайника Виолетта вполголоса напевала какую-то мультяшную песенку.

Была уже половина двенадцатого. Мне нужно было собираться. Я хотел перед отъездом заехать еще в пару мест.

Я встал, натянул джинсы. Услышав меня, Виолетта громко сказала:

— Иди завтракать.

— Ага, — буркнул я и пошел в ванную.

Через полчаса мы пили чай и смотрели в окно. Как обычно, молча.

— У меня к тебе просьба, — сказала вдруг Виолетта.

— Все, что захочешь, — улыбнулся я.

— Ты не сможешь что захочу... — ответила она серьезно, — Просто не рассказывай никому о том, что было вчера. Вообще. И не пиши об этом. Договорились?

— Обещаю тебе десять лет. У всего должен быть срок давности. Я же писатель. Давай — десять лет.

— Давай — пятнадцать. Только точно!

— Договорились! Кстати... У тебя есть какая-нибудь ненужная тетрадь или блокнот.

— На антресоли в прихожей целый склад макулатуры. Поройся. Я там какие-то тетради видела... Я тоже пойду. Надо к Светке сходить. Помочь. Уходить будешь, просто захлопни дверь.

Я пошел складывать в свой громадный дорожный рюкзак книги и вещи, разложенные вдоль стены у моего лежбища, а Виолетта как-то очень быстро собралась и встала в дверях прихожей молча наблюдать за мной.

— Ну что, я пойду? — спросила она, — Заходи, когда вернешься.

— Хорошо. Если вернусь. Ну дай что-ли обниму.

— Ну на... что-ли обними.

Мы обнялись, я поцеловал ее в щеку.

— Ну пока, — сказала она, махнула мне рукой и ушла.

Нужно было еще запастись бумагой для заметок. Я пошел за стулом.

Высоты стула не хватало, чтобы вволю похозяйничать на антресоли, и я на удачу запустил руку в бесформенную груду книг, газет и прочей антикварной типографщины. Я ухватил сразу три — вроде бы на ощупь — тетради. Две из них оказались брошюрами Ленина. Зато третья порадовала. Мне достался старый блокнот с голубой выцветшей обложкой, первые три страницы которого были исписаны аккуратным почерком с витиеватыми каллиграфическими завитушками.

*

Самолет набрал высоту, плавным разворотом пошел влево от освещенной остатком зимнего заката горной гряды Алатау. Я смотрел в иллюминатор и думал о том, что там, внизу, через два часа она — Виолетта — начнет свой ежедневный затяжной ритуал подготовки ко сну: нальет себе чаю, будет, по обыкновению, долго его пить глядя в окно, потом — старательно мыть чашку, долго стоять под душем... Это ее тихое помешательство — соседи во времени — не плохой сюжет. Надо бы записать, чтобы не забыть...

Я полез в рюкзак, достал блокнот, открыл его, взялся за три первые исписанные страницы, чтобы их вырвать и зацепился взглядом за имя. «Сережу арестовали...» Я разгладил помятый лист. Это было письмо:

«Здравствуй, мама. Прости за то, что долго не писала. На то были причины. Мы с Настей остались совсем одни. Пишу тебе и плачу. Мамочка моя родная, не знаю, что мне делать. Сережу арестовали. Ванечка умер...»

Буквы плясали у меня перед глазами. Рациональное объяснение было, но детали не вязались друг с другом... Я думал: значит, прошлое и настоящее — одновременны, и Катя с Сережей... реальные Катя с Сергеем живут в открытом Виолетте отрезке этой параллельной реальности... Малыша зовут Ванечка... Скорее всего, Сергею припишут шпионаж и отправят в КарЛаг, а Катя окажется... может оказаться в Акмолинском лагере жён изменников, и тогда Настю отдадут в детский дом... О малыше я старался не думать, это уже было за гранью добра и зла. И всем им — и Виолетте в том числе — предстоит пережить этот описанный в письме ужас. А потом, когда квартиру там, на той стороне — в их настоящем — опечатают, Виолетта будет ждать, по-прежнему уходить в пустую, теперь уже безжизненную темноту, пока в один из вечеров не решит больше не возвращаться. И рядом не будет никого, кто мог бы ее спасти — одним единственным прикосновением.

СОМНЕНИЕ

Александр КРАМЕР

1

Одно время я просто не вылазил из командировок. Наездился до того, что жена моя первая, когда я в очередную командировку уехал, собрала вещички свои, да к родителям и воротилась. А перед этим чуть не из-за каждой поездки скандалы в доме стояли такие, что не очень-то я и расстроился, когда меня бросили.

Ну, а совсем перед тем, как второй раз жениться и с кочевой своей жизнью насовсем распрощаться, попал я осенней порой в старинный небольшой городок, недалеко от границы. К сожалению, время еще было такое, когда за билетами, куда б ты ни ехал, в диких очередях приходилось выстаивать, да и достоявшимся тоже никто гарантии не давал, что удастся купить билет на нужное время и направление. Однажды пришлось мне в Москву из Уфы добираться через Ташкент и Адлер. Главбух чуть с ума не сошел, когда я билеты выложил.

Так вот и получилось в тот раз, что уехать пришлось на день раньше, потому что мне на испытательном полигоне непременно нужно было быть вовремя.

2

Ну, приехал... Город чужой, времени свободного – пруд пруди, – самое то, что нужно, замечательно просто. А город открылся уютный, красивый, зеленый – необыкновенно. Я наслаждался чудесной оказией, и бродил, бродил – никого ни о чем не спрашивая – до бесконечности. Наконец, незадолго до вечера, забрел на окраину и очутился перед высокой стальной оградой с великолепными коваными воротами: и диковинные животные на них были, и причудливые цветы и растения... Не ворота, а кузнечный шедевр. Створки стояли открытые настежь, и за ними хорошо виден был белый большой особняк с портиком и колоннами, а дальше, за подъездной аллеей, бесконечно тянулся парк – и ни единого человека нигде; и мне вдруг ужасно захотелось прогуляться по парку: отчего-то подумалось, что он должен воротам замечательным по красоте соответствовать. Подумано – сделано. Приближаться к особняку я не стал: мало ль кто там обитает и чем это для меня может кончиться. Нет, бояться я ничего не боялся, просто приключений на свою голову искать не хотелось, не в моем это характере, потому я тут же с главной аллеи свернул и пошел бродить по дорожкам.

Сад оказался довольно запущенным. Будто много лет никто ни к чему здесь не прикасался. Но по мне так – даже и лучше, чем когда все вылизано, как на параде. Природа тогда – будто стерилизованная, дистиллированная – неживая, одним словом, – вроде лица на котором ни родинки, ни ямочки, ни другого симпатичного какого-нибудь изъянца.

А всюду скульптуры разные, фонтаны причудливые, беседки, портики... Только вся эта красота тоже запущенная-заброшенная: скульптуры с отломанными руками-ногами, портики и беседки местами разрушены, в трещинах, фонтаны ползучей гадостью и бурьяном позарастали... И потому ощущение возникало такое, будто время в чудно́м этом месте тоже немного разрушилось и от этого остановилось.

Бродил я довольно долго, пока, уже на заходе солнца, не вышел к откосу. С откоса видна была широкая, нарядная в свете закатном, речка, через речку – длинный ажурный мост, и за мостом – город, зажигающий первые огоньки. А дорожка, которая к речке вела, уперлась в высокую и длинную перголу (я потом на даче себе такую же сделал, только, конечно, пониже и покороче). Пергола, увитая лозой дикого винограда, была ярко-красной, будто небеса закатные в ней отражались – красиво необычайно. Как и все в этом саду, пергола тоже немного разрушилась, но еще была ничего, не такая, чтобы стоило чего-либо опасаться. Нырнул я в сумеречный коридор и стал спускаться по склону, пока не вышел наружу, к узкому металлическому мостику через ручей. Перешел – и вижу: большая земляная площадка, окруженная огромными валунами, на другой стороне площадки – скала – могучая, мрачная, с покатой плоской вершиной; а на самой вершине – метрах в трех-четырех над землей, прямо над той дорожкой, по которой только и можно к речке спуститься, умостился полого гигантский обломок: будто чудовищной силой скалу надломило, да кусок отломившийся так на вершине лежать и остался. Казалось, громадный камень лежит непрочно, чудом только, потому что под свежим ветром даже слегка покачивается. Впечатление создавалось такое, что вот-вот глыба рухнет вниз и все под собою раздавит. И тут показалось мне, а может, померещилось просто в неверном закатном свете, что на скале... вроде как написано что-то, но не по-нашему... Солнце на сизом небе пунцовым светом пылает, от скалы – тень густая клином через всю площадку легла, валуны путь обходной загораживают, и иначе к реке не пройти никак... Можно, конечно, назад повернуть, но мне вдруг втемяшилось, что обязательно надо к реке спуститься, – и от этой опасности мнимой воображение мое вдруг разыгралось, как-то не по себе стало, знобко даже...

3

– Здравствуйте. Вы кто, извиняюсь, будете?

Я аж вздрогнул от неожиданности, обернулся: передо мной маленький, сухонький старичок стоит, – голову набок склонил, взгляд из под мохнатых седых бровей серьезный, из солидного глиняного чубука дым в вислые казацкие «вуса» пускает.

Да так, – отвечаю, – приезжий, а здесь как, нельзя посторонним?

Отчего ж таки, можно, стойте, чего путного, может, и выстоите... А с экскурсией утречком – не схотели?

Голос у старичка был жиденький, сильно на женский похожий, но уверенный и не сердитый, и я ни минуты не дергался, что в чужие палестины забрался.

А я не с экскурсией, я сам по себе, командировочный. Скажите, а что на скале действительно надпись или мне только кажется?

То так, напыс есть, только там на латиньском напысано, да суморок, потому не понять.

Нет, по латыни я все равно бы не прочитал. А что надпись значит?

– Так то и обозначает, отчего вы до камню наближаться не сильно желаете, а здесь утвердились. – Сказал старичок, улыбнувшись и выпустив в небо дымное облако. – Но если желаете, посидим в сторожке моей (караулю я тут), повечеряем разом, чтобы мне одному не так нудно было, а я вам про камень та напыс историю и доложу.

4

Может, что и совру, а только на бумаге нисколько о том не сохранилось – потому, неписьменный народ обретался.

Жил в давнее время, при крепостном еще праве, в имении этом пан. Был пан шляхетный, гербовый – куда там... От только за годами имя паново не збереглося.

И все у того пана имелось: достаток, панна красуня, два паныча-подлетка... Чего еще надо(?) А только так не бывает, чтоб все у человека имелось, и ничего ему сверх того не желалось. Вот и пана нашего стало в одночасье корчить оттого, что не ведом он никому – вишь, славы ему приспичило. А откуда ж той славе свалиться, коли пан ленющий был – почище вареника: только его и хватало, чтоб в гости к кому забраться, в карты резаться, горилку трескать, да по чужим бабам да девкам шастать. Так и то сказать, сильно пан девок любил, и немалое их число по округе всей перепортил; так откуда ж в других делах усердию взяться, ежели вся ретивость на девок тех и уходила.

А особо владетеля разбирать стало, когда сосед его першим в этих краях мельницу паровую завел, и, надо ж такому, почти в то же время приятеля его наиближайшего мировым судьей выбрали.

Совсем пан после того с ума сходить начал – ровно взбесился. Крепака своего за паршивого зайця чуть до смерти не запорол. Панну, по пьяному делу, прибил; так прибил, что она забрала панычей и, не медля, съехала – будто у воду канула.

Ни с того ни с сего запретил бабам, сроду такого не знали, в лес по грибы ходить, да ягоды собирать... В общем – творил чудеса.

Так он чуть не полгода дурил, а бестолку надурившись, собрал свой народец мастеровой, выстроил перед домом и посулил тому, кто что-нибудь разпроэтакое измыслит – этакое, чтоб с ног сшибало, чтоб завидки соседей взяли, и округа галдела как заведенная – вольную тут же выписать и всем его домочадцам в придачу.

5

На селе – то почти что закон – коваль – мастер наиглавнейший. Оттого у коваля в хате и сошлись погутарить про панску шараду. И раз сошлись, и второй... Да разве ж кто ни с того ни с сего что необычайное измыслить способен? Это ж не табуретку сварганить, это природно человеку тому должно быть.

Вы решетку при входе в сад наш видали? Ну вот с того и начнем.

Сыновей ковалю жинка родить не сподобилась. Произвела на свет четырех девок, а потом хворобу какую-то заимела, на том продолжение рода ковальского и остановились, и передать свое мастерство ковалю, вроде бы, некому выходило. Но то только вроде бы, потому как три девки обыкновенных у коваля народилось, а одна, самая старшая, ее Настькой звали, была, как и не девка вовсе: роста громадного – выше батьки, лицо грубое, рябое – мужичье, силища в руках – я ти дам. Хлопцы не то, что любезничать, подходить опасались. Подковы, понятно, Настька не гнула, но когда в ухо залившему зенки охальнику врезала, того чуть не с того света пришлось ворочать. После того ухажеров, даже по пьяному делу, как-то не находилось.

Все, видать, оттого пошло, что еще сызмальства наладилась Настька в кузню бегать, отцу подсоблять. И такая в ней страсть обнаружилась к этому делу, такая жилка, что коваль только головой качал, да руки разводил. А Настька выдумщица уродилась – страшенная. Вечно у ней в голове какая-нибудь идея крутилась: все старалась по-своему измыслить, как-то не так, как все делают; а как выкует вдруг для души какую чудовинку, так ее на базаре вмиг оторвут. Часом коваль, шутки ради, как загнет на ярмарке цену... Куда там, и шуток не понимали, раскошеливались. Потому, когда пан ворота ковать заказал, коваль Настьку в подмастерья свои наладил окончательно и бесповоротно – ото ж она все фигурки на воротах и понапридумывала, а коваль и не возражал, потому понимал – мастер знатный растет, не ему чета. А когда барин орать вознамерился, что нескончаемо работа та тянется, коваль ему цветы кованые к особняку привез и положил на пороге – на том ор панский и кончился.

Так-то оно все замечательно вроде, да только, понятно, несчастливая девке выпадала судьба: подружек не водилось у Настьки сроду, парни тоже в компанию не принимали, только и был свет в окошке, что батя да кузница. В перестарках уже ходила.

Так чего учудила! Отпросилась как-то раз в город – на неделю целую, вроде ей захотелось на людей поглядеть да скупиться. А после того, через короткое время, обнаружилось, что Настька после той поездки тяжелая – ну шуму было! Мать чуть из хаты не выгнала, сестры брезгливо фыркали, по селу народ ухохатывался, пальцем на девку тыкал. Только коваль тогда дочкин поступок и понял, да пожалел; посадил он ее на возок, да, чтоб дураки душу девке не бередили, свез незнамо куда, где Настька и родила, подальше от взглядов косых, да тупых голов.

Народ языки почесал-почесал, да вскорости и надоело, а пацан видный родился, ковалю и Настьке на долгую радость.

6

Ну, вот потрошку до камня и дошкандыбали. К той поре, когда пана думки о славе одолевать стали, Настька уже в настоящие ковали вышла. Только ровней себе, из-за бабьей ее принадлежности, мастера местные Настьку не признавали, на сходки цеховые звать не сподоблялись; и на этот раз так затевалось. Но только тут не в меру серьезно все выходило, не до фанаберии. Пришлось-таки кузнечиху позвать, чтоб и она себе голову над панской задачкой ломала.

Первый раз от задумки Настасьиной мужики аж покатилися, затюкивать бабу стали, а только Настасью тем с толку не сбить было, не тот заквас, не тот норов. Дождалась она, когда все отзубоскалятся, и давай, заместо насмешек, помощи ихней просить, а тут и батька ее, как положено, голос свой поднял, давайте, говорит, разбираться, а насмешки строить – немудреная штука; так дело и двинулось.

Когда все до мелочи обмозговали, собрались мастеровые гуртом и двинулись, вместе со старостой, к пану. Позначили в общих чертах задумку, да и стали просить, чтобы позволил пан всей деревней на работу ту навалиться – не осилить иначе, а если что путное из затеи выйдет, отпустить на волю их деток, а им самим, сверх такой его милости, ничего и не надобно. Понятное дело, затею ту тоже Настька придумала, а пан, даром что с гонором, без дальних слов и согласился. Согласился – да и укатил; видно, тоска его на самоте одолевать стала. Воротился пан тогда только, когда управитель оповестил, что дело все сделано и можно гостей скликати.

7

Всем миром тогда налегли и управились к осени, потому как по осени в нашей местности серьезные ветродуи – корень наиважнейший, чтоб товар наилучшим образом предъявить. А от этого, сами должны понять, что зависело.

Денек выдался тогда яркий, ветреный, как мастера и подгадывали. Площадку перед скалой цветами украсили, дорожку, что от моста железного за скалу к речке ведет, чистым речным песочком посыпали, на каждый валун поставили меленки кованые с колокольцами, и у меленок крылья крутились, и звон тихий от колокольцев поширивался – в общем, навели красоту. А за скалой сразу, вы туда чуток не дошли, а в сумороке не разглядеть, тоже малесенькая площадка имеется. Там бабы в тот день столы праздничные накрыли с пирогами да пирожными, самовары жаровые, до нестерпного блиску начищенные, вскипятили и дворню в нарядах праздничных наготове поставили– дорогих гостей потчевать.

Спустились дамы и господа от панского дома, прошли насквозь перголу – новомодная штука была, ее тоже на тот случай поставили – перебрались через мосток, на площадке расположились и... стоят. Ветер маленько посвистывает, колокольцы легонько позванивают, кусок страшенный над дорожкой качается – полный вид, будто в сей момент поползет, обвалится и всех под собою прихлопнет. Стоять дороги гости, попритихали, к угощению не поспишають, меж собой перешиптуються. А пан вдруг как став смеяться – и остановиться не може, аж слезы з глаз, чуть от хохота боки не надсадил. Так ухохатываясь, в три погибели согнутый, добрался до угощения – и стоит чай пьет, руками махает – к столу гостей кличе. А только еще один молодой офицерик пошел, да приятель пана, что мельницу паровую построил, а остальные пошушукалися, пошепталися промеж собою, да в дом и возвернулись.

После того посещения и наказал пан на скале надпыс выдолбить. «Дубиум» там надпысано, «сомнение» значит. Вы вот тоже, приметил я, засомневались. А в войну в саду авиабомба жахнула, в имении стекла все повылетали, деревья с корнем повыворачивало, а каменюка как раскачивалась да сползала, так и посейчас продолжает.

Старичок замолчал, склонил голову набок, прищурился, посопел чубуком, посмотрел на меня, улыбнулся хитро и закончил:

– А в округе скалу эту все «Настькиным каменем» кличут, и в книжках так, ясное дело.

Анна АРКАТОВА

ОШИБКА ШУСТОВОЙ

Шустова опаздывала всегда. На работу, в театр, на самолет (2 раза). Но однажды у нее случился роман с мужчиной, которого хотелось задержать. Для этого Шустова стала очень строго следить за своим поведением. Особенно что касается известных недостатков. Например, она бросила курить. При мужчине. Она вооружилась жвачками, влажными салфетками, дезодорантами для рта и портативным кремом для рук – чтобы он не догадался, чем она занимается до свидания и сразу после. То есть мужчина был уверен, что Шустова не знает как выглядит сигарета. Потом выяснилось, что ему все равно курит она или нет –но ведь понятно, что он лицемерил. Все мужчины хотят, чтобы женщина не курила и желательно ни с кем не спала до них. Так вот на втором месте у Шустовой в списке стояли опоздания. Нужно не просто быть как самка влюбленной и при этом не курить, а показать свое уважение к личности самца. Поэтому Шустова стала выходить из дома за час до свидания. Она ни разу никуда не опоздала, а некоторое количество раз даже ждала мужчину минут по двадцать. Из них три раза под дождем. И так как цель оправдывала средства, Шустова поставила перед собой еще и сверхзадачу. Дело в том, что она никогда себе ни в чем не отказывала. Ни в чем. Никогда. Стало известно, что это эгоизм. Или эгоцентризм. И Шустова стала себе кое в чем отказывать, чтобы произвести впечатление. В том, в сем – набралось достаточно. Поверьте. Настолько, что синяки под глазами могли уже сойти за приметы святости.

Интересно, когда они расставались, мужчина никак не мог сформулировать свои претензии к Шустовой. А она очень настаивала (я бы тоже на ее месте так поступила). Потому что одно дело не судьба, а другое дело работа над ошибками. И это были бы очень полезные сведения для будущих проектов. Шустова звонила и звонила своему мужчине (постепенно становившемуся бывшим мужчиной) и задавала один и тот же вопрос «Ну?». Таким образом она добилась очной встречи, на которую пришла как обычно до всех этих приключений. То есть на час позже. К ее удивлению мужчина не просто сидел где назначено, но и очень обрадовался ее появлению. Просто удивительно. Очень обрадовался. Он тут же вскочил, и Шустова не успела даже произнести «Ну?», как оглохла от фальцета, носившегося по всей ее предыдущей жизни.

– Да ты ведь даже вовремя прийти не можешь!, – выдал мужчина с восторгом отличника, опять угадавшего ответ.

– Действительно, не могу, – подумала Шустова и достала сигарету.

СОМЕЛЬЕ

Прилетаю я на днях из Берлина. Вечер. Снег. В аэропорту жду полтора часа мужа, который стоит в мертвой пробке. Наконец он появляется, злой, голодный, с ошметками нежности на губах, и мы садимся в машину. В это время — буквально, нога на подножке — звонит мой научный руководитель Щеглов. То есть звонит он, судя по всему, целый день, и вот, слава богу, дозвонился! Где вы были целую неделю? Весь на подъеме, сообщает радостно, что освободилось место для доклада. Какого доклада? — спрашиваю. Ну того, склоняет меня к радости руководитель Щеглов, который у вас есть возможность написать за четыре дня. Это такая удача: для докладов аспирантов никогда нет места на наших научных обществах, а тут один ученый отказался выступать, и мы решили всем обществом послушать вас. Короче, сейчас среда? Значит к воскресенью, но не позднее одиннадцати утра! Пришлите мне текст, чтоб я мог разослать его остальным ученым. Договорились?

Со мной очень легко договариваться. Потому что первые пять минут я молчу в состоянии, похожем на анестезию. Многие это принимают за согласие. И со стороны этих многих все идет как по маслу. Давно замечаю, но не успеваю предупредить.

Но это не все. После Щеглова звонит один тип с телевидения и говорит, что завтра они приедут ко мне снимать передачу про мою собаку Челси. (То есть на доклад остается три дня.) От съемок отказаться нет никакой возможности, так как мне их моя подруга сосватала еще полтора года назад. Она у них редактор. И ей нужно формировать контент. Передача типа «Квартирного вопроса», только вместо ремонта — декорация. Подруга меня замучила прямо: давай да давай тебе что-нибудь публично задекорируем! Но мне уже абсолютно нечего декорировать, говорю, ты же знаешь, я сама болгарским крестом две газетницы вышила. Гидрант эмалью расписала... Но мы можем сделать, например, целевую декорацию, — не унимается подруга. Например, к Рождеству буквально всю квартиру украсим треугольными салфетками. А? Или там мужу японский дворик соорудим. Он приходит — представь — а ты хопа! В кимоно и с чайником! А? Нет, говорю, как ты можешь, с треугольными — это не ко мне, ты меня не первый год знаешь. А что тогда? — уходила в глубокую депрессию подруга. Ладно, жалела я ее, оформите мне живой уголок. В смысле место для моей собаки Челси. Только придерживайтесь, ради всего святого, викторианского стиля, ибо мебель у меня через одну сплошной антиквариат.

Короче говоря, они мне бесконечно звонили, просили фотографии квартиры, собаки, себя, остроумных историй про счастливую собачью жизнь, потом они все фотографии потеряли — в общем, мозг совершенно выпили, и в конце концов звонят вот сейчас в машину, чтоб я завтра утром была готова к торжественной декорации и непременно с мужем. Но муж мой положил на эту декорацию еще в начале творческого пути. О чем я им и сообщаю. Тогда они говорят, что так нельзя. У них телеканал называется «Домашний», надо, чтоб семья была, а то у них все матери-одиночки да старые девы, пригласите кого-нибудь, ну хоть соседа (крупный план — лицо мужа). Хоть сестру. У вас есть сестры? Нельзя, чтоб вы были одна в кадре. (В жизни, значит, можно. А в кадре — ни в коем случае.) У меня, конечно, сестер лопатой греби, но кого я буду приглашать в полночь, а завтра рабочий день. Звоню в конце концов моей однокурснице Маше. Она точно не спит ночами, ждет счастья. Звоню и говорю, что у тебя, Маша, появился первый и последний шанс прославиться. Ой, кричит, а у меня завтра лекции и отчет! Не знаю, говорю. Как хочешь... Хочу! Хочу! — кричит Маша и начинает укладывать в сумку нижнее белье. Ну, слава богу, думаю, семью создала, в смысле организовала. Все, кто в машине, уже в тонусе, несмотря на голод. А вот и наша улица. Едем, между прочим, два с половиной часа, что один в один

равняется пути от Берлина до Москвы, только поверху. Отрывая трубку от уха, обнаруживаю, что муж сгрыз руль, и мы передвигаемся с помощью дворников.

Приезжаем — как раз начинается Лига чемпионов. Это футбол, если кто не в курсе. До трех часов ночи. Ложимся спать, отпраздновав чью-то победу. Утром едва успеваю как следует намылить мочалку и сделать два давка шампуня, как в дверь звонит редактор программы. Кто там, говорю. Редактор Андрей. Открываю — а там Андрей плюс. То есть еще пять мужиков с ним. Как любит говорить моя мама, «беда не приходит одна». Потом еще столько мужчин, уже по одному, прибывало каждые полчаса. Они расставляли свои светильники и передвигали антикварную мебель, а последний сказал, что знаете, мы тут подумали, раз вы без мужа, пусть уж никого не будет в программе. Пусть как есть. Нетушки, говорю, человек — имею в виду Машу — вызвался мне семью заменить, ради этой программы с работы уволился и на выходное пособие белье купил, а вы ему отлуп дадите. Нехорошо так. Ладно, говорят, снимем вашу Машу, не плачьте.

Наконец является Маша. На час опоздала. В какой-то жилетке без лифчика. Сиськи в разные стороны. Где белье — не понимаю. Ты, говорит Маша, заметила, что я без лифчика? Я говорю, заметила, что ты без мозгов от счастья, Маша. Прикройся, в квартире двадцать человек, не говоря уже о собаке. Маша — за что я ее люблю — не обиделась, а поделилась косточкой. Наверное, по дороге заехала в магазин продуктов «Азбука вкуса», где она каждый день рассчитывает устроить свою личную жизнь с помощью йогурта. Каждый день покупает по пачке йогурта. Это она в журнале вычитала, что мужчин надо искать в респектабельных местах. Вот пробует в респектабельном супермаркете. Челси уже с утра забилась под стол. Решила, что мы переезжаем. А вот этого как раз она не выносит. У нее могут панические атаки начаться. Если косточками не запастись. Так что Маша молодец. Будь как Маша.

Прошло уже часа четыре — ничего не начинается, ждем гримершу Люду, еще каких-то демиургов. Я подумала: когда, если не сейчас! Пошла в спальню и надела мини. В Берлине купила. Подумала: мужики молодые, сдержанные, мытые. Обувь сняли без последствий для обоняния. Правда, чувствуется, голодные. Но сами виноваты — они всю мебель из комнат на кухню сдвинули. Вот холодильник в стену и вдавился... Маша перемещается, колышет формами. Я даже задремала, как в подводном царстве, распределяя в пространстве ноги и выстраивая параллельный сюжет научного доклада.

И тут мне звонит знакомый визажист Виктор с трепетной просьбой приютить на ночь подругу из Самары. Не вопрос! Говорю. Если, конечно, она умеет спать стоя. Она — сомелье, серьезно так обрывает мою иронию Виктор, и это, видимо, должно многое объяснить. Я потрясена. У меня никогда не ночевали сомелье. Я по привычке задумалась, и все произошло как всегда.

— Так я, — говорит Виктор, — дам твой телефон?

— Дай, — говорю, — не жмись.

Тут же звонит эта подруга, по имени Вика.

— Буду в шесть — ничего?

— Конечно, — говорю, — как раз мне еще одной сестры не хватает в кадре!

Тут слышу в комнате какой-то женский голос, новый. Думаю, гримерша приехала.

— Здрасьте, — выдвигаюсь я в мини, — вы кто?

Девушка открыла рот, потом закрыла рот.

— Я? — (откр.-закр.) — Ведущая Таша!

— А-а-а, — сдулась я, — я думала гримерша Люда.

Все почему-то замерли. Потом Маша, затащив меня в ванную, испуганно шипела мне в сережку, что эту Ташу вся страна знает, кроме меня. Ну я же, говорю, гражданка другой страны — мне простительно. Кстати, где мой паспорт? Что-то я давно его не видела.

Таша обиделась — а куда деваться, ключи-то у меня! Зато остальное время хотя бы разговаривала по-человечески, а не как золотая рыбка. Ну, потом была эта съемка, сначала Таша сидела с нами за чайным столом, на котором в изобилии лежали муляжи конфет и пряников (а нечего с утра блокировать мой холодильник!), и спрашивала: как вы решились, как же вы все-таки решились? В городской квартире? Как будто Челси была не лабрадором, а уссурийским тигром. Потом сказали нам: переоденьтесь, типа прошла неделя — и мы осуществили внезапно посетившую нас идею осчастливить лабрадора матрасом. Я переоделась, а Маша застегнулась. С лестничной площадки щедро занесли золотые коробки. Лежанка в викторианском стиле, победно извлеченная из пестрой мишуры, оказалась будкой из некрашеных досок, обклеенной нашими семейными фотографиями. Чтобы животное чувствовало, значит, связь времен. Я бросилась рассматривать фотографии, затосковав по прошлому, а Маша членораздельно так произнесла в камеру: я в жизни не видела, чтобы Челси была так рада. Хмурая Челси наблюдала за тектоническим сдвигом в своей биографии из-под стола.

Тут — когда все уже склонились над розетками и проводами — появляется Вика из Самары. Под мышкой у нее пачка творога, а за пазухой паштет утиный. Ай да Вика, думаю! И вся группа уставилась на паштет. Но поздно. Таша стала у всех изо рта вынимать микрофоны. Темнело. А им еще предстояло оформить хлев для новорожденного теленка.

— Давайте, я вам чем-нибудь помогу, — сказала Вика, имея в виду, что я сейчас прямо брошусь готовить ужин, сбивая по пути мебель. А она будет хлеб резать. Собственно, она угадала. Я вскипятила чайник, попутно слепила кабачковый торт, сварила мармелад, запекла глазурь, притомила спаржу, симметрично развесила изюм, а Вика рассказала мне всю свою жизнь без прикрас.

Оказывается, она обожала все испанское. Вот те на. Кто бы мог подумать! То есть вино, песни, горы, Сальвадора Дали. А когда девушка любит буквально и вино, и песни, и горы — к ней рано или поздно подтягивается и мужчина из этой группы национальных достопримечательностей. Я хотела, чтоб эту нехитрую азбуку переписала Маша. Но она к этому моменту убаюкала свою незапеленутую грудь и увезла ее спать. Утром ей предстояла унизительная процедура восстановления в должности. Вика же просто так сказала, что у нее с собой хорошее вино. А я достала водку.

Ночью пришел с работы муж, включил Лигу чемпионов и принялся поддерживать обе команды. Он едва не заглушил слабую просьбу Вики (кто эта женщина?) разбудить ее в 7.00, потому что ей надо в испанское посольство. На заре там выдают визы блондинкам. (Она сомелье! Кто? Вика из Самары.) Одновременно я открывала электронную почту и обнаружила там подробное письмо неутомимого Щеглова, который уже сам предложил и сам же успел засомневаться в тезисах моего будущего доклада. Такие слова, как «перцепция» и «аперцепция», я читала впервые в жизни. Это меня сначала насторожило, а потом даже завело как-то. Предыдущий доклад я писала три с половиной месяца. Щеглов планировал, что я заведу речь о восприятии произведения искусства, ауре, подлинности, исключительности... Все-таки он милый. Я еще раз обошла со всех сторон Челсину конуру. Можно ли считать ее произведением искусства? Достаточно ли она переосмыслена, чтобы отвлечь меня от прямого назначения рукотворного объекта? У ног моих хрустнул пакет. Я наклонилась. В пакете благородно светилась бутылка сотерна, оставленная Викой. Я открыла ее без штопора — до этого Вика успела мне рассказать на примере водки, что пробки (между нами) только портят вино, посягают, так сказать, на букет. Лучшие винтаж-

ные сорта специалисты завинчивают презренными крышками — и только выигрывают от этого. Действительно, откупоренный с легкостью фломастера сотерн удобно разместился у порожка живого уголка и уже сообщил мне свое выразительное arôme. В самом живом уголке, без труда поджав коленки, расположилась я. Матрасик еще пах слегка облагороженной икеевской пенькой. Надо мной выбранный креативным директором декорации сиял субботний закат на нашей даче — единственная фотка, где мы с мужем согласно улыбаемся в камеру. На остальных мы поодиночке самозабвенно лобызаем Челси. Бутылка легко входила в раствор будки, опрокидывалась и выходила обратно к порогу. Теперь мне казалось, что искусства даже слишком много на этом участке прихожей, его виды слишком доверчиво проникают друг в друга, боюсь, они даже неспособны уже существовать по отдельности в отрыве от Испании, серийных йогуртов, заблудившейся Машиной груди, Лиги чемпионов, снегопада, Берлина, моей фанерной якобы антикварной мебели, которую я завещаю своим потомкам — думаю, оставшихся пары часов до рассвета мне хватит, чтобы описать это Щеглову.

Не знаю кто погулял с собакой Челси, но она вернулась к утру довольная.

Не знаю, кто выпустил Вику в направлении испанского посольства, но к вечеру я получила от нее SMS: «Аня! У меня все получилось! Визу дали! Аня! Какая у вас интересная, насыщенная жизнь! Я восхищена вашей красотой, гостеприимством и (sic!) самодисциплиной! Напишу из Испании! С любовью, Вика».

ГЛАЗ

Ирина КОТОВА

Глаз (не глаза, а именно – глаз сам по себе) не похож на все остальное тело. Саше нравилось все непохожее, и потому она решила стать глазным врачом.

Еще ей нравился глаз потому, что к нему страшно прикасаться. С четвертого курса Саше разрешили ассистировать на операциях. Ассистенция заключалась в том, что хирург, глядя в микроскоп, проводил манипуляции – рассекал прозрачные ткани, сшивал их, а она, с микроскопом или без него, промокала кровь и все, что изливалось из глаза, марлевой салфеткой, сложенной уголком, или маленькими блестящими инструментами помогала подтягивать и придерживать тонкую хирургическую нить. Иногда, вне клиники, Саша представляла, что сама рассекает эти, почти не ощутимые ткани, внутри все холодело, но она упрямо заставляла вернуться себя к тому страшному и неприятному моменту рассечения почти невидимого, живого. Занятия глазной хирургией напоминали ей американские горки: знаешь, что будет неприятно, но все равно садишься, чтобы именно это неприятное, испытав, сделать приятным, получив свою дозу адреналина.

Мышцы живота, кишечник, сердце тоже живые, но Саша не могла их даже сравнить с глазом – самым живым в человеке. Глаз и только глаз может по-настоящему выражать мысли и чувства. Например, от любви и ненависти сердце бьется одинаково учащенно. Оно может еще болеть, ныть или замирать от волнения. Но это все так примитивно по сравнению с глазом!...

Профессор из глазной клиники тоже не походил на прочих профессоров. Если бы нужно было выдумать мультик, доброго медведя она бы непременно срисовала с него. Он все время бормотал что-то, переваливаясь с одной ноги на другую, и поправлял на носу-картошке круглые очки с толстыми линзами. Временами профессор напоминал гриб-боровик. Короткая стрижка-ежик переходила в большой морщинистый лоб, дальше – в широкие скулы, мясистые щеки и огромный второй подбородок, в свою очередь переплывавший в круглый крепкий живот.

Беседы с ним вспоминались как маловыразительные, в конечном счете – непонятные. Но временами он мог блеснуть неожиданной шуткой или вдруг воспроизвести какой-нибудь перл мировой литературы. Например, на лекции по анатомическому строению глаза, после паузы, во время которой он погрузился в задумчивость, пристально глядя на плакат, изображавший орган зрения в разрезе, он, развернувшись к аудитории, сообщил: «Глуб-

же всего смотрят в сердца людей те глаза, которые больше всего плакали». После лекции Саша подошла узнать имя автора, но профессор не вспомнил собственных слов. Мало того, немало удивился ее вопросу и ответил: «Знаете, кто сказал: «Жизнь глупца горше смерти?» – Библия, девочка, читайте Библию».

Вскоре определилась тема Сашиной научной работы. Постепенно она должна была перетечь в кандидатскую диссертацию. Специально для занятий наукой ей выделили свободный день. Все парились на лекциях, а Саша, сама себе хозяйка, пусть один раз в неделю, но могла заниматься тем, чем действительно хочется. Все ассистенты и лаборанты кафедры быстро привыкли к ней и, как казалось Саше, полюбили. Особенно подружилась она с ассистентом Ласкоржевским. Элегантный, с длинными пальцами, ногтевые ложа которых всегда окрашены следами йода из-за обработки рук на операциях, с прямыми длинными ресницами, прикрывающими наружные уголки глаз, придающими лицу выражение смущения, Ласкоржевский походил на породистую русскую гончую. Он охотно соглашался с просьбами Саши об ассистенции. Во время операции, в отличие от других хирургов, рассказывал, что делает, и как лучше в какой ситуации поступить. Иногда ей казались непонятными научные планы профессора. Ласкоржевский охотно вникал в суть проблемы и охотно пускался в рассуждения. И фамилия его ей тоже нравилась – Лас-коржевский. Лас – ласковый, cor – сердце по-латински. Красивая фамилия. Специально для научного дня она раздобыла темно-зеленый, с холодноватым оттенком, хирургический костюм и такую же шапочку. И они – костюм и шапочка – делали ее зеленые глаза еще более насыщенными и выразительными. Ей хотелось нравиться Ласкоржевскому. Да и всем остальным.

Иногда попасть в операционную не получалось. Тогда Саша отправлялась в архив. Часами перебирала истории болезни, впадая в раздражение от кривобоких, горбатых, усатых врачебных подчерков. Больше всего удивляло и злило то, что текст не поддавался расшифровке из-за грамматических ошибок или нагромождения не точных фраз. Она вчитывалась в данные анамнеза, осмотра, шуршала вкривь и вкось вклеенными бланками с результатами анализов, а необходимые данные кропотливо переносила к себе в тетрадь. Изредка встречались записи Ласкоржевского. Только он один отличался ровным, почти каллиграфическим, почерком и никогда не делал ошибок. Когда она читала его записи, невольно становилось тепло в груди где-то там, в глубине, за грудиной и начиналось легкое сердцебиение.

После архива всегда болела голова и тошнило. Свое недомогание Саша связывала с крысиным ядом. Им периодически обрабатывали помещение. Разумеется, пыль тоже не улучшала здоровье. Густая, слоистая, она годами окутывала бумаги. Крупными хлопьями пыль слетала с полок и осаждалась на других полках, полу, Сашином халате, шапочке и в легких. Иногда Саша представляла свои легкие. Такие она видела на вскрытиях и курсе грудной хирургии – розовые в черную крапинку или без крапинки, просто черные. Каждый преподаватель подчеркивал – такие легкие у курильщиков. А у нее не от курения, а вот – от пыли. Руки всегда мыла она, не выходя из архива. Грязь стекала и стекала черными струями в раковину – после первого намыливания, после второго, и иногда – после третьего.

Так незаметно приблизилось окончание шестого курса. Результаты ее научных трудов превзошли ожидания. Саша уже несколько раз выступала с докладами на научных конференциях, в сборниках научных трудов постоянно выходили ее статьи. Иногда доставалась невнятная похвала от профессора. Все необходимые бумаги для прохождения ординатуры по глазным болезням завершали свой круг в Министерстве и в ближайшее время ожидались в институте.

Приближались госэкзамены, но она по вторникам все равно пропадала в глазной клинике. В один из них – по-весеннему прохладный, с постепенно спускающимися с крыш домов на стены и тротуары солнечными бликами, она привычно вбежала в больницу, поднялась на лифте в лаборантскую, где оставляла вещи, переоделась, и спустилась в подвал – в архив. Прошло не более получаса. Саша успела найти только первую, нужную ей для статьи историю болезни, как в архив вбежала аспирантка с кафедры, выпалив: «Поднимайся быстрей. Тебя срочно профессор вызывает», – и также быстро исчезла. Странно, сегодня утром они уже здоровались. В лифте к ней пришло неприятное тревожное чувство, и Саша некоторое время смотрела на цифру пять, прежде, чем нажала кнопку. Неужели что-то с ординатурой?

В кабинете профессора она увидела пять студенток четвертого курса. У них сейчас шел цикл по глазным болезням. Они зачем-то выстроились в ряд.

– А... вот и ты, – пробурчал профессор, – становись с ними. Я вынужден, слышишь, вынужден провести очную ставку. Пришла тут, растрепанная, в истерике, замглавврача по лечебной работе. Говорит, ты утром напала на нее в лифте, пыталась выкинуть что ли – хотела раньше нее наверх попасть, а лифт забит был, – при этом он выразительно сдвинул очки на кончик носа и посмотрел на Сашу поверх них маленькими подслеповатыми глазками – ну, просто Крот из «Дюймовочки».

В руках и ногах у нее появилась слабость. Кровь ударила в лицо. Не своим – далеким и вибрирующим – голосом она выдавила:

– Вы думаете, я способна на такое?

-Не думаю. «Быть добрым совсем не трудно: трудно быть справедливым». Гюго читала? Вот и провожу очную ставку. Кончай, кончай разглагольствовать – вставай в ряд. Есть у меня соображения про все про это – надо выяснить, откуда ноги растут.

Набрал номер телефона.

– Заходите. Она у меня.

Студентки, для которых Саша была старшей, беззастенчиво рассматривали ее. Невольно Саша начала прикидывать, кто же из них похож на нее, с кем ее можно перепутать. Рост у всех приближался к Сашиному. А что кроме роста? Чушь какая-то. И рост ни при чем, и то, что у той, рыжеватой, веснушки, а у той, блондинки с прямыми волосами, острый нос или, у той, полногрудой, облупился лак на ногтях. Тогда в чем дело? Какой-то дурной сон.

Минуты три все молчали. Профессор, уставившись в одну точку, в глубокой задумчивости обеими руками надавливал на спинку стула, раскачивая его.

Немую сцену прервала влетевшая в кабинет женщина с крашенными в рыжий цвет волосами и подведенными синими стрелками глазами. Из-под белого халата торчала гофрированная юбка. Лицо и шея ее пестрели невротическими красными пятнами. Странно, но эту женщину Саша никогда не видела. Наверно оттого, что общалась только с теми, кто работает на кафедре или постоянно вертится в операционной.

– Если ваша обидчица здесь, укажите нам на нее, сделайте милость, – неожиданно манерно сказал профессор.

Голос профессора звучал так, как будто говорили где-то внутри Саши. У нее возникла внезапная догадка, что профессор пытается свести с этой женщиной какие-то свои, не известные ей, Саше, счеты. Но почему тогда через нее? При чем тут она? Саша еле сдержала себя – так хотелось выскочить вон. Сейчас, сейчас, эта рыжая женщина направит на нее синие стрелки и узнает. Вот – она уже смотрит на нее. Может у нее, у Саши, было затмение, о котором она не помнит, и в этом затмении, бреду, она действительно

вышвырнула ее из лифта? Сердце бешено колотилось, тело горело. Да, так и было, так и было. Ком сдавил горло.

– Ну, я не могу, так вот сразу узнать...

– Как не можете? Вы ведь даже имя называли. Так, есть она здесь или нет?

Замглавврача еще несколько раз скользнула глазами по девушкам, мелькнув передними, наехавшими один на другой желтоватыми зубами:

– Нет, среди этих не узнаю... – и стремительно вышла.

Одна из студенток – с налитыми, красными как помидор щеками, проронила:

– Фу, я думала, сейчас на меня покажет.

Другая, белокурая, эффектно развернувшись на каблуках, кокетливо посмотрела на профессора и сказала:

– Ну, прямо детектив какой-то. Преступление и наказание.

Профессор, отчего-то довольный, бурчал сначала в сторону студенток:

– Идите, идите заниматься... – потом в сторону Саши, прищурив подслеповатые глазки: – Вот, видишь, ей кто-то твою фамилию сказал и описал, мол, – высокая, светлая. А если бы она тебя в лицо знала? Что тогда делать? А? Это все я ради тебя придумал. Ты теперь у меня в должниках.

Саша ничего не понимала, не хотела ни понимать, ни спрашивать, ни слушать. Он продолжал бубнить об очередной статье – что в нее должно входить и куда отправлять. Показывал новый журнал со статьями по офтальмологии. Как будто пытался ее заговорить. Саша не могла сосредоточиться, кровь в голове громко пульсировала. Она не стала дожидаться удобного момента, взяла в руки протянутый ей профессором журнал, и под его монотонный голос молча вышла из кабинета.

Молча вошла в лаборантскую, задернула ширму и начала переодеваться. Запуталась в вещах – пуловер надела наизнанку. Сняла, вновь надела... Сквозь ширму она слышала мягкий, умиротворяющий голос старшего лаборанта:

– Ну, не расстраивайся так – все образуется. На самом деле ее никто не толкал. Сегодня утром я поднималась в лифте вместе с ней и Ласкоржевским. Вдруг ни с того, ни с сего Ласкоржевский и говорит ей, что тебе приходит ординатура и, если она думает о своей дочери, – нужно что-то делать. Что за шлея ему попала? Ну, повздорил вчера с профессором... Не первый и не последний раз, думаю... Она – в истерике. Я не ожидала от нее такого. Профессор – тоже завелся. Ты, наверно, не знаешь: у нас кафедра и администрация – в контрах... Ты только Ласкоржевского ему не выдавай...

– При чем тут ее дочь? – Саша вышла из-за ширмы.

– Так она заканчивает институт в следующем году. А ординатура по глазным сразу после института – редкость. Два года подряд Министерство может ее и не дать.

Саша шла по улице, она приподнимала ресницы, и сквозь слезы все казалось акварельным, не реальным – растекалось, двоилось. Только не плакать, не плакать же, это все – ерунда, чушь какая-то. Лас-корж-евский... Корж, который хочет съесть. На долю секунды ей показалось, что навстречу идет профессор – как крот по подземному лабиринту. Саша рванулась через дорогу – на другую сторону. Завизжали тормоза. Водитель выругался через открытое окно.

Скрываясь от людей, Саша углубилась в детский парк, пытаясь успокоить себя настойчивым внушением, что все совсем не обязаны ее любить. Она представляла Вселенную, землю-песчинку, никчемность человеческих страстей и краткость жизни. Обычно мысль о неизбежности смерти, конечности всего в мире обесценивала эмоции, и ей становилось легче. Но на этот раз ничего не помогало. То неприятное, которое она всегда испытывала при прикосновении к глазу, вдруг внезапно всплыло в ней с большей силой и ей вдруг

стало понятно, что именно было так неприятно. Каждый раз через широко раскрытый глаз она как будто погружалась в чужую жизнь – не нужную и не понятную ей, может быть, запретную. Она так и не смогла сделать глаз для себя обычным составным механизмом человеческого организма, состоящим из палочек, колбочек, сосудов, стекловидного тела и реагирующим на свет и тьму в соответствии с законами физики.

Плакать больше не хотелось. Саша сидела на лавочке, рассеянно наблюдала за детьми, раскручивающими карусель. Они никак не могли на ней развить нужную им скорость, но потом карусель, слегка поскрипывая, быстро закружилась, стирая глаза на детских лицах и скидывая детей со своей гладкой поверхности центробежной силой. В такт карусели в голове у Саши стучало тошнотворное, бессмысленное слово: «Никогда... никогда... никогда...».

* * *

Прошло восемь лет. В дежурной комнате отделения общей хирургии раздался звонок местного телефона. Саша посмотрела на часы – десять минут первого. Это означало, что звонят из приемного, и спать уже не придется.

В приемном нейрохирург бросил ей на ходу:

– Автомобильная авария. Одним я уже занимаюсь. Тут – мое, а ты посмотри женщину в соседней комнате. Моего там нет, но что-то с брюхом.

Саша скользнула взглядом по спутанным волосам женщины, бледному лицу. Лицо показалось знакомым. Хотелось вспомнить, откуда она ее знает, но на это не было времени, а само по себе не вспоминалось. Может, похожа на кого-нибудь из бывших пациентов. И с тем пациентом связано что-то неприятное... Саша осмотрела живот. Да, все указывало на внутреннее кровотечение. Скорее всего, причина в селезенке.

– Вам нужно оперироваться, – обратилась она к пациентке и взяла с ближайшего стола распечатку с темной полосой от ксерокса по краю, – вы в сознании и потому самостоятельно должны подписать согласие на операцию.

Саша поднесла лист к пациентке так, чтобы она хотя бы как-нибудь смогла расписаться. На листе появилась закорючка.

– Я ваша коллега, из глазной клиники, – слабым голосом проговорила женщина, – Вы подозреваете кровотечение? Может, лекарства нужны, кровь... Я дам телефон, позвоните... все организуют.

Наехавшие один на другой желтоватые передние зубы за запекшимися губами, рыжие волосы... Сердце екнуло.

– Нет, ничего не нужно, – с неожиданной хрипотцой произнесла Саша и обратилась к медсестре, – Звоните в оперблок, пусть разворачивают экстренную, везите больную туда. Я пока вызову анестезиолога, позвоню в переливание и где... где история болезни...

Она вдруг осознала, что голос ее нетверд, появились предательская дрожь в теле, суетливость. Саша несколько раз взяла в руки телефонную трубку и положила обратно, дошла до двери и вновь вернулась к столу, взяла в руки историю болезни, прочитала фамилию, год рождения, полистала ее, вложила согласие на операцию, написала несколько слов, потом вновь взяла трубку и набрала номер отделения переливания крови.

Тем солнечным весенним днем, восемь лет назад, из парка она пошла в институт. Оказалось, ординатура по глазным болезням уже пришла, и переделать ее в ординатуру по общей хирургии можно только с разрешения профессора хирургической клиники. Хирургических клиник три. Нужно было выбирать. И она выбрала профессора со стальными глазами. Он посмотрел сквозь нее и сказал:

– Препятствовать не буду – подпишу заявление, но, надеюсь, вы помните, позицию свою много раз озвучивал: женщин в хирургии не люблю. Вы совершаете ошибку.

В клинике общей хирургии все у нее спорилось – и в коллективе любили, и не было той двойственности, ощущения запретного, из-за которого одновременно и хотелось, и не хотелось прикасаться к глазу. Но в то же время не было и чувства легкости, парения, с которым она летела в глазную клинику. Саша обладала всеми качествами, необходимыми хирургу, – точностью движений, инициативностью, смелостью, скоростью в принятии решений и одновременно холодной головой, дающей возможность вовремя остановиться. После ординатуры она осталась работать в клинике. Больница дежурила по скорой помощи, и оттого частенько приходилось очень тяжело – частые бессонные дежурства, порой – ситуации, из которых на первый взгляд и выхода-то никакого нет, неотвратимые смерти людей, а к ним, этим людям, иногда даже успеваешь привязаться, как к близким знакомым. Ей очень скоро стали доверять самостоятельные, иногда не простые, операции, а в последний год ее, еще очень молодого хирурга, назначали ответственным хирургом в дежурной бригаде.

– И руки у тебя, Сашхен, хорошие, и голова, что, вообще, для людей – редкость, – говорил ей профессор со стальными глазами, – но почему не хочешь наукой заниматься – не понимаю. С твоими способностями кандидатскую за год написать можно…

Саша вошла в предоперационную, надела маску, бахилы, заглянула в операционную, поздоровалась со всеми. Анестезиолог уже проводил интубационную трубку в трахею. На столе лежала женщина, изменившая всю ее жизнь. Саша попыталась почувствовать что-нибудь. Ничего, кроме тошнотворного отвращения, застарелой, похожей на детскую, обиды, когда, наказали за разбитую чашку, или не купили собаку на день рождения, или контролер в автобусе долго рассматривает дырочки на билете. Может, все-таки вызвать кого-нибудь? Ильича, например. Ну и что, что грудной хирург? Сказать, плохо себя чувствую, постою рядом… Вдруг, на нее найдет на операции затмение, и она сделает что-нибудь не так… пусть не специально, но не так как нужно… Саша открыла кран и начала мыть руки.

Как во сне, она обрабатывала кожу, обкладывала операционное поле. Любительница пошутить, иногда и во время операции, она все делала молча, сосредоточено, напряженно. Ассистент, дежуривший с ней ординатор, что-то спросил – она не услышала. Не переспросила. Разрезала кожу. Красная полоска. Коагулировала сосуды. Запах паленого. Все как всегда, как у всех. Блеснули очки глазного профессора. Стук о кафель. Уронила зажим. Вошла рукой в брюшную полость. Там как всегда и у всех – тепло. Плотные сгустки крови. Красный глаз луны в окно операционной. Да, разрыв селезенки. И печень… немного, но нужно ушить. И кажется… да, сломано ребро. Хороший удар. Отсос. Отсос опять не работал.

– Когда, наконец, здесь будет работать отсос! – не узнавая своего голоса закричала в сторону сестры Саша.

– Да, что с вами сегодня, Александра Николаевна! Сейчас починим. Вон, трубка отсоединилась. Люб, вставь, да получше.

Отсос заработал. Салфетки. Ранорасширитель. Зажим. Еще зажим. Ножницы. Лигатура. Ножницы. Предметы встали на свои места. Саша была абсолютно спокойна. В ней появился хирургический азарт. Она уже много раз испытывала на себе магию хирургического стола, приравнивающего всех. Саша попыталась вернуть себя к мысли, что перед ней та самая женщина, и наткнулась на свое полное безразличие к ее личности и к тому, что за ней стоит.

– Вот смотри, – обратилась она к ординатору, пытаясь донести информацию не столько до него, сколько убедить себя в том, что она спокойна, что делает все как надо, – это желудочно-ободочная, а это – желудочно-селезеночная связки, выходим на сосудистую ножку селезенки, теперь нужно выделить селезеночную артерию...

– Саш, вы там не тормозитесь педпроцессом, побыстрей клешнями работайте, – заворчал анестезиолог, – давление падает.

– Кровь в две руки переливайте и, вообще, подключичку сделать надо было, – встрепенулась Саша, присматриваясь к мониторам.

– Сама знаешь, на подключичку времени не было, а во вторую руку сейчас начнем, эта тетя и так у меня все уже все хорошие лекарства съела.

– А ты не жадничай. Если крови маловато – отправь кого-нибудь в переливание. Группа не редкая – еще дадут.

Селезенку из-за сильных повреждений пришлось удалить, разрыв печени ушили.

– Все. Обратный ход. Ушиваемся, – прокомментировала Саша в сторону анестезиолога, подремывавшего на стуле возле кафельной стены, и привычно посмотрела в окно.

В конце ночных операций она всегда смотрела в окно. Если небо начинало белеть, значит, все, – поспать уже не получится. Небо белело.

Ординатор жалобно поглядывал на нее, но Саша не дала ему ни мышцы ушить, ни швы на кожу положить – все сделала сама.

Анестезиолог суетился вокруг больной – готовил ее к перевозке в отделение реанимации, взглянув на Сашу, сказал:

– С гемодинамикой все о кей, не волнуйся.

Саша вышла из операционной, посмотрела на окрашенные красным перчатки, халат. На предплечьях халат так пропитался кровью, что уже начал прилипать к ее коже. Подставила руки в перчатках под воду. Вода стекала красными струйками в раковину. «Ну, прямо леди Макбет», – подумалось ей.

Из операционной доносились голоса:

– Что-то Шурочка наша сегодня не в настроении была, – говорила анестезистка, – Не знаешь, может, дома что? Говорят, муж ее не доволен, что она хирургом работает.

– Что дома – не знаю, – отвечала операционная сестра, – но у нашей Шурочки не сорвешься. Видела, как ловко все сделала – сам профессор бы позавидовал. Уж, что из нее дальше будет...

Саша решила, что в реанимацию поднимется чуть позже, и через приемное отделение вышла на улицу. Утренняя прохлада пробирала до костей, небо над верхушками деревьев совсем просветлело и окрасилось в нежно-розовый цвет, на фоне которого вырисовывались облака, похожие на рыб с одинаковыми, ничего не выражающими глазами. Они плыли медленно-медленно, и все смотрели и смотрели... «И правда, хорошая операция получилась», – промелькнуло у Саши, и она почувствовала прилив нежности к той рыжеволосой женщине, которую, наверно, уже довезли до реанимации.

ЛЯГУШАЧЬЯ ШКУРКА

Анка обожала расчленять лягушек. Лягушки эти были не какие-нибудь речные-болотные. Их приносили в специальном контейнере из вивария. Размером больше ладони – голенастые, бородавчатые, нет-нет да и раздувающие резонаторы, издающие мурлыкающие, совсем не похожие на «ква» звуки.

Преподаватель – горбатенькая, крашенная хной старушка приехала в наш институт обучать ненормальностям нормальной физиологии после случившегося давным-давно землетрясения в Ташкенте. Мы, тринадцать из четырнадцати студентов-медиков, в новеньких белоснежных халатах, хотели, чтобы от начала до конца занятия она рассказывала только о Ташкенте. Но, увы, на все занятие ее не хватало. Физиологиня, иногда даже на полуслове, останавливалась, объясняла, как приготовить препарат, напомнив, что его должен приготовить каждый, и удалялась.

Четырнадцатой из нас была Анка. Наш признанный киллер. Наступали ее мгновения. Острый нос, круглые черные глаза с длинными прямыми ресницами, короткие черные волосы, живость характера придавали ей схожесть с сорокой. Она вскакивала с места на свои тонкие длинные ноги, с любопытством заглядывала в контейнер, извлекая поочередно то один, то другой экземпляр и спрашивала вызывающе, с блеском в сорочьих глазах: «Ну, что опять отказываетесь в мою пользу?». Потом деловито доставала жертву, кого-нибудь заставляла держать ее в руках или распинала на предметной доске. Хватала блестящие хирургические ножницы и вскрывала черепную коробку, обнажив мозг. В дело шли электроды, которыми она раздражала то один, то другой участок мозга. Лягушка дергалась. Затем удалялся мозг или его составляющие. Например, мозжечок. Ее выпускали на пол. Лишенная мозга, она еще жила, но не могла нормально двигаться, содрогаясь в хаотичных конвульсиях, кружась на месте. Иногда отрезались лягушачьи лапки. К ним тоже присоединялись электроды, или на них капалась серная кислота. И опять проверялись рефлексы. И так поочередно через Анкины руки проходили все четырнадцать лягушек. Зачем уничтожать столько лягушек никто не понимал, а крашенная хной старушка объяснять не хотела. Видимо, от нее это тоже зависело мало.

Анка не могла остановиться только на задании. Разгоряченная, беспрерывно возбужденно болтая, она вспарывала лягушачье брюхо, разматывала кишки, показывая нам: вот сердце – оно трехкамерное, и, смотрите, смотрите, у лягушки, действительно, есть клоака. Триумфом ее физиологической практики стала содранная с живой лягушки шкурка. Пока голое тельце билось, демонстрируя рефлексы, она схватила лежащие на окне молоток и гвозди, взлетела на стул и распяла шкурку высоко на стене, под портретом великого физиолога Ивана Петровича Павлова, который тоже любил изучать условные и безусловные рефлексы. Каждый раз по пути на занятия по нормальной физиологии, я ждала встречи с ней. Заходила в аудиторию и смотрела: там ли? Там. Мерещилось бьющееся голое тельце, краска заливала лицо. Так она, эта со временем высохшая и почерневшая шкурка, висела до самой сессии.

Решительные Анкины эксперименты с лягушками убедили нас всех в том, что она, конечно же, будет хирургом. У нее даже погонялово появилось – «Хирург». Она не обижалась и не отказывалась.

Я всегда мечтала стать психиатром – разгадывать тайны человеческого мозга. На цикле психиатрии нас повели в буйное отделение. У них, у психиатров, традиция такая: раз новобранцы – в буйное, пороху понюхать.

– Предупреждаю заранее, – картаво говорил преподаватель, перебирая свою редкую бороденку, – может случиться что угодно – больные тяжелые. Вы не должны проявлять каких-либо эмоций.

Мы вошли в широкий коридор буйного, сбившись в сутуловатую, испуганную группку, и тут, как по заказу, из палаты выскочила голая, нечесаная женщина, и начала нас оплевывать. Откуда только столько слюны взялось. Пенящаяся, плевки огромные. Мы, оплеванные, не двигались, и даже не вытирались. Больше никогда мне не хотелось быть психиатром.

Прошло около месяца, и начался цикл хирургии. Стремительная, подтянутая седовласая доцент, только что вернувшаяся из экстренной операционной, вела нас по отделению. Большие больничные окна не препятствовали заливающему весь коридор, яркому солнечному свету. Мы, все разом, разомлели на весеннем солнце. Доцент планировала показать каких-то интересных больных, а нам и смотреть-то на них не хотелось. В хирурги, как правило, рвутся мальчишки. А наших, почти всех, еще на первом курсе призвали в армию. К нам из армии никто не вернулся, так как до этого из мединститута туда никто не ходил. Те двое, которым армейской участи удалось избежать, питали ну, если не отвращение, то полное безразличие к хирургии. Умом мы, конечно, понимали, что смотреть больных нужно, причем, всех, но ...на улице сияло такое солнце.

Общую апатию нарушил крик медсестры. Она на каталке везла больного из экстренной операционной. Того самого больного, которого только что оперировала наша доцент. Доцент бросилась в сторону каталки, мы – за ней. Дренаж оказался открыт, из него на пол не капала, а лилась липкая кровь, поигрывая бликами в солнечных лучах. Доцент сама развернула каталку в обратном направлении и, удаляясь с ней, крикнула прокуренным голосом:

– Все в операционную и ... кто-нибудь мойтесь со мной.

Мы замерли, и посмотрели друг на друга. При этом глаза наши упорно соскальзывали с лиц на халаты и хирургические штаны. Анка безучастно отошла к окну и уставилась в него. Известно, в операционную ходить не выгодно. Операция может закончиться через час, а, может, и через шесть. А у нас до конца занятий оставалось всего полтора. Доцент скрылась за поворотом. Я опрометью бросилась за ней.

В предоперационной доцент мыла руки под краном, и я следом за ней мыла. Она полоскала их в тазике, и я полоскала. Все дрожало во мне и, казалось, все это видят. Стоило мне войти в операционную, как операционная сестра тут же завизжала в мою сторону:

– Не подходите ко мне, дальше, говорю, дальше! Станьте вот сюда. И, вообще, здороваться надо.

Меня никто не защищал – все были заняты своим делом. Мой взгляд постоянно натыкался на еще не накрытые бледные ноги больного, на загнутые крючками мизинцы. Я металась, хаотично вспоминая куски из главы учебника второго курса о правилах поведения в операционной. От этого еще больше волновалась, а сестра еще больше орала. Казалось, для нее нет ничего важнее, чем я, а операция – это так, между делом. И руки я ей не так подавала. И салфеткой не так вытиралась. Про перчатки, вообще, страшно вспомнить. Тогда я еще не знала, что молодой врач – подарок для операционной сестры. На нем она и власть свою всласть может показать, и всем напомнить, кто в доме хозяин.

– Кончай представление! Дай ножницы. Быстро! – крикнула в ее сторону доцент. – А отсос, где? Да что же вы возитесь?! Быстро подключайте!

Две санитарки суетились вокруг отсоса, но он никак не хотел работать. Доцент уже перестала обращаться к ним. Она руками выгребала из операционной раны сгустки, попутно говоря первому ассистенту:

– Либо лигатура с крупного сосуда соскочила, либо полая поползла. Я попытаюсь зажать пальцем, а ты посуши, да пеленку, пеленку возьми! Салфетки здесь мертвому припарка. Да, что же там с отсосом приключилось? Кто-нибудь, звоните в отделение, пусть кровь и плазму совмещают!

Я изо всех сил растягивала крючки. Мне очень хотелось помочь хирургам, но еще больше – им нравится. У меня от волнения сердце билось так, что я его слышала. Вот он – подвиг, тот самый подвиг! Как в детских мечтах – везде палят, палят неизвестно куда и в кого, а ты ложишься с гранатой под танк или закрываешь собой амбразуру дота...

Еще вначале операции по крикам сестры я поняла, что кто-то из наших зашел посмотреть операцию. Но даже на долю секунды не могла отвлечься от раны. Мне было плохо видно, что там – в глубине. Я боялась лишний раз заглянуть за крючок, отводящий печень вверх. Вдруг помешаю? Кровь в рану набиралась раньше, чем успевали наложить зажим на сосуд. Потом все-таки починили отсос. Долго шили. Кровотечение было остановлено.

После операции я вышла в предоперационную с ощущением, что произошло главное. Внутри меня все ликовало: вот она – жизнь. Полнокровная, захлестывающая. Перчатки и руки, выше локтя, были окрашены кровью, халат впереди промок и, сняв его, я обнаружила, что мои зеленые хирургические штаны тоже местами испачканы. Ко мне подошла одногруппница и сказала:

– Иди, умойся. У тебя все лицо в крови.

Я посмотрела в зеркало. Маска и открытая часть лица, особенно справа, в темно-красную крапинку, но мне совсем не стало противно и жутко как тогда – от плевка.

– Где Анка? – спросила я.

– Она решила, что вся эта канитель надолго и смылась еще вначале операции. Хирург, называется. А за ней сбежали и все остальные, – ответила одногруппница.

После занятий мы с Анкой хотели пойти погулять на набережную, послушать журчание ручьев, поболтать о ее скорой свадьбе. Она ушла одна. На набережную или еще куда-нибудь – неизвестно. Мне не стало от этого обидно или досадно.

Вышла доцент. Не снимая испачканного халата, закурила в предоперационной. За ней выскочила операционная сестра, на ходу стягивая маску вниз. Без маски она оказалась миловидной девушкой с узким носом и крупными губами, совсем не похожей на ту – в маске.

– Ну, что вы творите? Здесь же нельзя. Знаете, что мне за это будет?! – для острастки прикрикнула она на доцента.

– Да ладно тебе... – отмахнулась от нее доцент и перевела взгляд на меня, – постою, покараулю тут еще немного. Пусть из наркоза выведут. А ты молодец – хорошо держалась. Хочешь, приходи ко мне на дежурство. Я послезавтра дежурю. Хотя, что я? Лучше не приходи – не нужно тебе этого.

По дороге из клиники одногруппница трещала мне на ухо:

– Ты знаешь, сколько ей лет? К семидесяти уже. А ты, видела, какие ноги у нее точеные? Она по лестнице на девятый этаж пешком ходит. И так несколько раз в день. А оперирует как... Артистка... В нее можно влюбиться...и тоже стать хирургом... Нет, нет, я не о себе, у меня не хватит ни смелости, ни терпения...

Я почти не слушала и не отвечала ей. Мне было так хорошо и, казалось, плыву по размеренным, покатым волнам.

Я не послушалась доцента и пришла на дежурство. Потом еще на одно, и еще... Через некоторое время жизнь казалась невозможной без запаха операционной и наполняющих ее людей. Так я стала хирургом. А работа хирурга для меня уже давно не подвиг. Анка теперь неплохой невролог и изучает рефлексы. Говорят, ее крепко бьет муж. Та одногруппница, которая тогда дождалась меня из операционной, выучилась на психиатра. Она очень любит своих больных. А шкурка? Шкурка, наверно, по сей день висит на той стене. Если, конечно не сделали ремонт. Скорее всего, она от времени рассыпалась и превратилась в пыль, осев на учебных столах, домах, машинах, людях, лягушках. Когда в жизни ничего нельзя изменить и накатывает безысходность, она становится моей шкуркой и очень-очень саднит.

КОРОЛЬ СОЛНЦА

Евгений НИКИТИН

Когда-то давно – я уже толком не помню, когда это было – я жил в просторной комнате с пианино, в котором обитала обезьяна-людоед. Я никогда её не видел, потому что она вылезала по ночам, когда я спал, и шла на охоту.

В соседней комнате был папин кабинет. Папа сидел там и слушал классическую музыку. Обычно я не трогал его, пусть себе живёт как живёт. Но в один прекрасный день я решил постучаться и посмотреть на него. Я набрался храбрости и заглянул внутрь.

Комнатка оказалась пыльная и темноватая. Темноватая, наверное, потому что был уже вечер, а пыльная, потому что пыль скопилась за день, и папа ещё не успел её вытереть. На столе стояла лампа и светилась, как волшебный фонарь, а тень папы металась по стене. Папа оказался тощим небритым человеком в какой-то рваной пижаме. Он подпрыгивал с закрытыми глазами и размахивал руками в такт музыке с выражением крайнего страдания на лице. Музыка была какая-то тяжёлая и давящая. Мне захотелось плакать. Папа разлепил один глаз и, увидев меня, спросил:

– Нравится?

– Нет.

– Тебе не нравится Вагнер?! Ты просто ещё маленький.

Я действительно был маленький. Но это только ростом. А внутри я был старенький. Я не знал, сколько мне точно лет, но предполагал, что очень много. Это доказывалось тем, что я уже не помнил свою молодость. Я вообще мог вспомнить примерно года два своей жизни, дальше всё погружалось в туман. Мне давали лет пять, но я знал, что они ошибаются. Нельзя судить по внешнему виду. Думаю, мне было не меньше тысячи лет. Некоторые люди чувствовали это и очень уважали меня. Например, тётенька из соседнего дома. Она постоянно вывешивала бельё во дворе, и когда я выходил из дома, начинала со мной советоваться.

Поэтому я обиделся на папу и ушёл из его комнаты. Конечно, глупо было на него обижаться. Его надо было воспитывать, приучать к цивилизации, но я не знал, как найти к нему подход. В сущности, он был совершенно дикий.

На следующий день я вечером подошёл к его двери и послушал. Мне не хотелось заходить, если там будет опять этот Вагнер. Но из-под двери доносился не Вагнер, а какая-то мягкая торжественная музыка. Я зашёл. Папа медленно и очень церемонно расхаживал по комнате.

Увидев меня, он поклонился, и я понял, что папа небезнадёжен, и, наверное, постепенно научится вести себя со мной подобающим образом.

– Это что за музыка? – спросил я.

– Это Люлли, – сказал папа. – Он писал музыку при дворе Короля-солнце.

Тут меня словно торкнуло. Я понял, что забыл кое-что. Я лёг спать и всю ночь вспоминал во сне солнце. Белое сияние разливалось по огромному дворцу. Я сидел на высоком троне, высеченном из белого камня, добываемого на рудниках из глубин Солнца. Я жил почти один, если не считать мою обезьяну, привезённую с далёких островов. У меня была длинная белая борода, она ниспадала по ступеням и стелилась по залу до самого входа наподобие коврика. Наутро я проснулся и всё понял. Стало ясно, почему меня не трогала обезьяна-людоед, которая жила в пианино. Это была моя обезьяна. Я привёз её с Солнца и поселил в пианино, чтобы её не поймали. Бедная обезьянка! Тяжело ей приходилось. Но нельзя же было оставлять её одну на Солнце. Она умерла бы с голоду, потому что она была людоед. Теперь я знал, почему выгляжу моложе своих лет. Я просто сбрил свою огромную бороду, когда спустился с Солнца. Я сделал это специально, чтобы меня не узнали. Я был здесь инкогнито. Я скрывался от своего врага, который хотел захватить Солнце. Его звали Вагнер.

Я вышел во двор. Соседка как раз чистила ковёр. В землю во дворе были вбиты железные столбики, а между ним натянута проволока. Все соседи вешали на неё бельё или ковры, которые надо было выбивать, чтобы избавиться от пыли.

–Женечка! – обрадовалась соседка. – Привет, дорогой! Ты не знаешь, как лучше выбивать ковёр? Я вот всё бью-бью, а ничего толком не получается. Только рука устаёт.

– Я вам покажу, – сказал я. – Дайте сюда лопатку. У нас на Солнце ковры выбивали так.

Я показал ей, как надо стучать по ковру. Стучать надо круговыми движениями, стоя боком к ковру. Тогда и шлепки получаются сильнее, и рука меньше устаёт. А соседка делала всё, как дура. Она становилась лицом к ковру и стучала по нему, как будто хотела забить гвоздь.

– Откуда ты только так много знаешь? – удивилась соседка.

– Это с Солнца, –объяснил я. – У нас на Солнце я никому не доверял выбивать ковры. Всё сам выбивал.

– На Со-олнце...–ещё больше удивилась соседка. – На каком Солнце?

– На этом, на каком же ещё, –ответил я и ткнул пальцем в небо. – Другого ж нет.

– А что ты там делал, на солнышке-то?

– Ну что делал...что делал... Ковры выбивал, например. А так почти ничего не делал. Отдыхал.

– Отдыха-ал, – протянула соседка. – Это хорошо. Я бы тоже хотела там пожить. Отдохнуть немного. А то, знаешь, заработалась совсем.

– А что, Ольга Васильевна, – сказал я. – Можно и отдохнуть. Надо вас взять с собой на Солнце.

– Надо, Женечка, ох, надо! Возьми меня с собой. А то этот Кишинёв у меня в печёнках уже. Ужас, как надоел. Там, на солнце, не надо работать?

– Нет, там работать не надо. Только играть. Или музыку сочинять.

– Это как при коммунизме, чтол и?

Я не знал, что такое «коммунизм», поэтому неопределённо кивнул.

– А откуда тогда всё берётся? – спросила Ольга Васильевна.

– Что берётся?

– Ну еда, например.

– Из волшебной палочки. У меня там есть такая палочка... Как эта лопатка, только тоненькая. С нею всё можно сделать, надо только пожелать.

– Уж я пожелаю, если надо! – сказала Ольга Васильевна.

Я глубоко вздохнул. Давненько не бывал я на Солнце. Я стал думать, как там мой дворец. И старый Люлли... Наверное, он стал ещё более седой с тех пор, как я прилетел на Землю. Я оставил его присматривать за дворцом. Он был слишком старенький, даже старше меня, и вряд ли выдержал бы такое путешествие.

Ольга Васильевна запомнила этот разговор и теперь при встрече каждый раз спрашивала, когда мы полетим на Солнце. Я не знал ответа на этот вопрос, потому что без волшебной палочки был совершенно бессилен. А палочку у меня украл Вагнер. Это и было причиной, почему мне приходилось скрываться на Земле. Оставалось только ждать. Когда я улетал, я попросил Люлли прислать за мной космический корабль, когда Вагнер прекратит мои поиски. Тогда я вернусь на корабле и сделаю Вагнеру сюрприз. Ну погоди, Вагнер! Ты ещё у меня попляшешь.

Тут я понял, что надо собирать армию. Возвращаться на Солнце в одиночку было бы безумием. Надо подготовиться и взять с собой как можно больше верных мне людей.

Ольга Васильевна подвернулась тут как нельзя более кстати. Она всему двору разболтала про Солнце, и всё спрашивали меня, когда можно будет наконец улететь из этой ужасной страны.

Особенно интересовались два дядьки по имени Фима и Марик. Они обычно играли в шахматы во дворе или ели огурцы с водкой. Они подробно расспросили меня о жизни на Солнце, и Марик сообщил, что ему это нравится и по крайней мере лучше, чем в Татарстане. По его мнению, следовало собрать всех «с пожитками» (он так и сказал) и отправить на Солнце. Фима согласился с ним и дал мне огурец.

Наконец, я решил, что надо составить список. Я взял тетрадку и стал записывать тех, кто хотел отправиться со мной. Получилось целых десять человек и ещё два. Я всем велел иногда посматривать на небо, и если там появится корабль, сразу доложить мне.

Однажды я понял, что, увлекшись приготовлениями к отлёту, я совершенно забыл про папу. Я даже не догадался подсунуть ему под дверь половину фиминого огурца. Мне стало стыдно. Я вообще не знал, что там с папой происходит. Мне пришло в голову, что глупая обезьянка из пианино могла ненароком сожрать его. Я бросился в его комнату.

Слава богу, папа был на месте. Он сидел на диване и занимался своим обычным делом. На его лице было мечтательное выражение.

– А, привет, –сказал он. – Заходи. Я тут Баха поставил.

Я попросил его выслушать меня и рассказал о своём плане. Я объяснил, что на Солнце ему будет хорошо, потому что он с Люлли быстро найдёт общий язык на тему музыки, ну, и Вагнер тоже захочет познакомиться с папой – разумеется, сначала надо будет отнять волшебную палочку, а потом уже можно и поговорить, как люди.

– Полетели со мной на Солнце, –закончил я свой рассказ.

– Эх, Женя, Женя... – сказал папа. – Солнце – это звезда, а не планета. Это раскалённый газовый шар. Там не может быть никакой жизни.

Я пытался переубедить папу, но безуспешно. Он был уверен в своей правоте и вообще говорил со мной как с ребёнком.

В течение следующих дней я не реагировал на вопросы соседей о Солнце. Мне не хотелось их разочаровывать, и я ждал, пока они всё забудут. Ничего нельзя было поделать. Весь план пришлось отменить. Я решил никуда не улетать. Я не мог бросить папу одного.

Елена ЧЕРНИКОВА

ПОСТОРОЖИ МОЁ ДНО

Я тиха и серьёзна, но если болтают о крысах, нудят о памяти, приметах, знаках и судьбах, и особенно когда при мне размышляют о творчестве, – отстреливаюсь этим сюжетом.

Ночью, в крещенский мороз, на Пресне, в собственной квартире, сижу в продольно-полосатой пижаме, сочиняю заметку об Ирландском море: желая денег, пытаюсь втиснуть опыт странствий в журнал для новых мещан. Волнуюсь от ночной ненависти к буквам, потому как я никогда не пишу ночью.

Шероховатая тишина города уже пузырится в ушах, но брошу на полдороге – не вернусь, а утром забуду, что несла глянцевым мещанам, которые по молодости ходили в малиновых пиджаках, а у выживших завёлся вкус. Они хотят высоких новинок, и редактор просит меня написать им об Ирландии: говорит, наш журнал для сверхновых, они в пиджаках индиго.

Одинокость моя слоисто висит над голым паркетом, как дым после пьянки. Пора послать мещан и спать, но я пишу, спину свело, руки скрючены. Старинные часы нашипели полвторого.

Цитата из меня: «Море в Ирландии страстное, как матадор, и доверчивое, как дошкольник. Где ни живи, всегда помни: сегодня, сейчас от ирландского берега медленно отходит море, обнажая дно. Как Ла-Манш, если смотреть из Франции, от Мон Сен-Мишель, – исчезает, оставляя по себе топкие, бескрайние донные глины. Но во Францию Ла-Манш приползает блудным сыном, а бесстыдный ирландец, нагулявшись, как вернётся да как шмякнется в скалы, распугает зевак на берегу, потопчется и опять – шнырь за горизонт».

Журнал для туристов высшего среднего класса ждёт от меня небалийской, нетайской и неегипетской невидали. Редактор сказал, что целевой сегмент набылся в Турции по горло и чешет себе новые паруса. Стиль моей песни об Ирландском море, доверчиво бросающем дно людям, уже два часа как не соответствует фирменному стилю журнала, но меня жжёт одно любовное воспоминание, и я мечтаю тайно растереть его по заметке между строк, будто симпатическими чернилами.

«...Коричневато-серые глины его кисельные, влажные, будто им впервые. А море будто просит, уходя: посторожите, пожалуйста, мое дно. Личная просьба моря, и от удивления соглашаешься и полдня стережёшь ему беспомощ-

ное дно. Изумление равнинного жителя: пейзаж за окном меняется два раза в день». Как видите, автор застрял в глине, любовь не растворяется, воспоминание не выплёскивается, а горловина сосуда забита московским льдом.

Ублажить ветеранов Антальи, познавших олл инклюзив, значит умолчать, что Ирландия не всё включает, что скалиста и наглухо католична, но МРЗ-мессы без пастора, молятся под фанеру; островная вода гуляет; соборы крысиного цвета; по Дублину ходят холёные олигофрены (аборты запрещены плюс браки среди родственников).

Ночь загустела, и я на ней лаврушкой на холодце. Статья, конечно, не ложится на холст, ибо целевой сегмент и предмет отображения – враги.

Часы бум, бум. Два часа. Никогда не пишу ночью, а тут волны злого куража, похожего на вдохновенье, пришли. По сетчатке плывут кляксы. Вытаскиваю себя из кресла, но мстительное вдохновенье – вызывала? – пришло и зовёт. Оно требует кефира. Внезапно, сразу, ночью, в стужу, на Пресне. Неразумно. На мне тощая, мешковатая, полосатая пижама с чужого плеча, мохнатые тапки-носки, я лохмата. Я страшна.

Неукротимая в желаньях, понимаю, что за кефиром идти придётся. Измочаленный в борьбе с фоновыми знаниями среднего класса, мой мозг не заснёт, если я не дам ему. Платная психотерапия говорит, что мир всегда хорош, а мы должны всего лишь поменять своё отношение. Пробовала. Не без успеха.

Разбитые сапоги на босу ногу, рваная дублёнка былого родственника, патлы дыбом и жёваная пижама в голубую полоску - чисто горгона - выпрыгиваю на улицу в рассуждении перепорхнуть через ледяную площадь. У метро круглосуточный гастроном, а в нём кефир, без которого я десять минут как жить не могу. Промедление невозможно. Мои фоновые знания не без юмора подпевают переведииии меня через майдаааан...

...В юности, познавая себя, влюбилась я в тонколицего, но толстокожего принца родом из Тбилиси и сходу выучила грузинский язык, дабы чувствовать душу мальчика и правильно касаться её перламутровых струн. Сдала государственный экзамен по грузинскому на отлично. Мальчик вырос и уехал жить в Париж. Общий наш язык я подзабыла, но себя познала: если мне надо – пойду и выучу язык целевого адресата.

До гастронома метров сто. По земле шуршит сухая марля, имитирующая снег. По небу прыгают отсветы звёзд. Парю в хаосе, как небезызвестная молекула протовещества накануне Большого Взрыва. Ни машин, ни прохожих. Да, всё-таки ночь, но и ночи надо знать меру, чтоб оголяться-то до положения риз. Я, к моему счастью, успеваю удивиться, выныриваю из себя и стою ровно, а правая нога, шаловливо-карикатурная в битом сапоге с чужого плеча, зависает над тротуаром. Левая врастает в асфальт.

Я воткнута в Пресню, как памятник цапле Ц в азбуку для начальной школы. Марля мёрзлой позёмки внезапно исчезла, и дорога до метро «Улица 1905 года» дышит и приподнимается, и всё кругом – коричневая шерсть. Небо позеленело и мигает чёрными прорезями космоса.

В здравом уме, твёрдой памяти, трезвый человек, алчущий кефира, застывает, как морская фигура, и смотрит, как от бульвара Трёхгорки, где послушно мёрзнет в первом круге спирали вековой пролетарий Ивана Шадра со своим античной красоты булыжником, в сторону многофигурной композиции, осеняющей площадь пассионарным чугуном памяти первой революции, то есть противу земной хронологии, – а также от крепостных ворот фастфуда к бывшему Краснопресненскому универмагу, считай, от меня (в широком понимании) в сторону метро волнообразно течёт пространство, полное крыс; головы втянуты, зернисты полукружья спинок, и хайль беззвучен и хвостат.

Но на одной ноге стоять неудобно. Поправляю очки, покрепче запахиваю дублёнку, – она без пуговиц, а в дыры дует ночь, – и делаю новый шаг, с амбицией на кефир, а коричневая пахта не без изящества раздвигается, на миг открывая черноту асфальта, и кто-то вдруг тонко пищит «и-и-и».

Кефир нисколько не теряет привлекательности. Напротив, я уже вся хочу его, будто мне с ним под венец. Я дойду. Это был мо-о-о-й путь, повеяло Синатрой. Пусть мелодия ночи замерла на фермате, я и по крысам дойду до своего кефира, – захлопал ресницами третий глаз.

Всё шерсть. Кроме деревьев. Крысы мягко текут, как море за горизонт, - к метро, на тот же полюс, куда припадок творчества влечёт меня за кефиром.

Позже я узнала, что в начале XXI века в Москве на каждого жителя-человека приходилось до двенадцати особей, а увидеть полную миграцию городских крыс можно максимум один раз в жизни. Не рекомендую.

Я делаю третий шаг и обнаруживаю себя на переходе через Пресню. Четвёртый шаг – я прячусь в звёздах. Пятый – стою под дверью гастронома. Вхожу и покупаю кефир.

Воздев бутылку над головой, как рыбак пудовую треску, как пионер привет, как Золушка немаленького Принца, я гордо выхожу на площадь. Крысы не отвлекаясь мигрируют, морозная Москва спит, никого, и ночь тиха, в глубине бульвара притаился единственный тут человекоподобный, и я, как шутница, успеваю подумать о его бесполезном булыжнике.

На мне, как вы помните, рванина. Я пугало. Я победно размахиваю кефирной бутылкой, все моря по колено. Извините, тут, наконец, рассказ и начинается. Пишем сценарное вдруг, и в моё плечо мёртво впивается рука, пахнущая настоящим человеческим перегаром. О чудо! Человек. Адам. Красная глина. Что ясно, как день шестой. Из глинистого дна ирландского моря, утекшего крысами за горизонт Пресни, вырос небритый мачо подшофе. Он разворачивает меня рывком и мокро хрипит в ухо:

– Паайдём сааа мной, краасавица, зааплачу! Дэньги есть!

В опасности я всегда мобилизуюсь.

Так. Что-то в его прононсе. На идентификацию - одна попытка, что очевидно, как утекающая навек статья для среднего класса.

...Этот рокочущий в горле говор я знаю. Дети гордого народа, от турок и персов спасавшегося на Пресне веками, простодушны до опереточности; я очень глубоко изучала их историю, когда рок юности вынудил меня учить язык неверного возлюбленного.

– Батоно! Вы очень красивый, – вежливо говорю я, молниеносно входя в лучшую, тифлисскую версию грузинского языка, без применения валявшуюся в голове четверть века, – но сегодня, простите, я не могу пойти с вами, потому что мне надо срочно выпить мацони. Я хочу выпить мацони, простите, уважаемый господин. Я иду к себе домой. Нахвамдис, батоно! – и легчайший кивок, и меня ждёт белый слон под золотым балдахином, а я в пурпуре.

Мацони потому, что мой русский кефир ему никто, а мацони для грузина – свой брат. Вещь истоковая, как царица Тамара, или великий Шота и «Витязь в шкуре барса», или в тигровой, в зависимости от переводчика. Поэму давали хорошим девушкам в приданое. Хорошая девушка – это читательница «Витязя» Руставели, такую можно любить и сватать. Садга хар, чемооо Суликоооооо, – дополняя ему до шока, напеваю я.

Оцепеневший батони разжимает пальцы, трезвеет и по-детски улыбается, будто Сулико воскресла. Наш фантастический контакт превращается в идеальную межкультурную коммуникацию. Я попала в трепетную сердцевину фоновых знаний моего единственного на данный момент и действительно целевого адресата: там, где рос мальчик, никогда не пристают на улице к своим! Он понял, что я тверда и царских кровей; как раб, отпрянул

хмельной господин в ужасе пред чуть было не содеянным – и наступил на крысу. Ей не понравилось. Визг по земле, побелелые щёки под синей щетиной, глаза в полплощади, но из-за угла наконец выруливает патрульно-постовая машина, из окна которой торчит автомат.

Гран батман в сторону дома, и – дверь на пятом этаже. На кухне свет. Я свинчиваю крышку и без промаха наливаю кефир в стакан. Выпиваю. Сажусь на пол. Дышу.

Потом иду в кабинет, жму выделить всё и – всё. Delete. Спать. Статья не состоялась. В декабре 1825 года Пушкину хватило зайца, чтобы не поехать в Петербург. Наш брат литератор теряет нюх: мне понадобилась целая Пресня крыс, чтобы никогда больше даже не пытаться писать для среднего класса. Потому что его нет, не было и не будет.

Москва, Пресня, 1999 – 2013

Александр ХИНТ

СИЛОМЕР

Что можно усвоить, будучи не бог весть каким учеником 7-го класса? Лёша усвоил следующее: велосипед он получит при выполнении двух условий. Во-первых, когда исправит тройку по алгебре. Во-вторых, к моменту папиной зарплаты надо не нахватать новых. Если первая часть императива выглядела трудно, но не смертельно, то вторая... Лёша не понимал, как у Людмилы Михайловны получается давать чудовищные задания ровно в начале месяца. Специально они с отцом договариваются?

Майским утром пыльные солнечные трассы рассекают комнату, только в воскресенье можно выспаться. Но не сегодня: с восьми на кухне хлопанье дверцы, а в половине девятого Лёшу растолкали. И, для верности, брызнули водой.

– Чё, с ума сошли?

– Кто-то говорил, хочет со мной на Староконный.

– Нет, не знаю... Ну папа!

– Там есть велосипеды, «Орлёнок». Можно посмотреть.

– «Орлёнок»...

– Бегом умывайся. Мама сделала сырники.

Староконный рынок в мае оживает, а по выходным он просто, как ручей с карбидом. Здесь торгует заводским инструментом дядя Боря, у папы с дядей Борей общие дела. Он немного картавит и глаза у него словно присыпаны песком, как у актёра Заманского. Дяди Борин брезент лежит на асфальте, там свёрла, резцы, стамески, зубила и прочие средства социалистического производства. Как здесь оказались заводские свёрла? Этот вопрос отношения к делу не имеет.

Лёше нравится проходить Староконный насквозь, мимо клеток с неуёмными канарейками и попугаями, вдоль аквариумной секции черепашек и вуалехвостов, по рядам рыбацкого инвентаря. Он всегда задерживается у входа, там шевелятся пухлые клубочки, щенки и котята. Рядом взрослые особи, их рефлексы доведены до автоматизма. Основные рефлексы – лень и высокомерие, что прекрасно сочетается с медальными ошейниками.

Вдоль стены змеится барахолка, а, верней, бесконечная лавка супер-антиквара. Кто-то щедро распахнул сундуки человеческих жизней, где любая вещь – закладка во времени. Лёша видел костяные пудреницы и гребни, изумрудную табакерку, траченое молью манто, веер из павлиньих перьев, резные трости, пластинки Шаляпина и Карузо, Козина и Юрьевой, графские шахматы, морской треснувший бинокль, портсигар «Чтобы помнил меня»,

игральные карты времени нэпа, фамильные ложки с ятями, пробитую каску и части от «шмайссера», программку 1903 года, открытки «Героям Шипки – 25»... И книги, покрытые оспинами книги, собрания, справочники, старинные атласы, тома Брокгауза с вырванными листами, детские издания, поваренные клоны Молоховец – книги, книги, книги.

Пока папа обсуждал судьбу штангенциркуля, Лёша наблюдал текущую действительность. Вот чучело совы с янтарными глазами, оно увешано галстуками. Вот дама предлагает собрание Грибачёва, торговец реагирует скептически. Вот мужчина в очках пронёс обезьянку, ему вдогонку: «О-о! Капитан появился». Вот прохожий с бинтованным запястьем вынул руку из кармана, оттуда что-то выпало. Лёша поднял и расправил бумажку. Двадцать пять рублей. Шоколадное мороженое на всё лето. Или футбольный мяч. Или фотоаппарат. Прохожий стремительно уходил прочь, спортивный костюм колыхался в такт движению.

«Извините, вы потеряли!» «Шо я потерял?» На Лёшу смотрел худощавый парень универсального возраста, может 18, а может и 30. Он достал из кармана жменю таких же купюр – и кивнул, возвращая блудный четвертак.

– Да, в натуре. Спасибо, малый.

– Не за что.

– Шо ты здесь, птичек смотришь?

– Не, я с папой. Он обещал мне велик посмотреть. «Орлёнок».

– Хочешь лайбу взять?

И Лёша выложил незнакомцу всё, о велосипеде и о чёртовой математике, рассказ получился короткий и трогательный. «Гарик», – он протянул здоровую руку. «Лёша». «Если надо лайба, подходи. Спроси Гарика, шо-то вымутим. Давай». И он исчез, подобно шару в лузе.

Лёша плыл за отцом на площадку двухколёсных машин. Группа мужчин неформальной наружности энергично спорила. «Ты никогда больше 50 не делаешь. Иди тренируйся». «Тем лучше для тебя. Ставлю пять». «Отвечаю». «Ну давай». «Чего я первый?» «Ты же крутой». «Ладно. Держи, 59». «На тебе 62. Вася, свободен». Из рук в руки переходил силомер, никелированный, вроде тех, что висят рядом с уличными весами и можно за пять копеек проверить руку. Здесь играли по пять рублей.

Надо сказать, Лёшин папа отличался физическим развитием и имел спортивные разряды. Он весело подмигнул Лёше, а Лёша машинально моргнул в ответ.

– Простите. Можно попробовать?

– Можно попробовать в ресторане.

– Здесь очередь, уважаемый. Кто следующий к доктору?

– Я за него. Жорик, тебе не пора отдохнуть?

– Не, я потомственный трудоголик.

– Замазали. Плавно давите на газ.

– 60 ровно. Хватит тебе?

– Ну смотри... Блин, 58.

– Нормально.

– От я фуцин! Мокрая рука соскользнула.

– Всегда так делай.

Непрерывно сыпались прибаутки и комментарии. Рыжий приземистый Жорик повернулся к отцу. «Вы сильно хотели зайти». «Если можно». «Пять рублей – и можно». «Пожалуйста». «Из пожалуйста шуба короткая». «Правила знаете? Жмём медленно, сливаем быстро». «Можно?» «Уже давно можно». Папа взял силомер, зафиксировал руку и нажал. Под материей было заметно, как округлился бицепс.

– О-о... 72. Нормальный заход.

– Ты понял? Жорик, твой петушок, кажется, улетает.

– Если кажется, надо идти на Свердлова.

– Надо идти на рекорд.

– Не мешай!

– 64... За попытку спасибо. Я думал, у Жорика штаны разойдутся.

– У Жорика торжественный цвет лица.

– Уважаемый, извините. Вы что, спортсмен? – рыжий выглядел раздражённым. – Если вы спортсмен, надо говорить заранее.

– Слышишь, я могу Давида Ригерта привести. Он будет играть, а я с ним в пополаме.

– А ты знаешь Давида Ригерта?

– Его знает вся страна.

Папа с трудом убедил кворум, что он не атлет, не сбежал от тренера и не зарабатывает здесь на новую штангу. Ему неохотно разрешили забрать выигрыш.

– Не, ну ты сильный. Видно, здоровенький такой.

– Здесь Алик есть, тоже сильный. Мы с ним не мажем, он всех раздевает.

– Алик? Та ладно, Алик до 70 не доходит.

– Мажем, у Алика будет 70?

– Неважно. Я бы на него поставил, против Алика.

– Отвечаешь? По чирику.

– Легко отвечаю. Вы хотите побороться с сильным противником?

– Можно попробовать, – отец выдержал паузу.

– Отлично. Алё, позовите Алика! Не бойся, ты круче его, сто процентов. Он бухает в последнее время.

– Я не боюсь.

– Я на тебя поставил, ничего? Это малый твой? Похож на батю.

Лёша наблюдал с восторгом и ужасом, как Пьер Безухов на Бородинском поле, он был в ступоре. Но сейчас к Лёше вернулась речевая функция. «Папа, идём. Мы хотели велик посмотреть». «Десять минут и пойдём». «Пап, ну не надо. Лучше идём». «Лёша, не мешай. Сказал, чуть позже».

Алик говорил с ленцой, на левой руке укоренился массивный перстень, на правой была татуировка «АЛИК». Образ довершала красная кофта, из-под неё кучерявились седоватые волосы. Договорились по десять рублей, бросили монету. Начинал Алик. Он слегка наклонил корпус, руку опустил почти вертикально. «74». «Ты понял?» «Алик улучшился. Ты что, тренировался?» «Игра приобретает интерес, товарищи». «Да. Ждём, что скажет генштаб». Количество людей вокруг утроилось. Отец погрел прибор между ладонями, положил его в руку, сделал вдох. Движение получилось тугое, с акцентированным усилием. «Опа! Тут 77». «Твою ж мать». «Я нажил чирик! Спасибо, уважаемый». «Отлично»... Раздались аплодисменты. Алик процедил «сегодня не масть» и ушёл.

– Реально сильный чувак.

– С вами тут больше мазать не будут.

– Я могу помазать, – из-за Лёшиной спины скользнул силуэт и остановился там, где только что был Алик.

– О, Гарик нарисовался.

– Гарик, не смеши народ бесплатно. Продавай дорогие билеты.

– Это местный клоун, не обращайте внимания.

– Я сказал, могу выиграть.

– Вряд ли, – отец косился на паренька с перевязанной рукой.

– На левых руках.

– Вы у меня не выиграете ни левой, ни правой. Никакой.

– За нормальные деньги выиграю.

– Ни за какие деньги.

– Отвечаете, шо ни за какие?

– Отвечаю.

– Голимый базар, отвечайте деньгами, – Гарик достал пригоршню банкнот. – Три суслика.

Лёша понимал абсурдность ситуации, но его опять посетил столбняк. Гарик смотрел насмешливо, у носа образовалась складка – так, видимо, смотрит жизнь, предлагая перемахнуть пятиметровую пропасть. Потянуло испариной разогретых тел, сзади переговаривались. Отец улыбнулся, помедлил, достал кошелёк: «У меня двести». «Маза», – Гарик вернул сотню в карман. Договорились оставить четыреста рублей у надёжного человека, на роль гаранта был выбран торговец запчастями. Число болельщиков достигло полусотни. Жорик бросил монету.

...Движение выглядело забавно, но никто и не думал веселиться, подпитывая гипнотический транс молчанием. Гарик напевал монотонно, будто впивался в податливый воздух, раскручивая кисть вокруг точки, не смещая голову, не размораживая взгляд, он гудел что-то вроде: «Поверь, я напишу тебе, родная, когда растают белые снега, когда колода выпадет другая и серый день разгонит облака...». Больше всего это напоминало языческий обряд. Внезапно он оборвал гипноз и сделал пассы рукой, вверх-вниз, резко падая на колено. Хмыкнул: «На тебе 84». Он впервые обратился к Лёшиному папе на «ты».

Надо ли описывать реакцию публики, затравленного отца и его попытку отыграться? Через минуту на пятачке остался только Лёша, он смотрел на папу. Качая головой, в их сторону поглядывал гарант...

– Слушай, я считал тебя за серьёзного человека.

– Боря, как это может быть! Он вот такой шкет.

– Шкет... Зачем ты вообще туда полез?! – потенциальный покупатель стамески зыркнул на дядю Борю и ретировался.

– Чёрт меня дёрнул.

– Нашёл, у кого нажить! Это их зарплата, понял?

– Не понял. Я не понимаю, как эта штука работает.

– Она отрегулирована, это их станок. Фраером быть не надо...

Дядя Боря матюкнулся под нос, долго менял инструменты местами и зачем-то сказал: «А ты куда смотрел, Алексей?»

Обратная дорога горька, если душа изранена и не забавляют её боле красоты прилегающего мира. Кто это сказал, Бонапарт? Вряд ли, ведь он не говорил по-русски. Лёша брёл к выходу, к выходу, к выходу, прочь, подальше от этих чудес. Мужчина в очках курил сигару, обезьянка нежно обнимала его за шею. Лёша показал ей язык. Мартышка пошевелила губами.

У выхода папу остановила тельняшка. «Можно вас на минуту?» «Что надо?» – папа не входил сейчас в пятёрку самых приветливых граждан. «Отойдёмте в сторону». «Только быстрей». «Меня просили передать», – и тельняшка выкатила велосипед с надписью «Украина». Папа озлобился: «Хватит шуток на сегодня!» «Это не шутка, а подарок для сына. Меня попросили, я передал». «Кто попросил?» «Ваш знакомый с бинтом на руке». «Пусть он сам придёт, я его забинтую». «Это ваши дела, я не в курсе. А машина отличная, пацану понравится», – тельняшка сделала жест рукой и отчалила. Лёша помедлил, подошёл

осторожно, как масаи идут к неизвестному зверю. Отец смотрел в землю: «Хочешь велосипед?» «Идём, папа».

Фильм Витторио де Сика и его финальную сцену Лёша увидел гораздо позже. А сейчас он обнимает чёрную раму, внутри поют скрипки и тромбоны, отец рядом и держится за седло – так они идут, рядом и молча, не разрушая магию случая.

Странно, но после появления велосипеда учёба пошла в гору – до такой степени, что Лёша полюбил математику. Или математика полюбила Лёшу, исследуя влияние правильной лайбы на производную логарифма?

Однажды в конце 80-х Алексей шёл из своего НИИ. Сентябрь ещё подбирал с тарелки лакомые кусочки лета. Группа «спортсменов» изображала шапито, с тремя-четырьмя зазывалами и напёрсточным солистом. Прохожие игнорировали балаган, но Алексея заманила эстетика речёвки, достойная обэриутов.

«Кручу-верчу, обучаю алычу, – исполнитель декламировал почти без пауз. – Один крутил, другой говорил, третий выбился из сил. Где ты видел, здесь? Хорошо смотрел, увидеть успел. Хорошо смотрел, дорогой. Кручу-верчу Леониду Ильичу...»

Руки его сновали беспрерывно, как детали смазанного агрегата, глаза цепко следили за периметром. Годы не изменили его, только лицо стало ещё суше и темней.

«Один не пьёт, шарик найдёт, другой бухает, шарик потеряет. Внимательно смотрел? Ошибался, ошибался, дорогой. Внимательно смотрел, но ошибался. Закрутили-завертели на голимой карусели. Один молчал, другой отвечал, третий деньги получал. Не уставал, не уставал, дорогой. Отыгрался, не уставал...»

– Можно поставить? – Алексей вышел из-за спины зазывалы.

– Внимательно смотрел, уважаемый. Играем по десять рублей.

– Я играю только по двести рублей. На Староконном базаре.

Гарик поднял голову. Во рту блеснула фикса. «Один начал, другой продолжил, третий не очень много прожил, – за время, равное пяти вдохам, он собрал инвентарь. – Спорткомитет ушёл на обед».

Его фигура стремительно удалялась прочь, спортивный костюм колыхался в такт движению. Ветер бабьего лета инспектировал свой шафранный, свой медово-охристый облетающий гардероб. Алексей подумал, должно быть неплохо скользить сейчас по велосипедной дорожке и наблюдать, как вода у горизонта смешивается с закатом.

ИВАН ИВАНОВИЧ

Александра ШАЛИНА

Иван Иванович скучал. Вот уже вторую неделю он сидел в чистилище и занимал себя тем, что перекатывался с одного затёкшего локтя на другой. Проклятая ложка супа. Угораздило же подавиться перед Новым годом.

Оказалось, что за свою жизнь Иван Иванович не совершил поступков, прямо характеризующих его как грешника или праведника, и случай его требовал подробного рассмотрения. Загробная канцелярия в этом отношении ничем не отличалась от любой земной — в предновогодней суматохе дело отчаянно затянулось. Иван Иванович почесал одной ногой другую, подтянул съехавший носок и мазнул взглядом по столу. На нём лежал белый листок.

С неожиданной для себя прытью Иван Иванович схватил бумагу.

«ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемый ожидающий распределения, будем рады видеть вас на нашем скромном празднике! В качестве гостя и для ближайшего ознакомления с местными традициями.

Будьте готовы. Большой зал, Орг..»

Дальше прочитать текст не было никакой возможности, так как буквы расплылись красным, и если верить чувствительному обонянию Иван Ивановича, винным пятном.

«Шарк-шарк», — раздалось слева. Иван Иванович вздрогнул и нерешительно покосился в сторону звука. Неподалеку от стола, пошатываясь и неловко потирая лысину, стоял чёрт.

— Пприглашение пполучали? — запинаясь, спросил чёрт.

— Поллучал, — тоже запинаясь, ответил Иван Иванович.

— Ннна оргию? — уточнил чёрт.

Тут Иван Иванович не знал, что ответить, поэтому сначала помотал головой, а затем кивнул.

— В ттаком случае, имею честь соппроводить ввас на Новогоднюю оргию в Пппрреисподнюю, — дежурно оттарабанил чёрт, — Мы очень ценим наших потенциальных мммм... клиентов и будем рады видеть вас на нашем празднике. Познакомиться, ттак сказать, поближе. Пппройдемте, — чёрт крутанулся на месте и, едва не упав, схватился за внезапно образовавшуюся в стене дверную ручку.

Иван Ивановича прошиб пот.

— Всё-таки ад, — холодея, подумал он.

В следующую минуту Иван Иванович осознал себя перед огромными резными дверями. Чёрт вытянулся на цыпочках и трижды постучал по выделяющейся на общем узоре, узловатой собачьей голове. Двери начали открываться.

Иван Иванович запнулся на 9 строчке «Отче наш» и крепко зажмурился.

— Подозрительно приятный климат в этом аду, — подумал Иван Иванович и нерешительно отжмурил левый, дальнозоркий, глаз.

Оргия была в самом разгаре. Со всех сторон лилась музыка, столы ломились от дичи и фруктов, фонтаны вина и шампанского били под самый потолок, а изящные пышнотелые нимфы обвивали разомлевших от удовольствия грешников. Одна из них как раз заприметила Иван Ивановича и, игриво покачивая ножкой, нырнула в фонтан, набрать бокал красного полусладкого.

Иван Иванович расплылся в улыбке. Он определенно начинал ощущать в себе греховное начало. Руки его сами потянулись расстегнуть ворот рубашки, очки съехали на бок, а ноги, хоть и немного заплетаясь от возбуждения, но точно следуя траектории, понесли его прямиком к очаровательной нимфе. Через минуту Иван Иванович уже достиг фонтана и, приняв бокал из рук обольстительницы, совершенно потерял трепетно взращиваемый на протяжении 55 лет скептицизм.

«Шарк-Шарк» — раздалось откуда-то сбоку. Но Иван Ивановичу было не до того.

— Ииизвините, уважаемый. Пппрроизошла ошибка, — чёрт выудил из недр костюма платок и промокнул лысину, — Оччень не хотттелось бы вас отвлекать, но, понимаете, пппутаница... произошла путаница! Вам не на оргию, вам в органный зал.

Не дожидаясь сопротивления, черт подхватил обалдевшего Иван Иваныча под локоть и размашисто крутанулся.

— Ппонабирали оттпуска перед Новым годом, я тут знай — отдувайся, — бормотал он, стоя перед огромными дверьми, сплошь покрытыми фигурами ангелов, — Ну вот и органный зал.

Чёрт окинул Иван Ивановича мутным взглядом и, неловко одернув ему ворот рубашки, махнул рукой, — Пппрошу!

Двери начали открываться.

Величественные звуки органа хлынули и потопили Иван Иваныча под собой, как бумажный кораблик. С бесконечных деревянных скамей на него глядели тысячи незамутненных и совершенно трезвых в своей праведности глаз.

Иван Иванович возвел очи к небу, глубоко вздохнул и впервые в жизни пожалел, что не согрешил с мужниной женой — востроносой соседкой Людкой. Хотя изящества ей, конечно, не доставало...

Да кто ж знал!

ЁСЯ

Начнём с того, что наши окна не выходили во двор. Поэтому, когда я выбегал на улицу, отскакивая пятками от асфальта, словно от шипящей маслом сковороды, тётя Рая безмятежно наблюдала разросшийся с восточной стороны дома парк.

То же самое происходило, пока я красил пятнами соседского пса и выменивал томик Достоевского на сломанный компас. В чём, конечно, не признался, так как я был вос-

питанный еврейский мальчик. А уж воспитанный еврейский мальчик смог бы отличить сломанный компас от исправного. Так тётя Рая и сказала нашим соседям. «Правда, Ёся?»

Ёся... Многие дети выдумывают себе имена, примеряются, как бы им жилось, будь они Петями или Катями. Я понимал, что «Ёся» — это мой крест. Лучше принять его сразу и нести с гордостью. Пока смерть не разлучит нас. Признаться, мужчины в нашей семье всегда отличались некоторым фатализмом...

Однажды я неудачно зашел домой. Тётя Рая как раз закончила читать письма Чехова: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, оно должно выстрелить». Ружья у нас не было, зато было древнее расстроенное временем пианино. Трём поколениям счастливо удалось увернуться от встречи с ним. Три поколения отделались соседством и сохранили мир от музыкальной бездарности нашей семьи. И вот кому пришлось за это расплачиваться.

Тётя Рая отложила Чехова и взглянула на меня поверх очков. Я знал этот взгляд — всё было решено. А через 5 минут с плиты убежало молоко...5 минут, понимаете? И возможно, дядя Айзек не оглох бы, как он любил выражаться, по собственному желанию, столь скороспешно.

С тех пор проклятые 5 минут не раз играли со мной злую шутку. Даже теперь, когда тётя Рая откомандировалась воспитывать следующего на очереди отпрыска. Собственно, прямо сейчас. Прошу, не спрашивайте, как всё получилось.

Итак, дорогой сосед слева, как вы понимаете, под вашей дверью стою я, Иосиф Виссарионович Кац, воспитанный мальчик из интеллигентной еврейской семьи. Обладатель двух красных дипломов, одной докторской степени и грамоты «за старание» на концерте 9 мая 1991 года. В чём мать родила.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО КЕЛЬВИНА В ГЕРМАНИИ

Женщина, давшая ему имя, так никогда его и не произнесла. 10 лет они жили бок о бок, не называя друг друга. В этом не было нужды. Потому что истина не руководствуется словами, а слова истиной — первое, что он усвоил, перешагнув порог их тихого царства.

Мать Кельвина была немой. И это было совсем неплохо. Потому что было правильно для них обоих.

Кельвин ощущал слова очень точно. Как профессиональные инструменты, которые используют только целенаправленно и стерилизуют после каждого применения. Их не должно быть много, потому что второпях можно схватить не тот. И они должны содержаться в порядке, чтобы в случае необходимости не глядя взять нужный.

Когда Кельвину исполнилось 10, он был вывезен в Берлин на лето. Там ему должно было стать лучше. Как будто до этого было плохо.

Кельвина поместили в семью тетушки Луизы и её сорванцов, которые были слишком живыми и слишком говорящими. «Кельвин! Келли! Кел!», — то и дело выкрикивали они. Словно им было мало его имени, тогда как самому Кельвину его было чересчур много. Конечно, он не отзывался. Но, оказалось, это довольно сложно — притворяться глухим среди слышащих.

После обвинений в невежестве, заносчивости и применения последнего средства — знаменитой выволочки тётушки Луизы, Кельвину пришлось сдаться. Он был вынужден признать за ними право к нему обращаться.

С того момента все пошло наперекосяк. Стройный тихий мир Кельвина брали штурмом. Беспардонно, без разрешения слова проникали в его сознание. Грабили, разоряли,

строили корабли и колонизировали целые материки. Портили его идеальные безмолвные земли.

От них было не спастись. Хотя со временем Кельвин все же нашел один способ...

«Ну наконец-то, мальчик хоть немного заговорил», — удовлетворенно сказала тётушка Луиза осенью. Она потрепала Кельвина по загривку и подсадила на подножку поезда — назад, к матери.

Сердобольная тётушка Луиза, если бы она только знала, что с тех пор Кельвин всю жизнь будет пытаться избавиться от этого нашествия, сгоняя, ссаживая, депортируя слова на бумагу.

О, это будет поистине великая битва! Удивительная и парадоксальная тем, как много Кельвин напишет для других, чтобы оставаться немым для себя.

ЖАКЕТ ЦВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛАЙМ

Даниил БУТЕНКО

Всё началось с необычного для того угла психиатрического диспансера, где я работаю, шума, доносившегося из коридора, – кто-то явно ссорился, от чего мой начальник Валерий Демьянович –человек в летах, убеленный сединой, оправданно символизирующей его многолетний опыт, отложив ручку на стол, встал и, оправив халат, направился к двери в кабинет. Как впоследствии выяснилось, на бирюзовой софе, расположенной перед нашей комнатой, женщина, которая была одета в жакет цвета электрический лайм ссорилась со своей матерью по поводу мужчины, нервно вжавшегося в тот злосчастный момент в спинку сиденья. Ныне же экстравагантная дама, чей образ дополняло атласное синее и слишком короткое на мой вкус платье, белые кожаные сапоги и солнцезащитные очки со стразами, забросив ногу на ногу и деловито постукивая по-хищному длинными ногтями по крышке стола, сидела неподалёку от меня и нехотя объяснялась за учиненную шумиху и причину визита в целом. Виктория – тридцатипятилетняя воспитательница подготовительной группы в детском саду в посёлке, что расположен вблизи города, по суровому настоянию матери приехала вместе с ней на консультацию к Валерию Демьяновичу, ведущему порой частный приём в качестве психотерапевта. По её словам, во время ожидания своей очереди в коридоре, к ней обратился молодой человек – еще один клиент. Возникший в, казалось бы, курьезном месте флирт отнюдь не озадачил героиню, ведь о том, что её внешность желанна мужчинами ей было прекрасно известно: “Сами видите, я женщина яркая и привлекательная – уверена, именно об этом Вы и думали, когда рассматривали меня вначале разговора – да, это было заметно” – подчеркнула она, кратко вздохнув и оправив приподнявшийся край платья. Завязавшийся разговор между клиентами в прихожей продолжался бы столь же непринуждённо, если бы не подоспевшая, а точнее, опоздавшая мать героини и крики о том, что замужним вести себя подобным образом не положено – Виктория состояла в браке уже пятнадцать лет и имела двух детей, а её муж, работавший в крупном банке в городе, постоянно пропадал на работе и совершенно, по последовавшим далее словам, не уделял семье должного внимания, что и стало первопричиной сегодняшнего визита. Возникла пауза – казалось, женщина готова была разрыдаться, однако закрыв глаза кистью и наклонив подбородок, спустя мгновение она продолжила, и нам стало известно, что, помимо всех прочих грехов,

муж был редким скупердяем и денег, выделяемых ним, не хватало на то, чтобы быть хорошей матерью и радовать своих детей. Выходом из этой ситуации стали денежные кредиты, благодаря которым она смогла содержать детей так, чтобы перед другими было не стыдно – голос повествовательницы всё больше дрожал по мере приближения к вышеописанному моменту, пока и вовсе не оборвался, растворившись в рыданиях. Пока еще недоумевая о причине визита, я предложил Виктории салфетки, пока Валерий Демьянович, утешал горюющую, дабы продолжить работу. Сквозь всхлипывания и самообвинения в том, что при врачах-мужчинах женщине стоит вести себя более сдержанно, наша героиня призналась, что в последние два года, выросший кредитный долг вынудил её просить поддержки у матери. Однако в итоге эта помощь обошлась дорогой ценой – дочь была обвинена в том, что подобное расточительство и безответственность являются следствием явных расстройств психики. Плач возобновился.

На минуту уйдя в себя, я задумался о том, что зачастую, ввиду особенностей своей деятельности, психиатры становятся свидетелями семейных драм и что подобные животрепещущие истории станут в какой-то момент холодной обыденностью в моей будущей врачебной практике. А потому, когда этот момент настанет, надеюсь, что я не превращусь в очередного эмоционально-выхолощенного, с вечной усталостью в глазах заложника своей профессии, обреченного быть бременем для пациентов и себя самого. Слишком глубоко погрузившись в эти мысли, я и не заметил, как руководитель, закончив разговор с Викторией выпроводил её наружу и пригласил для короткого обсуждения мать – для объективизации информации, излагаемой клиентом, психиатры часто задействуют его родственника или коллегу. Итак, место дочери заняла Инна Валентиновна. Я вдохнул и окунулся в атмосферу предстоящего интервью.

Дама в летах, отличавшаяся от своей родственницы абсолютно непримечательной одеждой, имела очень уставший вид, скорее даже вымотанный – казалось, будто весь её стан ломится под гнётом некой неописуемой тяжести. Перед нами была явно не та, кого можно было ожидать после предшествовавшего представления. Этот факт, усиленный раскрывшимися впоследствии личностными особенностями Инны Валентиновны, в сумме со сформировавшимися опасениями в отношении Виктории, обеспечил ей наше доверительное отношение. Мы узнали, что родилась женщина в жакете цветаэлектрический лайм вторым ребенком в семье и с детских лет отличалась капризностью и неповиновением – любые просьбы помощи в домашних делах игнорировались, что не раз становилось причиной внутрисемейных конфликтов. Поступив в восемнадцать лет в университет, спустя два года Виктория вышла замуж за более старшего мужчину, о чём мать уже узнала post factum. Познакомившись с зятем, рассказчица была приятно удивлена тем, что это был трудолюбивый и состоятельный человек, демонстрировавший искреннюю любовь к жене, в связи с чем, Инна, зная свою дочь, в крайней степени была обеспокоена тем, чтобы брак скоропостижно не был расторгнут. Тем не менее время шло, у пары родилась двойня и спустя пару лет Виктория пошла работать в местный детский сад, оставив детей на воспитание переехавшей к ней матери. За этим последовали, что стало известно лишь пять лет спустя, первые кредиты – поначалу суммы были небольшие и заёмщице удавалось успешно выплачивать банкам взятые в долг деньги и таким образом скрывать от семьи факт появившейся и развивающейся зависимости. Происходила данная теневая игра до тех пор, пока количество нолей в очередном чеке не превысило возможности нашей злополучной героини, вследствие чего она была вынуждена обратиться за помощью к родственникам, ведь иметь дело с коллекторами - то еще удовольствие. Оправившись от шока – еще бы, ведь эти люди оставались в неведении о причинах взятия кредитов и о том, куда деньги шли, - родные женщины, ставшей эпатажным центром

происходящего, совместными усилиями собрали необходимую сумму и закрыли ссуду. На вышеупомянутые вопросы выудить ответы у Виктории было невозможно, а потому началась целая череда внутрисемейных конфликтов, за которыми последовал отъезд матери домой. О дальнейших событиях ей было известно лишь со слов зятя, который связался после длительного перерыва с ней лишь для того, чтобы сообщить, что проблема с кредитным долгом вернулась – речь вновь шла об удручающей жительницу посёлка сумме. На этот раз обратившись за помощью к знакомым, деньги были собраны, однако с жёстким условием для Виктории о немедленной консультации у психиатра. Впервые за весь долгий и тяжёлый для восприятия рассказ Инна Валентиновна подняла уставшие глаза на сидящего перед ней врача, чтобы тут же сокрушенно их опустить. Я вынырнул из этой топи и неожиданно для себя шумно выдохнул.

Валерий Демьянович, задав даме в летах все требуемые ситуацией вопросы, пригласил в кабинет женщину в жакете цвета электрический лайм. Её лицо, приобрётшее невыносимо абсурдное по отношению к сложившейся ситуации высокомерное выражение, выглядело контрастно не только на фоне лика её матушки, но и в сравнении с той недавней физиономией, с которой, плача, Виктория покидала комнату. Мои кости буквально заныли от того холода, что привнесла с собой эта женщина в крайней степени экстравагантном наряде. Разговор не пошёл, последовал отвратительный поток высказываний, сопровождаемый театроподобной жестикуляцией и мимикой: “Психотерапия?! А смысл?! Я не идиотка, за которую меня тут все принимают, и мозги мне промывать не нужно”, “Дома сидеть – не для меня, ведь я что, просто так 5 лет в университете училась?!”, “Выпишите вот этой старой интриганке таблетки, она давно с ума сошла” и так далее. Уверен, этих широких мазков будет достаточно, дабы довершить иллюстрацию нигде не фиксированного диагноза истерического расстройства личности у женщины, скоропостижно покинувшей кабинет и унесшей свои тайны с собой. Что будет с ней? Что ожидает её семью? Какова судьба детей, игнорируемых истерической матерью? - со всеми этими вопросами в порыве чувств я обратился к своему руководителю, на что он, сняв очки и потирая большим и указательным пальцем глазные яблоки, ответил, что эти вопросы впоследствии и приводят психиатров к состоянию полуавтоматических машин, монотонно и безэмоционально выполняющих свою работу. Он продолжал, однако далее я не слушал, задумавшись о том, случайно ли второй раз за последний час была поднята тема врачебного выгорания. Разум молчал, лишь рисуя перед глазами образ женщины в жакете цвета электрический лайм.

DER EISBERG

Тот день был особенным, ведь спустя две недели после “ссылки” на учебный цикл фтизиатрии в областной противотуберкулезный диспансер, который находится в 20 километрах за городом, и путь к которому на маршрутке – сущий ад, я наконец вернулся на долгожданную стажировку. Прохожу я её в областном психиатрическом диспансере, в кабинете заведующего дневным стационаром в качестве помощника врача. Это не официальная должность, как и сама стажировка – прохожу её я благодаря протекции научного руководителя, в обязанности же и полномочия мои входит первичный диагностический опрос поступивших пациентов и заполнение сопутствующей документации. Мой начальник - Валерий Демьянович – человек в летах, убеленный сединой, оправданно символизирующей его многолетний опыт, был также рад моему возвращению, ведь бесплатные

писари всегда в цене и сразу же наградил меня десятком незаполненных дневников пациентов. Однако, не желая стремглав бросаться в бюрократический омут, я поинтересовался не появились ли в стационаре новопоступившие, которых я мог бы опросить, зная, что шеф, являясь достаточно мягким человеком, всегда идет мне навстречу при проявлении должной инициативы, все же отдавая предпочтение обучению перед необходимостью ведения документации. Валерий Демьянович выдал мне карточку обратившегося сегодня в диспансер пациента, сказав, что ввиду плановой подготовки отчёта заняться им сегодня не успеет и покинул кабинет, отправившись в бухгалтерию. Таким образом я познакомился с историей Виктора – пятидесятилетнего клиента, состоявшего на учете буквально полжизни - двадцать пять лет в связи с рекуррентными жалобами на раздражительность, нежелание что-либо делать и плохой сон. Мне показалось, что это достаточно тривиальный случай, однако, не забывая о том, что в психиатрии каждая картина болезни уникальна в своих деталях, я с энтузиазмом взялся за это дело и попросил медсестру пригласить пациента в кабинет.

Раздался стук и в кабинет робко вошел ссутулившийся мужчина, выглядящий несколько старше своего возраста. Растянутая серая кофта с пятнами, запущенная борода, грязные руки – типичные проявления негативной симптоматики при длительном психическом заболевании, - отметил я про себя, однако лицо выражало глубокую грусть, что несколько удивило меня, ведь за более чем два десятилетия болезни обычно происходит выгорание эмоциональной сферы и, следовательно, у таких людей характерным есть маскообразный отрешенный лик – я понимал, что предстоит необычное дело. Базовый вопрос о жалобах, приведших страждущего к нам, как всегда не дал результата – редко когда пациент психиатрического профиля напрямую выскажется по этому поводу, на вопрос о внешней печальности Виктор ответил, что, видимо, дело в назначенных препаратах, т.к. чувствует он себя “нормально”. Потому по старому обычаю я перевел разговор в русло анализа причин, вынудивших Виктора впервые обратиться за помощью, а далее к его истории жизни – от рождения и до нынешней госпитализации – чаще всего в ходе глубинного анализа патологические нарушения психики сами всплывают в разговоре, кроме того, устанавливается личностный контакт с интервьюируемым, благодаря которому последние, отвергаемые с момента начала болезни социумом, демонстрируют редкое доверие и открытость. История жизни опрашиваемого, которую он поведал мне поначалу достаточно тихим голосом, не была выдающейся – рос в неполной семье с деспотичным отцом, т.к. мать погибла при родах, в школе имел низкую успеваемость, был замкнутым и малообщительным ребенком. По окончанию 8 классов поступил в ПТУ по специальности “станочник широкого профиля”, затем работал семь лет на заводе, пока не появились первые признаки заболевания в лице апатичности и раздражительности, приведших к обращению к психиатру. Далее всё по накатанной: последующие ежегодные ухудшения самочувствия и, как следствие, госпитализации, безработица и установка инвалидности - всё достаточно прозаично, однако интуиция подсказывала, что следует продолжать копать, ведь такие детали биографии, как подчеркивание своей исключительной важности в прошлом на работе, неординарности болезни, а также упомянутая печаль шли в разрез с установленным давнишним диагнозом. На ум пришел еще один банальный, даже несколько вульгарный своей простотой вопрос, который, за ненадобностью, я редко задаю напрямую – а бывало ли, что что-то необычное виделось или слышалось Вам? И, неожиданно, в яблочко!

Место убогого, истощенного болезнью человека занял эмоциональный, несколько артистичный рассказчик, поведавший мне о том, что на самом деле он – маг, предводитель армии Света, ведущий свои войска, состоящие из гномов, эльфов, минотавров и

драконов в бой против сил Тьмы. Существ он видит повсеместно и легко вступает с ними в прямой контакт, подобно тому, как ты, читатель, можешь обратиться к любому человеку в своём окружении. Кроме того, он способен предвидеть будущее и лечить на энергетическом уровне любых больных. По его словам, силы он обрёл благодаря слиянию двух начал: сил Тьмы, характерных для линии его отца, и сил Света по линии матери, болезнь же его – это следствие потомственного проклятия, возникшего как кара за убийство далёким предком родственника ведьмы. Кроме того, удалось выйти на причину скорби – не так давно недалеко от места жительства пациента разразилась битва, в ходе которой погибли многие из его армии – темный друид наслал армии бесов и Люциферов против него, однако проиграл. Сказать, что я был повергнут в шок будет недостаточно - 25 лет болезни и ни одного упоминания в карточке пациента о вышеописанном фантастическом мире, в который Виктор был погружен, более того – совершенно абсурдные для его диагноза симптомы, да и в принципе наличие подобного рода фэнтезийных видений, классифицируемых как явные галлюцинации на протяжении всей жизни, о чём рассказчик сам заявил - небывалый феномен. Моя голова буквально пылала от восторга, что удалось вскрыть столь глубокий пласт систематизированного бреда в тандеме с подобными галлюцинациями. Я был в восторге! После обнаружения гигантского киля у айсберга картины болезни Виктора, наш разговор длился еще час, в ходе которого я убедился в максимальной систематизированности его бредовых представлений и полным отсутствием критики. Удивление не покинуло меня и в момент прощания, когда пятидесятилетний мужчина, с горячностью ребенка тряс мою кисть в рукопожатии, сердечно благодаря за столь долгий и приятный разговор.

Закончив разговор, мне срочно необходимо было обсудить свежедобытые артефакты болезни Виктора с одним из учителей. Демьянович был по-прежнему где-то в лабиринтах бюрократической стороны медицины, потому я рванул на 5 этаж к Роберту Феликсовичу – упомянутому мной ранее научному руководителю, проводившему, как оказалось, в тот момент пару для студентов 4 курса. Задыхаясь от волнения и слабой физической подготовки, я прервал занятие, выудив моего бывшего преподавателя в его личный кабинет, где максимально детально поведал историю сегодняшнего клиента, кроме того, продемонстрировав рисунок Виктора, на котором тот изобразил заключенного внутри него злого духа в клетке. Чем больше я раскрывал детали картины болезни, тем больше лицо ученого приобретало знакомое мне хищное выражение, свидетельствовавшее об азарте предстоящей охоты – в этот момент мне пришло на ум, что одержимость, испытываемая мной к психиатрии, возникла именно тогда, когда я впервые увидел старика в таком состоянии. Обсудив все аспекты, мы решили, что на следующий день проведем совместный клинический разбор этого случая. Вернувшись в свой рабочий кабинет, я обнаружил, что Валерий Демьянович на месте, а значит мне предстояло еще раз переозвучить целиком историю Виктора – эффект от рассказа был ожидаемый, а потому я сразу упомянул об условленном клиническом разборе - заведующий идею по достоинству оценил и обязался присутствовать, параллельно напомнив о тех десяти карточках, что должны были быть заполнены. Поубавив свой пыл, я приступил к заданию.

Итак, настал день X и вот мы втроём сидим с блокнотами и ручками наготове, а перед нами всё в той же кофте с пятнами, с такой же неухоженной бородой и по-прежнему грязными руками расположился Виктор. Спустя полтора часа полемики и около 10 исписанных страниц в сумме, мы прощаемся с пятидесятилетним мужчиной и переходим к обсуждению возможного диагноза и, как следствие, лечения. Перебирается масса возможных вариантов заболеваний, однако каждый из них не удовлетворяет целиком все диагностические критерии. И вот Роберта Феликсовича, профессора и доктора наук с

сорокалетним стажем работы, во время подкуривания двенадцатой сигареты, осеняет: “Помнится, когда я был еще кандидатом наук, на конференции в Киеве организаторы мероприятия продемонстрировали диковинный клинический случай – девятилетний мальчик, заявлявший, что он – директор крупного завода. Его рассказ о подчиненном ему учреждении был так же чётко структурирован и полон деталей, как рассказ Виктора. Ввиду отсутствия сопутствующих симптомов, ему был поставлен диагноз “синдром бредоподобного фантазирования”. Однако в данном случае мы имеем дело с давно уже не ребёнком, к тому же учитывая особенности личности: замкнутость, необщительность, склонность к грёзоподобному фантазированию про себя, наделяющему автора чрезвычайными, выдающимися способностями, а также взяв во внимание внешнюю неухоженность и безразличие к своему внешнему виду, я полагаю, что мы имеем дело с простой формой шизофрении, на которую наслоилось патологическое фантазирование на фоне личностных изменений”. В аудитории висит тишина, все погрузились в раздумья, как вдруг Валерий Демьянович шарахает кулаком по столу, вырывая меня и старика из мыслительного оцепенения и с умалишенной улыбкой обращается к последнему: “Черт бы меня побрал, Роберт, ведь ты абсолютно прав! Если бы не ты и твой студент, весь этот гигантский фантазм так и оставался бы скрытым, а мужик бы и дальше ходил с неверным диагнозом. Хорошее дельце, знаете ли!”. “И как нам теперь быть?” – наивно вопрошаю я – “Пишем отчет о первичном осмотре и меняем диагноз?”. На что Роберт Феликсович отвечает: “Нет, дружок, пишешь ты, а мы читаем и подписываем. Слишком стары мы уже для писарской работы”. Комната наполняется смехом.

МЕССИЯ

Алексей РУБАН

And on four horses
Come special forces.

Tiamat

В самый глухой ночной час Арсений думал о безумцах. В квартире стояла тишина, нарушаемая лишь посапыванием Леры, по обыкновению свернувшейся на боку в позе зародыша, с прижатой к животу подушкой. В такие моменты он завидовал жене, обладавшей способностью полностью отключаться от мира, проваливаться в чёрную пропасть, выныривая из неё лишь за несколько минут до того, как придёт время возвращаться к жизни. Организм Леры был умнее её сознания, экономя силы, которые требовались сейчас, как никогда ранее. Арсений не мог сказать о себе того же, и поэтому, лёжа без сна, он думал о сумасшедших, учёных, опускавших в кипящую воду часы вместо яйца, небритых стариках в обитых войлоком камерах со спёртым воздухом, бормотавших что-то о своей славе великих полководцев или правителей. Он вспоминал громкие имена из криминальных хроник, маньяков, встреча с которыми открывала ворота в запредельную боль, всё для того, чтобы убедить себя, что с мальчиком в соседней комнате всё в порядке. Арсений сравнивал не поддающееся сравнению, пока серый рассвет не стал просачиваться сквозь щель между шторами. Тогда он осторожно перелез через Леру, взял со стола планшет и опустился в кресло. Там он включил мини-компьютер, вошёл в сеть, просмотрел новые сообщения на страничке «Эры духа». «Может, он гений?» – внезапно мелькнуло в голове без всякой связи с содержанием комментариев читателей журнала. Арсений не был уверен, желал ли он подобной участи для своего ребёнка. Гениальность казалось Арсению бременем, возможно, даром, способным облагодетельствовать мир, но тяжестью как для самого человека, так и для его близких. Отцу мальчика в соседней комнате хотелось, чтобы тот прожил обычную жизнь, с повседневными заботами, маленькими радостями, неизбежным горем, лучшим лекарством от которого была та самая повседневность. Арсений подумал, что оставшееся время до утра он может провести, собирая в ряды разноцветные шарики на экране планшета, а потом его сознание внезапно погасло, и он увидел сон.

На гигантских размеров чёрном кресте был распят Глеб. В одной набедренной повязке, болезненно бледный

и худой, с железной короной, впившейся в голову, он обвис на толстых гвоздях, слабо постанывая, и слёзы, смешивавшиеся с кровью, текли по его щекам. Крест торчал из моря переплетённых человеческих тел, простиравшегося до самого горизонта, ежесекундно пучащегося, изгибавшегося волнами, моря, у которого не могло быть дна. Голые люди, врастая друг в друга плотью, беспрерывно кричали, совокуплялись, пожирали себя и других, и все они тянули руки к фигурке на кресте. Живя в грязи, помня о смерти, они отчаянно хотели жить и молили о спасении. Внезапно тело Глеба изогнулось, человеческое море взметнуло цунами, и крест с оглушительным треском стал падать, заслоняя багровое небо.

– Вставай.

Арсений разлепил глаза. Лера стояла над ним, легонько тряся его за плечо.

– Что, уже пора?

– Пока придёшь в себя, уже пора будет выходить. Опять полночи не спал?

– Уснул нормально, потом проснулся, часа три ворочался, решил в кресле посидеть, думал, всё, хоть с планшетом поиграюсь, и, видишь, вырубился, – Арсений тяжело поднялся, разминая одеревеневшую шею. – Как он там?

– Говорит, спал нормально, сам посмотришь, – Лера изломала лицо скептической гримасой. – Иди приводи себя в порядок, труба зовёт.

Арсений прошёл в ванную, встал под душ. Тёплые струи ударили по телу, и стало немного легче. При дневном свете ночные страхи тускнели. Сны снами, но ведь врачи не нашли никаких отклонений. Им нужно подождать, всё наладится само собой, просто поддерживать друг друга, ни словом не касаясь того, что тревожило их всех. Покончив с утренними процедурами, Арсений вернулся в комнату, облачился в джинсы и белую футболку с изображением лотоса, подумал об офисных тружениках с их неизбежным дресс-кодом и отправился на кухню.

– Категорически всех приветствую, – изрёк он как можно более оптимистично, усаживаясь за стол.

– И вам достойно жить, – отозвалась от плиты Лера.

– Доброе утро, пап, – Глеб равномерно двигал ложкой, понемногу опустошая наполненную кашей пиалу. Глядя на сына, Арсений подумал, какой удивительно покладистый ребёнок им достался. Подавляющее большинство двенадцатилетних детей не преминули бы устроить каше бойкот, а то и потихоньку спустить её в унитаз, как это в своё время делал сам Арсений. Встретившись с отцом глазами, Глеб слегка улыбнулся. Под глазами у него темнели круги, заставляя вспомнить гримасу Леры.

– Что на повестке дня? – спросил нейтрально Арсений, решив не запускать по второму кругу вопрос, который уже задавала с утра жена. Занятия в школе окончились неделю назад, и сейчас Глеб посещал нечто под названием «пришкольный лагерь» – радость работающих родителей, не знавших чем на целый день занять каникулярных отпрысков.

– Всё по плану, – Глеб пожал худыми плечами. – Сегодня археологический музей, завтра страусиная ферма.

– Чувак, да такими темпами нас с мамой к твоему одиннадцатому классу ждёт нехилая головная боль, как и тебя, кстати. Прикинь, как сложно выбрать, куда поступить при таком-то диапазоне знаний.

Глеб снова улыбнулся, на этот раз чуть шире, улыбнулась и Лера, ставя на стол тарелку с ломтями поджаренного хлеба. Они завтракали, обмениваясь какими-то шутками, и Арсений вдруг почувствовал, как на него опять начинает наползать тень ночного кошмара. Одним глотком допив чай, он поднялся.

– Ребята, сорри, вынужден вас покинуть, новый номер на носу, хочу пораньше начать. Всем спасибо, всё бесчеловечно вкусно и питательно, как всегда.

Арсений стиснул плечи сына, потянулся губами к Лере, увидел её взгляд. Они поцеловались. Арсений обнял жену, на секунду крепко прижал её к себе. Он подхватил в прихожей рюкзак, сунул ноги в лёгкие летние туфли и закрыл за собой дверь. Спускаясь по лестнице, он вспоминал глаза Леры. Она знала, что он выходит на полчаса раньше, чтобы пройтись пешком, попытаться немного проветрить мозги, отдавшись ритму ходьбы. «Спасибо», – прошептал Арсений и толкнул ведущую на улицу дверь.

Духота последних дней наконец-то спала. Небо обложило тучами, свежий ветер трепал листву деревьев во дворе. Беседку возле гаражей оккупировали неизменные Гарик и Розенбом, в компании спортивной сумки, из которой торчали горлышки бутылок. Две легендарные личности, ненадолго вырвавшиеся на свободу, целыми днями смаковали продукцию местного пивзавода, рассуждая о былом. Арсений знал обоих с самого детства, в тринадцать лет уже тайком бегал на устраиваемые ими в районном Доме культуры джем-сейшена, был свидетелем триумфов и падений неразлучной парочки. Одно время локальные звёзды рок-н-ролла вплотную приблизились к тому, чтобы разделить печальную участь множества своих более именитых коллег по цеху, однако на пути у зелёного змия стеной стали жёны. Валя с Ирой, сплочённые никак не радужной перспективой, объединили усилия и дружно взялись за дело. В результате долгих и изнурительных военных действий, мудрёных стратегических ходов и закулисных интриг им удалось до известной степени обуздать страсти благоверных. Ныне оба воспитывали подрастающее поколение, ежедневно ходили на работу и по праздникам принимали не больше заранее определённого количества, находясь под неусыпным контролем супруг. Лишь раз в году, летом, жёны вместе с потомством отправлялись в законный отпуск на принадлежавшую Гарику дачу, и тогда для друзей наставала двухнедельная фиеста. Подруги жизни были хорошо осведомлены о намечающемся загуле, однако не предпринимали никаких действий, чтобы это предотвратить, понимая бессмысленность любых телодвижений в подобной ситуации. Заранее готовясь к предстоящему пиршеству, Гарик и Розенбом в течение целого года зарабатывали себе отгулы, чтобы долгими тёплыми днями, вечерами, а то и ночами предаваться воспоминаниям и потреблять. Воспоминания были неиссякаемыми, впрочем, как и пиво, источником которого являлся расположенный на соседней улице круглосуточный магазин. Продукт брожения, цистерны которого друзья выдули в молодости, действовал на них диаметрально противоположным образом. Гарик, несмотря на приближающийся пятый десяток, оставался таким же тощим, как и в свои пятнадцать, в то время как Розенбом с каждым годом увеличивался в размерах. Арсений взглянул на синхронно припавших к бутылкам рок-солдат, и ему безумно захотелось, плюнув на всё, присоединиться к ним, позволив себе хотя бы ненадолго отключиться от царапавшей душу реальности.

– О, Сеня, здорово, чеши к нам, – на весь двор медведем радостно заревел Розенбом, заметив соседа по дому.

– Мужики, я на работу, у меня отгулов, как у вас, нет, – запротестовал Арсений, ноги которого каким-то магическим образом принесли хозяина к входу в беседку.

– Работа не волк, ты что, пословицы в школе не учил? На, кайфани с утреца, – Гарик ткнул в руки Арсению тёплую бутылку с каймой пены у горлышка.

– Нет, чуваки, не просите, не могу, – чувствуя, как от внутренней борьбы на лбу выступает испарина, Арсений отвёл в сторону искушение.

– Ну, хоть посиди, послушай, о чём умные люди говорят, на работе тебе такого не расскажут, – Гарик сделал внушительный глоток, разбрызгивая по сторонам пену. Арсений

подумал, что, возможно, ради этой встречи он и выходил из дома раньше обычного, и залез в беседку.

– Короче, была тогда такая передача, что-то типа «Криминальная страна», чернуха всякая, бандиты, шлюхи, тогда такое по всем каналам крутили. Это я Розику рассказываю, как впервые услышал «Голубой огонёк», это где «моя смерть ездит в чёрной машине», – перевёл Гарик Арсению, прекрасно знавшему, о какой песне шла речь. – И, прикинь, там в одном сюжете за кадром кусок вещи крутили, вообще без всякой привязки. И тут меня как торкнуло. Заканчивается всё, никаких субтитров, как сейчас, типа, чьи песни в передаче звучали. Иду я к маме на кухню, а мама у меня музыку в школе преподавала, – снова озвучил известный Арсению факт Гарик, – напеваю, что запомнил, спрашиваю, не знаешь, чьё это может быть? Ну, она говорит, не знаю, но вообще похоже на Боба. И я, вдумайтесь, иду в комнату, разбиваю копилку, а я тогда на приставку копил, потом чухаю в магаз музыкальный, в Центральном гастрономе тогда козырный был, и продавца спрашиваю. Повезло, тип понимающий попался, всё мне обсказал, кассету нашёл, я домой по-быстрому, врубил и умер. Ну, и понеслось. Приставку я так и не купил, всё на кассеты ушло.

– Вообще кайф, – подхватил эстафету Розенбом. – А я в то время «Зэ скримерс» слушал, типа, крикуны, так название и писалось. Угар такой, что птицы на лету падали. Панк, рага, тяжеляк, всё в одном флаконе, и тексты улётные, кажется, стёб, а потом как врубишься, так мозги заворачиваются. У них там в одной песне была строчка «пусть стоя аплодируют боги». И вот я дома, под диким впечатлением, пишу свой первый текст, беру подушки, книги, пару кастрюль, две ложки и начинаю хреначить по всему этому. А сам пою по бумажке, что-то там, что у богов уже давно и геморрой, и ревматизм, запоры, само собой, но когда они видят, как панки бухают, не могут удержаться, встают и хлопают полчаса.

– Мы с Розиком через год после этого свой первый панк-состав заделали. «Даст ин май брэйн» назывался, пыль в моём мозгу, а, да, ты ж английский знаешь, – наконец-то осознал очевидное Гарик. – Была у нас одна вещь, без названия даже, вернее, названий куча, не могли выбрать. Про то, что у чувака на одном плече белый ангел, а на другом, соответственно, чёрный. Белый ему: «Делай перерывы», а чёрный так по-нашему: «Бухай регулярно». В припеве так и шло. Качало – жуть. И приглашают нас как-то на фестиваль, опен-эйр, пятьдесят километров от города, зелёная зона, парк «Дубки». Обещают аппарат, барабаны, накормить, дорогу даже оплачивают. Мы с утра по соточке, погрузились, через полчаса приезжаем, а там детский фестиваль, клоуны всякие, качели-карусели, конкурсы. Кто-то, короче, что-то перепутал, а валить назад поздно, организаторы подходят, давайте на сцену. Выползли мы и завалили, а что делать? Две песни отлабали, потом нас стащили. Скандал был, но пару пап потом втихую подошли, благодарили, даже на пропой что-то сунули, плюс сосисок местных в кульке.

– О, сосиски, – эйфоричный Розенбом запрыгал на лавочке, отчего та угрожающе заскрипела. – Помнишь сосиски, Сеня?

При упоминании о сосисках Арсений понял, что пора ретироваться. Он вскочил, потряс руки обоих рассказчиков, непрерывно выдавая что-то о новом номере и горящих сроках, пообещал в самое ближайшее время присоединиться к компании, внеся свою алкогольную лепту, и очень быстрым шагом покинул зал славы рок-н-ролла. Утро воспоминаний грозило перерасти в день. Осознав, что у него ещё оставалось достаточно времени до начала работы, Арсений несколько сбавил темп. Всю дорогу до редакции он вспоминал один из своих первых опытов общения с Гариком и Розенбомом. Отходивший от какого-то ОРВИ, он воспользовался отсутствием родителей и пригласил музыкальных

кумиров домой. В себя после выпитой водки десятиклассник Сеня пришёл часам к четырём дня, едва успев навести в квартире марафет до прихода отца с матерью с работы. Те ничего не заметили, хотя мать и удивилась тому, что сын съел почти все сосиски из холодильника. Через пару дней Сеня поинтересовался у старших наставников, как они незаметно употребили столько мясной продукции. «Слабоват ты ещё, чувачок, – довольно изрёк тогда Розенбом. – Ты же сам нам показывал, как клёво в шахматы играешь, а потом все фигуры убрал, типа, каменный век, вместо них сосиски разломанные поставил и стал сам с собой шпилить. Сбивал и съедал сразу». «Понятно теперь, почему меня так тошнило ночью», – подумал тогда Сеня, не зная, радоваться ли ему своим подвигам или стыдиться.

Как всегда перед выходом нового номера, в редакции царило оживление. Раз в месяц журнал «Эра духа» радовал своих читателей новостями с эзотерического фронта, репортажами с различных мероприятий, призванных способствовать духовному росту и, как следствие, разрыву цепи перерождений, деталями биографий знаменитых наставников. Склонявшемуся к агностицизму Арсению, тем не менее, импонировали эти учения с их отказом от идеи персонифицированного бога, полной открытостью для всех и каждого, отсутствием претензий на обладание единственно возможной истиной. Работавшие в редакции в большинстве своём были добродушной жизнелюбивой публикой, с хорошим чувством юмора и адекватным восприятием реальности. Редкие исключения на общем фоне не раздражали, а скорее добавляли драйва. Такой, например, была штатный фотограф Леночка, питавшаяся солнечной энергией, транслировавшая/считывавшая эмоциональный фон вне зависимости от расстояния и постоянно менявшая пассий, в каждом новом кавалере видя, по меньшей мере, Калки-аватару. Арсений поздоровался с охваченными бурной деятельностью коллегами, сделал себе кофе, включил компьютер и погрузился в присланную ему на вычитку статью. Её автор только что вернулся с проходившего раз в шесть лет празднества, грандиозного действа, для участия в котором съезжались йогины со всего мира. Читая описания практик, рассматривая фотографии полуголых людей, заполнивших всё пространство между пёстрыми шатрами у берегов могучей реки, Арсений задумался. И он, и Лера воспитывались в семьях, где религия воспринималась лишь как одна из многочисленных традиций, таких, например, как вылазки на природу с вином и жареным мясом в последний месяц весны. Он не мог понять, как с Глебом могло произойти то, что так терзало сейчас и мальчика, и его родителей. Внезапно Арсений подумал о том, чтобы после выхода номера взять отпуск, уговорить Леру сделать то же самое, сесть втроём на самолёт и хотя бы ненадолго покинуть страну, отправившись в тысячекилометровый путь. Мысль выглядела безумной, но разве не безумием было случившееся с ними? Они полетят туда, в древнюю страну, где роскошь соседствует с кричащей нищетой, где священные животные переходят автострады. Они поселятся в городе, в котором на лестницах у реки сжигают трупы, где по утрам обнажённые люди, стоя в тёплых водах, приветствуют солнце. Быть может, это излечит их, даст ответы на вопросы, позволив вернуться к привычной жизни. Арсений сделал глоток кофе, решил, что даст мысли отстояться, перед тем как делиться ею с Лерой, и вернулся к чтению.

В час дня он покинул здание редакции, пересёк улицу и зашёл в маленькое кафе, где обычно обедал. Аппетита не было. Арсений кое-как справился с овощным супом, поковырял салат и, оставив на тарелке недоеденную отбивную, ретировался. В сквере неподалёку он купил в киоске кофе в картонном стаканчике, устроился на скамейке под деревом и набрал номер Леры.

– Привет, я на обед вышел, решил узнать, как у тебя дела.

– Всё по плану, как говорит наше чадо, – голос Леры звучал на фоне шума воды и криков детей, которых она готовила к очередным соревнованиям по плаванию.

– Спасибо, что дала мне возможность пройтись с утра. Немножко разгрузил голову.

– Гарик с Розиком помогли?

– Ты что это, следишь за мной? – постарался изобразить праведное негодование Арсений.

– Конечно. А ещё я иногда имею обыкновение снимать на балконе бельё. Они так восторженно орут, что не услышать нельзя, аж завидно. Ты не думай, даром для тебя это не пройдёт, в ближайшее время придумаю, как будешь искупать.

– Всенепременно. Слушай, возможно, есть одна идея, пока, правда, в зачаточном состоянии, но я думаю, что нам делать. Мы справимся.

– Справимся, без вариантов. Всё, давай, мои там перетонут все без меня. До вечера.

– До вечера.

Арсений спрятал телефон в карман. Он никогда особо не задумывался над определением любви, не был готов примыкать ни к циникам, утверждавшим, что за этим словом стоят лишь физиология и химия, ни к доказывавшим прямо противоположное романтикам. Люди, изучившие друг друга до малейшего пигментного пятна, знавшие, в какое время каждый из них привык совершать физиологические отправления, прожившие бок о бок годы, не могли сохранять в быту восторженные чувства периода влюблённости. Быт умел съедать многое, он перекраивал взгляды, сталкивал лбами, и всё же то, что было у него с Лерой, Арсений мог назвать любовью. Они познакомились обыденно и даже несколько нелепо, в квартире Севки, друга Арсения. Севка праздновал свой день рождения, его новое увлечение, опасаясь потеряться в компании незнакомых людей, пришла с подругой. Подругу попросили помочь на кухне, где в это время мрачный Арсений резал колбасу, периодически прикладываясь к стакану с вином. За полгода до этого он расстался с однокурсницей, с которой был вместе юбилейных двадцать четыре месяца. Арсений страдал, писал диплом, а по ночам вёл в голове долгие беседы с бывшей возлюбленной, убеждая, доказывая, растравляя раны. По прошествии времени они вспоминали с Лерой их тогдашнее общение и смеялись над тем, как глупо это должно было выглядеть. Арсений старательно натягивал на себя маску мрачного отшельника, всё повидавшего и утомлённого жизнью, Лера отпускала язвительные комментарии. За столом пикировка продолжилась, потом гости разошлись. На следующий день Арсений с помощью Севки стал обладателем необходимого ему номера телефона. Дурея от непривычности ситуации, от того, что собирался сказать, он взял в руки трубку.

– Ты страшный человек, ты это знаешь? – начал с места в карьер Арсений.

– Не уверена, а почему? – ничуть не удивлённым голосом осведомилась Лера, не поинтересовавшись, кто звонит.

– Потому что ты сама не понимаешь, как хороша.

– Не понимаю, но спасибо. Так куда, в кино, в парк или у тебя есть более оригинальные сценарии?

Арсений опешил. В этом была вся Лера, с её, на чей-то взгляд, прагматизмом, порождённым достоинством и нежеланием плясать с бубном вокруг очевидного. Тогда они пошли в парк. Лера спасла Арсения от мучительных рефлексий, от неуверенности в себе и мире, и сейчас, много лет спустя, они спасали друг друга.

Арсений допил кофе и вернулся на работу. В шесть часов он выключил компьютер, попрощался с немногими остававшимися в редакции и направился к остановке. Через две минуты подкатил автобус. Арсений забрался в салон и опустил тело в объятия кресла.

Глядя на проплывавший за окном индустриальный пейзаж, он, помимо своей воли, снова погрузился в воспоминания.

Всё началось одним вечером в конце марта. Закрыв за собой дверь в комнату, Лера подошла к кровати, на которой уже вытянулся Арсений, и, вместо того чтобы переползти через мужа на свою половину, присела у его ног.

– Тебе не кажется, что Глеб выглядит очень утомлённым в последнее время?

– Да, я заметил, но, наверное, ничего удивительного. Весна, авитаминоз, в школе загруз, мало ли причин.

– По-моему, он стал плохо спать по ночам.

– С чего ты взяла?

– Не знаю, – Лера задумчиво посмотрела на настенный календарь, выпускаемый в редакции «Эры духа». – Похоже. Ты ничего не слышал?

– Да нет. Ты же знаешь, я иногда просыпаюсь часа в два-три, но у него всегда тихо. Опять же, ему двенадцать лет, может, влюбился.

– Ага, ты мне ещё свои школьные годы вспомни. Слушай, серьёзно, я как-то всё не обращала внимания, а вчера вдруг так явно это увидела. Ты уставший очень был, решила не трогать тебя без повода. Сегодня позвонила его классной. Та говорит, с учёбой всё нормально, ведёт себя как всегда, но стал какой-то, как она сказала, рассредоточенный, что ли, будто одновременно думает и о задании, и о чём-то своём. Она сама собиралась с нами связаться, я её опередила.

– Не знаю, что тебе сказать, лажово как-то. Давай я с ним поговорю завтра, так, знаешь, по возможности ненавязчиво. Даже если там в девочке дело, всё равно обсудить надо, он же сам первый никогда не начнёт, будет мучиться, но молчать. А если что-то серьёзнее...

– Вот обойдёмся без серьёзнее. На самом деле, Сень, спасибо, сама тебя хотела попросить. Сам понимаешь, ваши мужские разговоры...

– Спи уже, феминистка, – Арсений притянул к себе Леру и поцеловал в висок. Через две минуты она ровно задышала, провалившись в сон. Арсений ещё какое-то время прокручивал в голове полученную информацию, спрашивая себя, был ли смысл беспокоиться, а потом уснул и он.

Следующим вечером Арсений постучал в комнату сына. Глеб сидел за столом и при свете настольной лампы что-то писал в тетради.

– Дружище, есть пара вопросов, – позвал Арсений.

– Да, пап, – Глеб повернулся на стуле, и в этот момент Арсений осознал, насколько переменился его ребёнок. Он ещё больше похудел, скулы на бледном лице заострились, под глазами залегли тени. Арсений не хотел верить тому, что видел, но во взгляде мальчика застыла тоска, растерянность пополам с безысходностью.

– Сына, – Арсений усилием воли заставил свой голос не дрожать, – нам с мамой показалось, что ты чем-то озабочен. Ты только пойми правильно, я тебя не пытаю, просто у меня больше опыта, в каких-то ситуациях я, пожалуй, смогу тебе что-то подсказать. Если есть вещи, которые маме, ну, знать не обязательно, как женщине, даю слово, она их не узнает. Врать я ей не буду, просто объясню, что ничего страшного не происходит, мы сами разберёмся.

– Папа, – Глеб говорил тихо-тихо, еле слышно, – я боюсь, вы мне не поверите и отправите в сумасшедший дом.

– Сынок, как ты мог такое подумать? – Арсений вдруг понял, что стоял на пороге. За порогом ждало нечто, грозившее искорёжить всю их жизнь. – Мы же любим тебя, о чём

ты говоришь? Просто расскажи, веришь, люди всегда себе надумывают непонятно что, а потом поделишься, и всё оказывается понятно.

Между отцом и сыном легла тишина, а потом мальчик заговорил.

Одной ночью на исходе зимы Глебу приснился сон. Вокруг него была абсолютная космическая чернота с тусклыми крапинками звёзд где-то неимоверно далеко. Он стоял на месте, хотя под ногами не было никакой опоры, а перед ним возвышался ангел. Мальчик знал, что это был ангел, но не мог описать его. «Он совсем не такой, как на иконах, и он горел», – прошептал Глеб, и на мгновение Арсений почувствовал укол первобытного ужаса. «Ты избран, – сказал ангел, и голос его не был голосом, – чтобы стать новым мессией, спасителем или губителем. Только от тебя теперь зависит, пойдёт ли человечество дальше своим путём или отправится в место, что лежит за гранью всех ваших представлений. Ты будешь носить в себе Апокалипсис, жить, наблюдать, изучать мир. Что-то покажется тебе прекрасным, что-то гнусным и отвратительным. Ты увидишь, как одни люди убивают других, как истязают ради денег и развлечения, как лгут, предают, втаптывают в грязь. Ты познаешь человеческое нутро, неисчислимые бездны мерзости. Тебе не придётся ничего искать самому, рано или поздно жизнь сама извернётся перед тобой всеми своими гранями. Если ты сумеешь дойти до конца и удержать в себе то, что будет проситься наружу, мир спасён, если же нет, ты знаешь, что случится, хотя и не можешь это представить».

Глеб рассказал, что после этих слов он упал на колени. Это не было сном, когда над тобой довлеет чужая воля, заставляя повиноваться её приказам, нет, мальчик был свободен в своих поступках. Он дрожал, внезапно ощутив космический холод, из его глаз лились слёзы. Ангел продолжал говорить, и тогда Глеб начал кричать. Он кричал, пока в горле его не взбух меховой бурдюк, и ангел изрекал слова, которые не были словами, не заботясь о том, слышат его или нет. – Почему я, почему?! – взмолился Глеб, с трудом выталкивая звуки из покалеченного горла. – Ответы есть, но ты их не поймёшь, – сказал ангел тогда, когда мальчик меньше всего этого ожидал, а потом он проснулся.

Глебу стоило огромных усилий, чтобы не показать дома и в школе, что происходило у него внутри. К вечеру картинка в голове немного потускнела, и мальчик в какой-то момент смог убедить себя, что это был лишь кошмар, однако ночью всё повторилось. Снова ангел говорил о конце света, снова Глеб кричал и просил объяснить, почему был избран именно он. «Ты сильный», – сказал ему ангел, и это было всё. Так продолжалось десять ночей, десять ночей в пустоте космоса. Затем всё прекратилось, так же внезапно, как и началось.

– Но ведь с тех пор тебе ни разу больше ничего не снилось, – шептал Арсений, чтобы не сорваться на крик, – прошёл почти месяц, ты должен успокоиться. Сыночек, это подсознание, оно и не такие штуки выкидывает без всяких причин.

– Папа, ты не веришь, потому что тебя там не было. Всё так и есть, – произнёс Глеб, и Арсений похолодел от тона, которым это было сказано.

Той ночью они не сомкнули глаз. Лера порывалась бежать к сыну, говорить с ним, но Арсений удержал её. Всё ограничилось чашкой молока с мёдом, которую Глеб выпил, виновато глядя в пол. Они перебрали множество версий, от переутомления до наркотиков и шизофрении. Оба сошлись на том, что им не обойтись без помощи специалиста. Уже к середине следующего дня Лера, проконсультировавшись у подруг, звонила по данному ей номеру и договаривалась о встрече.

– Даже мысли не допускай, что с тобой что-то не так, – говорила она вечером сыну, гладя его обеими руками по голове. – Папа прав, это подсознание, ты мог переутомиться, что угодно могло произойти, поэтому нужно разобраться.

– Да, мама, я понимаю, – отвечал Глеб.

Перед сном Арсений, в горячке осознания, зашёл в комнату сына и опустился перед ним на корточки.

– Послушай, дружище, неужели всё это время ты постоянно об этом думал по ночам, спал по три часа, хотя сны прекратились?

– Я писал.

– Что ты писал?

– Ангел сказал, что если я всё вынесу, я должен буду оставить потомкам послание, завет, сказал он, Новейший Завет. Он надиктовывал мне его все эти десять дней, и я запомнил каждую букву, хотя там на тысячу страниц, и никогда не смогу забыть. Папа, – лицо Глеба внезапно сморщилось, – я так не выдержу. Я ведь уже чувствовал это в себе, когда Лёша из моего класса чуть не подрался с пацаном на два года старше. Пацан его доставал, Лёшка не удержался и попытался ему двинуть, а тот на голову выше, он бы его закопал там, хорошо, учительница пришла. Этот пацан вообще всех достал, не знаю, как его ещё не выгнали, школа-то у нас хорошая. И вот я смотрел на это, хотел что-то сделать, Лёшке помочь и вдруг почувствовал, как оно во мне поднимается, как волна. Такая ненависть, перед глазами оранжевые пятна, и ты его сдерживаешь, а оно наружу хочет. Я справился, не так сложно было, но я же понимаю, что это только начало, самое простое. Как же я буду жить дальше?

Глеб уронил голову на грудь отцу и тихонько завыл. Арсений баюкал сына, шептал ему какие-то слова и сам испытывал ненависть к тому неизвестному, что так заставляло страдать двенадцатилетнего ребёнка. Чуть позже Глеб оторвал заплаканное лицо от отцовской футболки. Мальчик встал, подошёл к книжной полке, пошарил за рядом книг и достал толстый блокнот в чёрном переплёте. Арсений раскрыл его наугад. Страницы были исписаны бисерным старушечьим почерком сына, так непохожим на их с Лерой манеру выводить буквы. «Но вы, подобно глупым бабочкам, летящим на свет, всё так же стремитесь к тому, что зовёте удовольствиями, тщетно пытаясь обрести в них утраченную новизну. Рождаются и превращаются в прах империи, на месте долин встают горы, сменяются поколения, но нет, как не было, предела мерзости человеческой» – бросилось в глаза. Арсений встал на ноги и, пошатываясь, вышел из комнаты с блокнотом в руке.

Всё то время, пока Глеб проходил обследование, Арсения не покидала мысль о романе, прочитанном им лет в шестнадцать. В дочь известной киноактрисы, девочку возраста Глеба, вселяется нечто, именующее себя дьяволом. Врачи бессильны поставить диагноз, одержимая говорит на незнакомых ей языках, проявляет способности к телепатии и психокинезу, однако окружающие, в том числе и священники, к которым обращается отчаявшаяся мать, упорно отказываются видеть в происходящем проявления потусторонних сил. Они ищут научные объяснения, ищут болезнь, которой на самом деле нет, есть лишь глубокий кризис веры. Арсений не мог не проводить параллелей между осаждаемой демоном Реганой и своим сыном, разве только вторгшиеся в сознание детей находились по разные стороны баррикад. «Но причём здесь вера? – спрашивал он себя, останавливаясь посреди комнаты, по которой раз за разом наматывал круги в ожидании приговора врачей. – Неужели мы хоть на секунду можем допустить, что всё это правда?». Он знал, что ответом было «нет», знал, что им оставалось только ждать.

– Поверьте, я не вижу причин для беспокойства, – сказал им, до хруста сжимавшим пальцы, лысеющий мужчина с добрым лицом, известный специалист в своей области. – Мы провели все необходимые исследования. У Глеба нет никаких органических заболеваний, поражений мозга. Это не эпилепсия, не шизофрения, не галлюцинации. Психически Глеб здоров.

– Но что же тогда происходит с ним, ведь это ненормально? – выдохнул Арсений. От облегчения, захлестнувшего его, закружилась голова, и он усилием воли заставил себя сосредоточиться на разговоре.

– Я думаю, дело в слишком бурной фантазии вашего сына. Глеб очень умный мальчик для своего возраста, весьма начитанный, к тому же, что мне приятно вам говорить, он замечательный сын. Во время наших с ним разговоров он всё время повторял, как переживает из-за того, что причиняет вам беспокойство. Он большая умница. Далеко не каждый ребёнок способен так серьёзно относиться ко всем этим расспросам, тестам. Но, видите ли, избыток фантазии плюс гипертрофированное чувство ответственности – коктейль тяжёлый. Интенсивная внутренняя жизнь может привести к самым разным последствиям. Человек перестаёт интересоваться окружающим миром, уходит в себя, у него развиваются неврозы. В данном случае, мне кажется, речь идёт как раз о неврозе.

– Но откуда все эти ангелы, конец света? – Лера смотрела прямо в глаза лысеющего врача, в течение всего разговора ни разу не поменяв положение тела, со спиной-палкой профессиональной пловчихи. – Мы оба далеки от религии, наши родители тоже.

– Трудно сказать. Мозг – штука малоизученная, он может, как говорит молодёжь, заморочиться на чём угодно. Отсылки к религии повсюду, а Апокалипсис это ведь такая раскрученная тема, согласитесь. Возьмите этот его Новейший Завет, там ведь все фразы построены по классическому образцу, так изъясняется каждый второй проповедник, в сети их, кстати, запредельное количество. Глеб мог что-то прочитать, посмотреть фильм, услышать от учителей или друзей, сейчас это не суть. Главное, что вы должны уяснить, это как вести себя в сложившейся ситуации. А вести себя нужно так, чтобы эта тема как можно меньше всплывала. Обходите её стороной, вообще не говорите об этом, дайте ему понять, что не верите ни в каких ангелов и мессий. Первое время Глеб будет возмущаться, про себя, конечно, он тащит на себе такое бремя, а самые близкие люди не хотят его понять. Он убедил себя, что несёт ответственность за мир, за вас, в конце концов, вы же не обращаете на этот подвиг никакого внимания. И вот так, постепенно, в отсутствие подпитки со стороны его фантазии станут тускнеть. Занимайтесь чем-то втроём, съездите вместе на отдых, в конце концов, живите своей привычной жизнью. Успокаивающее сейчас Глебу не помешает, я выпишу рецепт, мягкий препарат, успокоит нервы, по ночам будет хорошо спать. Ещё раз повторяю, у вас замечательный мальчик, здоровый и, убеждён, талантливый. Из него может вырасти большой человек. Знаете, что он сказал мне, когда я спросил его, почему бог послал ангела, вместо того чтобы явиться самому? «На бога не может смотреть ни один человек, и я не смог бы, я же не его сын, как тот, который был до меня».

Выйдя из автобуса, Арсений зашагал по столетней давности булыжнику центральной площади. Вечерело. Он шёл навстречу влюблённым парочкам с мороженым в руках, скейтерам в бейсболках и футболках без рукавов, огибал собравшихся послушать уличных музыкантов и вспоминал, как сказал сыну о необходимости какое-то время принимать на ночь успокаивающее. «Ты боишься, что я буду продолжать писать? – спросил его тогда Глеб. – Не переживай, папа. Если мне удастся с этим справиться, у меня будет много времени, чтобы закончить». Арсений промолчал. Молчала и Лера, после разговора с врачом они похоронили тему мессианства, зарыли её так глубоко, как было возможно. Две недели Глеб пил таблетки. Он стал высыпаться, это было видно по его порозовевшим щекам, по распрямившимся плечам, и, если только желаемое не принималось за действительное, затравленность исчезла из его взгляда. Заговор молчания делал своё дело, и всё же ни Леру, ни Арсения не покидала мысль о том, что могло происходить в голове их сына. По утрам они украдкой рассматривали его, радуясь, если он выглядел отдохнув-

шим, с отягощённым сердцем шли на работу, унося в памяти замеченные признаки бессонницы. Арсений не знал, сколько им суждено было жить впотьмах, и собирал силы для дальнейшей борьбы с неизвестностью.

Площадь закончилась, за ней потянулись кварталы Старого города. Узкая улица, петлявшая между невысокими домами, привела его ко двору, где он бегал в детстве по потрескавшемуся асфальту, в компании друзей, поливавших друг друга из самодельных водяных пистолетов. Арсений махнул рукой Гарику и Розенбому, почётным стражам беседки, и взбежал по ступенькам. Ещё на подходах к квартире он почувствовал тот самый запах, упоительный аромат куриных котлет, страстным поклонником которых являлся, передав эту любовь семье. Захлопнув за собой дверь, кое-как содрав с ног туфли, проигнорировав визит в ванную, Арсений возник на пороге кухни.

– Всем привет, всех рад видеть и должен сообщить многоуважаемому семейству, что безмерно вас люблю, – торжественно пробасил он дьяконским голосом.

– Привет, пап, взаимно, – улыбнулся ему Глеб, наблюдавший, как мать священнодействовала у шипящей сковородки.

– Взаимно-то взаимно, но личную гигиену никто не отменял. Быстро мыть руки, – отвернулась Лера от плиты, с недовольным лицом и смеющимися глазами.

– Не раньше, чем сделаю объявление. Правление семьи в моём лице торжественно постановило, что в ближайшее время мы заканчиваем все насущные дела, подсчитываем накопления и трясущимися от жадности руками отправляемся покупать билеты на самолёт. Нас ждут древние тайны, заклинатели пресмыкающихся и единение с природой. Долой прогнившую цивилизацию, восславим путь к просветленью!

Котлеты шипели, Лера что-то возмущённо говорила о спонтанности и пафосе, а Глеб смеялся. Арсений смотрел на сына, и сердце его сжималось от любви и страха. Перед сном, прислушиваясь к тишине в соседней комнате, Лера спросила, как он пришёл к этой мысли.

–Я не знаю, – вполголоса произнёс он, – но так будет правильно. Правильно и здорово.

– Я люблю тебя, – прошептала ему жена. Они уснули, и этой ночью ничто не тревожило сон Арсения. Его тело дёрнулось на кровати на рассвете. Вырванное из тёмного омута сознание, ещё не успев встроиться в реальность, не распознав потревоживший сон звук, вскинуло плоть. Босой, управляемый одними рефлексами, он побежал по паркету, разбрасывая в стороны преграды, рванул дверь в комнату сына. В глаза ему бросилось распахнутое окно и белые занавеси, бившиеся на ветру на фоне светлеющего неба. Он бросился прочь из клетки квартиры, на ходу что-то крича жене, крича что-то в телефон, каким-то образом оказавшийся у него в руке, пока ступени расплывались сплошным пятном перед глазами. Глеб лежал на асфальте, лицом вверх, маленькая фигурка с завернувшейся за спину рукой. Крови почти не было, только из аккуратной раковины ушка бежала тёмная струйка. Арсений упал на колени перед сыном, ломая ногти об асфальт, с кем-то внутри, запрещавшим трогать тело мальчика. Веки Глеба дрогнули. «Прости, папочка, так будет лучше всем», – прошелестело на обкусанных обескровленных губах, на которых Арсений отчётливо различал каждую трещинку. Пространство вокруг стало полниться голосами, над домами понёсся жуткий вой Леры, бившейся в руках Гарика и Розенбома. Где-то вдали раздался звук сирены. «Я верю, верю всей душой, верю, как никто никогда не верил. Если хочешь, уничтожай этот проклятый мир, но только потом, дай ему прожить жизнь, а потом уничтожай, пожалей его, награди, ведь я теперь верю», – исступлённо шептал Арсений, трясясь под порывами утреннего ветра. Рёв сирены становился всё громче, и по небу плыли тучи, отражаясь в глазах распластавшегося на земле мальчика.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

ИГРА В КУБИКИ НЕ ПО ПРАВИЛАМ

По Ласточкиному спуску Люда побежала вниз, узкой глубокой лестницей.

– Я с Ольгой! – закричал Гридин.

– Нельзя в толпу, – сказала Оля, – Люда, назад! К тебе, к тебе, – закричала отчаянно.

Продираясь сквозь улицу, словно плыли в густом борще. Горько и горячо пахло дымом. Погромом пахло.

Гридин, не отпуская локоть Ольги, крепкими влажными пальцами схватил за руку Люду и потащил. Люда, как пристяжная, не отклеиваясь от Гридина, закашивала, пытаясь слева прикрыть Ольгу. Так тройкой добрались до Театрального переулка, когда раздался хлопок, Оля побелела, напряглась и сказала:

– Попали!

Пауза повисла, стало душно и знобко одновременно... Постепенно рокот и плеск толпы, прущей с бульвара в сторону центра, накатил, накрыл троицу с головой.

Гридин, схватив Ольгу в охапку, вращал синими белками, и глаза его были безумны.

– Идёмте, не стойте, не надо! – резко сказала Люда. – Мы уже почти пришли.

В доме пахло влажной уборкой. Оля лежала с открытыми глазами, в глазах горели оконные стёкла заходящим пожаром – солнце скатывалось к морю, и высокий берег был багров, и небо, отражающееся в стёклах, и стёкла, отражающиеся в глазах, и Ольгины глаза были багровы.

– Будет много смерти, – сказала Ольга.

Гридин мял пальцы, сминал щёки, теребил подбородок, и Люда, не выдержав зрелища, дала ему в руки тарелку. Гридин оцепенел с тарелкой, дымящейся супом, и сказал:

– Спокойно, надо готовиться.

– Я вроде как уже приспособилась, – хмуро сообщила Ольга и, улыбнувшись, – но я протестую.

– Да уж, приспособилась, ты что, детей с ней крестить собираешься?

– В недолгом, но счастливом браке, – отозвалась Оля на Людин голос, и обе невесело рассмеялись.

– Телефон работает, значит, почта и телеграф не взяты, – сказал Гридин. – И есть шанс вызвонить Кудимова.

– Бери саквояж, Чехов! – сказал Гридин в трубку Кудимову, – мы ждём в Театральном, шестнадцатый номер. Скальпель захвати.

Через двадцать минут Кудимов, то есть Чехонте, уже колдовал над тихой Олей. Пуля сидела под ключицей. По-

том звякнула о фаянс чашки, и чашка неожиданно треснула. Люда зачарованно смотрела на трещину.

– Твою мать, двойной разор! Ольку хоть зашьём, а с этой что делать, она же течь будет.

Счастье вытечет, эту надо добить. И, зажав пулю в кулаке, локтем спихнул чашку на пол.

Чехов потёр Олин висок большим пальцем с выпуклым голубоватым ногтем.

– Ну, голубушка, знак жизни подашь?

Ольга глаза приоткрыла и сказала:

– После сорок восьмого года погромы в Одессе прекратились, потому что готовность сохранялась и страх жил всегда...

Значит, новые пришли времена – сказала грубым голосом Люда. И уже есть кого и кому громить.

– Когда рвануло в Татарбунарах в конце века и цыгане пошли на гагаузов, как черносотенцы на жидов в 1905-м, стало ясно, что моя недавно появившаяся в прессе статья «Как это делалось в Одессе» о еврейских погромах конца позапрошлого века, безответственна, но актуальна. Статья разошлась тиражом в тридцать две тысячи. Мы думали, что для газеты с именем «Знамя коммунизма» это смелый демократический шаг, а теперь, оказывается, газета как бы выступила инструктором по погромам. И инструкция спущена как бы сверху... А «Знамя коммунизма» гордо реет на ветру.

– О, – сказал Чехов, – вполне жива и жить будет. Но вредные последствия неизбежны. Вина, агрессия и тексты – какие тексты! А – есть хочешь?

– Нет, – сказала Оля строго. – Суп есть не хочу. Спасибо тебе, Чехонте, за пулю и шрам на левой груди. Я тебя отблагодарю, когда всё кончится. И, как думаешь, это что происходит? Когда сюда шёл, ты что-то понял? Это переворот?

– Радость моя, – сказал Кудимов. – Грудь у тебя несколько ниже, и она всё еще прелесть как хороша...

– О, если бы, – сказал Гридин. – Но это происходит рецидив прецедента.

– Что? – с ужасом спросила Ольга. – Моя грудь?

А Люда сказала строго:

– Твоя грудь не может быть прецедентом. Прецедентом может быть только событие. И мы про «прецедент» не знаем ничего. Мы что, к Турции присоединились или поддержали Приднестровскую республику?

Гридин дёрнул Люду за ухо, наклонившись, ласково шепнул:

– В Одессе решили национализировать личную собственность. У товарищей отбирают галстуки и бабочки. И у остальных – бюстгальтеры, – попыхивая трубочкой, добавил Чехов. – Господа! Середина двадцать второго века ознаменована в Одессе погромом по «личному поводу».

Но Люда сказала:

– Коммунизм – скоммуниздили. Идиоты.

– Но «Знамя коммунизма» осталось!

– И это справедливо, – сказал Гридин. – Только его переименовали. В «Юг».

По улице вяло бежал людской поток, оскудевший и уже никакой не поток. Отдельные граждане, прижимаясь к домам, запоздало добирались до родных дверей.

– Собственно, можно включить новости, – Люда нажала кнопку, и с экрана сообщили, что идёт дождь и город сдан без боя.

Но вот уже сорок минут, описывая, что происходит в городе, диктор не сообщил, кому город сдан. Этого не сообщили и через три часа.

Глубокой ночью, объединившей компанию в квартире 16 по Театральному переулку, дома номер 16, произошло событие, напрягшее всех ещё больше. В открытую форточку влетела ракета, малиновая вспышка, рассыпавшая бенгальским огнём искры. Ракета утонула в платяном шкафу, он вспыхнул весь и сразу. И начался пожар.

– Блин, – сказала изумленная хозяйка, – это был мой гардероб! Весь! Я теперь голая. Гасим, я ещё и без квартиры останусь!

Затихли через полтора часа. Потушить пожар удалось, и это было чудом, потому что он вроде как велением Господним погас, не токмо усилиями троих растерявшихся. И Гридин, поразмыслив, сформулировал: «Самое страшное среди тут уже позади. Кровь агнца пролилась. Бархат и парча взяты в жертву. Молчание наше велико, а скорбь и страхи безмерны. Пора соснуть, к утру прояснится. Возможно. Мы всех своих обзвонили?».

Оказалось, что никто вообще о своих не вспомнил.

– Так не бывает, – сказала Люда. – Олька не могла забыть. Ты не забыла?

– Да, – ответила растерянным голосом та, – я забыла.

– Это наведённое, – сказал Гридин. Потому что так действительно не бывает, чтобы Ольга не позвонила.

Он протянул Оле её мобильник. И тут оказалось...

Металлический голос сообщил, что, собственно, города больше нет. Всё. Больше он ничего не сообщил, этот неживой голос. Люда в окно глянула.

– Город есть, – опровергла.

И зазвенел телефон. И Чехов, вслушиваясь, утвердительно головой кивнул. Положил трубку, звякнуло отбоем. Сказал успокаивающе: «Нет города. Не верьте глазам своим. Это только провинция у моря, город перенесён в другое место. Как здание, взятое под охрану государством и смещённое с улицы Подбельского на Еврейскую».

– А разве такое было? – усомнился краевед Гридин.

– Такого – не было. Но теперь есть.

Ольга уткнулась в мобильник, дозваниваясь, и голосом, как необлизанное стеклышко, тускло сообщила:

– Центр перенесли в братский Ильичёвск, к мэру Шмельнюку. Валерий Иосифович решил спасти Дерибасовскую. Мэр Бодеган хотел мостовые выкорчевать и застелить всю пешеходную зону Одессы своей розовой плиткой. В горошек.

– Они глючат, – сказала Люда. – Они там перепились, их колбасит, и все зависли.

– Нет, они не зависли, они именно глючат.

– Не препирайтесь, – сказал Чехов, глядя в окно. – Там, в ночи, всё неподвижно и тихо. Не видим мы, что происходит в темноте. И мы другие, и они не те. А может быть, телефонисты правы и дикторы не врут? Что там говорят на ночном канале?

Ночной канал передавал: Шмельнюк лучше Бодегана. Бодегана больше нет. Вся власть в руках... сосредоточена.

Город-спутник Одессы Ильичёвск, подставив румяные щёки степному ветру, перетягивает семейство бронзовых львов и фонтан из городского садика в район своего Ильичёвского порта. А на месте горсада, что справа был от Дерибасовской, возник котлован с бьющими минеральными скважинами.

– Ой-ё-ё коломэнэ, – сказал Кудимов. – Прожопил таки Одессу хренов молдаванин.

Ночной канал голосом Саши Беккерера сообщил: Бодеган обнаружен. В ЮАР. Но стало известно из архивных данных начала 21 века, что он успел напакостить в Санкт-Петербургском порту.

– Господа! – сказал Беккерер трагически. – Времена не выбирают! Всё спуталось, и не понять «Россия, Лета, Лорелея»? Какого черта Руслан Ибрагимович в святом городе розовым горошком плиток своих – мостовую кроет?!

Утро наступило с внезапной трели трамвая. Люда сказала хрипло:

– Здесь не может быть трамвая, его убрали после войны, лет двести тому! Он мордой упирался почти в театр, и это всегда раздражало предка! Отродясь такого противного звонка не слыхала. У кого-то сегодня чердак снесло, – добавила угрюмо Люда.

Там, где раньше была городская Дума, скалившаяся в затылок великому одесскому поэту Пушкину белыми, подсвеченными по вечерам колоннами, там торчал указатель трамвайной остановки и стоял красненький солдатик сдвоенных вагонов неизвестного маршрута.

– Всё правда, – сказала Люда потрясённо и отшатнулась от окна. – А... как нам теперь быть? Как мы всех найдём?

И бросилась к телефону.

– А что телефон? – сказал Гридин. – Они, небось, списки вывесят на Куликовом поле...

Оля, не мигая, смотрела в экран. По седьмому каналу передавали балет «Белый лебедь». Она так и сказала:

– Белый лебедь. Опять.

– Оль-ля-ля! – сказал Чехонте. – Ты имеешь в виду «Лебединое озеро»?

– Раз Чайковский с утра – как минимум, труп, – процедила сквозь зубы Оля.

– Или государственный переворот, – хмыкнул Чехонте.

– Это инопланетяне. Шмельнюк – скрытый поэт. Зашифрованный, – сказала Ольга. – Он просил меня в 1984 году прийти в горком, полистать его тетрадочку. Он тонкий лирик. От него я узнала, что инопланетяне на Одессу глаз положили.

– Иди и читай. Прямо сегодня, – грозно сказал Гридин – дешифровкой займись, дура, не сделала этого вовремя!

– Я не могу, – Ольга смотрела твёрдо и прямо. – Я раненая. И не злобствуй. Ты же сам меня недоохранил вчера.

– Не справился я, – сказал с печалью Гридин.

– И поэтому концы рубишь, посылаешь меня... – Оля задумалась, приподнялась с подушек и сказала: – А я ничего подобного в фантастике не читала.

– Это потому, что ты фантастики не читаешь, – сказал Кудимов.

– Сюжеты предложить можете? Вспомните что-нибудь похожее?

– А что? Нас всех глючит? – спросил Гридин. – Я думал, что утром закончится.

И все опять посмотрели в окно.

13-30. Зазвонил телефон.

– Кто говорит?

– Мы разыскиваем Олю.

Ребёнок сообщил – пятнадцать раз уже звонили. Искали Олю, искали...

– У вас нет Оли? Везде одно и то же, все потерялись. Не знают, где находятся. И мы не понимаем ничего. А те, кто звонят нам, не знают, где находятся, потому что те, кто из дому выходил, не вернулись, а из окон видно, что всё переставлено, как в неправильных кубиках, и вот мы смотрим, смотрим, а картинка не складывается в то, что было.

Голос в трубке дрогнул:

– Так вы дадите нам Олю?

– Никуда не выходите, – заволновалась Люда. – Вы одни?

– Нет, – сказал Вероник, – мы не одни. Мы впятером в «Менеджера» играем. Мы не успели разойтись, а Мариночка, когда это началось, никого уже не выпустила. Так дайте нам Олю.

– Не волнуйся, – сказал Вероник в трубку, – Олькин, раз мы тебя нашли, всё будет теперь в порядке.

– Разумеется, – ответила Ольга. – А что ты видишь из окна?

– Море, наверное, – улыбнулся голосом Вероник. – Я вижу море. А прибой там, где раньше был наш хлебный.

– А может быть, это Хаджибей?

– Что я, море от лимана не отличу? Это море, и слева порт. На месте Еврейской больницы. Мариночка говорит, что мы видим Ильичёвский порт – почему-то, – удивился голос сына.

– А справа что? Что ты видишь справа, выйдя на балкон?

– Ты, мама, не волнуйся, – вмешался голос дочери. – Нет теперь балкона. Его задело стрелой портального крана и снесло на фиг.

– Не выражайся, – автоматически одёрнула Ольга. – А справа как?

– А справа так же, как и было. Нас перенесло левой частью Мясоедовской. Кажется, почти целиком. Во всяком случае, выглянув в форточку, Мариночка видела и молочный магазин, и что по Халтурина мчалась пожарная машина. Значит, пожарка и всё, что до неё, осталось с нами. Тебе нужны ориентиры, – догадалась дочь, – и ты найдёшь нас!

– Да, я вас найду. Не сразу. Создадим карту местности. Разобраться нужно.

– Ты привяжись поточнее, мама, – Вероник дышал взволнованно.

– И не боись, Мариночка будет с нами. Ты не переживай, – рассудительно успокаивала дочь.

И Оля похолодела.

– Дай мне…

Но тут вмешался механический голос:

– Не циркулирует 00423, перерезка вириокинатарума по пульту номер четырнадцать.

– Чего? – пролепетала Оля.

Вторые сутки закатывались за неподвижный трамвайчик, торчавший в месте несоответствия. Из квартиры Люды никто не выходил – а куда? По телевидению показывали чёрт-те что. По всем каналам танцевали лебеди, плавали в заливах, вышито сидели на ковриках, нарисованно стояли в каждом кадре, набивными чучелами украшали долгие столы, покрытые малиновым сукном – мёртвое царство, зачарованное Чайковским.

Было понятно: телефон работал как хотел. По телевидению показывали что хотели. Только непонятно было, кто.

– Кто, кто, кто? – завопил Кудимов, – в этом теремочке живёт! Из какого Бокубанди это чер-те что?!

Никто никуда дозвониться не смог. А на улицу лучше не выходить. Потому что неизвестно, где оказываются те, кто не возвращается, выйдя. Об этом предупреждали по всем каналам. В перерывах между лебедями. В паузах между Чайковским.

И стало очевидно, что Одессы больше нет. Как нет, впрочем, и Ильичёвска, набухающего не по часам, а поминутно одесскими улицами, кварталами целыми, площадями с обглоданными переулками, жителями, теряющимися среди перепутанности пространств. А со степи наползал туман.

А что есть, что получается из рушащегося и возникающего вновь мира – пока не ясно. И что делать со всем этим, никто не знал.

В этот момент всеобщего недоумения раздался международный тревожный звонок, и тут же голос диктора интерканала командным голосом произнёс: «Не поднимайте телефонных трубок! Не пользуйтесь мобильной связью! Не смотрите в окна! Потому что дальше неизвестно, – съехал голос диктора, – неизвестно и... никто ничего пока не придумал».

P.S.

– А почему я Чехонте, – вопросил Кудимов, – из-за вот этого? – и покатал на ладони пулю.

– Нет, шёпотом ответила Ольга, – потому что ты теперь ответишь на все возникшие вопросы. Напишешь, что это такое произошло четвёртого дня и когда я увижу своих детей. Ты сделаешь это.

– Ну, нет, – сказал Гридин, – нашла классика! Тот только и мог, что красотой спасать мир. А здесь требуется иное. И этого пока не придумали. Тебе же только что по телевизору сообщили.

– Заткнись, – грубо оборвала Людмила, – и, хмыкнув, добавила – такие вот пирожки с котятами. А лепит их – вы сами знаете кто, – 3,14-левины всякие, настоянные на сарокина-милоновых. Вот они за всё и ответят, когда мы сумеем до них добраться.

Ольга согласно кивнула:

– Когда-нибудь.

...Через шестнадцать лет тому – когда-нибудь наступило.

Анатолий ГУЛАК

ТЫ УШЛА НЕ РАЗГАДАННОЙ МНОЮ

* * *

Мы приедем – пионы уже отцветут,
Лён утратит сиянье свое голубое,
Травы долу под тяжкой росой упадут,
Осложнив свой покос ну как минимум вдвое.

Мы приедем, когда прекратятся дожди,
Когда вырвется солнце из облачной мути,
И о райской прохладе забудь и не жди,
Что в погоде изменится что-то по сути.

Будет зной с раскаленных спускаться небес,
Суховей обжигать неокрепшие лица
И безгрибьем разочаровывать лес,
И молчаньем – жарой утомленные птицы.

Что ж так властно нас тянет с тобою сюда,
В это пекло, где нет ни удобств, ни покоя –
Или этих холмов вековая гряда,
Что, как стража, застыли над древней рекою?

Или этих лесов безмятежная синь,
Что без всяких потуг расплеснулися морем,
Или этот простор – куда взором ни кинь:
Ширь и даль с высотой в нескончаемом споре?!

* * *

Ты дала ключевой мне напиться воды,
И сама с двух сторон ветхий ковшик держала,
А за ним – как сиянье лучистой звезды –
Россыпь искр твоих глаз чародейно дрожала.

И, глотая легко ледяное питьё,
Я жалел втихомолку, что так его мало, –
И из глаз твоих в жадное сердце моё
Не одна тогда жаркая искра упала.

* * *

Меня как-то внезапно пронизал
Дух времени безумства и печали –
Когда твои русалочьи глаза
То в грусть, то в радость душу повергали;

Когда скользящий мимо долгий взгляд
Казался мне дарованным кому-то
И наплывали мутно, невпопад
Мучений бесконечные минуты;

Когда пьянящий вальс тебя кружил
С другим партнером плавно и красиво,
Мне мнилось: вихрем чародейских сил
Тебя навек куда-то уносило.

И обрывалось сердце у меня,
И жизнь пустой казалась и ненужной,
И безысходной, словно ночью вьюжной,
Где ни пути не видно, ни огня.

Но кончив тур, ко мне летела ты,
Небесною улыбкою сияя,
Во всем разлете юной красоты –
И вновь я попадал в объятья рая;

И в берега входило бытиё,
Вокруг волшебно всё преображалось,
И сердце умиравшее моё
Опять живою верой наполнялось.

* * *

Я помню чудное мгновенье...
А.С.Пушкин

Прошли года. Но дивной властью
Какой-то силы неземной
Неостывающею страстью
К тебе прикован жребий мой.

И никакой порыв мятежный
Бурь остудить ее не смог –
Всегда звучал мне голос нежный
У разветвления дорог.

И в годы мрачные разлуки,
Незримые в слепой дали,
Ко мне твои тянулись руки
И через ночь меня вели.

И каждый раз в ночи унылой
Душа как бы рождалась вновь –
И воскресали с новой силой
В ней жизнь, и слезы, и любовь.

И эти чудные мгновенья
Сковали цепь судьбы моей –
И на ее живые звенья
Лег отсвет всех счастливых дней.

И ныне в грустный час заката
Проходит в памяти, как сон,
Что явью вылилось когда-то
Из чаши сказочных времен.

* * *

Ты ушла не разгаданной мною,
В непроглядной рассеялась мгле,
Чистой, как из ключа, красотою
Просияв на угрюмой земле.

Непостижная властная сила
В красоте этой свежей была:
То она до небес возносила,
То почти что ломала крыла...

Я смотрю на твой снимок далекий:
Ты на нем – как в нездешней стране,
А твой взгляд отрешенно-глубокий –
Он не мне предназначен, не мне!

Так в какие ж манящие дали,
Очарованный памятью чьей,
Ждущий чуда и полный печали,
Льется он из прекрасных очей?

Что он хочет постичь в том просторе,
Куда всею душой устремлен?
Что он видит? – Зовущее море
Новых чаяний, новых времен?

Новой жизни пленительной сети?
Новых сердцу желанных огней,
Что вдали так загадочно светят,
Жгучей тайною мучат своей?

Унесла ты ответы с собою...
Но тот взгляд, отрешенный твой вид
Безотчетной, щемящей тоскою
До сих пор мое сердце томит.

Вероника КОВАЛЬ

IDIOOT

...Между тем, автобус вползал на мост. Саныч оборвал свои горькие думы, поскольку до него дошло: скоро поворот, деревня Столбняки, и замаячат на окраине города унылые склады торговых фирм. Мост почему-то соорудили горбатым. Каждый раз, возвращаясь из командировок, Саныч здесь вспоминал Маринку. Лет десять назад она обожала делать мостики, её ручки-спички дрожали, личико страдальчески морщилось. Ему было тогда жаль дочурку.

Кто бы знал, как не хотелось Санычу возвращаться! Снова врать жене? Он ненавидел враньё, но не признаваться же, что в каждую командировку в Заварино он ночевал у завфилиалом Томки. Года три назад она с открытой душой и скатертью-самобранкой впервые встретила его, обратилась почтительно «Александр Александрович», чуть-чуть картавя, что показалось ему очень даже милым, а вечером затащила к себе домой и без всяких прелюдий развалила плюшевую софу. Связь эта тяготила его, софу он называл сексуальным капканом, но вырваться из него не хватало сил.

«Впрочем, – рассуждал Саныч по дороге домой, – жена сама виновата». Впрягла его, как владимирского тяжеловоза, в телегу бытовухи. А он душой рвался ввысь, в эстетику, хоть по профессии был землеустроителем. Учился когда-то в художественной школе, написал акварелью два пейзажа, а натюрморт с пивом и таранькой и сейчас висит в лоджии. Особенно ненавидел Саныч субботнюю базарную каторгу. Для Валерии это было свято, как обет супружеской верности. Она зигзагами металась между прилавками, изучая конъюнктуру, а Саныч с условленной точки должен был следить за передислокацией жены, ориентируясь по неизменной белой юбке – так следит оленёнок за мамашей по её белому пятну под хвостом. Когда Валерия вступала в единоборство с продавцом, выторговывая копейки, он должен был очутиться рядом, завершить финансовую сделку и бережно уложить продукты в плетёную корзину – картошку и овощи вниз, фрукты и яйца – наверх. Несоблюдение правил грозило выговором в виде отказа купить шампанское. Да, такая странная слабинка была у Смирнова. Водку – ни-ни, а стакан шампани – и бодрость духа на весь день.

«Короче, – с тоской думал Саныч, – обрыдло всё: “Варелия”, как он при ссорах обзывал жену, что её злило, выписка кадастровых документов с девяти до тягуче далёких шести (согревали только “левые” бабки за пустяшные услуги), берег турецкий, куда Саныча тащили каждый отпуск,

как на заклание, из-за слабого на лёгкие Вадика, а скорее всего, по прихоти жены, кумовья из села с неизменной утятиной, которую Саныч терпеть не мог. Обрыдли сериалы, футбол по телевизору, скулёж Маринки “у Таньки-то пиджак из бутика”. Обрыдли интернетовские сплетни, вертлявая собачонка, которую дети из-за её карликовости назвали Мультяшей, Тяшей...»

Автобус вдруг натужно взвыл и замер в верхней точке моста, как жук на травинке. Бабы в салоне терпеливо ждали, только чей-то гусь бился в истерике «га-га-га!». Саныч пробрался через баррикаду большегрузных сумок, заглянул в кабину и обалдел. Мотор заглох, а водитель, завалившись на бок, спал. Улыбался во сне и даже всхрапывал. Саныч обложил водилу матом, пытался растормошить. Тот и ухом не повёл. Бабы, почуяв неладное, высыпали на мост, стали толкать мужика куда ни попадя, обливать. Всё напрасно. Саныч оказался посреди визга и криков: «в собес за справкой», «внучку из школы», «га-га-га-га», «работает до трёх», «молоко не продам», «билет в Чернигов», «га-га-га», «последний автобус», «га-га-га»...

– Заткнитесь, дуры! – переорал он толпу и вдруг сообразил, что как единственный мужчина должен что-то предпринять. Но что? Сам он автомобиль не водит. Как назло, на дороге ни одной машины. И гаишники обычно мельтешат, а сейчас никого. Саныч схватил мобильник («кум Вова всё устроит»), но тот, по закону подлости, разрядился. Бабы тоже стали тыкать кнопки в своих мобильниках. Но и у них зарядка кончилась. У всех! Да что за напасть?

С моста, как с капитанского мостика, Смирнов осмотрел окрестности. Снял очки в золотой оправе (тоже маленькая слабость, ему казалось, дорогие очки поднимают его статус). Дальнозоркость в кои-то веки пригодилась. Слева, понятно, километров через двадцать – город. А справа? Вдали, по течению реки, как будто ребёнок рассыпал кубики. Похоже, село. Так, пойти туда, зарядить телефон, сделать обзвон, да наверняка у кого-то из мужиков есть машина.

Саныч начал спускаться с моста к невеликому леску. Бабы хватали его: «не бросай, милок!», сколько он ни кричал, что идёт за подмогой. Он скинул с себя самую настырную, нацепил очки, заправил клетчатую рубаху в брюки и был таков. Подсознательно он отметил, что от города до моста вода в реке клубилась, как грязная пена, а вытекала из-под моста ровным атласным полотном, но значения этому обстоятельству не придал. И напрасно.

Светлый лес звенел голосами неведомых птах, манил россыпью черники, и идти по тропке было так приятно! Ноги несли сами, будто в пузике надули воздушный шарик, и Саныч вроде даже парил, прыгая через узловатые корневища. «Широкошумные дубровы» – это у кого? У Пушкина? Вот бы поселиться одному, чтобы ни одна собака не нашла, в глубине дубровы, в рубленой избушке, спать на сеновале, по утрам пить парное молоко, просто бродить по мягкой рыжей хвое или собирать грибы. Он представил, как аккуратно срезает красавец-боровик, и мягкое тело гриба скрипит. А зимой...

До зимы Смирнов не додумал, потому что в просвете деревьев увидел... Чур меня! Он пытался стряхнуть наваждение, но нет, нет, оно не исчезло. Море! Как разлитое олово, с гребешками волн и солнечными просверками. До горизонта! Откуда? Моря в их краях отродясь не бывало.

Саныч впервые в жизни перекрестился. Но Господь не избавил от лукавого. Больше того, он разглядел на рейде странные баркасы с округлыми бортами с обвисшими парусами. Да что ж такое? Он перевёл взгляд. На берегу увидел белёные каменные строения под красной черепицей. Чуть дальше – вросшую в землю круглую башню с арочным вхо-

дом и узким окном. На окраине махала длинными крыльями дощатая мельница. А неподалёку от него молодая женщина в отороченной рыжим мехом кацавейке, сидя на траве, кормила грудью ребёнка, второй ползал и ел землю. Проковылял старик на деревянной ноге, в длинном кафтане и широкополой шляпе.

Саныча парализовало. Но мозг работал. Может, он запутался во всемирной паутине? Нет, всё вокруг не виртуальное, живое. Мелькнула мысль, что это съёмки фильма. Однако не было стрекочущих камер, не галдела массовка. Напротив, стояла тишина – вязкая, надсадная. Потом Саныч вспомнил, что где-то видел эту местность. Где? Да, на картине – как его? Ян ван... Ван дер... Ох, у всех голландцев семнадцатого века одно и то же: море, домишки, мельницы, коровы, зимой мальчишки на коньках... Только на том пейзаже берег был равнинный, а здесь вдали вздымались уступы скал.

Страшно стало Смирнову, бросился он назад, в чащу. Однако тропинка исчезла. Он кидался от дерева к дереву, но получалось, что он играет сам с собой в прятки. Кто-то схватил его за ногу. Он чертыхнулся и перелетал через скрученный корень. Драгоценные очки – вдребезги! Всё ближнее заволокло дымкой. Опять полез в голову Пушкин: «рассудок мой изнемогает». Нет, надо брать себя в руки. Должно же быть рациональное объяснение!

Саныч взял за ориентир дом с пристройкой посреди селения и бодро затопал туда.

Мужики, видно, долго и хорошо сидели. В дымной прокуренной комнате Саныч еле их разглядел на лавках за грубо сколоченным столом. Кряжистые, задубелые, бородатые, в чёрных куртках, штанах до колен, белых чулках и башмаках с пряжками. Они тянули из глиняных кружек, судя по кисловатому запаху, пиво. Кто-то пыхтел трубкой с длинным белым мундштуком, кто-то гнусаво выводил песню, двое, сцепившись руками, занимались арм-реслингом. Один вообще валялся в отключке возле бочки с пивом.

Саныча гуляки заметили только у стола. Уставились на него пустыми глазами, стали переговариваться, потом враз дико захохотали. В этой тарабарщине он слышал отдельные слова, похожие на английские, и очень обрадовался – «спик ингиш?». Нет, не понимают.

Один из мужиков, видно, самый смекалистый или трезвый, или главный, подошёл к пришлому и стал разглядывать его в упор. Да, неказисто тот выглядел в сравнении с аборигенами – белокожий, сутулый, с худыми руками. Смекалистый, хохоча, дёрнул за длинную прядь, которой он маскировал лысину, хлопнул по плечу, так что тот присел, вытолкнул из горла: «Абрахам». Саныч понял, что тот представился, выпрямился, расправил плечи, чтобы обрести достойный вид, достал мобильник и тоже представился: «Александр Александрович Смирнов, инспектор. Где тут телефон зарядить?». Ответом был новый взрыв хохота. Абрахам вырвал мобильник, поразглядывал, бросил в бочку с пивом и, отирая слёзы смеха, выразительно покрутил пальцем у виска: «Idioot!». Саныч опять обрадовался знакомому слову. Было понятно, что сказано это не презрительно, а – как бы выразиться? – снисходительно-дружелюбно. «Идиоот» – у них, видно, что-то вроде блаженного, несчастненького. Похоже, можно рассчитывать на толерантное отношение.

Абрахам раздвинул выпивох, усадил его за стол. Откуда ни возьмись, явилась пенная кружка, сушёная рыбка с налётом соли. Саныч пытался сказать, что он не по пиву, ему бы хлебца, но его заглушили криками. Началась разборка между парнями, их кинулись разнимать, кто-то в сутолоке заехал гостю по физиономии. Тогда новый друг обхватил его за плечи, повёл к пристройке и втолкнул туда. Саныч мотал головой – «спик инглиш», но тот скривился и пошёл прочь, по-медвежьи косолапя.

В пристройке было на удивление уютно. Тканые половики, расстеленная на широкой лавке чистая постель... Сливочного цвета стены пахли свежим деревом. Над столом висел

натюрморт с черепом. «Ванитас», – вспомнил Саныч название этого жанра, любимого художниками в XVII веке. Череп символизировал, как помнилось, тщетность человеческой суеты и роковую неизбежность. Висели ещё картинки, но Саныч так намаялся, что, хоть в животе бурчало с голодухи, сразу рухнул на постель и провалился в сон.

Пробудился он, когда солнце уже разгулялось в бездонном небе, в удивительно приятном расположении духа. Постепенно всплывало вчерашнее, но в забавном контексте – как приключение, которое, конечно, завершится благополучно. Больше того, Санычу захотелось побыть в этом странном мире с недельку. Он даже со злорадством представил, как «Варелия» заходится в рыданиях – такого мужа потеряла!

Дверь со скрипом отворилась. Неприметная женщина в буром платье, крест-накрест перехваченном белым платком с кистями, опустив глаза, молча поставила фаянсовое блюдо с куском холодного мяса, кувшином молока и хлебом. У Саныча слюнки потекли. Женщина направилась к двери, но вдруг обернулась, бросила на него лукавый взгляд и – была такова. Он даже приосанился – значит, как мужчина ещё котируется!

После того, как Смирнов, урча от наслаждения, обглодал кость, вломился хмурый, весь в курчавой бороде мужик, пробормотал «Якоб», бросил Санычу робу и башмаки, потом повёл на берег. Порывистый норд-ост трепал паруса баркаса, на котором их ждал Абрахам сотоварищи. На палубе лежали свёрнутые сети. Предстоял, очевидно, большой трудовой день. «Werk!», – крикнул Абрахам. «Ещё чего, – подумал Саныч, – чтобы я вкалывал? Гостей веркать не заставляют». Как только баркас закачало на волнах, он принялся часто дышать и делать вид, что его вот-вот вывернет наизнанку. Команда смотрела на приблудного мужичонку не то с сочувствием, не то с осуждением. Абрахам покачал головой, жалостно вымолвил «idioot» и отвёл в каюту. Саныч болтался там в своё удовольствие до возвращения на берег.

За несколько дней Смирнова испытали как грузчика на мельнице, как вязальщика сетей, ставили на разделку «harring» – сельди, но он всячески демонстрировал, что его статусу физические нагрузки противопоказаны. Тогда его отрядили пасти стадо из девяти овец. Наверняка хоть чем-то решили занять idioota. Прямо скажем, werk была – не бей лежачего. Саныч действительно лежал под корявым дубом, только время от времени пересчитывал подопечных. К тому же, ему придали собаку неизвестной породы, белую с ржавыми пятнами, та не давала глупым овцам ни шагу шагнуть в лес. «Сбылась мечта идиота», – подумал Саныч и рассмеялся своей остроте.

Ничегонеделанье, вид на море, щебетанье птиц располагали землеустроителя к философствованию. Но временами смутно бродил в мозгу вопрос: что же произошло? Он пытался нанизать события того дня на какую-то логическую нить, но она то и дело обрывалась. Летаргический сон водилы, враз севшие мобильники, отсутствие машин на людной трассе. И необъяснимое изменение реки. Похоже, под мостом произошёл какой-то тектонический сдвиг. Эта версия его устраивала. В оправдание себе он говорил, что лес не выпускает, что поделать? Но ему особо и не хотелось. Здесь хорошо. Превосходно!

Саныч не знал, что может быть ещё лучше.

В одно нежнейшее голубое утро в его пристройке возникла процессия во главе с чёрным, как головешка, пастором. Слева от него переминался с ноги на ногу хмурый Якоб с блондинкой в белом платье. Пастор подвёл её к растерявшемуся Смирнову, надел обоим на пальцы оловянные кольца, связал их руки белой ленточкой, перекрестил и долго-долго упражнялся в красноречии, почему-то грозя брачующимся пальцем. Время от времени Саныч разбирал: «Idioot», «Anna». Как только пастор умолк, включила рыдания мать не-

весты. А она сама взирала на суженого романтически зашоренным взглядом. Он же подумал: почему бы и нет? Двоежёнцем он тут не прослывёт!

Славную жену послал Господь Смирнову. Куда до неё командирше Валерии! Анна не то что исполняла – угадывала его желания. Как она ухитрялась подавать еду с пылу с жару? Как будто у неё микроволновка в кустах! А еда была сказочная для настоящего мужчины: мясо – копчёное, варёное, жареное, тушёное, запеченное, рыба – свежая, солёная, вяленая, копченая, фаршированная... А бодрящий кофе в постель! А уж про желания мужские и говорить не приходится. На церемонии Саныч невесту не разглядел, поскольку вблизи вообще ничего не видел, а ночью, наощупь... К тому же, тесть вскоре отдал ему свою кое-как отшлифованную линзу. Да, вознаградила его судьба за муки прежней жизни!

Анна понемногу учила Сани, как она его называла, своему языку. Кое-что было похоже на английский и даже на русский. «zee» – море, «бир» – пиво, «brood» – хлеб, «tështa» – тёща, «ship» – корабль, «water» – вода. Но другие слова он никак не мог произнести и запомнить.

В таком раю душа рвалась творить! Саныч знаками объяснил жене, что ему нужно. Она радостно замахала руками, убежала, вернулась с листами прекрасной рисовой бумаги и углем. Он усадил Анну в кофте с оборками возле окна, чтобы на неё лился мягкий свет, распустил ей русые волосы и дал мельничку для кофе. Рисунок получился – хоть на выставку.

Анна гордилась своим удивительным, необыкновенным «echtgenoor» и каждый вечер вытаскивала его на прогулку вдоль каменистого берега – местный бродвей. Просила обязательно надеть клетчатую рубашку. На неё дивились все: ткань в клетку они ещё не придумали.

Смирнов потерял счёт дням. Он буквально купался в блаженстве.

Но однажды казус вышел.

Во сне пришла к нему собачка Тяша. Тонкие, как веточки, лапки дрожат. Переднюю она согнула и вроде дать ему хочет, как её Вадик приучил. Саныч заставил себя проснуться, забыть сон. Далась ему эта собаченция!

Но что-то в нём надломилось.

Через несколько ночей Тяша привела Вадика. Точнее, они бегали по завалам сухих кленовых листьев, такие радостные, что Саныч был раздосадован: отец пропал, а сын веселится. От досады и проснулся.

Потом уже не во сне, а посреди философских раздумий всплыла вдруг улыбка жены. На эту дразнящую улыбку и ямочку на подбородке он и клюнул в юности. В принципе, подумал он, Валерия не такая уж плохая. А что его впрягла – так она сама ещё тяжелей воз тянет. А Маринка, поди, уже замуж намылилась.

И началось! Всё мужику стало немило. От паршивых овец тянуло пылью. Фрау в одинаковых чепцах, как в капустных листьях, совсем достали манерным обхождением. Соседские близнецы Корнелиус и Хендрик заехали ему в лоб тряпичным мячом – это можно вытерпеть? И вообще – на фиг экологически чистую еду! До смерти захотелось экологически грязной – какой-нибудь уличной шаурмы.

Досаду он вымещал на ни в чём не повинной Анне. Однажды за обедом крикнул: «Осточертел твой окорок!», – и швырнул его в жену. Та взвизгнула, мышью юркнула за дверь. Санычу стало стыдно. Он заготовил извинения, но вместо неё вкатилась, как на колёсах, tështa. Она молча нанесла зятю увесистым кулаком klap в солнечное сплетение и так же молча выкатилась.

И Смирнов заплакал. Не от боли. Не от обиды. А от того, каким идиотом в самом русском смысле этого слова он оказался. Конечно, семья – ещё тот груз, жена вечно бурчит, дети в противном переходном возрасте, денег всегда мало, но оно же своё, кровное, к сердцу прикипевшее. Ну кто, скажите, поведёт к венцу Маринку, безотцовщину?

Плакал Саныч долго, не вытирая слёз, раскачиваясь, по-бабьи завывая. А сердце колотилось мелко-мелко.

Анна вернулась заполночь. Его слёзы она приняла за раскаяние, что-то нежно шептала на ухо. Он пытался её приголубить, но: в голове стучало: бежать!

Говорят, стучи и откроется. Саныч додумался: привести его обратно в мир может река. Где-то она впадает в это проклятое zee!

Назавтра он бросил овец и, таясь, пошёл вдоль берега искать место впадения. Обнаружил и так обрадовался! Оказалось – довольно далеко, но это Саныча не смутило. Он придумал план побега. Отличная лодка – у его соседа Адама. Её надо конфисковать во имя благородной цели – свободы личности. Никто здесь лодки не приковывал к причалу, так что проблем не будет. Только бы руки выдержали, плыть-то придётся долго – сначала по заливу, потом по реке против течения. Да, воды взять. Больше ничего.

Туманным утром, под крики оголтелых петухов Саныч околотками пробрался к приглянувшейся лодке. Отвязал её, толкнул и перевалился через борт. Нос лодки мягко разрезал спокойную гладь. Грести было нетрудно, даже приятно.

Беглец уже глотнул глоток свободы, как вдруг вздыбившаяся волна накрыла его, накатила ещё раз и утащила лодку в открытое море.

Когда Саныч всецело осознал своё положение, на него снизошла простая, как ломоть хлеба, истина – цени, что имеешь. Не сумел – плати по счетам. Тогда он лёг на дно и уставился в безучастно спокойное небо. Плыли облака, как стада ленивых овец. Он принялся считать их. Досчитал до семнадцати и сбился.

Евгений КУЗЬМИН

ПОЛЁТ НА ВЕНЕРУ

Музыка объединяет, а единство обогащает, а богатство делает нас состоятельнее, а состоятельность – основа благосостояния, а единство блага и состояния – сродни преумноженному благу... – говорил серьёзно выпивший сосед по кофейному столику. Он ещё долго продолжал, но я быстро потерял нить его рассуждений, а с ней и интерес к оратору.

Я ушёл в кафе ради тишины, словно в пустыню, как древний искатель истины. Но от лени не убежишь. И бредёшь по пустыне, стараясь не всматриваться в надоевшие виды. Где же демоны, с которыми можно сразиться? Всё же я заглянул в конспект. Бывает такое, вроде и интересно, а мочи на это больше нет. Вот не хочется это зубрить. Какой-то кризис – стопор. Любая деталь там ясна и конечна, а хочется провала за границу обыденного, которое никак не охватить... и зачем же оно тогда нужно? Но душа просит. А здесь лишь будни. Экзамен. Нужно готовиться. К худшему. Однако, мысли имеют свойство формировать материю. Человек вполне способен при определённом образе жизни установить свою власть над элементами, над материей. Но трудно хранить верность такой организации своих действий. И непонятно почему. Вроде всё ясно, но хочется оступиться. Мечтается превыше всего на свете. Иногда лучше упасть в бездну, чем царствовать.

Так или иначе, дверь открылась и в облюбованное студентами исторического факультета кафе «Зося» вместе с порывом свежести с заснеженной улицы вошёл человек, имеющий довольно типичный облик позднесоветского народного интеллигента, эрудированного... точнее даже, знающего всё в пределах стандартного круга чтения советского (включая и антисоветского) человека, умеющего ярко говорить неожиданные вещи, но без привычки фиксировать их на бумаге, – и зачем? Такие – украшение любого интерьера. Без претензии на должность, без карьерных амбиций. Ну и какие амбиции могут быть в данном месте в данное время?

Я ожидал какого-то яркого заявления, формально адресованного кому-то в противоположном конце зала, так чтобы все услышали и подивились мудрости этого человека, – какая-то очень уместная цитата из русской классики или из книги по античной философии. Но нет. Вошедший персонаж как-то внутренне сжался, сделавшись невидимым. Такое бывает. Человек способен скрыться без всякой шапки-невидимки. Так и работают всякие магические средства, делающими невидимыми, – человек

не привлекает внимания. Совершенно. Люди смотрят сквозь него. Но я заметил этого человека в момент появления. От меня он не скрылся. Он, возможно, это почувствовал, – новый посетитель скользнул за мой столик на уже освобождённое оратором место, – тот заторопился по каким-то несомненно неотложным делам.

Между тем, человек сел и внимательно посмотрел на меня и с улыбкой заметил:

– Лень зубрить?

– Я тщетно надеялся, что здесь кафе, а не цирк и случайные собеседники не пытаются читать чужие мысли.

– О, ну что вы? Я не тщусь. Как можно прочитать то, чего нет?

– Это комплимент?

– Я не о вас... Мысли скользят, бегут, быстро сменяя друг друга. Как можно ухватить этот невнятный поток? И психоанализ – лженаука, замена инквизиции. Слишком многим необходимо обоснование для приписывания человеку своих мыслей. А тут всегда допустимо врать про подсознательное или бессознательное, утверждать, что кто-то думает что-то такое, о чём сам и не догадывается, но где-то бесконечно глубоко. Это несомненная форма интеллектуального насилия.

– Любопытно, – я был возмущён и счастлив одновременно. Я за ночь прочёл работу Фрейда про фобии у пятилетних детей. К счастью, я достал заветную книгу в уродливом картоном переплёте. Все о ней только и говорили. И даже антропософы толковали сны «по Фрейду». То есть рассуждали о пустой чепухе, создавали словесную завесу, говорили о каких-то внутренних чувствах, бессознательном, неосознанных интенциях. О самом Фрейде тогда мало знали. Его успели прочитать не столь уж и многие. Между тем, первый вещий сон я увидел в далёком детстве. Мне привиделось, что я лажу с детьми по каким-то крышам. И действительно, на следующий день я лазил с этими самыми детьми по тем самым крышам. Потом я увлекался хождением по катакомбам. Но в ночь перед спуском всегда уже видел всё наперед. Так что слова собеседника меня обрадовали, – я всегда знал! И одновременно огорчили, – как можно! Фрейд – великий человек! Я сразу этого не понял, но потом осознал, что запрет советских властей на какого-то мыслителя был для меня как «знак качества», подтверждал несомненную значимость идей этого человека.

– Но я не об этом, есть вещь, которую я случайно узнал. Мне необходимо с кем-то поделиться. А вы всё равно пытаетесь уклониться от необходимого. Лучше уж послушайте историю.

И он поведал мне следующее.

Я приторговываю на книжном рынке. Но я не из тех, кто привозит банальную фантастику или детективы из Кишинёва. Я мотаюсь в Москву за разными любопытными вещицами. И дело не только в деньгах. Сами эти поездки... Да. В прежние времена я очень их любил. Я бы и сегодня съездил. Хотя теперь всё немного иначе, сложнее. Старый мир рушится. До основанья. Хотя нет уже никаких оснований. Ни для чего. Останется ли в нашем мире что-то, кроме колбасы? Впрочем, и её будущее туманно. Останется ли в нашем мире что-то, кроме кукурузы? А в Москве собиралась интеллигенция, творческие люди со всего Советского Союза. Я бы даже сказал, лучшие представители интеллигенции, наиболее интересные творцы. Однажды я устроился дворником, – я был там единственным работником с незаконченным высшим образованием. Помню сменщика-академика... Так вот. Благодаря многочисленным полезным знакомствам я получил возможность доставать малотиражные книги для узкого служебного пользования, фактически секретные книги. Однажды, забирая печатную литературу такого рода, уже на излёте СССР, я разговорился со своим поставщиком, – имя и должность, разумеется, назвать не могу, – а

он: «Не потерять бы космические наработки со всеми этими последними невнятными политическими преобразованиями...». Как так? У него неприятности на работе и в семье, а он норовит уйти в космос? Честный отважный человек так не должен поступать. Но кто я такой, чтобы его судить. И я заметил:

– Я бы и сам улетел на другую планету. Так все надоело... эх.

– А ведь до этого оставался всего один шаг.

– Да ладно. Это американцы шесть раз побывали на Луне. У нас же недобитые учёные – вымирающий вид.

– Ты ничего не знаешь. Пока американцы высаживались на Луне, Родина не дремала. Разведка всё передавала. Мы были в курсе всех вражеских технологий. Ты считаешь это воровством? Нет же! Речь о будущем всего человечества. Лишь кажется, что русские крали у американцев. На самом деле, человечество заимствовало у человечества ради общего блага. Невозможно ведь обворовать самого себя. Противостояние – это как спорт. Важно победить. А выигрывают все. И вот, ты ведь знаешь, что пока американцы летали на Луну и исследовали Марс, СССР сконцентрировался на Венере. Но помимо всем известной деятельности, существовала и сугубо засекреченная программа. Её тщательно скрывали, о ней не рапортовали в газетах, лишь узкий круг посвящённых втайне творил историю. Мы планировали освоить голубую планету, построить на ней военную базу, а может и отправить туда диссидентов под видом астронавтов, пусть там сражаются с тяжёлыми условиями, – их и развелось много, потому что нет настоящих тяжёлых дел. Да, американцы, кстати. Увлечённость Рейгана звёздными войнами неслучайна. В какой-то момент американцы всё разнюхали и, поздно спохватившись, завертелись, как ужи на сковородках.

Я принюхался. В самом деле, от собеседника пахло спиртом, но лишь слегка. Человек вызывал доверие, в целом. Старый интеллигент, выпускник МГУ, родственник одного видного старого большевика. Но какой бред! Впрочем... Только тот, кто думает, додумывается до всякой ерунды. Мир простых людей, я полагаю, рациональнее мира интеллектуалов. Такой, вот, парадокс. И сам человек, который, якобы, разумный... Не отставшая ли мы в развитии, слабоумная обезьяна. И уж точно не сошедшая с ума, как полагал Ницше. Человек – именно мартышка-имбецил. Обезьяны и вообще животные развиваются, взрослеют быстро, а человек медленно. Ибо туп. Но, несмотря на все эти мысли, я для приличия поинтересовался.

– И что ж, кого-то отправили на Венеру?

– Да, конечно! Понимаешь ли! Отправили двух мужчин и одну женщину. Возвращения не предполагалось. Это слишком сложно и дорого. А эксперимент и состоял в том, смогут ли советские люди выжить в условиях Венеры, эволюционируют ли, приспособятся ли их организмы. Разнополых людей отправили, дабы они могли размножаться, плодиться и заселять Венеру, то есть, пара – для размножения, а третий из органов, он должен был за ними приглядывать, чтобы всё было по правилам и без фокусов.

– И приспособились?

– Вот непонятно. Они слетали на Венеру. А тут умер Андропов и космонавты как-то сами что-то наладили у себя и сумели вернуться на Землю.

– А что ж они не рассказывают о своих приключениях?

– Один мужчина и одна женщина погибли при довольно странных обстоятельствах вскоре после возвращения на Землю. Второй же мужчина – парень из органов, который при них состоял. Его перевели к вам в Одессу. Скоро такие понадобятся родине.

– И я могу получить адресок?

– Знаешь, чёрт с ним, я напишу тебе адрес. Хотя на какую сделку с совестью иду! Я считаю, космос – это сегодня главное для человечества. Другое пусть останется в прошлом. Ради освоения других миров я готов пожертвовать всем.

И здесь повествование вдруг оборвалось. Мой собеседник в одесском кафе «Зося» пристально глядел на меня, создавая театральную паузу, – ах уж эта любовь к кривляниям простых завсегдатаев одесских кафе! Я же ждал смиренно продолжения. Пауза затягивалась. Я сдался первым, в какой-то момент не выдержал:

– Зачем же вы взяли адрес? Вы поверили в весь этот фантастический бред об освоении Венеры?

– Я не верил, но хотел верить. Лучше уж быть одураченным, чем привязаться к обыденности, к рутине.

– И что же? Вы нашли советского покорителя Венеры?

– Да. Нашёл. Нашёл!

– В Одессе?

– Да, он живёт возле Пересыпского моста, в довольно грязном дворе, в неопрятной маленькой квартирке на ул. Богатова.

– Он живёт один?

– Нет. С крысами и тараканами... Я долго откладывал визит. Смущался, кто я такой, чтобы общаться с покорителем космоса? А тут ещё и чекист. Кто знает, какие последствия для меня, – вы просто посмотрите на меня, – могла бы иметь подобная встреча! Но в какой-то момент любопытство перевесило всё. Я нашёл место, указанное знакомым. Звонок не работал – торчали перерезанные провода. Я робко постучал в дверь. Мне открыл давно не мытый, похожий на половую тряпку толстый тип в семейных трусах. Я с удивлением поинтересовался его именем, – это был он! Выяснилось, что он давно спился и не способен вспомнить полёта на Венеру. Самого факта не припоминает, не знает было или не было. Сегодня его почти исключительно беспокоят цены на водку и портвейн. А голова его давно не функционирует.

– Может, просто притворяется... Конспирация. Скрывается, прячется, так сказать, в дерьме, на болотах?

– Да уж. Хотя, не знаю. Но в голове вдруг блеснуло, он – воистину человек будущего. Но вполне и из прошлого. Традиция – это важно. И она сохранена.

– Без прошлого нет будущего. Конечно. Нет ничего хорошего в утрате преемственности.

Татьяна ОРБАТОВА

НА ГРАНИЦЕ ЭХА

1.

Дудук пел о чём-то знакомом, с грустью, нежностью и легко. Он звучал пронзительно, несмотря на слабый динамик моего мобильника. Я сидела на облущенном топчане, подставив лицо тёплому, весеннему ветру. Неподалёку расположилась юная художница с мольбертом. Она поглядывала на изящные, полупрозрачные облака, на слегка волнующееся море, но рисовала солнечный диск, превращая его в привычный элемент небосвода. Девушка была поглощена преобразованием красок в световые пятна, никого вокруг не замечая.

«Искусство – это отточенная иллюзия, гиперболическое зеркало» – мелькнула в памяти фраза Жана Бодрийяра. В голове тотчас закопошились, замельтешили мысли, доказывая что-то, одновременно опровергая. Их болтовня даже на фоне весенней оживлённости природы показалась мне настоящим ором. Чтобы успокоить мысли, я закрыла глаза, направляя внимание на звуки музыки. Утишить себя не удалось – вспомнилось предрождественское утро в Аркадии. В тот день было по-весеннему тепло. Моя маленькая пуделиха рвалась с поводка, я едва поспевала за ней. На центральном пляже лежал красивый парень в камуфляжной одежде. Он небрежно развалился возле лестницы – на бетонной плите, засыпанной песком, – отдавая всего себя солнечным лучам. Волевое лицо с рыжеватой бородкой и усами. Настоящий богатырь из сказки. Рядом с ним валялся протез, почти новый. Подвернув штанину, парень выставил наружу то, что осталось от правой ноги. Он так и лежал – помахивал голой культей, как собака хвостом, слегка улыбаясь. Несмотря на явные признаки жизни, он был похож на мертвеца.

Незримый живописец максимально точно прописал все детали этой картины, страшной по своей сути, прочно засевшей в моей памяти. Гиперболическое зеркало... Бодрийяр был убеждён, что трудно говорить о живописи, поскольку сегодня очень трудно её видеть – «... в большинстве случаев современная живопись стремится вовсе не к тому, чтобы её созерцали, но к тому, чтобы её потребляли...».

Созерцание... Для многих современных людей – это ненужная, непонятная блажь. Время скоростей, коротких текстов, сленга, караоке, гибридных войн и головокружительного хаоса...

Внезапно я почувствовала на себе чью-то тень. Открыв глаза, увидела незнакомца.

– Нравится дудук? Люблю его голос, – сообщил он.

Лёгкое раздражение качнулось во мне. Зачем он подошёл? Зачем заговорил? Внимательно взглянула на него. Солнечный свет не позволял рассмотреть лицо.

– Не любишь говорить?

Мне показалось, он усмехнулся.

– Молчать нравится больше. Но...

– Но?

– Иногда болтаю без умолку.

– Прости моё любопытство, о чём ты обычно молчишь?

– О себе.

– А о чём иногда болтаешь?

– О себе.

Незнакомец рассмеялся, бесцеремонно усевшись на топчан рядом со мной. Наконец я могла рассмотреть его – весьма пожилой, с длинной, кустистой бородой и пышными усами, в бордовой, прикрывающей макушку шапочке с узором по краю, в мешковатом лёгком пальто.

– Ты кто? – поинтересовался он у меня с нарочитой строгостью.

– Смотря где и когда... – ответила я уклончиво.

Он по-доброму рассмеялся и шутливо представился:

– А я – собиратель ножей. Везде и всегда.

Только этого мне не хватало! Первое, что пришло тогда в голову.

2.

...В моих руках была большая увесистая чаша – старинная, на низкой ножке, вероятно, золотая, с красно-зелёным орнаментом. Напротив меня стояла женщина с бледным, почти восковым лицом.

– Для чего она предназначена? – полюбопытствовала я.

Неожиданно незнакомка притронулась ледяной ладонью к моему лбу.

– Вокруг неё танцуют. Ты ещё тёплая, сможешь. Но танцевать надо не глядя на чашу. Ни одного взгляда. Так, словно её нет.

Сложная задача, если ты держишь вещь в руках, рассматривая её столько времени. С этой мыслью я проснулась. Как танцевать вокруг чаши и не видеть её, если она на виду, а я – не слепая? Ещё тёплая. То есть живая?.. Ум пытался найти рациональное объяснение ночному видению и нашёл. Собиратель ножей! Вспоминая наш разговор, удивилась тому, что можно назвать лишь случайным стечением обстоятельств.

– Говорят, если из чаши пророка Мухаммеда выпьют кровные враги, они непременно примирятся. Поэтому она называется чашей примирения, – сообщил собиратель ножей.

– Вы пробовали?

Незнакомец помедлил с ответом.

– Мои враги – известный политический режим и диктатура власти. С ними из чаши не выпьешь.

– Не надо о политике! Не сегодня, – хотела ответить незнакомцу, но промолчала.

Говорить о ней, значит, открыть своё сердце для боли, а мне бы унять свою боль, обострившуюся снова.

...Меня всегда удивляли люди, рассуждавшие о политике, как о неком абстрактном понятии, словно это что-то вроде суахили для ещё не родившихся инопланетян. Для меня она была живой, многоликой, безжалостной, а разговоры о диктатуре власти вызыва-

ли ощущение холодной бездны, разверзшейся внутри меня. Иногда бездна была почти неощутимой, но даже в периоды мнимого покоя я знала – в медленном вращении её воронки нет ничего, что способно остановить холод от соприкосновения с памятью предков, обращавшихся ко мне из темноты моего подсознания, заполнявших мои сны и предчувствия своими воспоминаниями и почти угасшими голосами.

– Если ты не мёртв, можешь рассказать историю своего рода... Беда в том, что многим нечего рассказывать... Если не приукрашивать. Но нет ничего правдивей голого факта.

Казалось, собиратель ножей говорил сам с собой. Он теребил бороду, взбивал её, подкручивал усы и поправлял шапочку.

– Что скажешь? – мельком глянул он на меня и перевёл взгляд в сторону юной художницы.

– У любого события своя предыстория. Но со временем остаются интерпретации.

Моих ораторских способностей хватило всего на несколько фраз. Много говорить не хотелось, и сходу не рассказать о наблюдениях и мыслях, накопленных за долгие годы.

Я любила слушать рассказы о жизни. Но чем больше слушала, тем более противоречивые чувства испытывала – рассказы разные, но похожи. Люди задаются одинаковыми вопросами, болеют, страдают, боятся смерти, говорят о мечтах, намерениях, прошлом и будущем. Чаще всего – ежедневная говорильня о еде, заботах и деньгах. О страсти и любви.

Обыденная реальность казалась мне проходной, похожей на карандашные наброски. Другое дело – истории рода, где зачастую даже самый скромный по своим достижениям человек обретал вес в связке со своими предками, прошедшими через трагические события, значимые для страны и народа. Когда давние времена и судьбы отражаются в современных людях и событиях, происходят странные метаморфозы – разрозненные, будничные наброски выстраиваются в причудливые, осмысленные сюжеты. Но где осуществляется эта алхимическая реакция и возникает иллюзия золота? Где крепнет тесная связь между духами предков и единым духом, объединяющим все времена от самого первого впечатления пращура до мимолётной мысли современника? – В человеческом, творческом уме, порой жаждущем развёрнутого полнокровного сюжета больше, чем самой жизни. Но сколько реальных семей навсегда сгинуло, не оставив после себя маломальской летописи... Сколько их по сей день в забвении...

– К чёрту солнце и облака! – кричала юная художница в телефон. – Вокруг жизнь, а я занимаюсь тупым малеванием.

Мой собеседник резко поднялся с топчана и направился к ней. Он что-то сказал девушке и вытащил деньги из кармана пальто. Она посмотрела на незнакомца сначала с изумлением, потом с радостной улыбкой и отдала ему незаконченную картину, не взяв денег. Художница ушла, а собиратель ножей снова уселся рядом со мной.

– Этой красоте и человека не надо, – рассматривая картину, пробормотал он. – Девочка хорошо нарисовала солнечный свет... Я добавил бы тень художницы... Ты вписала бы сюда что-то?

Я взглянула на картину. Кроме пустынного берега, солнечного круга и редких облаков на ней ничего не было.

– Кого-то... Мою бабушку Нину, мамину маму... когда она была маленькой...

– Почему её?

– В её семье было двенадцать детей... Жили бедно. Спасала кормилица – корова. За неё отца и раскулачили. «Добрые люди» настучали, что семья живёт богато... До самой смерти бабушка помнила то тёплое, солнечное утро... и облака, похожие на паутинки. Она глядела вслед уезжающим подводам. На одной из них сидел её отец, на других – такие же,

как он, «кулаки»... Она не знала, что видит их в последний раз, лишь глядела, как они растворяются в солнечном свете... Вскоре умерла мама, детишек раздали родственникам...

– Дети выжили?

– Большинство умерло голодной смертью... Очередные «добрые люди», ссылаясь на политику государства, вывезли все запасы зерна из сёл... Много селян полегло. Из двенадцати братьев и сестёр выжили четверо... Трое самых старших и Нина...

Старик тяжело вздохнул.

– Мне было около четырёх лет, когда я предал друга. Он взял нож из дома, семейную реликвию, чтобы показать мне. Взял на время, потому что знал о моём интересе к старинному оружию. А я... сильно позавидовал и... сообщил его деду... Настучал, что его внук взял нож без спроса... Узнав о моём поступке, мой дед несколько дней не разговаривал со мной, потом посадил перед собой и сказал всего одну фразу: «Аслан, за своё зло лишь человек в ответе...». Позже я понял – в каждом человеке глубоко сидит зло, а доброта, как и сострадание, – великий талант, не у всех есть... Но вот что... с тех пор, как я предал друга, нахожу ножи. Кухонные и перочинные. Бывает, нахожу там, где, казалось, не ступала нога человека... У меня их сто шестьдесят один...

3.

...Чем измеряется время, когда наступивший день уходит из-под ног?

Иногда слова выстраиваются парадоксально. Кажется, что-то в них неправильно сложилось, должно быть иначе. Но когда внезапно приходит тот день, понимаешь – он наступил. Есть почва под ногами и тикающий звук часов, но ты, словно в безвременье, завис на невидимой дыбе. Его не спутать с другими днями, и нет ему отмены. Надо пережить... Помню, в детстве услышала причудливую фразу «где мера, там и вера». Крутилась она в голове недолго, казалась непонятной, крутилась и заснула. Но когда наступил тот день, она проснулась.

– Ты верь во что-то своё. Или придумай. Но там обязательно должна быть красота. Помнишь, она спасает? – сын глядел на меня откуда-то издалека и улыбался.

Сон прервался, осталось ощущение присутствия сына и мысли о красоте. Но в чём она, если даже в самом мирном пейзаже всегда скрыта угроза для какого-нибудь существа. Пищевая цепочка – неотъемлемая часть жизни. Всегда кто-то ест кого-то на красивом фоне парка, леса, морского берега. В борьбе за существование больше уродства, чем великолепия. Красота природы запечатлевается в человеческом уме лишь в момент безопасного созерцания. Но если и существует красота, не замутнённая страхом смерти, то она призрачная, искусственная. Она – иная мерность бытия, вечность нашего сознания. Красота духа, проявленная вопреки действительности, идущая через века, иногда глядящая с полотен художников, будоражащая сердце музыкальными композициями, воодушевляющая и возвеличивающая литературных героев.

– Давным-давно я находился при смерти. Врач рассказал мне историю Анри Матисса. Однажды тот оказался в больнице с приступом аппендицита. После операции его мать принесла принадлежности для рисования, чтобы чем-то занять своего Анри. Тогда он впервые попробовал рисовать... Врач и мне принёс карандаши и бумагу... Но я боялся рисовать людей... Рисовал орнаменты, узоры. Они казались мне по-настоящему красивыми... Врач дядя Миша... Михаил Львович... Он был добрым... Из репрессированных, – Аслан негромко рассказывал о себе, но будто заглядывал в мою душу.

*

– Сашка, налей воды, – в дом зашёл мужчина в военной форме.

– Не Сашка я. Моё имя – Аслан, – в который раз повторил мальчик.

– Имя непростое... Ты на сынка моего похож... На Сашку. Ему тоже пятый годок пошёл...

Он не мог вспомнить имени военного, жившего несколько месяцев в их доме. Дед говорил, что постоялец служит в НКВД. Но Аслан на всю жизнь запомнил резкий запах табака, которым насквозь пропитался мужчина, и его глаза – яркие, похожие на весеннее небо.

Деда звали Зока, маму – Айна, имя отца он забыл. В памяти остались слова мамы «отец воюет, но обязательно вернётся....». Когда закончилось детство Аслана? Когда на его глазах убили деда, за то, что тот не хотел покидать родную землю. Вскоре в холодном вагоне умерла мама. Её тело вынесли на неизвестной железнодорожной станции и положили в снег рядом с телами других умерших. Похоронить мёртвых не позволили. Сколько длилась дорога, он не помнил, от всего пережитого у него начался сильный жар. Очнулся в больнице, после выздоровления его отправили в детский дом. Так маленький чеченец Аслан оказался в Казахстане. Когда спросили, как его фамилия, он запутался – Вахаев или Вайнахов. Слишком строгими были вокруг взрослые, слишком чужими. С мальчиком долго не церемонились – придумали другую фамилию, заодно сменили имя и отчество. По иронии судьбы теперь его звали Александром.

Со временем счастливое прошлое виделось ему коротким сном. Но оставались отрывистые воспоминания и несколько важных жизненных правил, которые он старался выполнять. Дед учил его быть аккуратным в одежде и всегда поддерживать чистоту тела.

– Не смейся без причины и не повышай голос... Если ты остался один в комнате, не делай того, чего не делаешь при людях. Не забывай, Аллах всегда наблюдает за человеком, – говорил Зока.

Аслан помнил своё настоящее имя, несмотря на то, что теперь все звали его Сашкой. Имя было его защитой от ошеломившей реальности. Когда кто-то из воспитателей и учителей окликал его, он не реагировал или представлялся Асланом, словно бросал вызов самой системе, навязавшей ему чуждую действительность. Нередко за это били – старшие ребята, тоже сироты, не из депортированных. Позже он понял – они били не потому, что им было важно, как его зовут, просто они нашли повод, чтобы бить. Он никогда не жаловался, но ещё не мог дать достойный отпор. Аслану было девять лет, когда четверо подростков избили его до полусмерти. Спас мальчика сторож. Когда-то Павел Курьянович или попросту Курьяныч, работал в кузне, но даже в старости был широкоплечим и отличался крепкими кулаками. Старик раскидал пацанов, как полешки, а после поднял Аслана с земли и, забыв про возраст, побежал со всех ног в больницу...

*

– Насколько реальны незнакомцы из наших снов? Что думаешь? – Аслан разглядывал картину юной художницы и вдруг, вытащив из кармана карандаш, быстро нарисовал очертания девушки.

– Когда бабушка Нина была совсем юной, она увидела во сне высокого незнакомого мужчину в военной форме и танкистском шлеме... Он подошёл к колодцу и попросил у неё воды. Она запомнила его лицо. Позже, лет через десять, всё так и произошло. Высокий танкист, тот самый – из давнего сна, попросил у неё воды, когда она стояла с ведром возле колодца... Так моя бабушка познакомилась с Константином, моим дедом.

– Похожая история... Я тоже сначала во сне увидел её... Веронику...

4.

...Это было взрослое чувство. Он видел себя в зеркале – бородатым, крепким мужчиной. Рядом с ним стояла молодая женщина с волосами угольного цвета и тёмными глазами. Она улыбалась ему. Аслан знал наверняка – он любит её всей душой. Давно любит. Всегда...

– Нарисуй её, – убеждал врач. – Наверное, тебе мама приснилась...

– Не мама... Моя жена, – сердился Аслан.

Рисовать незнакомку он не стал, лишь изобразил узор её кружевного платка.

С тех пор как у него появились взрослые друзья – врач дядя Миша и сторож Курьяныч, – он повеселел. Аслан частенько бегал в больницу, чтобы показать дяде Мише новые рисунки. Врач убеждал его писать портреты, но Аслан не соглашался. Он был уверен, что нельзя изображать лица, особенно глаза, но пробовал рисовать пейзажи. Однажды Курьяныч увидел один из них.

– Ишь ты подишь ты. Откуда срисовал?

– По памяти, наснилось что-то, – почему-то оробел Аслан.

– Похоже на Учительское озеро. Неподалёку от него село, где я вырос. Моя родня из Поволжья. Переселенцы мы, – пояснил Павел Курьянович.

Старик часто рассказывал ему о своём детстве, о кузне, где работал отец, о священном озере. Он говорил, что на берегу этого озера находится могила «посланника бога» – пророка. Легенда о пророке особенно занимала воображение Аслана. Ему исполнилось шестнадцать лет, когда Курьяныч умер. За год до его смерти уехал домой дядя Миша – ему позволили вернуться к семье. Два близких человека снова исчезли из жизни Аслана, и он сбежал – на целину, чтобы заглушить боль утраты новыми впечатлениями и знакомствами. Но в мыслях он держал главную идею – найти могилу божьего посланника и помолиться возле неё о своей родине, о своей родне...

*

– Я долго скитался. Нигде не мог найти себе пристанища, но работы не боялся и больше всего мечтал стать механиком и водителем. Так оно и получилось. Пятнадцать лет ушло на осуществление мечты. Разных людей повстречал на пути. И вот что понял – все люди совершают ошибки. Но многие делают страшные вещи... Важно – смог ли человек хотя бы немного усмирить в себе зло, и насколько он способен управлять своим выбором... Часто выбор за человека делает не его разум, а характер, склонности, предрасположенность к чему-то дурному, злому... что в тысячи раз сильнее его воли... Бывает-то и воли никакой, одни дурные склонности...

Аслан рассказывал свою историю почти без эмоций, словно проговаривал самому себе что-то важное, но давно пережитое. Неподалёку резвились дети, они кормили чаек, радуясь, когда те пытались сесть им на руки и на головы. Пожилая женщина кричала на птиц, размахивая руками.

– Но есть такие, что родились без особых крайностей. Они не знают, насколько зависим бывает человек от собственных разрушительных желаний и чувств... И не могут этого знать, но осуждают... Они судят по себе и не понимают – нет их заслуги в том, что они такие. Они такими родились. Они родились, вроде, без изъяна, но... с изъяном – со склонностью к осуждению... И я был таким... Пока не встретил Веронику. Она никого не осуждала... и меня, дурака, учила пониманию...

*

...У Вероники были жгуче-чёрные глаза. Казалось, в них нет зрачков.

– Красавица, где я? Заблудился, не могу найти дорогу, – Аслан открыл настежь дверь грузовой машины, окликнув статную девушку, стоявшую на берегу озера.

Когда она оглянулась, он обомлел – та самая незнакомка из его давнего сна.

– Село Семиозёрное, а озеро – Учительское, – рассмеялась она.

Нежная, весёлая, лёгкая... Словно птичка божия. Аслан иногда называл её так. Вероника с детства была самостоятельной, но после смерти родителей и старшей сестры стала совсем взрослой. На её попечении остались двое племянников Тоня и Ванечка – дети сестры. Племяшка давно просила её съездить к священному озеру. И, наконец, уговорила. Домой Вероника вернулась с женихом. Вскоре сыграли свадьбу...

...Последующие три года стали самыми счастливыми в жизни Аслана. Тоня и Ванечка крепко привязались к нему и даже называли папой. С Вероникой было легко, она не суетилась, но всегда всё успевала. Понимающая, не раздражительная. Любая работа у неё спорилась – гору блинов испечёт играючи, дом приберёт радостно, утром с шуткой-прибауткой, к ночи – расслабленно молчаливо с шитьём и вязанием. Она была из породы людей, с которыми уютно жить. Возможно, тем, кто вечно озабочен тайнами бытия и поиском истинного смысла жизни, Вероника могла показаться лишь незаметным фоном. Но с детства ей снился сад удивительных, благоухающих цветов, и не было там горя. Вероника мечтала о простых радостях – о мирном небе и счастье для всех. Она надеялась однажды переехать со всей семьёй к морю и фантазировала о небольшом домике с каменными стенами, увитыми зеленью, во дворе которого найдётся место для живых цветов.

...Когда она забеременела, супруги сразу решили – будет мальчик, назовут Пётр, так звали отца Вероники. Если родится девочка, будет Айна. Но Вероника умерла во время тяжёлых родов, и сынок Петенька вместе с ней. В тот день Аслан впервые нарисовал человеческую тень и с тех пор рисует их. Они похожи на людские фигуры, но без лиц...

– У теней нет лиц, но у них тоже есть судьба... – сказал он мне и несколькими штрихами дорисовал мольберт на картине юной художницы.

5.

...Они снились мне с детства. Люди без лиц, словно живые куклы-мотанки в человеческий рост. Они входили в подъезд дома, где я жила до восьми лет, гулко топали, поднимаясь по металлической лестнице на второй этаж, беспрепятственно проникали в квартиру. Пытаясь привлечь моё внимание, они подходили ближе, настолько близко, что я чувствовала их дыхание. Это сбивало с толку. Если у них нет лиц, как они дышат? Иногда они были в армейских плащ-палатках, и тогда под капюшонами зияли чёрные провалы. Своим видом они пугали меня, и я просыпалась...

...Квартира, в которой жила моя большая семья, была достаточно просторной, с высокими потолками. Но в ней чувствовалось присутствие чего-то недоброго, зловещего. Там моя душа испытывала холод и страх, хотя квартира была тёплой, а семья – дружной. Когда-то наш дом являлся частью Каховских казарм – протяжённого П-образного комплекса воинских строений с широким внутренним двором, где проходили занятия по строевой подготовке. В дальнем углу двора находилась огромная выгребная уборная на шестьдесят четыре «места».

В начале семидесятых годов прошлого столетия казарменный комплекс оперативно переоборудовали в жилые помещения, и офицерские семьи обрели своё жилище...

– Проспект Шевченко 8б, квартира 29, – опережая маму, без запинки отвечала я, если в поликлинике или в детском саду интересовались моим адресом.

...Мне нравилось гулять во дворе. Он казался необъятным. Много деревьев и кустарников, палисадники с цветами, детская площадка, беседки, увитые диким виноградом, в одной из них отставники играли в домино. Каждое утро полная, но весьма активная тётя Женя выносила табурет из квартиры и надолго располагалась под своими окнами «на посту», внимательно разглядывая всех и каждого. Периодически к ней присоединялись другие соседки.

...До восьми лет я общалась с детьми военных, жёнами военных, родителями военных, офицерами. Они не были коренными жителями города, поэтому в те времена я не знала, что существует своеобразный одесский говор. Люди вокруг меня говорили на русском и украинском языках. Говорили о разном – бытовом, житейском, но зачастую о войне. В день Победы, после парада, наш двор заполнялся офицерами в военной форме. На их парадных мундирах сияли ордена и медали. Среди офицеров был мой дед. Я смотрела на них и не испытывала радости. Чувствовала, что они несут в себе нечто страшное, изменившее их и незримо влияющее на меня, на моё ощущение мира и жизни. Позже поняла – война прошила их сердца насквозь, именно её они несли в себе. Они не были её ревностными приверженцами и познали войну не по своей воле – по воле её адептов. Гораздо позже я написала в блокноте «...война глядит сквозь каждого, пытаясь обрести свою власть над душами; она, будто вульгарная, злобная девка, вечно больная жаждой крови, кощунница, осквернительница мира и радости, растит своих адептов в бесстыдстве и вседозволенности, необратимо извращает их своей порчей, и они стремятся к власти над людьми, пытаясь стереть их личности, чтобы бесконечно играть безликими человечками в её страшные игры...»

Эти мысли пришли вместе с войной в Украине, а в раннем детстве я боялась самолётного гула, ожидая бомбёжки, и, несмотря на буйство одесских красок и морскую благодать, ощущала мир на грани войны, и даже видела его чёрно-белым. Шло время, но всегда накануне каких-то неприятностей или страшных событий, мне снилась старая квартира в бывших Каховских казармах...

*

– После смерти Вероники и Петеньки мне не хотелось рисовать цветными карандашами. Чёрно-белые рисунки валялись по всему дому. Тоня и Ванечка боялись, что я уеду. Но я всегда помнил своё сиротское прошлое, незащищённость и растерянность... Остался жить с детьми. Иначе и не мог поступить. Несколько раз пытался встречаться с женщинами. Мужчине трудно одному ребятишек растить. Достойные, хорошие женщины, но... нелюбимые... Нелюбимую обременит такая незавидная роль. Тут и обиду недолго затаить, а то и месть... Человеку больно быть нелюбимым... Унижает... сплошь потребительство... претит мне это... Я – однолюб. Поэтому так и прожил вдовцом... Дети давно выросли, крепко стоят на ногах, у них уже свои семьи. Больше десяти лет назад все они уехали в Германию. Меня зовут...

Аслан замолчал, вытащил из кармана пальто часы с крепким металлическим ремешком, посмотрел на циферблат, потом на меня.

– Пора на автостанцию... Мне нравится Одесса. Иногда приезжаю сюда весной... Люблю весенний город... Раньше в отпуск приезжал, сейчас на пенсии. Когда-то квартиру снимал на проспекте Шевченко, напротив бывших казарм. Несколько раз в том дворе ножи находил... Сейчас проездом здесь... – Аслан улыбнулся, поднявшись с топчана и разминая ноги.

– Как знать, может, я за этим приехал, – кивнул он на картину юной художницы. – Пришло время научиться рисовать красками. Напишу цветочный сад из сна Вероники... Сколько раз она рассказывала о нём... Нарисую много цветов, птиц и... Веронику с Петенькой... Пришло время...

6.

...Время разденет голых до костей, утишит гордых...

Привычное понятие – время. Малый ребёнок не думает о нём, но иногда слышит его зов совсем рядом, не ведая, что звук идёт от самых близких людей. Он не знает, что время давно гнездится в родителях, бабушках, дедушках. Однажды малыш непременно услышит фразу, вроде этой: «поспеши, иначе не успеешь...» и... учится спешить, и растит в себе прочные ветви для обязательного гнездовья времени.

Когда я была маленькой, услышала от очень набожной деревенской старушки рассказ о Святой Троице и каких-то важных временах. Но у меня в голове всё выстроилось по-своему: Отец отвечает за прошлое время, Сын – за настоящее, Святой Дух – за будущее. Мама – всегда рядом, во всём, с вечной любовью и заботой... Бабушка Маша долго смеялась над моей интерпретацией времени и святых понятий.

– Живи не спеша, – поучала она меня. – Иначе ничего не сможешь сделать добросовестно. Будешь метаться, пытаться всё успеть, хвататься за несколько дел одновременно. Но всё успеть невозможно...

Аслан говорил о ловушке времени:

– Люди рождаются на Земле и уже в его ловушке. Бегают, шумят, пытаются в ней выжить и одновременно выбраться из неё. В постоянной суете накапливается хаос...

...Больше двух месяцев прошло с момента встречи с ним, а я до сих пор слышу эхо нашего разговора. Иногда оно встраивается в образы сна. Недавно опять приснилась старая квартира в бывших Каховских казармах. Но теперь в ней было много солнечного света. На кухне возле стола стоял улыбающийся парень с красивой чашей в руках. Он сказал, что это – чаша времени, но танцевать вокруг неё надо на совесть, так, будто времени нет. А ещё он представился: Мельхиседек...

...Имена крутятся в памяти незаметно, но вдруг в ответ на мимолётное впечатление, выплывают, словно из небытия, встраиваются в рисунок событий.

– Каждый из нас контролирует хаос своими ритуалами. Человек – вместилище мифов, а в них – множество имён.... Поэтому ритуалы обязательно найдутся. Это как цвет... выбираешь палитру и рисуешь свою молитву.

Так рассуждал Аслан.

Моя молитва всегда была разноцветной, в ней фиолетовый космос расцветал оранжевым и пурпурным, непременно бирюзовым, иногда лиловым, почти без чёрного. Но слова надежды – белые, с нежным отблеском утренней зари...

*

...Несколько недель назад случайно увидела в интернете работу неизвестной художницы. Меня удивили сочетание красок и сюжет. Удивили не потому, что в них было что-то совсем необычное. Картина показалась мне приветом от Вселенной – в ответ на мои мысли, связанные с недавним знакомством. Созвонившись с художницей, я спросила – почему она нарисовала фигуру цветочницы без лица. Амина рассказала небольшую историю: шла мимо цветочного базара, увидела уставшую женщину, сидящую возле корзин с ромашками, и подумала: «Сколько раз мы проходим мимо людей, несущих миру

красоту, и не видим их, не знаем их лиц...». Девушка рассказала и о себе – заканчивает аспирантуру на кафедре фортепиано в Одесской консерватории. Она – пианист, репертуар классический. Амина рисует давно и когда-то училась в художественном училище.

– Была слишком привязана к своим работам. Недавно решила избавляться от чрезмерной зацикленности на прошлом...

Я купила у Амины картину. Вечером слушала «Колыбельную для ангела» Фредерика Шопена, смотрела на безликую цветочницу и думала о Веронике. Нарисовал Аслан сад её мечты? Помню, когда он говорил о своём желании написать цветочный сад и Веронику с Петенькой, я поинтересовалась, нарисует ли он их лица. Он ответил:

– Нет. Их лица знает лишь Аллах и... моё сердце.

Вадим МЕСЯЦ

ЭХО ВОЙНЫ

То, что они похожи на упырей, я понял только потом, когда разглядывал фотографии.

Мужик лысый, с каким-то одуванчиковым пушком на голове. Выпученные глаза, слюнявые губы. Я удивился, что он в молодости жил по всему миру, включая Бразилию, где, по его словам, преуспевал. Бабка — в годах, по виду – бывшая спортсменка. Волевой подбородок, мускулистые руки и ноги. Она купалась каждое утро на рассвете в озере, а потом шла готовить завтрак. Хутором владела она. Мужик помогал по хозяйству. Внешность у старухи тоже была неуловимо зловещей. Она должна была варить зелье и травить постояльцев. Меня потчевала яичницей с беконом, помидорами и обязательной утренней стопкой самогона.

— Ты все-равно сегодня съезжаешь, — сказала за завтраком строгим голосом. — Отвези мою племяшку в роддом. Ей рожать не скоро, дней через десять, но лучше бы ее положить на сохранение.

Она была из таких женщин, которым отказать невозможно.

Старик вывел из пристройки здоровую девку с черными спутанными волосами и огромным животом. Из-за нависающей прически черты лица разглядеть было невозможно.

— Дорогу она знает, — сказал упырь. — Если что, спросите у кого-нибудь. — Он протянул мне поллитровку своего пойла. —Возьми на память.

Мы разложили полуистлевший матрас на заднем сидении, несколько маленьких вышитых подушек-думок, старое бежевое пальто, которым женщина могла укрываться в дороге. Бабка кинула в багажник целлофановый пакет с набором постельного белья и полотенец.

— На всякий случай, — сказала она.

— В смысле? — спросил я ее, но она лишь отмахнулась.

Поначалу девка молчала, развалившись на задних креслах, потом высунула из открытого окна ноги в стоптанных босоножках, предварительно спросив у меня разрешения. Я заметил, что ногти у нее раскрашены на манер фортепьянных клавиш: белый-черный по очереди.

— Любите музыку? – попытался пошутить я.

— Нет, - отрезала она и вновь погрузилась в молчание.

В ответ я поставил радиоприемник на классическую волну, решив, что это успокоит мою спутницу.

Мы вышли на трассу в окружении вековых елей и таких же доисторических скал. Все напоминало здесь о не-

зыблемости пейзажа: и природа, и редкие каменные часовенки, и деревеньки, срисованные с картин средневековых мастеров.

— В Германии рожать я не буду, — неожиданно сообщила женщина.

Я удивился категоричности суждения и повернулся к ней с вопросительным взглядом.

— Это нация убийц. Нация наследственных убийц и садистов.

— Почему вы так решили? Германия дала миру высокую культуру.

— Не придуривайтесь. Они убили полтора миллиона цыган. Они кастрировали наших мужчин. Кололи женщин в матку раскаленной спицей. Ломали кости, пришивали людям чужие руки и ноги. Они из нашей кожи перчатки шили. И вы хотите, чтоб я рожала у немцев? Они меня тут же зарежут. А ребенка пустят на эксперименты. Они и евреев убивали. И славян. Кто вы по национальности?

- Немец, - сказал я.

Она испуганно замолкла, но, судя по задумчивому сопению, не поверила.

— Вы отдадите меня нацистам? — спросила, она, наконец с трогательной дрожью в голосе.

— Отвезу в Освенцим.

— А где это?

— Узнаете.

— Там хорошая медицина? — спросила она после некоторых раздумий. — Я что-то слышала об этом месте. Хорошо, что оно не в Германии.

—Как вас зовут?

Женщина представилась Луизой. В моей жизни было две знакомых Луизы и обе кончили в дурдоме. Я попытался успокоить ее простыми детскими объяснениями:

— Война давно закончена, - сказал я. — Немцы потерпели поражение. Преступников посадили в тюрьму или повесили. Германию перевоспитали, и она превратилась в социальное государство, в котором найдется место и вам. К тому же у них очень хорошая медицина.

— Война кончилась, говоришь, — ухмыльнулась Луиза. —А что они устроили в Хорватии? Ты телевизор смотришь? Нет, — повторила она с ожесточением, — в Германии рожать я не буду.

— Я могу принять у тебя роды, — сказал я. — Что тут сложного?

— Ты умеешь? – воодушевилась она, но тут же сообразила: —Тебе нельзя. Ты – немец.

Луиза ушла в злобные бормотания по поводу арийской расы. Она считала, что люди, работающие с утра до вечера, не умеющие радоваться жизни и предсказывать будущее, настоящими людьми считаться не могут.

Мы вертелись в районе какого-то автобана, в пятидесяти километрах от австрийской границы. Что меня дернуло туда сунуться, не знаю.

— Хочешь, я рожу тебе сына? — неожиданно спросила она.

— Этого? – кивнул я на ее живот.

— Зачем этого, — засмеялась она. — Другого. Твоего. Тебе. Я тебе нравлюсь? — И она похабно расхохоталась.

Я сообразил, что ни разу еще не видел ее лица и обернулся. Она была хороша собой, такой средиземноморской диковатой внешности, идеальная женщина.

— Прическу бы тебе надо сделать.

— В больнице сделают, — со странной уверенностью сказала она. — И тогда я тебе вообще понравлюсь. — Она опять захохотала и мне стало не по себе от нечеловеческих звуков ее голоса.

Начался горный серпантин, и легкий снежок, выпорхнувший в мановение ока из-за поворота, только подтвердил мои опасения. Вскоре мы ползли в кромешном снегопаде, и я мечтал добраться до ближайшей заправки или харчевни, чтобы сориентироваться на местности.

—На каком языке они тут говорят? — вдруг спросила Луиза.

Я на свою беду ответил правду.

— Что? И здесь? Нет, в Австрии рожать я не буду. Они еще хуже немцев. Тут родился Гитлер. Он заставлял цыган пить соленую воду, заражал тифом. Вези меня в приличное место. Мне у этих людоедов делать нечего.

Я уже не обращал внимания на ее болтовню. В ее словах было немало правды полувековой давности, но мне нужно было выйти из снежной бури, найти госпиталь и, наконец, отвязаться от этой начитанной ведьмы.

На спуске в долину у Луизы начались схватки. Она вытянулась и начала подергиваться телом, схватившись обеими руками за живот. При этом о фашистской сущности Европы не смолкала ни на миг.

— Вы изобрели свиной и птичий грипп, по всему миру люди гибнут от спида.

— Луиза, ты должна дышать глубоко и ровно, вдыхая носом и выдыхая ртом.

— Ерунда, — сказала она. — У меня такое было уже несколько раз. Дай попить. А еще лучше дай водки.

Я протянул ей бутылку воды и заметил мотоцикл полицейского в зеркале дальнего вида. Тот уже включил мигалку и неуклонно приближался. После сообщения Луизы о схватках, скоростной режим я нарушал чудовищно.

Пришлось остановиться: с документами у меня было все в порядке.

— Жена? — спросил полицейский сочувственно.

Я кивнул. Луиза вытащила из чулок какой-то конверт и начала тараторить:

— Доктор Кордич. Доктор Мате Кордич.

Полицейский с недоумением посмотрел на ее медицинское направление.

— Это невозможно, мадам. Это находится в районе боевых действий. Я обязан доставить вас в ближайшее родильное отделение.

— Со мной все нормально, — заорала она. — У меня роды только через неделю.

— Это хорошо, — согласился он. – Но мы должны оказать вам экстренную помощь. Следуйте за мной, господа.

Он включил сирену и помчался по то ли австрийским, то ли венгерским деревушкам, проскакивая под знаки светофоров, которые почему-то в раз загорелись зеленым светом. Я в какой-то момент подумал, что моя Луиза может быть не беременна, а прячет под сарафаном пояс шахида.

Я повернулся к ней и почувствовал, как кухонный тесак из нержавеющей стали прижался к моему горлу.

— Вези меня в Сербскую Краину, — прошипела она. — Я буду рожать только на родине.

— Мне плевать, где ты собираешься рожать, — ответил я. — Лишь бы тебя тут не было. Видишь этого козла на мотоцикле? Он от нас не отстанет, пока не довезет до больницы.

Она убрала нож, и я свернул в первый переулок, где тут же сбил цыганского мальчика на велосипеде. Я вышел из машины, понимая, что ничего страшного не произошло. Мальчишка лежал на земле, привлекая внимание друзей криками. Я поднял велик, извинился.

—Я ищу госпиталь для цыган.

К нам подошла пожилая женщина и поговорила с Луизой.

Моя девка не время успокоилась, но приняла сидячее положение, взяла нож двумя руками и зачем-то приложила его к подбородку. К нам приблизилась еще одна машина с мигалкой. Скорая помощь. Полицейский джип.

— Они меня здесь повяжут, — сказала она с обреченностью в голосе. —Вези меня туда, где нет ментов.

В сопровождении экспорта мы подкатили к какому-то пригородному медицинскому учреждению, где нас уже ждали. Четверо санитаров умело вытащили роженицу из машины и транспортировали в приемный покой. Когда я вылез из своей «Тойоты», увидел кухонный нож, валяющийся на асфальте, поднял его и зашвырнул в бардачок.

На ресепшн рассказал все, что знал. Документов при Луизе не оказалось и меня попросили остаться до выяснения обстоятельств. Родила она той же ночью. Проходя мимо ее палаты, приветливо махнул рукой.

На утро в полицейском отделении картина немного прояснилась. Луиза находилась в розыске по плохой статье — убийство. Конкретно ей шили убийство мужа, но следствие могло привести к самым неожиданным результатам. Я сказал, что подобрал ее в мотеле на границе с Австрией, чтоб не мешать упырям доживать свою хуторскую старость. Разговор получился короткий и деловой. Я был вне подозрений.

Я вернулся к авто, намереваясь ехать в Польшу к матери. При выходе на автобан, услышал за спиной какой-то шорох. Обернулся и увидел Луизу. Она выглядела очень довольной.

— Я еду с тобой, — заявила она. —На восток.

Дама стала неузнаваема. Новое красное пальто, шляпка, шелковый шарфик. Она где-то успела сделать макияж и самое главное – короткую стрижку.

— А ребенка куда дела? – спросил я равнодушно. — Продала?

— Зачем так грубо, пан Якубовский. —Я отдала его в хорошие руки на воспитание. Я же говорила вам, что никогда не буду рожать в стране, где с цыган и евреев живьем сдирали кожу.

Валерий СКОБЛО

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ

Ольге

Лето. Цветенье айвы и слив...
Я чувствую в сотый раз,
Как мир прекрасен и несправедлив,
И создан совсем не для нас.
...Да, этот мир цветущ и жесток,
Да, он прельщает нас,
И, пусть он похож на прекрасный цветок,
Но правильный путь - отказ.
А век - он жестокий, железный век,
И нету в нем правды большой,
А я - лишь маленький человек
С больною и слабой душой.
Но, что бы еще не случилось с тобой,
Какая б ни выпала масть,
Помни: лишь только страданье и боль
Душе не дают пропасть.
И, пусть у каждого правда своя,
А общая - лишь иногда,
Я знаю правду о том, кто я,
Откуда иду и куда.
...Налет случайности с мира сотри -
И будет совсем беда...
А скажет время: “умри!”, - умри!
И скажет: “убей!”, - умри!..
Но не убей и тогда.

* * *

На, владей волшебной скрипкой...
Н. Гумилев

Начинается обычно с тихой музыки из рая...
Сопли вытрешь и посмотришь в двор-колодец за окном:
Инвалид, безногий воин, на шарманочке играет,
Ждет награды он от сердца: медью, снедью, серебром.

Сидя на своей тележке, крутит ручку “катаринки” -
Я застал еще такое... Нету больше дураков:
Во дворе не то, что пьяных - ни цветочка, ни былинки...
Начинается обычно с незаметных пустяков.

К этой долбаной шарманке меч приложен самурайский,
Но не всякому он виден, и доступен он не всем,
Он как музыка отточен и, видать, он тоже райский,
А достоинств самурая, всем известно, ровно семь.

Эту скрипочку-шарманку по совету Гумилева
Близко к сердцу брать не надо... и ладонь не подноси.
Что случится - то случится. Но об этом ни полслова...
Смотрит мальчик в тихий дворик... Сколько нищих на Руси!

Вниз по лестнице истертой... Нет еще кликухи “овощ”.
Награди скорей медяшкой инвалида-бедняка.
Прикоснулся он к шарманке. Что ж, взгляни в глаза чудовищ!
И к точеной рукоятке вмиг потянется рука.

Что-то было... Нет, не вспомнить. Пустяки... Как сон полвека.
Ни двора уже, ни дома. Он стоит совсем один.
Ни холодного испуга, ни родного человека...
...Что касаемо до смерти, мы посмотрим... поглядим.

* * *

Как там дальше жила Навсикая,
Когда высохли слезы в глазах?
Ей дарована участь какая?
Заменил ли отца Телемах?

Приходили ей мысли о Кирке -
Я представить себе не могу -
В ежедневной бессмысленной стирке
На пустынном уже берегу?

Впрочем, это неважно... неважно...
Это все неподвластно уму.
Одиссей правит парус отважно,
Опасаясь взглянуть за корму.

Что за музыку слышит в тумане,
В плеске волн за скрипучим бортом?
Сколько раз уличенный в обмане
Думал он, что не будет “потом”.

Громко вскрикнув: на помощь, Афина!
И мечом ударяя о медь,
Что он видел: богиню? дельфина?..
Что он видел? - Паллада, ответь!

Я и сам из такой же породы.
Сколько было любовниц и жен? -
Промелькнули летящие годы -
Позабыл я, в себя погружен.

Нет предательств, обид и обманов...
Я ловлю дальний голос трубы...
Чутко слушаю гул барабанов
Своей собственной страшной судьбы.

* * *

Сколько хватит мне силы и мужества
Среди сломленных, слабых, больных
Не застыть от тоски и от ужаса
На просторах Твоих ледяных,

Где с мечтою о солнечном лучике
В темном царстве с разливами рек
С топором и в негодном тулупчике
Бродит страшный лихой человек.

Вот раздолье угрюмым историкам:
По земле, не знакомой с сохой,
Этот самый... в рванье и с топориком...
Так и бродит - лихой и бухой.

Снеговая, бескрайняя, топкая...
Что искал здесь святитель Андрей?
Этот самый... все топчется, топая,
У избушки без всяких дверей.

Что я здесь? Буреломом... сугробами...
Без пищали, шубейки, огня?
А мужик - все кругами... с притопами,
И... топорик смущает меня.

Вот уж скоро Тебя я порадую
И молчанием встречу правёж.
Надели меня Вечною Правдою,
Обличающей всякую ложь.

Перед тем, как все вихрем закружится,
И увижу отца я и мать,
Дай мне сил, укрепи мое мужество,
Чтоб за правду Твою постоять.

* * *

И задумавшись - в кои веки -
Я не сразу в ответ скажу,
Кто мне ближе - древние греки
Иль соседи по этажу.

Очевидно совсем не сразу
За слепящим мельканьем дней,
Кто роднее мне - техник по газу
Иль мечтательный Одиссей?

Головою бейся о стену,
Избавляясь от всех химер:
И про Трою и про Елену,
И - про нас - написал Гомер.

Притворяясь, что европеец,
Улыбается мне хитро
Мой случайный попутчик-ахеец,
С кем я еду сейчас в метро.

Чей он лучник и чей лазутчик?..
Что ж, укрой его, жилмассив.
И - удачи тебе, попутчик,
У ворот семивратных Фив.

* * *

Все мы скоро умрем,
кто чуть раньше, кто чуточку позже.
На прилив и отлив -
вот на что это, правда, похоже.

Примет нас океан,
станем просто волной в час отлива.
Скольким людям вокруг
будет зябко без нас, сиротливо?

Да хотя бы один
улыбнулся, волну провожая,
Словно эта волна -
не совсем его жизни чужая.

Нет, не чувствую я
 сопричастность свою океану,
А за мысли его обо мне
 я ручаться не стану.

До того ли ему,
 как мы здесь, на земле, одиноки,
Но, возможно, он ведает
 нам отведенные сроки.

То мгновенье, когда,
 он плеснет, нас встречая, ответом,
И мы станем лишь каплей,
 наполненной солнечным светом.

Посмотри же в лицо
 в берег бьющему грозно прибою,
Как бы ни было нам
 бесприютно и горько с тобою.

* * *

УТЕШИТЕЛЬНОЕ

Стану картофельным... типа, ну как там? - “глазком”,
буду внимательно этак высматривать мир из картошки.
Пусть засыпает меня временами землей и песком,
рядом проходят различные ноги, ножища и ножки

детские. Дети так громко кричат и пищат,
взрослые, дико скандаля, пьют водку по-братски.
А червячки рядом с нами выводят детей и внучат,
нас не тревожа - лишь бы не жук колорадский!

Славно быть овощем... даже картохой простой,
в липкой земле пребывать,
 не нуждаясь в наличии денег и крова.
Сварят, съедят?.. Это все ничего...
 ну послушай, постой -
можно жить дальше... упорно, настойчиво. Снова.

ВЫГУЛИВАНИЕ МОЛОДОГО ВИНА

Арина ОБУХ

— Сначала я был гениальным художником, потом талантливым художником, потом одарённым, а сейчас я просто пьяница.

Обычно после седьмой рюмки Игорь Ефремов выдаёт только крылатые фразы. После одиннадцатой он берёт топор и начинает бегать за Люсей. Поэтому Люся всегда знает, когда ему нужно побыть одному. Я думаю, это любовь.

— Красивых лиц нет, — говорит один художник другому. — Я специально оставил машину дома, сел в метро. И не увидел ни одного красивого лица. Понимаешь?

Собеседник трагически кивает.

Они стоят у своих полотен, с которых на них смотрят красивые девушки. Одна картина бежевых тонов, с прикрепленным отрезком грубого льна, помятого, вымоченного и тоже покрашенного в светлый тон. И силуэт девушки, идущей к морю — или от моря. На другой картине пять девушек, у них терракотовая кожа и чёрные волосы, они смеются и босиком идут по какой-то прозрачной глади — они веселы даже пятками и грациозны всей статью, одеты в туники и несут огромный сосуд с лицом женщины...

Красивых женщин в их жизни было очень, очень много. Но все они ушли к морю.

Картина называется «Выгуливание молодого вина».

И выставка так называется.

И вся их жизнь.

...Вино бродит, а в народе говорят — гуляет.

А гулять оно начало много тысячелетий назад. И вокруг этого гулянья, на праздниках бога вина Диониса, родились театр и все другие виды искусства. Праздники назывались «симпозиумы». Сегодня это звучит строго и учёно, а в переводе с греческого означает «пиршество», «общая выпивка». И вот эта «общая выпивка» сопровождалась танцами, песнями и театральным действом. Потом, как следствие появились декорации...

Получение вина сродни написанию картин: сначала возделывание лозы, сбор винограда, выдавливание сока, брожение винного сусла, отжим и, наконец, выдержка.

У кого-то получается амброзия, а у кого-то — уксус.

Я знаю человека, который выгуливает одну и ту же картину уже шесть лет (выдержка!). Эта картина размером четыре на пять. И кажется, что она когда-нибудь оживёт, присядет за столик, возьмёт маленькую чашечку кофе, достанет коньяк из секретного места и скажет:

— Павел, перестаньте меня писать! Дорисуйте этому кентавру ноги и повесьте меня в Русском музее.

Сначала эта картина была похожа на винегрет: там преобладал розовый и зелёный. Потом туда проник синий. Потом антрацит. Настала глубокая ночь.

— Это «Пир кентавров и лапифов». Симпозиум.

Пьяные кентавры портят свадьбу Пирифоя и Гипподамии. На протяжении шести лет. Невеста меняет платье. Жених поднимает бокал.

— Нет, нет! Жених поднимает меч.

Кентавры похищают несчастных девушек.

— Нет, нет! Кентавры похищают счастливых девушек!

С левого края картины начался роман. Он перекинулся и на правый край. Кентавр целует девушке шею. Девушка прекрасна. Третья грудь намечена углем. Как бонус.

— Ты можешь уже дорисовать эту грудь?!

— Могу.

— Ты уже наметил, осталось только обвести. И ногу наметил. Всё же готово. Сделаешь?

— А зачем?

Он достаёт булочку с маком и начинает есть. Булочка с маком делает его философом.

— Что значит «зачем»? Устроим симпозиум. Игорь, как этот кентавр, поднимет седьмой бокал (топор войны спрячем). Люся наденет новый наряд — красная туника, синие чулки, жёлтый шарф, полосатые волосы... И браслеты, браслеты, бусы, длинные серьги... На ком-то всё это ужасно. А Люся прекрасна.

На своих картинах Люся тоже идёт к морю. Море розовое и пенистое, как молодое вино.

...День сменяет ночь. Ночь — день. Приходит зима. Утро. Зелёный кентавр становится жёлтым... Идёт брожение. Картина бродит, художник бродит... Эта свадьба не кончится никогда. Кентавр поднимет семнадцатую рюмку, опасный момент...

— Я допишу картину завтра.

...Придя завтра, я увижу новый натянутый холст.

— Здра-авствуйте! Что это?!.

— «Гуляй, Псков!»

— Но ты же вчера сказал...

— Потом. Погодя.

Псков. Дорога. По дороге идёт монах, женщина с курами, медведь с пьяницей встретились у храма — разговорились, женщина с головой козы идёт в откровенном наряде, под руку её ведёт кавалер. А наверху купола. Эта картина сотворилась за шесть дней. На седьмой день она стояла уже в раме. Амбро-озия!..

— А как же та?..

— Не приставай.

Я на стороне той картины.

Возможно, она допишется сама.

Кстати, многие его картины, потеряв терпение, так и делают.

ПОЛЧАСА, ЧТОБ ОТДОХНУТЬ

Ольга АНИКИНА

Собака, лопоухая, лохматая, с прытью молодого сайгака скакала по поляне; её рыжие уши взлетали над высокими стеблями зверобоя и душицы, появлялись и снова пропадали; уши вставали по-заячьи и, опадая, с размаху хлопали собаку по глазам. Было понятно, что представление псина устроила специально для своих хозяек, чтобы поднять им настроение. Густой лай сопровождал каждый её прыжок, собака словно кричала: «Смотрите, как я умею! Полюбуйтесь! Как! Это! Смешно!»

Хозяек было двое – старшая и младшая. Они шли через перелесок в соседнее товарищество, в магазин, именуемый по-старинке «Сельпо». Там закупались местные дачники, не имеющие возможности купить продукты в большом супермаркете, который находился в пяти километрах отсюда, если ехать по шоссе. В магазинчике выбор был небольшой, зато имелось самое необходимое: хлеб, молоко, замороженные куриные грудки, а также пиво, печенье и прочие мелочи.

Выгул собак на территории товарищества воспрещался, и трёхгодовалую сеттершу Чариту взяли с собой: пусть побегает на свободе. Собака принадлежала старшей хозяйке, но жила она на даче, с младшей. Какой-никакой воздух и простор.

Младшая хозяйка выглядела устало, но молодо. Её каждое движение было наполнено спокойной уверенностью, которая наступает, когда природа, безыскусная и щедрая, наконец-то празднует в женщине победу.

Возраст старшей, пожалуй, перевалил за пятьдесят. Твёрдые уголки губ, опадающая линия рта. Слегка прищуренные глаза.

Дорога до магазина через перелесок занимала около сорока минут неспешным шагом. Погода радовала: сезон летних дождей кончился, и август обещал дачникам за последние три недели восполнить недостаток солнца и тепла. Хотя, сказать по правде, август сам по себе ничего не обещал; обещали синоптики.

Пёстрый полиэтиленовый пакет, который несла младшая, был заполнен на четверть: наступила грибная и ягодная пора. Женщины шли по тропинке и сворачивали с неё, чтобы сорвать гриб, растущий поблизости. Дальше не заходили; слишком легко было увлечься и нырнуть через перелесок в еловую чащу, где дачники обычно бродили до вечера: прощайте, домашние дела.

Сеттерша уже не прыгала в траве. Она прислушалась к чему-то и нырнула в ельник; рыжий окрас делал её незаметной.

Младшая хозяйка окликнула её, но собаки и след простыл.

– Вот дурная псина.

– Ничего, набегается и прибежит.

– Не потеряется? – в голосе младшей прозвучало беспокойство. – А то удрала на днях, по дачам побиралась. А ко мне соседи с претензией.

– Следить надо лучше.

– Петьку бы не проворонить. Он у меня уже два раза земли наелся. А ты – собака...

– Куда ты только смотришь весь день, – недовольно сказала старшая, – В небо, что ли.

Она увидела возле дороги гриб, наклонилась к нему и сковырнула его ножом. Разломила надвое и бросила на дорожку.

– Червивый.

– Устала я... – вздохнула дочь, – Говорят «устала как собака», а вот собака-то у нас как раз и самая отдохнувшая.

– А что ты хотела? – мать пожала плечами. – Думаешь, мне с тобой, с маленькой, легко было? Мне вообще никто не помогал.

Дочь замолчала.

– На прошлой неделе я вас отпустила в город погулять, – сказала мать. – Вы в гостях были.

Дочь угрюмо кивнула.

– Угу, – буркнула она. – Век бы этих гостей не видеть.

– Ты же хотела выйти на люди.

– Это не я, это Паша хотел.

– Хорошо, в следующий раз сама сиди со своим Петькой.

Метров двести они прошли молча. Из леса раздался долгий залп густого собачьего лая.

Старшая хозяйка свистнула. Лай продолжался.

– Наверно, снова ёжика нашла. Охотница.

Женщины свернули с дороги в ельник. Сухие иголки покалывали пальцы ног в открытых босоножках.

Они прошли мимо овражка с сонной водой, мимо старого, уродливо тлеющего мусора, поднялись на пригорок. На пути лежали корявые сосновые корни, выпирающие из песчаной почвы. Воздух в лесу полнился влагой; в нём ещё чувствовался дух вчерашнего дождя.

Собака исступлённо лаяла, с силой припадая на передние лапы, так, что в разные стороны летела хвоя, травинки, мелкие ветки и земля.

Она поддевала лапой серебристо-серый колючий комок, и казалось, что этот комок сотрясается в мелкой судороге. Но ёжик дышал, часто-часто, отпыхиваясь, будто отплёвываясь. Собака оповещала весь мир о своей находке, но не знала, что же делать с ней дальше.

Молодая хозяйка схватила собаку за ошейник и оттащила её в сторону. Псина упиралась и кашляла, давилась возмущённым лаем.

Старшая хозяйка пристегнула поводок. Приблизившись к тропинке, собака успокоилась, но поводок с неё так и не сняли.

– Ну и слониха.

– Воспитывать надо собаку, – сказала мать.

– Вот сама и воспитывай, – огрызнулась дочь – У меня времени нет.

– С маленькими детьми всегда времени нет, – невозмутимо повторила мать.

– Извини... – дочь осеклась. – Зря я. На самом деле у меня всё хорошо.

Мать посмотрела на неё, поджав губы. Дочь улыбнулась.

– У Петьки сейчас самый лучший возраст на свете, – сказала она.

Уголки рта старшей из женщин стали ещё твёрже; улыбка не получилась.

– Дети – это страшное дело. У них любой возраст самый лучший. Какой ни возьми, – произнесла старшая, чуть помедлив.

Дочь внезапно повернулась к ней, словно собиралась что-то сказать. Но потом передумала и пошла молча. Мать вела собаку возле левой ноги, согласно правилам общего курса дрессировки.

Выкрашенные белой краской стены магазина уже виднелись на той стороне дороги.

– Стой, – приказала мать, передавая поводок, – Я всё возьму. Молоко, хлеб, сахар, и дальше по списку.

Стоя с собакой возле двери магазина, молодая женщина смотрела в одну точку на асфальте. Губы её шевелились. Собака потянулась было к какому-то прохожему, но хозяйка натянула поводок и крикнула «Фу!». Псина послушно села возле ноги.

Мать вышла минут через пятнадцать, гружёная объёмными полиэтиленовыми пакетами. Женщины переместили содержимое пакетов в рюкзаки и тронулись в обратный путь.

Зашли в лес, но собаку с поводка не спускали.

– У Петьки уже пух на голове потемнел, – сказала младшая задумчиво, – Ты видела? И ещё он... Мёдом пахнет!

– Все дети так, – ответила старшая, одной рукой дёргая поводок, другой придерживая лямку рюкзака. У неё начинала болеть спина.

– Мне кажется, не все, – сказала дочь мечтательно. – Только мой.

Они прошли несколько шагов. Младшая вдруг подняла голову.

– Я вот думаю... Я бы ещё одного Петьку себе родила, – сказала она. – С пухом на голове. И чтобы мёдом пах.

Старшая усмехнулась.

– Ну-ну. Давай.

– Нет, а что? – оживилась младшая, – Я бы Петьку в садик, а со вторым сидела бы.

Мать даже остановилась.

– Сидела бы? Ты? Со вторым?

Дочь кивнула.

– То есть, прощай профессия, ты это хотела сказать? – мать смотрела на неё пристально, глаза её сузились, левый нервно подёргивался. – Я растила тебя одна, всю молодость положила, чтобы дать тебе нормальное образование, и что мы теперь имеем? Твой недописанный диплом и нескончаемый декрет.

– Мама!

– Что – мама? – старшая поправила лямку и снова зашагала вперёд, – Я уже двадцать два года мама. И содержать тебя с твоим ребенком не буду.

– Меня муж будет содержать! – но в голосе младшей, поначалу окрепшем, вдруг что-то увяло. Старшая хмыкнула.

– Да уж, вижу я, как он тебя содержит, – сказала она. – Так, что мне самой приходится вам еду покупать. И носить её на своём горбу.

Младшая ссутулилась под тяжестью рюкзака и побрела, проминая упрямым лбом упругую августовскую духоту. Тёмные бессонные круги под её глазами стали глубже и отчётливей. То ли от напряжения, то ли от наплывающей жары к горлу подкатывала лёгкая тошнота.

Её мать шла по тропинке, уверенно ведя у левой ноги высунувшую язык собаку. Пожилая женщина тоже сгорбилась, её влажное лицо блестело.

– Давай разгрузим твой рюкзак, – сказала одна женщина другой.

Но вторая не ответила.

Молча, глядя под ноги, они дошли до своего участка.

Дома было тихо: отец и сын всё ещё спали. Аккуратно, не проронив ни слова, женщины опустили рюкзаки с покупками на деревянное крыльцо.

У них оставалось ещё почти полчаса, чтобы отдохнуть.

РОЗОВЫЙ КУСТ И КУСТ СИРЕНИ

Я не успела попрощаться – так быстро мама продала нашу землю.

Когда мы решили перевезти маму в мой город, это решение казалось нам единственно верным. Мёртвым грузом висел на нашей семье этот маленький дачный участок, вместо забора с обеих сторон окруженный просёлочными дорогами, на которых не могли разъехаться даже две легковые машины. Работать в огороде у матери уже не было сил, наследная полоса зарастала травой, и только несколько цветочных клумб возле крытой террасы возвещали о том, что участок ещё кому-то нужен.

Сделка по местным меркам считалась удачной: через несколько лет мэрия грозилась построить федеральную трассу всего в километре от садоводческого товарищества. Землю в этих местах уже почти никто не приобретал. А потому, когда нашёлся покупатель, мама поспешила побыстрее провернуть сделку. Дача ушла за бесценок.

Это было зимой, и покупатель не смотрел изнутри ни наш домик, ни бревенчатую крашеную морилкой баню; стало понятно, что строения определяются под снос.

Мама не вывозила оттуда вещи: да и вещей-то, по правде, там не осталось кроме старого тряпья и пропылённых, пропахших сыростью, книжек, островков дедушкиной библиотеки, ушедшей на дно вместе со всей дачной Атлантидой.

Я помню, как между страниц в этих книжках то там, то тут обнаруживались травинки, присохшие комариные лапки, куски бумажек с коричневыми от времени, прозрачными чернилами – находки всегда были хрупкими и разваливались в руках, а я чувствовала себя разорителем гробниц. Почему-то вспомнились две книги в тонких обложках: про строительство древних пирамид и про тайны египетской клинописи. Стояли там и старые энциклопедии растений, и тонкие брошюрки для садоводов, напечатанные на плохой бумаге. На картинках там красовалась клубника, разлапистый куст малины или небывалой красоты яблоки, никогда не выраставшие на наших сибирских почвах.

Отчего человеческая жизнь, богатая на события и лица, оседает в штопаных сетях памяти так скупо и выборочно, что, сколько ни закидывай невод, полон он бывает лишь травой, бумажками да присохшими лапками, рыхлыми хмелевыми шишечками?..

Сухими недозрелыми ягодами ирги, похожими на погремушки для сказочного народца. Майскими жуками и бронзовиками, живущими в самых недрах бело-розовых пионовых лепестков... Тем, что осталось в детстве или тем, что ты когда-то потерял.

Я помню, как одна наша соседка подарила мне отросток садовой розы. Розы у соседки цвели лохматыми, барочными цветами, с лепестками, вывернутыми наружу – настолько из растения выпирало желание собственной красоты.

Я высадила свой черенок с края клумбы, возле тропинки. Соседка умерла на следующий год, а роза принялась и схватилась за жизнь всеми своими корнями.

Через несколько лет она зацвела и обжила целую клумбу. А потом заняла целиком прилегающую к ней тропинку.

И тогда мой отчим, в тот год хозяйничавший на даче, выкопал настырные ростки лопатой, а потом и вовсе развёл костёр в сердцевине розового куста: ему зачем-то нужно было расширить дорожку.

И дорожка стала такой, как надо. Однако на следующий год на пепелище снова вырос настойчивый колючий росток; он не только вылез на свет, но даже и зацвёл самодовольным, неизбежным, прекрасным тяжёлым цветком.

Пока не построили баню, мы с сестрой в тёплые вечера устраивали душ внутри густой сиреневой поросли, которая возвышалась справа от входа в дом. В глубине куста дедушка садовыми ножницами выстриг пространство. К нему сделали небольшой проход, такой, чтобы по узкой дорожке можно было пронести таз или ведро.

Там мы с сестрой без стеснения стаскивали с себя одежду и развешивали её на ветках. Воду мы грели на газовой печке и подцвечивали её несколькими кристаллами марганцовки. А потом мы поливали друг друга тёплым прозрачным раствором слабо-сиреневого цвета, такого же цвета, как нависающие над нашими головами поздние блёклые гроздья.

Вечером из трубы на макушке домика шёл дым: дед учил нас определять погоду по форме текучего дымного тела. Чаще поток стелился вниз, скатывался, круглый и неуклюжий, по серым кускам известковой черепицы: мы ждали дождя.

Из цветов лучше всех чувствовали дождь лопоухие пионы, они сразу подбирали свои разлетающиеся во все стороны лепестки и пытались сжать их обратно в бутон, но, ослабев от собственного богатства, уже не могли уместить его в кулаке, и так, полузакрытые, под дождём горестно валились на землю, разбрасывая вокруг по траве обрывки нажитого добра.

Трава вдоль дорожек становилась холодной, восковой, а мокрая чёрная смородина пахла резко и празднично; я не любила её кислые ягоды, но другое дело – листья, пупырчатые, тёмные, с твёрдыми жилками на оборотной стороне, похожие на мятые салфетки. Я любила смотреть, как по весне они с силой вылуплялись из обтянутых тонкой плёнкой жёлтых почек, горящих на голых ветвях первым апрельским огнём.

Возле мостика через канаву рос огромный куст ирги. Весной ирга гудела: её белёсые метёлки притягивали целые стаи пчёл, и в небе над участком висело большое беспокойное облако.

Летом ирга гремела: в её дебри налетали толстопузые дрозды и клевали ягоду, роняя на землю половину урожая. Там они спрятали своё гнездо: в период цветения дерева его было хорошо видно, а потом оно пропадало в листве. Дрозды определили здесь себе постоянное жильё, и, чтобы устроиться наверняка, построили его из алюминиевой проволоки, стыренной из нашего же сарая: а дед в своё время никак не мог понять, на какие работы у него ушло такое количество материала.

Осенью ирга шелестела и скрипела: остатки дроздовьих семей ещё пытались найти себе пропитание, но старые ветки становились всё суше и ломче, и не всегда могли удержать тяжёлые птичьи тела.

Ещё возле дома росла берёза, её когда-по посадил дедушка, такое у него тогда было настроение. Она жила ни для чего: просто яркий розоватый ствол, и сок по ранней весне, и место для гвоздя, на котором всегда висел синий проржавленный умывальник с гремящим носиком.

За сорок лет гвоздь втянулся вглубь берёзового тела и стал его частью; умывальник перевесили, берёза почернела и покрылась серыми чагами. Она загораживала свет, её много раз хотели спилить, но почему-то в конце концов никто не тронул: дача не давала нам выкорчевать что-то или вырубить по частям.

Вот и не получилось по частям. А всё вместе – удалось, раз – и нет ничего на месте нашей дачи.

У меня когда-то был друг, писатель, он с семьёй в тяжёлые времена уехал из родного Баку. Цветущий южный город, живший теперь только в его памяти, стал единственной темой, серебряным туманом, звенящим воздухом всех его коротких грустных повестей.

Друг мой тоже остался в прошлом. Из нашей с ним истории тоже не получилось ничего вычленить, не задев всего остального. Важное иссекается из жизни цельным, неделимым куском. Вместе с прилегающими тканями.

Растворяется, пропадает – но не исчезают насовсем. Куда от меня могут деться дрозды, или умывальник, или дым, или смородиновые листья?

Никуда, но мне почему-то неловко говорить об этом. Словно я жалею о вещах, которые отработали естественный цикл. Я вспоминаю себя, когда отчим подпалил мой плебейский розарий. Я была рассудительным ребёнком и не горевала по пустякам. Подумаешь, роза. Подумаешь, соседка. Надо – значит, надо.

Может быть, именно поэтому мой обожжённый куст собрал себя из горелых, искалеченных корней и выпустил новый побег, пробуривший утоптанную землю тропинки своей веселой зеленой головой. Потому что мы по нему не плакали.

ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ

Егор ФЕТИСОВ

1

Это было его дневной телепередачей. Своего рода шоу. К просмотру шоу он относился, насколько я мог судить, видев его один единственный раз, очень обстоятельно: раскладывал возле себя закуску, устраивался поудобнее. Малышня прекращала возню, уважая развлечение старика. Не знаю, можно ли его было назвать неопрятным. По всей видимости, да. Нерасчесанные космы свисали ему на лоб, изборожденный морщинами. Прическа походила на растрепанную метлу. И это как-то не совмещалось с его обстоятельностью и очевидной склонностью к порядку. Он наконец вольготно устроился, взял в одну руку пучок лука, в другую морковь и вдруг посмотрел мне в глаза. Без вызова, который у животных считается неотъемлемой частью такого взгляда. Скорее с ожиданием. И я почувствовал, что это не он, а я – за стеклом. Я как бы оказался внутри телевизора, странное и трудноопределимое чувство. Он направлял в меня морковку, словно та была пультом, и готов уже был переключить канал, потому что я оказался скучен. Я оказался занудой, бессюжетным и бессмысленным занудой. Вроде 254-й серии мыльнооперного сериала. Похоже, он не смотрел предыдущие 253. И он меня переключил. Его меланхоличный, оценивающий взгляд смотрел теперь куда-то в толпу левее меня. Я улыбнулся запоздалой улыбкой и даже приветственно полувзмахнул левой, не обремененной фотоаппаратом рукой. Я хотел привлечь его внимание обратно, доказать ему, что мое присутствие чего-то стоит. Но было поздно. Тогда я в отместку тоже перестал на него смотреть. «Всего-навсего старый, лохматый орангутан», – бормотал я, бредя к гориллам. С гориллами проще, они не смотрят дневное шоу и не тыкают в тебя морковным пультом. Они не выключают тебя. Это ты смотришь на них и решаешь, что скучно, а что – нет. К тому же они даже крупнее. Гориллы – самые крупные обезьяны на планете. Я спохватился было, что он, может быть, смотрит мне в спину. Но тут же понял, что не смотрит. В спину смотрят только в бесконечных, скучных, бессюжетных и бессмысленных сериалах.

2

Эта история случилась со мной одним очень жарким и очень дождливым летом в Японии. Хотя неправильно говорить: «случилась». Ничего такого не случалось, да и не

история это была, а картина. И я ее наблюдал. Дело было в зоопарке города Осака возле вольера с журавлями. Большие, снежного цвета птицы, в черных галстуках, с черным же хвостовым оперением. В красных шапочках. Я сидел напротив их вольера, измочаленный жарой и влажностью. Собственно, саму эту скамейку я выбрал исключительно потому, что она была хоть сколько-то в тени. О прохладе речи не шло. Короткая история, развернувшаяся на моих глазах, видимо, была сродни миражам, которые видят в песках погонщики верблюдов. Воздух колебался неровными слоями, как масло, разлитое в воде, делая очертания размытыми. Из этого маслянистого воздуха перед вольером так и хочется сказать соткался (это всё воланды, мастеры и маргариты это всё) невысокого роста старичок в белом кимоно. Какое-то время он стоял совершенно неподвижно, склонив голову набок и разглядывая птиц. Потом неторопливо двинулся вдоль вольера, разводя руки в стороны. Со стороны он был похож на сумасшедшего. Его босые ступни скользили по воздуху, движения были плавными и мягкими, как снег. Вообще весь он был, как снег, внезапно выпавший посреди чудовищной сорокаградусной жары. Я не сразу понял, что он делает. Подумал сперва, что старик пьян. С японцами это бывает по причине их генетической несовместимости с алкоголем. Однако через какое-то время один из журавлей подошел к сетке, явно заинтересованный движениями старика. Они двинулись параллельно друг другу, разделенные проволокой и соединенные неведомой мне пластикой. Только тогда до меня дошло, что старик танцевал журавлиный танец. Развернувшись в углу вольера, оба запрокинули головы и развели крылья в сторону. Да-да, в тот момент у старика были самые настоящие крылья. Во всяком случае, мне, погонщику верблюдов, широкие белоснежные рукава его кимоно казались покрытыми оперением. Старик издал гулкий клекот, журавль ответил ему такими же щелкающими звуками. Мне было неловко присутствовать при этом танце. Они не видели меня, и я, как мог, вжался в спинку скамейки, попытался раствориться в тени. Танец оборвался так же внезапно, как и начался. Старик снял с головы красный берет (только сейчас я заметил, что он все это время на нем был) и побрел в мою сторону. Оставаясь внешне неподвижным, внутри себя я заметался, как преступник, которого вот-вот схватят за руку на месте преступления. Он прошел мимо, даже не повернув головы в мою сторону. Я смотрел вслед этому странному старику, пока его белое кимоно не исчезло за поворотом тропинки, густо заросшей вечнозеленым кустарником, название которого я всё хотел спросить у кого-нибудь из местных, но так и не спросил.

НЕМИНУЕМОЕ

Утро выдалось ясное, но холодное, воздух был уже декабрьским, прозрачным, солнечные лучи не прогревали его, проходя насквозь. Коричневая листва, облетевшая с деревьев и догнивавшая на тротуарах, ночью подернулась незаметным глазу ледком, едва слышно похрустывавшим под ногами. Крыши были того же коричневого цвета, что и засыпанные листвой дорожки, и завядшие живые изгороди, как будто черепица на них тоже завяла и прела до тех пор, пока не приобрела оттенок охры, которым и без того было выкрашено все вокруг. Проходя мимо обнаженного куста, он остановился: огромная прозрачная капля ночного дождя наполнилась тяжестью и почти уже отделилась от ветки, готовая сорваться вниз и перестать быть, но все не срывалась, а он не мог сдвинуться с места, зачарованный этим приготовлением к падению, как случалось ему застыть, попав, переключая каналы, на взявших низкий старт бегунов, и хотя он не интересовался

спортивными состязаниями вообще и бегом в частности и в особенности, он уже не в силах был отвести от них глаз. Ему важно было дождаться мгновения, когда они сорвутся с места, эту секунду нельзя было пропустить, в сравнении с ней остальной забег был затянувшейся, излишней инерцией. Капля медлила. Так можно было опоздать на поезд, а вместе с ним на семинар в институте, что для молодого преподавателя непростительно, поэтому он нехотя побрел дальше, несколько раз оглянувшись через плечо – как там она. Но через несколько метров капля растворилась в пейзаже, виной чему были его близорукость и, разумеется, сам пейзаж, поглотивший каплю. Теперь его угнетало послевкусие несовершившегося события.

В этом взволнованном состоянии он сел в поезд. Не успели двери закрыться, как он понял, что совершенно не помнит, заплатил ли он за проезд. Речь шла о незначительном движении, пустяковом – приложить карточку к синему, выпученному глазу автомата и, услышав гулкое «плом», убрать ее обратно во внутренний карман куртки. Он попытался вспомнить, сделал ли это движение, спустившись на платформу. Восстановить в памяти, издал ли автомат сглатывающий звук, зафиксировав посадку в поезд. Он не помнил. Готовая сорваться капля вытеснила это мгновение из его сознания, оставив только ступеньки, ведущие вниз к платформам, зарешеченную парковку для велосипедов справа и раздавленную банановую кожуру на предпоследней ступеньке, матово-красный поезд, подошедший как раз в этот момент и девушку в огромных белых наушниках и порванных в нескольких местах колготках, сидевшую у окна.

Он сел напротив, теперь уже почти уверенный в том, что забыл заплатить за проезд, и холод, другой, не тот декабрьский холод, от которого затвердели за ночь опавшие листья, но холодок страха пробрался ему за воротник и заставил поежиться. Он достал распечатку материала к сегодняшнему семинару, но не мог сосредоточиться на том, что читал. Да он и не читал, скорее, пробегал глазами по строчкам, раз за разом возвращаясь к началу. Сумма штрафа, эквивалентная ста евро, была для него огромной, сопоставимой с катастрофой. Первым его порывом было выскочить на ближайшей станции и зарегистрировать поездку на платформе. Однако автоматы стояли далеко не везде, был риск, что он не успеет сесть обратно в поезд. Пусть небольшой, но все-таки был. Поезд подходил к станции. Он дернулся, встал со своего места и вышел в пространство между вагонами, всматриваясь через давно немытое стекло в надвигавшийся перрон. Автомата было не видно. Он качнулся вперед, уже было выходя из вагона, потом обратно – садившиеся в вагон люди оттеснили его к стене, проходя к свободным местам. Место напротив девушки в белых наушниках заняли. Поезд тронулся. Теперь он нервно вглядывался в силуэты в конце вагона и начале следующего, пытаясь понять, кто двигается в его сторону – контроль или пассажиры в поисках свободного места.

Когда поезд прошел половину расстояния до следующей станции, он увидел контроль. Сердце у него екнуло. Мужчина в черном не спеша продвигался по вагону, поворачиваясь то налево, то направо, явно проверяя билеты, и теперь все зависело от того, успеют ли они достичь следующей платформы прежде, чем контролер попросит его предъявить билет. Они не успевали. Фигура в черном быстро приближалась. Он судорожно прокручивал в голове, что сказать служащему, в котором нет чувства жалости к уклоняющимся от обязанности платить за проезд. Ему иногда приходилось наблюдать подобную сцену со стороны, и не было ни одного случая, когда виновный избежал бы возмездия. Он скажет, что еще не проснулся. Он всю ночь не спал, готовил выступление на семинаре, вот и распечатки, свернутые нервно измятой трубкой в его руке. Ведь это так объяснимо: проходя мимо автомата, он спал, и ему снилась большая тяжелая капля, готовая сорваться вниз,

вызвав неминуемое. Только вот что именно она должна была вызвать, он не помнит, это ускользнуло в последний момент, когда он уже нащупал, протянул было руку...

Фигура приближалась, обретая четкие очертания. Контролер на глазах превращался в беженца, просящего милостыню. Он поворачивался направо и налево, замедляя шаг напротив каждого следующего пассажира и нерешительным жестом протягивая в его сторону пластиковый стаканчик для мелочи. Потом открыл дверь, вышел из вагона и встал рядом. Оставшиеся полминуты до следующей станции они ехали молча – молчание изгоев, отщепенцев, уже нарушивших, но еще не наказанных.

Двери открылись. Беженец сошел с поезда и побрел в направлении подземного перехода. Никто не вошел, платформа была пуста, и, когда поезд тронулся, прямо мимо двери проплыла безмолвная компания билетных автоматов. Черт! Он же мог успеть, выскочить на перрон, приложить карту и вернуться в вагон! Автомат был совсем рядом, но его внимание отвлеклось на человека с бумажным стаканчиком, который теперь уже успел исчезнуть под землей.

Он взял себя в руки, успокоился. Все в порядке. Следующая станция его. На предыдущей никто не входил. Во всяком случае, он не видел. А ощущение неминуемого – всего лишь ощущение, не более. Он развернул распечатку и начал читать.

Когда за его спиной раздвинулись двери, он уже знал, что это контроль. На этот раз он ошибки не было. Женщина в форме вежливо ждала, пока он дрожащей рукой доставал из внутреннего кармана карточку. Она невыносимо долго прикладывала ее к контрольной машинке, почти так же долго, как срывается с ветки капля. Его губы начали шевелиться, бормоча что-то в оправдание, но она, не слушая, уже сунула карту ему в руки с коротким «спасибо», вошла в следующий вагон, замедляя шаг напротив пассажиров, поворачиваясь направо и налево, словно просила милостыню.

У него все еще стучало в висках и шумело в ушах, когда поезд, подойдя к станции, открыл и потом снова закрыл двери. Ему, конечно, повезло и неминуемое не случилось, а значит, и ощущение, что капля – некое отложенное событие, действие, которое еще произойдет с ним сегодня, но позже, было обманчивым. Он не сразу осознал, что не вышел на платформу. Поезд набирал скорость, увозя его все дальше, на пересадку уйдет слишком много времени. Непростительно много для молодого преподавателя. Он подумал, что это несправедливо, ведь он же заплатил, а значит, и вины не было. Но капля уже оторвалась от ветки и летела, со свистом рассекая декабрьский, утренний, морозный воздух.

ПРОРЕЗНАЯ

Виталий ЕГОРОВ

Запойный разум отрезвляет,
Кто в диком страхе цепенел,
Как меч, прямая Прорезная
И гнев мечом висел над ней.

Вамп – недоучка сухорукий,
Правитель мстительный, мажор.
Свобода загнанная в угол,
В душе заныкала должок.

Тот в страхе жив, кто не перечит.
Кто недостаток огласил,
Сам подписался, что не вечен.
А был успешен и красив.

Поддел двусмысленно и ловко
В спектакле. Что же ты творишь?
Видок донос в одну колонку –
И заперт в монастырь Кулиш.

Строкой свободной мысль сверкает.
Поэт, взлетай мечтой, не трусь!
А по пятам голубчик Каин.
И где, вы думаете, Стус?

Мы всех пропавших не узнаем,
Под грифом глупости дела.
Калечит души Прорезная,
А свет дарить слепым могла б.

На восходящем склоне скользком,
Свободы чествуя прогресс,
Опору ищет Паниковский.
Она, наверно, где-то есть.

Киев, 9.06.17.

КИЕВ

Мой Киев, омытый слезами,
Обрызганый кровью.
К Господню кресту его привязали
И тычут в межбровье.

Мы горьких обид соблюдаем обряды
И выплывшим идолам служим.
И скудным подачкам – голодные – рады.
Намазаны ваксой – снаружи.

Начистив мундиры, пришпилив награды,
Дряхлеющим строем волнистым,
Советские вновь оживляем парады.
Инсультов, инфарктов – заведомо – риски.

Префектов, чиновных и бывших сверяем,
Отличий в речах не находим.
Что прячут в офшорах, что в сейфах, в сараях,
Что эти, что те – одинаковы вроде.

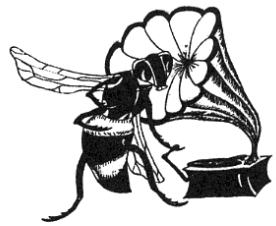
Слова благородны, лечебны, сухие,
Ни уши, ни сердце не ранят.
Страдает терпением горечи Киев.
Доверье дымится – на грани.

Не греются граждане возле злодейства,
Сосновые, шинные строят костры.
К суду привлекают чиновных, судейских.
И речи в процессах правдивы, остры.

Пока киевляне бодливы, ершисты,
Истеблишмент стерегут,
Сады европейские высадим быстро,
Детей не оставим душиться в долгу.

Мозгами о будущем впрок пораскинув,
Свободу и доблесть узлом завязав,
В каштанов расцвет, возродившийся Киев
Не канет в крови, не утонет в слезах.

Киев, 1.04.18.



ИГРАЙ, АДЕЛЬ, НЕ ЗНАЙ ПЕЧАЛИ

Ксения СПЫНЬ

В окно бился снег.

Его подсвечивал фонарь у подъезда. Белые в рыжину хлопья беспорядочно метались. Близкие. Чужие.

Если открыть окно... Впрочем, даже не открывая, можно было услышать низкий монотонный гул. Это выл ветер. Тонули ли в нём далёкие отзвуки марша или не звучали уже вовсе, – этого было не разобрать. Казалось, как будто стихия тоже решила сыграть правителю заупокойную.

Она молча вглядывалась в ночную улицу. На стекле маячило смутное очертание лица, но этим можно было пренебречь. Там, снаружи, свет выхватывал часть дороги перед подъездом – гладкую белую ленту. В такую погоду все сидят по домам.

В дверь постучали.

Она неспешно обернулась.

Тихонько так постучали. И сразу замолкли. Потом снова.

Должностные лица стучат по-другому. Она подошла к двери.

– Кто там?

– Это Зенкин, – донеслось с той стороны. – Женя Зенкин.

Она отворила.

На пороге действительно стоял Евгений Зенкин. Раскрасневшийся, усыпанный снегом, он тяжело дышал и шморгал носом.

– Привет.

– Ты не занята? – голос его звучал сипло. – Можно к тебе?

– Заходи, – она отошла в сторону, пропуская его. Заперла дверь.

Остановившись у вешалки, Зенкин непослушными пальцами расстёгивал пуговицы пальто. В его движениях было что-то судорожное, неровное. Может, и от мороза.

Она всё же спросила, по-прежнему прислоняясь к двери:

– Что-то случилось?

Зенкин стянул с себя заснеженный шарф и теперь несколько потерянно осматривался, будто не мог вспомнить что-то.

– Случилось? – протянул он. – Да не то чтобы...

Потом остановил взгляд на собеседнице и широко улыбнулся. Улыбка получилась кривоватой.

– Была на похоронах? – спросил он со странным задором.

Она покачала головой:

– Специально меня не приглашали. А так... что там делать?

– Повезло, – Зенкин рассмеялся. – Я был. Сказали, что лучше быть... Ну, ты понимаешь, – он снова шморгнул и, жестикулируя, продолжил. – Народищу... Военный оркестр. Салюты. Огни. Это всё под снегопадом. Солдаты маршировали – долго так. Потом ещё все эти забирались на трибуну и произносили речь. А ты стой и смотри. И слушай их. Закоченел весь.

Зенкин потёр ладони, подышал на них.

– Холодно там? – спросила она с попыткой сочувствия.

– Метель, – он замахал руками, чтоб показать, какая метель. – Настоящая вьюга. Снег сплошняком. Думал, не дойду.

Она наконец пришла в движение – оторвалась от двери и жестом указала на комнату.

– Чаю? Кофе?

Он усмехнулся, с шумом опускаясь на тахту:

– Да нет. Я... уже...

Она задержалась в дверях кухни и окинула Зенкина оценивающим взглядом. Его заметно пошатывало.

– А, – она понимающе кивнула и прошла следом.

Зенкин погрузился было в свои мысли, но, стоило ей приблизиться, вскинул взгляд на неё.

– Сыграешь что-нибудь? – спросил он тихо.

– Что-нибудь, – повторила она. – Сыграю.

Старая гитара стояла в углу. Она почти никогда не покидала своего места, но бережно хранилась. Её знакомый изгиб пришёлся точь-в-точь по рукам.

Даже не мысли – пальцы: пальцы сами захотели сейчас о ночи, о смерти, о блёстках дождя в темноте. Голос подтянулся за пальцами.

Тревожные звуки сливались с шумом ветра, как её силуэт на стекле сливался со снежной ночью – странная такая, низкая фигура с охапкой кудрей на макушке и с огромной, не по росту, гитарой.

Она не особо следила, слушает Зенкин или нет. Когда песня закончилась и мелодия затихла, он сидел, подперев голову кулаком и о чём-то глубоко задумавшись. Потом, видимо, услышал, что гитара молчит, и тихо пробормотал:

– Ты никогда не пела этого раньше.

– Не подходило.

– Да, было по-другому... Так давно. Я бы успел разучиться и всё позабыть.

– Я играю иногда, когда корректуры немного, – она глянула на стол, где покоился печатный лист со знаками правки, вновь отвернулась. – И когда очень хочется.

Зенкин тихо улыбнулся:

– Играй, Адель, не знай печали.

Она оглянулась с почти лукавой усмешкой:

– Твоё?

– Нет... – Зенкин покачал головой. – Это классик.

Оба на время примолкли.

У окна что-то тихо стукнуло. Зенкин замер и настороженно уставился туда.

Она проследила за его взглядом, на всякий случай выглянула в окно и снова обернулась к нему с едва намеченной улыбкой.

– Успокойся. Они больше не следят.

Зенкин вздохнул и прикрыл глаза рукой, потирая лоб.

Воспользовавшись паузой, она пошла поставить гитару в угол. Зенкин поднял голову.

– Ты тоже в трауре? – ухмыльнулся он. – Или мода такая?

Она нахмурилась:

– Я по стране. Уже давно. К тому же, сейчас февраль.

– Февраль? – Зенкин прищурился и, казалось, пытался что-то припомнить.

– Ну... – она неуверенно посмотрела на него, подбирая слова, – мы же не знаем точной даты...

Ещё несколько секунд он вспоминал, затем на лице отразилось внезапное понимание. Он вдохнул, как бы собираясь заговорить, руки его хотели было закрыть лицо, но вместо этого Зенкин широко развёл ими.

– Февраль... Ну конечно, что ж это я! – он нервно рассмеялся. – Адель... Прошло столько лет, Адель, а у тебя по-прежнему в феврале траур.

Она пожала плечами, как бы говоря: что тут такого.

– А у меня – нет, – медленно продолжал Зенкин. – Хотя должен был бы. Знаешь, я вообще не помнил про февраль, пока ты не сказала. Вот сейчас... – он задумался на секунду, затем снова рассмеялся. – Я попытался вспомнить, в какой день расстреляли Лунева, и тоже не помню. Ничего не помню! Совсем ничего!

Она покачала головой:

– Зенкин, ты пьян.

– Да, я напился! Имеет право бывший творческий человек раз в несколько лет напиться?

Последние слова прорвались с внезапным отчаянием. Зенкин замолк, затем снова заговорил:

– Ты могла помнить или нет про февраль. Но я – я был обязан помнить.

– Зачем? Разве так важно время?

– Понимаешь, я любил её! – он вскочил с тахты. – По-настоящему любил! Ею все восхищались, знаю. Но я... Я – раньше их всех, ещё в школе, когда она... Когда их ещё не было и никому не было дела. Я действительно любил её.

– Я тоже, – пробормотала она.

– А?

– Ну, – она смутилась и прошлась по комнате, чтобы лучше объяснить. – Она мне очень нравилась. Я всегда хотела быть такой же. Такой же сильной, смелой. Всегда быть в центре жизни. Чтоб все были без ума – или уж сразу ненавидели до помрачения. Говорить, что думаешь, и делать то, что на самом деле хочешь сделать. Никого не бояться. Устроить бунт в одном лице, против всего мира, – она грустно улыбнулась. – Но я... Я никогда не была ею. Только собой. Мне не хватало ни сил, ни смелости.

Зенкин задумчиво кивнул:

– Нам всем тогда не хватило, – проговорил он и снова бросил на собеседницу взволнованно блестящий взгляд. – Помнишь, как она танцевала?

– Помню.

– А наши встречи? Вечер, парк, Дворец Культуры, ... Мы гуляли, разговаривали, читали стихи. Ты играла на гитаре, а мы собирались вокруг и веселились.

– Помню.

– Было весело, правда?

– Да, – она кивнула. – Правда.

Что-то, похоже, приводило Зенкина в сильное беспокойство. Руки его вздрагивали, на лицо то и дело наползала улыбка.

– Знаешь, я их всех сдал. Я не хотел... Так получилось. Я тогда всё сказал, что знал. Сдал всех с потрохами.

– Не на ровном же месте, – возразила она. Зенкин не услышал.

– Даже Редисов, – продолжал он, – даже Редисов, с которым нас взяли вместе... Он сразу что-то рассказал им, первым. Он всегда был умнее. Он не всё сказал, только то, что ещё было можно, – но сразу, и его оставили. А я... я...

Смех его перешёл без паузы в плач. Он закрыл лицо руками.

– Ну вот ещё, – она присела рядом с Зенкиным, обняла его и начала укачивать. – Тихо-тихо-тихо. Ну, не надо, не надо.

Легонько она пригладила его волосы. Подумалось, что когда-то они не были такими поблёкшими. Впрочем, и она сама раньше смотрелась живее. И когда её порой называли «кошечкой», уж точно не имели в виду по-кошачьи непроницаемое лицо, которое почти ничего не выдавало.

– Вот сегодня, – ещё сдавленным голосом, но уже не всхлипывая, произнёс Зенкин. – Сегодня ты запросто меня впустила. А ведь человек вроде меня вполне мог привести их с собой.

Она спокойно заговорила, глядя поверх его головы:

– То, что было, – это нормально. Если бы меня допрашивали, я бы, наверно, тоже всех сдала. Мне просто повезло. Наверно, про меня забыли. Даже ни разу никуда не вызвали... Как будто я тут не при чём. Впрочем... сейчас думаю, так оно и было.

Зенкин выпрямился и чуть отодвинулся.

– Как ты можешь понимать в таком случае. Ты ведь никого не предавала.

Она пожала плечами.

– Я не делала вообще ничего. Когда арестовывали наших, когда закрывали парк, и дальше – когда всё шло, как шло. Всё это время я делала вид, что меня тут нет. Жила себе тихонько. Правила статьи для дамских и бытовых журналов. Иногда мне казалось, – она улыбнулась, – что я и вправду научилась быть невидимкой. На меня даже ни разу никто не настучал. Наверно, не нашлось повода.

– Но и ты не стучала, – заметил Зенкин. – Ты не сделала ничего такого, от чего было бы хуже кому-то другому.

– Да, – она кивнула. – Просто стояла в стороне и смотрела. Как будто меня это не касается. Думаешь, это не предательство?

Зенкин некоторое время глядел на неё, потом усмехнулся и встал.

– Знаешь что, Адель? – он отвернулся к стенке. – Мы с тобой – конченые люди.

Она подумала немного.

– Да. Конченые.

– Хотя, даже нет, не так, – теперь он повернулся к ней с давешней широкой улыбкой. – По крайней мере, я больше не чувствую себя человеком. Уже давно. Я могу улыбаться, шутить, могу даже читать стихи и изображать, будто меня что-то впечатлило. Но всё это – только оболочка. Шелуха. Там – там, внутри – там пусто. Там ничего нет.

Не глядя на него, она задумчиво произнесла:

– Мне иногда тоже так кажется. И вроде бы всё сносно, но где-то глубоко внутри – холод и пустота. Очень глубоко внутри.

Зенкин, зачем-то щурясь, смотрел на неё.

– А как всё хорошо начиналось! – вдруг воскликнул он и тут же замолчал.

Эхо отзвучало и затихло в комнате.

– У нас всё могло быть замечательно, – продолжил он уже тише. – Если бы не он... Сколько у нас было бы. Всего. Да что уже говорить – мы убитое поколение. Вот теперь его

нет, но для нас это уже ничего не изменит – мы так и останемся. Он проехался по нам. Катком проехался. По нам по всем.

Склонив голову набок, она прервала его:

– Но он мёртв. А мы живы. Это наша победа. Другой вопрос – нужна ли она ещё нам. Если да – значит, мы выиграли. Если нет – значит, он.

Зенкин смотрел на неё с сомнением. Казалось, он пытается обдумать что-то.

– А ты? – наконец спросил он. – Тебе она нужна, м?

– Я ещё не поняла, – неуверенно протянула она. – Но, я думаю... Мне кажется, кто-то должен был сделать и это – просто выжить. Пережить его. Остаться. Чтоб сказать вновь прибывшим, что ничего не закончено. Я думаю... это хорошо, что мы здесь.

Зенкин помолчал, потом тихо рассмеялся:

– Иногда ты бываешь чертовски умной, Адель. Впрочем, может, ты и права. Ну, что ничего не закончено. Что ж, попробую выкарабкиваться потихоньку. Правда, мне всегда было сложно в одиночку... Но ладно. Как-нибудь.

Он шагнул в двери.

– Почему в одиночку, – подала голос Адель.

Зенкин удивлённо обернулся. Она, смутившись, пожала плечами:

– Я, конечно, не фройляйн Рита... Но, в конце концов, мы с тобой в одной лодке.

На улицах Ринордийска завывала метель.

Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ

НАЙДЕННЫЕ КЛЮЧИ

Настоящее

Сходя с ума, испытываешь страшное одиночество. Страх, что тебе не найти того, кто сможет разделить твои мысли, сводит тебя с ума.

К.М.

Сходящий с ума испытывает страшное одиночество. Он лежит на дне ванны и держит в поднятой руке душ, ярко-теплые струйки приятно пощипывают кожу. Он недавно открыл, что времени нет. Или есть все одновременно: настоящее — прошлое — будущее. То есть мы либо уже давно-давно умерли, либо нам только предстоит родиться в незапамятном будущем. И сейчас и есть будущее того прошлого, где нас и в заветах еще нет, и одновременно прошлое того будущего, где мы давно умерли. Отчего же печаль? Он знает, что если поделиться этим знанием с людьми, то прошли бы их горести вмиг. Но как донести его, знание, такое отчетливое, как переложить его из своей головы в другую, где время поделено на непересекающиеся отрезки?

Вода вдруг становится кипятком — наверно, сосед снизу включил холодную воду. Кожа мгновенно розовеет и начинает зудеть. Сходящий с ума выпрыгивает из ванны и бежит мазать бедное место бальзамом “Спасатель”.

После ванной с электрическим светом странно обнаружить, что снаружи сияющий день и в окне трепещет и дышит подвижная листва — она ходит ходуном, словно ее щекочут. Оторвав глаза от хохочущей листвы, голый сходящий с ума вытирается полотенцем, старательно обходя пострадавшее бедро. Потом он одевается и перед зеркалом видит себя в клетчатой юбке и вспоминает, что он женщина и зовут его Лена. Но тут же забывает про это, потому что начинает сходить с ума дальше.

Почему так одиноко в этом несуществующем времени, и ты не можешь позвонить и сказать “приходи”, потому что неизвестно, придет ли. Вдруг не придет? Ожидание просто еще можно как-то выносить, а вот ожидание после “приходи”, если не пришел, к нему же тогда прилипает раненое самолюбие. Вернее, самонелюбие, потому что именно что невозможно любить себя такой — к которой не пришел, ненавидишь себя за то, что не пришел, говоришь: вот ты какая — такая, что он к тебе не пришел. Сколько я могу ждать? Сколько я могу ждать?

Сходящий с ума проголодался, он хочет пожарить себе котлеты. Он помнит, что для этого нужно открыть холодильник. Но как он открывается? Ключа от холодильника нет на той связке, которая торчит в двери.

Если бы ..... пришел к Лене, он бы знал, как пожарить котлеты, он нашел бы недостающий ключ, ему было бы не все равно, голодная она или нет. А так — в конце концов, какая разница?

Когда-нибудь пройдет несколько тысяч лет и станет совершенно неважно, было ли что-нибудь съедено вот именно этим человеком-женщиной, одной из миллионов женщин, живших на этой планете в тот день.

Я не понимаю только, если все равно, если сегодня — далекое прошлое того будущего, когда станет все равно, почему я до сих пор все чувствую?

Вот если бы точно знать, что ты придешь — тогда бы я могла позвонить. Если бы не бояться, что твой голос будет ледяным, как замороженные котлеты в запертом холодильнике. Знать бы, что ты скажешь: “Я уже еду. Я буду у тебя через час”, — если б так, я бы согласилась, чтобы час длился вечность, я могла бы ждать целую вечность, если бы знать, что ты придешь. Но знать наверняка, что придешь, можно только если ты уже пришел. Потому что пока событие не состоялось, оно каждую секунду имеет возможность так никогда и не состояться — мало ли что. Поэтому звонить и говорить “приходи” имеет смысл, только если ты уже пришел. Но тогда зачем звонить и что-то говорить?

Сходящий с ума испытывает большие трудности с мышлением. Чем он логичнее мыслит, тем к более странным выводам приходит. Концы с концами не сходятся. Можно их свести — но тогда нарушится вся логика. Тогда получится, что можно вообще не думать — а просто в конце сказать готовый ответ — и все. Но тогда получится, что можно сказать все, что захочешь, что ответ может быть любым. Потому что если к нему не ведет логическая цепочка, то он ничем не обусловлен, и истинность его невозможно проверить. Ты можешь сказать любой ответ, но ты никогда не будешь знать, правду ли ты говоришь. Сходящему с ума нелегко думать.

И потом, он очень тревожится. Чем больше тревога, тем труднее думать. Тем больше хочется лечь и спрятаться. Может быть, вечность ожидания закончилась? Если сегодня — прошлое того будущего, в котором ты пришел, то можно ли сказать, что ты уже пришел в будущем?

Раздается звонок в дверь. Сходящий с ума надевает кофточку и открывает дверь. Это сосед. У него волосы трех цветов. Очень светлые, светлые и рыжие. Он говорит, что в ванной по стене течет вода. Почему бы ей не течь в ванной. Ванная на то и ванная, чтобы там вода текла. Он говорит, что в его ванной вода выключена, а вода течет. Как же она может течь, если она выключена? Оказывается, сходящий с ума не был внимателен и не закрыл воду, выскакивая из ванны, и теперь она из его ванны течет через край и через пол в соседскую ванную. Не беда, это поправимо. Выключим, вытрем, не надо беспокоиться, потому что будущее, когда все вытрем, оно как бы уже сейчас, а когда не вытерто — оно уже сейчас прошлое того будущего, где все хорошо.

Сходящий с ума закрывает воду в ванной. Возвращается в коридор — сосед ушел, а входная дверь не закрыта. Надо ее закрыть. Так. Кто-то, значит, пришел, раз дверь открыта была. Это ты пришел. Я знала, что ты придешь. Дай я поцелую тебя. Я так и знала, что вечность закончится и ты придешь. Теперь у нас будет настоящее время. Я могу даже позвонить тебе, хочешь? Хотя теперь это уже не важно. Ну конечно, чтобы открыть холодильник, не нужно ключа. Воду в ванной я уже закрыла, тоже без ключа. А холодильник просто открывается, сам по себе, и закрывается так же — стоит только легонько толкнуть белую дверцу. Как я рада тебе, ты даже не представляешь, что можно так радоваться. Ка-

кое лето за окном, правда? Сколько солнца. Колышется все, какой ветер, и шумит. Будем жарить котлеты и смотреть в окно. Ты любишь смотреть в окно?

Сошедший с ума не испытывает одиночества. Потому что он больше не один.

ИГРА В МЕТРО

Взрослые боятся играть. Их научили думать об ответственности.

Мне нравятся светлые ботинки этого парня и его голубые джинсы. Каждый раз, когда мой взгляд попадает на них, внутри у меня отзывается. Не знаю, может, светлая замша напоминает мне горы, а джинсы — небо. Его лицо меня не интересует. Но мне нравится сочетание песочного с голубым. Почему, спрашивается, я должна думать о его бессмертной душе?

Я отвожу взгляд от ботинок, смотрю на девицу, которая сидит в самом конце вагона нога на ногу — ярко-белая блондинка. Неужели и у нее есть душа? Замша поворачивает голову и смотрит туда же. Мне нравится эта девка, а ему? Украдкой подглядываю — фу, какая блеклая физиономия у Замши, и без всякого выражения, ничего не поймешь. Ладно, едем дальше. Тут вдруг он встает. Выходит? Нет, просто встал у двери. Стоит посредине между мной и белой. Поглядывает то на нее, то на меня. Нет-нет, мне есть дело только до твоих ботинок. Если бы мы заговорили — у нас не нашлось бы и трех тем. И вообще, я выхожу, всем спасибо.

Людей в метро несметное множество. Каждый из них — возможность. Ведь они совсем рядом. И, в принципе, к каждому можно подойти, заговорить, можно войти в его жизнь, разузнать, как там что устроено, и продолжать время вдвоем — с этого момента. Но войдя в чужую жизнь, ты уже никогда не вернешься в то время, когда знакомство еще не состоялось. Ты начнешь влиять на другого человека. Из-за тебя он сделает одно и не сделает другого. Вот что будет, если я подойду к этой девице на высоченных каблуках и в вязаной шапочке-ажур и спрошу: “Кого вы ждете?”.

На переходе с “Марксистской” на “Таганскую” на лестнице разбрызгана вареная вермишель. Побольше на нижней ступеньке, вверх по убывающей. Этот бедняга, которого вырвало на лестнице, мало того что пил какую-то скверную водку, так еще и закусить ему было нечем кроме вареной вермишели. Какая скучная у него жизнь! У меня желудок сжимается от жалости к безвестному идиоту.

Я сажусь на боковое сиденье, чтобы удобно смотреть в соседний вагон. Люди там как на экране. Могу рассматривать их сколь угодно беззастенчиво. Через два стекла мой взгляд неосязаем. Никто не поворачивается в мою сторону.

На “Кузнецком” заходит. Очень высокий, небось, колени будут на полпрохода, когда сядет, — накрест от меня, на такое же сиденье на троих. Профиль, длинные волосы, в руках скрипичный футляр. Для скрипача его лицо слишком резкое, слишком интеллектуальное. Может, это не его скрипка? Или вообще пустой футляр.

Он улыбается. Знаю это выражение. Я так улыбаюсь, когда на меня смотрят. Между нами возникает “ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь”. Игра продолжается. И вдруг на “Беговой” он вышел! Наверно, на электричку. Жаль. Но раз он догадался, что я не просто смотрю, а на него смотрю, то я не желаю провожать его взглядом. Из чистого упрямства не поворачиваю головы, продолжаю смотреть, куда раньше — на место, с которого он встал.

И тут спиной понимаю, что он не ушел, а вошел в мой вагон. Я не оборачиваюсь. Теперь я его вижу: отражение его в стекле передо мной. Значит, ощущение в спине меня не обмануло. Поезд тронулся. Я поворачиваюсь, но смотрю не на него, а в даль вагона. Я не должна на него смотреть — если мы встретимся глазами, он подойдет и заговорит.

“Полежаевская”. “Осторожно, двери закрываются, сле...” — и тут я быстро поднимаюсь и выскакиваю из вагона, двери захлопываются за мной. Он подается вперед, но поздно, двери закрыты. Вот теперь можно смотреть. Мы смотрим друг другу в глаза через дверь. Радужка темно-серая, с черным ободком. Я люблю такие глаза. Он подходит к двери и кладет ладонь на стекло под “не прислоняться”. Я кладу свою — со своей стороны. Стекло толстое, не пропускает тепла. Мне так безумно жаль, что оно между нами. И это такое облегчение — знать, что уже ничего нельзя поделать. Мы смотрим друг на друга без улыбки, смотрим изо всех сил. Поезд трогается. Я отнимаю руку и делаю несколько шагов, но и взгляд разрывается.

Я никогда не доигрываю до конца. Я боюсь. Меня научили думать об ответственности. О том, что будет наутро. О том, что каждому из нас может быть больно.

Взрослые люди боятся играть.

НИГДЕ НЕ СКАЗАНО

Нигде не сказано, что этот плод был привлекателен.
Г.К. Честертон

Эти яблоки не были ни спелыми, ни вкусными. По правде сказать, они никогда так и не созревали. Маленькие, темно-зеленые, с мохнатенькими хвостиками, они крепко держались на своих черенках. Потом они так и засыхали на ветках и даже в середине зимы продолжали висеть, как дохлые летучие мышки. Короче, ожидать от них приятного вкуса не приходилось. Интрига была в другом.

Яблоня-дичок, на которой они росли, стояла на окраине сада. Она была не наша. Почему-то считалось, что она принадлежит Федору Саввичу, чье громадное садовое хозяйство соседствовало с нашим скромным участком. Федор Саввич был высокий чисто выбритый старик в белой рубашке. Однажды он пригласил всю нашу семью — то есть Маму, Папу, брата Сережу и меня — к себе в гости. Он водил нас по аллеям и показывал свои деревья. Вот где были настоящие чудеса! Там было дерево с удивительной ветвью. На всем дереве росли яблоки, а на этой были странные плоды, по виду схожие с яблоком, но имеющие грушевую медвяную, сочащуюся соком мякоть. Один такой фрукт (на ветке их было всего три) Федор Саввич торжественно снял и дал нам попробовать. Мама и Папа отказались в нашу пользу, и мы с братом по очереди вонзали зубы в плод, пока взрослые в благоговейном молчании взирали на нас с высоты своего роста, пока мы не перевели дух, утирая замаранные сладким соком щеки. Брат положил огрызок в карман.

Потом он объяснил, что хотел вырастить такое дерево у нас. Была выковырена специальная ямка подальше от взрослых глаз — мы скрывали наш замысел, — и Сережа ссыпал туда с ладони совершенно заурядные на вид семечки. Я поливала землю из синего пластмассового ведерка с ребристой красной ручкой. Из того самого, с которым папа показывал мне фокус — налив ведерко водой, крутил его, но даже когда ведерко оказывалось наверху, вода не выливалась. Я поливала из него землю, вода быстро впитывалась, земля пахла сыростью, к концу лета из нее выросла крапива.

Так вот, по какой-то загадочной причине маленькая корявая яблоня-дичок на окраине нашего сада считалась принадлежащей Федору Саввичу, и яблоки с нее рвать не разрешалось.

— Если тебе надоели наши яблоки, давай я куплю у тети Веры сливы, хочешь? — вот и все, чего я добилась от мамы своими вопросами.

Мы выступили в пиратский поход, прячась за кустами и подавая друг другу тайные знаки. Мы зарубили напавшую на нас крапиву, я упала с качелей, беря на абордаж королевское судно. После необходимых медицинских мероприятий (пиратский платок теперь красовался у меня на ноге, кое-как прикрывая ссадину на колене) мы продолжили победоносное шествие по неведомым землям. С тыльной стороны дома нашли отсыревший том Карла Маркса с вырванными из середины страницами и по нему отыскали спрятанный ацтеками клад — им оказался гладкий белый камешек, который Сережа положил в карман. Клад охранялся Великим Змеем — огромным розовым червяком, который пульсировал кольчатым телом, пока не удрал от нас подальше. Доблестные и уставшие, мы вышли к забору. Нам хотелось увенчать свой поход каким-нибудь великолепным подвигом, и, пузырясь отвагой, мы нарушили запрет и сорвали зелененькое яблочко с дичка. Оно было кисло-горьким, мы по очереди откусили от него и стали ждать кары. Но ничего не произошло, кроме того, что наступали сумерки и пора было возвращаться домой.

У нас была теперь своя страшная тайна. За ужином мы безропотно съели по порции овсяной каши, а когда дело подошло к чаю с пряниками, мы рассказали Маме и Папе, что играли в индейцев, и они радовались за нас. Но мы не могли разделить их радость. Каким-то образом она становилась невзаправдашней — мы-то знали, что если бы они знали, они бы не радовались. Прошел еще день. Не сговариваясь, мы отправились к Федор Саввичу. Вышли за калитку, долго шли вдоль забора.

В конце концов мы отыскали его в одной из уходящих в бесконечность аллей. Он приматывал веточку к дереву и попросил нас подождать. В полном молчании мы ждали, пока он закончит.

Потом мы признались, что сорвали яблоко с дичка.

— Они же невкусные, — сказал старик.

— Дело не в этом. Мы сорвали с вашей яблони, — сказал Сережа.

— Без спросу, — уточнила я.

— Допустим, — согласился наконец Федор Саввич, — и что?

— Наверно, вы должны наказать нас.

Он задумался. А потом сказал: “Я накажу вас так. С сегодняшнего дня всякий раз, когда вас кто-то полюбит, вы усомнитесь, правда ли это. А когда вас будут ругать и гнать, вы будете точно знать, что все происходит на самом деле”.

Мы стояли перед ним, замерев, и даже не переглядывались. Он отпустил нас движением руки и вернулся к своим занятиям. А мы отправились домой.

К концу лета ребристая ручка у моего ведерка отвалилась. Осенью Сережа пошел в школу.

ДВА РАССКАЗА С ЛАДОНЬ

Жажда убийства

После уроков мы ходили к друг другу в гости. В тот раз Машка приволокла ко мне огромную доску настольной игры. Мы уже собирались запустить металлический шарик, как услышали жужжание. В шторе билась муха. Машка поймала ее и сказала, что убьет. А я сказала, что раз моя штора, то и муха моя.

Хотя раньше я не убивала мух. И до этого момента не собиралась.

Машка разбила мне нос. Я вытащила к лифту ее тяжеленную доску и заорала:

– Вон из моего дома!

Дверь грохнула, и стало тихо.

Муха ползала по подоконнику. Смысла в ней никакого не было.

Через час мы с Машкой помирились по телефону и пошли гулять.

Африканская страсть

На стуле рядом со мной лежал очечник. Высокая старуха отошла от окна сберкассы и взяла его:

– Чуть не потеряла свои глаза! Стекла у меня особые, бифокальные, сверху смотреть, снизу читать.

Не зная, что сказать, я ответила:

– Удобно!

– Мне восемьдесят, имею, право, – отозвалась старуха.

– Вы хорошо выглядите, – искренно заметила я.

– Преподавала французский и испанский всю жизнь, – неожиданно объяснила старуха. – Вся Африка была наша, там ведь говорят по-французски.

И, повторив: «Вся Африка наша!», победно подмахнула бедрами.

В этом возрасте непристойность не мешает элегантности

Алёна РОМАНОВА

В ТОТ ВЕЧЕР Я СТАЛА ЗНАМЕНИТА

В тот вечер я стала знаменита.

Всегда мечтала проснуться на утро знаменитой. Долго-долго ждала. А стала знаменитой вечером.

Когда я выиграла в рулетку, об этом написали все трувильские газеты. Все – это Жасминия. Она носит жилетку, пропахнувшую табачным дымом с ароматом жасмина. Потому я ее так и назвала. Она – не газета, она – подруга Аврил, той самой Аврил, торгующей парусиновой одеждой в «Белом Вилли». Жасминия курит свою трубку и, поднимая бокал, невзначай нашептывает о моей победе плешивому корсиканцу с сигарой. Я стою с Баскетом, местным рыбаком, знающем все амплитудные дыры Ла-Манша, в руках мешок, и нам пора бежать. Баскет держит меня за рукав, мы синхронно должны сорваться с места (а я не люблю эти синхроны, никогда не попадаю в такт – страх подвести коллектив с детства). И вот мгновение, скрип колес за окном, и наши ноги мчатся по паркету, деревянному настилу набережной, чайки, огни и лодки.

Это случилось в мой первый приезд в Трувиль. Новичкам везет. Так, в тот вечер, я стала знаменита. А трувильский рыбак, проживший всю жизнь в этом поселке, сбыл мечту тридцатилетия - сбежать из Нормандии, к Лазурному побережью. Теперь он в Провансе, варит кофе на набережной Круазет (в Европе всё почти как в Лос-Анджелесе – будущие звезды подают кофе голливудским дивам, во Франции так само), раз в год ходит на Каннский фестиваль и выпрашивает приглашение в кино, апеллируя шпагатом (как у Ван Дамма) и плечами (как у Шварценеггера). Но я за него рада. Ему больше не придется уху и рыбный суп закатывать в банки и продавать на рынке Трувиля (Баскет это ненавидел). Он по-прежнему пьет кальвадос и пишет мне письма (благодарит за вознаграждение). Играла и выигрывала я тот миллион, Баскет лишь помогал мне сбежать, с мешком, из которого несло азартом.

А я думала прославит меня спектакль. Ан нет, миллион в корзине, и пуляй сколько хочешь и куда хочешь. И я издала свой роман. Первый самый. С размахом вывернув полкорзины, на пиарщиков, переводы (даже на монгольский), и презентации всюду (кроме Трувиля). Новые брови делают свое дело. Чудо косметологии переписало меня до неузнаваемости. В зеркале не я, но то, что звучит в прессе, мне нравится.

Так, в тот вечер, в французской рыболовецкой деревушке, я стала знаменита. И богата. Трувильцы помнят

тот исторический день, слагают легенды, и, встречаясь в парусиновом бутике Аврил, спрашивают, не слышал ли кто, где сейчас та заезжая белокурая незнакомка. Жасминия сидит в углу, покряхтывает, курит трубку и начинает рассказывать последние новости, об очередной горячей ночи, проведенной в казино – в жажде словить Синюю Птицу. Трувильцы хохочут и не верят восьмидесятипятилетней старухе, потерявшей в Северном море мужа-моряка. А она, выпуская клубок жасминового дыма, закрывает глаза и улетает в сновидения прошлого. И помнятся ей далекие тридцатые, когда она, маленькая девочка, с белокурыми кудряшками-завитушками, прибегает в бутик легендарной Коко Шанель, в соседнем Довиле. Молодая Коко тогда еще не легенда, она только начинает сбывать мечту, не подозревая, что одевая весь мир в открытые купальники, она становится звездой мировой моды.

Белые парусиновые одежды развеваются на ветру, отгоняя запах морских креветок, с рынка, что напротив. Я сползаю по стеклу (ночные фонари за окном бьют по глазам), ударяюсь о спинку сидения (в этом автобусе она из черного пластика) боль пробуждает, а голос нашей неугомонной сопровождающей отрезвляет окончательно: «Дамы и господа, мы въехали на территорию Германии! Адью, Франция! Адью!»

С ужасом разжимаю плечи, будто на спине разошелся на две половины платья шов, пытаюсь сдвинуть лопатки, скрыть оголенную спину. И в этот момент понимаю, не я знаменита, она. Неугомонная сопровождающая моего первого путешествия в Париж и обратно. А я всего лишь беззвучный сороколетний пассажир, только что сбывший свою мечту. И на то, что в тот вечер я стала знаменита, намекает лишь парусиновая блузка, купленная в «Белом Вилли», да пару коробочек сардин из трувильского магазина по соседству. Подарочный сверток подпрыгивает в рюкзачном мешке, свисающем со спинки сидения соседа спереди, и эти подпрыжки мешочка шепчут «С днем рождения!»

На вечер наползает ночь. Немецкая мгла цепляет едва заметные звезды на небо. Под французские мелодии Мирей Матье я дописываю в мечтаниях роман, и в какой-то момент оборачиваюсь, все вокруг спят, только водитель катит бус по ровной автостраде. Я таки знаменита, точнее, именита. И часы пробили новый год для моего перерождения. А мне бы, как в довильской ленте Лелуша, своего мужчину у моря, взмывающие ввысь чайки и наши дети-друзья, звонко зовя «папа», «мама», выбегают, как из оживающей виньетки линии времени - блестящего Будущего.

29.01.2017

Айрат МУСТАФИН

СТИХИЯ

Море смеялось.
М.Горький

Море лежало спокойно на спине, вглядываясь в синее небо над головой. Оно щурилось, переводя взгляд на яркое солнце. Ему даже не хотелось шевелиться. Только иногда оно слегка двигало пальчиками на ногах, перебирая прибрежный песок и гальку.

Вдруг ему вспомнилось что-то совершенно смешное. Оно сначала улыбнулось, едва-едва. По его поверхности побежала рябь, и прошлась лёгкая волна. Потом смех овладел ею совершенно. Оно сотрясалось. Волна за волной били о прибрежные валуны, поддерживая её смех. Голос её стал слышен на всём побережье. Солнце спряталось за тучи. Небо нахмурилось.

Море продолжало смеяться, выталкивая из себя брызги и волны, выплёвывая на поверхность и берег скользких медуз, которые проклинали неожиданную весёлость моря.

Рыбаки спешили привязать покрепче свои ялики. Отдыхающие торопились укрыться от стихии. Теперь море смеялось над ними.

* * *

3 октября 2017 года Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип получили Нобелевскую премию по физике за открытие гравитационных волн.

Мы знаем теперь и вселенскую любовь.
Две чёрные дыры приглянулись друг другу.
Спать не могли.
Возмущались, пока только издали,
Совсем незаметно.
От переизбытка чувств
Втягивали в себя всё, что лежало вокруг.
И вдруг оказались рядом.
Потянулись друг к другу чёрными губами
(гораздо чернее квадрата Малевича)
И слились в поцелуе,
Превратившись в единое целое.
И по всей Вселенной пошли
Гравитационные волны настоящей любви.

А вы
Так бы смогли
Любовью своей содрогнуть Вселенную,
Хоть чуть-чуть,
Хоть и не всю?

* * *

Попробуй
Связать два луча солнца
Между собой
Вопреки природе.
И удивись,
Когда всё получится
Несмотря ни на что.
В узелке усилий,
Запутались лучики.
Чтобы доказать невозможное.

* * *

Русь широкая.
Звёзды близкие.
Цветы и травинки – низкие.
Былинкой во Вселенной
Болтается Земной шарик –
Такой маленький.
Малик – восточный царь
Восседает на монарших подушках.
На ушко ему лепечет советник
О том, как он велик.
А шарик летит,
Приближаясь к неотвратимым звёздам.
Берёза плачет, питая русскую грусть.

Анастасия МАТЕШКО

ВЕДЬМА И ЗАСТЕНЧИВЫЙ ЭЛЬФ

Матильда была деревенской ведьмой, которая как и полагается всем ведьмам жила в стороне от остальной деревни, на хуторе из пяти хат, одну из которых занимала сама, а остальные, четыре сдавала осиротевшим домовым. Она была уже женщиной в летах, но настойка из гадючьего яда пополам с медом диких пчел убирала морщины с лица на пол года, а стройная фигура дополняли образ молодой девушки, только взгляд покрасневших и много повидавших на своем веку глаз, выдавали в ней опытную ведьму. Иногда пары от котла ударяли ей в голову и тогда она бегала голой по полям и горланила песни, совсем как в свои 16-ть. Горе тому, кто повстречает ее в этот день! Закружит насмерть!

Матильда накинула накидку из волчьего меха, траченную молью и выжженную кислотой, и направилась по узкой тропинке в сторону леса.

Накануне Остары, когда сходит первый снег, если повезет, можно обнаружить на полянах новые ведьмины круги. К Ламасу там можно будет насобирать маленьких грибов на жидких ножках для приворотных зелий и для отравительных смесей, за которыми приезжают из самого замка курфюрста. А до того, круги нужно скрыть от посторонних глаз и пометить места мхом на деревьях, и лентами на ветках, неотличимыми от полосок надорванной коры. Этим Матильда и собиралась заняться в ближайшие дни.

Сыро и холодно было в лесу. Вогкие сапоги набирали на себя глину и мертвые иглы сосен и только замедляли шаг. Волчья накидка напиталась туманом и давила на плечи. Ох и тяжко!

На заветной поляне под ворохом прелой листвы ведьма разглядела две зеленые искры. Эльф ждал дара. Как всегда. Матильда сняла с веревки на шее кольцо и бросила в сторону огоньков.

Подул ветер и обнажился ряд бугорков. Вот он, ведьмин круг! Повезло!

– Прими что ли людскую подобу, потолкуем? – Матильда присела на поваленный ствол старой ольхи. Вот и метка, обрадовалась она, – лучше не придумаешь!

– В людской подобе мне тяжело. И как вы только носите на себе столько!

Голос эльфа сначала прошелестел в ветках, едва не сдвинув старое гнездо сойки, а затем раздался в голове Матильды мелодичным звоном речных камешков, словно они настаивали дождевую воду на дне ее котелка.

– Не можешь, бедняга? Бывает! – Ведьма не удержалась и расхохоталась, рискуя разозлить представителя малого народца. А ведь ни одна из ее товарок погибла в центре круга, танцуя с эльфами против своей воли. Вот выскочит сейчас и затащит в круг, а там поминай как звали! Не зли его лучше, шептал внутренний голос, но Матильда только отмахнулась и продолжила: – Ну, я вот месяц на меде с водой сидела, чтобы зрение обострить. Можешь выходить. Увижу и в не людской!

Эльф встал в полный рост, прямо напротив ведьмы. Ее людской дух, хоть и приглушенный купанием в череде и полыни, вызвал у него гримасу отвращения, почти такую же, какую обычно вызывали русалки и прочие навские создания. Но любопытство пересилило и эльф остался. Ведьма щурилась, пытаясь сконцентрировать взгляд на вибрирующем воздухе прямо перед собой, но так ничего и не увидела. Наверное, те два перепелиных яйца на завтрак в прошлый четверг испортили всю затею. Матильда протянула руку, чтобы потрогать дрожащее облачко и эльф отпрянул. Горячо ему было.

– Год назад тоже ты дежурил? Чудно это, но я тебя узнала.

– Я!

– Сам вызвался или в немилости у вашего короля?

– Сам!

– На меня поглядеть хотел или как? – Ведьма хохотнула снова, дивясь сама себе. Да что это на нее нашло. – Может в круг затянуть хочешь? Кольцо то забрал. А не уходишь?

– Кольца твои нам ни к чему. Мы же не гномы, золото вместо солнца в пещеры тащить. Нам нужны воспоминания, связанные с вещами людей – диковинные, хоть и страшные. Они нам в зимние вечера досуг скрашивают. Кстати, часть желаний людских от тебя примешалось. Твои совсем другие. Вот и любопытно стало.

– Так! И что же тебе про меня известно Эльф?

– Не будем об этом!

– Нет уж! Раз начал.

– Ну, например, такое: знак на запястье у тебя колот чернилами из ягод остролиста, а ты думала, что драконья кровь. Так что оберег у тебя никакущий! Да и драконья кровь на нас не шибко работает, скажу тебе по секрету!

– Это дань традиции! – ведьма вздохнула, – Не против вас оберег! Знаю я, что вам людской дух противен. Больно мы вам нужны! И что забираете вы в танец заблудших из сострадания.

– Не совсем. Сострадание нам так же чуждо, как и прочие ваши чувства. Разве что... – Эльф замолчал.

– Знаешь что, милый! Ты не юли. Чего надо-то? Мне вот грибков набрать, безделушками заплатить и вернуться живой-здоровой к себе в избушку. А тебе? Или иди-ка сюда, поцелую!

Эльф ничего не ответил и растворился в лесу. А ведьма подняла кольцо, которое он не принял в дар и загрустила. Как теперь отраву варить без грибов из круга? Конец карьере, а главное, из-за чего? Застенчивый эльф ей попался. Зря только худела да в череде парилась.

Когда ведьма вернулась домой, покосившаяся калитка скрипела на ветру, а прогнившая провалившаяся крыша являла миру верх печной трубы.

– Тяпа? – Ведьма позвала собаку, но та не отозвалась на зов.

Никого из тех кого она знала, не осталось в живых, – их правнуки теперь жили в деревне, которая мало чем походила на деревню: асфальтированные дороги, круглые тарелки на крышах, машины из которых ревели ритмы схожие с извержением лавы из преисподней.

Матильда всплакнула, осознав, какую шутку сыграл с ней эльф. Но быстро взяла себя в руки: во все времена спрос на приворотные зелья и отравительные смеси оставался стабильным. Не пропадет!

Уж она-то это знала наверняка.

– Эко, Эко, Азарак! – Матильда запела и мир завертелся в ритме старой песни и зеленые искорки в кустах за ее спиной вспыхнули и погасли, повинуясь сильной людской воле.

– Ну, давай уже, выходи!

Эльф прошелестел листвой, зарябил по ржаво-рыжей воде в канаве и порывом ветра влетел ей прямо в широко распахнутые глаза, пробивая, точно эфирная стрела, оба зрачка.

Матильда опустилась на протрухший порожек своей хаты и задрожала от наслаждения.

То самое кольцо дергалось на веревке все быстрее, и синяя жилка на шее билась под ним, не отставая.

Красная луна выкатилась на небо и закрыла его собой полностью. Или это ее веки наполнились прихлынувшей к лицу кровью?

Еще пару минут и они снова расстанутся на 12 месяцев и 12 минут.

А пока...

– Эко, Эко, Азарак!

Раз в год накануне Остары всем мирам во все времена позволено ненадолго сойти с ума.

Будь ты женщина или бесплотное творение заблудшего разума.

Ибо жизнь не творится сама по себе!

Никогда.

Для этого нужна хотя бы одна ведьма.

Владимир КОЛАРИЧ
Перевод с сербского
Елены Буевич

ПРИЗНАНИЕ

Иногда, когда я склоняюсь над листом, мне кажется, что я исчезну в словах. Слова просто расступятся и поглотят меня. Иногда, когда пишу, я хочу стать ничем. Слова проходят сквозь меня, а я смотрю на них, удивляясь. После подпишу эти слова своим именем и говорю: у меня новый рассказ.

А Дарко, он больше любит экраны. Говорит: «Там — жизнь». Но писание, слова на бумаге — это экран в моей голове. Я думаю, это лучше.

Папа мне сказал:

— Представь что-то.

Потом говорит:

— А сейчас попробуй перенести это на бумагу.

— Не могу, как-то глупо, — ответил я.

— Потому что писание начинается со слов, — сказал папа. — Слово и картинка — это одно и то же. Но сама по себе картинка ничего не значит.

Потом дал мне один лист со своими мыслями о писании.

Я его понюхал и стал читать:

«Иногда, когда я склоняюсь над листом, мне кажется, что я исчезну в словах. Слова просто расступятся и поглотят меня. Иногда, когда пишу, я хочу стать ничем. Слова проходят сквозь меня, а я смотрю на них, удивляясь. После подпишу эти слова своим именем и говорю: у меня новый рассказ».

Понравилось мне то, что я прочитал.

— А можно я возьму это в какой-то свой рассказ? — спросил я.

— Можно, но только если признаешь, что ты не сам это написал.

Вот, признаю. Ощущаю под рукой лист, но это скоро пройдет. Внутри, в моем сердце и голове открываются экраны, бесчисленные и все одновременно.

Папа говорит, что писать — это значит быть одному.

КОВБОИ И ИНДЕЙЦЫ

Сначала я писал про ковбоев и индейцев, как и мой папа.

Папа писал в огромной красной тетради с твердой обложкой. Писал он чернильной ручкой, а на обложке даже нарисовал — плохо, конечно, потому что он всегда плохо рисовал, — голову того индейца, по имени которого на-

зван роман. Роман у него из тридцати страниц, и это было отлично для мальчика, каким тогда был папа...

А я писал в маленьком черном ежедневнике, шариковой ручкой, а потом набирал на компьютере. Я хотел, чтобы это был рассказ, полный приключений, опасностей и дружбы — всего того, что никто не может пережить в настоящей жизни.

Но потом, пока писал, я понял, что ковбои и индейцы теперь совсем не такие, как были раньше. Что-то изменилось – то ли мы, то ли они, я даже не знаю. Не мог я их увидеть достаточно ясно и поэтому не мог и писать.

Дарко советовал мне писать рассказы, как игры в компьютере, но потом он понял, что это не подходит — не может в рассказах быть уровней, не можем мы там сами выбирать земли, героев, не можем сражаться против кого-то или спорить, или разговаривать.

И тогда он мне сказал: «Пиши о чудовищах, потому что это больше всего похоже на игры. А ты там будешь героем, только возьми себе другое имя, твое какое-то дурацкое».

Вообще, моих приятелей в классе не слишком интересовали рассказы, они больше любили переписываться, посылать друг другу фотографии, играть в общие игры и комментировать, пока каждый сидит у себя дома за компьютером, с планшетом или телефоном. Я тоже так делал. Но я думал, что рассказ может быть над этим всем, это все может быть частью рассказа, и что рассказ может все это как-то связать и объяснить.

Я хотел написать о своей жизни, но у меня ничего значительного не происходило. Это для меня всегда было проблемой — писать сочинение о том, как я провел каникулы. Один раз я написал, как чуть было не утонул в море, пока пробовал нырнуть. И это была правда, только я немного преувеличил — мне тогда лишь вода попала в рот.

В другой раз я писал, как мы с папой на санках едва не влетели под колеса автомобиля. И тут я тоже немного преувеличил, но учительница была не против. Поставила мне «пять», потому что я хорошо написал. Правда, потом сказала:

«Не верю я, что и твой папа участвовал в этом».

Это как мне сказала в первом классе, когда нам делали прививки, и я никак не мог стащить с себя водолазку: «До каких пор тебя будет папа одевать?».

Но я не обманывал, папа действительно катался со мной на санках. А водолазку я уже давно надевал сам. Не знаю, почему она так обо мне думала?

Так что я стал писать о своих мыслях и о проблемах, которые возникали, пока я писал и пока пытался придумать какой-то рассказ.

Дарко сказал, что это скучно, а потом, когда прочитал один такой рассказ, — «Это не ты написал, а твой папа».

РАССЕЛИНА

Повзрослели мы с папой одновременно, в один и тот же день.

— Папа, давай скорее! — крикнул я ему.

— Да, сейчас, — сказал папа и побежал. Он тащил на себе тот красный рюкзак.

Нас ждали озера и белые вершины. Я ликовал: впервые после долгого перерыва мы вышли из города.

— А там на вершинах — это что, сахар? — спрашивал я; мой папа носит очки и все знает.

— Это красота, — отвечал папа.

— А разве красоту можно достать? — спрашивал я.

— Давай попробуем!

Я понимал, что папа шутит, но подхватил игру. Мой папа умеет иногда так рассказывать, будто загадывает ребусы. Говорит, что это полезно для моей головы. И помогает! Голова у меня никогда не болит. Чудо.

А потом, когда мы двинулись выше, и еще выше, к вершинам, земля стала очень влажной, и в одном месте папа поскользнулся. Тяжелый красный рюкзак перетянул его налево, и папа скатился в какую-то яму, поросшую одними камнями.

— Папа! — крикнул я.

— Все хорошо, — ответил он из ямы.

— А почему тогда стонешь?

— Повредил сустав.

Яма была неглубокой, это я и сказал ему.

— Не могу... Ты должен кого-то позвать.

— Мы здесь одни, папа, никого нет.

— Эти камни такие острые...

— Поэтому они и камни.

— Слушай, у тебя есть мобильный?

— Он у тебя, но наверняка разбился.

— Точно.

— Давай, здесь только мы с тобой, папа. Ты и я.

— Я разбил очки.

— Я тебе помогу.

— Помоги мне.

Я сказал папе, чтобы он встал на рюкзак, а потом ухватился за меня. Я не такой скользкий, как земля, и так он вылезет из ямы.

Рюкзак остался там.

— Да кому он нужен, этот рюкзак! — сказал папа.

Он оперся о мои плечи, и так мы отправились в город.

Драгана МРДЖА
Перевод с сербского
Елены Буевич

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Белградка Драгана Мрджа – из поколения тех, чьи родители были детьми во время освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. А еще она – внучка югославского партизана, погибшего в борьбе против фашизма. От своих родителей, от дедов это поколение получило в наследство родственную, кровную связь с великими событиями, гордость за людей, боровшихся за Великую Победу, личную причастность к истории, которая теперь запечатлена в сердцах. Этот рассказ вошел в десятку лучших произведений на сербском языке «Малого литературного конкурса «Русское слово».

СЕМЬ ДНЕЙ ВОИНА ГРИШИ

День первый
ноябрь, 1944 год

И был свет.

И прошел свет сквозь него, как резкая, оглушительная боль. Тяжестью лег на плечи.

И только мысль: «Это конец...»

Временами он приходил в себя. Ничего не слышал, а картинка перед глазами была, как в старых немых фильмах. Прерывающаяся. Пунктиром.

Всплеск... летящие груды земли... ноги бегущих людей.

Глаза, лоб, щеки — всё горело огненной болью. Зачерпывал рукой распаханную землю, сыпал ее себе на обожженное лицо.

И холодная грязь забирала в себя его боль.

И покрыл его мрак, как спасение.

Фронт продвинулся дальше.

...Тишина. Ноябрьское небо придавливает к земле. Никого. Ничего вокруг. Ни птицы. Чтобы хотя бы за неё ухватиться мыслью.

И видит себя со стороны. Лежит. Колыхается на волнах огромного черного моря.

Окоченевший от холода. А все равно - чувствует. Чувствует, как земля, эта плотная сремская земля под ним мягко дышит.

— Он жив! Он жив! Дайте носилки!

Открывает глаза. Как под водой, едва слышит голоса. Язык чужой, говорят мало и быстро, однако понятно, что: «:ив!»

— Хорошо, что ты его заметила, Анка. Весь землей усыпан, прости Господи, как заживо похороненный! Давай, Анка, подхватывай здесь... осторожно руку, сломана... давай, давай!

Женщины его отнесли на запряженную телегу. Кто-то очищал рукой его лицо от грязи — увидел чьи-то тревожные глаза, и опять все покрыл мрак...

День второй
июнь 1945 года

После все пошло полегче.

В полевом госпитале вытащили осколки, очистили раны и перевязали сломанную руку. Только лицо выглядело ужасно — все обожженное, одна сплошная рана. Анка приходила каждый день его проведать.

Врач сказал: «Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Глаз не задет, отек спадет, и кожа заживет. Не будет такой, как прежде, останутся шрамы, но главное – голова на плечах.»

«Анке это не мешает, да, Анка?» - добавил он с улыбкой, глядя исподлобья на девушку, которая покраснела и низко склонила голову.

Весна ещё только выводила дни на построение, когда комиссар полка, задержавшегося в селе, расписал их. Из больницы переселился прямо в дом к Анке.

Раны медленно зарастали. Рука все еще была на перевязи.

Видел себя, качающимся на верхушках яблонь, а потом – шедшего в поля, чтобы заглянуть к Анке: работала там с другими женщинами из бригады. По дороге тянулась колонна военных грузовиков. Сошел на обочину.

— Гриша! Григорий Станиславович! Ты ли это?

Весь заледенел.

— Это я, Лёва! — и человек, покрытый пылью, выпрыгнул из грузовика. — Ты жив, дружище, жив! А мы думали — погиб!

Грузовик остановился, подошли и другие солдаты. Лёва возбуждённо рассказывал, как вот здесь, сейчас, нашел своего боевого товарища. Как в прошлом октябре они вместе с ним, с маршалом Ждановым освободили Белград. Как Гриша пропал где-то на Сремском фронте, и все думали, что он мертв.

— А он жив, жив! Вот, и раны почти зажили, — заглядывал ему в обожженное лицо. – Теперь можешь с нами, место есть! Сначала – в Москву, а потом домой. Домой!

Гриша стоял и молчал.

— Едем, дружище? Давай, забирайся. Заглянем в больницу, скажешь, что уезжаешь.
Солдаты из грузовика провожали взглядом удалявшуюся колонну.

— Нет, я не поеду. Остаюсь тут.
— Как, Гриша? Почему? А Галина, твоя жена? Что мы ей скажем?
— Скажите, что я погиб. Что меня нет.

Лёва, не понимая, смотрел озадаченно.
«Оставь его, Лёва, поехали. Дезертир он!»- сказал один из солдат, и сплюнул сквозь зубы.

Бойцы поднялись, грузовик резко дернул с места, подняв пыль, которая только было улеглась...

День третий
28 июня 1948 года

Время жатвы.
Любил он такие дни. После жары и тяжелого труда люди отдыхали на скамейках у дома. И говорили или молчали, как Гриша. Он наслаждался закатным розовым смирением солнца.

Но вечер не был мирным. Девчонки и молодые женщины прошли по шору - широкой воеводинской улице, смеясь и шутливо подталкивая друг друга. Как бы умалчивая о чем-то, известном только им. В воздухе чувствовалось таинственное напряжение.

Он вздохнул и вошел в дом.

Анка управлялась на кухне.
— Сейчас будет ужин, потерпи немного.
На столе стоял котел, заполненный зеленью.

— Что это?
— Это... завтра — Видовдан, день святого Вита.

Смотрел на нее с непониманием.
— Праздник, большой праздник.

В ту ночь долго ему рассказывала. О старых обычаях, которые люди не забывают; про Косовский бой, про князя Лазаря и героев. Когда стала цитировать стихи: «Кто не прибыл на Косово, к бою...», у Гриши мороз по коже пробежал.

Заснул поздно. Разбудила его Анка на рассвете – солнце едва всходило.
Во дворе стоял котел с погруженными в него цветами.

— Умойся. И повторяй за мной: Ой, ты Видов, Видовдан, что я видел очами, то я создал руками! Береги, Видо, мои очи, потому что они – мой свет!

И умылся Гриша.

— Анка, ты моя Косовская девушка! – говорил, а мокрые шрамы на его лице освещала его улыбка, что дороже золота.

После обеда по шору, залитому слепящим светом, замелькали вооруженные тени. Заходили в дома, выводили людей, заставляли идти к грузовикам, в центр села.

Пришли и за Гришей.

«За что вы его? Почему? Он ни в чем не виноват! Я пойду с вами, он плохо понимает, он русский!». Солдат грубо оттолкнул.

«Знаем!»

Через семь дней отпустили его.

Анка, с глазами, опухшими от слез, только и обняла его, вошедшего в дом.

Все уже слышали о резолюции Информбюро.

«Что это было, Гриша? Ведь мы не будем, не будем против русских? По радио говорят, Тито сказал «Нет Сталину!». Боже, Боже, что же это такое?» - тихо рассуждала, пока накрывала ему поесть.

Гриша, бледный и не выспавшийся, посмотрел на нее.

«Я знаю, о чем ты думаешь. Россия, буду ли туда возвращаться? Видишь, мы приходим на этот свет, связанные пуповиной с Матерью, с Землей. И она прерывается, чтобы мы жили.

Это вовсе не означает, что и дальше мы не связаны невидимыми нитями, переплетенными в разноцветной ткани жизни...

А узел, спрашиваешь? Там, где однажды порвано, может ли продолжиться?

Даже свитер не можешь связать, Анка, из одной нити. А жизнь – тем более. И узел тут не для связи, он сам — связь».

Немного помолчал.

«Я свой выбор уже сделал,» – сказал. – Однажды я уже умер на этой земле и снова родился на ней. В ней — и моя жизнь, и моя смерть».

«А это «нет «, о котором говоришь... «Нет» сказал товарищ Сталин товарищу Тито!»

Анка испугано прикрыла его рот рукой.

И стены в те дни имели уши.

День четвертый
1950-е

Первой родилась Вера.

Потом – Надежда.
И Люба.
Анка порой расстраивалась, что нет сына. Но Гриша любил своих дочерей.

Он сидел на стуле во дворе, а они бегали по кругу вокруг него. Изображал, что не может схватить их, настолько они проворны. А когда удавалось, двор оглашался визжанием и криком.

Самолет, самолет! – кричали они.
Меньшая, Люба, в резиновых сапожках, обутых наоборот, левый на правую, ласково просилась на ручки:

— Папа, папа, малётик!

— Давай! — И он поднимал ее высоко над головой. И она с распростертыми руками, с серьёзным выражением, летала самолетиком под цветущими ветками яблонь.
Анка стояла у дверей дома, отирала полотенцем мокрые руки, с улыбкой наблюдала за ними.

«Да, знает Гриша – жену можно успокоить или розгами, или родами», - говорил сосед, опершись на забор.

«Или забвением,» - подумал Гриша.

Позвали его работать в Белград. В хороших механиках тогда очень нуждались. Согласился. Люди на заводе полюбили его. Называли Рус, Гриша-Рус.

Анка закончила медицинскую школу и устроилась на работу.
Жизнь шла тихо, девочки росли.

Только иногда, особенно осенью, Анка замечала, как он задумчиво вслушивается в ветер с Востока...

День пятый
19 октября 1964 года

Он стоял перед раскрытым шкафом и рассматривал костюмы. Ни один не казался ему достаточно подходящим. Двадцать лет спустя он снова увидит своего генерала. Но он больше не военный, у него нет формы.

Вспомнил тяжелые бои за освобождение Белграда. И вспомнил, что тогда говорил генерал народу, собравшемуся у тел погибших товарищей из их, советского, танка. И как решительно взял в руки лопату, чтобы зарыть их в землю. Схоронить прямо в центре Белграда. Сопровождали его в тишине офицеры и солдаты. И Гриша.

Это был генерал-майор Красной Армии, командир четвертого механизированного танкового корпуса, Владимир Иванович Жданов.
Его генерал.

«А сражения не страшны. Страшны сражения, которые человек ведет со своими тенями», - думал Гриша, пока его рука мягко отряхивала несуществующую пыль с лацкана. Анка медленно открыла дверь:

— Гриша... только что сообщили по телевидению. Упал самолет на Авале, все погибли. И твой... твой генерал тоже погиб.

В доме через улицу кто-то открыл окно. Солнечные лучи преломились в стеклах, упали прямо в комнату.

И прошел свет сквозь него, как резкая оглушительная боль.

День шестой
девяностые годы

Большинство обычных людей не были готовы к наступившим временам.

Земля распалась, как и образовалась: в крови и братоубийственной войне.

«Перестанет существовать все, что мы знали и принимали за свое: и Порядок, и Закон, и Обычай. Все, что мы знали, или думали, что знаем, больше ничего не стоит. Мы ничего не стоим.

Все, что было внутри, сейчас — снаружи. Как в надетой наизнанку рубашке», — думал Гриша.

Анка тяжело болела. В те дни он опять плавал в тумане между жизнью и смертью.

«Возврати меня в Срем. В нашу землю. Там буду лежать, - говорила Анка. Гладила его истонченной рукой по бугристому лицу. Из ее все еще красивых глаз струилось сияние...

День седьмой
среда, 5 мая 2010 года

По улице, спускающейся от Славии к Манежу, медленно ходил пожилой человек. Внимательный наблюдатель за утренней толпой заметил бы, что уже несколько дней в одно и то же время он сходит с трамвая и направляется к парку. И ничего необычного в том не было, за исключением, пожалуй, только одного.

Мужчина всегда садился на одну и ту же скамейку, но не так, как обычно садятся на них, а сбоку – чтобы видеть перекресток напротив парка. В таком положении сидел и внимательно присматривался к противоположной стороне улицы, как будто ожидая чего-то, что должно случится. А когда стрелки на часах подбирались к двум, поднимался и уходил.

В тот день, немногим пополудни, на углу остановился небольшой грузовик. Работники вынесли лестницы, прислонили их к стене здания. Работали четко и слаженно, и табличка с названием улицы быстро была заменена.

Человек уже встал со скамейки, и как только они отъехали, перешел улицу.

Стал под табличкой, поднял голову.

На ней было написано: «Улица генерала Жданова».

По щеке, петляя по старому шраму, стекла слеза. Он поднял сжатый кулак ко лбу и поприветствовал по-военному.

Показалось ему, что слышит голос генерала:
— Брось, Григорий, брось!
— Служу трудовому народу! – ответил.

И был май, а как будто бы стоял октябрь. Сквозь густоту листьев деревья пронизывал все более яркий свет.

И прошел этот свет сквозь него как резкая, оглушительная боль.
И он медленно опустился на землю, и покрыл его мрак, как спасение.

«...И он отдыхал на седьмой день от всех дел своих, которые творил и созидал.»

Белград, 12.11. 2015

(Перевод с сербского – Елены Буевич)

САЖЕТА ЉУБАВ

Милица ЛИЛИЧ

У две речи
сместити се
може
цео космос
и прелити
у једно срце.

Од две речи
душе пуне
изградити се
може
велики
светлећи
мост
што
спаја
два непозната
света.

От две речи
подићи се
може
насип
да чува
жубор ума
у песми
незаустављивој
реци
што тече
у два смера.

Белград, 2011

СУЩНОСТЬ ЛЮБВИ

Перевод с сербского Татьяны Жидковой

Целый космос –
в два слова,
перелить
в одно сердце.

Из двух слов можно словно
мост построить чудесный –
два непознанных мира,
две души, два дерзанья
на том светлом мосту
исполняют свой танец.

Можно насыпь построить,
можно реки подвинуть,
может живость ума
и убить и подвигнуть.
Реки слов утекают,
убегают беспечно...
Только в двух направленьях –
расходясь в бесконечность.

Белград, 2011

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА „ВНОВЬ ОТЫСКАВШИЕСЯ“

Милица ЛИЛИЧ
Перевод с сербского
Гузель Галааевой

Он всегда ощущал в себе беспокойство непонятного происхождения, необходимость исследовать свое существо как непознанное пространство, в которое невозможно заглянуть. В его голове раздавались слова матери, которая однажды рассказала ему необычный сон, еще до его рождения. Она сказала: «Хоть это и будет звучать абсурдно, но тот самый сон я встретила в романе Эльчина Эфендиева, тот же сон о свадьбе Махмуда и Марьям. Иногда я вижу тебя таким задумчивым, мне кажется, что передо мной лицо того несчастного князя, что был не совсем от мира сего, и не мог жить в согласии с ожиданиями того, что унаследует корону и всеми силами будет бороться за ее сохранение. Его короной была любовь. И мне кажется, что тебе именно той короны не хватает, чтобы не быть таким грустным». Эти слова полностью разоблачали его, внешне кажущуюся упорядоченной, жизнь с красавицей женой и прекрасными детьми. Чего-то недоставало, и мать это поняла. Как бы ответив на мое молчание, он сказала: «Порой мне кажется, что ты появился не из моего тела, а из того сна....» И в этом была некая истина. Были дни, когда он так и ощущал себя, как будто он не человек, а некий странный мерцающий свет, который ищет убежище.

Уже два десятилетия он занимался журналистикой, обошел полмира, насмотрелся человеческого страдания, людей разного цвета кожи и разных национальностей. То, что пробивалось из темноты его бессознательного, не было ни на что похоже. Оно было непознанным, как и его внутреннее «я», однако очень близко, и принадлежало только ему. Он должен был познать это, эту присущность чему-то неизвестному, далекому, неясному. В такие моменты он больше принадлежал ей, той предполагаемой будущей женщине, чем той, с которой живет. Это было непривычное ощущение, он бежал от него, но оно шло за ним по следам. «Моя карма живет, и я не могу ее избежать», – думал он часто, когда читал книги восточных мудрецов.

Он вспомнил книги любимого азербайджанского писателя Эльчина (фаворита матери), который пишет об универсальном человеческом страдании, о связи между всеми людьми, потомками Адама и Евы, любой национальности и веры. И он знал, что с таким опытом прочитанных и написанных книг, он, конечно, прав, и люди это не видят. И все они смертны, временно живут в этом мире, напол-

нены грустью и пустотой существования, потому что Бог им дал только тела, а души они должны сами наполнить, и вместо того, чтобы быть сплоченнее друг с другом, они ненавидят друг друга и убивают.

Странное чувство тяжести, пустоты наполняло его душу, как никогда раньше. Вместо того, чтобы пойти домой, он пошел в сторону берега, Приморского бульвара, в надежде, что пучина успокоит его. Набережная была полупустой с несколькими прохожими, погруженными в свои мысли. Это даже понравилось ему. Он должен был быть наедине со своими непостижимыми мыслями.... Они нашептывали ему и слова любимого сербского писателя, лауреата Нобелевской премии Иво Андрича: «Все в мире – мост – и смех, и вдох, и взгляд. Все в мире жаждет найти другой берег. Это стремление людей видеть и слышать друг друга и узнавать и звать друг друга с берега».

Да, он осознавал, что речь идет о глубоком познании, о том, что его бессознательное знает, и что пока остается внутри. Оттуда оно давало приказы сознанию, и он поступал так, не зная, почему. Вдруг, кто-то похлопал его по плечу, будто сочувствуя ему и тому, что происходит в его душе. Он медленно оглянулся и увидел немного улыбающееся лицо великого и любимого писателя, господина Эльчина, которого благодаря его грандиозности и великой популярности назвали народным писателем. С ним он время от времени сотрудничал, и в голове его постоянно парила фраза из его книги, точнее стихотворение «Меня создала печаль», потому что печаль обусловила все, что он делал и то, каким он стал.

Искренне обрадованный, он протянул ему руку. Ощутил необходимость признаться ему в том, что пока и сам в себе до конца не понял.

– Салам Эльчин, как ваши дела?

– Хорошо, парень, спасибо. Не уверен, что ты в порядке. Наблюдаю за тобой уже некоторое время и думаю что ты заблудился. Будто ты не тот Анар, которого знаю много лет. Что-то странное в твоих глазах, а тебе известно, что мы старики легко видим душу, когда смотрим в глаза. А твои глаза пусты и грустны, все ли в порядке с твоей семьей?

Анар был тронут. Да, с ним происходило что-то серьезное, и великий писатель это сразу заметил. Даже супруга, которая заботливо смотрит на него, ничего не заметила. Он был смущен тем, что не смог подавить беспокойство, и что такой знаменитый человек это заметил. Он не любил выглядеть слабым в чьих-то глазах. Однако, взгляд Эльчина излучал что-то теплое и отеческое, и он в мгновение решил пошутить, чтобы выйти из щекотливого положения, в котором должен был оставаться искренним и слабым.

– Спасибо за беспокойство, Эльчин, семья моя в порядке, а вот родственники нет, – сказал он задумчиво: дальние родственники, но и за них болит прямо посреди сердца.

Господин Эльчин стоял рядом с ним и молча смотрел на него несколько мгновений, затем спросил:

– Что за родственники? Что с ними, раз ты так подавлен, могу ли я помочь?

– Сложно, здесь только Аллах может помочь, но похоже, что он обиделся и отвернулся от них. Да и не только от них, от целого мира, – ответил Анар уныло.

– К сожалению, относительно мира это правда, но что с твоими родственниками. Где они живут?

– «Когда я был ребенком, Балакерим нам рассказывал, что все люди на свете родственники, потому что все произошли от Адама и Евы. Он говорил об этом так, будто это его личное важное открытие, и тогда его слова вызвали во мне поразительное ощущение (по некоторым причинам и таинственной) истины», – процитировал он отрывок из одного романа Эльчина, – В этом смысле самой глубокой частью своего существа я обнаружил, что нашел близких родственников по страданию – сербов с Косова и Метохии, на которых обратил внимание целый свет, ведь они хотели остаться на своей земле. Также как

и мы хотели в Карабахе. От этого я и заболел, от этой поразительной картины мира, в которой все нападают на одного, а он всего лишь хочет оставаться тем, кто есть в вековой истории со своими святынями. И я решил поехать и помочь «родным», как вы сказали...

Эльчини был тронут этими потоком речи, наполненным глубокой настойчивостью, правдолюбием, пониманием человеческого страдания, но, и в известной степени, наивностью, так как отдельный человек никогда не мог остановить дикий табун.

– Прежде всего, мне нравится, что молодой и серьезный человек знает наизусть тексты моих романов, значит, я сказал что-то, что имеет смысл

и влияние на людей, особенно, если они пытаются реализовать это в обычной жизни (хотя нет обычной жизни)....во-вторых, ты смелый парень, если собираешься отправиться туда, не зная язык ни одной из сторон, и ты подвергаешь себя опасности. А также и свою семью. Но, как вижу, мораль у молодых еще жива, и это меня подбадривает. Знаю, что давать советы – неблагодарное дело, однако хорошо подумай, прежде чем предпримешь что-то. Тем не менее, я знаю и то, что все, что мы делаем во имя Бога – хорошо и должно хорошо закончиться.

И писатель внезапно впал в грустное настроение. Вспомнил войну в своей стране, одну, потом вторую, вспомнил все ужасы, террор, голод и беспомощность народа.

Уходя он добавил:

– Если бы я был моложе, поступил бы также. Пусть великий Аллах наградит тебя за добрые дела и убережет от всякого зла.

Он уходил медленными шагами, в которых отзывался весь болезненный опыт, сжатый в истории о вечной скорби, которая охватывает людей, о «белом верблюде» (несущем смерть), который заходит в каждую дверь, о конфликтах между людьми и народами, о вечной потребности в любви.

Андрей КОРОВИН

УКРАИНСКАЯ РЕЧЬ

Кохаю тебе до нестями!
Учу украинскую речь.
Чтоб сыпать и сыпать горстями
Любимой словесную течь.

А сердце разорвано страстью
И в землю пролито стихом.
Ну что за поэзия – здрасьте! –
Пока ты живёшь ни по ком.

«Кохана» катаю в гортани.
Шепчу тебе: птица, всегда
Пусть будет дрожать между нами
Укра́инской мовы звезда!

ЮЖНОЕ НЕБО

Южное небо светится как вода.
Будто бы там, на дне, стоят города.
Ты и родился, чтобы мечтать о нём –
Небе парящем, где мы теперь живём.

Южное небо вплавлено в океан
Нашего сердца, стонущего от ран
Встреч и разлук, смс-ок, звонков, ночей,
Жарко горевших за нашу любовь свечей.

Южное небо плавится как стекло.
Видишь, навстречу поезду потекло
То ли оно, то ли дождь, то ли что из глаз...
Поезд уносит в южное небо нас.

МАЙ В КИЕВЕ

майский Киев
пахнет любовью
вальсами Штрауса
фотографиями Femen

воздух в городе
как на парфюмерной фабрике
состоит из запахов всего
что может цвести
всех видов сирени черёмухи
тюльпанов каштанов
десятков других
неизвестных цветов

город пестрит красивыми девушками
они плавают по улицам
как разноцветные рыбы в аквариуме
сидят на изумрудной траве
позируют встречным фотографам
целуют случайных знакомых

этот город любит жизнь
радуется жизни
поёт танцует смеётся
будто никакие кризисы в мире
его не касаются

парни и дивчины
зарыбляют своей любовью фонтаны
пускают её по ветру
как воздушного змея

любовь летит над городом

где современные Шагалы
чтобы написать эти облака любви
эти косяки любви
в Днепре в Киевском море

и так будет всегда
до нового голодомора
до нового Бабьего Яра
до нового всемирного потопа

а может быть эта любовь
победит все грядущие ужасы
и отменит их навсегда

жить надо в Киеве
чтобы не умирать
чтобы конец света
не наступил никогда

* * *

выскочить из кожи интернета
и бежать туда наверняка
где вскрывает скальпель Фиолента
рыжие земные облака

трогать рыбок голыми руками
плыть среди русалок по песку
следуя монаху из Оккамы
запросто развеивать тоску

быть своим на улочках нагретых
заходить в песчаные дома
и шептать на ухо лету: грета
что на это скажет твоя ма

* * *

когда по веточке акации
ты море переходишь вброд
хранитель тайной информации
о том кто в облаке живёт

как богомол идя нетвёрдою
походкою за шагом шаг
любуясь солнечной ретортою
среди рассыпанных бумаг

как гость в империи Волошина
переходящий в небеса
ты видишь солнца тень наброшена
на византийские глаза

стихи

* * *

она идёт и ты кончаешься
не в силах это пережить
ты с женщиной весной встречаешься
впервые в жизни может быть

ты пешеходное растение
ты только губы и глаза
а женщина землетрясение
а женщина всегда гроза

она пройдёт тебя навылет
откинет чёлочку с лица
и ты как Гамлет будешь выпит
до дна до смерти до конца

* * *

высокие ноги короткое тело
совсем молодая душа
а попка как будто ещё не созрела
а грудь посмотри хороша

свингует глазами свингует ногами
свингует под кофточкой грудь
ботфортам понравилось быть сапогами
губам раскрываться чуть-чуть

а волосы длинные вьются в полёте
слегка замирает душа
и если ты мимо летишь в самолёте
не сбей её полой плаща

* * *

суровая как чарличаплин
идёт подобьем башмака
растущая как дженисджоплин
из конопли из тростника

переходящая прямая
из капюшона на перрон
идёт тоски не поднимая
садится в парусный вагон

сидит одна как чёрный ворон
как эксцентрический трамвай
весь мир её печалью полон
но повторяюсь
наливай

* * *

эта девушка - жирафа
у неё глаза из шкафа
у неё в ногах бутылки
у неё в мозгах... развилки!

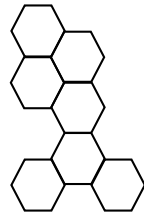
у неё на шкуре - пятна
у неё глаза обратно
у неё такие губы
есть бы веточки от дуба

у неё в спине - осанка
у неё волос вязанка
у неё возможно хвост

вот такой высокий рост

* * *

однажды в магазине
мне попалась
романтическая картошка
рассечённая надвое
в самом интимном месте
наверное неосторожный фермер
ранил её лопатой
в самое девичье сердце
и оно раскрылось
как раскрывается девушка
ждущая посвящения в женщины
красными лепестками наружу
вероятно её не сразу
нашёл опрометчивый фермер
или тот кто отвечает за посвящения



её тонкая кожа в раненом месте
подсохла зажила огрубела
такой я и нашёл её
грустной немой отчаявшейся

а сегодня в метро
я встретил девушку
с такой же картошкой на голове
в виде шляпки
и понял
что иногда картошки
превращаются в девушек
так у них больше шансов
на взаимность

* * *

два женских жеста
которые обезоруживают
любого мужчину
погладить по голове
и положить голову
на плечо

она делала
что-то третье
необъяснимое

* * *

когда закончится обед
и прочие дела
мы сбросим бремя прошлых бед
и сядем у стола

когда мы сядем у стола
мы сядем у стола
и будем жарко обсуждать
как Жанна расцвела

как Роза бабочка в саду
зелёная тесьма
а Стелла голая в пруду
купается весьма

Эммануэль ушла гулять
сегодня не одна
Кристина снова ляжет спать
наверное больна

и только Белла всё звенит
на верхнем этаже
пора газеты почитать
и ужинать уже

* * *

хорошо сказал Ростан
или кто там говорите
тело женщины тюльпан
а мужчины истребитель

хорошо сказал Шекспир
от любви одни проблемы
сердце женщины вампир
а мужчины хризантема

как сказал один Де Сад
всё любовь что ни спросите
слева рай а справа ад
говорите
говорите

* * *

тепло и надежда сирени
рабочая радость ручья
плывёт между веток сирена
чужая почти что ничья

чей голос окуклился соло
в сиреневом сне соловья
проходит мужчина за сорок
как будто бы даже не я

и тянется сон непристойный
и полнится стерео сна
и кто-то за стенкою стонет
наверно чужая весна

НАД КИЕВОМ: НА МОНМАРТРЕ ЛУНЫ

Андрей КОРОВИН
Перевод с русского
Елены Марченко

а над Киевом бродит медведица
с конопатым ребёнком своим
да гуляет в ногах гололедица
словно девочка пьяная в дым

полетим переулками сонными
где никто нас с тобой не найдёт
в этом мире живут лишь влюблённые
да качающий их небосвод

дай мне руку
скользит отражение
наших душ на монмартре луны
и в небесное это движение
мы с тобою погружены

НАД КИЄВОМ: НА МОНМАРТРІ МІСЯЦЯ

а над Києвом ходить ведмедиця
із кирпатим дитятком малим
і гуляє в ногах ожеледиця
наче дівчинка в хмілі своїм

ми літаємо вуличним сонмом
де нас більш не віднайде ніхто
в цьому світі живуть лиш
закохані
їх хвилює неба нутро

дай же руку
втікають тіні
наших душ на монмартрі вгорі
і в небесне це мерехтіння
ми занурені до зорі

* * *

наступила какая-то весна осенью
все целуются напропалую
особенно бесчинствуют
на Арбате
повальное целование
даже фонари
не могут стоять спокойно
наклоняются
завидев красивых девушек
возле
украинского культурного центра
ловят губами
разлетающиеся волосы
ароматы духов
потерявшиеся строчки стихов
девушки хихикают
подмигивая фонарям
вальсируют под дождём
посылают им воздушные поцелуи
фонари строят из поцелуев
воздушные перины
воздушные спальни
воздушные замки
дирижёр в чёрном пальто
взмахивает
свёрнутыми листами стихов
и все поднимаются в воздух
и летят над Арбатом
в своих шёлковых юбках
в своих вечерних платьях
в своих длинных пальто
куда-то на юг на юг

* * *

настала дивовижна весна восени
всі цілуються відчайдушно
бешкетуючи
на Арбаті
суцільними цілунками
навіть ліхтарі
не стоять спокійно
нахиляються
до красивих дівчат
біля
українського культурного центру
губами ловлять
розвіяне волосся
запах парфумів
загублені рядки віршів
дівчата сміються
підморгуючи ліхтарям
кружляючи під дощем
надсилаючи їм поцілунки
а ліхтарі з тих цілунків вимріюють
повітряні перини
повітряні спальні
повітряні замки
диригент у чорнім пальті
змахує
паличкою із паперу віршів
і всі здіймаються у повітря
й летять над Арбатом
у своїх шовкових спідницях
у своїх вечірніх сукнях
у своїх довгих пальто
кудись на південь, на південь

ТВОЙ ПОЕЗД

Все украинские поезда страдают от нетерпенья.
Столько любимых летит сюда, что слышен шум оперенья.
Только твой – самый скорый. Он движется твоей кровью.
И поёт песни всех времён на украинской мове.

И сияет его звезда всем, кто живёт на свете.
И удивляются города, и веселятся дети.
Сердце, сердце, стучи-стучи! Ты – мотор мирозданья.
Ты влюблённым даёшь ключи. В этом твоё призванье.

Самый скорый поезд земли – он же и самый долгий.
Он летит над Днепром в ночи, он пролетает Волгу.
Он сбивает весь ход времён, путает все планеты.
Я всё жду тебя здесь, а он, поезд твой, где же? Где ты?

ТВІЙ ПОТЯГ

Всі українські потяги страждають на нетерпіння.
Стільки коханих летить сюди, аж розлітається пір'я.
Тільки твій – він найшвидший. Твоєю спрямований кров'ю.
Співає пісні всіх часів
лише українською мовою.

Зірка його сяє всім, хто проживає
на світі.
Навіть міста дивуються, і веселяться діти.
Серце, серце, стукай-стукай! Ти – мотор світобудови.
Ти даєш ключі коханим потаємні від любові.

Найхуткіший потяг світу – він же і найдовший.
Він летить понад Дніпром, пролітає Волгу.
Він збиває весь хід часу, сплутує планети.
Я чекаю тебе тут, де ж твій потяг? Де ти?

* * *

любимая
если когда-нибудь у нас появятся деньги
мы пойдём с тобою на рынок
и купим небесных персиков
с них будет течь сок нектар амброзия
они будут мурлыкать в наших руках
ластиться к нашим пальцам
щекотать нас шершавой шкуркой
подаваться на лёгкие нажимы пальцев
как женщина подаётся навстречу любимому
всем телом обволакивая его собой
впуская в свою жизнь целиком без обмана
растворяя его в себе и растворяясь в нём
становясь одним телом и духом
сгустком нежности
души входят друг в друга
как будто у них есть
такие же инструменты как и у тел
персики это и есть
вечные неразделимые любовники
все ромео-джульетты
все петрарки-лауры
и прочие кавалеры-де-грие
после смерти стали персиками
это такой вот посмертный рай
стоит надкусить персик
и ты увидишь какого-нибудь ромео
в запрещённой форме застывшего над джульеттой
эй какого тебе здесь надо дядя
скорее всего скажет он
отрываясь от вечных дел
и ты ответишь
я просто люблю персики милый ромео
продолжайте прошу вас не обращайте внимания
сегодня прекрасный день
видишь любимая
жизнь побеждает смерть

* * *

кохана
якщо коли-небудь у нас з’являться гроші
ми підемо з тобою на ринок
і купимо небесних персиків
з них тектиме сік нектар і амброзія
вони будуть муркотіти в наших руках
ластиться до наших пальців
лоскотати нас шорсткою шкіркою
подаватися на легкі натиски пальців
як жінка подається назустріч коханому
всім тілом обволікаючи його собою
впускаючи в своє життя цілком без обману
розчиняючи його в собі і розчиняючись у ньому
стаючи одним тілом і духом
згустком ніжності
душі входять одна в одну
як ніби у них є
такі ж інструменти як і у тіл
персики це і є
вічні нероздільні коханці
всі ромео-джульєтти
всі петрарки-лаури
та інші кавалери-де-гріє
після смерті стали персиками
це такий ось посмертний рай
варто надкусити персик
і ти побачиш якогось ромео
в забороненій формі застиглого над джульєттою
гей якого тобі тут треба дядьку
швидше за все скаже він
відволікаючись од вічних справ
і ти відповіси
я просто люблю персики милий ромео
продовжуйте прошу вас не звертайте уваги
сьогодні прекрасний день
бачиш кохана
життя перемагає смерть

РЫБЫ ДЕКАРТА

Киев в осаде. И в каждом окне —
пена каштанного бунта.
Рядом с тобою завидует мне
вся соловьиная хунта.

Нам-то какой до бродяг интерес? —
пусть себе свищут, злодеи!
Ты музицируешь Данта топлесс,
музыкой в музыке — где я?

Там, где над Киевом дремлет звезда,
плавают рыбы Декарта —
там мы играем друг друга с листа,
плавится звёздная карта...

РИБИ ДЕКАРТА

Київ в облозі. І в кожнім вікні —
піна каштанного бунту.
Поруч з тобою заздрить мені
вся солов'їна хунта.

Нам же який до приблуд інтерес? —
хай собі тьохкають, їхня ж ідея!
Ти музицируєш Данта топлес,
музикою в музиці — де я?

Там, де над Києвом дрімає зоря,
плавають риби Декарта —
в музиці нашій міліють моря,
й плавиться зоряна карта...

* * *

не стремитесь в Москву мы живём под прицельным дождём
мы то отпуска ждём то пришествия ждём то спасения ждём
это мокрая жизнь протекают дома и слова
под унылым дождём бродят сущности и существа
это лето которого нет и не будет уже
мы его переждём на каком-нибудь там этаже
это травы гниют или души гниют или дни
мы одни на земле мы одни на земле мы одни
можно крышу сменить можно душу сменить можно дом
но что будет потом да ты знаешь что будет потом
только дождь без конца только ветер и только вода
всё проходит но только л... молчи! никогда никогда

* * *

ви не прагніть в Москву ми живем під прицільним дощем
ми відпустку пришестя рятунку чекаємо під плащем
таке мокре життя протікають будинки й слова
під сумним дощем бродять сутності і божества
таке літо якого немає й не буде уже
перебудем його десь на поверсі мов чуже
оці трави гниють або душі гниють або дні
ми одні на землі ми одні на землі ми одні
можна дах замінити можна душу змінить або дім
але що буде потім ти знаєш що потім ходім
лише дощ без кінця лише вітер вода вже відколи
все минає лише л... мовчи! ніколи ніколи

АННА КАРЕНИНА
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ СЕРИЙ

груди платье рвут на части
корпус стонет словно мяч
если девушка для счастья
то друзей оставь на ланч

завтрак Зальцбург губы небо
и яишница из глаз
вкус жасмина запах хлеба
вместо кофе летний джаз

по щеке ползёт улитка
пот прошиб вином бокал
смерть прекрасная ошибка
полдень музыка вокзал

АННА КАРЕНІНА
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОПЕРЕДНІХ СЕРІЙ

груди сукню рвуть на шмаття
корпус стогне ніби м’яч
якщо дівчина для щастя
друзів залиши на ланч

той сніданок Зальцбург небо
і яєшня із очей
смак жасмину як потреба
замість кави й зустрічей

по щоці сповзає равлик
піт пройняв вином бокал
смерть прекрасна мов журавлик
південь музика фінал

КИТАЙСКИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

я измеряю женщин
китайскими колокольчиками
сколько их прозвенит
пока она идёт рядом
китайские колокольчики
самая точная штука
они звенят не от скуки
а только когда есть о чём рассказать

самое главное в женщине
это история её души
не глаза или попка
не губы и грудь
а сколько тысяч ли
прошагала её душа
для встречи с тобой

твой колокольчик я слышу
не перестаёт звенеть

КИТАЙСЬКІ ДЗВІНОЧКИ

я вимірюю жінок
китайськими дзвіночками
скільки їх продзвенить
доки вона йде поруч
китайські дзвіночки
найточніша штука
вони дзвенять не від нудьги
а лише коли є про що розповісти

найголовніше в жінці
це історія її душі
не очі або попка
не губи й груди
а скільки тисяч лі
пройшла її душа
для зустрічі з тобою

твій дзвіночок я чую
не перестає дзвеніти

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

по ночам в Ярославле
собирают яблоки
выходят на улицы
обязательно по двое
парень трясёт
придорожную яблоню
а девушка собирает
сочные сонные
скользкие яблоки

от красных
рождаются мальчики
от белых
ангелы

ЯБЛУЧНИЙ СПАС

ночами в Ярославлі
збирають яблука
виходять на вулиці
обов'язково по двоє
хлопець трясе
придорожню яблуню
а дівчина збирає
соковиті сонні
слизькі яблука

від червоних
народжуються хлопчики
від білих
янголи

АБУФ

я люблю момент
когда она просыпается
вначале раздаётся крик
может приветственный клич
а может вопль удивления
миром за пределами сна
потом над кроваткой
появляется её светлая головка
сонные глазки
настороженно смотрят по сторонам
что с этим миром
не изменился ли он
пока она спала
не случилось ли с ним дурного
потом она видит маму или меня
и улыбается
доброе утро Лися
говорим мы
мы сохранили для тебя мир
таким как он был
и она радостно топает ножкой
стучит ручками по кроватке
и говорит
абуф абуф
что в переводе с детского
означает
спасибо

АБУФ

люблю моменти
коли вона прокидається
спочатку лунає крик
схожий на привітання
або захоплення
цим світом за межами сну
згодом над ліжечком
з'являється її голівка і
оченята зі сну
зосереджено сканують
довкілля
змінився цей світ чи ні
доки маленька спала
чи не стало йому погано
бачить маму або мене
й посміхається
доброго ранку Лісю
кажемо ми
ми зберегли тобі світ
яким він і був
вона радісно тупає ніжкою
стукає рученятами по ліжечку
й говорить
абуф абуф
що в перекладі з дитячого
означає
дякую

ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

просто удивительно
насколько вещи
долговечнее отношений
пожелтевшие фотографии
пережившие своих хозяев
больше чем на столетие
посуда
из которой ели
короли и красотки
пылящаяся в музеях
кровати
на которых было пролито
столько крови и спермы
на них поглядывают
с особенным интересом
шкафы
в которых прятали
любовников и любовниц
картины
поражающие невозможностью
тех кто на них изображен
вещи
хранящие тепло тех
чьи тела давно поглотила земля
вещи
несшие когда-то любовь
и вещи
приносившие смерть
и ещё эта банка
из-под оливок
жёлтая консервная банка
в подъезде
в ней я тушил сигареты
когда мы жили вместе
она по-прежнему стоит там
в одиноком коридоре
нашего невозможного счастья

ЖИТТЯ РЕЧЕЙ

дивуюся
наскільки речі
довготриваліші стосунків
пожовклі фотографії
пережили своїх господарів
минуло більш аніж століття
посуд
з якого куштували
королі й красуні
та порохом втуманені в музеях
ліжка
на них було пролито
стільки крові й сперми
що аж з цікавістю
примружилися
шафи
ущерть наповненені коханням
полотна
відобразили можливість
неможливості зображень
й лише речі
бережуть тепло людей
тіла яких давно закутані землею
ці речі
були сповнені любові
ці речі
віщували смерть
неначе банка
з-під оливок
її іржава шкарабань
в під'їзді
де гасив цигарки
в той час коли життя вимірювали разом
вона ще й досі там
у тім самотнім коридорі
унеможливленого щастя

* * *

ты жить начинаешь отсюда
отсюда из белого льна
одежда надежда посуда
тебе в облаках не нужна

ты жить начинаешь сначала
с простого начала начал
ты небо из гугла скачал а
чего-то ещё не скачал

ты жить начинаешь от слова
а слово начало судьбе
а слово бессловно готово
на слово поверить тебе

ты жить начинаешь как будто
ни разу ещё и не жил
как будто Христос или Будда
в тебя ничего не вложил

ты жить начинаешь от боли
убийственной боли внутри
ты сам у себя в главной роли
иди умирай и смотри

* * *

життя мов суцільний протяг
з білого льону дорога
посуд надія одяг
в хмарах тобі ні до чого

життя спочатку почавши
з простої основи основ
із гугла небо скачавши
чогось так і не віднайшов

життя починаєш зі слова
бо ж першим було далебі
бо ж слово безмовно готове
на слово повірить тобі

життя починаєш як чудо
мов жодного разу не жив
неначе Христос а чи Будда
нічому тебе не навчив

життя починаєш від болю
з болю ти й народивсь
ти сам в себе в головній ролі
іди помирай і дивись

Семен АБРАМОВИЧ

НОВЫЕ СТИХИ

Любое художественное творчество интересно как выражение личностной картины мира. Еще интереснее, когда за перо берется интеллектуал – филолог, религиовед и культуролог, обладающий большим опытом постижения внутренних законов создания художественного текста. Научно-педагогическое творчество проф. С. Д. Абрамовича включает полтора десятка монографий, около сорока учебников и учебных пособий, сотни статей. Он создал немало оригинальных картин и рисунков, имел несколько личных выставок. Вместе с тем, он является автором нескольких десятков стихотворений, ряда рассказов, повести и романа. Сам автор склонен утверждать, что пишет художественное всего лишь как литературовед, обязанный знать, как строится художественная вещь «изнутри». Но его творчество достаточно самобытно; это не только искреннее лирическое самовыражение, но и способность увлечь читателя искусно построенным сюжетом и яркими, развивающимися характерами. Кроме того, его художественные произведения являют собой еще и развернутый диалог с мировой культурой, насыщены аллюзиями, реминисценциями и образными аналогиями. Особо следует отметить способность автора и к следованию традиции, и к новаторскому поиску, его открытость разным духовно-стилевым системам. Последние стихи С. Д. Абрамовича – непринужденные вариации классических мотивов, зазвучавшие на нескольких языках.

Мария Чикарькова
доктор философии, профессор

БЕССОННИЦА

Словно икона ки́новарью иль посланье любовное кровью,
подписывается день багрянцем заката.
Неволя ложа. Теснятся у изголовья
слова, просве́ркивая ложью, внедрённой когда-то.

Раздро́бленное сознание в мороке ночи
взыску́ет тверди, словно пловец утомленный.
А звон часов неумолимое солнце про́чит,
и бегут друг за другом незавершённые клоны.

* * *

когда ты приходишь
мертвая
с горящим взглядом
с нервным смехом
и с ледяными руками
и мы говорим и смеемся
и затеваем всякие нужные дела
я чувствую
что соучаствовал в этом убийстве

КАНУН РОЖДЕСТВА

ФИЛИППОВ ПОСТ

Днестр – морозно! – волнами сложился,
Серой ватой небо обложили...
Черные деревья в смертно-белом –
Горечь лета, что давно истлело.

Нету дней короче и темнее,
Путаемся в речи, грязь земная...
Но в ночи все ярче и вернее
Вифлеемская Звезда сияет.

ПИЛИПІВКА

Склався в хвилі весь Дністер – бо зимно!
Небо вкрила сірая бавовна.
Чорні дерева у білім димі –
Саван літу, пристрасті любовній...

Дні лихії, темні, швидкоплинні,
Збита мова, в бруді грузнуть ноги...
Та в ночі засяє неодмінно
Віфлеємська зірка, Око Бога.

ADWENT

Dniestr– bo zimno! – zbierający w fale,
Niebo, obłożone szarą watą...
Czarnie drzewa, zawiąca w biale,
Jako gorycz zotlałego lata.

Dni najkrótsze, najciemniejsze w roku,
Słow omylność i nieczystość ziemska...
Ale błyśnie Narodzienie Bóga –
W mrokie nocy Gwiazdą Betlejemśką.

ADVENT

The Dniester – frosty! – is formed in waves,
Sky is packed in the cotton wool...
Black trees are dressed in mortal white veils.
Landscape is of bitterness full.

These days are so short and so dark.
We have only mishmash and dirt...
But at the night the Bethlehem Star
Is shining – so bright! – after Death.

SUITA ROCZNA

ZIMA

Widoczne z oszalałych czarnych chmurów
I przez te drzewa z wyblakłymi liśćmi
Nieposkromione białe błyski wirów,
z których się rodzi zamieć oczywiście.

Oddech zamarzły i zdrętwiałe ręce...
Nieprześcigniony, jak triumfy Rzymu,
Wirując, jak na koniach jasnych jeźdźcy,
Na widnokrągach białe wojska Zimy.

WIOSNA

Na widnokrągach białe wojska Zimy,
od strzał Apolla wibrujący w zgonie.
Wypiera pole ich zielonym dymem
pod mrocznym okiem sennej Persefony.

Z przestrzeni chmury czystym, cienkim głosem
skowronek śpiewa, cierpki zgrzyt bocianów...
A w trawie, sproszkowanej jasną rosą,
patrz mokry odcisk – to kopyto Pana.

LATO

Patrz mokry odcisk – to kopyto Pana.
Włochaty olbrzym w puszcze się porusza,
I jego oddech nieoczekiwany
W rozdartych wiatrem liści drżące uszy.

Bo niepokoi Pana blask Apolla,
jego smukłości, strzały, wszechobecność.
I garście nieuchwytnych tych oboly,
W zieleni rozrzucane są odwiecznie.

JESIEŃ

W zieleni rozrzucane są odwiecznie
złote monety nie podejmowane.
Oszustwo słońca wiedzi pan stateczny,
I, jego zdaniem, wszystko – udawanie.

Zmęczona listwa się zamienia w brązą,
Żywego drzewa soki wyczerpa się.
Ulewny deszcz – jak metalowy bonza.
Wskazówki są zgubiony na kompase.

НЕТ, Я НЕ ВЕРНУСЬ...

Виктор МАЛАХОВ

Нет, я не вернусь,
даже если утихнут дожди –
дорогие друзья, ну куда мне теперь возвращаться?
Пусть заплаканный город
вытрет радугой очи свои,
мне пред очи его
отныне нельзя показаться.

Как во сне, я бреду
по исхоженным с детства местам,
вижу, как наяву, лаврским золотом шитые склоны...
Не гадайте, друзья,
моё сердце не здесь и не там –
в чужедальней дали
мой горит огонёк потаённый.

И я не вернусь,
даже если пойдёт снегопад
и укроет печаль, как кровавую копоть Майдана.
Те мосты сожжены,
на прошедшем сиротства печать,
и мозолят плечо
гробовые углы чемодана.

А в вишнёвом краю
будут новые песни звучать –
про беду и победу над ворогом и про надежду.
Рассудите, друзья,
у меня ли не ворона стать –
о какой же земле,
о какой же надежде я грежу?..

Но будет стоять
этот город над вечной рекой,
будет вечное солнце к прохладной листве прикасаться,
и летят вечера
в небосвод золотой, голубой,
и пылает рассвет –
и как мне с тобой
распрощаться...

Декабрь 2018 г.

ПЛАЧ

Больно, матушка, больно,
больно на свете жить.
Больно, матушка, голым
по свету бродить.

Зябко, матушка, стыдно
людям в глаза смотреть.
Уж сиротиной, видно,
мне помереть.

Матушка, нету мочи
стылые дни хлебать.
Лучше пред Божьи очи
муку воспринять.

Ох, в окаянном месте
речка Смядынь течёт,
брезьте, братики, брезьте –
всё один чёрт.

– Полно, дитятко, полно
мамке-то сердце рвать, -
выйду на быстры волны
тебя качать.

Чадушко, сладко зёнки
свои закрой.
Будет тебе сестрёнка,
Господь с тобой.

Февраль 2019 г.

Неразделённая сердца тоска,
небо, уставшее злобу копить,
пуля, застывшая у виска,
тело, брошенное для броска,
учат короткому слову «быть».

Неотпускающая тоска,
горечь, которую не заглушить,
правда,черствее сухого куска...
Тёплою струйкой журчит у виска
это еврейское слово «жить».

Неукротимая злая тоска,
чёрствая корка сухого песка,
чёрная зелень, седая вода,
солнце, застывшее навсегда...

Апрель 2019 г.

Гари ЛАЙТ

«ТО ЛИ ИМЯ, ТО ЛИ ГОРОД... »

* * *

Нивки. Лето. Во дворе –
то футбол, то штандер,
«Золота Маккены» вне,
правит Ихтиандр.
У песочницы, в углу –
«дубль – пусто-пусто»,
Вдруг на выпускном балу
в школе стало грустно.
За домами жгут костры
шкеты лет по девять,
как же запахи остры,
и пристало верить,
что «Динамо» без труда
справится с «Торпедо»,
в кухне бабушка, устав,
ждёт к обеду деда.
У подъезда в орденах
спорят ветераны,
невесом вечерний страх,
и жива Диана.
В разговорах ещё нет
Остии и Вены,
Люди в тридцать девять лет
не живут изменой.
Путь дворами до метро –
веха приключений,
рай – в пломбире и ситро,
в сливочном печенье.
Левый берег – через мост,
как на Марс ракетой,
В «Спорттоварах» ставят гост
на мяче заветном.
Как безбожно далеки
Иловайск и Пески.
Лодка. Вёсла, плеск реки,
поплавки и лески...

* * *

В костёле на Васильковской услышать орган,
зайдя перед этим с Красноармейской сквозь арку во двор,
я часто гостил в коммунальном мире, всё помню, но рос не там,
довоенный лифт, потолок высоченный, «Сказка» из окон, отсутствие склок и ссор.

Гастроном угловой, с лучшим пломбиром, которого больше нет,
закатный луч волшебства, в неповторимом отсвете фасадов и крыш домов,
она тоже бывала в Доме кино, на детских сеансах, я, десятилетний, глядел ей вслед,
не ведая вовсе, что странная нелюбовь в палиндроме грядущего века нелепо сравняет счёт.

Стадион, что сменил с сорок первого власти и имена,
на трибуны которого в эру «Динамо» семидесятых был вхож с отцом,
где подспудно, без умысла на подсознании, необъяснимо возникла страна
и ушла на войну, умирать на Донбассе, с детским лицом, под имперским свинцом.

От стадиона налево, лучше пешком, и будет ИнЯз,
напротив него – Полицейский садик, где осень из песен былых времён,
меня увезли из шестого класса, и не случилась боль после экзаменов, в бровь и в глаз,
всё сослагательно к лучшему, иначе намного раньше и изощрённее не был бы ею прощён.

Органная музыка, как панацея, под сводами дарит вздох,
затем, словно сон, – стихи на Толстого, такси, Куренёвка, путь в Бабий Яр,
непредсказуема память, вершится пластами случайных и вовсе ненужных крох,
на взлётной лайнер в Борисполе, ничтожно мал – необходимость во избежании чар и кар...

* * *

От острых восприятий – яркий луч,
он изнутри не посягает на окрестность,
несовершенство облаков и туч
на подсознанье диктовалось с детства.
За год до танков в Праге и конца
весны, пришедшей за полярной ночью,
мы у родителей случились, образца
тех, кто был уничтожен среди прочих.
Из первой памяти пришёл порезом Яр,
я и сейчас ищу ответ в его оврагах,
фантомный – пулевых отверстий жар,
порой невыносим в своих зигзагах...
А в целом – генетический багаж
у нас такой – врагам бы не приснилось,
мы потому не замечаем мелких краж,
что вечно на дороге в Саласпилс.

Экватор не сменил ориентир,
слой облаков всегда лучу уступит,
и кто, кого, зачем и как простил...
Ответ из области риторики поступит.
Мы всё же появились – вопреки,
с особым стержнем, ощущением надрыва,
и не изменим предначертанной строки,
чтоб всё у них не вышло с перерывом...

* * *

Каринэ Аратюновой

Вид из окна в заснеженность двора,
у зимних аномалий цвет сирени,
в повествованьях оживают тени
всех дочерей от сотворенья до костра.
Из Яффо добираясь в Рамат-Ган,
такие образы грядут из подсознанья,
что всех запястий мира осязанья
прибудут от Урарту в Хайястан.
Бессильны все сирены миштары
в пору хамсина, против восприятий,
когда всё вдохновение истратив
окажешься у Храмовой горы...
...Внезапно от Воздвиженки – наверх,
по лестнице, где солнечные блики,
в тот светло-синий Город многоликий,
чьё притяженье – испокон, но не для всех.
Как греет созерцанье куполов,
застывших и парящих над Рекою,
кисть над холстом занесена рукою...
Эскизы прозы озареньем слов.
Наброски – силуэты женских тел –
нездешней нежностью заденут за живое.
Такую музыку извольте слушать стоя,
суть откровенья образуется в предел.
Бокал вина – знаменье, не игра;
все атрибуты ремесла упрятав на ночь,
услышать про загадочную Нарочь...
Вид из окна в заснеженность двора...

* * *

Инне Труфановой

Звук происходит от того,
что тишина крошится мелом,
аккорд случайный и несмелый –
в застывшем отзвуке шагов
приходят контуры и ноты,
диктантом, без черновиков,
в союзе музыки и слов,
и с наступлением субботы
плывёт над Городом туман,
укрыв Пейзажную аллею,
он в ней гитарою лелеет
пришедших через океан
к своим истокам... Вопреки
судьбе, сложившейся иначе,
как много это всё же значит,
когда два берега Реки
и осязаемы, и зримы.
Вот так вершатся чудеса,
и словно свежая роса
слёз отражается в любимых.
Сиянье, Выдубецкий, свет
от Параджановских ответов...
...Последним довоенным летом
над куполами светлый след...
Звук происходит от того,
что тишина всегда печальна,
и потому в закате дальнем –
союз из музыки и слов...

* * *

«...Не бачу вечора і дня,
Не знаю, я тут був, чи буду...»
Г. Фалькович

Не слава нас возносит и успех,
а дар сопоставленья с созерцаньем,
негромкий стих, где панацея и любовь
струятся, словно домбры перепевы,
и в час закатный между руслами Десны
плывёт и достигает совершенства
в истоках памяти, положенной на сон,
где всё иначе, чем вершится наяву:
Где сводки с фронта и аптечный прейскурант
щемящей болью отдаются в верхнем левом...
В недавнем прошлом – лето до войны,
где в светлом Городе, чьи сумерки волшебны,
среди холмов читаются стихи,
и словно нет библиотечных стен –
они звучат на площадях и в скверах,
надеждой отражаются в глазах,
играют в лицах, умудрённых добротой,
как и в не внемлющих пока, но столь красивых,
что ритмика стиха берёт своё...
А строки, левый берег облетев
по направленью к Константиновской, вернулись
и, в снизошедшем откровении кружа
в периметре у синагог Подола,
по Куренёвке, раскрошились в Яр...
Неумолимо... Неосознанно... Внезапно...
...А утром солнце встало, как всегда,
да и листва как прежде полетела,
пошли трамваи, под землёй метро...
Словно из будущего вырвалось на мост.
Стихи страницами из книги шелестели...
...Не слава вас возносит и успех,
а дар сопоставленья с созерцаньем.

НОВОАНГЛИЙСКОЕ

Сигареты и кофе – забытый и сладкий удел девяностых,
горстка дней – перерыв в постоянной погоне за птицей удачи,
на исходе зимы вдруг становится ясно,
что, в сущности, просто:
Вечер. Взлёт. Снегопад. Турбулентность. Посадка.
Никак не иначе...
Скоростная дорога в одном из забытых
и напрочь заснеженных штатов,
и стремительный съезд в амальгаму и память
– сто миль от Нью-Йорка...
...Ощущенье, что снова придётся в кредит разговаривать с папой
в ранний вечер субботы, не скажешь всего,
смысла нет, да и толка...

Эта Новая Англия стала прелюдией к Англии Старой.
Через несколько лет ощущенья обеих слились воедино,
словно горько вздохнувшей, упавшей с постели гитарой,
так пронзительно всхлипнувшей и расплескавшей рутину...
В этой Англии не было предощущений Парижа,
что в иной – в трёх каких-то часах полугрёз под Ла-Маншем –
«...я тебя никогда не забуду...», но не пожалею, если увижу,
что поделать, мы неумолимо становимся старше...

В палиндромную осень, с любимой настолько, что все были против,
нанизав этот край на себя, не сказавши ни слова,
мы глотали обиду друг друга, в машине из кресел напротив,
и вовсю наглотались, и горечь потери ложилась в основу...
Снег по всей Новой Англии валит сплошною стеною,
но посланец глубинки, похоже, готов к отраженью стихии,
нарочито по крышам пурга – как старик Козлодоев,
память лепит иной снегопад –
в цифре семьдесят семь отражается Киев.

* * *

Стихи по приютам журналов, как малых котят...
Но тех по домам разбирают охотней – посланцев уюта,
а в столбики вбитые буквы не сразу хотят
главреды, пока не увидят в них сферы иных атрибутов.
И если такое случается, строки встают,
в ряды, под обложки изданий, какие однажды
из библиотек электронных на свет извлекут,
чтобы восполнить пробелы в случившейся жажде.

Возникнут вопросы – ну например почему,
родившийся в шестидесятых, и в принципе киевский автор,
в чикагской Флориде, как будто в свободном Крыму,
увидел сюжет, где Москва превращается в Тарту.
А может быть странным покажется именно то,
что муза, которой все прошлые жизни в Мадриде,
настолько приелись, что не запахнувши пальто,
твердила в кафе на Подоле, что в ней он свой вымысел видит.
Что не померещится ночью, в конце января...
- И образ не тот, и сместился размер, и строка выпадает,
но все же похоже, главред напечатал не зря...
«...фотограф щёлкает, и птичка вылетает...»

* * *

Прямо из Борисполя,
в прозу и стихи,
в откровенье, в исповедь,
в грёзы, не грехи.
В те шестидесятые
цвета сентября,
в сферы непредвзятые,
в отблеск фонаря.
В то, что ненавязчиво
проникало в сны,
тихим плеском вкрадчивым
сумерек Десны.
В разговоры за полночь,
в кофе без вины,
в круге тусклой лампочки,
тлеющей страны.
В этот тем не менее
лучший из миров,
обретённый, склеенный
из забытых слов,
прежней, светлой музыки,
книжных истин, фраз...
Не чужим – быть узнанным,
пусть не каждый раз.

* * *

Мне хотелось добраться до старого русла Десны,
только вновь не склалось, а, казалось бы, малого надо:
просто выйти во двор, ведь у Киева те же дворы,
сесть в автобус, в котором водитель – ворчащий завскладом.
Он нас будет щадить, но не долго, лишь до Броваров,
а потом до Остра растрясёт и надежду, и душу,
но зато с утреца на реке замечательный клёв,
если вёсла сушить и истории страшные слушать:
Про солдата, который из танковой роты ушёл
вроде как в сорок третьем ещё и с тех пор неприкаян,
я и сам его видел, вернее его капюшон,
как-то вечером, в дождь, на колхозном сыром сеновале.
Нам тогда ещё было не до купаний ночных,
но ребята постарше с девчонками этим грешили,
мы не в шутку тогда, а сполна получили под дых,
когда голых девиц из кустов фонарём рассмешили...
Олимпийской Канадой нас потчевал старенький «ВЭФ»,
сквозь глушилки и треск – позывные «Свободной Европы»,
в «дурака» до полуночи, с чаем под вафли «Артек»,
и никто ведь не знал, что тем летом расходятся тропы.
А пока на казавшемся диком, другом берегу
пейзажи такие, что шепчутся взрослые: Рерих,
мы собрали эскадру из вёсельных лодок, да ну –
ну его к водяным и русалкам, тот илистый берег...
Каждый раз, будь то Лондон, Варшава, Париж или Рим,
успевая с трудом на стыковку с бориспольским рейсом,
я даю себе слово, что сразу... Как только... Едва прилетим,
доберусь до Десны, как угодно, «...ты только не смейся».
Но, увы, каждый раз – тот до боли знакомый сюжет:
я во двор выхожу и не знаю уже – наяву или снится,
но напрасно стою, привидения «ПАЗика» нет.
Старым руслом Десны перевёрнута детства страница.

* * *

Осенних сумерек канва – воздушный храм,
разлом и мост между мирами ненапрасный –
неизъяснимый светлый аромат
вплывает в город и становится знаменьем
предощущения в лиловом ноябре
и обволакивает все попытки ветра
нарушить гладь, что соткалась извне
над силуэтом будущей строфы,
неизданное, тени послесловий
порой нежней имевших место быть
похожих сумерек – вне власти покрывал...

Вершится – сумерки задерживают ход,
вне всяких правил и оглядок календарных
необъяснима и светла нисходит грусть...
...Прошло три жизни, череда реинкарнаций
и прочих нанесений временных
закономерно обозначивших ту грань,
что чётко зарифмована флажками того,
кто знал наверняка, что есть «...не быть»
в Москве, Париже, на Таити, в Эльсиноре,
и кто потом, калифорнийской ночью, в Ла-Хойе
бланк отеля вековечил любовью к ней...

А впрочем, этих восприятий срез,
в которых сумерки, прохлада ноября,
когда Чикаго после фестиваля
задумчив, в ожиданье снега тих
и так похож на Город, где когда-то
все эти ощущенья в первый раз,
но навсегда запали в душу совпаденьем
и рифмой неба, кофе и реки,
когда глядишь с Андреевского спуска,
напоминающей подспудно океан...
И сумерек канва по кругу дальше.

* * *

В городе у озера – август, вечер, свет,
а с утра морозило памятью примет,
то ли ветра здешнего, то ли слов, как лёд,
конного, непешего мимо пронесёт.

Странно начинается осень в этот раз,
мир застыл и мается, словно напоказ.
В грозовой прелюдии примесь канонад...
Пронесёт? Прибудет ли... Много лет назад –
в очень схожем августе, где-нибудь не здесь –
почитали шалостью неблагую весть.
Дескать, полнолуние цвета нелюбви –
маем ли, июнем ли – не остановить.
И прильнут к пророчествам, в каверзе слова
снами, одиночеством, снегом на висках...
И, вглядевшись пристально, через много лет –
дождь, огни на пристани: август, вечер, свет...

LINCOLNPARKWEST

Бывают будни в феврале,
переходящие друг в друга,
и беспорядок на столе,
что равен квадратуре круга.

Такими днями правит Джойс,
когда, перечитав «Улисса»,
весь север штата Иллинойс
подобен кораблю у мыса.

Февральский город на ветру
непредсказуем и коварен,
одно спасенье поутру –
зовущий запах кофеварен.

А там, перелистав «Tribune»,
поймёшь, что всё не так уж скверно,
что век почтительно не юн,
а восприятье эфемерно.

Всё станет на свои места,
когда пребудет ветер с юга,
исчезнув с нотного листа,
в звучанье разольётся фуга.

И если сбудется строка,
переливаясь продолженьем,
то побледнеют облака,
исчезнув вместе с наважденьем
переходного февраля

Григорий БРАЙНИН

СТИХИ

привет алёша я пишу из жизни
пока земной где обитаю я
в твои края где ангелы разгрызли
неведомый орех иного бытия

знакомый крым где райская природа
никитский сад и на ай-петри лёд
под осень восемнадцатого года
тебе от нас поклон передаёт

орбитами предметов осторожно
мы сцеплены с тобою навсегда
где на одной ноге застыла с босоножкой
магнитная душа масличного куста

но хан теперь не тот и птицы
и я уже не тот заложник наших дней
и что в земле под кёльном может сниться
тебе у мироздания на дне

когда-то вы у каменного моста
в изнанку денег забрели втроём
туда вошли а выйти невозможно
из мирового сейфа напролом

там денег изнутри вы мяли гульден
у бюстов президентов за спиной
и сложенных банкнот летели гули-гули
над нашей необъятною страной

теперь весь мир изнанка этих денег
из трояка проникшая в среду
купюрами как листьями растений
сад шелестит в финансовом аду

гуляют там политики в тени
деревьев денежных и на полях чудес
в конце концов валютою войны
нам разменяют этот дивный лес

и пухом бы тебе немецкая земля
где никакой обмен тебе уже не страшен
ты высадил десант из минус корабля
в заполненный тобой объем стеклянных башен

1

к уснувшим скалам льнёт прибой
знак корабля стоит на месте
едва заметно в час сиесты
качая воздух над собой

по берегу на водопой
ведут отару к устью речки
обрывки музыкальной речи
в камнях шумят наперебой

катая гальку наугад
сквозь мель процеживает воду
покой лелеет и свободу
неумолкающий накат

2

висят как оттиски стрекозы
и будто минус их тела
креветки - ампулы глюкозы
глядят глазами из стекла

перо руля кормы обводы
вода глодает ртами рыб
мальки позируют для фото
бесчисленным глазам икры

корабль качает тень улисса
вонзивши мачту в небеса
висит безветрие за мысом
и бесполезны паруса

3

болтая руль вода гулит
галанит сквозь обрывки текста
лилит чарует и улисс
привязан к мачте вместо секса

но тем кого коснётся страх
войны и гибели елена
твоей любви придонный мрак
париса выпустит на сцену

твоей измены вспыхнет нож
прольётся свет на кровь и бездна
кого возьмёт к себе на ночь
неотвратимо как железо

ГОСПИТАЛЬ 2

нет одеяло не слушается
движений его повторяющих
отсутствующую мысль
он никак не уйдет и никак не придет
между мирами завис

медленного огня хуже
стужи клаустрофобии хуже
страха задохнулся которым
а душу его похоже несут
по невидимым нам коридорам

ты не думай не думай пока
не примеряй на себя
ты только зритель невольный
привязали его чтобы он не вредил
в его черепе прячется школьник

несговорчивый шкодник
под его сединой под худой переломленой правой ногой
под катетером с тёмным остатком
никому он не нужен такой

на запястье привязанном к трубке
пальцы тянутся в недомытых ногтях
к пожирающей жизнь воронке
закручивающей воздух вокруг себя
как застреленная ворона

он то стонет то дышит то млять
притяжение лёгкого тела поднять
над мучительно мерзкой клеёнкой
а на утро врачи перегрузят в наркоз
приспосабливать позу к воронке

в нем почти не осталось мочи
если б смог закричал бы
но он не кричит
только чем-то скрежещет
и становится вещью

одиноко костлявой сучит ногой
от безвыходной боли
затекающей в пролежни
он один на один но уже не с собой
где до смеха расписаны роли

в чёрно-белом кино
здравствуй угольный город
то ты вором на дно
то мне снегом за ворот

синеватый отлив
антрацитовый ворон
распахнула обрыв
крыльев тёмная прорва

годы вынутых недр
в серном грунте отвалов
тонет согнутый метр
в лабиринтах ваала

мне недоброе снится
да и где доброты
ариаднина нитка
из темноты

по молочной дороге
вдоль небесной стези
от соседей по крохе
плевка и слезы

под недремлющий рокот
мольбы и стрельбы
заплетаются в кокон
волокна судьбы

гексагон
нарцисса смайлик
юнец цветок
с чертами неофита
над отражением
застал его овидий
и хочется спросить
а был ли мальчик

согнувшись над собой
исчез из вида
в осколке зеркала
удвоил треугольник
сомкнулся с двойником
звездой давида
целующий мираж
как алкоголик

держась за край воды
изогнут львом
и взором погружен
в обрыв
он видит двойника
они вдвоём
в поверхности двоясь
целуют рыб

в застывшем зеркале
нули твердеют ртов
густеет воск фигур
метана пузыри
где оживал фантом
преображаясь в торф
лишь вынутый объём
бесплодных рыб

а крикнешь ты ау
ты кто ты кто ты кто
лишь эхо душу рвёт
и носится ребёнком
похожий на цветок
шесть граней гексагон
коронной гайкой
стянутый вдогонку

ЕЩЁ НЕДАВНО

Владимир АЛЕЙНИКОВ

I

Потянуло ли дымкой с Леванта
Или люди вокруг загорели –
Коктебельского духа Веданта
Возрождается заново в теле,
И свирелью пастушьего лета
Под навесом неспешного склона
Появляется музыка где-то,
Чтобы слушала нас Персефона.

II

А наивная мысли уловка
Никого успокоить не смеет –
И расплёснуты листья неловко,
Но они никого не жалеют,
Потому что, спеша раствориться
В этом воздухе осени ранней,
Поневоле душа загорится,
Чтобы облако стало желанней.

III

Непослушное тешится море
Охлаждением синего цвета,
Чтобы с августом спорила вскоре
Сентября затяжная примета,
Но зелёному надо настолько,
Поднырнув, на корню удержаться,
Что не странно ему и не горько,
И нельзя на него обижаться.

IV

Торопливые плачи оркестра
Желтизну на беду не накличут –
Что же птицы срываются с места,
Начиная поверхностный вычет?
И становятся в ряд музыканты,
Чтобы трубы их громче сверкали,
И погода стоит, как инфанта,
В беспредельной дали Зазеркалья.

V

О великая лепта фантастов
Да реликвии вредных теорий,
Перемирие слишком уж частых
Фанаберий и фантасмагорий,
Мемуары игры на фаготе,
О народе вопрос и Вселенной,
Чтобы кто-то держал на отлёте
Ослепительный шлейф впечатлений!

VI

О незлобивый говор долины,
Ожерелий нетронутый выбор,
Оживления клин журавлиный,
Промелькнувший, как выговор рыбам!
На театре разыгранным фарсом
По террасам страдание длится,
Словно где-то сражается с барсом,
Помавая крылами, орлица.

VII

А по лицам, что подняты к небу,
Промелькнули бы, что ли, улыбки,
Не рискуя вовне, – да и мне бы
Оказаться б извне не в убытке,
Отказаться бы мне от участья
В этом сговоре давних знакомцев,
Да на пальцах не высчитать счастья,
И скитальцы не в роли питомцев.

VIII

Точно, карие выплакав очи,
Собирается плакальщиц стая –
И бессонные выплески ночи
Ни за что ни про что я впитаю,
И с пылающим факелом яви
Прокричит предрешённая встреча,
Что теперь отшатнуться не вправе
От того, что вблизи я замечу.

IX

И чеканная выучка взмаха
Отвечает заученным вехам,
Что отстало уж лихо от страха,
Откликаясь измученным эхом,
Что не нам на потеху эпоха
Подпихнула утехи помеху,
Но и нам убедиться неплохо
В неосознанной власти успеха.

X

И ухабами цвета индиго,
Панагию снимая итога,
Не сморгнув, надвигается иго
И торчит на пороге чертога,
И горчить начинает немного
Непочатая благости влага,
И тревога ругает отлого
Неподкупность твердынь Кара-Дага.

XI

И к кому обратиться нам, Боже,
В этом смутном, как сон, пантеоне,
Чтобы, судьбы людские тревожа,
Возникало, как лик на иконе,
Выражая от света дневного
До скитанья в ночи по отчизне
Постижение чуда земного, –
Продолженье даруемой жизни?

XII

Может, наши понятья резонны,
И посильная ноша терпима,
И пьянящие чаши бездонны,
А судьба у людей – неделима,
Может, в жилах отвага не стихла
И горячая кровь не свернулась,
И ещё голова не поникла,
И удача домой не вернулась.

XIII

Это там, за управой прибоя,
За преградою грани жемчужной,
Наконец-то встречаются двое –
И участия больше не нужно,
И надежда, вскипая, дичится,
И предчувствие бродит поодаль
И уже ничего не случится,
И не в убыль им осени опаль.

XIV

И разлука уж бусины нижет,
Начиная будить спозаранку, –
И она наклоняется ближе,
Точно врубелевская испанка,
И ему, помертвев от волненья,
Будто кровь их отхлынула сразу,
Повторяют в округе растенья
Расставания кроткую фразу.

XV

И разорванным зевом призыва,
Словно прорезью греческой маски,
Расстояние самолюбиво
Уж не сможет пугать без подсказки –
И оставшийся здесь, на дороге,
Человечьей хранитель науки
Понимает, что муки нестроги,
Потому что протянуты руки.

XVI

И туманная Дева, увидев
Где-то в зеркале их отраженья,
Чтобы их не смутить, разобидев,
Им дарует отраду сближенья, –
И туда – к листопаду и снегу,
К наготе, дерева стерегущей,
Точно древнее судно ко брегу,
Приближается странник идущий.

БОЛЬШОЙ МАДРИГАЛ

I

Я прохладные клавиши трону,
Я прислушаюсь к долгому стону –
Обречённая вздрогнет струна,
Отречённого горя полна,
И нескладная жизнь моя снова
Уж не станет тужить бестолково –
Я и так холодам послужил,
Словно крыльям, что вместе сложил

II

Миновал бы я происки хмеля
От щедрот добряка Ариэля,
Втихомолку ладони не грел
Да в окно по утрам не смотрел,
Чтобы въявь для меня закипело
Всё, что в памяти билось и пело,
Что успело спастись наконец
Для сближения звёзд и сердец.

III

Тянет месяц туманы ночные,
Пробираются звери ручные
К очагу, где покой и тепло, –
А тебя далеко унесло
Неизбежностью всячины всякой,
Первобытною вскормленной тягой, –
И судьба твоя вместе со мной
Високосной полна пеленой.

IV

Может, этого года так мало!
Что ты знала и что понимала,
Словно, глядя всегда в белизну,
На пути повстречала весну?
Да простятся зрачков чернотою
Отчужденье твоё да устои,
Если бьётся давно впереди
Неизбежное счастье в груди.

V

Задевать бы мне дни мои злые,
Да подальше, чтоб дали златые
Затерялись, как будто во сне,
Заблудились в своей желтизне, –
И тогда не спрошу я советов,
Если оклик всегда фиолетов,
И смирилась холмов синева,
И кружится моя голова.

VI

Как полуночью выйдешь из дома,
Ликованье покоя знакомо –
Но не знать ли проверенных свойств
Обретенья родных беспокойств!
Где голубкою в зыбке воспето
Небывалого возгласа лето,
Приближение что-то решит
Да ресницы, спеша, распушит.

VII

Что же встрече мы так благодарны?
Прошуршать бы листве календарной,
Где дрожит под ногами земля
Да порыв сторожат тополя –
До поры ли во времени позднем
Не морозным, так разным иль грозным
Набрякая, как реки без дна,
Одиночества чаша полна?

VIII

Молчаливы ли ивы на диво?
Не ворчливы так велеречивы,
Разговоры заводят с водой,
Вероломной пугают бедой –
Только что им во власти поклона
Оговаривать так непреклонно
Расстояния бренный укор,
Если есть и другой уговор!

IX

Виноградная медлит дремота,
Будто весточки ждёт от кого-то –
Только кто это только что был,
Постучался и адрес забыл?
Я бумаги скорей перерою –
Точно косточка под кожурою,
В потаённой дыша глубине,
Притаилась ты где-то во мне.

X

Неужели и средь виноградин,
Для какой-нибудь смуты украден,
Не найду я созревшую гроздь?
Я уже вам не жалобный гость,
Не попутчик в купе до столицы,
Не плету я былой небылицы
Из развёрнутой правды бровей! –
И не троньте любимой моей.

XI

Монотонная тщится текучесть
Поучать обещания участь,
Сознаётся в покорности грусть –
И бесспорности я не боюсь,
Если слово созвездья настигли
И в заждавшемся сердце, как в тигле,
Опаданья расплавленный шум
И гаданье приходит на ум.

XII

Говорливые птахи распелись,
Осыпается шелеста прелесть,
Раскрывает зеницы Морфей
Да играет деннице Орфей –
О любви да доле радея,
Уж не пустят они Асмодея,
Разрушенье упрячут в бочаг
И надежду поддержат в очах.

XIII

И в краю, где былое пригрето,
Где бродили сарматы и геты,
Я сухую траву соберу
И развею её на ветру,
И костры разожгу белокуро,
И увижу средь гульбищ Амура,
И стрелою приму я завет
На ближайшую тысячу лет.

XIV

Может, гурий напевы я слышу,
Может, тишь пробирается в ниши,
Зажигает на крыше огни –
И окажемся скоро одни
Средь полей и лесов беспристрастных,
Средь жалеющих, жаждущих, властных,
Преисполненных ясности дней,
Где вдвоём пребыванье длинней.

XV

О чудес и завес почитанье!
Очертания предначертанье!
Очарованный слушал Эол
Воркование флейт и виол,
Где незыблема неба Валгалла,
И колеблемый строй мадригала
Волхвованию арфы внимал
И меня наконец понимал.

XVI

Мифологии жаркое лоно,
Предрассудки, крушения, кроны,
Восходящие звуки цевниц,
Голосящая толща темниц!
Ахерон, Ипокрена, Элизий!
Непокорное логово близи! –
Да воспримешь ли верность мою,
Что отныне тебе отдаю?

С ТЕХ ПОР

Полюбили и мы с тех пор,
Как узрели красу безмежья,
Край туманов и смежных гор
По Кавказскому побережью.

Как безденежье ни казнит
И безмужье ни мучит женщин,
Ты восходишь всегда в зенит,
Стародавней грядой увенчан,
Оправдавший доверье край!

И покуда я это знаю,
Пробуждается – только дай
Ей разгон – высота земная,
Что иное пошлет к чертям,
А иное возвысит славно! –

И на равных играя там,
Не забуду и я подавно
То, что далью отведено
В мир судов, отслуживших людям, –

Нет, не дам я, прозрев давно,
Если даже сюда прибудем,
Нарекать отрешеньем снов
Эту гавань, где ржавь увяла!

И когда вам не хватит слов,
Я свои уступлю сначала,
Возвышая, как якоря,
Адреса моих странствий малых, –
Ведь недаром вела заря
И звезда наверху внимала!

И недаром сейчас сквозь шум
Уходящих согбенно листьев
Мне не гордость придёт на ум,
А предвестье событий мглистых, –

Слишком много уж в мире глаз,
Проморгавших свои ресницы,
Озирающих ночью нас,
Точно были у нас зарницы
Не такие, как всё вокруг, –

Да! наверно, и это было –
И как птицы летят на юг,
Мы на юге вбирали силы,
Чтобы снова судьба цвела,
Как неласковые растенья, –

Осыпает, как цвет, дела
Возмужавшее поколенье, –
Что от женской теперь игры?
От ненастного восхищенья?

Да помучат нас до поры,
До подлунного всепрощенья
Все дороги и все мосты,
Все связующие удачи, –
И поступки мои чисты,
И, наверно, нельзя иначе.

* * *

Ну а та, с кем и встречи нет?
Что она? с голубями ладит?
Наклонясь над теченьем лет,
Ни за что ничего не сгладит –
И глядит, как воды уклон,
Раздвоясь и змеясь, стекает,
И на горле есть медальон,
И минута не отпускает.

Мне и росчерк звезды знаком,
Промелькнувший во мгле вокзальной,
Отозвавшийся слёз комком,
Точно записью целовальной,
Мне и город почти не враг –
Пусть негоже корежить участь –
Но зачем, поступая так,
Не пустил он к себе певучесть?

* * *

Возвратись ко мне, юга брег!
Здесь шуршат по кустам обёртки
И вовсю коротают век
Царедворческие увёртки.

Коли нету мне лет простых,
Целомудренных неуклонно,
Покачусь-ка в местах святых
Виноградинкою с Афона.

Баловство погибать пойдёт
Под тяжёлою моря ношей,
Чтобы звёзд годовой подсчёт
Головой покачал хорошей.

И тревожа морской дозор
Прозреванием олеандра,
Что-то шепчет, потупя взор,
Прорицательница Кассандра.

ПЛАЧ ПО МУЗЫКЕ

I

Вам, вспоминающим под зимнею звездой
Мой голос, крепнущий и в бедах, и в удачах –
Сей плач по музыке, – с ней дружен снег седой,
Но нет в нём времени для слёз её горячих,
Но нет в нём памяти о том, как голова
Кружится, – странствия порой предвосхищаю,
Когда тревожится о них созвездье Льва,
Крылами взмахивая, вьётся птичья стая –
И, укоряема и морем, и хребтом,
К воде сбегающим, как будущие люди,
Кричит, по-детски сетуя о том,
Что нет в ночи моления о чуде.

II

Зима привычнее, чем ивы на снегу –
На реках Вавилонских зазвенеть им,
Воскреснув арфами в пылающем мозгу,
Искомой вечностью, что в ссоре с Римом третьим,
Покуда музыка, пласты подняв земель
И совершая свой обряд старинный,
Уже затронет слуха колыбель,
Чтоб жизни не было в помине половинной,
Чтоб неповинная не маялась душа,
Любви наперсница, свидетельница муки, –
Баюкай, веруя, – и, горний суд верша,
Благослови стенающие звуки.

III

Будь осязаемо явление твоё
В огнях зажжённых, в окнах потаённых, –
Пусть века отразилось лезвиё
В глазах детей и в шёпоте влюблённых, –
Будь осеняема перстами Божества
В томленье странностей, где ждёт очарованье, –
Ты музыка – и, стало быть, жива,
Оправдывая сущность и названье, –
К тебе лишь слово тянется давно –
Давай с тобой взахлёб наговоримся, –
Нам встретиться с тобою суждено,
Нам ведомо, что мы не повторимся.

IV

Вот очертания напевов золотых
Какой-то звон вдали разбередили,
Чтоб сны, как бабочки, к огням слетались их
В алмазах горести и сгустках звёздной пыли,
Чтоб свечи оплывали в янтаре,
Хранители надежды и печали,
В жемчужном свете, в лунном серебре,
В наитии, измучившем вначале, –
Краса хрустальная, топаз и аметист,
Гранатовые зёрна ощущенья
И зелень замысла, где каждый возглас чист
В кристаллах воздуха и отзвуках прощенья.

V

Земля немилая чем дале, тем родней,
И небо ясное чем выше, тем дороже, –
Да будет мир желаньем долгих дней –
Твоё присутствие чем праведней, тем строже,
Сокровище, оставленное нам,
Завет неведомый, обет невыполнимый,
Довлеющим подобная волнам,
Ты, музыка, – приют неопалимый,
Ты, музыка, – пристанище моё,
И есть в тебе пространство без утайки,
Целебное дарящее питьё, –
И рвусь к тебе, к невидимой хозяйке.

VI

Фиалка флейты в дымке позовёт
И хрипота излечится гобоя, –
И заново задумается тот,
Кто смотрит, щурясь, в небо голубое, –
Как трудно мне с собой наедине! –
С тобою, музыка, вдвоём не унываем –
И, счастьем не насытившись вполне,
В иных пределах вместе побываем,
Другим неподражаемым мирам
Зрачки свои без устали даруем,
Как листья дарят осени ветрам,
Как губы тянут к женским поцелуям.

VII

Цветы растут – сиротствующий хор –
В крови гвоздик и лилиях дремоты
Лишь хризантем доверчивый укор
О будущем напомнит отчего-то, –
Забот смятенных мне ль не передать? –
Пускай ещё пичуги солнце славят! –
И, если довечдётся отстрадать,
В ларце на тайном донце ключ оставят, –
Так лёгкие кружатся лепестки
Подобием весеннего клавира,
Что даже мановение руки
Почувствует родительница-лира.

VIII

По струнам ударяет царь Давид,
Восторженно пророчески вещая,
Звучит псалом, – и ангел говорит,
Участие блаженным обещая, –
Ещё минут не понят стройный ход,
А слава до того уже весома
В огне светил и токе древних вод,
Что ты её не мыслишь по-другому, –
И Книга открывается вдали –
В ней бытия оправдано горенье,
И розе Богоматери внемли –
Улыбке сотворенья и смиренья.

IX

Ты, музыка, – стремление уйти
Туда, за близорукие границы, –
Покуда нам с тобою по пути,
Мытарства мы приемлем и зарницы, –
В который раз потерян талисман,
Надето обручальное колечко! –
Скрипичный нарастает океан,
Пред образами вспыхивает свечка, –
Не говори: разлука тяжела! –
Она беды намного тяжелее
Затем, что въявь единственной была, –
Ты дышишь всё-таки – вглядись ещё смелее!

X

Вот, кажется, архангелы трубят, –
Настанет час – мы встанем и прозреем
Во мраке гроз, где столько лет подряд
Истерзанного тела не согреем, –
Душа-скиталица, как птица, высока –
Влекут её расправленные крылья
Туда, где плавно движется река,
К обители, что тоже стала былью, –
А сердце в трепете то к горлу подойдёт,
То в грусти мечется, ненастной и невольной,
Покуда выразит, пока переживёт
Сей плач по музыке – сей говор колокольный.

РЕДКОЕ ВЕЗЕНИЕ

Александр БЕЛЯКОВ

Я проверил десяток параллельных миров и нигде не нашёл себя.
В первом я убился в стройотряде, вывалившись из грузовика.
Во втором вместо меня родился другой мальчик.
В третьем это вообще была девочка.
В четвёртом папа и мама нашли себе другие половины.
В пятом папин самолёт сбили над Японским морем.
В шестом папу не откачали, когда он вешался подростком.
В седьмом я не нашёл никаких следов мамы.
В восьмом деда не свалил тиф накануне штурма Перекопа.
В девятом юная бабушка угорела в деревенском доме.
В десятом Союз не развалился, и жизнь не удалась.
Есть подозрение, что я живу в лучшем из миров.

декабрь 2017

ОТПИВАТЬ И СМЕШИВАТЬ

Бабушка дала железный рубль, и я пошёл гулять.
Через дорогу в «Продуктах» взял «Ситро» за двадцать пять.
Пока дошёл до «Лобановского», осталось полбутылки.
В отделе «Соки-воды» взял берёзовый за одиннадцать.
Долил и назвал «СиБе».
Пока дошёл до Подбелки, осталось полбутылки.
В уличном автомате взял газировку с сиропом за три.
Долил и назвал «СиБеГа».
Пока дошёл до Мытного, осталось полбутылки.
В кафетерии взял виноградный за восемнадцать.
Долил и назвал «СиБеГаВи».
Пока дошёл до Волкова, осталось полбутылки.
В ларьке купил пломбир за девятнадцать.
Двадцать четыре оставил для копилки.
Пил вприкуску до самого дома.
Чтобы появилось новое, надо отпивать и смешивать.

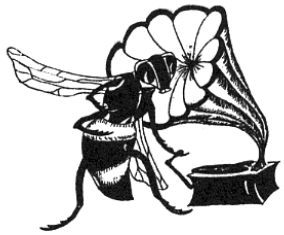
февраль 2018

НОЧНОЙ ОБХОД

Начальником лагеря был идол с острова Пасхи.
От него пахло водкой, одеколоном и луком.
К вечеру запах усиливался.

После отбоя начальник совершал обход.
В плащ-палатке и с фонарём шагал от отряда к отряду.
Заходил, вставал в дверях, водил лучом по лицам.
Тот, кто ещё не спал, притворялся спящим.
Тот, кто уже заснул, просыпался от света.
«Ничего-ничего, спи!» — утешал начальник.
Вскоре его выгнали за пьянку.
Он ещё долго потом будил меня во сне.
Лет через двадцать мне подарили книгу.
Она называлась «Осветить лицо».
Это был сборник стихов об армии.

февраль 2018



ГЛАЗА

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Не пеняй на зеркало, коли рожа крива.
Слова не бросай на ветер.
Дети могут услышать.
Могут расслышать дети.
Рассыплются на рассвете мысли твои, как горох.
Глаза закрываешь и видишь:
Бог.

Слово не воробей. Воробьи собираются в стаи.
Старость всегда на пороге.
Она лицо твоё знает.
Заснёшь в дремучем лесу,
Под головой коренья и мох.
Глаза открываешь и видишь:
Бог.

Глаза.
Небесная бирюза.
Лоза виноградная гнётся -
Поспели плоды -
Рви.
Кто спит, тот, конечно, проснётся.
Узри.

АНГЕЛЫ ЛЕТЯТ

Ангелы летят, ангелы летят, ангелы.
Над городом, над пробками, над снегом,
Который идёт с неба.
Ты говоришь, я совсем как ребёнок,
Как снежинка кружусь,
Как птица.
Ах, разве на такой можно жениться?
Вот жница пшеницу жнёт.
Она мне ночами снится.
Ангелы летят, ангелы летят , ангелы.
Вот жница пшеницу жнёт.

Люди заходят в автобусы,
Люди заходят в автобусы,
Люди заходят в автобусы.
Рыбарь выходит на промысел.
Жница пшеницу жнёт.
Ангелы летят, ангелы летят, ангелы.
Перья роняют на лёд.
Посмотри, посмотри, посмотри:
Прямо над нашими головами, над троллейбусными проводами
Ангелы летят, ангелы летят, ангелы.
Жница пшеницу жнёт.

Гнётся к земле стебель.
Как хорошо в небе ангелов видеть полёт.
Ангелы летят, ангелы летят, ангелы.
Жница пшеницу жнёт.
А, может, она птица?!
А, может, она птица?
А, может, она птица?...
Крылья из рукавов.
Горлица или орлица,
Летит над пшеницей жница,
Лица колосьев светлы.
Ты им в ответ кивни.
Ангелы летят, ангелы летят, ангелы.
Летят наши краткие дни.
Встань и иди, иди.
Встань и иди, иди.
Встань и иди.

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

Запасный выход.
Безопасный выход.
Дети рисуют на окнах трамвая пальцами.
Снятся им
Ночью серьёзные сны.
Мы,
Мы гладим их нежные косы.
На все их вопросы
Пытаемся что-то бубнить.
Я нить.
Ребёнок говорит: я нить.
Возьми меня в руки и начинай шить.
Возьми меня в сердце и начинай жить.
Начинай быть.

Как я.
Как я.
Трамваи качают меня.
Поют свои звонкие песни.
Запасный выход.
Безопасный выход.
Места предназначены для пассажиров с детьми.
Бери меня в сердце
И
Есмь, Есть, Еси.
Сердце на небеси.

ГОРОД

Город просыпается,
Город выбирается из-под снега.
Он подснежник.
Он подснежник нового дня.
Кто-то
Расставил в нём свои якоря,
Кто-то
С якорей снимается.

Город.
Какой-то неистовый холод.
Кто-то скажет: конец февраля.
Заря разлилась по небу.
Город розовый,
Как щёки того малыша,
Что ныряет в сугроб с разбега.

Город улыбается.
Город отражается в наших лицах.
Город в каждое смог влюбиться.
Не столица этот город,
Простая провинция.
С нечищенными дорогами,
Грубыми людьми,
Невозможностью уехать на автобусе после десяти.

Прости меня, город, прости.
Скоро весна.
Ты будешь цвести.
Сквозь асфальт прорастут бутоны.
Дома.
Давай останемся этим вечером дома.
Будем смотреть фотоальбомы.
Все знакомы. Все лица тебе знакомы.
Вот старик, который в тысяча восемьсот...
У открытой стоит калитки.
Вот старушка, которая в тысяча девятьсот...
Навсегда замерла с улыбкой.
Город розовый.
Ты с разбега ныряешь в сугроб.
На витрине лежишь открыткой.
И в две тысячи...дцатый год
Ты идёшь, ты идёшь вперёд.

Город просыпается.
Город выбирается из-под снега.
Он подснежник.
Он подснежник нового дня.
Город розовый.
Он с улыбкой глядит на меня.
Скоро весна.
Ночь короче день ото дня.
Город, знай:
Я люблю тебя.

СТЕПЕНЬ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ

Степень внутренней свободы
Определяется безграничностью моря,
Которое ты видишь или не видишь
Каждое утро из своего окна,
Необъятностью леса,
Который ты видишь или не видишь,
Каждый день выходя на порог своего дома,
Бездонностью книги,
Которую ты читаешь или не читаешь
Каждый вечер в уюте своего дома.
Степень внутренней свободы...
ВодЫ.

Иногда это просто глоток водЫ,
Чтобы проросли все ростки,
Взошли все всходы,
Чтобы открылись миры.
Внутри.
Изнутри.
Зри.
Выйти из чёрной дыры
На песчаный солнечный берег.
Каждому будет по вере.
По свободе.
По тишине.
Семена прорастают во мне,
Распускаются все бутоны.
На коленях стоять пред иконой.
От зари до зари.
Зри.
Степень свободы. Мера любви.
От зари до зари. Колосятся поля мои.

Олена ІЩЕНКО

ВІРШІ

* * *

Таємниця осердя землі,
Таємниця світанків, ночей,
Коли пульс у сльозах – першопредок ріллі,
Щоб глюкоза весни поза будь яких черг...

Я залежна, мій світе, а ти?
Титруватимеш серце своє: «так», «може», «ні»?
Хай пробачать зіниці мені і плече,
Оте ліве, що ближче до в'їдливих змій
Мого сумніву, суму, сум'ять, самоти,

І що трішечки більше привикло нести,
І пече... Так пече!..
Коли поруч не ти
... Моє ліве крило вишніх креслень простих.

* * *

І чим я перед світом завинила,
Що він у мене на очах
Підняв себе на гострі вила
Й конає ґнотом у свічках?

Лиш нерв провин степами вилиць,
Питальний знак, розп'яття, крах?
Худим щеням зіниці квилять,
Бо око з оком – на ножах.

Епох відхід, епох родини –
Одна пекуча течія...
На вилах доль справля хрестини
Вже – не моя, ще – не твоя...

Доба в віночку, при надії...
Родима пляма – тінь вінка...
Не дай нам, Боже, чорних милиць,
Щоб не розтанула Земля.

* * *

– Здрастуй, коханий, мій Всесвітом вживлений щем.
Я – пил, зоряний пил, із тієї ж самої жарини, що й ти.
Пам'ятаєш неоново-блакитний колір її велетенських, розкосих очей
І юні, ядерні реакції закоханих наших? Усі найближчі й найдальші світи
Тоді були на весіллі своїх нерозумних, щасливих дітей.
Хвилювалися, звісно – батьки, проливаючи з келихів молоко чи то мУку?
Навчали пливти
до третьої планети від сонця – удвох... Ще не було речей...
І атоми наших душ трималися не за руки – за світло одне від одного.
І не було ще й натяку на абсурд – зустріти чужу, любити... холодного...

* * *

Словоформи – то лиш силуети
Та й вони невимовно пусті.
Завмирає чуття поміж ребер,
Хоч біжи, хоч кричи, хоч мовчи.

Словоформи – оморфні й бездонні,
Наче стомлених птахів ключі...
На моєї душі підвіконні
Твої лікті незграбні й важкі.

Словоформи, самі словоформи...
Бісер вічний любовної гри.
Хочу тиші, та очі невтомні
На усіх парадигмах судьби.

* * *

Так тяжко, вже може й пропали
Зірки, що над нами вгорі,
І тільки за відстанню відстань
Й міхи перевтоми-золи.

Вдивляюся Всесвіту в очі,
Та він в обладунках імли.
Лиш зорі прощають щоночі
Фантоми небесні й земні.

А, може, вже справді пощезли
І там – лише діри німі?..
І всі наші білі одежі –
То лиш сподівання малі?..

***

У погляді
Вічності не фарби,
Там – ритми
Свої.
Світ
Куль-покотьолом,
Світ – кулею.
Бинтують його солов'ї.
А серце кує все зозулею
Саме собі власні роки,
І діток своїх
На груди Везувію
Саджає, щоб довше жили.
Зозуле, зозуле, а скільки? Коли?
Як втомляться рани гасить солов'ї...
У погляді... Вічності...

* * *

У брунатних осінніх ризах
Тихо котиться час у колисці земній.
Й пасадоблем травневих надій
Знову клени з багрянцем на спинах.

Небо стигле в останніх бурштинах
З-поміж втомлених сонячних вій.
У брунатних осінніх ризах
Тихо котиться час у колисці земній.

Заблукав, невгамовний, у соснах,
Десь у кронах згубивши сувій.
Та докраює проміжок свій
Сум нагідок, наляканих хмизом.
У брунатних осінніх ризах...

* * *

Історія – дивна панянка,
Панує з-під влади руки.
Все знають лише емігранти
Та вбиті на полі війни.
А решті – потрібну шарманку
Заводять всесильні мужі,
Й конвеєр закручує в банки
Під модним рецептом уми.
Щось знають – лише емігранти
Та вбиті на полі війни.

* * *

Нахабною биткою глуму
Вовтузять пройдохи святе.
Аж дихати важко від суму,
Що світ культивує «не те».
Здирає, вбиває, ховає
Й регоче гниляччя туге.
Чи вийде з-під хижого струму
Коріння вкраїнське? Міцне?
Лиш мариться видиво грому
І бавиться світлим пусте.
Дорогу народного скону
Домощує торжище те
Нахабною биткою глуму...

* * *

Все те, у що так вірили діди,
Повинно передатися синам.
А ми міняєм Храми з насланням,
Один модерн – куди не підійди.

Не горблять душі праведні труди
Й тікає від упевнених мана!..
У натовпі розучуєм: «ганьба!»,
А поодинці більшість – мовчазна.

Жиєм... Невже державницькі сади
Самі позакладалися панам?
Вже стягнені упоперек хати,
І ті, хто споконвічний тим хатам.

* * *

Верба над ставом
Плакучу втому
Занурила в воду,
Щоб згоїть журбу.
І в храмах дзвінно,
І сонце – линно,
А вітам пролитися –
Чорне табу.
І зизять хвилі
Чужої міри
У столітнє коріння,
У джерельну жагу.
Годують кому*
І ледь притомну
Красуню-калину
Проторять вінку.
Дніпро оклично
Й Дністер питально
Хлюпочуть сакрально
По своєму єству.
Верба над ставом
В клечальній з'яві
На кобзі вітру
Шумить таїну.
Зелене листя,
Мов сотні списів,
З гнучкої фортеці
Полює намул.
А потім любовно
Ниже намисто
Просвітленним дітям,
Щоб сенси – впритул.
Щоб в храмах дзвінно
І сонце – линно.
І вітам пролитися
Без коректур.

* кома – (від грец. koma – глибокий сон). Стан організму, що характеризується втратою свідомості, розладом життєво важливих функцій – кровообігу й дихання.

* * *

Мої гріхи босоніж, попідтинню,
Назустріч їм – дороги й бур'яни.
Червоне сонце власному падінню
Складає вкотре оди та псалми.

Та я не вірю жодному спасінню,
Й зіниці сиві втомлено-скляні.
Я заздрю пилу. Пилу та камінню,
Що відлюбили і живуть німі.

Мої гріхи босоніж, попідтинню,
Сидять невдахи осторонь, сумні.
А десь в душі, по Божому велінню,
Тендітний янгол плаче у стерні...

* * *

Виднокола у Бога неосяжно місткі,
Та зате і дороги незбагненно важкі.
Десь зірок Архітектор у задумі не спить,
Чийсь підсилює спротив, заколисує крик.

На Вкраїнському ґанку бродять зомбі-думки,
Щерблять смертю світанки, мов погані глеки.
Розпайовані люди, наче драні торби,
Позамикані в клуні бідноти і журби.

Виднокола у Бога неосяжно місткі,
Та зате і дороги незбагненно прості.
Десь зірок Архітектор у задумі не спить,
І на призьбах Вкраїнських глуздом добрим
К Р И Ч И Т Ь !

* * *

Любов... А чи хто тебе бачив?
Любов... А чи хто тебе чув?
Такий собі тихий і лагідний квачик,
Що рідко кого з нас торкаєш впритул.

* * *

Так довго не бува тепер дощу...
Земля, в жалобі куряви посУх,
Вдяглась у сірий репаний кожух
Й ніяк не розбіжиться досхочу.

Агов, Блакитна страднице, кричу:
А де надій Господніх капелюх?
Вхопили спазми в'їдливих пилюк,
І сито часу вклеїлось до рук?

Чи, може, по весні своїй межу
Ти міряєш поморщеним крилом?
О ні, не бійся! Юним не скажу,
Що та посуха – старість за вікном.

А мо, уперто? Ще раз! Досхочу!
І я світлини в серце наношу?
Мовчить Земля і мовчки капелюх
Віддавсь на глум старіючих палюг.

* * *

Ти мене назбирав на орбітах
Своїх снів про довіру й любов.
І сповна віддавав світлий борг,
Завеснівши у зимах і в лІтах.

Заклопотаний справами, в мітах
Розгубився на хвильку наш бог.
Ти мене назбирав на орбітах
Своїх снів про довіру й любов.

Крізь буденності й холоду сита,
З сигнатурою дивною – Босх,
Пересіялись в тисячі «бо...»,
Заблукавши в умовності сітях.
Ти мене назбирав на орбітах...

* * *

Кружеляє зима заметіллю,
Заморожує камінь і лід.
Снігом білим іду, наче сіллю
Своїх світлих і темних порід.

Щоб не взятися пусткою-цвіллю
Й не бентежити в зав'язку плід,
В ополонці морозного зілля
Полощу вкотре душу від бід.

Он ворона сичить із підпілля
І лаштує свій чорний політ.
Та брунькується ніжності гілля
Й вже за руку веде диво-цвіт.

Я поволі стаю ксилофоном,
Сніг лапатий віддзвонює біг.
Щастя знову високим погоном,
Світом біле сукно. Світом сніг.

Серце – чиста, легка наречена
Й гирі часу жбурляє від ніг.
Он чекає ще ковзанка в небо
Серед сотень звичайних доріг.

* * *

І знов розквітнув кущ жасмину,
І знов у пахощі рушає.
За сонцем мостить серцевину
І нею любих помічає.

Блондин духмяний бенкетує,
Бунтує білим білий світ,
А серце схрони ті вже чує,
І аж скрегоче у політ.

Я тихо, боязко скиртую
У душу білий, ніжний цвіт.
Колись вдягала ту фату вже
Серед наївних, чистих літ.

З мого непослуху кепкує
І білий цвіт, і білий світ.
Ворона дзьоб уже лаштує
На зайвий спротив і кульбіт.

І знову квітне кущ жасмину,
І знову в пахощі рушає,
За сонцем мостить серцевину
Й мене він навіть не питає.

* * *

Ніжну скрипку весняного сонця
Бог любовно поклав на плече.
Страдіварі в раю, біля свого віконця,
Дослухався у вишній рецепт.
І да Вінчі сміявся від щастя в сторонці,
Підставляючи вітру і крилам лице.
Партитура любові – довершеність нотна,
Й поза нею все зимно пусте.

* * *

На паромах змагань
Забагато єднань,
Що вартують лиш пустки,
Не вітру.

На паромах страждань
Так багато картань
Людям, долі, собі.
І останніх – торби.

На паромах звитяг
Неосонцений шлях.
Прапори й дзвонарі –
Все чужі, не свої.

На паромах чекань
Завше безліч питань –
Хто ти? Чий? І пливтимеш
Уперше ти звідкіль?

Береги... Береги...
І до скону гребти.
На паромі любові
Мене освяти,
Прикрі мушлі марнот
За водою пусти.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Мария КУЛЕШОВА

Утреннее солнце поднималось над полем с высохшей желтоватой травой. Под его лучами блестел большой ручей с заросшими камышом берегами. Неподалеку золотились крыши сельских домиков.

На поле выстроилась конная массовка, частью состоящая из местных сельских ребят на сельских же лошадях, частью – из профессиональных каскадеров и актеров. Пока шли приготовления, массовка разбилась на группы и болтала вволю. Курить на съемочной площадке строго запрещалось, впрочем, как и щелкать семечки. Но один парень из местных нашел способ, как ему казалось, избежать второго запрета: он выплевывал скорлупу в кулак и прятал в кожаную поясную сумку.

Режиссер восседал в палатке и просматривал отснятый материал. Оператор, настроив камеру, подал знак ассистенту режиссёра – смешливому парню в бандане, широких штанах и жилетке с множеством карманов. Тот, в свою очередь, кивнул ещё кому-то, и тут же к актерам массовых сцен подошли гримеры и принялись интенсивно исправлять погрешности в гриме, видимые только им.

По рации прозвучала команда режиссера, и актеры заняли места в сёдлах. Многие заерзали, пытаясь устроится поудобнее.

Ассистент принялся объяснять массовке задачу:

– Вам необходимо проскакать близко от камеры, не задев ее. Все поняли? Не-за-дев!

Вновь «ожила» рация, но команда прозвучала неразборчиво; затем в ней что-то заскрежетало и рация затихла. Режиссёр выбрался из палатки, оглядел поле орлиным взором и заорал:

– Тишина на площадке! – голос его чуть не сорвался, он покашлял и опять заорал, но тише. – Камера?

Оператор бодро отозвался:

– Есть камера!

– Мотор? – продолжил вопрошать режиссёр.

– Есть мотор! – браво ответил звукорежиссер.

Из-за режиссерской палатки выскочила хрупкая ассистентка-хлопушка и звонко объявила:

– Сцена сто двадцать, дубль первый!

– Начали! – скомандовал режиссер. – Кони пошли!

Массовка, почти синхронно, ударила пятками по гладким конским бокам.

– Сабли наголо!

Каскадеры молниеносно достали сабли из ножен. Непривычные к подобным маневрам ребята пытались про-

делать то же самое, но получилось не очень – кое-кто задел саблей соседа или его лошадь. Несколько ребят уронили оружие под копыта лошадям.

– Стоп! Заново!

– Ребята, мы же репетировали… – расстроился ассистент в бандане.

Опять прозвучали команды и ответы «камера-мотор». Снова выскочила ассистентка и старательно объявила:

– Сцена сто двадцать три, дубль второй!

«Хлопушка» стукнула прямо перед мордой коня. Тот в ответ щелкнул зубами и недовольно фыркнул. Девушка от неожиданности выронила хлопушку. И, покраснев, неловко подняла ее. Конь, увидев в руках девушки раздражающий предмет, громко заржал прямо в лицо девушке. Перепуганная ассистентка отскочила от коня и чуть не врезалась в камеру. Оператор показал ей кулак. Теперь «заржали» все, кто стали невольными свидетелями конфуза.

– Тишина на площадке! Начали! – скомандовал режиссер.

На этот раз сабли достали нормально. Но по мере приближения к камере несколько лошадей начали сбавлять шаг и спотыкаться. Под парнем, который жевал семечки, конь споткнулся прямо возле камеры, зафыркал и резко остановился, а парня кинуло на шею коня. Скорлупа от семечек, вылетев из кошелька, щедро обсыпала оператора и камеру.

– Стоп! Перерыв пять минут, – голос режиссёра всё-таки сорвался.

Пока провинившегося парня уводили с площадки, а режиссёр пытался восстановить голос, ассистент подошёл к каскадерам:

– Сейчас станете в первую конную шеренгу и, по моей команде, красиво достанете сабли – так, чтобы солнечные блики на лезвии играли, – и, помедлив, уточнил: – сможете, правда? А галопом?

– Нет проблем! – ответил старший в компании, высокий мужчина с седой бородой и смешливым взглядом.

Каскадеры построились. Егор стал крайним справа. Антон проехал вдоль шеренги и остановился возле Егора.

– Маневрируешь? – весело спросил Егор.

– Так ближе к камере, – подмигнул ему Антон.

– Думаешь, начнут с нашего фланга?

Ответ Антона потонул в громком вопле ассистента:

– Кони пош-ш-шли!

Егор пошел на камеру, красиво выхватил саблю из ножен и проехал мимо, чуть не зацепив ее. Оператор облегчённо выдохнул, с благодарностью посмотрел на Егора.

– Стоп! Снято! Теперь снимем переход через реку, потом – обед.

– Совсем зажрались киношники! И галоп на неровной местности подавай, и саблю доставай! Предупреждать надо! – сетовала массовка, потирая ушибленные после галопа места.

– Сейчас с саблями будут только каскадеры, – решил прекратить жалобы ассистент. – На общем плане десять человек, на средний план поставим троих: вас, – показал рукой на одного из каскадеров, – вас, – на Антона, и… вас, – на Егора. – Станете вторым.

Первый всадник медленно зашёл в ручей. Вода достала коню до живота, и отнюдь не резиновые сапоги всадника начали заполняться водой.

Вдруг первый всадник ухнул в воду вместе с конём – на дне оказалась яма. Конь Егора сделал пару шагов в том же направлении. Всадник вынырнул в метре в стороне, а вот коня видно не было. Вдруг «утонувший» конь вынырнул прямо перед носом Егорова коня. Хоть и дёрнул Егор поводья, но его конь не остановился: будто ничего не произошло, он

стал ногами на круп полупогружённого коня, и, прогулявшись по нему, словно по лужайке, опять ступил в воду.

– Ты это снимаешь?! – от восторга у режиссёра прорезался голос.

Оператор оттопырил большой палец.

Вечером Егор подошел к подъезду своего дома, неся, помимо внушительного рюкзака на плечах, объемные пакеты из магазина. Остановившись у двери в подъезд, он, переложив пакеты в одну руку, принялся рыться в карманах: сначала куртки, потом джинсов. Так и не найдя нужное, парень, ругнувшись под нос, позвонил в домофон.

Домофон одобрительно пропищал, и Егор, открыв дверь, вошел в парадное. «Лина, – с улыбкой подумал он. – Мама всегда спрашивает, кто звонит.»

Замок входной двери уже был открыт, когда парень дернул за ручку и вошел в квартиру.

– Братишка! Дай, помогу! – Лина с радостным воплем бросилась к нему и попыталась забрать пакеты.

– Тяжело, – возразил Егор и быстро занес их на кухню.

В коридоре он снял рюкзак и немного постоял, прислонившись к стене. Затем стал разуваться.

Лина разбирала пакеты, радуясь каждой покупке брата. Сладкое и крупы она оставила на столе, остальное складывала в холодильник, стараясь занять в нем как можно больше пространства – девочке надоело, что гипотетическая мышь, живущая в их холодильнике, периодически задумывалась о самоубийстве через повешенье.

Да и вся обстановка в кухне была под стать: старенькая мебель и бытовая техника, отстающие от стен обои и местами отколотая плитка над раковиной. Хотя не вся техника была старой: яркой деталью в интерьере была новехонькая стиральная машинка.

– Мама дома? – спросил Егор, вплотную подойдя к сестре.

– На балконе, – тихо ответила девочка, складывая крупы в шкафчик.

Егор, заговорщицки подмигнув, быстро вышел из кухни. И так же быстро вернулся с небольшой коробкой, на которой были нарисованы кофейные чашки.

– Они! – радостно воскликнула Лина. И тут же, закрыв рот ладонями, извиняющимся взглядом глянула на брата.

Ребята услышали шаркающие шаги по коридору. Лина быстро открыла шкафчик – там все пространство заставлено кастрюлями. В шкафчике с крупами тоже не оказалось места. Тогда Егор быстро открыл морозильник и сунул туда коробку.

Мама вошла в кухню и удивленно посмотрела на продукты на столе.

– Еще в холодильнике полно! – выпалила Лина и спохватилась: – Ой!

– Ты что, с Деппом поменялся гонораром? – в голосе мамы прозвучала нотка гордости.

– Это премия за лошадь, – хохотнул Егор.

– Опять трюки? – тут же нахмурилась мама. – У тебя ничего не болит?

– Все в порядке, мам... – примирительно сказал Егор.

– В порядке у него! Я помню, как ты ключицу выбил. Следующую премию вернешь режиссеру, понял?

Егор кивнул: по таким вопросам с мамой спорить – себе дороже.

– Когда переоденешься – «заряди» стирку.

Егор вздохнул и отправился выполнять просьбу.

К его приходу чай был налит, а сладости разложены по вазочкам. Егор засунул одежду, в которой пришел, в машину и поставил стирку.

Сели пить чай. Некоторое время сидели молча, потом мама осторожно сказала:

– Сынок, ты меня сегодня приятно удивил. Возможно, вы с Антоном правы и ...

Егор подмигнул Лине, и девочка непринужденно встала со стула и подошла к холодильнику. Егор затаил дыхание: пять лет он ждет этой фразы!

– Ваше увлечение не такое уж...

Вдруг в машинке что-то страшно заскрежетало. Лина одернула руку от ручки холодильника, а мама, чуть не опрокинув стул, отключила машинку.

Егор принес миску, и мама выгрузила в нее вещи. На вещевой куче лежали несколько монет. Мама, сердито глянув на Егора, полезла рукой в барабан и достала еще немного мелочи:

– Сдурел? – набросилась она на хлопающего глазами сына. – Только кредит взяла! Ты на ремонт дашь?

Егор опустил глаза.

– Думаешь, твоя стипендия и заработки раз в сто лет покрывают наши расходы?

– Гораздо чаще, – попыталась защитить брата Лина.

– Цыц! Я с шестнадцати лет работала по чужой трудовой. А ты все на гульках! Заигрался в актера погорелого театра. А сестре, чтобы ты знал, снова снижают оценки из-за чертового школьного фонда.

– Сколько?

– Егор, не надо...

– За три месяца, – озвучила срок мама.

– Пошли. – Егор взял Лину за руку.

В комнате они жили все втроем.

Егор вынул деньги из кошелька и отдал Лине.

– Тут много, – девочка протянула Егору сдачу.

Парень замотал головой. Лина, изловчившись, попыталась сунуть Егору деньги в карман штанов. Егор увернулся и, отскочив на несколько шагов, театрально поклонился.

– Дурак! – ничуть не обижено произнесла Лина.

– Стипендия на носу, – весело возразил Егор.

– Когда маме дарить будем?

– Чуть позже выйдешь и подаришь: мне сегодня лучше не рисковать.

– Тогда я перепрячу, потом вместе подарим.

Егор взял с кровати учебник истории. Открыл на заложенной карандашом странице, где перед несколькими абзацами стояли восклицательные знаки. Усевшись поудобнее на кровати, он спросил тоном, не терпящим возражения:

– Ты как будешь отвечать: по учебнику или как на самом деле было?

Лина села рядом с братом и положила ему голову на плечо:

– Расскажи про премиальную лошадь.

За три недели Егор никак не привык, что в уютном домишке начала двадцатого века располагается весьма комфортный современный офис. Он не уставал удивляться тому, что стоит чуть свернуть вглубь, пройдя по дворикам современных «железо-стекло-бетонок», и кажется, что оказался не просто в другом городе – в другом времени.

Егор толкнул массивную дверь и очутился в полутемной прихожей. Отметив свой приход у охранника, он пошел по длинному коридору, стараясь ступать как можно тише: старый паркетный пол разносил звуки шагов по всему зданию.

Открыл деревянную дверь, выкрашенную белой краской. Помещение за дверью было просторным, стояло десять небольших столов, оборудованных компьютерами. На низких подоконниках высоких окон лежали подушки и стояла растительность в горшках.

– Егор, иди сюда! – помахал рукой Костя из-за крайнего стола.

Системный блок компьютера был снят с привычного для него стола и лежал на полу. Его стенку, держащуюся на последнем шурупе, Костя и придерживал.

– Что ты делаешь? – удивился Егор.

– Опять диск сожрал, зараза! – Костя замахнулся на блок отверткой.

– А ну, прикручивай обратно!

Костя вопросительно глянул на Егора.

– Это не так лечится.

Парень выругался под нос, но все-таки прикрутил стенку обратно. Ставил блок обратно на стол и подсоединял провода он с таким видом, что Егора так и подмывало отодвинуть его в сторону и сделать все самому.

– Степаныч у себя?

– На совещании.

Наконец горе-техник подключил систему и, почесав ладонь отверткой, грубо поинтересовался:

– Дальше что?

– У кого-нибудь есть что-то тонкое и острое?

– Булавка подойдет? – раздался тоненький голосок в противоположном углу.

– Если большая и тонкая – да.

Егору передали по офису декоративную булавку. Он воткнул ее в едва заметную дырочку на дисководе. Дисковод, скрипнув, выехал. Егор бережно достал свой трофей – диск с фильмом «Трансформеры». Сотрудники офиса глядели на Егора с обожанием. У Кости челюсть отпала:

– Ну, ты... с меня пиво, – и робко потянулся за диском.

За их спинами послышалось строгое: «хм!» Незадачливый владелец диска с опаской повернул голову и увидел Степаныча.

– Тут это... опять заело...

Степаныч, не обращая внимания на оправдания «техника», кивнул Егору:

– Пойдем.

Ростоцкий Руслан Степанович, высокий человек пятидесяти пяти лет, всегда одетый строго и элегантно, напоминал английского аристократа. Кабинет Степаныча (он позволял сотрудникам называть его так запросто) был таким же маленьким и уютным, как и само здание. Секретаря у Степаныча не было: он давно привык все делать сам.

Усадив Егора в кресло и принеся на подносе чашечку кофе, Степаныч принялся писать в студенческом дневнике практики характеристику работы Егора.

Егор, затаив дыхание, наблюдал, с какой легкостью и быстротой ручка скользила по бумаге. С одной стороны Егор понимал, что характеристика – своего рода формальность, которая еще никого не спасала от окончательного вердикта преподавателя. Но от этого непростого человека и в этом непростом кабинете!.. Егору казалось, что написанная рукой Степаныча характеристика будет обладать особыми свойствами.

Наконец Степаныч поставил печать и, закрыв дневник, вернул Егору.

– Получишь диплом – приглашаю к нам. Мне с обормотами просто необходим толковый компьютерщик.

Егор почувствовал, как тело неестественно обмякло. Ему показалось, что он больше никогда не сможет встать с этого слишком удобного кресла. Да ведь и кресло, и кофе на это рассчитаны: чтобы люди оставались! Но на кастингах Егору тоже предлагали кофе и усаживали в удобные кресла. Так почему же сейчас...

– Спасибо, я подумаю... – Егору показался чужим собственный голос.

Будто во сне, Егор встал, забрал дневник и пожал руку Руслану Степановичу.

И внезапно осознал себя в коридоре, чуть не врезавшись в горшок с пальмой.

– Ну почему я тогда не забрал документы? – срывающимся шепотом выдавил Егор.

Ладони вдруг стали мокрыми, ноги подкашивались. Бесконечный коридор эхом разносил по зданию отчаяние загнанного зверя. Беспечного зверя, окончившего школу с серебряной медалью и поступившего, по протекции маминой подружки, в институт. Обучение давалось чрезвычайно легко – многие называли Егора компьютерщиком от Бога. А восемнадцатилетний «божий компьютерщик» мучился пониманием, что поступил не туда...

После первой же сессии он пошел забирать документы и подписал нужные бумажки. Женщина, пообещавшая прямо завтра вернуть ему документы, «донесла» маминой подруге.

На следующий день Егор пошел на лекции. А еще на следующий их впервые прогулял. И очень скоро стал лидером пропусков на курсе. Педагоги закрывали на это глаза: Егор все сдавал на «отлично». При этом парень пошел в театральную студию и примкнул к каскадерам, также занимавшимся верховой ездой и фехтованием.

Вот так, в знак протеста и сдуру, нашел свое призвание.

Он сдружился с Антоном – актером Театра юного зрителя. Началась совсем другая жизнь: кастинги, съемки, тренировки. Егор чудом умудрялся учиться на бюджете.

Жизнь была сказочно-прекрасна. Ирреальна. Теперь Егор стоял возле пальмы и отчаянно сопротивлялся удушающей реальности: работать ему теперь именно «компьютерным доктором». Не у Степаныча, так у кого-то другого. Или же идти в продавцы-консультанты или в фаст-фуд. Сертификат выпускника студии у него есть, но он не сравнится с дипломом профильного ВУЗа. В судьбоносных вопросах всегда узкий выход. Поэтому и фатальный...

Ну почему он три, или хотя бы два, да даже год назад не подумал, что ему жизненно необходим другой диплом? Тогда он еще мог бы, при старании и желании, поменять «физика» на «лирика». А теперь поздно. Потому что денег на второе высшее у него нет, и, очевидно они очень не скоро появятся.

– Эй! А ну, отойди от дерева! – Егор, моргнув, увидел сухонькую старушку, трясущую шваброй. Он послушно отошел.

– Ходют тут всякие... – беззлобно проворчала старушка.

Егору резко стало душно. Он понесся по коридору, не обращая внимания на оглушительный шум, пришитый к его пяткам словно тень Питера Пена. В голове металась и стучалась о стенки черепа фея-мысль: месяц до получения диплома! Есть целый месяц, чтобы «отстрочить казнь» и попытаться сделать то, чего не смог за пять лет! Есть шанс зацепиться штанами за последний вагон. Только какой он – этот шанс, Егор пока не знал.

Он выскочил из здания и, споткнувшись, с разгону едва не шлепнулся на тротуар. Проходивший мимо мужчина вдруг начал пристально всматриваться в лицо Егора. Пришлось быстро ретироваться.

Внезапно в кармане зазвонил телефон. Егор вздрогнул, словно ужаленный. Двумя пальцами, будто опасаясь подлого укуса, извлек телефон из кармана. Звонил Антон:

– Привет, у меня сногсшибательная новость!

Вечером под желтым абажуром лампы на Егоровой кухне состоялся переломный разговор. По ходу рассказа Егора Антон часто вскакивал со стула и ходил по кухне. Часто это хождение перерастало в бег. В наиболее пиковых ситуациях, как сегодня – когда происходил выплеск нервной энергии, Антон не мог стоять или сидеть на одном месте, и буквально скакал, задевая всё вокруг. Егор сидел и методично стучал ногой по батарее отопления.

– Эврика! – вдруг радостно заорал Антон и перепрыгнул через стул, задев головой лампу. Впервые за полчаса в кухне воцарилась тишина и относительный порядок, в котором стало слышно тиканье часов и гул от не сильных, но методичных ударов по батарее.

– Я вижу свет в конце тоннеля! – громким шепотом пояснил Антон и, чинно усевшись на свой стул, пустился в разъяснения.

Он, Антон, поговорит со своим «главным», и, возможно, Егора примут в театр на роли «кушать подано» два раза в месяц. Зарплата маленькая, зато Егор будет самым счастливым человеком – появится возможность заниматься любимым делом. И время на кастинги будет.

Егор настолько воодушевился, что забыл напомнить Антону о том, что образование у него далеко не театральное.

Через несколько дней позвонил Антон и назвал Егору конкретный день и час, в который ему следует явиться к служебному входу в театр.

Егор, встав на два часа раньше, все равно опоздал.

Подбегая к служебному входу, Егор предполагал, что сейчас увидит злого нервничающего Антона, яростно рассекающего коридор. Если же его шаги будут плавными, а лицо – обманчиво-улыбчивым – дела плохи.

Но Егор не угадал. Друг сидел на продавленном стуле и, жестикулируя, рассказывал что-то забавное пожилому дежурному. Причем, первым Егора заметил именно дежурный: Антон слишком увлекся игрой.

– Явился! – укоризненно сказал вахтер. – Не запылился!

– Запыхался! – Егор попытался перевести привычное опоздание в шутку.

Когда они с Антоном прошли через турникет и скрылись в полумраке узкого коридора, Антон зло прошипел Егору на ухо:

– За опоздание на театре увольняют.

И повел Егора в костюмерную.

Егору все время хотелось вычихнуть всю симфонию запахов, непрошено забирающуюся гостю в нос, будто желая поближе познакомиться: пыли, пудры, нафталина и чего-то совершенно незнакомого. Почти все пространство костюмерной занимали ряды разнообразных костюмов: от шкур первобытных людей до вычурных костюмов времен плаща и шпаги.

Антон сидел на подоконнике и с философским видом взирал на Егора. На нем красовался костюм стражника: двухцветная котта с гербом, двухцветные штаны и сапоги с приспущенными голенищами. К поясу пристегнуты ножны с мечом.

Егор стоял возле зеркала и рассматривал бутафорскую саблю с крупными камнями на рукоятке, одолженную в реквизиторской. Сабля абсолютно не шла к простому и слегка застиранному костюму горожанина.

– И зачем камни вставили? – под нос бурчал он. – Ее же неудобно держать.

Сделал широкий взмах. Лезвие мелко задрожало и Егору показалось, что оно сейчас отвалится.

– Во халтура! Как же вы ею сражаетесь?

Антон не успел ответить – из динамика хрипло и требовательно прозвучало:

– Массовка – выход три минуты.

– Пошли! – Антон спрыгнул с подоконника и, схватив Егора за руку, потянул к выходу.

Он повел Егора длинным, узким и извилистым, словно змея, коридором. Все это пространство тщетно пытались осветить несколько лампочек под потолком, находящихся на порядочном расстоянии друг от друга. В темных углах громоздились части декораций. Несколько раз по коридору разносился стук молотка или грохот от чего-то тяжело упавшего. Нос Егора, чуткий к запаху пиротехники, часто улавливал запах дыма и дешевых сигарет.

Наконец они добрались до кулисы, возле которой уже выстроилась массовка: горожане и несколько стражников. Друзья пристроились в «хвост».

На сцене заливисто затрубили в рожок. Массовка пошла на сцену. Антон быстро зашептал на ухо Егору: «Выходишь через десять секунд после меня. Напоминаю: просто идешь по сцене, секунд на двадцать останавливаешься послушать глашатая и идешь дальше – к кулисе. Там я буду тебя ждать».

Антон поправил перевязь с мечом и вышел на сцену.

Громким, от волнения, шепотом Егор отсчитал десять секунд и тоже вышел на сцену. Одновременно с ним из соседних кулис вышли еще несколько горожан. Егор, дойдя до глашатая, активно созывающего весь честной народ королевства, узнал о том, что король ищет достойного жениха для своей единственной дочери. Егор развернулся, чтобы пойти дальше и случайно повернул голову. Миг – и таинственная многоликая темнота зрительного зала приковала его к полу. Он почувствовал людей, сидящих в зале и жадно следящих за действиями на сцене. Егору почудилось, что сцена – это жемчужина в закрытой раковине, которая чувствует вибрацию от дыхания моллюска. Парень мотнул головой и, сбросив наваждение, бодро пошел к кулисе, за которой его ждал друг.

– Ты – молодец! – взволновано похвалил его Антон, хлопнув по плечу.

– Спасибо...

– Нет, ты не понимаешь! Ты всего на несколько мгновений «завис», а некоторые буквально застывают, впадают в ступор. Причем, многие первопроходцы это любят делать прямо в центре сцены. Одного такого деятеля я еле запихнул за кулису. Зрители были в экстазе.

– А режиссер?

Антон хитро прищурился:

– Пусть не предлагает экстренно вводить на «кушать подано» вспомогательные цеха. Артисты – люди ранимые и все воспринимают буквально.

– Истину говоришь! – голос неожиданно прогремел за спинами ребят.

– Ваше Величество, нельзя же так пугать! Мы люди ранимые...

Ранимые люди повернулись на голос. «Голос» в королевском облачении встретил их добродушной улыбкой и ироничным взглядом:

– Эх, подрастающая смена! Пугаетесь каждого чиха!

Король отхлебнул кофе из пластикового стаканчика. Егор смотрел на него во все глаза: что-то в этом высоком статном пожилом актере не позволяло усомниться в его величественности.

– Ну что? – несмотря на строгость тона, глаза короля улыбались.

– Свой в доску! – радостно козырнул Антон.

– Так веди к главному!

Антон, просияв, снова потащил Егора по коридору.

Меньше чем через час Егор выбежал из главного входа. Антон выскочил на улицу вслед за другом и остановился на мгновение, оглушенный громким, каким-то каркающим хлопком массивной двери.

– Егор! – позвал он и побежал по аллее к фонтану.

Увидев бегущего к нему Антона, Егор прибавил скорость. Антон сделал то же самое. Из-под его ног вылетели голуби, сердобольно прикормленные старушкой, гуляющей с внучкой.

– Стой! – завопил Антон, когда перепуганный голубь чуть не зацепил крыльями его лицо.

– Ба, а что это дядя делает? – удивленно спросила девочка, показывая на Антона.

– Репетирует, наверное... – предположила бабушка, оценив театральный костюм Антона.

Антон догнал Егора у фонтана. Егор стоял, облокотившись на кромку фонтана, и смотрел на воду. Антон стал точно так же.

Некоторое время они стояли молча. Антон, заметив маленький камушек на кромке, щелчком скинул его в фонтан. Егор, моргнув, быстро глянул на Антона и снова уставился на воду.

– Егор... – прошептал-просвистел Антон.

– Ты... – выдохнул Егор. – Почему. Не предупредил?

– Егор, я не...

– У вас, конечно же, профильное образование? Я чувствовал себя последним кретином!

– Ну, извини, забыл! Я знаю тебя как хорошего актера. А то, что ты технарь по бумажке – вылетело из головы. Но Петр Львович же пообещал тебя взять!

– Когда поступлю в театральный!

– Ну да.

– Что, «ну да»? За какие шиши?

– Хм... Пока устройся на работу, набор в институт ты уже пропустил. За год подготовишься, а там – будешь параллельно и учится, и работать.

– Актеры же только на дневном.

– Зачем стационар – ты уже работать будешь. Поступишь на заочный, на режиссера, например...

Егор, наконец, посмотрел на друга. Антон невольно вздрогнул под его взглядом.

– Мечта требует жертв! – тихо, но твердо заявил Антон.

Егор резко отвернулся и зашагал прочь от фонтана. Шаги его были неровные, как у механической игрушки.

– Ты не понял! Ты бы уже работал актером! – закричал ему вслед Антон, сорвавшись на хрип.

Почти два месяца ребята не общались. Егор, готовясь к госэкзаменам, все глубже погрязал в депрессии: он никак не мог смириться с тем, что мечта утекает сквозь пальцы. Из головы не выходили слова Антона о том, что можно и работать, и учиться в театральном. Но зарплаты новичка в театре никогда не хватит на обучение в институте. Егор же не мыслил себя никем, кроме актера. Даже временно.

Он иногда просматривал кастинги в интернете – раньше этим занимался Антон и сообщал Егору о годных вариантах, куда они потом шли вместе. Но сейчас такие не попадались.

Егор рассказал матери о предложении Степаныча только в тот день, когда «проиграл» в театре. Увидев, как засветилось от счастья ее лицо, он понял, что его мечта накрылась медным тазом.

Получив диплом, Егор отправился к Степанычу подавать документы на работу. Поскольку это была пятница, первый в жизни рабочий день должен был начаться с понедельника.

Когда Егор вышел из офиса, его изрядно промочил дождь. Дальнейший вечер тоже не клеился: то рубашка, которую он хотел надеть в первый рабочий день, оказалась маленькой, то кофе сбежал.

Мама, как всегда, пришла с работы поздно. Лину с книгой застала на кухне.

На мамин вопросительный взгляд девочка ответила:

– Егор опять депрессует.

Мама тихонько подошла к кровати сына. Егор лежал, отвернувшись к стене.

– Можно, я сяду рядом? – шепотом спросила мама, точно зная, что Егор не спит.

Легкий одобрительный кивок головой.

– Сынок, пообещай подумать над тем, что я сейчас скажу: актер – очень зависимая профессия. И проблема даже не в этом: без связей в ней, да и во многих творческих профессиях, делать нечего. Сейчас тебе в это трудно верится... Но нет никакой гарантии, что ты бы поступил в театральный. А если бы поступил – что работал бы в театре даже на «кушать подано» три раза в месяц, как твой Антон. И не факт, что снимался бы больше, чем сейчас.

Прости, но я у тебя – обычный кассир. А бабушка Антона – царство ей небесное! – работала аккомпаниатором в училище культуры. И то Антон учился на контракте. Думаешь, если бы ему было так хорошо в театре, он бы примкнул к твоим каскадерам?

Тебе сейчас двадцать два, и кажется, что впереди – о-го-го сколько времени. А время – как песок сквозь пальцы. Можно всю жизнь «Тайд» рекламировать, так и не сыграв Гамлета.

А «компьютерный доктор» – хлебная профессия. Со временем сможешь брать дополнительные заказы, потом будешь сам на себя работать. Появится время на кастинги. Ты, главное, начни...

Прошла первая бесконечная неделя на первой в жизни работе. За вторую неделю Егор уже немного привык, а на третьей чувствовал себя практически как рыба в воде.

За последние три месяца Егор ни разу не был у каскадеров на тренировках: все планировал попасть туда, благо рабочий график позволял, но после работы он приходил уставшим, а на выходных хотел только отдыхать. О кастингах он не вспоминал: их можно пройти в выходные, но съемки часто ставят на будние дни.

Однажды вечером семья выбралась в кафе, чтобы обмыть новую жизнь Егора. Женщины принарядились по случаю, но маме не удалось уговорить Егора одеться в соответствии с моментом.

Подняв бокал шампанского за выбор сына, мама вызвала у Егора непрошенное воспоминание.

Голубое безоблачное небо. Запах травы и полевых цветов. Смех Антона, зачем-то завязавшего Егору глаза и орущего на все поле о каком-то сюрпризе.

Хлопанье крыльев, фырканье лошадей. Яркий свет ударил по глазам – Антон без предупреждения сдернул повязку. Дружеские похлопывания по плечу и тосты за именинника.

– Я скажу, – произнес тост старший в компании каскадер. – Желаю, чтобы ты выбирал сердцем. Да, это трудно и часто кажется, что в определенной ситуации это невозможно. Но только сердце знает, чего ты хочешь на самом деле. Доверься ему, иначе будешь несчастливым.

– За тебя! – Егор чокнулся бокалами с матерью и сестрой.

Мимо кафе проходил Антон с компанией. Увидев Егора в витрине, он быстро попрощался и зашел в кафе.

Антон бесшумно подошел к столику, за которым сидел Егор с семьей:

– Здравствуйте. Что, третий день за здоровье величества-дипломника?

– Ой! – мама дернулась на стуле. – Здравствуй, Антоша! Садись с нами. Егор, поухаживай. Мы только сейчас смогли выбраться: у Егора работа, у меня работа...

– У тебя работа? – криво улыбнулся Антон.

– Да, по специальности, – у Егора дрогнула рука, и шампанское выплеснулось на стол.

– Интереснее, чем у Львовича?

– А что Львович? Опять трюки предложил? – забеспокоилась мать.

– Вроде того, – проронил Антон.

– Опять водоплавающая лошадь! В офисе все-таки безопаснее.

– Бездарнее.

– Проще, – примирительно добавил Егор.

– Слушай, «дарность», – насупилась мама – ты в своем театре делаешь все, что нравится?

– Да! – соврал Антон.

Мама пристально посмотрела на него:

– С театральными подачками, небось, на шее у родителей сидишь? А моя шея не может их двоих выдержать.

– Я сам зарабатываю! – вспыхнул Антон. – Бегаю с кастинга на кастинг как тот спринтер! Потому что не хочу, как вы: без мечты и по чужой правильности.

– И долго ты протянешь? Невозможно жить только мечтой! Артисты! Вот останетесь с Егором на улице и будете под пальмой один сухарь на двоих жевать. Тогда не до тонких материй будет!

– Но под пальмою же... – отшутился Егор.

Мама испепеляюще глянула на Егора, тот вжал голову в плечи. Антон выпил залпом бокал шампанского и встал из-за стола.

– Тетя Галя, Лина – спасибо вам за компанию, – смерив Егора взглядом, Антон добавил: – а тебя мне жалко.

На следующий день Антон, втайне от Егора, договорился с художественным руководителем театра насчет нового просмотра для друга. Антон пообещал, что уговорит Егора поступить в институт на заочное. «Главный» быстро согласился: оказалось, что за Егора просил «король» – ведущий актер театра.

Главный сообщил, что если Егор не подведет, его возьмут в штат еще и по основной специальности: будет и выходить на сцену, и работать компьютерщиком. Благодаря этому Егор сможет полноценно работать в театре, и, в будущем, учиться.

Когда счастливый Антон приготовился рассказать эту новость всему свету, главный взял с него слово: никто, а особенно Егор, не должен ничего знать. Главный сам поговорит с Егором после спектакля.

Впервые в жизни Антону стоило много нервов уговорить Егора «войти в кадр». Но, оказалось, это был только первый этап: Егор пообещал ответить, сможет он или нет, только через пять дней. Все это время Антон чувствовал себя словно на иголках. Он еле сдерживался, чтобы не намекнуть другу, что от этого решения зависит судьба Егора. Но Антон сдержал слово, данное художественному руководителю и главному режиссеру театра.

Наконец Егор дал согласие выйти на сцену. Правда, согласился он лишь утром того дня, когда давали спектакль, служивший Егору проверкой.

Раздался третий звонок. Но зрители, в большинстве дети с родителями, продолжили, суетясь, рассаживаться по местам. Продавщицу программок обступила галдящая детвора: причиной послужил Геракл в шикарных доспехах, изображённый на программке.

Двое учительниц, отловив дежурную, наперебой доказывали ей, что им нужны места именно возле детей. И не важно, что в их билетах указаны другие номера кресел. Дежурная, заверив их, что быстро во всем разберется, юркнула к спасительному выходу. Очередные упреки от учительниц доблестно принял на себя администратор.

Тем временем по другую сторону занавеса уже вовсю шли последние приготовления к спектаклю «Подвиги Геракла»: помощник режиссера выстраивал на авансцене древнегреческий хор.

Сегодня хор никак не хотел выстраиваться: актеры толкались, извинялись и ругались сквозь зубы, наступая друг другу на тоги. Помреж нервничал и ругался вместе с актерами. Наконец хор построился: четыре хориста впереди и еще по трое сзади. Егор с Антоном попали в последнюю тройку.

– Не волнуешься? – взволнованно спросил Антон.

Егор пожал плечами.

– Знаешь... ты извини меня за ту ссору в кафе. Глупо было. И перед мамой извинись за меня, пожалуйста. Когда увижу ее – извинюсь еще раз.

– Минута до открытия занавеса, – предупредил помреж и скрылся за кулисой.

– Да, ты почему каскад забросил?

– Никак не дойду до тренировки, – Егор ответил почти беспечно.

Антон нахмурился.

Зазвучала торжественная музыка, и занавес величественно уплыл в сторону. Хор начал петь пролог, а Егор, оторопело уставившись в зрительный зал, забыл о том, что ему нужно петь: в зале, насколько позволяло разглядеть освещение, находились школьники средних классов.

Антон толкнул локтем Егора – и тот пропел со всеми последнюю строчку.

На сцену вышла разъяренная Гера, и началось действие. Несколько школьников с первого ряда завозились в креслах.

– Давай подвиги! – через пять минут завопили они. Но Гера, видать, была слишком занята скандалом с Зевсом, чтобы обратить внимание на зрителей.

Тогда один из школьников сначала засунул руку в карман, а потом быстро сунул ее в рот. За ним повторяли рядом сидящие приятели. Затем ребята синхронно достали пластмассовые трубочки, бывшие когда-то шариковыми ручками, и начали исподтишка плевать жеваной бумагой в актеров.

Актеры не сразу поняли, что происходит. Но когда в пышной прическе Геры висел уже не один мокрый комочек, и другие дети начали смеяться...

Актеров попросили продержаться до антракта – с первых рядов зрителей сложно увести так, чтобы не помешать смотреть остальным. Актеры стали гораздо быстрее перемещаться по сцене и приноровились уклоняться от бумажных снарядов.

Дети тоже быстро сориентировались и поменяли мишени – стали стрелять в неподвижных хористов, которые, тут же, стали очень подвижными. Помреж прикрикнул на них из-за кулис и попросил «стоять хором», пока он что-то придумает.

Но время шло, обстрел продолжался, а помреж не давал о себе знать.

– Когда у них закончится бумага? – взмолился Антон после того, как бумажка больно задела его по уху.

Егор открыл рот, чтобы ответить, и тут же новый патрон залетел ему прямо в рот. Егор глупо заморгал, и ему показалось, что он слышит злорадный смешок обидчика.

Вдруг на сцене открылся люк. Помреж махнул рукой хористам: «Идите туда!» Первая четверка хористов, не прекращая петь, пошла к люку. За ними пошли следующие. Егор с Антоном замыкали шествие.

Узрев позорное бегство хористов, школьники вскочили с кресел и обсыпали их градом выстрелов. Егор, увернувшись от очередного плевка, вдруг заметил кое-кого пострашнее школьников: за ним с восьмого ряда внимательно наблюдал Степаныч. Встретившись взглядом с начальником, Егор застыл на месте.

– Ты чего? – оглянулся Антон и потянул друга за руку. Тщетно – Егор будто прирос к сцене.

И тут Егору в лоб влетел бумажный снаряд. Раздался ликующий мальчишеский вопль. Егор заморгал и сделал неуверенный шаг. Антон, воспользовавшись ситуацией, схватил Егора за руку и потащил к люку.

– Что, тяжело быть артистами? – понеслось друзьям в след.

Егор перехватил начальника в гардеробе. Со Степанычем был мальчик лет шести.

– Интересно вы болеете. Я не врач, но знаю: воспаление наглости не лечиться.

Взяв мальчика за руку, Руслан Степанович ушел.

Егор сидел перед зеркалом в тесной гримерной на четверых, в которой им с Антоном выделили один на двоих столик и стул.

Антон, быстро разгримировавшись, куда-то убежал. Егор сидел в тоге и смотрел в одну точку.

– Эй, мы ушли! – окликнул Егора один из актеров. – Будешь уходить – выключишь свет, хорошо?

Егор не отреагировал.

– Хорошо? – переспросил один из актеров.

– Меня выгонят с работы, – словно заклинание, произнес Егор.

– Странный какой-то...

Актеры ушли, аккуратно прикрыв за собой двери.

Почти тут же в гримерку влетел довольный Антон и, кружась по комнате, принялся насвистывать мелодию.

– Где твой телефон? – Антон органично плел вопрос в ткань мелодии.

– Не помню... – тихо выдавил Егор.

– Саныч только что сделал сногсшибательное предложение! Исторические события, пять съемочных дней. Массовка, но пообещали несколько крупных планов и, возможно, эпизод! Что смотришь? На звонки надо отвечать! Хорошо, Саныч знает, что мы работаем вместе!

– Я... не буду, – прошептал Егор.

Антон остановился и ошарашено уставился на Егора.

– Ты что, не понимаешь?! – закричал Егор. – Меня теперь уволят!

– Может, это к лучшему? – Антон робко улыбнулся

– Ты... Ты откуда знаешь, что для меня лучше? – просипел Егор. Его глаза с расширенными от злости зрачками, в упор уставились на Антона. Антону стало неуютно. – Ты своими идеями мне всю жизнь сломал! Это ты придумал ходить на кастинги... – наседал Егор.

– Ты же студию закончил!

Антон пытался найти то спасительное слово, после которого друг немного успокоится и начнет соображать. Он чувствовал: еще миллиметр – и Егора уже не вытащить из пропасти, которую он сам себе создал.

– Это ты решил, что мне необходимо работать в твоем театре. А я просто хочу...– Егор не мог найти подходящего слова.

– Чего ты хочешь? – обреченно спросил Антон.

– Не хочу тебя видеть! – страшным свистящим шепотом сказал Егор в лицо другу. – Никогда!

И побежал прочь из гримерной.

– Егор! С тобой хотели... поговорить.

Но Егор был уже далеко. На этот раз Антон не захотел его догонять.

В тот день улицу со старыми домами оккупировала пара полицейских машин и несколько фургонов с кинооборудованием. Все суетились, оператор настраивал камеру, стоящую на рельсах. Гример «подводил» лицо актеру в элегантном костюме конца девятнадцатого века. Ассистенты перекрыли часть улицы и проезжей части дорожными конусами. Среди массовки был и Антон, который активно жестикулировал и улыбался, общаясь с другими актерами.

– Уважаемые наблюдатели! Выключите, пожалуйста, мобильные телефоны и не разговаривайте во время съемки, – попросил в рупор первый ассистент.

– И не выходите, пожалуйста, за ограничительную линию, – добавил второй. – Для сотрудников помещений повторяю: пожалуйста, не выходите на улицу во время съемки и отойдите от окон. Просим извинения за неудобства.

Несмотря на просьбы киношников, двое молодых людей подглядывали в окна. Согнув спины и выгнув шеи, готовые в любой момент отскочить к стене, они упоенно подсматривали за действиями съемочной группы, чудом умудряясь не расплескать кофе из пластиковых стаканчиков.

– А вот и актеры! – обрадовался парень по имени Костя, обещавший Егору пиво за спасенный диск.

Егор посмотрел в указанном направлении и оторопел: среди актерской братии активно маячил Антон. На Антона были обращены взгляды всей компании. И у него было то знакомое хитрое выражение лица и так расставлены руки, будто он рассказывал в лицах свой любимый анекдот.

– Эй, ты чего? – удивился Костя и осторожно хлопнул Егора по плечу. Тот не отреагировал, и Костя пожал плечами.

А Егор уже был там – в окружении этих веселых, спешащих людей которые настраивают камеры, гримируют актеров, переставляют освещение и... создают волшебную реальность. Егор стоял рядом с Антоном и вместе с остальными от души смеялся над любимым анекдотом друга. К ним подскочил гример и, подправив им грим, растворился за спинами съемочной группы.

Прозвучала команда: «Тишина на площадке!» Егор с Антоном инстинктивно вытянулись, словно хищники, готовые к прыжку. На команде «Мотор!» Егор громко втянул ноздрями воздух и «выпустил когти» – на их с Антоном языке так называется вхождение в образ.

Вдруг оператор движением руки подозвал ассистента. Потом показал рукой на окно и шепнул что-то ассистенту на ухо. Ассистент произнес в рупор, глядя на Егора в окне:

– Молодой человек! Отойдите от окна!

Егор мысленно возмутился: почему ассистент гонит его из кадра? Они с Антоном вместе играют в этой сцене. Неужели перепутали раскадровку?

– Выйди из кадра, тебе говорят! – второй ассистент отобрал рупор у первого.

Вдруг чья-то рука схватила Егора за плечо и оттащила от окна. Егор резко развернулся к обидчику.

– Обед закончился, – невозмутимо сказал Костя. И взял у Егора из дрожащих пальцев чудом не расплескавшийся стаканчик с кофе.

Егор, словно сомнамбула, пошел за Костей к его столу. На столе, как всегда, лежал системный блок. Егор, высунув кончик языка, принялся старательно откручивать последний болтик от стенки компьютера.

Сергей ИГНАТОВ

БЕЛОПЕРОЕ ОБЛАЧКО ЛЕТА

Быть может, неправильно и даже преступно подыскивать прощальные слова так рано, когда горе еще слишком свежо. Но когда оно отойдет? Я не знаю. Оно не отходит, лишь погружается все глубже и глубже, ищет там себе все новую поживу, словно подземный огонь, пожирая те жалкие сокровища, что нам удалось скопить за 15 лет нашего чудесного странствования.

Как и что сказать о ней посторонним? Слово изреченное есть ложь. И для нее все были посторонние. Она была неизлечимо и безнадежно одинока, как и всякий подлинный поэт. Близких подруг у нее не было, кроме единственной школьной, тоже несчастной и одинокой, на другом конце мира. Таня была на виду, но окружена невидимой стеной, и в этом была одна из ее тайн. Она охотно, ярко и празднично выступала, вся открываясь в стихах – «чем стыдней, тем бессмертней на белое ляжет» – но при этом сохраняла недостижимость и загадку. Ее врожденный талант, женственность, аристократизм и артистизм завораживали. Я видел, как она читала в актерском собрании, где ее слушали обученные, тертые, натасканные сценой декламаторы и лицедеи – слушали и смотрели во все глаза, с изумлением – как смотрят на подлинник после базарной копии.

Надо знать, что Таня всегда жила под угрозой внезапной остановки сердца, и потому в ее стихах повсюду сквозит и отпугивает многих тема смерти и увядания. У нее было больное сердечко, оно билось с перебоями, иногда надолго замирало, и она боялась, что остановится совершенно. Она умела его успокаивать, уговаривать и запускать, нажимая на какие-то точки. Но в этот раз, видно, не сумела или не захотела. На город обрушилась оглушительная, страшная гроза, и неистовые небесные разряды, громы и потоки вод, убив ее, бушевали и торжествовали еще несколько дней, унося ее душу домой – к «грозным скульпторам – ветру с водой, милым бездарям – мху с лебедой».

Но еще раньше ее, как цветок, подломили выплеснувшееся на волю буйство и зверство, неожиданный и страшный раскол на своих и чужих, на правильных и неправильных, раздавили хлынувшие потоки ненависти – от тех, кто еще недавно был ласков и добр, но стремительно перекрасился и озверел. Я пытался ее спасти, но не успел. Бросился вить для нее убежище далеко-далеко, «в лесу большом, как воля». Долго бился и обустраивался, нашел там кучу работы, чтобы она ни в чем не нуждалась и

ничего не боялась. Она ведь всегда была нищей, словно церковный мышонок, а утрата жалкой работы после переворота нанесла ей тяжкий удар. Пока я готовился ее спасать, ее гордыня и психика не выдержали. Врачи закололи ее нейролептиками – они убивают чувства, сводят судорогой тело, превращают в овощ. Бесчувственной развалиной она жить не захотела.

Таких женщин нет и не будет. Она была воплощением самой звонкой, хрустальной женственности, врожденного стиля и благородства, даже дворянства (была у нее такая прабабушка). Ее голубая кровь проявлялась, в частности, в полной бытовой беспомощности и бесхозяйственности. Все попытки хозяйствовать кончались ожогами, порезами, мокрыми рукавами и потопами. Я не сразу осознал, что это в ней неисправимо дамское и светское, какое-то время боролся, но потом привык и полюбил помогать и служить ей. При всем своем аристократизме, она трогательно истекала слюнками, заслышав вкусные запахи, с восторгом набрасывалась на простую трапезу и восторгалась ей. Считала великим и непостижимым искусством умение приготовить незатейливую пищу так, чтобы та не пригорела, не сбежала и не обляпала с ног до головы.

Я никогда не встречал в других столько чисто дамских странностей, взбалмошностей и упрямств. Все мы знаем, что дамы опаздывают слегка и иногда, будучи непонятными существами. Но она опаздывала упрямо, постоянно и катастрофично – на полчаса минимум, а бывало и на час сорок, ввергая меня в отчаяние, гнев и стыд перед людьми. Опаздывала привычно, безмятежно и естественно – столь высока была концентрация дамского естества в ее крови. Понукания и упреки лишь замедляли ее непонятные мышиные копания. Надежда появлялась, когда она вдруг принималась носиться взад-вперед в полном параде, стуча копытцами, от зеркала в коридор к сумочкам в поисках намешанных в них дамских мелочей – эта беготня означала, что выход случится очень скоро, через полчаса. Сначала меня выводили из себя эти и другие девчоночьи странности, непостижимые для мужского ума – но со временем незаметно привязался к ним, а потом полюбил. Без них в жизни и душе осталась одна пустота с правильными, но холодными мужскими углами.

Однажды в самом начале нашего счастья, когда мы блуждали в закатных лугах, меня вдруг пронзил лезвие предчувствия, и я написал несколько строк от себя – а оказалось, он нее. «Вспомни, если я первой умру, как пылает на розовой стеле, на закатном осеннем пиру – дерево, полное свиристелей. Человечью печаль подави – я безмолвствую в поисках чуда; оно послано нам на двоих: птицы знают – мы оба оттуда. Мы с тобой никогда не умрём. Вспоминай, что понять не успели: мы бессмертны – и смотрим вдвоём в дерево, полное свиристелей».

Заметно, что она своей недолгой болезнью и смертью ошеломила и напугала всех, кто любил ее за харизму вечной юности, здоровья и красоты – «я молодость храню». Она всегда выглядела 20-30-летней. Люди инстинктивно преклоняются пред такими и безотчетно тянутся к ним в надежде узнать секрет причастия к бессмертию – а значит и божеству. И по той же причине умерших инстинктивно сторонятся. Смерть вызывает смутный страх и отторжение, сея сомнения в собственном бессмертии. И как жить прошлым? Все живут настоящим – здесь и сейчас. Книги умерших поэтов тоже не очень-то и читают. Читают, конечно, но с другими чувствами. Если поэзия – форма жреческого служения (по Новалису), поиск выхода на высшую силу в надежде на ее поддержку; и если самое искусное и самоотверженное служение не спасает жреца от смерти – понятно, что его собратья отшатываются в испуге. Этот путь не помог, нужно искать иные. Вот и на девять дней пришла крохотная горстка испуганных.

В копилке наших сокровищ были вполне осязаемые и ручные. Розовый кварц – он нежно охватывал ее шейку, мгновенно согревался и оттенял губы. Страшно редкий, индийский, он чудом попался мне в Коктебеле – мне ли его не знать, минералогу по первой любви и диплому. А еще зеленый крапчатый змеевик, он же серпентинит, резаный цветочными розетками – подошел ей под цвет глаз идеально. Попался нам на выставке цветов, и она было заупрямилась по привычке, но затем мгновенно в него влюбилась – и с восторгом пересказывала историю его добычи, слегка приукрашивая. Был еще лепесток из черно-белого полированного рога с Андреевского – мы считали его рогом поклонника, обманутого и убитого ей.

Нас многое радовало и забавляло. Она ведь была веселой, как котенок, и доброй, даже кроткой по характеру. Иногда робко хулиганистой, и все это тоже с восторгом и наслаждением. Если бы мать и отчим не изводили ее, не муштровали и не грызли на бесхозяйственность, одинокость и бесцельность жизни (как им, огородникам, казалось), все могло быть иначе. Она ведь скрывала от них свое творчество до конца, таилась всеми силами, боясь, что обругают и растопчут последнее.

Еще больше было других сокровищ. Мы изъездили и исходили с ней все ближние и дальние леса, посмотрели в глаза всем озерам, речкам и рощицам, всем этим сущанкам и крушинкам. Прошлись по готским поселениям – те умели выбирать самые красивые места у родников и ручьев. Я находил там черепки и горбатые ножи – но она не любила их за немытость, будучи опрятной, как кошка. Из большого ботанического сада мы не вылезали с весны, и даже освоили обходной преступный лаз. У нас был обычай встречать подснежники, пролески, морозники, дикие пионы и прочих робких друзей и союзников, прячущихся в дальнем безлюдном уголке. А также первые почки, листы и крокусы, первых скворцов и дроздов. «Как на травке певчий дрозд распустил свой певчий хвост» – смеялась она. А позже, уже чуть пресыщенные открытиями, навещали занюханные толпами магнолии, сирень, роскошные торты цветочных клумб и прочий ширпотреб. Мы радостно глазели на тамошних вяхирей с их гулким воркованием и брачными танцами в небе. Мы ездили в старые сосняки к югу, чтобы встретить сны – сон-траву. О снах была ее первая простенькая вещь, свежая, как бутон – «в лесу большом, как воля... их люди не услышат, услышав – не простят». Мы знали, где растут дикие разноцветные ирисы в последнем нетронутом заповедном уголке в Конче – и вспугивали там куликов-сорок. Мы останавливались за спинами у рыбаков, и она приманивала им рыб своей таинственной и наивной ворожбой. Она любила и называла по именам бабочек, встречала их криками восторга. Кротко ловила, по-детски делая ладошку домиком, лепетала что-то тонким голоском и отпускала. Я много раз замечал, что птицы, бабочки и стрекозы ее вообще не боятся. Бабочек много в ее стихах – ее пленяла загадка их перерождений из личинки в гусеницу через полусмерть в коконе – и вдруг в счастливое летающее существо. Она надеялась постичь эту тайну – и, возможно, уже постигла.

Она тянулась к смерти, особенно в последнее время, не хотела жить, столь многое утратив. Но при этом – я не знаю никого, кто так любил жизнь и страстно наслаждался каждым мигом. В наших лесных прогулках у нее с лица не сходила улыбка счастья. Мы были с ней сообщниками в охоте за прекрасным. Я возил ее во время буйного цветения за город к песчаному утесу – смотреть золотистых щурок, гнездящихся в нем. Они столь красивы, что в мире есть целые общества их поклонников. Быстрые и сторожкие, они не подпускают близко, и мы разглядывали их в подзорную трубу. Потом я подобрал укрытие, и там иные налетали на нас вплотную. Она смотрела на птиц с улыбкой и тихо вскрикивала в восторге. А я плавал в счастье от нее и от них, хотя и не осознавал тогда. Осознаешь, когда теряешь.

Однажды осенью, бродя за городом среди желтеющих берез и разбирая багрово-оливковые букеты дуболистных кленов, мы заметили в немыслимой высоте плывущих на юг больших орлов. Нас поразила скорость, с которой те, искусно ловя потоки, косо скользили в небе по незримой струне, едва шевеля крылами. Я не знаю, где и куда скользит она теперь в этом великом безмолвии. После смерти я видел ее лишь один-единственный раз во сне. Мы крепко прижались щеками, и я ей сказал «видишь, мы в разных мирах, но это нам не мешает», а она смолчала и чуть отвернулась, словно знает иное. Последнее время она часто так делала, когда я говорил, что все вернется, ей уже лучше, нельзя отчаиваться – делай что должно и будь что будет. Она не хотела бороться – не желала жить дальше жалкой, раздавленной старухой. Она была слишком горда, чтобы смириться – голубая кровь мешала. В том дальнем лесном городке, где я свил для нее убежище – теперь ненужное и постылое – у меня в те страшные дни нашлись только два ее снимка. На одном из них она уходит прочь от меня по лесной дороге – тонкая хрупкая фигурка среди огромных стволов. Такая родная и единственная – и такая одинокая.

Татьяна АИНОВА

ПОДБОРКА СТИХОВ

* * *

В неразгаданных дебрях, в испуганных кронах,
под покровом изодранных крыльев вороньих
переливница-бабочка тьма
затаилась от неба-бельма.
Под еловые своды сжигающим летом
можно скрыться от пыли, от едкого света,
от грозы, от вражды и тюрьмы...
Но куда мне укрыться от тьмы,
если крылья ломает и птицам, и елям
та же тьма, что по спрятанным тонким тоннелям
понесла мою горькую кровь -
наслажденье лесных комаров?
Если столько прозрачных, несорванных ягод,
и не знаю, какая наполнится ядом,
если я поневоле сама -
переливница-бабочка тьма?
И меня это знанье уже не ужалит:
человек не творит, человек подражает,
грозным скульпторам - ветру с водой,
милым бездарям - мху с лебедой.

* * *

Молчание содержит все слова,
как мраморная глыба – изваянья.
И в этом суть любви на расстояньи,
и даже толкованье божества.
Ты далеко – тем легче мне видны
твои глаза.
И различим при этом
цвет радужки, не выжженный их светом, –
он так похож на хвою той сосны.

Я изучаю линию бровей –
такие взлеты чертит лишь косая
гордыня. Я груди твоей касаюсь.
Там мечется заблудший муравей.
Как барышня, что втиснута в корсет,
он разделен
на три неравных части,
ни вечности, ни знанью не причастен,
исправно соблюдает этикет –

убей его! Дави, чтоб едкий сок
продлил мне жизнь
до новой капли яда!
Его, а не меня – мне мало надо.
Люби свой август и речной песок.

Люби ее. Густеет синева.
Когда прорвешься взглядом сквозь сиянье
ночных небес – она в моем молчанье
прочтет свои ревнивые слова:
Останься! Эта голая Идея
не сбросит звездный вычурный покров.
И тоже убивает муравьев
забравшихся
в Ее владенья.

* * *

Если поджечь тополиный пух
и подмешать пепси-колы в дым.
Если раскрасить помоечных мух
красным, лиловым и золотым.
Переодеться в глянец листвы,
пеньем кошачьим ночь оглашать,
почву наполнить вкусом халвы.
Если все это не совершать —

просто входить по утрам в метро,
бодро и жертвенно, кайф ловя,
что насыщаешь собой нутро
гулкого мраморного червя...

Вдруг — то ли вспомнить, то ли забыть.
Друга позвать, обозвать подлецом.
Хлопнутой дверью мгновенье разбить.
Лечь на кровать под подушку лицом.

Пух тополиный растает в траве,
проседью ранней в кудрях травяных.
Мухи цветные жужжат в голове,
мухи желаний, сомнений, вины...

Знать бы, на вечность каких кассет
пишется жизнь. По каким чертам
распознают лазейку, просвет,
чтоб наконец оказаться там,

где только музы благоволят,
где так блаженно брезглив и суров
вывернутый наизнанку взгляд
на расчлененные трупики слов.

К ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЕ ВОВ И ПРОЧИХ ВОЙН

“Земля тряслась, как наши груди”
М.Ю.Лермонтов, “Бородино”

"Война, как повод для флирта,
являет уху и глазу
грохочущую палитру
отборного садомаза.
Размах перверсного поля.
Само собой, кровь и слезы.
От перемены пола
меняются только позы.

А в результате рожают
символику ран и воронок,
мужественно размножают
письменность похоронок
фаллосы – пулеметов,
танков и прочих орудий.
Сразу понятно, кто ты,
если трясутся груди..."

...И он не спросил ее: кто ты? –
так и просилась в руки.
Из довоенного фото
торчали кудряшки и грудки.
Будем с тобой на рассвете
слушать трели фугаса.
Как не влюбиться до смерти,
если мертвое мясо
завтрашнее – навалом! –
нынче так трепетно живо.
И Клеопатра клевала
на этакую наживу.
Той ночи ветренно-влажной
им для всего хватило.
Ну а потом – не важно,
что ему разворотило...

История не выбирает.
Потом бывает потомок –
и с лестницы лет взирает
на лоно чужих потемок.
Порядочен и семеен,
в почетном званье мужчины,
для флирта он не имеет
ни повода, ни причины.
Он держит в усладу телу
неначатую поллитру.
Он пишет эссе на тему:
"Война как повод для флирта".

* * *

Когда я гашу свечу,
мне светят твои глаза.
И я мерцаю в ответ
родинками на теле.
Тогда уже все равно –
ты рядом со мной или за
две тысячи толстых стен от моей постели.

Тяжелый дневной фонарь
заброшен за край земли,
и спущены с облаков
невесомые сходни –
чтоб те, чье зренье мудрей, наблюдать могли
в замочные скважины звезд
чудеса Господни.

Когда сквозь померкший свет
свечи на смертном одре
проявится Свет Иной золотым сияньем,
Он выжжет нашу любовь –
за привкус приставки "пре",
за то, что она была
иногда деяньем.

ЗАПАХИ МАГНОЛИИ

С каких упований, с какой запредельной тоски,
в каком мираже незаслуженно-нежных оваций
корявым и серым ветвям выпускать коготки –
не с тем, чтоб царапаться, только бы покрасоваться,

пока лишь видением: лак, лепесток в лепестке...
Но стоит нутру приоткрыться, единство расклеив,
запахнет не в масть – не малиной в парном молоке,
а чаем с лимоном – напитком чуть-чуть повзрослее.

Им девочки-школьницы юношей робких поят.
Но вот выпускной – в суете бело-розовых складок
никто не заметит, когда зарождается яд, –
еще не смертелен, еще упоительно сладок.

Он – малая толика магии голых нолей,
искусства ужалить змеиной изысканной позой
и пахнуть медово, не ново, смелей и смелей –
почти что простой пышнотелой распущенной розой.

Раскрылась до дна – и разверзлась иная пора:
уже потянуло тропическим гиблым болотом,
шаманит в ноздрях ритуальный дымок от костра,
горчит на губах шоколад каннибальского пота.

Потом...
увяданье – гниенье – схожденье на нет
в глубины...
И все?!

Но прельщает поверхность ответа,
банальная твердь – и автограф природы на ней:
Расслабься. Потом будет долгое-долгое лето.

...И МАРГАРИТА

«...Потому что жизнь её пуста»
М.Булгаков, «Мастер и Маргарита» (о Маргарите)

К вечеру то скучно, то тревожно Маргарите.
Скрытно, по ресничке, опадает красота.
Мастер, эту женщину полюбите,
потому что жизнь её пуста.

Вы без Маргариты – будто стол, не знавший скатерти,
а она без Вас – как Магдалина без Христа.
Мастер, эту женщину приласкайте,
потому что жизнь её пуста.

Сны её и грёзы – как столицы, златоглавы.
Помыслы отважнее висячего моста.
Мастер, этой женщине нужно славы,
потому что жизнь её пуста.

Из таких, как Вы, – лишь книга делает героя,
только приключения на плоскости листа.
Мастер, эта женщина всё устроит,
потому что жизнь её пуста.

Из последних сил, что нами ведают и вертят,
вырвет – не прося – в уютной вечности места!
Мастер, эта женщина хочет смерти,
потому что жизнь её пуста.

Что с того, что вымечтан роман, обдуман, начат,
храмом к небу тянется, почти уже готов?
Книга гениальная напишется иначе –
шёпотом любимым Маргаритиных шагов,

кровью постороннего по рельсам на закате...
Даже если ревностью разверзнутся уста:
Мастер, эту женщину не подпускайте!
Потому что жизнь её пуста!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ХЭППИ-ЭНДА

Забросив паруса, штурвал, весло,
забыв о тех, кто так же погибали,
ловить рыбёшку смысла прежде слов,
но голос пить – то слухом, то губами,
и в нём же отражаться, как в воде.
Не спрашивать намеренья у жеста,
но мерой траектории владеть...
Жизнь после хэппи-энда бессюжетна.

Она, скорее, – тайна бытия,
невнятная чужим сквозь наши лица.
Интимные подробности тебя
так хороши, что боязно делиться.
К тому же, сколь цветисто ни пиши,
в цветении – лишь слабый запах тайны.
К тому же трансплантации души
заведомо бинарны и летальны.

А мы живые – это не полёт,
а плаванье: ты чувствуешь, как плавно,
вода чиста... но мало кто поймёт,
не осквернив, знакомое «I love You» –
так с преисподней схожи все миры,
и так метельный снег похож на пепел...

Не вышли мы сухими из игры.
Да, в тридцать семь пора – хотя бы «хэппи...»
И прошлое трепещет: откажись,
пока сияет ночь, а не легенда!
Но если вправду существует жизнь,
то в виде жизни после хэппи-энда.

* * *

Радуясь, что это безответно,
наблюдаю косо из-под чёлки
за интимной жизнью речки, ветра,
пса-бомжа и взяточницы-пчёлки.

Стульев белорёбрые скелеты
жмутся к посетителям кафешки...
Под любые мизансцены лета
у меня в душе найдутся флешки –

лета, раздобревшего по-бабьи
и почти что пройденного мимо.
А во мне от баб – ни килобайта:
молоко моей любви незримо.

Маскируясь голосом и тенью,
наскоро приклеенной к подошве,
я нечасто надеваю тело,
чтобы не изнашивалось дольше.

Лучше говорить «оно не-сносно»,
стряхивать брезгливо блёстки лести,
лишь вдвоём с любимым, словно сосны,
не сливаясь с фоном мелколесья.

А пейзаж разлуки засекречен,
чтобы возвращаться в прежнем теле
и меняться флешками при встрече,
потому что душами – смертельно.

Всё, что незабвенно, повторим, а
что не вспомним – сочиним по-новой.
Молоко моей любви незримо,
но испивший – не хотел иного...

МЕЖДУ

(Лес и река, и тропа между ними.
Ищущий нечто, умеющий плавать –
не говори и не спрашивай имя.
Цель бесконечна. Река твоя справа).

Ветер не светит, и свет не колышет
сосны, что левое небо закрыли.
Птицу не видно за кронами, слышно:
воздух кромсают могучие крылья.

Тут же плеснули пичуги помельче
вразноголось, будто кровью из вены.
Путь человечий широк и размечен –
прочие твари не столь откровенны.

Зверь не выходит навстречу, лишь зримы
след от когтей, отпечаток копытца.
То ли он сам, то ли страх наш звериный
в чаще ворчит, в камышах копошится.

Та, что ударом хвоста по воде
ранит закаты – не рыбой, а девою
петь выходила при первой звезде.
Всякий расскажет, а кто разглядел её?..

Внешность обманчива, голос правдив –
голый, отдельный, в слова не одетый,
тот, что отверзся, когда, проводив,
заголосила: Единственный, где ты!

Так и остался озвучивать лес,
ветром на воду набрасывать ретушь –
песен русалочьих плеск-переплеск
хохота в плач... А русалку не встретишь...

(Лес и река, и тропа между ними.
Ищущий нечто, умеющий плавать –
не говори и не спрашивай имя.
Цель бесконечна. Река твоя справа).

БЕГЛАЯ ЖИЛА

Сергей ИГНАТОВ

В экспедициях, знаешь ли, принято ставить лагеря подальше от греха, вот мы и стали на Кумперли-сае, то есть в ущелье ведьмы, в разумном удалении от Актюза, чуть ниже по течению Кичи-Кемина, то есть маленького Кемина. Маленького и взъерошенного с виду, как воробей. Еле отыскали там место для лагеря на узкой терраске, где палатки пришлось ставить тесно, плечом к плечу. Я тоже отыскал пятачок для своей — как всегда, на отшибе, подальше от стариков, на самом краешке уступа, за дородной хозяйственной палатищей с необъятным подолом и безразмерным, давно вышедшим из моды тентом, похожим на старинный выцветший капор. Она укрыла меня, как наседка птенца. И веревки, на которых она распяливалась и взъерошивала свои перья, были ей под стать — из лохматой пеньки, толстые и колючие. Ведь все это, знаешь ли, было при царе Горохе, задолго до тебя. Теперь ты такие уже не увидишь нигде при всем желании. Теперь уже никому не придет в голову драть жесткую траву и вымачивать охапками, потом перебирать, мять, отбивать, сушить, крутить волокна, мучительно вить из них веревки. Ты только представь себе эту мороку. Это сколько же надо иметь крепких крепостных девок для такой работы — или заключенных, и тоже молодых, на все готовых, сходящих с ума в неволе.

Причем местные кочевники тогда все еще использовали веревки из конского волоса, как при Чингизе; одна такая даже попалась мне под ноги у переправы и потом вернулась со мной в Москву. Долго потом вилась за мной по жизни, пока моль не сгрызла. В палец толщиной, плетенная из вороного блестящего волоса, крепкая и чуть упругая, тяжелая, теплая и приятная в руке — никакого сравнения с нейлоном, он какой-то мертвый.

Ты только не подумай, что уступ и ущелье — это обязательно отвесные скалы, коварные осыпи и пропасти с костями на дне, прибежища горных барсов с козерогами, ничего подобного. Ты все это вычитала в книгах. Кумперли-сай — уютнейшая щель в горах, заросшая по уши ласковейшими лопушками, ромашками, мшистыми кущами и прочей шепчущей чащобной чепухой. Случись мне нечаянно сковырнуться со своего уступа, я бы только обрушился в эти чащи ушастых зеленых существ, трогательно, немо и блаженно скапливающих росу и хлорофилл в своих просвечивающих хрупких крылышках, суставах, нежных лепестках и взъерошенных коробочках. Я бы только запутался, зазеленился, искололся и промок в их

хрустких влажных недрах, растревожил и передавил там множество слизней, мокриц и улиток, распугал робких лягушек, гусениц, мышей, бабочек, хлопотливых жуков, зеленых мотыльков и стрекоз со стрекозлами — и вылез бы оттуда, весь облепленный семенами, стручками, колючками, слизью, хитином и вьюнами, как лесной мохноногий фавн. Фаланги и скорпионы в таких местах встречаются гораздо реже, не то что на севере, в Каратау, для них это уже высоковато. Но вообще, если не желаешь с ними видеться — просто не поднимай камни, не лезь куда не просят. Ты их не трогаешь — и они тебя не трогают. Они к тебе испытывают такое же отвращение. А больше бояться там некого — как раз напротив, это тебя все боятся.

Нет, бывает, конечно, что кто-то из них набегает, знаешь ли, вечером на свет — просто по наивности, по сельскому любопытству. Особенно часто фаланга — с ее пугающей бесшумной стремительностью. Это такой здоровенный мясистый паук телесного цвета с волосатыми лапами и челюстями — тебе бы точно не понравился. Выскочит пулей из темноты и сослепу пробежит по ноге или по столу, многие пугаются, принимают за тарантула, особенно женщины. Вылетит пулей, замрет, поднимет большие мерзкие лапы и раздвинет челюсти, словно извиняясь. Но вообще-то это существо неядовитое, хоть и страшноватое на вид. А в целом нам там было очень уютно.

Даже слайды, которые остались у меня от этого места, какие-то уютные и мшистые: вот бархатный склон со стайками стройных горных елей, острых, как скифские копья, вольно устремленных ввысь над косо опрокинутым неведомым и недостижимым лугом. Он пересечен тонким шрамом разведочного шурфа — здесь поисковики пытались подсечь жилу. Она просквозила вроде бы в этом направлении, но ушла, скользнула вниз по сбросу, провалилась, вильнула, исчезла по-змеиному. И сам шрам давно уже весь пушистый и зеленый, а чуть ниже ползают три-четыре лошади, похожие отсюда на мелких глянцевитых блох, запутавшихся в бархатистом загривке мирно спящего чудовища. Но каким же безнадежным и жалким кажется их способ передвижения, если умеешь летать! Просто обнимаешь это могучее пространство и соскальзываешь в него всем блаженно распростертым телом, рушишься вниз, шумя перьями на ветру, ловишь теплый восходящий поток и мощно взмываешь ввысь косым сабельным движением, удерживая невидимую волну под собой и следя острым, немигающим взглядом властелина за хмельными потоками света и теплого воздуха, за робким шевелением медленных букашек внизу...

Однажды из верховьев того леса, куда указывал шрам, к нам спустился чабан и, моргая узкими слезящимися глазами в бурых морщинах, просил избавить его от двух медведей, которые повадились таскать овец. Я жадно выслушал и выпытал его, алчно мечтая о встрече с толстозадыми и головастыми горными мишками с их длинной желтоватой шерстью и светлыми, сношенными на камнях когтями... Ты только представь, как сидишь лунной ночью на лабазе, прильнув к стволу, вглядываешься во мрак и жадно вслушиваешься. Глаза привыкли и все угадывают, а шестое чувство обшаривает все вокруг чуткими радарами. И вот вдруг слышишь откуда-то снизу этакий, знаешь ли, легкий шорох и сопение, а потом тихое шарканье подошв и стук когтей по камням. Овцы прянули в загоне и сбились в кучку, вздрагивая и судорожно переступая, уткнув головы внутрь, чтобы не видеть, не слышать, не зачуять ненароком страшный запах зверя. И вот вдруг видишь совсем близко, как бесшумно прянула огромная масса, с благоговением целишься ниже того, что во тьме кажется холкой, и давишь на спуск... Звонкий хлопок, толчок получока в плечо, невидимый укол круглой подкалиберной смерти, яркая вспышка, на мгновение обнажающая огромного, ослепительно желтого зверя, и сразу хлопок правого чока, удар, рев, фырканье, жаркая тьма в ослепленных глазах. Вскакиваешь на ноги, сжимая рукоять и лихорадочно поминая Сабанеева, — лезущего к лабазу зверя рубить не по голове,

а по лапам и ключице. А раненого кабана колоть в грудь длинным клинком с глубокими долами для стока крови. Легко останавливая, конечно же, напор его трехсоткилограммовой туши, летящей со скоростью поезда, ухватывая его, конечно же, как цыпленка, за щелкающее рыло с клыками, легко защемляя его мощной левой дланью с лопату размером, жестким рыжим волосом поросшей мощной дланью, конечно же, хладнокровно направляя острый клинок свободной и тоже поросшей правой дланью... То есть так примерно представляя себе всю эту роскошь, этот роскошный праздник битвы и удачи.

Жаль, шеф уперся, не дал ружье, видишь ли. А своего у меня тогда не было и быть не могло. У нас было только экспедиционное ружье — бывалая курковая двустволка, с протертым добела воронением и обшарпанным прикладом, но ладная, стройноногая, по-девичьи изящная — и столь же желанная, безумно желанная, жаль, тебе этого не понять, ты не понимаешь в ружьях.

Допотопный был шеф — тоже добела протертый и обшарпанный, из того еще первородного поколения геологов, что попали в науку чуть ли не по рабоче-крестьянскому набору, когда партия сказала надо, и среди оврагов и разрухи в ответ на хриплый клич проклюнулись и потянулись вверх первые гигантские хвощи, в грязи и болотах завозились первые могучие бронтозавры, бронепоезда, революционные бородавочники и брюхоногие мартены с домнами, и увидел господь, что это хорошо, — и вот уже в их шумно чавкающих, рычащих, мощных совокуплениях выплодились, выронились головой об землю из разверстых родовых недр, гулко затрубили и жадно поползли по жизни могучие, несокрушимые люди типа шефа. Даже не знаю, за что его терпели в академии. За дремучесть и страшную хватку, надо полагать, за косолапую сноровку крупного зоркого пресмыкающегося, с которым лучше не связываться. В минералах не шарил вообще, в породе признавал только цвет. Для него существенно было одно: что зеленое, допустим, двинуло туда-то и перекрылось там-то густопсовым бурым образованием. А отчего оно зеленое или бурое и с какой стати тут проползло, образовалось, нанеслось или выдавилось — ему было ненужно и неважно. Амфиболит это, хлоритизированный гнейс или, допустим, гниловатый туфоид, поеденный всякими вторичными растворами, ему было фиолетово. Убежденность возникала в нем внезапно, без всяких видимых причин, от случайного слияния жиров и углеводов с прогорклой желчью и свирепыми желудочными соками, и поколебать ее было выше сил человеческих.

Он жил в мире прямых линий, искренне полагая, что его дело — крупный масштаб, взгляд с орлиного полета. Его даже не интересовало, пара-порода перед ним или, допустим, орто-. Если признавал толщу, скажем, эффузивной — все, кончено. Нагнетал и крепил в себе убежденность вопреки всем доводам, проискам и злобному зубовному скрежету оппортунистов, уклонистов и левых ренегатов. Ему говорят — в ней найден окатанный циркон. Он в ответ недоверчиво ухмыляется и остро присматривается к говорящему, свирепо гоняя желваки на скулах. Сопит с пролетарской ненавистью ко всем этим интеллигентским штучкам, к микроскопам, лабораториям и шлифам. “А я говорю — зеленое вон куда пошло”. — “Но это метасоматоз, замещение, вторичка...” — с ненавистью сопит и хмурится, потом рычит, заводит себя, переходит на крик, на “ты”, машет руками и брызжет слюной... Вот какой шеф! Всем шефам шеф. Послан был нам во благовремении за грехи наши. Ядреный. Ты таких не видела. Теперь таких уже нет, не найдешь в природе, повывелись. Не вынесли конкуренции с млекопитающими... Вот этот самый и не дал мне ружья. Вот почему толстые мишки и дальше мирно ходили к овцам по ночам — как ни в чем не бывало, даже не подозревая, что в тот вечер решилась их судьба.

В маршрутах и на охоте мне не в чем было носить воду, ибо в то древнее, первобытное время, когда ты только-только вылупилась на свет, еще не были изобретены удоб-

ные пищевые пластмассы, а те, что уже были, сообщали любой жидкости тяжелый смрад дохлого полиэтилена, особенно в жару. И потому, найдя однажды на дороге давленую алюминиевую фляжку, я, вечно страдающий от жажды, подобрал ее, блинообразную, алчно изучил и обнюхал, как обнюхивает дикарь консервную банку, как изучает немытый житель пустынь рухнувшую с небес скрижаль господню. Явных ран и трещин на брюхе у нее не нашлось, а горлышко и вовсе не пострадало. Как-то вечером, после маршрута, я несколько расправил блин, действуя палкой через горлышко подобно первому человекообразному примату, крепко удерживая ее кривыми мохнатыми задними лапами, налил туда ледяной воды из ручья и, плотно закрутив крышку, выпрошенную ради такого дела у водителя, счастливого владельца целой фляжки, отправился вверх по склону. Забрел в ели, разложил в укромном месте костер, дал ему прогореть и положил блин на угли. Довольно скоро фляжка стала угрожающе шевелиться и вздуваться, и я, слегка струхнув, укрылся за ближайшим стволом. Против всякого вероятия, она не взорвалась и не прохудилась, а раздулась до полной восковой спелости, и тогда я, осмотрительно отворачиваясь и прикрывая глаза штормовкой на случай взрыва, выкатил ее палкой из углей и оставил остывать. Впрочем, сколько я ни трудился потом над ней, сколько ни выдавливал палками варикозные узлы, сколько ни шлифовал ей брюшко песком, она так и осталась навсегда изукрашенной причудливыми татуировками, извилинами и шрамами, словно сверхновое космическое тело, случайно обнаруженное в сверхмощный телескоп, и потому пришлось выбрать самый приличный фланелевый мешочек для образцов, чтобы обшить ее по горлышко и хоть как-то прикрыть срам.

Собственная завинчивающаяся крышка так и осталась мечтой, и пришлось довольствоваться пробкой от шампанского. Ты даже не представляешь, какие то были нищие времена, — безумно нищие, но такие счастливые. Это была самая настоящая фляжка — моя личная и больше ничья, и очень скоро ее горлышко почернело внутри от крепкого холодного чая, и только извилистые ходы, оставленные в нем неведомыми моллюсками, вирусами и короедами, напоминали о тяжких временах испытаний, когда она лежала в пыли и забвении на дороге, попираемая копытами и колесами. А как хорошо было нам, спасителю и спасенной, встречаться благодарными взглядами! Она сразу вспыхивала робкой радостью, заметив мое благосклонное внимание, мою строгую хозяйскую гордость. Никогда и ни за что не променял бы я ее, преданную мне душой и телом, посланную мне провидением и множество раз беременную моими обильными водами, на новую гладкую вертихвостку, никогда не стал бы ей изменником и иудой. Избави бог. Вздумай кто-либо после этого пустить меня в самые тайные сокровищницы самого лучшего, отборного полевого снаряжения академии, хранимого для самых главных академиков и почетных бородавочников, самых членистых член-корреспондентов, самых могучих старейшин и аксакалов, — я бы только зевнул и отвел скучающий взор.

Сам Актюз ошеломил с первого взгляда, ничего подобного в жизни не видел. Мы долго-долго карабкались к нему вдоль русла маленького взъерошенного Кемина с его трогательно пушистыми зарослями тамариска и облепихи, а склоны неохотно расступались и все не желали расступиться окончательно, но вдруг разом бесшумно прянули в стороны, как тяжелый театральный бархат, и вдали обнажились недвижные голубые громады с тяжелыми снеговыми остроконечниками. И вот тут-то, на полпути к ним, на боковом склоне огромного амфитеатра зависло ласточкино гнездо крохотного поселка. Горстка белых домиков — восхитительно чужеродных здесь, словно чудом занесенных на эту высоту. Каким-то чудом им удалось сохранить небрежный, нечаянный, абсолютно временный вид — отчужденный и в то же время смиренный. Такой лишний и отчужденный вид имеют все поселки, возводимые во владениях степных и горных народов, где одни лишь бурые

юрты уместны и терпимы — по старой привычке терпимы и прощаемы дремлющими здесь невидимыми силами.

Этой отчужденностью он сразу напомнил Тургай, построенный немецкими военнопленными. Тот поселок состоял из нескольких деревянных домиков с высокими готическими крышами, с ненужными резными верандами и изящными столбиками по фасаду — домиков, абсолютно чуждых там, как метеорит на арктическом льду. Их тоже построили на месторождении — правда, другом, свинцовом, и после ухода немцев заселили кончами, кончеными людьми. Ссыльными, уголовными, увечными, битыми, опущенными. А когда кончи разбежались и вымерли от ран, болезней, несвободы и ненависти, домики постепенно заселили местные кочевники. Они, конечно, не стали менять привычный многовековой уклад жизни на немецкий манер, а лишь временно притулились в них со всей живностью — овцами, козами, курами, бесчисленными чумазыми детьми и собаками. В юртах у них всегда чистота и строгий порядок — дети отдельно, овцы отдельно. А в домиках отчего-то все вперемешку. Возможно, оттого, что они не настоящие степняки, а местные кончи, наказанные какими-то бедами, болезнями, жестоким зимним джутом, лишившиеся коней, юрт и скота, опустившиеся или пропившиеся. Они и не считают эти домики жильем, достойным человека. И само это место для них — что-то вроде временной стоянки, ссылки или чистилища, где они перебиваются до лучших времен...

Вот и на Актюзе дух отчуждения, великого отчуждения корабля в океане, сразу захлестнул сердце. Мы въехали на единственную улицу, и там нас встретила сцена жертвоприношения, как богов. У порога одного из домиков сидел кочевник и резал овцу, придавив ее коленом, а ему помогал крохотный чумазый малыш, едва научившийся ходить. Когда мы с гулкими кастрюльными звуками грохотали мимо, отец как раз быстрым косым движением перехватил овце горло узким ножом, а малыш деловито подсунул грязный тазик под хлещущую алую кровь, под безумно выпученный овечий глаз, и никто из них даже не глянул в нашу сторону. Для горцев это мирная, успокоительная сцена, сцена сытости и довольства, а я, изнеженный городской чужак, все же в ужасе отвел глаза, хотя давно уже успел привыкнуть к виду крови. Но не к младенцам, сбирающим ее в тазик. Мы прогрохотали мимо, и я видел их лишь мгновение — то был краткий миг жертвоприношения, и такие совпадения, конечно, неслучайны. В горах ничто не случайно. Более того — из всех нас видел это лишь я один. Из двух машин народу. Остальные ничего не заметили, как выяснилось позже, а значит, этот знак был для меня одного — единственный для единственного.

И то был единственный раз, когда мы мелькнули в поселке и на руднике. Пропылили и исчезли, никому не нужные и не интересные залетные чужаки. Рудная жила сама по себе нас не интересовала, нас больше занимали офиолиты и всяческая судорожная тектоника, корчи земной коры, ее гримасы, свищи, морщины и родовые схватки. Но нельзя же было побывать здесь и не бросить взгляд на карьер. Стоило приехать издали, чтобы глянуть, какую рану разверзли в горле горы жертвенным ножом ради одной-единственной жилы, — такую чудовищную, что страшно стоять на краю. Огромная воронка, словно из фильма ужасов про внеземную цивилизацию каких-то упырей, а внутри нее вьется по спирали дорога из светлых бетонных плит, подобная трубке капельницы, и по ней чередой, словно смертельные воздушные пузырьки, ползут с неслышным отсюда ревом циклопические “БелАЗы”.

Воронка такая глубокая, что сверху собрание циклопов на ее дне похоже на медленную копошню солидных блестящих жуков в толще коровьего навоза. Но когда такой “БелАЗ”, похожий на трехэтажный дом, надвигается вплотную с оглушительным воем и возле тебя с жутким чавканьем, стоном, хрустом камней и утробным кряхтением прокатыва-

ется вздутое титаническое колесо — все в наростах, лишаях и шрамах, как зловонный динозавр, а где-то в небе из необъятного чрева выглядывают здоровенные глыбы, грозя обрушиться на голову, — причем тебе, вжатому спиной в стенку, даже некуда отскочить, — вот тут-то и понимаешь, что вся эта циклопическая мощь неспроста. И уж конечно, не ради полиметаллов, это явная байка для отвода глаз. И вся-то жилка в метр толщиной — и ради нее будить такую мощь, кромсать такую гору? Нет, тут дело серьезней. Настолько серьезней, что шеф только значительно сопел, хмурился и шевелил бровями. Правду не скажешь и соврать не соврешь, я ж не младенец. Я такой же геолог, и даже поновей, и даже издали тут все ясно как божий день...

Только представить, чего стоило бы наладить такую добычу сейчас, в нашем воровском бантустане, после развала мощной и неуклюжей, как мастодонт, системы. На каждое такое колесо, наверное, одной резины идет не меньше двух тонн. Соорудить такую машину здесь и сейчас — наверное, не проще, чем построить завод. И мало построить. Чтобы запустить ее в движение, нужно уложить толстенные бетонные плиты. Любую другую дорогу она тут же продавит и увязнет в ней навеки. Чтобы она завыла, выбросила струю черного дыма, спустилась в воронку и вылезла из нее с грузом камней, нужно залить ей в бездонное чрево многие тонны топлива и бочки масла.

Ты только подумай — выплавить пятьдесят тонн железа, потом прокатать, проштамповать, обрубить, выгнуть, профрезеровать, погрунтовать и покрасить. Наточить, наварить, нарезать, продырявить и залегировать сотни всяких болванок, стаканов, шайб, кронштейнов, гильз, колец, муфт, пружин, шпилек и контргаек. Зачистить, зашлифовать, отполировать, покрыть гальваникой, собрать, свинтить, склепать и сварить все это вместе, кропотливо уснастить и увить латунными, резиновыми и пластмассовыми трубками, бачками, муфтами, горловинами, резьбовыми пробками для слива, залива, продувки и промывки. Потом, с омерзением задерживая дыхание, позаливать всякие смрадные, невыносимо отравляющие жидкости в разверстые черные дыры — и, пачкаясь, завинтить на них крышки. Вытереть руки несвежей тряпкой и, продолжая машинально тереть их о штаны, влезть по лестнице на самый верх, на самую холку чудовища, стукаясь о твердые углы пахучего свежеокрашенного железа. Забраться там, наверху, в укромную щель, запереться, затаиться, помолчать и осмотреться, трогая, рассматривая и проверяя весь этот апофеоз человеческой дурости. Благоговейно вынуть из нагрудного кармана нагретую телом резную, фигурную железку — заветный амулет, пристегнутый для верности карабином к шнурку и пройме. В его магических иероглифах, желобках и вырезах зашифрован единственный в мире код, известный этому чудищу. Только он способен его оживить. Осторожно вставить амулет в узкую щель, повернуть там на один щелчок — и слышно, как в недрах недвижного монстра что-то проснулось и клацнуло: это приоткрылся клапан аорты, подтекла жидкость к зеву, чуть обнажила блестящие клыки невидимая стальная пасть, готовясь взреветь, электрические импульсы оживили полированные, скользящие в масле стальные суставы, и они, чуть дрогнув в ответ, насторожились и немо ждут мановения твоего пальца, чтобы забесноваться, взвыть, застучать, рвануться в неистовстве... Ты вздохнул, помедлил и — повернул. Циклоп взревел, задрожал — и пошел под тобой, выпятив свои неандертальские надбровные дуги, круша и давя все живое и неживое, а ты в страхе сжался у него на холке и не знаешь, кто из вас кому подчиняется — ты ему или он тебе. Ты оседлал стальную демоническую силу, или она овладела тобой. Убеждай себя теперь, что ты проделал все это ради счастья человечества, чтобы его жизнь стала лучше, чтоб ему жилось дольше, веселей и здоровей. Ну не дурость? Неужели человеку где-то может быть лучше, чем в диких, нетронутых травах и цветах.

Насколько лучше плыть на спине лошади. С ней проще. Только не пробуй сразу навязаться ей в друзья. Понятно, что с непривычки тянет на нежности, разговоры, поглаживания и похлопывания, всякие там обнимания за шею, приставания и заглядывания в глаза. Не надо, не делай этого. Не сбивай простое, бесхитростное существо с толку, оно перестанет тебя понимать при таком обилии звуков и ненужных движений. Оно уважает предельную простоту, прямоту и определенность — тем более что ему вовсе не хочется везти тебя в гору по такой жаре. Если ты суетишься, охлопываешь, уговариваешь и балуешь его, как комнатную болонку, оно теряет к тебе уважение. Оно интуитивно, но безошибочно оценивает твой разум и силу, желая найти в тебе холодную, спокойную и надежную волю, чтобы с облегчением на нее положиться. Не надо сбивать его с толку и баловать, а то оно мигом утратит врожденную добродетель. Оно ведь только на вид такое простое и дурковатое. Эта дурь для отвода глаз. Не верь — на самом деле оно хитрое на свой наивный манер и прекрасно умеет гнуть свою политику.

Седлаешь его, когда солнце перевалило на вечер, а тени начинают удлиняться. Оно смотрит с возмущенным недоумением, но ты не обращаешь внимания. Деловито, молча и уверенно проверяешь, одергиваешь и подтягиваешь потник и ремни, ведешь и привязываешь его за узду куда надо, а на танцы и упреки рычишь — балуй! — с самым зверским выражением. У меня чтоб без дураков!

Патроны берешь больше с нулевкой на зайца, десяток штук тройки на кекликов, хотя шансов мало, ну и пару пулевых, как всегда, на случай медведя или кабана. Хотя с лошадью-то они, понятно, за километр слышат и чуют, но чего не бывает. Прилаживаешь на себе половчей ремни, патронташ, нож и ружье, чтобы ничто не брякнуло, не хлюпнуло. Идешь к нему затянутый, гибкий и хищный, а оно косится и танцует, задом норовит, придурь свою показывает. Делаешь вид, что сильно сердишься, молча и гневно садишься и пускаешь рысью с места, чтобы взвеселить и выбить дурь, и только под самой горой милостиво переходишь на шаг... Но как же оно не хочет лезть вверх! Ковыляет еле-еле, а у самой тропы хочет остановиться в раздумьях и сомненьях, жует губой с редким монгольским волосом, косит на тебя блудливым глазом, вертит на тебя мохнатыми ушами, удрученно сопит и вздыхает... И дать ей нечем, шалаве! С пинками и гневными воплями подруливаешь к кусту и протягиваешь руку, думая сломить ветку. Сейчас я те дам, брюхоногое... Вот тут-то оно и понесло! Передумало умирать! Ах ты, хитрая погань!.. По кустам, по кустам бодро-весело, руки не даст поднять...

Но все же с трудом, с усилиями тормозишь на пустом месте (в кустах оно не хочет), подтаскиваешь за повод куда надо (а оно упирается всеми отростками, подлое!) — и там значительно, медленно, с ужасающей палаческой решимостью срезаешь прут у него на глазах (а оно испуганно вздергивает мордой и косит по сторонам хитрыми буркалами, ища спасения). И вот, не успел прут отделиться и обрести самостоятельную жизнь, как оно вздрогнуло, раздуло ноздри и затанцевало. Показываешь ему прут. Я те! Я те попридуриваюсь! Значительно, властно и сурово затыкаешь прут себе за пояс, сверля его огненным взглядом, — а оно следит за каждым движением, нервно клацая удилами, пожимаясь, вздрагивая и косясь. Невинность строит. Высказав ему все, что думаешь о нем и его матери, долго и молча смотришь в упор, оценивая эффект. Удовлетворенный покорностью, значительно и сурово влезаешь в седло... Бунт подавлен, порядок восстановлен. Больше никаких оскорблений царского величества. Вот это другое дело. Вот это хорошо, давно бы так. Вот теперь в нас проснулась совесть. Косишься, глупое? Следишь, где прут? Уши мохнатые бережешь?.. Нет, на лошади веселей.

А забавно все же они изрыли все ущелье шурфами. Живо представляю себе их недоумение — по углам простирания и падения, по структуре толщ, по всем цветным

разрезам, старательно нарисованным на ватмане, прокуренным, продуманным, приколотым кнопками к планкам, развешанным по углам и густо обсиженным там мухами и тараканами, — все правильно: она пошла вон откуда вон куда. А на деле — шиш, накося выкуси, нет ее! Ну нравятся мне все эти загадки, унижающие наше высокомерие, нравится наша суеверная растерянность, почти ужас, когда убеждаешься — все, что ты знал и умел до сих пор, не значит ничего — ровным счетом. Ты знаешь только то, что ничего не знаешь. Вся твоя ученость с ее гонором, пустыми познаниями и заносчивыми теориями — ничто перед простой тайной: пойманная было жила ушла, пропала, исчезла, как кролик в шляпе.

А хорошо бы глянуть на тупые, удивленные и разочарованные морды железных чудовищ, когда однажды утром они столпятся в том месте на дне воронки, где драгоценная жила еще вчера чернела, отливала радугой, мерцала сизыми и оранжевыми слюдками смертельно ядовитой чешуи, извивалась и выдавливалась пунцовыми и лиловыми вздутиями, как потроха поверженного дракона. А сегодня — нет ее! Выклинилась, вильнула, ускользнула, обернулась пустой породой. Этой ночью по велению теплого ветра, пахнувшего с низовьев маленького взъерошенного Кемина, по хотенью бегучей ночной воды, по ответному писку летучей мыши свершилось нежданное волшебство. Последний ковш с жадным хрустом выломал прощальный остаток, вылущил последний бугристый пунцовый корнеплод — и все. То ли сброс, то ли пережим, то ли просто так — конец фильма. Продолжение следует, но не здесь и не сейчас, и ты уже не волен знать, где и когда. Не на твоем веку. Сверли теперь множество дырок, бей шурфы, режь канавы — ищи-свищи, деньги есть — ума не надо! Но тебе ее уже не найти — никакими силами. Каждый бывалый буровик знает это шестым чувством, но не скажет, смысла нет.

Кумперли-сай — урочище ведьмы, здесь не поможет никакая наука. Никакие разрезы, скважины, каротаж, керны, шурфы, штуфы и шлифы, придавленные предметными стеклами к канадскому бальзаму под ледяным зраком микроскопа, никакие бычьи пузыри с кровью, никакие поисковые рогульки из ветки проклятой одинокой ветлы, никакие порошки, спеченные бережным дутьем в трубку сквозь синее пламя спиртовки в ночной тьме и тишине, когда возникает, как по волшебству, цветная стынущая капля в платиновой петле, не помогут никакие кабинетные умствования. Если что и поможет, так только древние заклинания, сушеные змеиные глаза, кровь ящерицы и молочное, нежное, сводящее с ума дыхание девственницы, когда она робко целует в губы, подкрадываясь безлунной ночью, гибкая, мягкая и бесшумная. Поможет, если уложить на самом дне в месте исчезновения жилы трепещущую связанную жертву, средоточие общего греха, ужаса и раскаяния, — и потом завалить, зарыть воронку, заровнять так, чтобы не найти и следа содеянного. Высадить вновь на этом месте купы горных елей и пучки диких трав, пошептать, поплевать, попросить о несбыточном словами древних, забытых языков в сгущающихся сумерках — в полном одиночестве, всей душой попросить прощения под невидимо следящим взором, тяжким взором, — и окропить своею клятвенной кровью черный камень, позабыв название его на человеческом языке, не смея никак более его называть, не думая более, из чего он сделан и на что годен, не желая более им владеть никогда, никогда, никогда, — и уйти прочь, не оглядываясь...

Мы были там посторонними, и я очень надеюсь, что проклятие нас не коснулось. Мы просто прожили там несколько дней, как перелетные птицы. Утром уезжали в маршрут, а вечером возвращались в лагерь, где нас встречала тетка Клава со своими сиамскими кошками и неопрятным ужином из слипшихся рожков с тушенкой в мятых алюминиевых плошках — рангом заметно ниже кошачьих. При каждой возможности я уходил вверх по

саю, блуждал в еловом лесу и выбирался почти на самый верх, выше зоны елей и нарядного девчоночьего пояса желтых маргариток и прозрачных свадебных маков, распугивая по пути птиц, кузнечиков, щитомордников и косуль. В самом сае жило что-то невидимое и таинственное, и оно на первых порах относилось ко мне с понятной настороженностью: думало, наверное, что я заодно с теми, что ломают гору. Но я обращался с ним осторожно и вежливо, как с дикой кошкой, и вскоре оно привыкло и признало меня.

Лишь однажды, в самые первые дни, жестоко ранило, а могло и убить, но пощадило. Я тогда возвращался сверху уже на закате, в самое опасное время, когда неведомое и невидимое имеет обыкновение просыпаться и выходить на охоту. Не желая терять высоту, упорно держался в еловом лесу, где склон местами такой отвесный, что равновесие можно хоть как-то удерживать, лишь упираясь в него одной рукой. В одном месте, среди особенно огромных елей, под ногами в сгущающейся тьме высыпало множество больших белых груздей. Их незачем и не во что было собирать, но я все же раскрыл узкий нож, отточенный, как бритва, и срезал огромный груздь — просто так, из любопытства, и бросил на землю. Наверное, незримой кошачьей силе это не понравилось, и, не успел я неудобно зажать в руке палку и нож на уровне лица, как она сбила меня с ног так ловко, что я, скользя вниз по склону, сильно полоснул себя лезвием по запястью — хорошо еще, что не по горлу. В горах не бывает случайностей — и, пока моя жертвенная кровь текла и не могла уняться, пока она рисовала дорожку за моей спиной, медленно впитываясь в палую хвою и собираясь в невидимо подставленные грязными лапками чаши листьев, пока к ней осторожно собирались и принюхивались во тьме чуткие горные существа, что-то тягостное вдруг отпустило, словно усмехнулся и смягчился невидимо следящий глаз, и стало наконец легко и свободно, словно родился и жил здесь всегда.

Уже многие годы спустя, когда однажды нечаянно случился сплошной тупик, смертельно потянуло туда, на Актюз. Потянуло навсегда сбежать из тесного, грязного, зловонного, переполненного людьми, скукой и застарелой ненавистью города, построенного на костях, чтобы укрыться и остаться там, где что-то чувствует и принимает, остаться совсем одному. То есть не одному, а наедине с ним без людей — в огромном, бесконечном просторе, под спокойными взглядами недвижных молчаливых гор, что умеют так просто, мгновенно и незаметно излечить и истребить все лишнее и чуждое в душе и теле.

Ты скажешь, было стыдно и наивно отправить вдруг отчаянное письмо на рудник неизвестно кому, но мне было не до стыда. Было глупо вздумать такое против всех правил. Никто никогда не меняет диплом лучшего в стране вуза на штормовку рудничного геолога. И ясно, что в такое никто не поверил. Такое придет в голову только судимому, ненормальному или преступнику, желающему скрыться. Ты можешь не верить, но я и вправду забился бы, облегченно забился, как раненый зверь в спасительную нору, в один из ослепительно белых домиков высоко в горах — восхитительно чужеродных и случайных в том мире, как перелетные птицы, — чтобы смотреть каждый день на небо и горы. Привычно спускаться вниз, к жиле. Крепко хранить ее страшные секреты. Упорно делать вид, что добываем наивные полиметаллы, а правду не говорить — никогда, никому и нигде, сколько б ни наливали. Только молчать, значительно хмуриться и шевелить бровями.

Отлично представляю, как свершился этот первородный грех. Такой же обыкновенный студент, как я, брел точно таким же маршрутом, и лет ему было примерно столько же, и одет был точно так же, и рюкзак, и кирзовая планшетка с мешочками, сшитыми нежными руками бедных, заключенных в неволю девок; и та же резаная крафт-бумага, и полевой дневник, и горный компас и молоток — все точно такое же. И день был такой же, и свистели те же птицы, и те же кузнечики давали тот же отчаянный скрипичный

концерт. Все эти вещи как были созданы господом, так и остались неизменными с начала времен, с дней изгнания поисковиков из рая. Да и не думал он ни каких о поисках, а занимался, скорее всего, обыкновенным, отрешенным, молитвенным картированием, дивуясь чудесам господним, яко на небе и на земли, и слегка мечтая непонятно о чем, как это всегда бывает. Шел, естественно, по гребню, по водоразделу, как мессия по водам.

И никогда не нашел бы эту страшную жилу в буйных зарослях, в этих альпийских луговых джунглях и кустарниках, где даже лошадь скрывается по уши, как кузнечик. Но нечаянно наткнулся на водомоину или сурчину — и увидел яркие окислы. Подумал — что за бодяга? Вот те раз, неужели? Присел, ковырнул — окислы посыпались гуще, странные какие-то. Яркой предупредительной окраски, которая случается только у очень опасных тварей — у самых ядовитых змей и насекомых. Канареечно-желтые, изумрудно-зеленые, местами ярко-синие. Похожие на фосфаты, карбонаты и сульфаты очень непростых и опасных металлов. Он, наверное, еще слабо надеялся, что попал на безобидную медную зелень, на зону окисления всяких там пирротинов-пентландитов. Но ковырнул глубже — и выпал, как череп, тяжелый, ужасающе тяжелый булыжник, весь в ярко-желтой и ядовито-зеленой коросте. Долбанул его — а он развалился и нехотя обнажил тусклый блеск адского нутра, тяжко глянул пустым, мертвым глазом. Тяжесть, ужасающая тяжесть в руке и на душе, — если бы не она, оставалась еще хоть какая-то надежда.

Лихорадочно порылся вокруг, прикинул на глаз мощность — и в горле пересохло, пот прошиб. Тут-то и сел прямо на землю, тут-то и оглушило. Неужто правда? Осталось пробормотать вслух страшные заклинания, слова забытых писаний: торбернит, отунит, карнотит, тюямунит, эшинит, гнойный рак четвертой степени, мать твою. Вот и сказаны темные, ужасающие, проклятые слова, вот и выпущен джинн на волю, да будет воля твоя, да не введи нас во искушение и избави нас от лукавого.

А может, и не думал ни о чем таком. Вообще ни о чем настоящем. Думал о мелком, подлом, суетливом: что кому сказать, как оформить, задокументировать, как телеграфировать и шум поднять, чтобы брюхатые мужики-горланы, чтобы властные, нахраписты бородавочники не оттерли от заздравных кликов, премий, передовиц, шума и славы. Где лошадей достать и как завести сюда, во что навьючить большую пробу. О ерунде думал. Только не о том, какого джинна выпустил из темной прорвы, чему открылся и какая кара за это положена.

А как правильно? Что подумал бы сам, доведись увидеть эту мертвую жуть в водомоине, что сделал бы? Что следовало сделать, если бы знать все заранее, если владеть настоящим знанием, из которого одного и возникает, как клинок из ножен, острое и безошибочное предчувствие?.. А что тут думать. Тут главное не думы, не разум, тут только шестое чувство, инстинкт, первый порыв. Ковырнуть, взвесить на руке — и засыпать к чертовой матери, забросать чем придется. Смолчать, уехать и забыть... Эта тяжесть нечеловеческая, она человеку не по силам. После нее ты перестаешь быть человеком...

Шрам на запястье остался на всю жизнь, разделил ее на две неравные части. Лезвие косым быстрым движением искало голубую жилу, но она вильнула, ушла вглубь, а я с тех пор стал другим и несу метку той силы. Актюз тоже навеки мечен шрамом ущелья, ущелье мечено шрамом шурфа, а я мечен шрамом всего того, что не имеет названия, но легко принимает, спасает и любит, если хочешь и умеешь ему открыться. На мне общий человечий грех, и если бы я там, на Актюзе, нахватался от жилы ее невидимого тайного яда за все человечество и отбросил копыта, это было бы только справедливо.

Главное, что это случилось бы там, в этом лучшем в мире ущелье, по уши заросшем лучшими в мире травами, первоцветами, лопушками. Я преисполнился к нему, оно

преисполнилось ко мне, и мы породнились кровью, и стоит только захотеть, стоит только суметь дать ему возможность — и оно щедро восполнит все, что нечаянно утекло, восполнит доверху. Только суметь найти это, как пропавшую жилу, отбросив человеческие страхи, мерки и расчеты, суметь подставиться нужному чувству и мгновению, точно пойманному мигу жертвоприношения в точно найденном месте и времени, времени отчуждения. Для этих вещей никакое расстояние и никакое время не имеют значения. Очиститься от всего лишнего — и открыться ему, открыться быстрым косым движением.

ОБ АВТОРАХ

Семен Абрамович – поет, доктор філологічних наук, професор, визначний фахівець у галузі філології, богослов'я, культурознавства, українознавства, риторики, автор біля 370 наукових праць, керівник наукової школи «Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації». Займається він також живописом і графікою. Автор низки мемуарно-сатиричних оповідань, вміщених у збірках «Consecutio temporum» («Узгодження часів») та «Fecit» («Зробив»).

Татьяна Аинова (1968-2019) родилась и жила в Киеве. По образованию математик. Автор пяти книг стихов. Стихи и проза публиковались в журналах, альманахах Украины, России, США, Германии.

Владимир Алейников – поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию народов СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах "Дети Ра", "Зинзивер", "Знамя", "Новый мир", "Октябрь", "Континент", "Огонек", "НЛО" и других, в различных антологиях и сборниках. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.

Владимир Алтунин (Киев). Публикации в изданиях Беларуси, Германии, Греции, Дании, Израиля, Канады, США, Финляндии. 1-место в двух Международных литературных конкурсах рассказов.

Ольга Аникина – поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Родилась в Новосибирске в 1976 году. Закончила Новосибирский медицинский институт и Литературный институт им. Горького. Член Союза Писателей Санкт-Петербурга. Живёт в Санкт-Петербурге. Стихи, проза и критические эссе опубликованы в периодике («Сибирские огни», «Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба Народов», «Новая Юность», «Волга», «Зинзивер», сетевой журнал «Литерратура»). Автор четырёх книг стихов и двух книг прозы.

Анна Аркатова – поэт, эссеист, переводчик. Родилась в Риге. Окончила филологический факультет Латвийского государственного университета и Литературный институт им. М. Горького в Москве (семинар И.Л. Волгина). Работала учителем, редактором. Ведет авторские колонки в журналах «Pshychologies» и других. Соведущая творческого литературного семинара «Египетские ночи». Постоянный автор литературных журналов «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Интерпоэзия» и других

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Волга», «Новая Юность», «Новый берег» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве.

Александр Беляков родился в 1962 году в Ярославле, где живёт по сей день. Окончил математический факультет Ярославского государственного университета. Был программистом, журналистом, сотрудником издательства, редактором на радио и телевидении, копирайтером, чиновником, PR-менеджером. Автор девяти книг стихотворений и одной книги малой прозы. Стипендиат Мемориального фонда Иосифа Бродского за 2012 год.

Григорий Брайнин родился в 1954 году в Донецке. Окончил ДПИ. Кандидат технических наук. Специальности – металлург, физик твердого тела. Автор поэтического сборника «Перевоз». Печатался в журналах «Многоточие», «Дикое поле», «Соты», «Крещатик», в альманахе «Четыре сантиметра луны».

Елена Буевич живет в Черкассах. Журналист, литератор, переводчик. Родилась в г. Смела. Окончила Черкасское музыкальное училище (преподаватель фортепиано) и Московский литературный институт им. А.М. Горького (поэзия). Автор пяти поэтических книг. Стихотворения публиковались в журналах, альманахах и антологиях в России, Украине, Белоруссии, в переводах – в Сербии, Болгарии, США. Член Союза писателей России (СПР) и Ассоциации украинских писателей (АУП). Переводит поэзию с сербского, польского и украинского языков.

Даниил Бутенко – врач-психиатр, PhD стипендиат в Nordlandssykehuset HF и Helse Bergen HF. В 2017 закончил Сумский государственный университет по специальности «Общая медицина», впоследствии специализировался в психиатрии на базе Харьковской медицинской академии последипломного образования. В 2017 стал стипендиатом программы «Zavtra.ua» фонда Виктора Пинчука за исследование «Нарушения когнитивной и психоэмоциональной сфер у больных хроническими вирусными гепатитами В и С». В том же году прошёл стажировку в отделении психиатрии в Общем госпитале Чолулы, Пуэбла, Мексика по программе IFMSA. С марта 2019 живёт и работает в в должности PhD стипендиата в Бергене, Норвегия, заключив контракт с Nordlandssykehuset HF и Helse Bergen HF.

Владимир Васильев родился в Харькове в 1948 г. Окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт, работал инженером-конструктором. Автор шести книг стихов и двух книг прозы. Публиковался в журналах, альманахах, антологиях. Член Союза писателей Москвы.

Ирина Василькова – поэт, прозаик, эссеист. Родилась в 1949 г в подмосковных Люберцах, с 1958 года живет в Москве. Публиковалась в журналах “Новый мир”, “Знамя”, “Октябрь”, “Литературная учеба”, “Мир Паустовского” и др. Занималась переводами из болгарской поэзии. Переведена на болгарский, сербский, немецкий. Член Союза писателей Москвы.

Ирина Витковская (Левина Ирина Валерьевна). Прозаик. Родилась в 1959 году в г. Тамбове. В 1981 году окончила ТФ МГИК в г.Тамбове. В ноябре 2016 года в издательстве «Время» вышла первая книга – «Один рыжий, один зелёный». В декабрьском номере журнала «Новый свет» (Канада) опубликована повесть «Всё о Мишель». 7 января 2017 года повесть «Всё о Мишель» получила Международную литературную премию им. Хемингуэя. (Торонто, Канада). 14 марта 2017 года книга «Один рыжий, один зелёный» удостоена Международной премии «Писатель 21-го века» в номинации «Проза». В сентябре 2017 г. вышла книга «Три книги про любовь». Рассказы и повести Ирины Витковской публиковались в журналах «Этажи», «Literrатура», «Новый свет». Живёт в Москве.

Сергей Волченко закончил сценарный ф-ет ВГИКа. Член Союза писателей Москвы с 2003 года. Публиковался в журналах «Киносценарии», «Антология странного рассказа», «Золотой век», «Зеркало», «Алеф», «Стрелец», «Крещатик», «Черновик», «Reflect», «Музыка и время», «Панорама искусств» и др. В сетевых журналах «Остров Андерс», «Топос», «Русский переплёт» и др. Живет в Москве.

Ефим Гаммер член правления международного союза писателей Иерусалима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» – радио «Голос Израиля» – «РЭКА», член редколлегии израильских и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори». Член израильских и международных Союзов писателей, журналистов, художников – обладатель Гран При и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии, в середине девяностых годов, согласно социологическому опросу журнала «Алеф», был признан самым популярным израильским писа-

телем в русскоязычной Америке. Живет в Иерусалиме. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 25 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Среди них – Бунинская, серебряная медаль, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Петербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауреатом (золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого. 2015 год – дипломант Германского международного конкурса «Лучшая книга года».

Анатолий Головков родился в 1945 году в Москве. Прозаик, поэт и сценарист. Выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова. Имя получил в журнале «Огонек» Коротича, как автор репортажей из «горячих точек». Лауреат журналистских и литературных премий за короткие рассказы в России. Первый рассказ напечатан в 1976 году в альманахе «Истоки». Первый роман «Воздухоплаватель», Москва, «Изограф», 2005 г. Автор книги стихов «Синкопы», сказки «Где растут макароны», пьесы «Преторианцы», романа «Jamsession», повести «Полуостров» и рассказов в книге «Не уходи» (премия американского издательства «FransTerrier» «Серебряная пуля»). В настоящее время живет и работает в Израиле.

Амирам Григоров родился в 1969 году на Украине. С 4-х до 24-х лет проживал в городе Баку (Азербайджан). С 1993-го проживает в Москве. По образованию – врач. Работает преподавателем анатомии человека в медицинском училище, в летний период – экскурсоводом на речном флоте. Стихи Амирама Григорова переводились на кавказские языки, иврит. Член Союза писателей Иерусалима.

Лев Григорян (р. 1980) лауреат конкурса «Хрустальный родник» (2018) – I место в номинации «Проза для детей». Финалист конкурсов: «Новые сказки» (2017) издательства «Союз писателей»; «Фаншико» (2018) издательства «Шико-Севастополь»; «Добрая лира» (2018); премии «Молоко волчицы» (2017). Специальный диплом Гайдаровского конкурса (2018). Рассказы, сказки и стихи публиковались в журналах «Нева», «Дарьял», «Веси», «Литературная Армения», «Северо-Муйские огни», «Нижний Новгород», «Огни Кузбасса», «Доля», «Истоки», «Южная звезда», «Техника – молодёжи», «Русское эхо», «Изящная словесность», «Балтика-Калининград», «Казань», «Проталина», «Знание-сила: Фантастика», «Юный техник», «Вышгород», «Голос эпохи», «Лава», «Огни над Бией», «Молоко», «Северный вестник», «Великороссъ», «Русский свет», «Наша улица», «Южный островъ», «Стражник», альманахах «Земляки», «Образ», «Менестрель», «Атланты», «Подсолнушек», «Восхождение», «Новый Континент», сборниках издательства «Бёркхаус» и др.

Андрей Грязов родился в 1961 году в городе Мары Туркменской ССР в семье военнослужащего. Окончил Киевский медицинский институт в 1984 году. Живет в Киеве. Работает в институте нейрохирургии, в отделе радиохирургии и нейровизуализационных исследований, заведующий отделением радионейрохирургии. Кандидат медицинских наук. Старший научный сотрудник. Член НСПУ. Главный редактор альманаха «Каштановый Дом», организатор фестиваля «Каштановый Дом». Лауреат многих премий, в том числе Премии им. Юрия Долгорукого (за книгу стихов «Джаз», 2005), премии Национального союза писателей Украины имени Н. Ушакова (за книгу «Точка слуха», 2009), премии им. Л. Н. Вышеславского (2015) и других. Публикации – в периодических изданиях Украины, России, США, Германии, Израиля. Стихи переведены на украинский, английский, французский и немецкий языки.

Анатолій Гулак (15. 04. 1939, с. Красиве, нині Первомай. р-ну Харків. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1997), проф. (2001). Закін. Харків. ун-т (1961). Працював учителем, дир. школи у Харків. обл. Від 1967 – у Харків. пед. ун-ті: від 1995 – проф. каф. рос. мови. Досліджує стилістику худож. літ-ри, теорію худож. мови.

Доріченко Олександра – народилась у Києві 9-го листопада 1996-го року. Закінчила навчання за спеціальністю "Японська мова та література" у Київському національному лінгвістичному університеті. Наразі навчається в Осакському університеті (Японія). Займається дослідженням та перекладом робіт японського класика першої половини 20-го ст. Дадзая Осаму. Вперше переклала твори Дадзая Осаму українською мовою. Журнал "COLLEGIUM", у якому ці твори було опубліковано, наразі зберігається у музеї пам'яті Дадзая Осаму у м. Ґошьоґавара (префектура Аоморі, Японія).

Виталий Егоров родился в марте 1937 года в городе Харькове. Окончил Киевский институт театрального искусства, работал в театрах Киева на руководящих постах, теперь на пенсии. Член Союза театральных деятелей и Когресса литереторов Украины. Печатался в журнале «Ренессанс», сборнике «Окно» (Санкт-Петербург), в газетах «Русского собрания», «Литературной Украине», ежегодном сборнике «Память сердца», где являюсь членом редколлегии, и других изданиях.

Наталья Емельянова. Родилась в 1981 году в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. В настоящее время работает преподавателем церковнославянского языка и инструктором по фитнесу. Литературным творчеством начала заниматься в девятилетнем возрасте. Является автором поэтических и прозаических текстов. Публиковалась в альманахе «Земляки» и журналах «Нижний Новгород», «Зарубежные Задворки», «ЛиФФт». Лауреат конкурса «Мой город», проводимого журналом «Нижний Новгород» в номинации «Проза» с повестью «Почтальон» (2015). Дипломант XVII конкурса-фестиваля «Решетовские встречи» (2017), лонг-лист II международного литературного фестиваля «Русский Гофман» (2017). Живет в Нижнем Новгороде.

Алена Жукова (Ольга Жукова) родилась в Одессе, работала на Одесской киностудии музыкальным редактором, редактором. Писатель, сценарист, кинокритик. Член Московского Отделения Союза Писателей России. Член Союза Писателей XXI века. Член Союза Кинематографистов Украины. Вице-президент, программный директор Фестиваля Российского Кино в Канаде – Toronto Russian Film Festival (TRFF), главный редактор канадского международного литературно-художественного журнала «НОВЫЙ СВЕТ». Соавтор сценариев художественных фильмов: «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» и «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ». В 1994 году эмигрировала в Канаду. Живет в Торонто.

Светлана Заготова – поэт, прозаик. Автор четырех поэтических книг: «Эмпирические эпизоды», «С миром по миру», «Стихи», «Схоже на життя», романа «ООО, или Клуб любителей жизни и искусства» и многочисленных рассказов. Публиковалась в журналах «Юность», «Октябрь», «Донбасс», «Многоточие», «Дикое поле», «Крещатик», «Перевал», «Радуга», «Соты» и др., антологиях «Очень короткие тексты. В сторону антологии», «Освобожденный Улисс», «Антология русского верлибра», «Антология странного рассказа». Лауреат премий им. В. Катаева журнала "Юность" (1994), "Lege artis" (Лейпциг, 1995), премии им. М. Кириенко-Волошина (Киев, 2018). Член Национального союза писателей Украины. Жила в Донецке. С 2014 года живет в Киеве.

Елена Зимовец живет в Киеве. Первая публикация стихов была в 2004 году в альманахе поэзии «Юрьев День». В 2010 году стала обладателем Малой международной литературной премии «Серебряный стрелец» в номинации «Лирика». В 2008 году – по-

бедитель Поэтического конкурса американского журнала «Чайка». В 2018 году стала победителем фестиваля «Интереальность-2018» в двух номинациях: «Философская лирика» и «Городская лирика». Публиковалась в журналах: «Эмигрантская лира», «Европейская словесность», «Склянка Часу*Zeitglas», «Ренессанс», «Чайка» (США), в еженедельнике «Обзор» («Континент», США), в ряде поэтических альманахов и сборников. В 2011 году в «Антології російської поезії України» вышли переводы стихов на украинский язык. В 2018 году вышла книга стихов «На восьмой минуте Льва».

Ирина Иванченко. Поэт, журналист, автор шести поэтических книг. Родилась и живет в Киеве. Пишет на русском и украинском языках. Стихи публиковались в журналах, альманахах, антологиях Украины, России, Германии, Бельгии, Израиля, США и других стран. Лауреат Всеукраинской литературной премии НСПУ им. Николая Ушакова (2010), дипломант Международной литературной премии им. Юрия Долгорукого (2011), Международной премии им. Андрея и Арсения Тарковских (2012). Победитель Всемирного поэтического конкурса «Эмигрантская лира» в номинации «Неоставленная страна» (Бельгия, Франция, 2013). Член Национального союза писателей Украины. С 2013 года – член оргкомитета и жюри Всемирного поэтического конкурса «Эмигрантская лира». С апреля 2016 года – куратор поэтической рубрики в сетевом альманахе «Палисадник».

Сергей Игнатов. Родился в г. Саров (Россия) в 1960 г., окончил геологический факультет МГУ (геохимия), ныне киевлянин. Член Союза писателей России с 08.08.08. Переводчик, автор трех книг стихов и малой прозы. Финалист Волошинских конкурсов 2004 и 2005 гг., дипломант Волошинских конкурсов 2005 и 2006 гг., лауреат Волошинского конкурса 2011 г. Публиковался в журнале «Октябрь» (Москва, 2006, №12), в «Русском лит. журнале «На любителя» (Атланта, США), в альманахах «Полюс-Крым» (Симферополь), в журнал-газете «Яръ» (Ровно), в коллективных сборниках и на ряде Интернет-сайтов.

Александр Иличевский (1970) — писатель, лауреат премий «Русский Букер» 2007 года и «Большая Книга» 2010 года.

Ольга Ильницкая. Поэт, прозаик, журналист. Родилась в Одессе (1951). Окончила исторический факультет Одесского университета. В советские времена публиковалась в самиздате Подмосковья и Ленинграда. Первая публикация в Одессе состоялась в 1991 году, в коллективном поэтическом альманахе «Вольный город» (составитель – Юрий Михайлик). Член PEN International (русское отделение), Союза писателей Москвы, Южнорусского Союза Писателей, Национального союза журналистов Украины, Конгресса литераторов Украины. Член жюри Международного арт-фестиваля «Провинция у моря» (2014 – 2016). Зав. отделом прозы литературного журнала «Южное Сияние».

Галина Ицкович Родилась в Одессе, живёт в Нью-Йорке. Психотерапевт по профессии и призванию, также преподаёт и пишет на двух языках. Дебютировала в роли переводчика, поэта и прозаика в 2012 году. Публикации в журналах и альманахах «Южное сияние», «Эмигрантская лира», «Гостиная», «Чайка», «Палисадник», «Ступени», «Золотое руно», «Форум», «Poetica», «Asian Signature», а также в коллективных сборниках «Contemporary Jewish Writing» и «Поэт года-2015/Финалисты». Соавтор книги переводов «Женская поэзия Америки». Постоянный автор литературных порталов «Золотое руно», «Интер-Фокус», «Белый Мамонт». Финалист и призёр нескольких конкурсов, в том числе «Эмигрантской лиры», «45-го калибра», «Провинции у моря» и др. Член редколлегии интернет-журнала «Окна», член экспертной коллегии премии «Народный поэт».

Олена Іщенко поетеса, журналістка, педагог, громадська діячка. Член Асоціації поетів-ронделістів України, Національної спілки журналістів України, Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка. Народилася на Київщині. Закінчила НПУ імені М.П. Драгома-

нова, факультет української філології. Працювала педагогом, тележурналістом, ведучою, керівником прес-служби Київської обласної державної адміністрації. На громадських засадах – секретар Асоціації поетів-ронделістів України по роботі з молодими літераторами, заступник голови Української літературно-мистецької фундації. Автор двох книг поезій – «Зорію у любов» та «Ковзанка в небо», книжки для дітей «Лебеді на крилах музику несуть». Свої твори публікувала у часописах України та Словаччини («Дзвін», «Дукля»). Нині – заступник директора видавництва «Український письменник».

Ирина Карпинос родилась в Киеве. Окончила Литературный институт в Москве. Поэт, прозаик, автор-исполнитель песен. Член Союза театральных деятелей и Межрегионального союза писателей Украины. Лауреат международных литературных премий. Автор трёх книг прозы и четырёх поэтических сборников, а также альбомов песен. Ирина Карпинос печатается в журналах и альманахах с публицистическими и культурологическими эссе, выступает с музыкально-поэтическими концертами.

Александр Киров (р. 1978). Родился в семье врачей. Окончил Каргопольский педагогический колледж и филологический факультет Вологодского государственного педагогического университета. Более 20 лет работает учителем русского языка и литературы в Каргопольском педагогическом колледже. Лауреат премий "Чеховский дар", премии Белкина и премии журнала "Знамя". Участник 10, 12, 13 Форума молодых писателей в Липках. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра Международного ПЕН-клуба. Кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Новый мир». Автор книг «Митина ноша», «Последний из миннезингеров», «Витька выбирает родину», «Полночь во льдах», «Пустошь», «В тёмный лес через чисто поле», «Другие лошади».

Вероника Коваль (р. 1939). Прозаик, искусствовед, журналист. Член Южнорусского Союза Писателей, Национального союза журналистов, Союза театральных деятелей Украины. Рассказы, статьи, очерки печатаются в периодических изданиях – журнале «Южное Сияние», альманахе «Дерибасовская – Ришельевская», различных документальных сборниках. Автор книг художественной и документальной прозы. Живёт в Одессе.

Владимир Коларич (Владимир Коларић) – сербский писатель, культуролог, киновед, преводчик, доктор наук. Защитил диссертацию на тему Достоевского, автор драматических постановок на радио Белграда, книг прозы и критики, переводов на сербский язык современных иностранных авторов. Живет и работает в Белграде.

Андрей Коровин – поэт, прозаик, руководитель культурных проектов. Родился в Тульской области. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Автор восьми поэтических книг. Стихи публикуются в поэтических антологиях (в том числе антологии ООН), периодических изданиях Германии, Грузии, Польши, США, Украины, Финляндии и других стран, переведены на десять языков мира, в том числе на английский, грузинский, немецкий, польский, украинский и другие языки. Руководитель литературного салона в Музее-театре «Булгаковский Дом» и других культурных проектов. Лауреат премий ряда литературных журналов.

Андрей Костюченко – поэт, писатель, киносценарист, журналист. Член Международной ассоциации писателей и Международной федерации журналистов. Родился и живет в Киеве. Публиковался в журналах «Радуга», «Соты», «Личности», «Ренессанс», «Отдохни!», «Натали» (все – Киев), «Фонтан» (Одесса), «Балаган» (Тель-Авив), «Вокруг смеха» (Санкт-Петербург), юмористических сборниках «Лужа смеха» и «Юморалка» (Киев).

Ирина Котова поэт, прозаик. Родилась в городе Воронеже. Закончила Воронежский государственный медицинский институт и Литературный институт им. А.М. Горького,

доктор медицинских наук. Стихи публиковались в журналах «Вестник Европы», «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Новый берег», «Новая Юность», «Интерпоэзия», «Подъем», «TextOnly», «Литерратура», ряде антологий и коллективных сборников, основные из них – «День поэзии 2000», «Московская муза XVII-XXI» (2004), «Бабий век» (2008). Автор трех сборников стихотворений. Лауреат премии журнала «Подьем» (2003), лауреат литературного конкурса им. Булгакова (2009). Лауреат Волошинского конкурса (2009) в номинации «Проза». Член Союза писателей Москвы.

Александр Крамер родился в Харькове. Окончил политехнический институт, работал на заводе. В Харькове появились и несколько первых публикаций. В 1998 году переехал в Германию и почти сразу стал публиковаться в русскоязычных журналах разных стран, в том числе в России, Украине, Канаде, Германии, США.

Евгений Кузьмин (р. 1972). Родился в Одессе, с 1997 года проживает в Израиле. Неоднократно входил в лонг-листы различных литературных конкурсов (в т.ч. 3-е место во Втором литературном конкурсе «Притча о писателе»). Участник различных научных конференций. Автор многочисленных статей по истории эзотерики. Член Южнорусского Союза Писателей.

Мария Кулешова. Живет в Киеве. По первому образованию эколог, по второму – сценарист. Увлекается театром и историческим фехтованием. В творческой биографии имеет ранее опубликованные рассказы: «Иотгармская воровка» в альманахе «Порог-АК» и «Помощник» в электронном литературном журнале «Гостиная» (оба в 2017 году).

Гари Лайт родился в Киеве в 1967 году. С 1980 года живёт в США. По профессии – адвокат. Окончил Нортвестернский университет, затем юридическую магистратуру Chicago Kent. Автор семи поэтических сборников: «Верь», Москва, 1992; «Voir Dire», Санкт-Петербург, 1993; «Треть», Philadelphia, 1995; «Город», совместно с Мариной Гарбер, Киев, 1997; «Возвращения», Киев, 2002, исправ. и дополнен. – Киев, 2005; «Lake Effect», Киев, 2012, «Траектории», New York, 2012–2013. В 1998 году принят в Союз Писателей Москвы. Участник Антологий «Строфы Века-2», а также «Киев. Русская поэзия. XX век». Стихи опубликованы в российской, украинской и зарубежной, литературной периодике. Творческие вечера автора проходят в городах Северной Америки, Украины и России.

Элла Леус – єкономист-аналитик, специалист по бизнес-рискам. Учредитель и директор консалтингового предприятия. 19 февраля 2016 года награждена всеукраинской Премией имени Пантелеймона Кулиша за роман «Палач». В том же, 2016, году ее дилогия «Антипадение» удостоена Премии имени Николая Васильевича Гоголя «Триумф». Элла Леус председатель общественной организации «Одесский Литературный Центр», член Национального союза писателей Украины. Является одним из инициаторов воссоздания в Одессе культуры салонов. Литературный салон «Среда» впервые открыл свои двери 29 февраля 2012 г. С 2014 года является главным редактором сетевого литературного альманаха «Палисадник». Является секретарём жюри Премии НСПУ им. Максимилиана Кириенко — Волошина.

Милица Лилич – поэт, прозаик, литературный критик, член союза писателей Сербии.

Виктор Малахов – доктор философских наук, профессор (Киев).

Лера Манович – поэт, прозаик, магистр математики. Родилась в Воронеже. Окончила Воронежский государственный университет и ВЛК при Литературном институте им. Горького. Член Союза писателей Москвы. Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Новый берег», «Октябрь», «Урал», «Этажи», литературных сборниках. Автор книг

«Первый и другие рассказы» и «Стихи для Москвы». Лауреат Международного Волошинского конкурса (2015). Живет в Москве.

Анастасия Матешко – работает в сфере аудиовизуальных искусств как актриса и режиссер. Закончила театральный институт в Киеве и ВГИК в Москве. Печатается как поэтесса и автор детективов. Первые литературные опыты проходили под руководством Леонида Вышеславского, а немногим позднее – Сергея Дьяченко.

Вадим Месяц (род. 1964, Томск) — поэт, прозаик, переводчик, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер». С 1992 до 2006 гг. работал в США. Координатор русско-американской культурной программы при Steven's Institute of Technology (Хобокен, штат Нью-Джерси). С момента основания литературной премии им. О. Генри «Дары волхвов» (2010) вошёл в состав её жюри. Член жюри премии «Дебют» в поэтической номинации (2011), председатель Волошинского конкурса по видеопоэзии (2011—2013 гг.)

Владимир Мнишенко (1962 г.) – научный сотрудник отделения хирургического лечения приобретенных пороков сердца Института кардиохирургии им. Н.М. Амосова.

Драгана Мрджа родилась в г. Бихач, Босния и Герцеговина, Югославия. В Бихаче окончила начальную школу и классическую гимназию. Училась в Белградском университете на факультете сельского хозяйства и пищевой технологии. Награждена премией «Мргуда» за рассказ «Иваньская ночь» (Кочане, 2015), премией «Россия за пределами Сербии», «Русское слово» за рассказ «Семь дней воина Гриши» (Белград, 2015) и ежегодной наградой «Источник» за рассказ «Вязание» (Белград, 2016). Живет и работает в Белграде.

Наиль Муратов родился в г. Баку в 1951 году. Школьные годы прошли в Москве и в Крыму. Окончил в Одессе политехнический институт, где и работает по настоящее время, совмещая научную и преподавательскую работу. Кандидат химических наук. В литературу Наиль Муратов пришел достаточно поздно, его первый роман «Королева эльфов» был опубликован в 2008 году. Позднее Наиль Муратов обратился к жанру психологической драмы. Наиболее известной читателю является повесть «Психопат», изданная в Киеве в 2014 году в переводе на украинский язык. В том же году московское издательство «Время» опубликовало книгу Наиля Муратова «Психопат», в которую вошла также повесть «Плайя де Аро». Наиль Муратов – член Национального союза писателей Украины, ответственный секретарь жюри Международного конкурса литературы для детей «Корнейчуковская премия», член жюри Национального литературного конкурса имени М.Волошина. За литературную деятельность награжден в 2016 г. медалью «Трудовая слава».

Айрат Мустафин родился в Архангельске 17 декабря 1968 года в семье военнослужащего. Получил два высших образования. Одно из них – медицинское. В 1993 году прошёл курс «Журналистики» в «Школе репортёров» при областном еженедельнике «Северный комсомолец». Выпустил два авторских сборника: «Солнце-апельсин» (М., 2016), «Мы рядом с Бродским не стояли...» (М.: Время, 2016).

Член Союза писателей России. Член Международного Союза писателей "Новый Современник". С 2014 года - член Литературного объединения им. Филиппа Шкулёва Ленинского района Московской области.

Евгений Никитин. Родился в поселке Рышканы, Молдавия. Впоследствии жил в Германии и в России. Актуальное местожительство – г. Королев Московской области. Как поэт публиковался в журналах «Знамя», «Новый берег», «Октябрь», «Textonly», «Гвидеон» и др. Выступал также как прозаик, эссеист, литературный критик, переводчик, куратор и издатель.

Александра Николаенко – российский прозаик, родилась в Москве в 1976 году. Окончила Строгановское училище, в 2002 году стала одним из самых молодых членов Московского союза художников. Работала художником-иллюстратором.Среди многих других иллюстрировала книги П.Санаева и Б.Акунина. В 2016 году в издательстве «РИПОЛ-классик» вышли две книги А.Николаенкко – «Светофор, шушера и другие граждане», «Нога судьбы, пешки и собачонка Марсельеза». В 2017 году издательство «Русский Гулливер» выпустило её роман «Убить Бобрыкина». Роман вошёл в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», получил премию «Нонконформизм». В том же году Александра Николаенко с романом «Убить Бобрыкина» стала лауреатом премии «Русский Букер». Живёт в Москве.

Арина Обух родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Выпускница Художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, художник-график. Лауреат Международного Волошинского конкурса в номинации «малая проза» (2015), финалист Всероссийского конкурса «Книгуру» на лучшее литературное произведение для детей и юношества (2017). Публиковалась в журналах «Октябрь», «Звезда», «Дружба народов» и др. Автор книги «Выгуливание молодого вина» (СПб, «Петрополис», издано при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей).

Татьяна Орбатова (р. 1965). Поэт, прозаик, одесситка. Публикуется в одесских журналах «Южное Сияние», «Дерибасовская – Ришельевская», а также в других периодических изданиях, таких как «45-я параллель», «Гостиная» и др. Автор книги рассказов «Пациенты планеты Земля» и поэтического сборника «Ты видел рыб над головами?». Член Южнорусского Союза Писателей, многократный призёр сетевых литературных конкурсов.

Андроник Романов – русский поэт, прозаик, эссеист, драматург, издатель, меценат. Учредитель проекта "Литerrатура". Родился в Казахстане. Первые публикации стихов в 15 лет в казахстанской периодике, первая подборка – в журнале «Простор» (1984). Автор трёх книг и многочисленных журнальных публикаций. Член Союза писателей Москвы. В 1995 году на специальном мероприятии, проходившем в Союзе писателей Москвы, организованном Евгением Бунимовичем, был избран королём московских поэтов. В 1992–1995 гг. входил в группу композитивистов. Стихи переведены на английский, французский, арабский языки.

Алёна Романова – журналист, режиссер, общественный деятель. Основатель и ведущая социальных проектов: «Эксперты биатлона», Book doors. В 2017 году в издательстве «Каяла» вышел алхимический сборник кинозарисовок и стихотворений «Фигуры белого дождя». В том же году был издан антироман-эссе «Ассорти киноварного ветра», презентованный в двенадцати городах Украины. В августе 2018 - поэтический сборник "Психо-швы красными нитками_Психо-швы белыми нитками". Живет и работает в Киеве.

Алексей Рубан (р. 1981). Прозаик, поэт, музыкант и преподаватель французского языка. Публиковался в литературном журнале «Южное Сияние». Живёт в Одессе.

Элина Свенцицкая – поэт, писатель, лауреат литературных премий, доктор филологических наук, профессор.

Валерий Скобло поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 г. Окончил матмех ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ "Электроприбор". Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Сборники стихов "Взгляд в темноту", "Записки вашего современника", "О воде и воле" , "За тайной печатью". Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Финляндия, Эстония и др.) литературной периодике. Основные публи-

кации последних лет в журналах: "Арион", "День и ночь", "Звезда", "Зеркало", "Зинзивер", "Иерусалимский журнал", "Интерпоэзия", "Крещатик", "Литературная газета", "Нева", "Новая Юность", "Новый берег", "Сибирские огни", "Слово\Word", "Урал" и многих других. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода "С севера на восток" (2013 и 2016), дипломант литературной премии им. А.А. Ахматовой (2015). Место проживания - Санкт-Петербург.

Ксения Спынь проживает в Москве. Образование психологическое (СПбГУ, 2013). Публиковалась в журнале "Истоки", альманахах "Сибирский Парнас" и "Земляки".

Ольга Сульчинская родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Работает шеф-редактором журнала Psychologies, ведет частную консультативную практику. Автор трех книг стихов, постоянный автор журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя».

Егор Фетисов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. В 1999 году закончил немецкое отделение филологического факультета СПбГУ. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Печатался в журналах «Новый мир», «Арион», «Октябрь», «Урал», «Волга», «Нева», «Homo Legens», «Новый Берег», Литerrатура и др. Финалист Международного Волошинского конкурса в номинации короткого рассказа (2015). Шорт-лист Волошинского конкурса в номинации короткого рассказа (2017). Финалист Международного литературного конкурса им. К. Паустовского (2017). Автор книги стихов «Лишь часть завета из ниоткуда...» (СПб, 2012), романов «Пас в пустоту» (СПб, 2014) и «Ковчег» (издательство «Время», лонг-лист премии «Национальный бестселлер», лонг-лист премии «Ясная Поляна»). Переводчик. Редактор литературного журнала «Новый Берег». С 2013 года с семьей живет в Копенгагене.

Александр Хинт (р. 1962). Поэт, прозаик. Первое место на Всемирном поэтическом фестивале «Эмигрантская лира» в 2012 году. Публикации в журналах «Южное Сияние», «Новая реальность», «Ликбез», в различных печатных и онлайновых изданиях. Книги стихов «Разговор» (2010), «Время избыточных точек» (2012). Член Южнорусского Союза Писателей. Живёт в Одессе.

Елена Черникова – писатель (проза, драматургия). Основные произведения: романы "Золотая ослица", "Скажи это Богу", "Зачем?", "Вишнёвый луч", "Вожделенные произведения луны", сборники "Любовные рассказы", «Посторожи моё дно», пьесы и др. Журналист (печатные и электронные СМИ). Автор и ведущая программ радио с начала 1990-х. Автор учебников "Основы творческой деятельности журналиста" и "Литературная работа журналиста", руководств "Азбука журналиста" и "Грамматика журналистского мастерства". Дипломант V Всероссийского конкурса премии "Хрустальная роза Виктора Розова"(2006) в номинации "Лучший телерадиоведущий России". Обладатель медалей "За вклад в отечественную культуру", "За доблестный труд", Им. А. П. Чехова, ордена Серебряного Орла "За высоту творческих свершений". Персонаж каталогов "Знаменитые люди Москвы", "Женщины Москвы", "Воронежской историко-культурной энциклопедии", Европейской энциклопедии "Кто есть кто". Модератор международного конкурса "Слово года (Россия)", автор и ведущая просветительского проекта "Клуб Елены Черниковой в Библио-глобусе" (Москва). Произведения Е. Черниковой переводятся на иностранные языки.

Александра Шалина родилась в городе Керчи, в 16 лет переехала в Киев. Лауреат конкурса им. Л. Киселева в номинации «Крылья Ганимеда». Публикации: Альманах «Каштановый дом» (2011, 2014), альманах «Многоцветье имен» (2012), интернет журнал «Станция мир» (2013).

Ганна Шевченко – пишет стихи, прозу. Родилась в городе Енакиево Донецкой области, Украина. Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Октябрь», «Сибирские огни» и других изданиях, а также в сборниках и антологиях поэзии и короткой прозы. Лауреат международного драматургического конкурса «Свободный театр» (Минск) и премии Gabo Prize Winners (Великобритания) за переводные стихи, финалист поэтической премии «Московский счет», лауреат международной премии Фазиля Искандера. Автор книг «Подъемные краны» (2009), «Домохозяйкин блюз» (2012), «Обитатель перекрестка» (2015), «Форточка, ветер» (2017). Член Союза писателей Москвы.

Михаил Юдовский родился в 1966 году в Киеве. Учился в художественно-промышленном техникуме и институте иностранных языков. С 1989 года – свободный художник. Первую книгу («Приключения Торпа и Турпа») написал в соавторстве с Михаилом Валигурой. Книга была издана в 1992 году в издательстве «Эссе». В том же 1992 году переехал в Германию (город Франкенталь). Долгое время писал для себя, не участвуя в литературной жизни, не пытаясь публиковаться и выставляя свои живописные работы – в странах СНГ, Европы и Америки. В 2009 году в Украине вышла книга М. Юдовского «Поэмы и стихи». Поэзию и прозу автора опубликовали литературные журналы и альманахи в Украине, России, Германии, Великобритании, Финляндии, Израиле, Австралии и США. В 2013 году издательство АСТ (Москва) выпустило книгу прозы М. Юдовского «Воздушный шарик со свинцовым грузом», в апреле того же года американское издательство «POEZIA. US» опубликовало поэтический сборник автора «Тела и тени», а в 2014 году в издательстве «Петит» (Латвия) вышла книга стихов «Полусредние века». В августе 2016 года в харьковском издательстве «Фабула» вышли на русском и украинском языке две книги прозы автора: «Сволочь» и «Богиня». Перевод на украинский сделал автор. Юдовский является лауретом нескольких литературных премий, его живописные работы находятся в музеях, а также частных коллекциях пятнадцати стран мира. Пишет как на русском, так и на украинском языке. В 2015 году закончил работу над переводом на русский и украинский языки всех сонетов Шекспира.

Книги **Издательского дома Дмитрия Бураго**
можно приобрести в **Киевском доме книги**
(ул. Льва Толстого, 11/61) или заказать на сайте
www.burago.com.ua

По вопросам издания книг
обращаться по тел.: **+38 (044) 227 38 86**,
e-mail: **burago@list.ru**